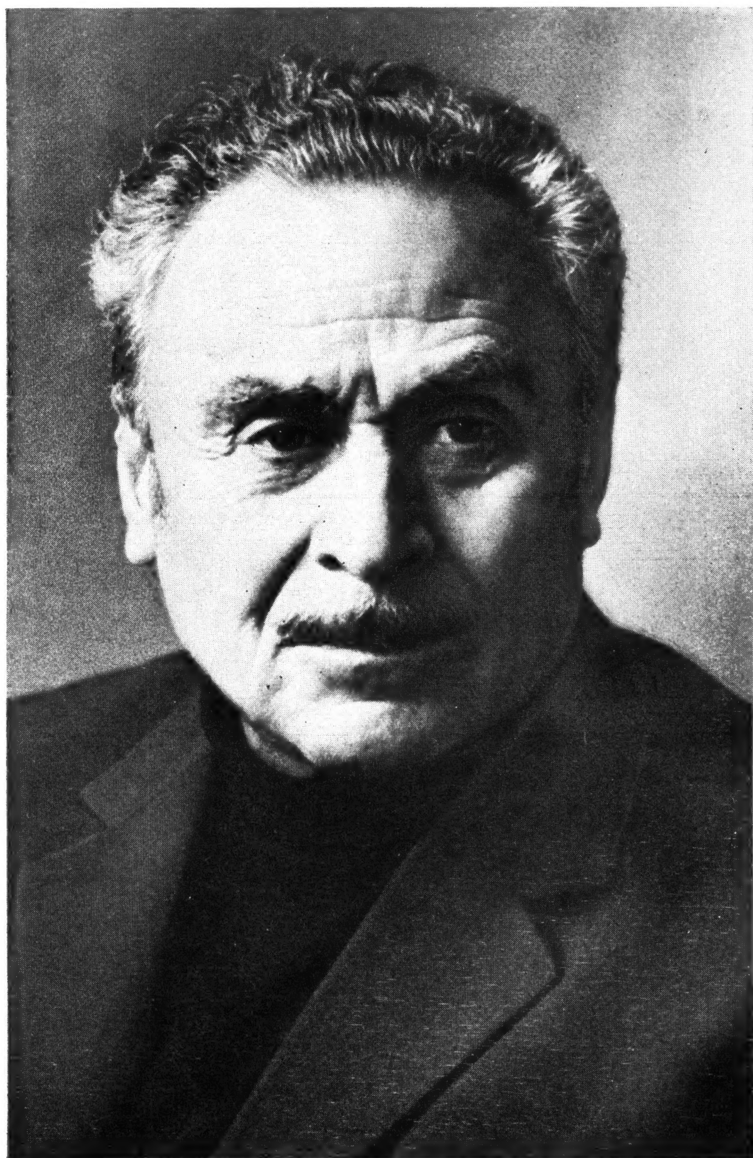
Вадим Сафонов

1



Вадим Сафонов

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Вадим Сафонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Вадим Сафонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДОРОГА НА ПРОСТОР
Роман

МЕХАНИК ВЕЛИКОГО ХУДОЖЕСТВА
Повесть

Маленькие повести и рассказы



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
С22

Предисловие автора

Оформление художника
Г. Шипова

С $\frac{4702010200-191}{028(01)-82}$ подписное

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Говорить о себе и легко, и очень трудно — какой же себе судья? Есть одно преимущество: вернее расскажешь читателю, взявшему книгу, как пришел к той или иной написанной вещи — как возникла она и *зачем* написана.

Я родился в Керчи в начале века, уже идущего к концу,— в 1904 году 14 декабря по старому стилю.

Дед, Платон Федорович, крепостной в имениях Кочубея под Херсоном, после 1861 года, то есть после «воли», перебрался в Крым — ходил слух о дешевизне татарских земель на Керченском полуострове.

В семье деда — девятнадцать душ детей. Только их всех вместе не было никогда: косили оспа, дифтерит, скарлатина — крестьянские болезни старой деревни, где не знали врачей, а до фельдшера ехать верст двадцать. Выжило четверо, лишь старший, давая уроки с пятого класса керченской гимназии, куда он был определен приготовишкой на пансион к учителю, добился возможности учиться дальше и стал инженером.

То был мой отец Андрей Платонович.

Он участвовал в изысканиях и постройке многих железных дорог. Строил мосты. Еще в институте инженеров путей сообщения сдружился с семьей Михайловских. С младшим братом, Михаилом, учился, а Николай, семнадцатью годами старше, уже был знаменитым путейцем. В 1898 году Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (под именем «Гарин» этот исключительно талантливый русский человек стал широко известен как писатель) при-

гласил отца в Корею, в исследовательскую экспедицию — своим помощником и начальником второй из двух партий: он уже знал отца и по совместной работе на постройке Великого Сибирского пути — Средне-Сибирской дороги. И в записках Гарина не раз упоминается об отце (см., напр.: Н. Г. Гарин. «Из дневников кругосветного путешествия». М., Географгиз, 1949).

Отец тогда и сам написал свои корейские записки. Осенними вечерами, в слабом кружке света от керосиновой лампы, он читал их нам, и думалось, что ничего интереснее мы не слышали и не читали. Записная книжка эта, в темной коже, погибла вместе почти со всем, что было у родителей, и больше некому судить о том, что мы слышали.

Родня отца, в большинстве, осталась деревенской.

Венчались родители (отец — вторым браком) в пестроцветном ялтинском соборе,— отец участвовал опять, как помощник Гарина, в изысканиях южнобережной железной дороги, так и не построенной. Был жив Чехов. Родители оказались с ним на одном пароходе, когда, через Севастополь, он уезжал навсегда — в Москву, а оттуда в Баденвейлер. Сильно качало, Чехов страдал от морской болезни; вышел в кают-компанию и, проглотив несколько ложек супа, ушел к себе...

А шафером на свадьбе был родной брат Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, товарищ отца, тоже инженер-путеец Константин Книппер.

Моя мать, Ольга Ивановна, происходила из керченской городской семьи, такие семьи населяли узенькие, многоярусные, с запахами кухни и пологом дикого винограда дворики Греческой улицы. Один брат матери, военный врач, внушавший робость нам, детям, ростом, очками, решительным голосом, ежедневно проезжал на дрожках мимо наших окон в лазарет. Другой — в Москве, он, мы знали, работает в аптеке «у самого Феррейна». Ближе, чем эти родные дяди, были нашей семье материнские двоюродные — три сестры-учительницы, в их низкой, тесно заставленной квартирке с окошками над самой землей; с детства помню фотографию лейтенанта Шмидта посреди множества всяких семейных, развешанных веерами на стене, как тогда полагалось.

Квартирка помещалась в Морском агентстве, там служил четвертый член семьи — их тихий, молчаливый брат. Больше всего гордились близким родственником — капи-

таном нового, красивого парохода «Цесаревич Алексей», потом переименованного в «Пестель». Мне, восьмилетнему, случалось поймать обрывки приглушенных упоминаний еще о какой-то загадочной родне, отчаянных мореходах, пересекавших море на фелюгах, груженных контрабандой «с того» (турецкого) берега,— и я с особенным вниманием приглядывался к дедушке, сухонькому, морщинистому; заставая его обычно сидевшим в глубоком залосненном кресле под картиной «Падение Константинополя» на своей Греческой улице, я тщетно пытался вообразить его молодым. (Все это отразилось позднее в рассказе «Женитьба Ставро», его я написал, вновь приехав в Керчь в 1930 году, еще не думая о печати...)

Тут, верно, уместно сказать в нескольких словах, как жили тогда, напомнить внешние черты быта, так непохожего на нынешний городской. Не было, разумеется, ни электричества, ни водопровода — по булыжной мостовой громыхали бочки водовозов «дангалаков»; когда же они исчезли, пришлось уже самим с ведрами и коромыслами отправляться за несколько кварталов в очередь «на фонтане». Полкухни занимала русская печь. Утром и вечером гудела и пела, раскаляясь, розовея, труба над самоваром, древесный уголь разжигали лучинами. О телефонах в быту почти что не слыхивали — вероятно, не поняли бы, зачем они нужны.

В голод и разруху горели только ночники, при огоньке не ярче лампадки зимой двадцать первого года я прочитал четырехтомного, в два столбца павленковского Белинского.

В нашем доме был полуукраинский уклад. Все любили петь, запевал отец. Песни прежде всего украинские — они казались лучшими в мире. «Вечера» и «Миргород» Гоголя, «Кобзаря» Шевченко знали чуть не наизусть. Отец, человек твердый, временами даже крутой, не выносивший никакой лжи (и притом, или как раз поэтому, доверчивый), был шутлив. На память целыми кусками он читал «Энеиду» Котляревского — так, с детства, мы заучили ее.

Ореол окружал имя Некрасова.

Я рос с сознанием святости и благородства крестьянского, земледельческого труда. С пристальным вниманием ко всему, что растет, зреет, множится на земле. Основы личности закладываются рано. Отсюда, конечно, и увлечение биологией, да и те книги о полях без обмеж-

ков, о цветущих и плодоносящих садах, что я через несколько десятилетий написал.

Навсегда сохранилось и совершенно особенное отношение к морю. А железную дорогу, поезд, с детских лет облекла романтика, и, сколько ни пришлось потом летать, в сущности, ничего для меня, как ни странно, не изменилось тут — на первом месте так и остался поезд.

Отец, слепым стариком, умер в Ялте через неделю после вступления гитлеровцев. Мать — через год, совершенно одна, зимой, в комнате с выбитыми стеклами. Так развеялись следы их...

Надо гордиться своими корнями, людьми, от которых идет твоя жизнь. От них в тебе гораздо больше, чем, может быть, сам ты думаешь.

Семья в моем детстве, до окончательного возвращения в Керчь, кочевала. Помню Курск, Харьков, Петербург. Три года прожили во Льгове — достраивалась Северо-Донецкая дорога. В Москве я пролежал несколько месяцев тяжелобольной, после операции в Морозовской больнице; болезнь эта оставила как бы рубец в моем сознании. Однажды мать принесла весть: «Умер Толстой». Я не слышал такого имени, оно поразило меня — не только разговором взрослых, но и само по себе. Впечатления этого давнего, почти бесконечно далекого времени я попытался восстановить на своих «страницах воспоминаний» («Городок», 1973).

У поколения, к которому я принадлежу, и детство и отрочество заканчивались рано. В октябре 1917 года мне не исполнилось и тринадцати. Установление Советской власти в Керчи, вступление кайзеровских войск с гайдамаками, белогвардейщина, жестоко подавленное народное восстание, возглавленное вышедшими из подземных крепостей — каменоломен партизанами, осада каменоломен и утюги английских крейсеров на рейде — никогда не забуду этого.

День за днем запечатлелось лето 1919 года, когда шли бои у акманайского перешейка в 85 километрах от Керчи. Как сейчас вижу — смятение, затем бегство врангелевцев в ноябре 1920 года.

А летом того же года случилось одно из значительнейших событий моей внутренней жизни. Я прочел Лермонтова. Конечно, я читал его и раньше. Но детское чтение

причудливым образом зачисляло Лермонтова в занимательные авторы экзотических путешествий — в Майн Риды Кавказа, что ли. Мне нелегко найти слова, чтобы передать впечатление, произведенное на меня, юношу, поэзией Лермонтова. Восторг? Нет, потрясение всего существа. Перелом отношения к жизни. Даже так— будто всемирная литература раскололась на две части: вся она — в одной, в другой — Лермонтов.

Великие писатели и позднее властно подчиняли себе. После жадного юношеского чтения Диккенса (с чем, однако, конкурировали Брэм, «История Земли» Неймайра, «Происхождение животного мира» Гааке — вся отцовская библиотека «Просвещения», великолепные книги русского зоолога М. Н. Богданова) настала пора Толстого, Бунина, Анатоля Франса, Томаса Манна, Хемингуэя.

Постоянно, особенно в последние годы, возвращаешься к Чехову. Были «полосы» Шекспира, пожалуй — Гёте, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Лескова. Есенинская «полоса». Многократно — горьковская, со всегдашней мыслью: какой бессмертный памятник человеческого труда десятки и десятки этих томов!

Иногда то были отдельные вещи, очень разные. «Первая любовь» Тургенева, «Мистерии» Гамсуна, «Сервантес» Бруно Франка, «Корень жизни» Пришвина (этот первоначальный заголовок кажется мне удачнее, многозначней, чем последующее переименование в «Женьшень»). «Далекие годы» Паустовского. Уэллс не одной фантастики, а и прихотливого романа-проповеди «В ожидании» (точнее — «Между тем» или «Тем временем»; не знаю, как я бы прочитал его теперь) — о великой стачке в Англии, итальянском фашизме маленького дуче и грядущих временах — с центральным символом — Садом, героями — глашатаями авторских истин, великолепными диалогами, человеческими отношениями, сухо и уверенно прочерченными только с помощью прямых и ломаных линий.

Какое-нибудь отдельное стихотворение могло врезаться надолго — щемящее асеевское «Не за силу, не за качество золотых твоих волос...»

А если покинуть литературный ряд, придется сказать о громадном воздействии музыки Бетховена.

Все же то лето двадцатого года осталось в памяти особняком.

Работать я стал с шестнадцати лет, кончив семилетку II ступени. Библиотекарь, но захотелось дела больше «в гуще»: мельница в татарской деревне Адже-Эли, рыбные промыслы на косе Тузле, в Холодной балке и Ачуеве. На «дубках» — в штиль и в бурю, выбирание мотни громадных волокуш, ловля наживными крючьями черноморских акул, ерики в плавнях, куда рыба заходила метать икру и где стены камыша замыкали плоскодонку в банном, многоцветном, солнечном беззвучии... Насколько беднее внутренне я оказался бы без этого!

В августе 1923 года я уехал в Москву. В полночь с непостижимой теперь для меня беззастенчивой настойчивостью мальчишки я заставил усталого после экзаменов в Литературно-художественном институте Валерия Брюсова выслушать мои стихи. Он предложил поступить в этот свой институт. Однако я устроился агентом по сбору объявлений в газету «Известия административного отдела Моссовета». Я не собрал ни одного объявления, зато редактор В. П. Сергеев, человек, о котором не могу вспоминать без теплого чувства благодарности, сказал: «А вы попробуйте что-нибудь написать». Я написал о черной бирже на Ильинке, очерк-фельетон, это понравилось, и в сентябре 1923 года напечатался в первый раз.

Недавно я попытался вспомнить обо всем этом («В полночь, у Брюсова», 1977).

В 1930 году, больше полувека назад, вышла в издательстве «Молодая гвардия» и первая книжка — «Ламарк и Дарвин». В ней, сообразно с ранними мечтами, литература сочеталась с биологией.

Книги затем выходили почти каждый год.

Еще долго я не оставлял служебной научной работы — преподавал общую биологию в двух высших учебных заведениях, стал старшим научным сотрудником Тимирязевского биологического научно-исследовательского института — там, в качестве ученого секретаря, участвовал в проведении первой Тимирязевской научной сессии, на которой прочитал доклад; занимался историей и философией естественных наук, привлеченный к работе Ассоциации естествознания Комакадемии; публиковал работы, в частности, по эволюционной теории. Но все настойчивее становился на писательскую дорогу.

В 1933 году написан «Победитель планеты» — двенадцать картин, «разрезов времени», научно-фантастическое путешествие в глубь того прошлого земного шара,

когда в жестокой борьбе формировалось существо, чьи потомки обратились в людей, Победителей.

В 1936 году вышла одна из любимых моих книг, переиздающаяся по сей день. Я возвращался к ней не раз. Это «роман одной жизни» — книга об Александре Гумбольдте, получившая название по строчке Шиллера «На горах — свобода!». Книга о человеке, которого сжигала «жажда дали». Простор земли он видел не как сумму педантически скалькулированных элементов, а как живую и прекрасную целостность. Ученый, вмещавший в себе все естествознание своей эпохи, повторив в последний раз «людей-энциклопедий» средневековья, путешественник, о ком говорили: «Он вторично открыл Америку», а во времена Пушкина побывавший в обеих русских столицах, на Урале, Алтае и в Сибири,— Гумбольдт стал основателем новой географии; к ней прибавляли еще слово «эстетическая», чтобы охарактеризовать небывалое качество гумбольдтовой науки...

В 1941 году, незадолго до войны, я был принят в Союз писателей по представлению Б. Н. Агапова, С. Я. Маршака и А. А. Фадеева, тогдашнего руководителя Союза, напечатавшего в «Красной нови», где он был главным редактором, шестую мою книгу «Власть над землей» — о науке, овладевающей законами изменения живых существ, о нашем земледелии.

Все эти годы я пользовался любой возможностью для поездок по стране (командировки, чаще всего по путевкам для чтения лекций). Я бесконечно многим обязан таким поездкам.

Трижды побывал на Урале и в Сибири. Турой и Тоболом проплыл в Тобольск. Это был путь казаков Ермака. Образ его, неизгладимо врезавшийся в народную память, гигантский, песенный, давно влек меня. Беседы с П. П. Бажовым в Свердловске, живые предания, слышанные на казачьем пути, холмы у Тобольска, где стояли некогда городки Кучума, а сейчас, на моих глазах, рушились в Иртыш, разлившийся до края земли, подмытые вековые ели,— все это будто неожиданным светом осветило и приблизило далекий загадочный образ казачьего вождя.

В те предвоенные годы почти осязаемо сгустилась тревога в мире. И стародавнее «потрясенное время» точно

перекликнулось с нашим. Как народный подвиг, без которого не стало бы и нашего сегодня.

В 1938 году я начал роман о становлении русской Сибири. Журнал «Знамя» напечатал его в 1944 году под заголовком «Конец кучумовой державы». А через год роман, уже окончательно названный иначе: «Дорога на простор», выпустил «Советский писатель». В материале романа слышался ответ на какие-то вопросы времени. Но оба первых варианта глубоко не удовлетворяли меня. Впереди предстояла большая работа. И каждое новое издание становилось этапом в ней. Лишь в 1969 году поставлена точка — больше чем тридцать лет спустя после того, как легли на бумагу начальные строки.

Так как в итоге, по общему мнению, «Дорога на простор» стала одним из основных моих произведений, да и тема историческая заняла немаловажное место среди написанного мной, то, очевидно, мне следует сказать, как же я понимаю ее и что такое, на мой взгляд, работа писателя-историка.

«Правда, суровая (горькая) правда»,— поставил Стендаль эпиграфом к «Красному и черному». Искусство не игра. Оно позволяет разобраться в самом главном для нас. Писатель обращается к истории, чтобы почерпнуть ответ на остро, неотложно нужное, встающее перед разумом его и совестью, тревогой его души, как сына *своего* времени. Так, в моем представлении, историческая проза не отрезана от современной, но спаяна, едина с ней. Вот почему нет крупного, подлинного писателя чисто исторического — замкнутого, запертого в прошлое.

Не рассказывание баек и анекдотиков, не спекуляция на звонкости темы, не стилизация, не словесные виньетки — но неотступная мысль о поворотах народной судьбы, мысль народная, по Льву Толстому: вот чем жива историческая проза, суть и сердце ее.

Воплощая историю, писатель обязан безукоризненно считаться с твердо установленным. Знаю, бытовало нечто вроде «хартии вольностей» — о праве в «художественном изображении» на «незначительные отступления» и смещения. Нет такого права! Справедливо сказано: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

Но и обильнейшая документация дает лишь пунктир событий, чем глубже в прошлое, тем реже. Художник опрашивает свидетелей, почти безгласных для диссертан-

та. Живую память народа. Песенную стихию. Летопись, застывшую в камне, в пестром оперении глав, в затейливом кружеве теремов и башен, в чистом сиянии настенных росписей, строгости древних ликов. Самую землю с ее простором, именами мест. Великую драгоценность — язык, хранящий звук веков.

Однако вот выстроены в воображении все, как говорится, реалии. И они мертвы, недвижны. Восковой муляж. Не хватает чего-то. Может быть, штришка, черточки. Как назвать это? Не старым ли простым словом — *поэзия*?

Посольство Ермака прибыло в Москву Грозного.

Что же — казни и крамолы, теснота посадских улиц, нечистый истоптанный снег, стрельцы, сивушный дух у кружал? Но ведь люди *жили!* И не мог я двинуться дальше в своем рассказе, пока не расслышалась в мельтешении толпы у Троицкой площади, про которую в просторечии говорили «на Торгу» или «на Пожаре», а после, на века, назвали Красной площадью, песня слепца:

И говорит:
— Ты рублей не трать попусту —
Не полюблю
Я тебя!

Расслышалась с голосом, напевом (откуда и разбивка строк) — жаль, не принято печатать нот...

Как появился молодой герой романа — казак Ильин? Я нашел челобитье Ильина, очевидно старика, царю Михаилу Федоровичу. Он бил челом, чтобы царь не оставил его в нужде, голоде и великих долгах, не униженно, а гордо выставляя, что двадцать лет «полевал» с Ермаком. Всей «гульбы» такой на Волге могло быть не больше десяти годов — он удвоил, в великую заслугу себе, то, что прежде сочлось бы смертной виной. Малая деталь, и кроме нее — ничего об Ильине, но именно отсюда развернулся, «размотался» для меня характер его.

Я понимал, что отступаю от сложившегося в те годы обыкновения ставить в центр крупную историческую фигуру, вынося имя ее в заголовок. Были тут навсегда оставшиеся удачи — назвать хотя бы «Петра Первого» Алексея Толстого, «Емельяна Пугачева» Вячеслава Шишкова, «Степана Разина» Степана Злобина. Но моя «главная фигура» была не данностью, а той задачей, какую еще предстояло решать,— я должен был оставить себе бо́льшую

свободу взгляда со стороны, «снизу», глазами простого, неисторического (и мной созданного) свидетеля; даже имя — Гаврила — я дал Ильину от себя...

Не раз в те тридцатые годы я предпринимал и поездки на юг, в степи Украины. Это позволило написать тоже давно задуманную книгу о земледельческом труде, не старом, безропотно покорном «власти земли», но преобразующем землю. Из «Власти над землей», дважды изданной, в 1940 и 1941 годах, выросла потом та большая книга, которую мне хотелось идейно (и литературно) противопоставить широко известной «Обновленной земле» американца Гарвуда, славящей земледелие своей страны. Я знал, что в предреволюционные годы, в условиях деревенской нищеты царской России, с трехполкой и ковыряющими землю сохами, книга эта играла положительную роль. Но вовсе иными стали советская деревня, советское крестьянство, наше сельское хозяйство.

Удостоенная в 1949 году Государственной премии, моя книга «Земля в цвету» была переведена в нескольких десятках стран Европы, Азии, Америки.

Как жадно вглядывался я еще ребенком в тонкую и твердую, с плавным изгибом линию черноморского горизонта! Пароходы, пришедшие оттуда, из *дальнего плавания*, даже не приставали к пристани. Я видел их каменно-неподвижные, черно-красные громады на рейде. И с замирающим сердцем разгадывал: что там, «за гранью»? Какие дали, какие берега?

Мне довелось проплыть по многим морям и океану, посетить древние и молодые страны Европы и Африки. Так родились путевые повести: «Путешествие в чужую жизнь» (1956—1957), «Опаленные солнцем» (1960), «Укрощение Великого Хапи» (1964). Я стремился добиться, чтобы читатель их как бы сам отправлялся в путь и, ощутив ветер движения на своем лице, сам увидел то, что видят автор и его герои. Землю, как Большой дом человечества. Не мнимую скудость, тесноту «шарика», а неисчерпаемую чудесность земных дорог. И в каждой малой клеточке противоречивую чужую жизнь за рубежами нашей Родины. В этих книгах я пытался дать итог раздумий, не покидавших меня с юности. Что же такое

высоты культуры, каков смысл этого слова? Как соотносится оно с устроением людских судеб, с человеческим счастьем?

Вот почему непрерывным другим планом повестей идет память о Родине, «оглядка» на близкое и кровное — рассказы о доме.

«Укрощение Великого Хапи» — 27-я моя книга. С тех пор прибавилось еще более десяти. Среди них — сборники рассказов и «маленьких повестей» — форма, привлекающая возможностью вместить многое в малый объем.

В рассказах о сердце ли России или о нашем юге для меня всегда присутствовало желание передать ту прелесть родной страны, выше и лучше которой я не видал нигде в мире. Сказать о силе жизни, что сильнее угрозы атомной смерти. И о том, что надо беречь, не расточать, а умножать доставшуюся нам, созданную разумом и руками миллионов наших современников и тех, кто жил до нас, красоту. Врученное нам диво.

Свои книги я вижу как части или главы большой, единой. Думаю, так обстоит дело и у всякого писателя — иначе творчество обратится в калейдоскоп вещей «на случай».

И еще раз хочу подчеркнуть: в литераторов своей комнаты и своего письменного стола мне столь же трудно поверить, как и в такого узкого мастера исторических романов и повестей, который прошедшее, никем не виданное, понимал бы, любил и умел красноречиво пересказывать, а по отношению к тому, что видит воочию, оставался бы слеп и нем.

Да, сегодняшний наш день не дался нам в руки зрелым плодом. Он вырос из того, что было прежде, и весь в движении, в росте. Подпочва, пласты недавнего и давнего прошлого обнажаются не только при проходке метро и подземных уличных переходов. Глубинный разрез составляет кулисы того, что «на сцене». По какому разряду мы зачислим вещь, в которой сделана попытка показать это,— по «историческому» или «современному»? Такой вопрос, как мне думается, может быть задан и о некоторых повестях и рассказах, которые читатель найдет в лежащих перед ним книгах. Это, к примеру, «Неведомая фреска» (1965), «Завтрак в Эрфурте» (1969), «Марьюшка» (1961). Да и весь роман «Песок под босыми ногами», завершенный в 1973 году.

Нет земли без людей, но нет и людей без земли, где им жить и работать. Когда я читаю роман или повесть, где герои переезжают с севера на юг или с запада на восток, автор же просто сменяет этикетки «Курск», «Хабаровск» (подобно тому, как в театре шекспировских времен выставляли плакаты «лес», «морской берег», «замок»), мне становится нелегко следовать за героями. Я убежден в неповторимости, а не взаимозаменяемости обликов мира — как и в безграничных возможностях, открытых для человека, чем и обусловлено, подкреплено право на человеческое счастье. Я убежден в том, что природа «природная» и природа «рукотворная» гораздо плотнее входят во весь строй нашей жизни и ярче окрашивают ее, чем полагаем мы сами.

Почетный, громадный долг нашей литературы — всему миру показать лицо Родины, создать книги, которые частица за частицей складывались бы в то, что давно я называю поэтической географией ее. Как бы мал ни оказался твой взнос, радостно сознавать, что и ты стремился участвовать в выплате такого долга.

Цикл южных рассказов вплотную подвел меня к роману «Песок под босыми ногами» — главной моей работе последних лет. В центре романа, как и двух других («Дорога на простор», «На горах — свобода!»), как и некоторых меньших вещей («Звонок в дверь», «Повести о бессмертных судьбах»),— то, к чему с юношеских лет настойчиво возвращался мыслью. Что значит *высота* человеческой жизни? Жизнь должная и недолжная? Как идет человек к высшим своим достижениям — накал, горение, без которого не оставишь и малой зарубки в памяти людской,— что они такое? Выбор пути, чтобы раскрыть в себе и дать все, на что способен,— и лукавые развилины, куда так просто, так незаметно можно соскользнуть...

Назову это проблемой судьбы большого человека.

«Песок под босыми ногами» закончен в начале семидесятых годов — прошло достаточно времени, чтобы на кое-что в нем невольно взглянуть, так сказать, посторонним глазом.

И при этом заметишь неожиданную перекличку с героем другой книги, об Александре Гумбольдте, «На горах — свобода!». Когда пишешь, ни о чем подобном, разумеется, не думаешь...

Говорю «неожиданную», так как что же общего между этими двумя людьми?

Оба — деятели науки, но насколько различных отраслей! Один наш современник, у кого нет определенного прототипа, впитавший в себя наблюдения автора над многими, с кем встречался,— да и над самим собой, над средой, в которой рос, «додуманный» в свете дорогих и главных для автора мыслей. Красноармеец в гражданскую, а сейчас — конструктор, строитель турбин.

А другой — Гумбольдт — действительно живший, ровесник Наполеона, родившийся, когда дым костров инквизиции еще застилал небо Севильи. Человек, который стал одним из великих созидателей нашей картины мира. Ни собственная жизнь, ни та, что кипела вокруг них, не могут их роднить. Да и не работа, которая ведь тоже не есть нечто внешнее, случайное для человека — ею и формируются, в жизненном итоге, существенные стороны личности, строй сознания.

Итак — различия крайние. Но нежданно (опять повторю) сквозь них пробивается сходство.

Никогда не казалась обоим земля, их взрастившая, неким безразличным географическим понятием — в их представлении то подлинно *живая* земля, в каждом уголке своем неисчерпаемая. Словно начертанная с большой буквы, что кажется привилегией одних астрономов: Земля.

Природа или, как сейчас принято говорить, «окружающая среда», с ее заботами, очень много значила для обоих.

И ни один прожитый день не сводился к галочке на календаре — он переживался, как полный глубокого и также неповторимого смысла, непрестанного ощущения *чуда жизни.*

Все казалось достигнуто человеком легендарной славы, о ком читаем у одного из биографов: «Остается изумительным и непонятным, как он мог вместить такую массу знаний и не быть ими раздавленным». Но тревожнее и тревожнее он оглядывался на свое прошлое. Что-то ускользнуло; упущено; смутен был конец, точно вновь ожило древнее, жестокое сказание о перстне Поликрата — о безжалостном воздаянии счастливцу.

А знаменитый конструктор... Жизнь, в непростом своем ходе, привела к встречам с людьми, перестраивающими по-новому край, где прошли его детство и юность. И, будто вернув к истокам, показала в неподкупном све-

те, что прославленная дорога, отмеченная блистательными достижениями, провела его в стороне от чего-то насущного, что он тоже мог и обязан был дать людям...

Но именно тут и обрывается сходство. Время, бесконечно отличное от того, давнего, с громадой дел, с иными, мощными формирующими силами, подлинно неистребимые в его сознании живые корни человека, связывающие его с чередой поколений, с людьми его земли, должны были обусловить другое решение, непохожий исход. Жизнь для него не завершена, не кончена, а распахнула новую даль: вместе с этими людьми родной ему земли добиваться, чтобы все богатство, вся красота ее сделались открыты стране, стали бы всенародным достоянием.

Так, по моему убеждению, должна была быть решена судьба нашего современника — так она и решается у реальных, живых людей; и это-то я и стремился отобразить в романе.

Герой — человек суровый, внешне замкнутый, далекий от литературы; таким сделал его жизненный путь. И конечно, он не вспомнил, а вернее всего и не знал, что некогда Гёте, старший современник Гумбольдта, также утверждая особенную связь человека с землей, закончил одно из величайших произведений мировой литературы мечтой о борьбе за преображение земли, отвоевание у стихии для народа и увидел в этом конечное оправдание Фауста.

Суть, однако, в том, что реальная наша действительность шире и богаче любой писательской фантазии; лишь малым ручейком она вливается в мощный поток.

Первоначально роман опубликовали в апрельской книжке «Звезды» за 1974 год. А 5 марта 1975 года я прочитал в «Правде» (и совершенно очевидно, что никакой связи с романом тут не было), как ученые одесского научно-исследовательского института курортологии, завершив большую работу, наметили создание новых зон здоровья. «Самым перспективным признан Керченский полуостров. На его территории... ученые открыли своеобразную курортную целину... Полуостров таит неисчерпаемые курортные богатства: термальные йодобромные, сульфидные и углекислые воды... Богатые целебным илом озера Чокрак, Аджиголь, Опук, Тобечик, Узунлар... Грязи Булганакского месторождения... Благодатные золотые пля-

жи...» Обсуждалось и былое безводье, и обводнение степей. С завершением Северо-Крымского канала «можно считать решенными вопросы водоснабжения будущих здравниц».

Оказывается, не за пустое дело придется бороться персонажам романа, не за голую придумку!

Потому что, открывая нехитрый секрет, автор признается, что имел он в виду именно названные места, родные не только герою, а и ему самому. С юности, да и по сию пору, видел он их отличными ото всех мест на свете. Многие читатели узнали в горе Акуб, также «героине» романа, гору Опук. А сверкающему соляными белями озеру, ограничившему кругозор маленькому мальчику, взятому отцом с собой на съемочные работы в раскаленную степь, следует теперь дать имя: это Узунларское озеро.

Всякому работнику свойственно задумываться о существе дела, которому он отдает силы, годы, тем более — жизнь. Литература для литератора не исключение. Приходит пора, когда возникает повелительная потребность подытожить, осмыслить свой опыт.

Что такое искусство, в частности и в особенности искусство слова? Каково место его в обществе, в духовной жизни времени? Писательский труд — какова же нравственная его природа? Обязательства, налагаемые им на выполняющего его?

Книжка «О достоинстве искусства» вышла в 1972 году. Я смотрел на нее лишь как на заявку или вступление к тому, что обязан был сказать. Все последующие годы оказались заняты работой над новой большой книгой — параллельно с окончанием романа, писанием маленьких повестей, рассказов.

В ходе работы многое из задуманной книги публиковалось. Напечатаны «Повести о бессмертных судьбах» (трагический, исполинский образ Рембрандта; последние дни Пушкина; великий певец Украины — Тарас Шевченко: написать о нем я с юношеских лет считал своим долгом; некрасовский «Современник» в самую горячую его пору). Цикл «Творцы» — тут, в ряду литературных портретов некоторых близких мне великих творцов, сказалось наконец и о Лермонтове то, к чему готовился шестьдесят лет.

Рассказал я и о современниках, с кем сводила долгая жизнь.

Я, вероятно, в числе немногих, кто был на последнем выступлении Есенина; не раз видел и слышал Маяковского.

Книга «Вечное мгновение» издана «Советским писателем» в 1981 году.

Но и теперь, оглядывая весь ряд своих книг, я отчетливо сознаю, сколько — и, быть может, самого важного — осталось вне их. Сколько долгов не оплачено. И, признаюсь, не хочется оглядываться — надо смотреть вперед, думая о том, что еще предстоит сделать. Понимаю, как самонадеянно это звучит в моем возрасте. Однако, видно, и впрямь ничто в жизни и работе нельзя, и не должно, считать законченным, пока жив.

Москва, 1981 г.

В. Сафонов

Дорога на простор

РОМАН

На крутой горе, выходившей из безбрежного моря, завиделось несколько глав, кремль и белый столб — памятник Ермаку. Был ранний рассвет. Гуляла и била волна, холодно чуть розовели гребни.

На улицах подгорной части города вода стояла выше человеческого роста, во дворе Дома колхозника плавали лодки.

В тот год, год начала Великой Отечественной войны, уровень в Иртыше у Тобольска поднялся на 951 сантиметр, а возле Увата — на 13 метров.

На гору, к верхней части города, вели Никольский взвоз и лестница в несколько сот ступеней. Говорили, что строилась она руками шведских военнопленных еще в петровское время,— об этом напоминала Шведская арка.

Гряда высокого берега тянулась от города вдаль. Кое-где на ней возвышались холмы. Но даже оттуда, с высоты, глаз не находил края водной глади. Она была бурой, на широких пространствах — желтоватой от взмученной глины, а где глубже, отсвечивала воронено-темным. Коньки крыш и трубы в сбитой пене обозначали затопленные поселки.

Был ясный, погожий день. Но на обрыве рвал ветер, он неожиданно ударял в грудь и в лицо, точно вырвавшись снизу,— там волны сталкивались и, вскипая, языками лизали берег, и свист ветра вместе с их кипением сливался в один голос бури. Время от времени слышался звук, похожий на приглушенный выстрел. Жирно чернел свежий срез обрыва, но то, что ухнуло вниз, уже смыли волны. Корни свисали с обрыва, как исполинские косы. Вдруг ель у среза начинала трястись. Огромное дерево билось, трепетало все — от макушки до комля, с шумом встряхивая ветвями. Оно боролось за жизнь до тех пор,

пока еще держала земля его мощные корни. Лишь когда рушился весь пласт земли, оно сразу утихало, затем описывало вершиной дугу, и раздавался звук, похожий на выстрел.

И становилось понятно, почему так трудно отыскать следы Сузгун-туры, где жила некогда Сузге, жена Кучума, и почему едва ли четверть осталась от горы, на которой стоял Искер — город Сибирь Ермака.

Но отойди от обрыва — и зеленел холм, густо поднималась из земли молодая поросль, и утренний разговор птиц один звенел в тишине...

Там, под падающими елями на холме Сузгун, ближе и яснее делался подвиг могучих людей, совершенный три с половиной века назад на этих берегах. И отчетливее представилась большая, суровая, противоречивая жизнь того, кто вел этих людей,— казацкого атамана — и самое главное в ней, что ее двигало, неотступно гнало, влекло вперед.

РАССВЕТ

1

Подросток сидел у реки. Летучие тени, часто вырываясь из мглы, почти задевали его лицо. Он крикнул на самую смелую из них и взмахнул руками.

— Шумишь чего? — раздался испуганный шепот в стороне.

— Да я им, кожанам,— громко сказал парень.

Настало молчание. В воздухе открылся мутный провал, словно там приподняли и колебали покрывало, и обозначилась плоская водяная поверхность.

Тот же шепот спросил:

— Сколько у тебя?

— Дорт,— по-татарски ответил парень.

Четыре маленькие рыбки лежали на земле, пахнущей прелью, и уже не бились.

— У меня, гляди, пять,— отозвался голос.

Но парню вовсе не показалось, что это много.

— Ушла рыба,— произнес он вполголоса.— Она чует.

— Чего чует? Снизу по воде пальба не дойдет.

— «Снизу»! — насмешливо протянул парень.— Сверху, по волне, ты смекай. Везут, Гнедыш!

На низком берегу, вдоль реки, вода наливала мелкие впадины — бакаи, обросшие ломкой травой — кураем. Бакаи остались с половодья. Долговязый, по-мальчишески нескладный, горбоносый парень встал, поболтал в бакае пойманной рыбешкой. Ил на дне казался белым, вода не мутилась, и мальчика забавляло это. Потом он принялся грызть рыбешку. Она была облеплена липкой чешуей, с привкусом ила, сплошь набита костями. Чтобы заесть ее, мальчик сунул в рот сочную травинку.

— Жуешь, Рюха? — крикнул Гнедыш.

— Курай,— коротко ответил тот.

— Сосет, ой, сосет в брюхе-то,— плачущим голосом сказал Гнедыш.

— Говорю, везут,— сердито перебил долговязый парень.— Хлебушко гонят с верховьев. Ты бачь — светом и будут.

Теперь широко стало видно по реке, и выступили ивы и лозняк на повороте вдалеке.

Огромная пустая степь бурела на том берегу. За нею, на востоке, слабо курилось — занималась заря. И в слабом, но все прибывавшем красноватом свете степь постепенно становилась сизой, вся в росе, как в паутине.

С востока, от зари, пахнул ветер. Он донес далекую протяжную перекличку, и, когда улегся, стала слышна тихая работа воды в тростнике.

— Гнедыш! — позвал парень.

Над камышом показалась круглая голова.

— Ты воробья ел?

— С перьями? — отозвался Гнедыш.

— «С перьями»! Ощипать — и живого.

Круглоголовый плюнул.

— Ну-у... шутишь все. Сосет? Ты терпи. Пожуй белый корень. Терпи, Рюшенька.— И неуверенно добавил, моргая: — Может, все ж приедут нонче.

Высокий парень презрительно передернул плечами. Гнедыш вышел на чистое место, и высокий сказал:

— Я в отваги [1] пойду, Гнедыш. Тут не жить. Зажмурюсь, и все мне — будто я в ладье, и плывет, плывет все

[1] Отваги — охотники, вольные казаки. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

кругом. Батька по морю ходил, сказывал: вот как поле оно — и краю нету.

Гнедыш поежился, разминаясь.

— Мне тятька прочит в станицу, ох, прочит вверх идти, послужить. «Вернешься, бает, в первые станешь».

Он уселся рядом с товарищем. Столб рдяного дыма ударил им в глаза. Высокий парень раздул ноздри.

— А то еще: стоит Алтын-гора и золотом горит на солнечном восходе. Стоит в заволжском поле, а досюдова хватает, так и пышет. Батька бежал-бежал в ту сторону... В отваги пойду вслед его.

Гнедыш помолчал, потом хмыкнул.

— А я табун заведу. Огонь-кони. Азовцы, чуть захочу, серебро чувалами отсыплют. Учуги поставлю — рыбу ловить...

Вдруг прервал, прислушался к чему-то, вскрикнул:

— Рюшка, ай весла?

Чуть всплеснула вода — далеко, тотчас стихло, будто рыба плеснула. Мальчики скользнули в кугу. Зверю не затаиться бы лучше. Утка с кряканьем пронеслась над головами.

Конный человек переплывал реку. Конь вышел на берег, отряхнулся. Одежда на человеке вымокла до пояса,— он не снял, пускаясь в реку, грязные, изорванные шаровары и не подвернул свиту из дерюги. Нахлестнул лошадь, та дернулась труской рысцой, но скоро сбилась на шаг. Видно, немало отмахнула за ночь. Всадник запел хрипло, с выкриками, широко раскрывая рот на страшно посеченном лице. Он запел про волка и волчицу и как выманил волчицу волк на гулянку:

Ешь зайчатинки, волчица,
Казачатинки,
Пей ты алый мед —
Сладкой кровинушки...

Так, кинув поводья, давая отдых коню, проплелся мокрый наездник мимо, и ребята видели его бритое темя.

На дубовом кореню —
Там конец коню...

Ударил коня босыми пятками под ребра, и конь, екая, перешел на короткий галоп. Издалека донеслось:

Ты комарь,
Ты комарь,
Ех, ех!

— С низу охотничек,— кивнул высокий парень.— Верхние не такие.

— До кого едет?

— До Вековуша, пра!

— А его ж нет.

— Тут он. Казаком не буду — тут!

— Тамаша![1] — сказал Гнедыш.

Рокочущий звук, будто дробный топот, донесся по реке.

— Кабаны,— сказал высокий.

Гнедыш думал о прежнем.

— И что в степу, в степу-то деется!.. На низу-то!

Товарищ не стал отвечать, вскочил.

— Айда сома словим!

— Где сом?

— Тут, недалече уследил. Под корягой живет. Враз возьмем.

— Глыбоко...

— Он еще спит.

Туман, припавший на излучине, редел, пелена его рвалась, по реке, наливаясь синью, поплыли круглые облачка.

Когда ребята добежали до места, высокий разделся, кинулся в реку. Вода была оловянного цвета. Омут чернел за трухлявым поваленным стволом. Мальчик вынырнул со слизью водорослей на лбу и, передохнув, исчез опять. Завилась воронка, ее снесло вниз.

Гнедыш подождал, потом, мотнув головой, крикнул:

— Рюха!

В белесом верхнем водяном слое над черным омутом крутились соринки, морщило рябь.

— Рюшка!

Сунулся в воду, она была холодна, и Гнедыш отступил.

Тягостно долгие мгновения он стоял, поджав губы. Очертание тела возникло внезапно из глубины, ударило снизу о поверхность, разбило ее; показались спина, плечи, спутанные волосы; пловец с усилием выбросил одну руку из воды, булькнул воздухом и канул снова. Его голова то чернелась под водой, то расплывалась: так несколько раз он качнулся между поверхностью и глубью и наконец всплыл, ухватился за ствол. Встал, шатаясь. Вы-

---

[1] Тамаша — потеха *(ногайск.)*.

соко поднял над смуглым худым своим телом грузную, усатую, широколобую рыбу, колотившую хвостом. Пальцы мальчика вдавились ей в жабры и в один глаз. Мальчик улыбнулся, тяжело дыша. Он еще ощущал на бедрах напор воды. Сонные стрекозы сидели на стеблях тростника. Ничто не нарушало мира утреннего часа, все было так, как в миллионы других утр, озарявших это место; и капли, падавшие с хвоста рыбы на воду, порождали легкие ускользавшие круги — последний след борьбы.

Лодчонка стояла в заросшей протоке у островка. Мальчики уложили в нее рыбу и шестом поспешно отпихнулись с мелководья.

2

Крыжни летели с востока и трижды подали голос над жильем Махотки. Это случилось вчера. А перед тем казак с поля — из тех, что ватагами и в одиночку с понизовых степей набежали сейчас в станицу,— зашел, посидел, поел сухой черной лепешки (стала и она лакомством!), запил водицей, утерся рукавом, вынул из-за пазухи рваный рыжий колпак и передал с поклоном.

Ждала она по осени, ждала по первой траве, долго ждала, казаку не поверила — поверила птицам. В восточном краю сложил голову ее муж. И, качаясь, она заголосила по мертвому.

Соседка уговаривала:

— Марья, что ты? Жив, может...

Ушла соседка; стемнело, все смолкло вокруг. И тогда женщина притихла и села неподвижно, обхватив руками колени. В пустом углу, в нарезанной куге зашуршало, блеснул в свете месяца скользкий уж. Там место ее сына, там спал он. Подрос птенец и отвалился от гнезда.

Она просидела до утра, наморщив брови,— одна в жилье, одинокая в мире.

Утром прибралась, покрыла голову и, широко, по-мужски шагая сильными своими ногами, вышла на вал — кликать сына.

Мглистая река текла внизу.

Был чист берег реки, где к воде спускался вал, кудрявые заросли отмечали дальше прихотливый бег ее по огромному полукружью степи.

Курганы горбились кой-где, желтея глинистыми, словно омытыми влагой осыпями. И небесная чаша нового дня,

чистейшая, без облачка, опиралась краями на дальние земные рубежи, где все было — свет, и голубизна сгущалась и реяла, как крыло птицы.

— Гаврюша! Рю-ше-ень-ка!..— выкликала женщина и, выкликая, вслушивалась в свой голос.

Ничто не отвечало ей. На просторе не рождалось эхо, жилец тесноты. Лишь пестренькая птичка с венцом на голове — удод — кинула свой остерегающий крик из-за мелких камней.

Женщина хмурилась. Не думала она о том, что делается в станице, не присматривалась, не прислушивалась, а все же чуяла всем существом, как нависло вокруг ожидание бед и грозы. Обманывала утренняя тишина степи. Пришлый народ не умещался по куреням, и всю ночь тянуло гарькой от огней, горевших за валами.

Раздался топот: она обернулась. Конная ватажка показалась из-за изгиба вала. Ехали в городок. На низких ногайских коньках — полные, тяжело отвисшие тороки и турсуки, и кони загнанные, измученно носящие боками, в мыле. Махотка, все так же хмурясь, глядела, как конники гуськом поднимались по узкой тропке к задам богатого куреня Якова Михайлова. Потом подождала немного и кликнула еще. У чьего огня грелся Гаврюша, сын ее, этой ночью?

По склону в тысячелистнике, ощущая спиной тепло красноватого еще света, женщина сошла в ров, уминая босыми ногами жирную прохладную свежеразрытую пахучую землю. Уцепилась руками за край рва, напрягшись, легла животом на край, встала и пошла к каменьям, где птичка в венце, оберегая для одной себя степной покой, кричала: «Худо тут!»

Права птичка! Тут-то и увидела казачка Махотка недоброго человека. Скорчившись, он копал землю ножом.

Почему поняла она, что не просто копал он, а с воровской ухваткой? Не раздумывая, не прикидывая, как поступить, женщина распласталась за камнем.

Человек казался знакомым, но низко надвинутая шапка мешала разглядеть его лицо. Нож не лопата — копал торопясь, но долго. Что-то еле слышно звякнуло, человек достал то, что выкопал, укрыл под полой и тотчас, не закидывая ямы, будто гуляючи, пошел прочь; пошел к балке, сухому отвершку, падавшему в реку. Шел смело, беззаботно, только раз мельком оглянулся.

А Махотка, согнувшись, по высоким травам перебежала к реке и берегом, хрустя ракушками, заспешила к устью балки.

На лысом мыске сидел другой человек. Сидел он как-то скучно, как бы в долгом ожидании, голову подперев руками, чернявый мужик в посконном зипуне, с покатыми плечами. «Двое!» И на миг остановилась казачка. Затем, чтобы миновать второго, вскарабкалась на кручу.

На юру бежала, пока не открылась балка. А тот, с воровски оттопыренной полой, уже спускался по тропе. Оседланный гнедой стоял под обрывом.

Казачка увидела выбеленный дождями лошадиный череп на дне балки, узловатый, обглоданный куст дерезы, к которому был привязан повод, и рябое лицо вора: то был Савр, прозванный «Оспой», ясырь, пленник казака Демеха и Демехов табунщик. И, вскрикнув по-бабьи, Махотка с маху сверху, с обрыва, кинулась на него, смяла силой удара.

Огненные искры брызнули перед ее глазами, она не слышала, как со звоном покатилось то, что было под полой, и всю силу жизни своей вложила в пальцы, давившие, душившие потную шею Савра Оспы.

Сбитый с ног, полузадушенный, он извернулся змеиным движением, мелькнули белки его глаз, и нестерпимо больно стало женщине, когда собачьей хваткой зубы Савра вцепились ей в грудь. От боли померк и почернел солнечный свет в глазах Махотки, но упоение борьбы хлынуло, затопило ей душу. И не сразу заметила она, как чья-то тень пала на нее и на Савра.

Человек с мыска стоял на краю балки — теперь он казался совсем иным человеком.

Он стоял, уперши руки в боки, широкоплечий, чернобородый, рубаха распояской. И казачка узнала его: Бобыль, а еще — Вековуш. В станице его давно не видать было — откуда ж взялся тут?

Один миг длилось все это. И в этот миг она напряженно силилась разгадать: с чем пришел? Мог с чем угодно: самый непонятный казак в станице. Мужик с бабой борются-играют,— любопытствовать. Или с Оспой заодно?

Оспа тоже заметил его, разжал зубы.

— Чего ж ты его? — весело спросил Бобыль женщину, блестя чуть раскосыми глазами, и спрыгнул вниз.

Оспа забился, заерзал и, давясь, взвизгнул.

— Люта... скаженна...— разобрала Махотка. Сама же

она не могла выговорить ни слова: у нее перехватило дыхание.

Бобыль с любопытством нагнулся и взял Савра за руку, из руки вывалился нож. Ясырь вдруг мелко, жалко затрясся всем телом. Рука его дернулась ко лбу, к груди, к плечам. Значит, хотел креститься.

— За что мине? Чужого не надо. Грек генуэз зарыл. Я тоже грек генуэз, свое копал...

Чугунный котелок валялся рядом, и позеленевшие, грубо обрубленные монеты выкатились из него.

— Собери,— услышала Махотка властное слово чернобородого.

И послушно, оправив исподницу, женщина принялась собирать монеты в траве.

Бобыль озабоченно оглядел Савра. Приподняв, он вытряхнул его из верхней одежды. Под ней было еще многое, надетое, видно, на дальнюю дорогу. И ясырь жалостно, тонко завывал, пока Бобыль срывал с него одежки одну за другой.

Казачка опять услышала властный голос:

— Где нащупаешь — вспорешь.

Дивясь тому, что прежде никогда не слышала такого голоса у этого чернобородого мужика, она подняла с земли нож и усердно занялась рухлядью, пропахшей человеческим и лошадиным потом. Торопливо, охотно делала все, что велел этот мужик.

А Бобыль измерил глазом ничком лежащего, голого жирно-гладкого человека и скрутил его арканом, смотанным с седла его же коня.

— Так ладно.

Не помогла Савру Мухамедова молитва в грязной ладанке на шее. Больше он не прикидывался греком, блея, причитал по-татарски и затих, когда из вспоротой полы казачка достала кусок бумаги в арабских письменах.

— Демехов клад отрыл,— сказал Бобыль,— за то казнь. А письмо паше везет — есаул дознается, от кого письмо.

И опять все хозяйски оглядел.

— Так ладно. Седай на конь, отволочишь в станицу, к есаулу.

Женщина была горда и счастлива, дышала сильно и ровно; ничего сейчас не боялась и за сына, легко подумала: «Время-то какое — казаковать пора»; сгинули, как не бывали, мысли о своем одиночестве в мире. Но, стыдясь радости, потупилась, отвернулась от голого ясыря.

— Ой, да не знаю ж я. А ты?

Казак с чуть приметным озорством шевельнул бровью.

— Мое дело, свекруха, тут. Что делаю — не тебе ведать. А и повидала меня — зажмурься да отворотись. Гадюку же ты оборола — тебе и тащить.

И пошел быстрыми шагами — недавний, чудной гость в станице, гулевой, говорят, а будто и не похоже, тихий. Махотка вспомнила всадников на низеньких конях с тяжелыми тороками у седел — как въехали они на михайловские зады.

Да ведь не мог он быть среди тех всадников, раз он сидел на лысом мыске!

3

Уже замолкла протяжная ночная перекличка караульных, возглашавших, по обычаю, славу городам, уже гремел майдан и проснулись все спавшие на нем, когда вымахнул на вал босоногий человек. Он проехал мимо землянок, шалашей-плетенок и низких мазаных хат, и все смотрели на страшно посеченное его лицо, и рваную дерюжину одежды, и черные, тяжко ходившие бока его лошади.

— Браты! — завопил он еще с коня.— Казаки-молодцы! Беды не чуете! Дону-реке истребление пришло!

Толстый казак, сидевший на земле, не подумал посторониться. Кидая правой рукой кости для игры в зернь, он протянул левую и без видимой натуги нажал коню под ребра, и тот откачнулся. Не поднимая головы, заинтересованно следя за раскатившимися костями, толстый казак сказал тоненько, бабьим голосом:

— Здрав будь, отче пророче! Откуда взялся? Косой принес заячьи вести.

Приезжий распахнул свою дерюжину. Длинный багровый рубец с запекшейся кровью тянулся вкось по его груди.

— Слушайте, люди добрые! — прокричал он.— Волки обожрались человечиной. Ратуйте, души христианские! Паша Касимка идет с янычарами, полста тысяч крымцев за ним. Струги плывут с Азова, в них окованы гребцы христианские. Народ посек, города пожег, казаки в степи бежали. Ратуйте, люди добрые!

Не было тут человека, который не слышал бы уже о турецкой беде. Недаром сбился народ в станицу-городок, где был крепче вал и больше мазаных хат кругом просторного майдана.

Толстый казак сказал:

— А вот ратую, толечко кость еще кинуть...

Он был в шелку, в атласе, в побрякушках,— узорный кушак, женское ожерелье на шее. И во всем своем убранстве он так и сидел прямо на рыбьей чешуе и всяком мусоре, какого было вдоволь у края майдана.

Но было новое в выкриках приезжего и в страшно посеченном его лице. И уже собиралась толпа вокруг лихого вестника, поднимали головы те, кто плел сети; щелкнуло надвижное оконце в одной хатенке, и через щелку глянула закутанная женщина; лезгинка, она не открывала лица.

Близко Касимка, рассказывал вестник. Близко. Где мелко на реке, пушки берегом на людях волочит. Водой и степью идет беда. От веку, как Дон стоит, не бывало такого; на станицу катит. И канаву с Дону на Волгу рыть зачал,— должно, в Астрахань плыть вздумал!

Опять раскатились кости, и толстый казак, крякнув, стал снимать золотом шитый сапог. Без особого недовольства он кинул его сидевшему рядом полуголому человеку.

— Эдак ты меня, друг, кафтана лишишь. А на что тебе кафтан, когда паша, гляди, Дон вспять поворотит и солнышко под полу спрячет? А что ж вы, храброе воинство понизовое, пашу за рукав не придержали?

Тут впервые приезжий обернулся на бабий голос.

— За рукав, говоришь? Мы-то бились, да напоследках меня сюда заслали — чи не приведу ли тебя, сокола.

— Вот то добро. Я в ладье один, слышь, через бом плыл. В Азове. Ты слушай! Чепи в пять рядков поперек реки, а с боков из бахил бахают. Ого, братику! Он пульнет, а я под чепь.

Но гул и гомон голосов перебил его, и вестник отворотился, вытер пот со лба.

— А еще что скажу, то одному Чернявому,— добавил он негромко, устало.— Хлебушка, казаки, кто подаст?

— Эге, хлебушка! Вот и ждем — привезут.

— А чего же не везут?

— А бес их знай! Может, гневятся.

— На Руси боярство дюже гневливое.

— Атаманы, может, самому не потрафили.

— Самому-то?
— Руки, вишь, до всего дотянуть захотел.
— Небывалое дело!
И пропищало с земли:
— Ты по пылу, по шану [1] на шляху погадай, отчего не везут. А то нам далеко, отсюда не видать. И горы нет, чтобы взойти да прямо в Москву глянуть; место у нас ровное, степь кругом.
И толстый казак в одном сапоге стал подниматься, стаскивая шапку с кистью, и, когда поднялся, своей огромной круглой головой, которой сближенные глаза придавали диковинно-птичье выражение, пришелся почти вровень со всадником. Подал ему шапку:
— К башке приторочь — в чурек спекешься!..
Всадник поглядел на шапку и на хозяина ее и только сплюнул: бывает же на белом свете этакое диво!..

4

Мальчики пробирались прямиком, через камышовые плетни, ограждавшие курени домовитых казаков. Ощущение голода, который нельзя насытить рыбой и съедобными корнями,— особенного голода: тоски по хлебу, по раскатанной твердой с пыльно-мучным запахом лепешке, по крошеву в воде, по хрустящей на зубах корке,— не покидало их.
Дважды взошло солнце с тех пор, как у Гаврюхи во рту побывал землисто-черный, свалявшийся, как седельная кожа, кусок, который отломила мать от лепешки, спрятанной в золе. Но подводная охота, о которой напоминал перекинутый через плечо сом, потряхивая головой и хвостом при ходьбе, свежесть глубокой воды, оставившая сладкий холодок между лопатками, и теперь ожидание того нового, небывалого, что (Гаврюха уверен был) сделает нынешний день не похожим на все прежние дни его жизни, наполняли его ликованием.
В куренях людно; говор, ржание, звяканье оружия раздавались оттуда. Курился кизячный дым, женщины хлопотали в хатах с растворенными дверями и возле очагов, из грубых камней, сложенных посередь дворов. Невольники-ясыри охаживали запаленных лошадей.

[1] Шан — пыль *(ногайск.)*.

Всю станицу знал Гаврюха как свою ладонь, каждый куст татарника рос, знакомый ему. Но вот эти двое — кто же они? А сидели они по-домашнему, в исподнем, с непокрытыми головами среди подсолнухов, неподалеку от пчелиных колод нырковского куреня. Лица у обоих были изборождены глубокими, почерневшими от долгих прожитых годов морщинами...

Несколько поколений родилось, оженилось, да и отошло с тех пор, как молодыми казаками уехали они с Дону. А теперь вернулись оба — один с западного, другой с восточного поля,— вернулись на Дон, и мало кто узнал их... Да и они мало кого узнали, кроме друг друга.

Один говорил:

— А медом я и сыт. Бабоньке толкую Антипки-внучка: «Ты б чуреков альбо чебуреков напекла». А она, бабонька Антипки-внучка, не слушает ни в какую: турмен [1], бает, сломался, а скрыни зайцы прогрызли. Так я давай того меду — и ополдень, и в вечер, и с третьими петухами. А проснулся: что-то мухи пуп весь засидели? Колупнул — мед!

Другой отвечал:

— Меня ж, сват, так рыбой отпотчевали, что заместо людей все чебаков да сулу [2] вижу. И на тебя, сватушка, погляжу — гуторишь, а ровно рыба хвостом махает.

— А привезут же!

— Привезут. А как же!

— Казачий корень не выморишь. Кто не даст Дону, к тому мы, Дон, сами пожалуем, приберем!

— И на пашу, и на крымцев с янычарами укорот найдем.

— От века непокорим Дон-река.

— И до века непокорим!

Радуясь единомыслию, старики вместе крякнули.

Тут рыба сом встала на хвост над стенкой меж подсолнухов и, разиня рот, трижды поклонилась.

Схватив палку с крючком, побежал к стене старик, окормленный рыбой.

— Шайтан, нечистый дух!

Мальчики улепетывали за угол.

Шумел и шумел майдан, хоть не видно было уже лихого вестника.

---

[1] Турмен — мельница *(тат.)*.

[2] Чебак — лещ, карп; сула — судак.

Врозь пошли и зашатались казачьи мысли, как челны без руля, затомились души, смущенные грянувшей с юга бедой и непонятным безмолвием севера...

— Что делать будем?

— Свинца, пороху нет. Камчой обуха не перешибить...

Мелколицый парень шепеляво выкрикнул, будто хотел достать голосом на тот берег реки:

— Етпеку с вешней воды не ашали! [1]

Грузный казак с птичьими глазами сидел уже бос, без кафтана; но шелковый кушак все еще опоясывал его. Никто больше не хотел играть с исполином, и он сам для себя бросал кости, внимательно следил, как они ложились, кивал головой без шапки, цокал языком и все рассказывал, не заботясь о том, слушают его или нет:

— Пульнет, а я под чепь... Ты слушай, братику. А я под чепь, а я под чепь. Так и пробег весь бом у Азове. А после — к паше в сарай. Караул мне что? Я их — как козявок. Яхонтов да сердоликов в шапку, а тютюну в кошель. А на женках пашиных халатики поджег. То они и светили мне на возвратный путь.

Кинул опять и, пока катились кости, ласково приговаривал:

— Бердышечки, кистенечки, порох-зелье — веселье...

Сивобородый казак Котин, глядя на нестерпимый блеск реки, тихо говорил трем казакам, сидевшим подгорюнившись — кто обхватив руками колени, кто щеку подперев ладонью:

— А хлебушко — он простор любит, в дождь растет, подымается, колос к колоску, зраком не окинешь, в вёдро наливает зерно...

Мелколицый шепелявый парень Селиверст улегся рядом — бритым затылком на землю, выцветшими глазами уставясь в небо. Будто ужалили его слова Котина.

— Не шути, шут! Соху на Дон зовешь? — Вышло у него не «зовешь», а «жовешь».— Тля боярская, не казак!

Вдруг странно стих конец майдана. Что-то двигалось там в молчаливом кольце народа. Женщина, верхом на коне, медленно волочила голяка; он силился приподняться, жирный, белый, и валился на живот, сопротивляясь волокущему его аркану змеиными движениями всего тела.

---

[1] То есть хлеба не ели (искаж. *тат.*).

Сдвинув брови, женщина направила коня к есаулову куреню. Она подала есаулу кусок бумаги, исписанный арабскими буквами, и чугунок.

Вот так Махотка, вдова безмужняя! Муж, все знали, кинул ее, ушел на восток, жил с рыбачкой на Волге и сгинул. Цокнул языком, головой покрутил отчаянный игрок и, забыв про кости, встал, вытянулся во весь свой немыслимый рост — чудо-казак. Баба, черная, здоровая, ничего, что худая в грудях. Ай да баба!

Гаврюха же перебросил товарищу рыбу, быстро шепнул:

— Подержи. Матка-то!...— И шмыгнул в кольцо народа.

Уже слово «измена» прокатилось по майдану. Было оно как искра в порохе. Голый, в кровоподтеках, Савр Оспа валялся в пыли. Но кто писал, кто мог написать ему турецкое письмо для Касима-паши? Измена в станице!

Три казака схватили Оспу. Гаврюха видел, как ясыря потащили к столбу под горой. Обернулся к товарищу:

— Гнедыш! — А Гнедыша с сомом и след простыл.

Слышно было, как Оспа визжал и бился до тех пор, пока казак, прикручивавший его к столбу, не сорвал с себя шапку и не заткнул ему ею рот.

5

Ударила пушка — черный клуб вспучился на валу, отозвались пищали.

Сверху на речную дугу выбегали стаей суда. На головной каторге трубят, будары[1] сидят низко, бортами почти вровень с водой, отяжеленные грузом. Из чердака каторги вышел желто-золотой человек, стоит прочно, расставив ноги. А вокруг вьются струги, стружки, ладьи; там палят, поют и трубят, плещут весла. Целый водяной городок пестро бежит вниз мимо черных шестов учугов — рыбных промыслов.

Ударили в ковш на майдане. Весь город тут как тут; бабы поодаль, не их то дело. На пустых улицах остались копаться в мягкой пыли самые малые ребята, голопузые сорванцы.

---

[1] Каторга — гребное судно; будары — грузовые барки. Бывали и очень большие будары. Каюты назывались чердаками.

По крутой дороге шли с реки атаман с булавой, есаулы с жезлами. И рядом с атаманом, впереди есаулов, шел длинный, весь парчовый человек. Он искоса поглядывал по сторонам— верно, занимательно было ему поглядеть,— но воли себе не давал, шел осанисто, откинув назад красивую мальчишескую голову.

Все прошли в середину круга. Там он снял шапку-башню, и, когда на все стороны кланялся честному казачеству, рассыпались русые кудрявые волосы.

Круг на миг замолчал, потом сдержанно загомонил:

— Небывалое дело!

— Стариков принимали.

— Поношенье Дону — мальца слать...

Гость невозмутимо надел шапку и, кивнув дьяку, властно откинул голову. Дьяк развернул грамоту и стал читать:

«От царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича. На Дон, донским атаманам и казакам. Государь за службу жалует войско рекою столбовою, тихим Доном, со всеми запольными реками, юртами и всеми угодьями. И милостиво прислал свое царское жалованье...»

Жаловал тем, что и без него имели. Но это был торжественный, по обычаю, зачин. Самое важное: хлеб, порох, свинец — тут, в бударах; борта их еле выдаются над водой.

Дьяк не остановился на милости. Длинную грамоту московскую наполняли бесконечные «а вы бы», «а мы бы». Казаки не все понимали в приказном велеречии. Но поняли: за милостью шла гроза. Царь корил донцов: по их винам, буйству и своеволию султан Селим и хан Девлет-Гирей двинулись на Русь.

И дьяк повысил голос, когда дочел до того места, где царь требовал схватить главных заводчиков и смутьянов.

Круг загудел. Между степью и турецким султаном стоял мир, приговоренный московскими дьяками. Но непрочно стоял этот мир.

Азовцы, торговавшие в ближнем казачьем городке коней, кончили торг тем, что выхватили кривые сабли. Выехали казачьи дозорные станицы, да так и не воротились. Нашли казаков посреди степи, уши и носы отрезаны, глаза выколоты, иные же станичники и вовсе сгинули — верно, в Кафе, под желтой горой, возле старой генуэзской

башни, где тесно фелюгам у причалов невольничьего рынка, ищи их...

Сети казацкие на реке Дону изодрали азовцы, крича: место-де наше, а не ваше, вам больше не ловить рыбу, где лавливали, а убираться восвояси вверх по реке.

«Размирная!» — раздалось в городках. Азовцев, правда, шуганули и сети вновь поставили на старом месте. Но только и всего...

А султан Селим решил по этому случаю перевести казачий корень. Москва-то теперь не вступится — не до того Москве.

Касим-паша выступил с янычарами, а хан Девлет-Гирей пригнал ему пятьдесят тысяч крымцев. Царь же виноватил казаков и клал свой гнев на заводчиков смуты.

Дьяк дочитал.

— Любо ли вам, атаманы-молодцы?

Так, по обычаю, спросил атаман Коза и выступил вперед.

— Что же, мы царю не противники. Поищем, поищем смутьянов да забияк.

Помолчал, подергал ус и прибавил:

— Только, слышь, господин, с Дону выдач не бывает.

Хвост белого коня висел на шесте рядом с атаманом. Этот хвост на шесте — бунчук — означал волю.

Царский посланец упрямо тряхнул головой. Звонким еще не по-мужски, но сильным, твердым голосом он крикнул, впервые открыто разглядывая гудевший круг:

— Вы, низовые! Воровать оставьте. Верную службу великий государь помнит. Ослушники да устрашатся государевой грозы!

Смелые слова, непривычные для здешних ушей. Внизу на реке стояли будары, полные хлебом. Он и не думал еще разгружать их. Хлебный караван посреди голодного своевольного люда! Но настала пора скрутить Дон, смятенный турецким нашествием.

Понимал ли этот посланец, кого дразнит, с каким огнем играет? Не о двух головах же!

А он, сказавши, спокойно выжидал и, длинный, поверх толпы разглядывал, теперь уж не таясь, крыши, улицы, желтые подсолнухи.

Какая сила была за ним, что позволяла она ему, беззащитному, разговаривать с Доном так, как не посмел бы паша со всеми своими крымцами и янычарами?

— Кто же таков? Какого роду? — спрашивали в толпе.

— Волховский, что ли. Князь Семен Волховский...

Дед Антипки-внучка, тот, что добыл мед из собственного пупа, сказал:

— Из новеньких. Древних и не слыхивали таких. Болховской, может?

— Волхов-река в Новегороде,— запищал птичьеглазый исполин.— Оттель, значит. Князь из Новагорода. А князей-то там не жаловали.

И, убеждая, таинственно нагнулся к соседу:

— Ты мне верь. Я сам боярский сын. Не знал?

— О! Бурнашка? — захохотал сосед.

— Эге. То для вас — Бурнашка. Имя скрыл свое. А я Ерофей. Ерофей Ерш, Ершов. А вы — Бурнашка Баглай!

И задние захохотали, в то время как все громче гудело в передних рядах.

Посланец перевел глаза на Козу: огромный, рыхлый, с бритой головой. Для атаманов привезено цветное платье, да неизвестно, налезет ли оно на такого.

Коза юлил. Он заговаривал неторопливо, долгий опыт подсказывал ему, что, живя не спеша, выигрываешь время, а это во всех случаях бесспорный выигрыш. Коза пошучивал, крутил ус.

Он был немолод, жизнь не прошла даром; ему хотелось в спокойствии и достатке, в чистом курене, у тихой воды беречь атаманскую булаву. От Москвы идут службы и выслуги. Не холопьи службы, а вольные казачьи, с почетом, с торговлишкой при случае и тоже с добрыми дарами,— он ведь догадался об укладке с цветным платьем, что стояла на боярской каторге.

Но не следовало прямо об этом. Слишком голодными глазами смотрит голытьба в кругу; не у всех просторные курени, табуны да учуги, и вовсе не для них привезена укладка.

Он говорил, а гул и гомон росли в толпе. Ловок гость! Всю реку подмять задумал. Коготки-то железные... Не все родились на Дону, многие вдоволь хлебнули смердовой доли. И где же царево жалованье? Ведь не посланцу оно дано, а войску. Что же хоронит он хлебушко в своих плавучих гробах? А Коза, атаман,— почему не выложит он все мальцу прямиком?

Кто-то заливисто свистнул. Передние подались вперед, круг глухо сжался, стало слышно дыхание людей.

— Зубов не заговаривай. Режь, что мыслишь, на то тебя атаманом становили.

— Шапку, князь, с головы перед казачеством! Товариство, разгружай будары!

Князь нахмурил тонкие брови и вдруг шагнул вперед.

— Вы что, мне обиду чините? Не мне — великому государю! Вот он я. А ну хватай! Руси не схватишь — то попомните.

И помолчал, глядя в лицо передним. Потом как о деле решенном:

— А про заводчиков — выдавать ли их или своим судом осудите — думайте.

Между молотом и наковальней почувствовала себя бездомовная, сбившаяся сюда из низовых городков и из степи буйная толпа, но не покорную робость, а ярость родило в ней отчаяние. Не от крика, а от бешеного рева шатнулся теперь весь круг, и уже страшное, бесповоротное «сарынь, веселись» голытьбы вплелось в рев, и десятки глоток готовы были подхватить это, как, расталкивая, распихивая сгрудившихся, вырвался в тесное пространство внутри круга казак в сером зипуне.

6

Все узнали его. И, видимо, многие как-то по-особому знали его, хотя был он невзрачен, недомовит, в станице появился недавно, неведомо откуда, и живал в ней мало, исчезая неведомо по каким делам, а то, что́ живал, держался в особицу, вовсе один, не касаясь будто ни разбойного своеволия гулевых, ни казацкой старшины.

И таким внезапным, как снег на голову, оказалось и самое его появление, и выход в круг, да еще как раз в момент, когда вот-вот — и все бы смела бушующая буря, что утих рев и опало напряжение, найдя временный выход в любопытстве, сразу разбуженном у подвижной, не знающей сдержек степной вольницы. И только пчелиное жужжание круга показывало, что пламя не потухло, а просто на несколько мгновений приглушено.

Чернявый казак в кругу кинул шапку оземь, ударил в ноги казачеству, поклонился атаману и посланцу.

— Бобыль!

— Вековуш!

Блестя глазами и белыми зубами в бороде, казак в кругу сказал:

— Дело тут на крик пошло. Ты, господин, молод, ломишь, а не гнешь; казачество соломиной не переломится.

И весело, не замечая хмурого лица князя:

— Да не дивись, что хлопцы, не обедавши, шумят. У нас на Дону сытно привыкли жить, не взыщи. Так уж дозволь, атаман, покормимся хлебушком и варевом. Без пирога какая беседа!

И тотчас, словно по этим словам, распахнулись ворота куреня неподалеку на улице. То был курень Якова Михайлова. За воротами на дворе виднелись лари, запорошенные мукой — будто побеленные. И еще больше ахнули в толпе, когда вышел за ворота человек со страшно посеченным лицом, вестник, и отчаянно, как утром на майдане, выкрикнул:

— Заходи, казачки, давай торбы и чувалы, Яков — казак богатый, избытка не жалеет!

Иные казаки, из тех, кому особенно подвело животы, кинулись с майдана. Бабы заспешили к михайловскому куреню с ведрами, с торбами, с ряднами, с горшками — что первое попалось под руку.

У ларей оделяли с разбором. Иных ворочали: «Пошарь дома в скрыне».

Казалось, что до всего этого не было никакого дела чернобородому казаку в кругу. Про свои слова он, видимо, вовсе забыл, а может быть, ничего такого те слова и не значили — просто так сказалось да случаем к месту пришлось. А Коза тоже если и дивился чему-нибудь, то все же остался невозмутим. Недаром же он был атаман и знал, что править казацким кругом — это не то, что вести каторгу по тихой воде. Дик и своеволен круг, точно конь, не ведавший узды,— зачем становиться ему поперек? Да и доискиваться смысла иных удивительных его скачков — ни к чему, пусть скачет туда и сюда. Отойди в сторонку — в том и есть мудрость. Только, как скакнет в ту сторону, какую выбрал ты, надо подойти и незаметно обротать — так, чтобы пошел он дальше туда, куда ведут атаман и старшина.

И Коза сонно поглядывал узенькими, прищуренными глазками поверх одутловатых кирпичных щек и неторопливо сплевывал. Вон этот прикидывается серячком, а по слову его отворяются неведомо откуда взявшиеся лари на дворе спесивого Якова Михайлова. Муки там, конечно, не

так уж богато, да и откуда взялась она — тоже известно: что ватажка на запаленных конях на рассвете задами въехала в михайловский курень, какая же в этом тайна для атамана! Богат Михайлов, но зоркому давно видать: не одним своим богатством богат; ему бы к старшине льнуть, а он и к гулевым тянет — неспроста! Да и то подумать: не дешево стало в такое-то голодное время нашарить по верховым станицам хоть сколько-нибудь хлебушка. Уж, верно, не одно свое серебро выкладывал, а еще чье-то. Так пусть же Бобыль прикидывается серячком: чего бы ни хотел он и чего бы ни хотел задорный мальчишка-князь, куда бы там в кругу ни гнули, но крик стих, и время выиграно, а это то, чего хотел Коза.

Молодой царский посланец (и любит же молодых царь Иван!) не научился еще владеть собой, как мудрый атаман Коза. Князь все больше хмурил тонкие, красиво изломанные свои брови и покусывал короткий ус. Что удивительные лари спасли, может быть, самую жизнь его, про это он вовсе не подумал и даже в душе не благодарил того, кто этими ларями отвлек толпу. Сколько там было муки и откуда она, князя не интересовало. Он только с сердитой досадой соображал, что хлебная раздача оказалась ловким ходом: много ли значат сейчас в глазах этой легковерной, минутой живущей толпы все неразгруженные будары на реке!

А зипунник, весело осклабясь и блестя глазами, как ни в чем не бывало говорил:

— Слышно, господин, верховые казачки землицу ковырять зачали. И уж будто воеводы лапоточки напасли для них. Только напрасно поспешают воеводы... Еще и другое говорят: немало-де смердов подаются на Дон, от бед освобождаются, а животишки боярские жгут, приказных же...— Тут он совсем озорно подмигнул дьяку: «не про тебя молвить, дьяче»,— за ноги подвешивают приказных. Клязьма, мол, подымается, Ока, Тверца да Унжа.

Вон про что скоморошит смерд-зипунник! Година неимоверных страданий пришла для родины, для Руси. Тяжко метался дивно светлый разум царя, чтобы найти исход из бед, часто изнывал в тоске царь, надрывались в непереносимом боренье его силы, темный гнев омрачал его... Гибли на западе, в Ливонской войне, русские рати. Паша и крымцы шли не только на Дон, но и на Астрахань: верно, решили, что самое время ударить по становому хребту новой Руси, по реке Волге. В сердце же стра-

ны страшную, неслыханную крамолу ковали княжата. Вот от нее зашатался Новгород... А мужичий люд — руки государства. В суровую годину работать, работать рукам — в том спасенье, помимо того — гибель. Голову ль тут винить? И о чем скоморошья радость зипунника: о бунтах? Праздные разбойные души, сытые чужим хлебом!:.

— ...Не знаем, господин, верно ли то, от нас далеко, мы степняки. Только, думаю, не время вам с Доном переведываться. Низовые, сам смекаешь, вор на воре, чуть недоглядишь — ищи-свищи бороду под мышками!

И он присвистнул и, расставив ноги, захохотал, играя раскосыми глазами.

С высокого майдана через шедший ниже по кручам вал в речной стороне князь видел часть огромного, словно приподнятого по краям круга земли, у дальней черты бежали струи воздуха, где-то поднялся ветер, и медленно двигался столб праха. Ярким солнечным светом залиты очеретяные крыши, подсолнухи в рост их, землянки-копанки. Человек мало построил на земле, строение его непрочно, вот на ней, как искони, пустота, тишина, и ветер, и порождение их — эти люди, живущие в норах, как суслики, ярые, как вепри.

И с юношеской нетерпимостью высоким, дрожавшим от гневной обиды голосом князь крикнул:

— А вы не Русь?

Зипунник вдруг погорбился:

— Как же не Русь? Эко слово сказанул... Аль мы без креста?

И сразу неузнаваемо выпрямился, скинул долой, к шапке, и зипун.

— Твои, что ли, полки стерегут поле? Не-ет! Мы стережем! Мы оборона вам. И вам бы встать на защиту нашу.

Поднял сжатый кулак, оборотился к народу, затем, в два шага подойдя к князю в упор, зычно, как бы от всего народа, не прося, а точно веля, сказал:

— Вооружи войско. Всю реку подымем! В степях заморим Касимку!

И сразу же опустил плечи, тихо, ласково прибавил обычное на Дону присловье:

— Зипуны на нас серые, да умы бархатные.

Чуть заметно поморщился Коза: дикий конь опять готов скакнуть в сторону, настала пора его обротать.

Коза сплюнул в последний раз.

— Ин ладно. Казаки — под рукой государевой. Нас не обидьте, а мы отслужим по обычаю своему, ты, князь, не бойсь. Вы — нам, а мы — вам.

Он сказал это как раз вовремя. У михайловских ларей народ смешался, бабы орут. Звонкий юношеский выкрик: «Сыночков оделяешь, а пасынков — вышибать со двора!»

А пока Коза говорил, чернобородый казак незаметно вышел из круга. На улице худенький парнишка вскочил — шапчонка так и осталась на земле,— кинулся к нему, видно, долго ждал, да оробел, остановился.

— Ты что?

— С собой возьми! — выговорил парнишка.

— Куда ж брать-то? Я — вот он!

Парень проговорил быстро-быстро, как заученное:

— Язык пусть вырвут — молчать буду... Тесно мне. В отваги возьми.

Казак с любопытством смотрел на него.

— А мне вот не тесно. Марьин сынок?

— Ильин! — Парень вспыхнул. С вызовом спросил: — Мать, что ли, знаешь?

— Знакома. Где гулять собрался?

Мучительно покраснев до корней вихрастых волос, сердито сдвигая белобрысые брови, пролепетал:

— Алтын-гору сыскать...

Казак щелкнул языком.

— Далече!.. Разве ближе службишку?..— Но так засияли глаза парня, что казак вдруг серьезно сказал: — Но-не сбегаешь к деду Мелентию. Ныркова Мелентия знаешь?

— Дед Долга Дорога! В станице он, как же!.. Бродяжит... Нырков? — вдруг смутился парень.— Да я же...

— У меня: говорю — слушают. Отвечают — что спрошу. Передашь Мелентию: *хозяин работников кличет*. Быть ему...— Казак глянул на небо, прикидывая: — Засветло — не сберем, до утра прохлаждаться не с руки... В полночь в Гремячем логу! *Укладки* мне нужны да *юшланы*. Понял?

Парень поднял горящее лицо. Казак досказал с ударением:

— Что ныне перемолвим — завтра ветру укажем по полю разнести. Тайны тут нет. А тебя — пробую. Лишнего не выпытывай и болтать не болтай. У меня рука, гляди, во!

— Всё, как велишь...

— Постой, не бежи! Огоньки пусть засветят в Гремя-

чем — полевичкам виднее. Повестим их, значит. А Мелентий пущай... тебя, что ли, пущай с собой приведет. Только уж в мамкин шалаш до ночи — ни-ни, гляди!

— Дорогу в курень забуду.

— Эк ты! Дороги домой николи не забывай, парень. Шапку возьми.

Казак остался один. Рукавом отер пот с лица, оно было пыльным, усталым. Сел. Снял расхоженный сапог, размотал подвертку,— на ноге кровоточила ссадина.

Протяжный, унывный, послышался вдали женский голос:

Ой, там, да на горе зеленой...

Встрепенулся казак. Вскинул голову, глаза сощурились. Лилась песня и сливалась со стрекотней кузнечиков — широкая, как сожженный солнцем степной круг.

Мураву-траву вихорь долу клонит...

Слушал неподвижно, окаменев лицом, сжав губы. Потом обулся, разом поднялся, поправил шапку и сильным, твердым шагом зашагал прочь.

А на майдан донеслись плеск и хохот с реки. Вся она была в ладьях и стружках, парусных легкокрылых и весельных. Табун коней шумно вошел в воду, голые люди сидели на лоснящихся конских спинах. Вот оно, казачье необычайное конное и водяное войско!..

Князь поглядел на будары, которые сейчас он велит разгружать.

Вверху, в нетленной синеве, таяла легкая пена облачков.

РАССТАВАНИЕ

1

Красный одинокий глаз отверзся в ночи, и верховой направил на него бег коня: дробный топот наполнил смутно темневшую, сильно, по-ночному, пахнущую травами степь, еле уловимой чертой отделенную от густо засыпанного звездами неба.

Скоро стал различаться костер за бугром, дальше зияла черная пустота; там, невидимая под кручами, была река. Несколько человек сидело и лежало у костра.

— Здорово ночевали! — сказал верховой, спрыгивая с лошади.

Зорко, исподлобья он всмотрелся в людей. Признал двоих: деда Долга Дорога, бродяжку, который вот только пожаловал в станицу, после того как все уж и думать забыли, что есть он на свете, и Гаврюху Ильина, сына нищей вдовы. Прочие были не станичники,— полевиков теперь полным-полно. Только одного видел раньше — человека со страшно посеченным лицом.

Никто не ответил, никто не подвинулся, чтобы дать место у огня. Лишь один из лежащих повернул голову и угрюмо покосился.

Путник, не выпуская из рук длинного повода, присел на корточки.

Люди продолжали свой разговор, скупо роняя слова, часто замолкая. Они говорили обиняками, и гость, потупясь, чтобы казаться безучастным, напрасно ловил смысл их речей.

Они считали какие-то юшланы (кольчуги).

— Пять еще,— сказал посеченный, давешний вестник.— Выйдет тридцать два.

Человек с цыганской бородой вдруг захохотал, и все его квадратное туловище заколыхалось.

— Журавли с горы слетели — бусы на речном дне собирать. Там двадцать, в илу... аль поболе!

Лежащий, тот, который раньше покосился на незваного гостя, угрюмо перебил:

— А у сайгачьего камня — запертый сундук, а в сундуке найдешь еще один юшлан. Белу рухлядишку-то сперва повытряси из него...

— Чай, попортилась рухлядишка? — сипло спросил человек, завернутый в конский чепрак поверх холстинной рубахи.

Замолчали. Потом откликнулся вестник:

— Ни, уже и не смердит.

Зашипел казан, подвешенный на жерди над огнем.

— Эх, ермачок! — сказал вестник.— Уха хороша, да рыба в реке плавает.

— И ложки у хозяина,— добавил Цыган.

Ермак — это было волжское слово: артельный казан. Заезжий спросил:

— Волжские? С Волги, значит?

Его дразнил запах варева. Ответил Цыган:

— Мы из тех ворот, откель весь народ.

— Летунов ветер знает, наездников — дол.

Вестник, помешивая в казане, повернул к заезжему свое страшное посеченное лицо:

— Не подходи — пест ударит...

И они продолжали вести свою непонятную беседу, будто забыв о нем.

Сыростью погреба понесло от обрыва. Дед Мелентий, поеживаясь, натянул шапку до самых глаз. А человек в холстинной рубашке оправил конский чепрак, и сквозь распахнутый ворот стало видно, как необыкновенно костляво и широко его тело, когда, вытянув длинную шею, он прислушивался. Звенела и пела степь голосами сверчков, плакала одинокая птица вдали. Человек сипло сказал:

— Хозяин работничков шукает.

Парень Ильин отозвался:

— В полночь обещал...

— Но! — грозно из-под своей шапки прикрикнул на него старый Мелентий.— Огонь поправь, сидишь... нечистый дух.

И Гаврюха поспешно вскочил. Эх, и вывозил же его палкой с крючком дед Мелентий Нырков тогда, когда он пришел к нему от «хозяина», вывозил за сома, за соминые танцы и поклоны на заборе! Гаврюха покорно рогатым суком разворошил костер. Выпорхнул пчелиный рой искр; прыгающая тьма раздалась и, выпустив в пространство света голый, обглоданный куст, заколыхалась за ним, точно беззвучно хлопающие полы шатра.

— Студено,— поежился заезжий и еще раз обкрутил конец повода вокруг руки.— Долго не видали тя, дедуся Мелентий, ан ты, значит, всему народу свояк. Хозяину, значит, знаком... Может, и меня признаешь?

Остро зыркнул красноватым, кроличьим, с отсветом костра глазом. Но точно ожегся о злой, колючий, в упор, взгляд круто повернувшегося угрюмого казака.

— Эй, пастушок, не перекормить бы тебе *петушка* своего!

И тотчас другой, костлявый, в попоне, встал в рост рядом с «петушком» непрошеного гостя, то есть с конем его.

— Ты вот что. Тебе в станицу, я — попутчик. На коня посади, за твою спину возьмусь.

Озираясь, дернул повод, отпрыгнул гость. Вскочив на коня, погнал что есть мочи. Сзади раздалось щелканье бича и выкрик:

— Ар-ря!

Степь еще не поглотила топота, как со стороны обрыва послышался хруст, и вдруг выступил из тьмы человек: он казался невысок, но коренаст, широкоплеч; блеснули белки его впалых глаз на скуластом плоском лице.

— Добро гостевать до нашего Ермака! — приветствовали его.

— Ермаку мимо Ермака не пройти...

Ильин метнулся к нему, он не поглядел, поцеловался троекратно с посеченным.

— Богдан, побратимушка!

Мигом опростали место. Застучали ложки. Ели в важном молчании.

Ильин был голоден, но есть почти не мог. Наконец пришедший вытер ложку рукавом и сказал:

— Так сгиб Галаган, Богданушка?

Все вытерли ложки. Богдан, приподняв бровь, рассеченную черным рубцом, стал перечислять погибших атаманов, каждое имя он выкрикивал — будто для того, чтобы слышала степь:

— Галаган!.. Матвейка Рущов!.. Денисий Хвощ!.. Третьяк Среброконный! Степан Рука!..

Сдернул шапку с головы невысокий казак и молча посидел: потухающий костер бросал слабый медный блеск на скулы его и на ровным кружком остриженные волосы. И никто не выговорил ни слова, пока он не спросил:

— К Астрахани идет Касим? Верно знаешь?

Тогда несколько голосов ответили:

— К Астрахани, батька. Девлета на Дон отрядил, Ермак!

Так звали его здесь: батька да Ермак, артельный котел — не бобыль и не бековуш.

— Савра Оспу пытали,— просипел костлявый.— Не допытались, от кого турецкая грамота.

Ермак поднял на него сумрачные глаза и кинул два тяжелых слова:

— Ушел Савр.

— Ушел!..

— Как же ты доселева молчал, батька?

— Кто ж открутил его от столба?

— Ушел!

— Караул-то что ж?

— Ведь ополночь назначили казнь...

— Измена!

Ермак сидел потупившись, опустив плечи, как он сиживал, выжидая. Сапогом катал подернувшийся седым пеплом уголек. И так же негромко, медленными, тяжелыми словами во враз наступившей тишине заговорил:

— Двум ветрам кланяется атаман Коза. Два молебна поет: Ивану-царю и Касиму-паше.

Угрюмый казак проронил:

— Коза! Я ж понял: это он нюхала вот только что к нам засылал. Да мы песочку ему в ноздрю понасыпали...

Но сурово продолжал Ермак:

— Время не терпит. В Астрахани Касим Волгу запереть хочет. Наша Волга! Так не дадим же паше обротать Волгу! Подымемся все казаки, вся Река! Сколько юшланов сочли?

Цыган сказал, что тридцать два.

— Мало.

Цыган с ухмылкой повторил то, про что говорили раньше: не на речном ли еще дне и не в гробах ли — сундуках искать?

С той же строгостью ответил Ермак:

— Казачьи укладки по куреням отворяем ради земли нашей. И гроба отворим. Воины там. Не взыщут, что призвали их пособлять казацкой беде.

Тихо, серьезно он вымолвил:

— Будет земля казацкая воевать вместе с нами!

Угас в пепле костер. Туман закурился над обрывом. Замолкла птица, и седая холодная земля отделилась от мутного неба на востоке.

Ермак поименно называл казаков — кому нынешним же рассветом куда скакать подымать голытьбу, подымать казачество, подымать Реку.

— Ты, Богдан,— тебе на низ... Ты, Мелентий Ырков, Долга Дорога, постранствуй еще — к верховым тебе... А тебе, Иван Гроза, в Раздоры, в сердце донское!

И костлявый Гроза застегнул ворот холстинной рубахи и, скинув наконец свой чепрак, подтянул очкур шаровар, собираясь в путь.

— Ножки-то любят дорожку,— сказал Ырков.— Спокой — он, видать, в домовине, спокой. Дед со мной пойдет еще один...

— Какой дед?

— Тебе-то где знать его, молод ты. А мне он друг сызмальства. Не сидеть ему тут, около подсолнухов... И парнишку отпусти с нами, Гаврилу. Красен мир, ох, красен... нечистый дух! Пусть подивуется!..

Указан был путь и Цыгану, и угрюмому казаку Родиону Смыре. Ермак встал.

— Не бывать же так, как хочет Коза! Время соколам с гнезда вылетать!

Казаки, кто сидел, тоже повскакали, готовые тронуться от попелища костра.

— Постой! — остановил их Ермак.— Да объявите: волю отобьем, пусть готовится на Волгу голытьба. Погулять душе. Скажи: не Козе, не царю — себе волю отбиваем!

2

Поднялась Река.

По росам одного и того же утра из станиц, городков и выселков на приземистых коньках с гиканьем, свистом и песнями вылетели казачьи ватажки. В степях — где-нибудь у кургана, у древнего камня на перепутье неприметных степных сакм-тропок — собирались они в полки.

Только что вывел Бурнашка Баглай на середину круга черную, плечистую, большерукую женщину, прикрыл ее полой, снимая бесчестье с немужней жены, печаль с горькой вдовицы, только что «любо, любо» прокричали в кругу, а уж сидел беспечальный исполин в седле, кинув жену свою, Махотку, в станице, и чуть не до земли пришлось опустить ему стремена: казалось — задумайся он, и конь проскочит между его ногами, оставив его стоять.

Сладко сжималось сердце Гаврюхи, когда в первый раз поскакал он в широкую степь.

Для грозного удара размахнулся султан — «царь над царями, князь над князьями».

Двумя руками замахнулся: одной — по русской Астрахани, другой — по Дону.

Но в Диком Поле вокруг турецкого войска закружили казачьи полки и ватаги.

Они отбивали обозы. Они истребляли отсталых. Незримая смерть проникала каждую ночь и внутрь турецкого лагеря, вырывая из числа верных слуг паши десятки крымцев и янычар.

Большой войны, войны с Русью, султан сейчас не затевал. Не была она в его расчетах. Грозный удар должен быть точен и короток. Русскому царю придется смириться, что была Астрахань, да отпала и казаков на Дону больше не водится. Царю сейчас не до того. Да и само «всевеликое войско Донское» не поспеет собраться, в казачьих городках поудержат, поостудят его надежные люди; правда, не легко было отыскать таких людей среди казаков,— все же немного, а нашлось их...

Но поднялось войско! Поднялась Река. Не на такую войну сбирались Селим-султан и крымский хан. Занесенная рука внезапно, будто опутанная невидимыми путами, повисла в воздухе.

И уже паша, истомленный борьбой с невидимками, отослал тяжелые пушки назад в Азов и только самые легонькие волоком поволок через степи.

А казакам не надо волочить пушки. На своих конях казаки рыскали вокруг вражеского стана, укрываясь по балкам, ложбинкам, за низенькими бугорками. Из шатра паши в темноте доносились звуки струн. С войском двигались повозки. В них везли женщин, сундуки паши и казну.

Гаврила жил, как и все, на коне. Часто спал, не слезая с седла. Ел овсяные лепешки и черные, выпревшие в лошадином поту под седлом тонкие ломти конины и баранины.

Турецкая стрела пронзила ему плечо.

Дед Мелентий призвал Бурнашку. Тот стал лечить рану травами. Он знал мяун-траву, царь-траву, жабий крест, иван-хлеб, плакун-траву. Возясь с листочками и корешками, он пространно рассказывал об их чудесных свойствах, и свойства эти были неисчислимы, потому что каждый день Бурнашка говорил о них все по-новому.

— Ты помни, Гаврилка,— неизменно заключал он тонким голосом, важно качая головой.— Деды что? Я теперь отец тебе!

Рана зажила.

Поредевшее войско паши подошло к Астрахани. Но пашу опередил посланный царем воевода Петр Серебряный. В городе было неспокойно. Споспешники последнего астраханского хана, таившиеся все эти годы, теперь открыто призывали пашу.

Однако Касим не отважился напасть на Астрахань, раз не удалось застать ее врасплох. Лживо объявив, что

он не умышляет зла и уходит восвояси, паша стал строить ниже города деревянную крепость. Там, выжидая, подстрекая к бунту татар-астраханцев и все больше теряя надежду победить, он простоял до осени.

Пыльные вихри завились по выжженной и вытоптанной земле. В войске паши начался голод. И тогда паша сжег свою крепость и побежал степью к Азову.

Потянулась назад вся рука — войско Касима, не оставаться одному и пальцу этой руки — Девлету. Но Девлет-бей был батыр. Он уходил последним. Ни голод, ни жажда, ни казачьи засады в степи не могли сломить его. Он охотился за казаками так же, как те охотились за ним. Появлялся внезапно там, где его не ждали, и, когда казаки залегали на его пути, налетал на них сзади, так что они сами попадали в западню.

И однажды на том месте, где ночевал Девлет, наутро нашли казаки посреди вытоптанной травы пять вбитых колов. Пять страшных, мертвых, обнаженных тел были насажены на них. Мухи облепили черные вывалившиеся языки мертвецов. Ноги обуглены — людей поджаривали заживо...

Еле узнали казаки своих товарищей. Поскидали шапки и, спилив колы, в молчании зарыли вместе с трупами.

Постепенно казачьи ватаги отстали от неуловимого Девлета. Лишь одна ватага все гналась за ним, а когда настигла его, в отчаянной сече схлестнулись казаки с башибузуками. Тут увидел Гаврюха, как рубится, гикая, высоко вздернув рассеченную бровь, Богдан Брязга, Ермаков побратим.

Казаки вели бой так, чтобы отсечь Девлет-бея от его людей. Он не хоронился за своими, с бешеным воем он вынесся вперед, на казаков, когда увидел, что отступать поздно. А его завлекали, дразня, до тех пор, пока, смешавшись, кидая позади себя раненых и сраженных насмерть, не поворотили коней и не кинулись врассыпную его люди, оставшиеся без начальника. И все же Девлета не смогли взять. Он убил нескольких казаков, подскочивших к нему, и на арабском коне ускакал от преследователей.

После долгой скачки Девлет огляделся. Конь шатнулся под ним. Тогда он бросил отслужившего коня и приложил ухо к земле. Земля молчала. И Девлет подумал, что вот он вовсе один в степи.

Но он не был один. Молодой казак не потерял его следа. И конь этого казака тоже пал. Когда Девлет оста-

новился, казак сделал круг около него. Голод и жажда равно мучили обоих. Ни ружья, ни лука не оставалось у казака. Но с бесконечным терпением, терпением самих степей, продолжал он охоту за силачом.

Девлет петлял, он то шел нетвердым шагом, то останавливался. Казалось, у него нет цели. И, потаенно следя за ним, так же петлял казак.

Снова на то же место в степи вернулся Девлет. У круглого усохшего болотца он сел, пригнувшись, как заяц. Взлетела стайка птиц, вспугнутая ползущим казаком. Девлет почти не шевельнулся, только поправил длинное ружье между коленями. Казак закричал, как кричит в лугах птица выпь, и бесшумно, по-змеиному опять отполз в сторону. Медленно очертил дугу, она привела его в тыл болотца.

Так они провели долгие часы: один — в оцепенении, другой — подвигаясь вершок за вершком. За кочками казак увидел бритый затылок турка под шапкой, вдавленной посередине так, что бока ее подымались, как заячьи уши.

Тени поползли по степи. Ночь облегчит внезапное нападение, но во тьме легче и потерять врага. Однако будет ли ночью лучше или хуже, казак понял одно: ждать до ночи у него недостанет сил.

С хриплым криком он вскочил. Петля рассекла воздух.

Он рванул аркан, когда петля легла вокруг могучей шеи турка. И странно безропотно, будто готовый к этому, рухнул Девлет.

...Гаврюха пал лицом вниз, он лизал и сосал болотную землю. До утра он не сомкнул глаз, сидя на корточках возле скрученного молчащего Девлета. В зрачках турка двумя слабыми огоньками тлел отблеск звезд.

Утром казаки подобрали Гаврюху и его пленника.

И молча, как тогда, когда погребали замученных на колах, смотрели теперь казаки на виновника казачьих мук, на Девлета, который пожигал станицы, младенцев вздевая на пики, и никогда не ведал жалости и пощады.

Кто полонил его, тому следовало и порешить; должно отвердеть казачье сердце и стать как камень к врагу...

Гаврюха взял в руки отрубленную голову. Она казалась очень маленькой, очень легкой. И, удивляясь самому себе, Гаврюха понял, что никак ему не связать этот предмет с той настоящей, ненавидящей головой, которую Девлет сам положил на камень...

В станице Ермак обнял и поцеловал в губы Ильина и в первый раз сказал:

— Илью, отца твоего, знал.

И вдруг усмехнулся чему-то своему.

— Хотел батыром стать, да на волос не вытянул Илья: до бабы слаб был. Гляди ж и ты!

А Баглай-исполин повесил на шею парню ладанку с вороньими костями, чтобы жил он сто лет, как ворон.

Через год казаки основали город Черкасы, в шестидесяти верстах от Азова вверх по Дону.

Но в задонских степях по утрам золотом горела и полыхала Алтын-гора на краю неба, и оставалось до нее так же далеко, как и в то тихое утро у молчаливой белесой реки.

3

Ожидающий в горнице гость услышал, как проскакал через ворота конь, как на его ржание откликнулось заливистое, тонкое, басовитое, игривое ржание из всех углов двора, как тяжеловато спешился дородный всадник. Вот он хозяйственно прошелся по двору, что-то спрашивал, распоряжался, кричал, с удовольствием пробуя силу своих легких. И ему споро, охотно отвечали мужские и женские голоса.

В горнице опрятно, просторно, сквозь окна узорно падает косой вечерний свет на шитые рушники, висящие на голубоватых, с синькой беленных стенах; откуда-то доносится вкусный дух жареной снеди, с ним смешан свежий запах воды, листвы и молодых цветов.

Хлопнула дверь; быстрой, упругой походкой вошел красавец в однорядке, русая с рыжинкой борода его, казалось, развевалась от стремительного движения.

Увидя гостя, он тотчас с довольным изумлением приветствовал его, наполнив горницу раскатами своего голоса, и, хотя гость в своем сермяжном зипуне выглядел вовсе невзрачно, усадил его в почетный угол.

И гость, поклонясь, попросил снастей — на Волге рыбку половить.

Так он сказал по обычаю, но хозяин Дорош ответил не на слова, а на мысли, и громкий голос красавца в однорядке, как и каждое движение ладного тела, говори-

ли, что хозяйственно-хлопотливая его жизнь радостна и прочна, что скрываться и вилять ему нечего и незачем утишать голос, раз его бог таким дал: «Вот он, весь я!»

— Гульба казаку не укор,— ответил Дорош,— каждому своя голова советчик.— С любопытством поглядел и спросил: — Простора ищешь?

И гость улыбнулся:

— Всяк ищет простора по силе своей.

— Аль на Дону не красно?

— Бугаю красное тошнехонько.

За окнами раздались топот, крики, смех. Работники гнали в ночное дворовый скот.

— Сила! — сказал Дорош.— Думаешь, и я, молод был, на гульбу не хаживал? Да только вот она где, сила!

Гость мирно согласился:

— Коньки гладкие.

— Эти вот? Этих для домового обихода держу. Табунов моих ты не видел. На дальних лугах лето целое, на медвяных травах. Человека не подпустят, зубами разорвут, не кони — звери лютые!

— Голяков бы к тебе в науку...

Дорош весело захохотал.

— Хмельной колобродит: — «Раззудись, рука, Дон за плечи вскину». А проспится — пшик вскинул. Жизнь — каждому такая, какую кто себе захотел.

— Вот ты как! Каждому? А конешно,— поддакнул гость.— Котельщик гнет ушки тагану, где захочет.

Ничего не ответил Дорош, только вдруг лукавым шепотком, потянувшись к уху гостя, спросил:

— В царевой службе не служил ли ты? На Ливонской войне под Ругодивом? [1] И под городом Могилевом?

Гость отстранился.

— Не корю, что ты! Я сам на Москве служил! — И с той же лукавой настойчивостью Дорош продолжал: — Величать-то тебя как? Слышу: Бобыль. Слышу: Вековуш. И впрямь векуешь бобылем. Корня пускать не хочешь...

И приостановившись:

— Слышу: Ермак.

— И Ермака знаешь?

— Дома-то, на Дону, как не знать! А еще: Василий будто ты, Тимофеевич, значит, по батюшке.

---

[1] Нарва.

— Поп крестил, купель разбил...
— Имечко с водой-то и убежало, а?
Дорош довольно рассмеялся:
— И молод ты вроде, атаман...
— Да ворон годов не сочтет.
Тогда Дорош согнал улыбку, от которой лукаво светилось все его красивое лицо.
— Умен. Важнее нет для казака...— Остановился и серьезно, трубно громыхнул: — Для славного нашего Дона. Вот о нем и помни. Донская правда — атаманская правда. Тебя же зовут атаманом. Правда голытьбы не про тебя. Яшка Михайлов двух правд ищет. Из-под твоей руки смотреть хочет, а шиша ли высмотрел? Так и болтаться ему век ни в тех ни в сех. За снарядом ты не к нему, а ко мне пришел! Одну уж какую-никакую правду выбирай.
— А казацкая правда, голова-хозяин?
.Дорош сдвинул густые брови.
— Знаешь ли ты сам, про что толкуешь? Ты галаю-голяку на слово не верь, даром что тоже зовется казак. Ты попытай его: что у него под зипуном? Холопья рубаха — вот что! Мы, вековечные казаки, мы одни — Дон!
— Истинно,— опять поддакнул гость.— Окаянным — окаянная правда. Только я уж поищу, голова-хозяин, той казацкой правды, уж поищу, не взыщи.
Чуть раскосыми глазами, как бы мимоходом, поглядел в лицо Дорошу:
— Коли птицы всю склевали, там поищу, куда и птицы не залетывают. Найду и на Дон приведу, ой, гляди!
В ответ грохнул Дорош кулаком по столу:
— Всякого, от кого поруха Реке, жизни не пожалеем, скрутим!
Он потер руку, шумно вздохнул, и опять лукавые смешинки вернулись в его глаза:
— А погулять — что же, твоя голова, я снаряжу. Ищи белой воды, а то, может, лазоревых зипунишек. Речам же твоим не верю. Настанет пора, сам не поверишь, атаман. К нам вернешься. Потому — струги и пороху дам, зерна отсыплю... Михайлов-то Яшка, верно, опять с тобой... от своего богатого куреня?
Они заговорили о зелье, о снасти и о доле из добычи, которая после возврата казаков с Волги будет причитаться Дорошу.
— За тобой не пропадет, вот этому верю.

Теперь, когда все сладилось, Дорош кликнул:

— Алешка!

Из соседней горенки со жбаном в руках вошел Гнедыш, хозяйский сын. Всем он походил на отца, только был меньше, тяжеловатей, чернее волосом, толстогубый. Будто к каждой черте Дороша у Алешки Гнедыша примешивалось нечто, отчего и мельчала она и лениво оплывала в то же время. И в глазах Гнедыша, по-отцовски кругливишихся, не играли отцовские золотистые смешинки, а совиным отливала желтизна.

Жена Дороша давно умерла, говорили, что сын у него от ясырки арнаутки, сырой и тучной, жившей в доме до той поры, пока не подросла девушка, которая сейчас следом за Гнедышем показалась в горнице с блюдом в руках. Простоволосая, сильная, высокогрудая, с золотым жгутом на затылке, она шла неслышно, и легкий ее шаг говорил, какое наслаждение двигаться ее молодому телу.

Не поглядев на сына, с заботливой нежностью обернулся к ней Дорош:

— Уморилась? Задомовничалась?

То ли объясняя гостю, то ли для того, чтобы особенно ласково назвать девушку, он сказал:

— Найденушка...

А она, еще не ставя блюда, подняла, закрасневшись, черные глаза на казака, и улыбка точно осветила ее всю:

— Как же, в садочке гуляя, умориться мне? Тебя ждала...

Только теперь Дорош глянул на сына, обвел взглядом с головы до ног, жестко шевельнулась бровь. Все сразу показывало лицо Дороша — такой человек!

— Алешка, слышь, побратался с Рюхой Ильиным. Пальцы порезали, кровью присягали. Ребячья блажь — вот и вся тут правда!..

Вдруг, нахмурившись, спросил:

— А ты вот... где твои сыны? Я тебя по-отечески... Всех небось по свету посеял, себе ни одного. Не себе сеял — другие и пожнут. Ну, да...

Отмахнулся рукой, точно все отстраняя, взял с блюда у девушки ковш — государев дар, сберегавшийся с самой службы в Москве.

— Во здравие тихому Дону!

Выпрямился, головой почти касаясь притолоки. Подал ковш гостю.

— Во здравие великому синему Дону! — ответил гость.

4

У станичной избы глашатай кидал шапку вверх:

— Атаманы-молодцы, послушайте! На сине море поохотиться, на Волгу-матушку рыбки половить!..

Три дня прогуливали угощение атамана ватаги бобыля Ермака. Потом стали собираться в дорожку. Осторожно мазали дула рассолом, чтобы железо, чуть тронувшись ржавчиной, не блестело: на ясном железе играет глаз.

Шестьдесят плотников чинили и строили ладьи.

Гаврюха приходил на берег — он любил слушать, как тюкали топоры, смотреть, как при ладном перестуке молотков крепкими деревянными гвоздями сшивались доски. Белые ребра стругов, словно костяки гигантских коней, высились, занимая весь плоский берег. Потом они одевались мясом. Иные ладьи были десять саженей длины. По борту их обвязывали лычными веревками, сплетенными с гибкими ветвями боярышника. Смолисто-пахучие, чистые, без пятнышка, вырастали чудесные кони. Парень поглаживал их гладкие бока, готовые поднять и без отдыха, без устали понести сотни казаков, все казацкое воинство по живой, по широкой водяной дороге туда, где восходит солнце и где рождается ночь,— куда не занести седока никакому коню...

Чадно валил дым костров — варили вар смолить суда. Камышовые снопы, прижатые обводными веревками, уселись вдоль бортов: укрытие от стрел.

На ладьях сделали руль спереди и руль сзади: что нос, что корма — одинаково, не надо тратить времени на повороты.

Плотники работали голые до пояса. Маленький старичок, не скидавший рубахи, давал ополдень знак отдыхать. Люди садились на песок, на доски, на кучи стружек.

Полдничали. Старичок, кусая свой ломоть, подзывал Гаврюху.

— Ладные стружки́,— говорил старичок,— ладные. Ничего... разумные, кзень. Сколько по земле ни ходи, не найдешь больше таких. Ни у турок, ни у немчинов. Наш, кзень, русак выдумал! Ты примечай, учись, казачок...

Говорил ласково, охотно, дребезжащим, старческим голосом и часто прибавлял какое-то словечко «кзень». Так и звали его в станице Кзень-дед. Как звался он раньше — забылось.

Слушать старика нравилось Гаврюхе. Он усаживался подле. Парень еще вытянулся, стал длинноног, тонок, но лицо его, погрубевшее, все не знало бороды и усов, как у мальчика.

Удивительные вещи рассказывал старик.

— Пуста земля стала,— ласково уверял он.— Я-то знаю. Я те скажу: просто, кзень, на миру стало. Люди-то, люди повывелись, какие прежде были. Атамана Нечайка знаешь? Знаешь Нечайка?

— Нечайка?

— Мингала? Бендюка? Десять казаков нонешних на копье поднять бы мог. Как закрыл очи Бендюк, прах его возвысили на гору высо-окую — все Поле глядело, чтобы вечно, кзень, жила слава. Да я вот один про то и помню...

Старичок посмеялся чему-то, погладил свои тощие, сухонькие руки, почмокал губами.

— Струги-лебеди на море Черном... Стены Царьграда, колеблемые, как тростник ветром... Атаманов голос — орлиный клекот... Сила! Девять жен было у меня — тут, на реке, в желтой орде, в сералях бирюзовых. И они, казачок, не вылюбили той силы. Огонь-вино не выжгло. Да, вишь, сама, сама, кзень, вытекла.

Он утвердительно и как будто сокрушенно покивал головой, но глаза его светились радостью. И Гаврюха, лежавший подле него на животе, подперев руками щеки, подумал, что глаза старика похожи на донскую воду.

— Тебе не быть таким, не-е... а все ж, может, возрастешь, добрый будешь казак. На гульбу идешь... ты не бойся. Ничего, кзень, не бойся. Смерти не бойся. Чего ее бояться? Всем помирать. На царя в хоромах ветру дыхнуть не дают. А он выйдет, царь, из хором и пойдет один-одинешенек встречу тому, чего страшился пуще всего.— Он ласково засмеялся.— Ты это и пойми. Глянь-кось! Я десять, кзень, смертей изведал. Тело года сглодали. Ничего глодать и не осталось — нечем пугать меня. А я — вот я. Вся жизня — со мной. Ты послушаешь — тебя поучу. И другого кого еще поучу. Славе поучу — и живо казачество...

Говоря, старик медленно потирал друг о дружку босые ноги и руками плел что-то из травинок, словно все его сухонькое тело никак не могло оставаться в покое, в ничегонеделанье, без трудового движения.

Гаврюхе сладко и почему-то страшно было слушать старика. Он знал, что звали его еще «Столетко», а иные

охально: «Богов шиш». Весь он, иссохший, темный, с морщинистой кожей, будто присохшей к костям, казался парню существом непонятной, нечеловеческой породы, и шевелящиеся ноги его, худые, синеватые, скрюченные, с криво вросшими темными ногтями, напоминали ноги ястреба. Гаврюха оглядывал свое смуглое, гладкое, стройно-тугое тело и с радостью думал, что невозможно, невероятно ему дожить до ста и стать таким.

А Столетко меж тем поднял глаза на солнце и, встрепенувшись, стал упихивать торбу под тесину, чтобы, случаем, не замочило дождем.

— Эх, теплый песочек, согрел старые кости!..

Разминаясь, крикнул:

— А ну, работнички!

Опять затюкали топоры, застучали молотки, запела пила:

Быстро ест,
Мелко жует,
Сама не глотает,
Другому не дает.

5

Расшумелись на гульбище...

— Атаман Гроза потчует!

— Цыган потчует!

Веселый вскрик:

— Богдан-атаман Брязга потчует!

— И-эх, Богданушка!..

— Ратуй товариство, Богдан, томно полевичкам без твоей ласки!

— Цыть, оглашенные!

— Братцы! Молодцы! Чтоб Волга-река приласкала зипунами малиновыми! Чтоб слаще бабьей стала та ласка!

— Бабоньки! Платком уши крепче повяжите, не слухайте! Богдан, ты не завел себе женку, вот тебе и некому очи твои выдрать.

Брязгу любили. Еще рубцов-шрамов прибавилось на его лице.

И не у одного Брязги прибавилось. Все побывали в Поле во время Касимова нашествия. Все побратались кровью; и смертной муки, и полынной горечи, и победной радости допьяна хлебнули из одного ковша.

— Дед Долга Дорога да дед Антипки-внучка потчуют!

— А и не собирался я. Браги на вас жалко... нечистый дух!

— Подноси, деды, умасливай! В попы поставим на Волге, ектеньи петь.

— Насмешники, бесово семя... Внучек-то мой возрос, Антипка нехай вступается теперь за деда!

— Слава! Слава!

— Долга Дорога, Долга Дорога... Была долга, зараз мне недолга осталась... Все же еще потопаем, не отстанем от других. Как судишь, дед-атаман?

— Слава! Слава!

А рябой молоденький казачок, покрыв все голоса своим сильным, чистым голосом, выпевал это как песню:

— Слава! Слава!..

Платье, взятое у врага, куски парчи, цветные турецкие туфли с загнутыми носами надеты на многих. В десятый раз поминались походные были, иной с вдохновенной отвагой пускал в оборот неслыханную, даром что те, кого он дивил, «полевали» бок о бок с ним и ничего подобного в ту горячую пору не приметили.

Сыпались острые словечки, хохот (не слезами же гладить дорожку!), песня подымалась и сникала. А чаще всего повторялось вперебой веселью:

— Атаман Михайлов потчует! Ешь-пей, не жалей!

Михайлов не жалел. Не только что тут потчевал, но — знали — стряпухи его куреня да еще трое ясырей в помощь им загодя от зари до зари готовили гору снеди, почитай, что и весь этот пир прощанья со станицей вышел михайловский. Еще и сам Дорош со всеми своими табунами навряд ли выдюжил бы состроить такое угощение обществу... Вот те и «ни в тех ни в сех» Михайлов!

— Ох, и пиво доброе!.. Хороший казак, хозяин казак. Он и перед туркой, он и в станице, значит... хозяин казак. Я Антипке-внучку толкую: «Ты на Якова на Михайлова взирай... Как он, значит, жизней владает... И погулять, и за Дон встать — и все не себе, а людям...» Ох, и доброе пиво!.. Слава! Кричи, хлопец, чего молчишь!

— А того молчу, дед,— отозвался рябой казачок,— что гляжу: Гаврила самого Девлета оборол...

— Оборол, хлопец, а как же, мне ровно второй внучек Гаврила...

— Обогател Гаврила? Ты прямо ответь.

— А не обогател, хлопец, млад он.

— Ну, млад. А ты-то, дедуня, не млад: сколько годов в Поле ходишь?

— Так я ж толкую, что не счесть, не счесть мне тех годов... Астрахань-город брал. В Кафу хаживал. В Истамбул полоняником меня сволокли... чуть евнухом... евнухом, слышь, в серале чуть не приставили, только ушел я... А пиво-то доброе, ноне всяк казак сыт будет... На Волгу в четвертый, слышь, бреду...

— Вот и вышло, дедуня, что все твое богатство — Якова пиво.

— Правда, хлопец, истинная. Я ж и толкую: хороший казак Яков.

Как из-под земли вырос перед ними Михайлов, в простом казачьем платье, без тех украшений, походной добычи — серег, туфель, парчи, шитья — в чем щеголяли сейчас другие.

— Ты, певун! Моей брагой пьян, меня ж лаешь.

По-хорошему сказал. Но точно с горы понесло парнишку-певуна (видно, хмельной в самом деле оказалась брага Якова!).

— Твоя брага. И хлеб уж не твой ли? Кус людям отрежешь, три куса воротишь.

Михайлов не поддался гневу, терпеливо растолковал:

— Ватажный хлеб. Нет моего хлеба.

Наклонился и сказал негромко, руку положив ему на плечо:

— Какие речи ведешь? Рано рвешься к прибыткам вперед других. Смотри! Думаешь, забыл я крик твой: «У Михайлова сыночков оделяют, пасынков со двора выбивают»?

Паренек дернул плечом.

— Сам скажи: маманю мою с сестренкой голодных за что выбил? За то, что слово поперек тебе вставить не боялась?

— Ты вот что: ты сядь так, чтоб я тебя не видел; пьян ты. Свое в ватаге выслужи, на чужой дуван не зарься,— донской закон знаешь?

— Не стращай!

А дед поднялся, на голову выше Якова, грузный, с жилистой шеей, недоуменно моргая белесо-голубыми глазами.

— Не шумите, казаки. Свары... вот те как. Я ж Антипку-внучка учу: «Свариться оставьте. Одномысленно надо». И чего хлопец вскинулся на тя, Яков, не пойму?

Разговор был тихий, истинный. Ты, Яков, спасибо тебе от нас, а сердца на него не держи — дюже слабый он к хмелю. Ничего он, слышь, говорю. На меня ты, Яков, смотри, а мы с казаками выкрикнем славу Якову Михайлову, атаману. Нуте, казаки, а, казаки...

6

Тут стоял голубец.

Пухлым мхом одеты его ветхие доски, пустое гнездо лепилось под узенькой кровелькой. Бог весть, кто его ставил и зачем. Ни креста, ни иного знака не было на нем: столб с кровелькой и лебеда у столба.

И ржавые каменья по всей низине. Просто ли раскиданы они среди белых перьев ковыля или с умыслом положены в давнюю пору над старыми костями...

Парень и девушка сидели у столба. Они отговорили, отсмеялись. Ведь и сейчас еще там, откуда они пришли, за горбом, толпился народ, ели круглики — пироги с перепелками, думму — мясо, кислое от овощей, лизни — языки с соленьями, запивали пенником жилистых жареных журавлей,— все еще шумел и гулял пир на росстанях. Назвенелись бусы на шее у девушки, когда она, хохоча, поминала про товары, разложенные на светлых травах ловкими приезжими гостями! А теперь тишина покорила и ее, и худого длинноногого парня; они примолкли, изредка перекидываясь фразами, только горел еще румянец на девичьих щеках.

А он выскабливал сердцевину в черенке, отстругивал, округлял срезы, просверливал дырочки — пока, поднесенный ко рту, не запел черенок.

Тогда он передал дуду девушке, дурашливо поклонившись:

— Сбереги.

— Я сберегу,— серьезно ответила она.

Опустив глаза, она сплетала стебельки желтеньких цветочков — навьих следков.

И не заметили оба, как во внезапном сумраке угасло солнце и особенно бледно, матово заблестела река. Дохнуло, зашелестело вокруг, плеснула внизу волна, и вдруг темной, почти лиловой синью налилась водяная поверхность и ветер рябью прошелся по ней.

И нежданная тьма заставила людей поднять головы.

На краю балки худая белая лошадь каталась по земле.

— Ой, дождь! — сказала девушка.

Туча накрывала небо, а вокруг еще синё сверкало, и от этого крутые и дымно-стылые края тучи казались опаленными, но росла, набухала, разверсто грозной становилась ее середка, и холодом веяло оттуда.

Девушка зябко поежилась. И оба, застигнутые грозой, тесно прижались к столбу. Первые, тяжелые, шлепнулись капли. Они ударили о землю, слабо зашипев, и покатились обернутые теплой пахучей пылью, как голубые шарики.

Рвануло, громыхнуло, и вот сладкий, глубокий, облегченный вздох вырвался изо всей земли. Все смолкло, стихло, неподвижно застыло на ней. Исчез, как и не было, холодок, тепло изливала млеющая распахнутая земля. И сразу все запахло, даже то, в чем неоткуда бы, казалось, взяться запаху. Пахло дерево, пахла трава, пахла река, пахли глина и перегной. Пахли песок и камни; пахли черные кучки у раскрывшихся норок дождевых червей. Будто сняли печать со всех скрытых пор, и каждая вещь обнаруживала свой тайный, ни на какой иной не похожий запах.

Всего несколько мгновений длилось это.

Полыхнуло; железом заскрежетало и рухнуло что-то вверху, и разом, словно в зазиявший пролом сорванных ворот, хлынул ливень.

Сквозь гремучий сумрак было видно, как мгновенно ломались и плющились круги и волны ряби, показывая скорое течение реки.

Парень почувствовал, как приникло к нему прохладное плечо девушки. Он искоса взглянул на нее. Плотное, крепкое молодое тело обозначилось под мокрым платьем. Медленно, сильно ходила ее грудь, вода катилась с растрепавшихся порыжевших ее волос на голые руки, и он увидел выражение счастья на ее лице.

Шепотом он позвал:

— Найдёнка! Фрося!

Пучок жестких травинок бился и мотался в двух шагах от них, словно его трепало вихрем.

Тоже шепотом она отозвалась:

— Что? Что ты?

Снова он ощутил, как она, чуть вздрагивая, теснее прильнула к нему. Но он не смел коснуться ее.

Еще темней стало, мгла затуманила все окрест... И люди молчали, съежившись, прижавшись друг к другу.

Вдруг в самой черноте, где-то далеко за рекой, мгновенно выхваченный из мрака, озарился зеленый скат. И посредине его засверкала огнистая точка. Еще прилежней выпевала, выборматывала, хлюпала вода на затопленной земле; поднялась и повисла тонкая пыль. Но сквозь нее сиял далекий одинокий отблеск на гладком холме, таком чистом и ярком, что он казался парящим в воздухе.

— Благодать... Глянь, глянь-ко! — шепнула девушка.

Синяя косынка легла на реку; струи дождя стали стеклянными, и, как большие руки развели муть, открылось окно в выси.

— Ласточка! — сказал парень.— Ясноглазка.

И он выговорил:

— Ты не жена ему... Я ворочусь, касатка!

Он видел, как пальцы ее мяли желтенькие цветы в крошечных блестящих бисеринках. Потом она повернула к нему свое лицо:

— Молчи про то... не говори.

— Чего велишь молчать?

Она еще помедлила.

— Сама скажу. Сирота я... знаешь ты. Мать от крымцев спасалась, легла в огневице, добрые люди меня и взяли. Найденкой взросла в его курене. А жива родимая мамонька, не жива ли...

Он не отрывал от нее взгляда. Ему показалось, что легкая тень прошла в глубине ясных, серьезных ее глаз с двумя искорками от солнца. Под мелкими слезинками воды был виден пушок на ее верхней губе.

— Выйду до свету — река под кручей, огоньки тихие, рыбаки не спят. А мне бы крыла — полетела б, все б сочла: учуги, лисьи норы, костры на плесе... Где тропку протоптала — бежит моя тропочка, со мной солнышка дожидает.

— Что он тебе?

Твердо ответила девушка:

— Казак он. Крепка душа его. Вот как Дон-река. Никому не поддастся и красы донской никому не отдаст.

— Широка земля. Утешно на земле, Фрося.

Она качнула головой.

— Ты — легкий. Пахнёт низовка — где ты? В сторонку каку сдунет тебя?

И сказала певуче, по-бабьи:

— Сердце горит твое. Понесет оно тебя искать то море, что зальет его. А мне донскую сладкую воду пить вовек...

Вдруг бровь ее дрогнула, как-то жалко скосились глаза; будто всплескивая, она вскинула руки, обхватила ими парня, и он почувствовал ищущие горячие губы на своих губах.

— Во...— сказала она, отнимая губы.— Гаврюша... Гаврюшенька.

Тогда он встал.

— Прощай. Больше и не свидимся, лебедушка!

Оправила влажное еще платье, слабо улыбаясь.

— Привези алтын с Алтын-горы, хоть копеечку, хоть грошик...

Отойдя, он оглянулся. Скуластая невысокая девушка стояла у столба, и лицо ее, вырезанное на бледной, по-вечернему мглистой реке, показалось ему сияюще-прекрасным. Он осторожно коснулся языком губ, чтобы не спугнуть того, что уносил на них.

Рукой провел по голове,— выскобленная наголо брадобреем, она была против волоса шершавой и колкой, как ячменный колос...

7

Последние чарки допили станичные, сглаживая дорожку отъезжающим.

Там, в пути, не пить им больше горячего вина, над жизнью их и смертью волен избранный атаман.

Когда садились в струги, грянула старая гулевая песня с забытым смыслом освященных обычаев слов — песня, некогда родившаяся, может быть, на другой, западной великой реке древней славянской гульбы. Сотни мужских голосов с обрядовым свистом, с разгульной истовостью выговаривали:

Да вздунай-най дуна-на!
Да вздунай, Дунай!

Тронулись — и вот уже ни толпы, кидающей шапки, ни пестрых бабьих летников и платков у мазаных хат; не видно и недвижной рогатой кики на берегу, старенькой кики, которую надела черная большерукая женщина, провожая на восток сына, как некогда провожала мужа. Только желтый вал в терне и дерезе — все меньше, все

короче. Маленький бугорок, затерявшийся среди других бугров...

Накатила степная ширь, сомкнула круг.

Атаманская ладья была передней, но вскоре гребцы на ней подняли весла, а Ермак встал и стоял, пока мимо не пролетели с песнями все стружки.

Встревоженная веслами вода разгладилась, небо с пуховыми облаками, сверкая, опять поплыло в ней. Илистая свежесть подымалась от этого водяного неба. Атаман сел, следил, нагнувшись, за быстрым, бесшумным, близким — рукой достать — полетом стрижей в нем. Не думал о красоте и вольности синего опрокинутого простора, да и не прислушивался к мягкому шелесту струи у бортов, только глубже и ровней дышала грудь, и ласка ветра перебирала жесткие короткие волосы.

Он окинул взором весь строй бегущих стругов. Взвилась стайка диких гусей и, как курящийся дымок, закружила над тростником. Головной челн слишком выбежал, линия чуть изломалась.

Сложив руки трубкой, он крикнул:

— Ертаульный!

Мальчишеский голос впереди звонко подхватил:

— Ертаульный! Весла-а!

И за Гаврюшкой Ильиным, молодым казаком, повторили команду дальше на стругах, и покатилась она к головному.

Там замерли весла, табаня.

Мимо застывших ладей снова гоголем прошел вперед атаманский струг.

Так плыли казаки вверх, чтобы свернуть в Камышенку, на былинный путь, и оттуда поволочить струги волоком.

— Ты прости, ты прощай, наш тихий Дон Иванович!

СОЛОВЬИНОЕ СЛОВО

1

Были моровые поветрия. Голод навещал села и города. Деревянные сохи ковыряли в земле мелкие борозды. Вея жито, мужики подсвистывали ветру, чтобы он не принес порчи.

Ели хлеб с мякиной. Зимой домовой скребся в запечье, ухал и выл под дверями. Темный бор шумел за деревней. Народ прирос к земле. Народ не свой: боярский.

И в вотчине боярина Рубцова шла жизнь такая же, как и везде. Снег бурел, проваливался под ногами весной, тянуло сырым туманом и дымом, и скоро на проталинах начинала щетиниться молодая зелень. Люди сбрасывали зипуны и расстегивали за работой ворот рубахи. В березовых островках, опушенных тонкой листвой, перекликались веселые голоса. Молодые спрашивали у кукушки, сколько им жить, и кукушка щедро отмеряла им век без конца и краю.

Время от времени кто-нибудь вытягивался во весь рост под образами. Лежал нарядный, в белой рубахе — он избыл кабалу. С бревенчатой колоколенки маленький колокол провожал рубцовского мужика на погост, вокруг которого жидко колосилась рожь с куколем и васильками. Поп говорил об умершем:

— Райскую сень зрит: серафимы серебряными крылами веют...

Доходили вести о войнах, об ордынских набегах. Старики отсчитывали время по солнцеворотам.

Верховые влетели в деревеньку. У седел их мотались метла и собачья голова. Это значило, что они, как собаки, вынюхивают и грызут государевых злодеев-крамольников и выметают измену.

Наехавшие ворвались в боярский дом, сорвали замки с сундуков и ларей, посекли то, что нельзя было взять, выбили окна и подожгли дом. Боярский управитель ломал шапку на крыльце. О нем вспомнили, когда кончили свое дело, и вздернули на крюке в дверной коробке, напутствовав: «Сгинь, рубцовский гаденыш!»

Ветер дул два дня, серое марево поднялось над соснами и березами.

На четвертый день приехал новый господин. Мужиков, баб и девок собрали перед избой, где он стал. Вышел — высок, строен, кудряв волосом. Закидывая вверх мальчишескую красивую голову, сказал об утесненьях царю и царству, о врагах — ляхах, ливонцах, крымцах; велика Русь и непобедима, а нету времени для лености и для отдыху на ней, оскудевает государев кошель, а оружные люди нужны царю.

Староста низко кланялся и величал господина — князь Семен Дмитриевич.

Князь поездил и походил по вотчине. Все он будто хотел видеть, мешался в мужичьи дела, захаживал в избы, но все делал наспех: начавши разговор, конца не дослушивал, подгонял старосту, торопил мужиков, и мужики хоронились, когда видели, что к ним жалует торопыга. А бабы укладывали ребят, как больных, и голосили над ними. Кривя уголок рта, сжав губы, князь поворачивал прочь из избы: он не выносил немощей.

Когда окончился княжеский обход, из крестьян выколотили дани и пошлины за прежнее и еще впредь — все, что за душой. Взяли и новые, о которых не слыхано было до того, полоняничные деньги: на выкуп — так велено было объявить — русских полоняников из вражеской, басурманской неволи. Бабий плач покатился по деревне. Угрюмо, с недоброй усмешкой собирались шабры у своих разоренных дворов.

— Вы что, воровать? — бешеным, высоким, срывающимся голосом крикнул князь.

У боярского двора поставили кобылу. Начался скорый суд. Князь, подняв тонкий излом бровей, сам отстукивал костяшками пальцев по ручке сиденья удары кнута. Первый из наказанных мужиков не встал и после того, как его окатили холодной водой. Трясущийся поп наскоро отмолился над ним. Господин уехал, не пожив недели: торопился в поход, с собой увез десятерых; четверо из них пошли охотой радеть царю.

Они уехали на солнечный закат. А один из высеченных отлежался день и вышел за околицу на восход солнца, носом потянул воздух. Воздух был горьковат — то ли от гари где-то дотлевающих головешек, то ли от полыни, и тусклая пыль, степной прах носились в нем.

Еще двое — каждый сам по себе — ушли из Рубцовки.

Потом эти люди столкнулись невзначай в лесу.

— А я с курой к куму,— сказал битый кнутом, сурово глядя в лица односельчан.— Кум у меня на выселках.

Другой ответил:

— А я по грибы собрался, у тебя лукошко спросить хочу.

— Грибы не растут в моих следках, я не леший. Ищи у тещи на гумне.

Третий робко молчал.

Потом битый двинулся дальше. Двое других пошли за ним поодаль, скрываясь друг от друга.

Они снова нагнали его, когда он вынул пищу из торбы, чтобы закусить.

К вечеру похолодало. Второй собрал валежник. Третий развел костер.

С тех пор они шли вместе.

Робкий был Степанко Попов, по грибы сбирался Ивашка Головач, куру придумал Филька Рваная Ноздря; он уже и раньше бегал от боярского кнута из Рубцовки, но его тогда пригнали назад с отметиной от клещей палача.

2

Цепью городишек и острожков между Сурой и Окой заканчивалось на юго-востоке Московское царство.

Теперь с удивительной быстротой возрастало их число: наезжая из года в год на торги, купцы и степняки воочию видели, как все дальше вышагивает острожками и городишками русская земля на простор Поля.

Через несколько недель рубцовские мужики добрались до крайнего из них.

Степь заглядывала в городишко сквозь щели тына.

На торгу бабы в цветных платьях продавали молоко, огурцы, масленые пироги. Старик дремал около наставленных на земле обожженных горшков из красной глины. Между конской сбруей, шкурами и кусками цветного войлока, развешанными на ларьках, похожих на шатры, сновала толпа людей в накинутых на одно плечо зипунах, в кафтанишках. Эти люди жили по слободам; некоторые приходили из степи и уходили в степь.

Они торговали уздечками, сотовым медом, грубо выдубленными волчьими шкурами, одеждой — то драной в клочья, с оборванными рукавами, то пышной, боярину впору. Оборванец продавал красные сапожки. Трое распахнули подбитый мехом плащ-епанчу с дыркой на спине, быть может, от сабельного удара. Рядом в чьих-то черных от лошадиного пота руках блистал развернутый струйчатый бухарский шелк, ширинка, унизанная бисером. Тут можно было купить вещи, неведомые на Руси, странную утварь, бог весть откуда привезенную, кованые ларцы, на крышке которых сплетались пузатые фигурки, пялящие глаза.

На торгу был кабак. Широкоскулый кабатчик отпускал с прибаутками полугар. Люди, развеселясь, орали озорные и вольные песни. Много прошли городов рубцовцы, а такого города и такого народа не видывали.

Народ этот не говорил истово, почтительно, а точно горохом сыпал. И никто на торгу не замолкал, а продолжал свое — сыпать горохом и только чуть подавался в сторону, когда проезжал на коне сам воевода.

Вот к звоннице, похожей на сторожевую башню, идет поп, высокий, ширококостый, подоткнув рясу, шагая аршинными стрелецкими шагами через лужи вонючей жижи.

— Видит сова — мышки, слетела с вышки,— басом гаркает кто-то, и все вокруг гогочут, закинув головы, будто ничего смешнее и не слыхивали.

— Загудело трутнево племя!

И, не замедляя шага, поп-богатырь потрясает палкой, как древком копья.

Ржали лошади, привязанные у тележных колес. Верховые то и дело въезжали в ворота и галопом скакали по улице.

Пришлые из Московии мужики слонялись по торговой площади. Говор выдавал их. Они пробовали подступиться к девкам:

— Эка черная! Турка! Отрежь, ягодка, пирожка с гольем, не пожалей для молодцов.

— Молодцы что огурцы, да едят их свиньи.

И, звякнув серьгой, девушка бежала к подругам.

Необычайный человек явился на торгу. Одет он был с причудливой роскошью. Кунья шапка, кафтан, подпоясанный зеленым шелковым кушаком, малиновые шаровары, вправленные в мягкие желтые сапоги. Он двигался, покачивая плечами, гремя турецкой саблей с рукоятью, осыпанной каменьями. Прошел мимо выстроенных рядком расписных дуг, колес, дышел, мимо потертых седел, шлей, наборных уздечек. Остановился перед кучкой яиц, пятнистых, диковинной пестроты.

— Орлие яйца, с Бешеного Рога, батюшка,— прошамкал старик, по-татарски сидевший на земле.

Народ почтительно давал дорогу человеку в куньей шапке; казалось, все его знали. Конные ратники в длинных кафтанах — тегиляях — глядели на него.

Он сказал несколько коротких непонятных слов. Человек пять, кинув рыночные дела, отошли в сторону. Без-

усый юнец с бритой головой, взвизгнув по-молодецки, вскочил на неоседланную лошадь.

Блестя пестрым, расшитым платьем, необычайный человек прошел через всю площадь и скрылся в толпе тех, кто пил и пел песни у кабака.

Едва солнце указало полдень, всадники унеслись из города, заскрипели колеса телег.

Мигом опустела площадь. Всех точно ветром сдунуло. Только пыль вьется возле тесовых городских ворот.

Тишина. Мальчишки гоняют голубей. На стене — редкие, протяжные возгласы дозорных.

Тишина, полуденная истома в степи. Вот из-за далекого холма во весь мах вынесся верховой, пригнулся к луке и пропал...

Но у кабака еще не расходились. Пили, расстегнув свитки, задрав головы. Несколько пьяных спали на земле, и по их спинам и животам проносились тени красных коршунов, чертивших круги над крышами.

Тут и этот диковинный человек. Только его убранство изрядно помято, кафтан расстегнут, под ним — голое тело, медвежья волосатая грудь. Кунья шапка съехала набок, длинный чуб завился черным кольцом.

Человек вытер губы, обсосал ус и затем поманил рубцовских:

— Подходи, серячки! Что шатаетесь не жрамши?

— Аль признал нас? — опасливо спросил Попов.

— Ясно, признал: у тебя курсак с тамгой[1].

Головач разозлился. Он был голоден. Они все были голодны.

— Стрекочешь... А мы, русаки, стрекоту не разумеем.

— Бухан бурмакан бастачил аркан. А по-отверницки разумеешь? Хер-ду-ку-ра ку-еме-щаце-ля[2]. То про тебя. Разумеешь? Эх, тетя!

Кого он поддразнивал? Не только мужиков, у которых пусто в животе, но и кабатчика. Он даже подмигнул ему. Но кабатчик, не поднимая полуопущенных век, разливал вино.

---

[1] Курсак — живот; Тамга — клеймо, тавро *(тат.)*.

[2] Отверницкая речь, отверница — иносказание, «тайная» речь, распространенная среди «воровских» казаков. Часто была построена, как позднее бурсацкая и еще позднее детская речь в играх школьников, на разбивании слов на слоги с помощью различных частиц. «Дура — емеля»,— дразнит мужиков чубатый балагур.

Новый знакомец выпил еще, обсосал и бороду, снял шапку и поклонился мужикам.

— Ну, ино, херувимским часом заговеете квасом.

Головач ринулся на него.

— Стрекало выдерну, стрекун!

Тот с кошачьей ловкостью извернулся, руки Головача замолотили воздух.

— Мельник молол муки, намолол требухи, ты клюй, полный клюв и наклюй,— потешался чубатый.

У Фильки Рваной Ноздри злоба накипала медленно. Тяжело ступая, он зашел сбоку.

— Не суйся! Сам! — охнул Головач и схватился с обидчиком.

Никто не смотрел на кабатчика. А кабатчик поднял веки, зорко вгляделся в мужиков и одними губами что-то прошептал вертевшемуся подле него мальчишке. Тот сгинул мгновенно.

Внезапно чубатый легко стряхнул с себя мужика.

— Буде — гаркнул он.— Сказываю, буде. Твоя взяла.

Он, смеясь, поправил шапку.

— Кости помял, черт! А работать здоров! Мне работники надобны — соль грузить. Теперь похлебать дам. Айда за мной!..

Двумя широченными пятернями он загреб оторопевшую троицу и скорым шагом увел ее с площади.

У глухой стены он грозно покосился на Головача:

— Как звать?

— Ивашкой.

— Тезка. Яр ты. Люблю. Ты же, как тебя, катов кум, вол, ай, зол, да все молчком. И то — добро. Третьего, тихоню, чего с собой волокете? Ему бы — в богомазы.

— Не, то я с голодухи ослаб,— сказал Попов.

Новый хозяин остановился.

— Теперь слушай, легкотелые. Соли нету. Кака така соль? Сам бы солененьким закусил. Я, бурмакан аркан, такой же купец, как ты удалец. А только у кабака силки уже на ваши головы свиты; три птицы — рубль серебром. Нюх у меня собачий, а не ваш, барсучий.

— А твоей голове и сносу нет? — обиделся Филька.

— Насчет сносу не суйся без спросу. А цена моей голове не рублевая. Силками ее не возьмешь. Воеводе здешнему я кум, детей крещу у него.

— Кто ж ты? — спросили ребята.

— Живу под мостом, а сплю под кустом. Сорочьими яйцами питаюсь. Кто труслив, тот мимо глядит. А кто смел, зовет в лицо: атаман Кольцо.

3

Он указал ямщичью избу в лощине за тыном и велел дожидаться. Но ни завтра, ни послезавтра, ни еще день спустя они не дождались Кольца.

Хозяин избы, тощий человек с мертвенными узкими глазами, целый день чинил, а не то так зачем-то перебирал и развешивал сбрую и мало разговаривал даже с хозяйкой. Маленькая женщина, повязанная серым платком, она держалась сурово и необыкновенно прямо. Выпяченная нижняя губа придавала ей такой вид, будто она некогда прикоснулась к чему-то очень горячему и с тех пор отгородилась от мира, окаменев в брезгливом недоумении.

Оба не замечали мужиков. Их кормили, за едой старуха перед каждым клала ложку. Но за целый день — едва словечко. Когда Головач, поклонившись хозяевам после обеда, закрестился на угол (где не было икон), хозяйка, убирая со стола, сказала:

— Не толочись, как водяной.

Головач засопел, но рта не раскрыл — не решился.

В избе жила еще хозяйская дочка, ее звали Клавка. Она была непоседлива и, когда случалась дома, одна наполняла молчаливое жилье обрывками песен без начала и конца обращенными, видимо, к одной себе, восклицаниями и звоном весьма обильного женского своего хозяйства — браслетов, монеток, бус, каких-то металлических коробков, гребенок. Наряжалась перед медным зеркальцем, подбоченивалась, повертывалась. И все делала тоже так, будто, кроме нее, в избе никого нет.

Вечерами приходили ямщики, человек десять — пятнадцать. О приходе их повещал пронзительный свист. В избе становилось шумно, мужики соображали, что им тут не место, и терпеливо усаживались на земле за воротами; выходить из лощины было им запрещено.

Громовой гогот раздавался в избе. О чем там говорили? Не о ямщичьих делах. Такие там шли разговоры и такие ухватки, такие глаза у этих людей, что не то что в одной кибитке, но и в любом тесном месте жутковато

с кем-нибудь из них встретиться... Да и что тут, на краю Руси, за ямщики?

— Далеко ли ездите?

— Куда царь велит, туда и ездим.

— Царевы люди, что ли ча?

— Как велел царь, так и стали царевы.

«Царь велел»! Мужики угрюмо качали головами. Не от царя ли ушли? А он — вот он, и те, кто схоронил их от ката, от кнута и от ябеды, те, кто знал путь к воле, как тропу к своей избе,— они тоже, выходит, под царем. Как же так? Шли, шли, а исхода не нашли. Только и томись в лощине, как с завязанными глазами... Все это было чудно́ — страшноватая, непонятная сила, и они робели перед ней.

В избе даже неукротимый Ноздря лишь зло сопел, а рта не раскрывал и опасался вытянуть лишний раз руку или ногу, словно впервые с тревогой заприметив, как они тяжелы и неуклюжи у него.

Город стоял над лощиной. Тын высок, над ним сияла маковка звонницы. Стража караулила ворота. Мужики хозяйским, крестьянским глазом приметили, что бревна тына свежи, срублены недавно, одно к одному; казалось, город — со звонницей, с домами, с тысячей людей,— играючи, построила где-то на лужайке у себя исполинская рука, а потом разом перенесла и опустила сюда, на бугры, лощины и буераки; даже цепкие кусты не успели уцепиться за взрыхленную еще землю накатов.

И в первый раз за всю свою жизнь — когда ушли, думалось, от всякого закона — они как бы воочию увидели мощь и власть царства-государства. Яснее увидели, чем в сонные годы Рубцовки, когда не они знали, а им, мужикам, *зналось*, что их боярин не сам по себе, а вроде как от целого боярства, а над боярством в царстве-государстве стоит царь. Бояре были бояре — их и не сравнить с мужиком, а царь представлялся опять словно бы в мужичьем обличье: был царь Василий, ныне царь Иван, будет царь Пахом.

Прямо пред собой видели мужики теперь эту исполинову руку царства-государства; она казалась ближе, чем даже в смутные дни Рубцовки, когда наскочили верховые; еще тяжелей, чем тогда, когда гладко говорил князь о царском борении и о силах, которые напрягает Русь — народ...

...Гулял Кольцо. Голова его оценена, и это подзадоривало его пропивать душу в кабаке, посередь города, и красоваться на торгу, и угощать девок за пляску, и кричать конным стрельцам:

— На, поднесу тебе и кобыле, сам затомился, бурмакан аркан, и ее томишь!..

И среди городского люда блистал он в необычайном одеянии, волосы его выбивались из-под шапки, и не находилось человека, который не знал бы его. А перед ним расступались, шептали, кто с усмешкой, кто с боязнью, и все с завистью и восхищением: «Гуляет Кольцо!» И девушка, которую он отличал, потупляла, зардевшись, глаза. Один он не оставался — много народу приставало к нему и, видимо, заботливо следило, чтобы всегда при нем были люди, но он никого не звал и, случалось, обведя окружавших тяжелым взором, начинал яростно, бешено, с руганью гнать всех от себя.

И не только пальцем не трогали здесь атамана, присужденного к смерти (может, и впрямь он крестил у воеводы,— причудливые, хитроумные пути соединяли Поле с украинными городками!), но и те, кого он открыто связал с собой, как вот этих рубцовских, становились, выходит, тоже неприкосновенными, невидимыми до тех пор, пока оставались они в указанной им хижине. Как та хижина видела город, так и город, конечно, отлично видел ее в лощине, да только лукаво щурился...

Однажды гость, не спросясь, рванул двери; тяжкий, вспухший, мутный ступил в избу Кольцо, горбясь, не здороваясь, шагнул к скамье. Клава очутилась возле него, и злое, обиженное и вместе робкое, собачье-преданное выражение поразило мужиков на ее лице. Она пригнула к себе большую мохнатую голову Кольца, стала перебирать, приглаживать, воркующе приговаривая, волосы ему. Потом на полатях слышался сердитый, настойчивый, страстный шепот. Клава упрекала и опять, баюкая, принималась ворковать и счастливо смеялась. Отец возился с хомутами. Мать, прямая и сухая, выпячивала нижнюю губу.

Ночью Кольцо ушел. Дочь встала на рассвете; высоко вздернув левую бровь, она прибиралась перед зеркальцем, старательно, долго стирала следы слез с помятого лица. Глухая досада поднялась в Филимоне. Он вспомнил не о рваной своей ноздре, но о деревне, о тонких бабьих голосах спокойным вечером возле высоких скирд.

Грубо спросил:

— Ты баба ему?

— А то мужик! — с вызовом ответила она.

Звякая монистами, в шитом летнике, со все так же напряженно приподнятой бровью, она заторопилась в город.

Вернулась вечером, суетливо сновала по избе и хохотала, вдруг уткнулась в чело печки, зарыдала, и румяна поползли по щекам...

А рубцовским только и было, что смотреть на эту вздорную, суматошную тесноту. Ведь Кольцо и словом их не приветил — будто не видел. Филимон решил наконец кончить молчанку, но хозяин сурово оборвал его, глядя мимо:

— Подожди! Не ты тут царюешь.

— А чего ж он, ребята, Кольцо? — спросил у своих товарищей кроткий Попов.

— А по волосу, должно, волос, видал, какой,— скучно ответил Головач.

— Не, то, я думаю, перстень у него... заговоренный перстень,— продолжал свое Попов.

Ноздря ожесточенно сплюнул.

На другой день пришел Кольцо. Ему нагрели котел воды, он вымылся в закуте, с наслаждением фыркал, окатываясь напоследок холодной водой из ведра.

Старое платье он не стал надевать, хозяин принес ему новое.

Потом сбегал за какими-то мешками, ящиками.

Сразу всем нашлась работа. Увязывалась кладь. Кольцо торопил:

— Единым чтоб духом!

Перечислял, напоминал, шутливо журил, что без батьки тут все равно что без башки. Тащили кладь и с воеводского двора: порох, свинец. Кони жевали мешанку за избами, на суходоле. Рубцовским пришлось наваливать на подводы муку, толокно, припасы.

Ночью явились «ребята», душ пятнадцать.

— Перьев не растеряли? — сказал им Кольцо.— А ну наваливай!

Выехали, пополдничав, на другой день.

Клавки не было в избе.

Ямские тройки, рванув, вылетели на шлях. Кони расстилались, огретые длинными кнутами. Рубцовские не видывали такой гоньбы. Царевы ямщики везли воеводскую

кладь, разбойного атамана, по ком скучала плаха, и беглых боярских людей!

На пригорке ждала женщина. Она сбежала, бесстрашно став на пути. Кони вздыбились. Тогда она со звериной гибкостью скакнула в повозку. Ямщик, блестя зубами, обернулся с кнутовищем в руке. Бабе нечего делать на государевой тройке в Поле. И казачья воля не терпит женской слабости. Но атаман крикнул:

— Змея! Сама вползла!

И открыто, перед всеми, он впился долгим поцелуем в губы Клавки.

4

Еле приметный шлях уводил к другому городку. Став на малое время табором, переложили все казачье с ямских троек в седельные мешки, догрузили оставшееся на несколько легких повозок с высокими колесами. И скоро только разбойный, заливистый посвист доносился, замирая, из тусклого облака пыли, где скрылись ямщики.

На юге еще высились кой-где одинокие дубы. Под ними виднелись нерасседланные кони. Вверху на дереве, скрытый, сидел человек. Он глядел оттуда в степную даль. Кони стояли наготове, чтобы перенести весть от одного сторожевого дерева к другому, а от последнего дерева — к городам Украйны.

И рубцовские понимали теперь — все это Русь.

Дальше не росло и дубов. Только редкие бугры поднимали кудрявые венцы орешника над немятыми травами. Легкое дуновение колыхало медовый запах.

Верховые с оружием наготове скакали возле повозок.

Ночами полыхали дальние отсветы чьих-то костров. К утру одежда становилась тяжелой и сизой от росы.

Однажды в лицо потянул ветер, запахло тиной, прохладной водой. Бледная черта прорезала пространство с севера на юг. Кое-где она расплывалась и восходила до неба светлой пустотой.

Волга текла за невысокими кручами и уступами белого камня, лесные пущи клубились по лощинам. Зыбь ходила на середине реки.

Кони остановились. Трое мужиков, нагнувшись, набрали немного волжской земли и по-крестьянски растерли ее

между пальцами. Она посыпалась, черная и жирная. Не сговариваясь, они засмеялись.

Равнина осталась за их спинами. Курганы стояли в ковыле и жестком татарнике. Орлы застыли на курганах.

Это был край казачьей воли.

5

Есть место, где кручи возносятся выше и Жигулями наступают на Волгу. Река отпрядывает и крутою петлей огибает их.

В этом месте, укромном и грозном, издавна главное пристанище казаков.

Сюда собирались люди со всех концов русской земли.

Вниз по реке спускались с язвами на кистях рук и на шее от доски-колодки, с обрывком цепи на ногах, С солнечного захода шли донцы и бритые сивоусые днепровцы, прибегали рязанские мужики.

На притоптанной почве под мшистым камнем горел костер.

— О, голи прибыло! По тебе, старый, домовина зевает, Что ж ты кости свои на Волгу притряс?

— А она их, матушка, сполоснет светлой водицей.

— Вся Русь бредет.

— Что так?

— Неведомо. Поднялась и бредет. Мы-то — сюда. Псарями были. Да кровь на нас... вышло такое дело... не заячья кровь.

— Кистенем грехи отмолишь, коли способный.

Жидкое варево кипело в котлах. Голоса отдавались эхом. Дозорные, осыпая глину и щебень, взбирались на верхи Жигулей. Внизу ютились убогие рыбацкие селения. Редко-редко вилась струйка дыма над пустыней Волги.

Медленное пятнышко показалось внизу на реке. Судно с астраханской стороны. У корабельщиков упало сердце, когда темным облаком повисли на краю неба Жигули и, обнаженная, в искрошенном камне, поднялась над ними Казачья гора...

— Смотри! Там что? Смотри, Патрикеич!

— Там тихо, ништо, хозяин.

Купец был жох, ловок в делах и не трус, иначе не пустился бы один по Волге. Он верил в свое молодое счастье. Но теперь, на судне, не мог усидеть на месте.

Он приказал, чтобы все свободные влегли в весла и чтоб распустили паруса. Но под горой крутило, и паруса хлопали. Судно двигалось медленно мимо шумевших лесом берегов.

Охрана взялась за пищали. Хозяин в который раз обходил своих. Он всматривался в них, и лица их казались ему чужими, незнакомыми, будто он видел их впервые.

Этот не выдаст. Он служил еще отцу. Похож на добрую собаку... У того на посконой рубахе расползшееся ржаво-кровяное пятно. О чем он думает? До сих пор хозяин, купец, не задавал себе такого вопроса. А ведь тот думает. О чем? О персидском золотом шитье под палубой, какого ему не нашивать и не даривать девкам? Может быть, о жене, которая, по бабьей слабости, годами не зная мужа, поддалась на чужие прелестные речи и ласку? А есть ли у него жена?

Все снимали шапки, пили за хозяйское здоровье, будто жили одной душой,— хозяин и работники,— любо смотреть. А выходит, он ничего о них не ведал.

Нет, тот выдаст. Продаст ни за что. И другие тоже. Ничего не прочтешь в их глазах.

— Наддай, ребятишки, дружней-веселей, бочонка вина не жалко!

Эх, зря поскупился на охрану, зря похвастался — ушел один вперед, не пристал к каравану.

— Никого нет, Иван Митрич,— доносит старый приказчик.

И садится, смотрит на берег. Потом говорит:

— А то можно бы обождать. К завтрему нагонят задние...

Значит, можно еще исправить это, свою смелость? Хозяин мозгует. Он любит песни, пляс. В Астрахани, в персидском ряду, лавки, завешенные шелками,— как корабли, поднявшие алые и золотые паруса... Там запах моченой кожи и гнилых арбузов, ни на какой другой не похожий. Вот что в мыслях у него,— и никак не принудить себя вообразить невообразимое, свою смерть.

Он снова слышит голос Патрикеича:

— Народ притомился...

А вода шумит у бортов, завивая легкий белый сбитень пузырей. Она тоже как шелк, проткaнный солнечными нитями. Видно, как уходит и плещет на берег косая теплая волна. Может быть, не просто ради торговой выгоды спе-

шил он, опережая других купцов. Может быть, ждет его в Москве одна душа. Что в ней, девчонке со щеками, вспыхивающими пламенем, с опущенными долу глазами, тонкой, как тростинка? Она гуляет в саду, смеется или грустит, радуется вот этому же солнцу. И чей это подарок у нее, жемчужные подвесочки в ушах? «Боярышня в боярышнике»,— думается ему, и он решает:

— Проскочим!

Он дает волю своему неугомонному упорству. Расставляет охрану на палубе. Пусть будут далеко видны дула, копья, сабли.

Вдруг что-то смущает его. Он припомнил. То был пустяк. Утром, на привале, к судну подошел человек. Он навязывал работным людям низки рыбы, приговаривал: «Не жалей грошей». Да не по-рыбацки, въедливо выспрашивал, бесстыдно, упорно высматривал. Угрюмый, со сверлящим глазом. «Звать тебя как?» — «Всем святым поставь по свечке, там и моего помолишь».— «Чей?» Покосился. Клунин, что ли, сказал? Или Смырин? То — в издевку: значит, ничей. Ничьи люди тут. Купец почувствовал, что его лоб стал мокрым от пота.

Отметил место на берегу.

— Патрикеич! Досюдова не доедем — назад поворотим, если что. А переедем — заспешим вперед.

У гребцов взмокли спины, кровавые мозоли на ладонях...

— Так ничего нет? Ты зорче моего.

— Ничего... Да только... С нами сила крестная!

Из устья реки Усы высыпала черная стайка лодок. Их почти не видно над водой, только заметно, как вспыхивают огоньки по бокам — то часто взмахивают весла, рассыпая водяные брызги. Взвились рогожные паруса, стая стругов берет наперерез; видно, что они полным-полны людей. Смутный рев долетает по воде.

Теперь на судне кричат все. От сверхсильного напряжения людей зависит, проскочит ли судно.

Все ближе лодки, шибко разбежались они по воде. Уже слышны ругань и свист. Пестрый — как напоказ — человек с вихром из-под шапки правит крылатой стаей.

— Сниму, купец! Твой целковый! — кричит стрелок.

— Первым не пали! Озлишь!

Вот они. Сотня рук, взмахивающих веслами. Косматые головы, полуоткрытые, тяжело дышащие рты. Кудрявый чуб у рослого вожака.

Ясно слышен его покрик:

— Налегай, братцы-удальцы! Хвост прищемим, бурмакан аркан!

Вот они, душегубы. Они — за его жизнью, за его, Ивана Митрича, кровью. Что она им?

И ему вспомнилось, как, маленький, он протягивал руки против солнца или против огня и дивился, видя красную кровь свою внутри прозрачных пальцев.

И, как в детстве, ему представилось, что, если зажмуриться или оборотиться туда, где в золотой пыли спокойно носились птицы, сгинет нелепица, останется все твердое, ясное, необходимое, что было четверть часа назад.

— Греби, рви, не щерься, Иуда!

Он хлестнул наотмашь гребца, уже грудью припадавшего с пеной на почернелых губах к спине переднего товарища.

— Вызволяй, соколики-голубчики, озолочу!

Что? Маху дали воры? А то как же? Ведь он — жив человек! Перенять расшиву не удалось, проскочила. Позади нагие обрывы, змеистые гребни, дремучие чащи — вот-вот сплывутся в недоброе облачко.

Маленькая рыбацкая лодка на стрежне, мирная, на ней на шесте черный лоскут.

Скинув шапку, купец бормочет:

— Господи, спасибо!

И не заметил никто на судне, как из сумрака прибрежных кущ выпорхнул в мертвой тишине десяток новых стружков.

Человек на рыбачьей лодке махнул черным лоскутом, и стружки разделились надвое, зашли спереди и сзади.

И когда увидел их купец, он сразу стал спокоен. Нечего ни истошно орать, ни суетиться. То был конец. Все же взял самопал, неспешно, не торопясь, навел, пальнул. Еще несколько выстрелов враздробь грохнуло с расшивы.

Но уже с хряском десяток крючьев вонзился в смоленые борта.

Полуголые люди, вышибая доски, полезли на борт. Снова у кормы раздался крик чубатого вожака. Бой был короток. Судовые кидали оружие. Малочисленная охрана, смешавшись, отбивалась недружными ударами топоров и бердышей.

Тяжеловато взобрался с рыбачьей лодки, шагнул через борт, оправил полы плотный, невысокий человек. Огляделся кругом, обнажил голову.

— Помяни, осподи... души хрестьянские...

Деловито прошелся по палубе, негромко распорядился. И по приказу Якова Михайлова сорвали люк в трюме. Тюки с товарами стали переваливать в ладьи.

Вода повернула судно поперек реки. А по сосновым доскам палубы, вылизывая тонким языком встречные предметы, осторожно уже бежал синеватый на солнце огонь, выскользнувший из печки, где так и не доварились щи.

В кучке казаков у кого-то из шаровар покатились серебряные монеты.

Никто не нагнулся за ними и виду не подал.

Но на плечо рябого казачка-певуна, который был в той кучке, властно легла рука Михайлова.

— Вор! Своих обирать?

Мгновенно вокруг казачка стало пусто. Он точно осел под пригнетающей его рукой. Не было страшней сказанных ему слов. Дико, исподлобья глянул казачок на Михайлова, смуглое рябое лицо сразу пошло пятнами. Дернул плечом, силясь скинуть руку.

— Что ты... за что ты?

Тогда Михайлов спокойно с короткого размаху ударил его, и казачок от удара втянул голову в плечи. Два казака скрутили его кушаком.

— Как пес шелудивый у артельного тагана,— сказал Михайлов и выругался.— Открыл себя, все увидели тебя, какой ты гад.

Что-то хотел выговорить казачок, но задыхался, только пузырьки слюны булькали на его губах.

— Молчишь, сволочь? Не вякнешь теперь, вражина!

И, будто новый удар, дошиб его этот окрик. Покорно, заплетаясь ногами, как пьяный, пошел он, куда повели. Казаки поворачивались и смотрели на него и на атамана Михайлова.

И вот он стоит перед главным и верхним, перед Ермаком. Рванулся было к нему, да крепко держали. И вдруг прорвало его:

— Батька, не я!

Михайлов, совсем спокойный, все рассказал обстоятельно, точно не слышал нечеловечьего крика казачка.

Ермак — ни слова, нехорошее дело. Брязга подал голос:

— Как смотришь, атаман?.. Парень справный, песни — верно, слышал — складно играет. За чужие спины

не хороняка. Серебра этого всего и будет на полтину. Выпороть бы...

— Яков! — поднял глаза Ермак.

— Серебро вы подбирали? — оборотился к двум казакам Михайлов.— Оно?

— Оно самое,— подтвердили казаки.

— Что — оно?! — опять очнулся казачок.— Что? Неповинный я! Не липнет серебро до моих рук! Губишь мою жизнь, Июда! Знаю, за что ужалил меня...

— Опомнись! — заорал Брязга.— Чью руку кусаешь? До земли кланяйся артели, винись. Перед атаманами запираешься...

— Батька мне атаман. А его атаманом над собой не ставлю! — И казачок вырвался из рук, державших его; шапка упала, рубаха разорвана в вороте и под мышками.

— Не ставишь? — с угрозой спросил Ермак.

— А и выпороть, правда.— Михайлов только чуть допустил улыбке шевельнуться под густым пшеничным усом.— Да что там, дурья голова, невесть чего несет. Пригоршню одну и черпанул из мелочи у купца — делов-то!

Но казачок больше ничего не слышал.

— Через злобу его, через месть пропадаю! Не стерпел он, что насквозь видел я черноту его. Вона насколь занозила тебя правда моя, Яшка!

И все мрачнее хмурился Ермак. При слове же «Яшка» вскочил, бешено повторил:

— Не ставишь? Не ставишь? По донскому закону!

Казачок замолчал, как осекся. Не противился, силился даже ухмыльнуться, когда надевали ему на рваную рубаху, поверх скрученных рук, кафтан. Свели вниз, к лодке. Зашили рукава кафтана, набили их камнем и песком. Он сплюнул сквозь зубы, засвистал. Прошел последнюю полоску берега до лодки, ногой загребая песок. Трое отъехали с ним. Он коротко крикнул без слов и весь дернулся только тогда, когда, подняв, раскачали его над глубокой водой.

Был — и не стало молодого певуна, рябого неспокойного казачка Ивана Реброва.

Вечером однолетка его, парень почти безбровый, с выцветшими бледно-голубыми глазами на маленьком лице, Селиверст вышел плясать под шутовскую песню. Он был пьян, плясал, выкидывая ноги, приседал, семенил, подскакивал нелепо и развинченно, взмахивая руками, точно ловя кого-то. Смерть шагнула мимо него, а он — вот

он, это его горсть побывала в кожаном кошеле у купца — грех попутал,— смерть прошла в полшаге, да обмишулилась, мимо прошла. И еще сколько-то осталось у него серебряных кругляшек, не все выкатились... Стало ему муторно, при казни Реброва с берега убежал и заливал, и заливал водкой... Теперь, срывая голос, шепелявый Селиверст кричал бессмысленные шуточные слова:

Подвилья
Подвиль яблонь
Натравили противили нафиля!

Хмель ходил по ватаге.

Убитым помазали губы медом и вином, которого им не довелось испить,— не воем и плачем, земной сладостью надо провожать своих мертвых; и чтобы не тоску, а веселье в последний раз слышали они.

В домовины положили сабли, ливонские палаши, кафтаны — из доли тех, кому вечно там спать.

Похоронили у Казачьей горы.

Крестьяне сели портняжить, зашивать изодранную одежонку, и рядом с ними — на корточках, на земле — замученные, с кровавыми мозолями гребцы с судна.

Широка и пустынна Волга. Сизое пыльное марево над степями за ней.

Почти сровнялись с землей старинные могильники. А каменные болваны, лицом к востоку, остались стоять на них. То изображения неведомых врагов, поверженных во прах неведомым богатырем, лежащим под курганом...

6

Миновало много месяцев.

И однажды высоченный детина прибрел на Волгу. Его не узнать. Брюхо, некогда в обхват толщиной, опало. Волосы спутались. Но все же он не мог вовсе отказаться от щегольства, и серьга с голубоватым камешком поблескивала у него в одном ухе. Он сипло пропищал, что каша на Дону стала крута — так ее заварили атаманы. С московских листов началось. Дорош добавил больше всех. И помрет, верно, Марья, Махотка, слезами исходила баба, страшно смотреть!..

— Ишь ты! Что ж ей, Махотке, Москва и Дорош?

— Да кой прах Дорош! По мне, слышь ты, убивается баба!.. Что кинул ее и до вас подался! Вот присохла, огого! И со мной всякая так, милый!

— Ох, шут! Ох, Баглай! Да про что ты?

— Да про то же! Царские листы привезли на Дон. А в листах тех написано, что воры вы. Круг собрали. А Дорош залютовал...

Лютовал он, крича: пора-де вывести, с кореньем вырвать, воровство и охальство на синем Дону. Баглай так понял поначалу, что снасти своей, стругов, припасу жалко Дорошу, да и обещанной доли из добычи. Что-то все не возвращались Ермаковы казаки на поклон к нему!

Но — диковинное дело — совсем не про то заговорил Дорош, вовсе в иную сторону повернул. Против атамана Козы повернул — да как еще! И про Савра вспомнил, что бежал тогда, перед турецким нашествием.

— Ну, а Коза? Что Коза, Бурнашка?

Только вроде и занимал Козу, что дымок турецкого тютюна. А когда отговорил Дорош, Коза проворно вынул люльку изо рта, обвел прищуренным глазом круг и проговорил: прав-де Дорош-казак — воровство и охальство на синем Дону выведем сами; о Савре — дело давнее, в те поры, как оно случилось, покрывать его не следовало, да все думы были тогда о другом — как отбить и истребить Касимку-пашу и Девлета-батыра. Однако известно ему, атаману Козе, что в ночь, как бежал Савр, горел в степу костер, и слетелись к тому костру чужие, не низовые люди, и силу взяли из-под руки Ермака, батькой и хозяином его величали. Атаманом же он сам себя поставил, а кто он, Ермак, и откуда, никому не ведомо. Да уж не тот ли огонек-костер светил и Савру в побеглую его ночь?

— Так всем бы нам,— возвестил атаман Коза,— внять писанному в государевых и боярских московских листах; верно в них писано: смута и поруха вся синему Дону оттого идет, что коренные, низовые казаки больше у себя хозяевами быть не хотят, попустили чужаков-пришлецов силу взять.

Ничего такого, впрочем, и вовсе не стояло в московских листах; Козу это, однако, не смутило. И потому кончил он, оборотясь к московским людям: Ермака схватить и в железах под стражей отправить в Москву. Донских же, кто пошел с ним, бить ослопьем.

— С Дону выдавать?!

— Люлька в шуйце,— изобразил Баглай,— десницей хвать булаву. Вот те и Коза!

— А Дорош-то как же?

— Объехал его Коза. Слушает Дорош и хмурится, все к бороде руку тянет. А как внял, откуда все зло,— с того, мол, что низовые у себя больше не хозяева,— ажно взрыкнул, и кулаком погрозил, и перед круг опять выскочил. Знал Коза, каким манком поманить Дороша! И зачал! Ох и зачал же, братики-шатунки, Дорош! Да вот, слышьте. Кто голытьбу возмутил? Ермак. А казак ли он...

— Ну после перескажешь,— перебил Ермак.— Язык у тебя, чую, ровно мельничный жернов ворочаться стал. С дорожки силы наберись, хлеба-соли отведай, не скудны мы хлебом ноне... Что ж вы, покормите гостя, дорожка дальняя — с мест наших родимых!

Поднесли Баглаю ковш. И скоро он заговорил о том, как один проплыл через турецкий бом в пять рядов цепей у Азова, сгреб в шапку сокровища паши и пожег халаты его жен.

Потом стал сыпать слова на придуманном им самим языке, щедро мешая русскую, татарскую, персидскую речь.

Заснул и проспал четырнадцать часов.

Наутро чья-то рука разбудила его.

— Так что, говоришь, сказывал Дорош? Вечор не с руки было, говори теперь.

— Что не казак ты... не низовой. Холоп, мол, и смерд из тех, что сверху.

— Знает свое дело... Худая весть, да важна, дюже важна. Что в пору принес, не промешкал, спасибо, Баглай.

Вечером у костра на берегу Баглай окликнул высокого, еще по-мальчишески худенького казака.

Согнувшись, долго подпарывал полу зипуна, пока не извлек оттуда бурые клочья.

— Тебе.

Но тотчас отвел руку.

— Впрочем, грамоту ты разумеешь, как я турецкую веру.

С сомнением поглядел на следы немыслимых каракулей полууставного письма.

— Сам писал, сам могу и прочесть. Только темно тут... Да ты не бойсь, и так скажу: тебя любя, вытвердил, что она говорила, как «Отче наш».

Вот как сложил казак в уме своем слова этой грамотки, откидывая, не слыша то, что от себя вплетал Баглай:

«Жив ли ты, Гаврюша Ильич, по молитвам нашим? Не знаю, каков ты ноне, во снах только видаю. Может, ты большой атаман. А повещаю тебя, что в станице избушек по куреням стало вдвое против прежнего. А рыба вернулась в реку, как и прежде не бывало, и яблоньки наливают. А как бабам холсты белить, вода поднялась и залила аж Гремячий, а на Егорья трава сладкая, и на конский торг съехалось народу невиданно. Ходила я на вечерней зорьке, где голубец стоит. Прошу тебя, не сыскивай ты той горы Золотой. Забудь слова мои прежние, господине, неутешная я из-за них. Ворочайся до дому, чисто, светло у нас в степях. А хоть босого, хоть голого встретить бы тебя. Меду донского я, сиротинка, шлю тебе. А про азовцев и крымцев и не слыхано у нас...»

Баглай выпрямился во весь свой несообразный рост и сказал:

— Неутешная, слышь! А о меде том — будь, Гаврилка, покоен: ногайского хана за него, бредя путем, порешил, как зеницу, берег. Да мухи съели, больно сладок был.

Прижмурил один глаз, другим нацелился сверху на Ильина:

— На Дон, ась, побежишь? Аль так весточку пошлешь?

Гаврила отошел к реке, черпнул воды, вылил из горсти. По той, по далекой, по иной реке давным-давно тоже плыли огоньки костров. От них увела дорога. Он смотрел, как ломало волной красноватые отсветы, дробило. Вот и их снесет прочь, минутся и они с их теплом. «Найдёнка! Фрося!» — подумал он, как тихо позвал. Глухо и темно в той стороне, где не светит пламя костров...

7

С виду долго еще не менялось ничего.

Атаманский шатер стоял в теснине, в нем висели уздечки с серебряным набором, дорогая одежда, лежали клинки турецкой стали, стояли укладки, полные рухлядью.

Жил в том шатре атаман Яков Михайлов, обдуманный хозяин, спокойный, рассудительный, в движениях

медленный человек. Он вставал до света, всходил на кручу, из-под руки оглядывал горы, реку, кричал:

— О-гой!

И все начинало шевелиться в стане.

Другой шатер был поплоше. Почасту в нем не живали. Дела у хозяина этого шатра завелись не только тут, в стане... На своей душегубке он уплывал, и надолго пустел шатер. Иной раз плыл атаман вниз, а Брязга ехал вверх, угрюмый Родион Смыря уходил бережком. И той же ночью исчезал из лагеря простой казак, не сотник и не пятидесятник, Гаврюха Ильин — с коробом за плечами, со связкой голавлей в руках. Возвращались иной раз одни, иной раз приводили с собой новую ватажку удальцов.

Хозяин шатра возвращался не так скоро. Не только в михайловской артели звали уже его батькой, у многих котлов-ермаков стал он Ермаком.

В новом деле он не давал себе отдыху с тех пор, как узнал от Баглая, что вот случилось это: он — отрезанный ломоть. А может, и вперед знал, что будет так, только ждал, когда будет сказано и войсковой печатью припечатано.

Уж не свою ли Реку строит он себе взамен той, утерянной?!

Слово об этом — ведь оно тоже было сказано некогда в чистой светелке, где рыбой пахло, яблоней и молодой, счастливой тогда женщиной,— у голосистого, у кременного, весело и тяжко сидящего на земле Дороша!

Всадники прискакали с заката.

— То ж дорога! Что ж то за поганая дорога! — говорил чубатый, с вислыми усами, спешиваясь и потирая те места, что особенно пострадали от поганой дороги.

— Ну, батько, принимай хлопцев!

Хлопцы расседлывали коней. Все одеты причудливо: на плечах кунтуши, а ноги босые и грязные, у пояса — пороховые рога.

Главарь их Никита уже рассказывал, как порубали они шляхетские полки и явились среди главного посполитого войска *пид самисеньку пику* пана воеводы.

За походы на панские земли и прозвали Никиту «Паном».

Он оглядел казачий стан, покрутил ус.

— Да вы же, мов кроты, все по балочкам. А мы — до солнышка поблизче.

Кликнул десятского своего, домовито походил по кручам, выбрал гладкое, но скрытое орешником высокое место над самой Волгой, измерил шагами в длину и поперек.

— Ось туточки, хлопцы. Дуже гарно. Ляхи, турки — знакомцы нам. Побачимо, що воно за татары, за персюки.

Волга поблескивала за кустами. Расстилался вдали плоский степной берег.

Никита Пан снял шапку, отер потный лоб и удовлетворенно вымолвил:

— Пид самисеньку пику.

8

Жизнь в куренях шла своим чередом.

Уже стали по укромам казачьи городки.

На зиму исчезали шатры, наполовину пустели землянки, ватаги сбивались в городки, много людей уходило в украйную полосу Руси. Там пережидали и на Марью — Заиграй овражки [1] возвращались в курени.

Старики старились и, у кого был дом, брели помирать на родимые места.

Невдалеке от устья Усы пряталась деревушка. Жило в ней немного баб и несколько десятков мужиков, ничьих людей, не казаков и не крестьян. Они рыбачили, шорничали, плотничали.

Гаврила Ильин ходил туда за рыбой.

Подоткнув подол, молодуха полоскала в реке белье. Гаврила видел ее стройные белые ноги с небольшими ступнями, наполовину ушедшие в мягкий иловатый песок, и круглые, ладные лопатки, двигавшиеся под лямками сарафана.

Рванул ветер, сорвал с прутняка развешанную узорчатую тряпицу, покатил и бросил в волну.

Гаврюха сбежал и достал ее.

— Помощничек,— сказала молодка,— спасибо.

Ее глаза смеялись под вычерненными бровями.

— Кто ж ты? — спросил Ильин.

— А портомойка,— ответила молодуха, покачивая длинными светло-голубыми подвесками в ушах.— Всех знаешь,— что ж меня не признал?

---

[1] Первое апреля.

После она сказала, что зовут ее Клавдией.

Она была во всем, даже во внешнем облике своем, легка, держалась с чуть озорной смешливостью. Он подумал, что она весела и, должно быть, хохотушка, и сразу почувствовал, что ему тоже легко и просто с ней.

Теперь он знал, кто она: Кольцова Клавка. Деревня-то эта тоже звалась Кольцовкой.

Он стал заходить к молодке.

Бывала она всегда одна в большой тесовой избе. Подвески разных цветов, зеркальца, бусы, ожерелья, дутые обручи лежали открыто в сундуке, который, верно, и не закрывался, ворохом навалены кики, летники, очелья, многое выткано серебром, тафтяное, парчовое, из переливчатого шелка. И отдельно ото всего, но также на виду висела однорядка на рослого мужчину, полукафтанье аккуратно сложено под ней, на столе шапка с малиновым верхом. Так, верно, она и не убиралась со стола, давно дожидаясь вместе с однорядкой и полукафтаньем хозяина.

Клавка порхала по избе, вечно ей находилось, что взять, что переложить, поправить какую-нибудь из бесчисленных, как в богатой татарской сакле, подушек.

Она смеялась, начинала и обрывала какие-то песни, румянилась и настойчиво спрашивала:

— Скажи — не красна?

Иногда садилась вышивать. Вышивала она не узор, а странное: мохнатые цветы с глазами на лепестках, крутой нос лодки, птиц, и Гаврюха думал, что птицы эти похожи на нее.

И он понял то, о чем уже догадывался по суетливому ее веселью, по мельтешащему изобилию мелкой, дорогой, открыто, на виду, накиданной пестроты.

— Скучно тебе? — спросил он.

— Нет,— ответила она, вздернув брови.— Когда скучать!

Он рассказал ей, как нечаянное приходит к людям,— сказку об отце, который, помирая, завещал сыну повеситься, и сын послушно повесился; как велел отец, а доска отвалилась, оттуда, где был крюк, выпал мешок с золотом.

Она только передернула плечами.

В ее одинокой жизни была привязанность — семилетний рыбацкий мальчик Федька, соседский приемыш-сиротка. Она кормила его медовыми пышками и пирогами с рыбой, сама зашивала рубаху, подарила сапожки.

Теперь она стала ждать Ильина, нетерпеливо изогнув брови.

Однажды утром посередке рассказа о том, что ей снилось, она вдруг всхлипнула:

— Жалобный ты... Сирота тоже... без матери.

И она пригнула к себе его голову, отрывисто поцеловала и начала почесывать за ушами, будто котенку.

— Все вы тут сироты.

Так казалось ей, потому что она вспомнила о ямщичьей избе в лощине, о родительском доме и горько пожалела о матери, с которой за все время своего девичества вряд ли сказала больше сотни слов.

9

Впрочем, дома сидеть Клавдия не любила. Гаврила часто натыкался на запертую дверь. Присаживался перед порогом.

— А ты, дядя, иди себе,— кричал ему Федька.— Тетя, как побегла, велела сказать: ты иди себе.

Он напрасно искал ее по деревне, спускался к реке.

Когда после он допытывался у Клавдии, где была, она сдвигала брови к переносице.

— На горе рыбок кормила. Где была, там нет.

И добавляла:

— А где буду...

Но, не досказав, начинала мурлыкать себе под нос. Потом говорила:

— Чего меня ждать? Хочу — жду сама. Не люблю, когда жданьем своим вяжут.

Но тут же смягчалась.

— Да вот же я, видишь, никуда не делась. Ну видишь?

Покружившись по избе, заканчивала:

— А где буду, там и сама еще не бывала, и тебе в тот теремок мой ход заказан!

Ильин и не пытался складывать воедино эти ее речи. Просто садился и глядел, как она переделывала сотню своих бездельных дел.

Однажды, хлопоча над чем-то, изломав бровь, не глядя на Ильина, Клавдия кинула:

— Пойдем к ворожею.

Он не понял:

— К кому?

— К ворожею. Подвижник тут... святой человек.

— Подвижник аль ворожей? Ты одно что-нибудь,— сказал он хмуро.

— Пойдем! — повторила она.

— Судьбу мою пытать мне не к чему. Не спросясь нас, она свое делает. А с моей твою и вовсе нечего плести. Ты вон какая — нынче вижу тебя, завтра улетела птичка.

— Ну, колись иголками... сирота! — сказала Клавдия с вызовом. И вдруг стала просить: — Гаврюша... Спрашивал ты, где бываю,— молчала; сама скажу: у него бывала. Всю жизнь мою... всю как есть он мне рассказал... И про тебя... Не говорила я и намека не давала, а он: откудова ты, и про казачка того, что песни петь тебя учил...

— Ванятку Реброва? И думать не велю себе про него, а все думаю, не забуду его...

— И про то, как ваш Тимофеич тебя чтит...

— Сколько у него таких, как я!

— Вот-вот! Его слова. Все видит, скрытого для него нет. А ровно играет со мной, испытывает. Говорит, говорит... Страшно, а все бы слушала. Вдруг глянет так грозно в душу: «А ну скажи, сколько Ильиных у него?» Что скажу? Молчу. Сам ведь все знает. Испытывает. Ласков он был ко мне, а посуровел, построжал. Ничего не прощает. Туман, говорит, округ головы твоей. Пойдем со мной, пойдем к нему. Гаврёк-рёк-рёк!

Она придумывала ему ласковые имена, какими никто другой не называл его. Но сейчас это «рёк-рёк» царапнуло его, точно шип. Что он ей? Глухое и тоскливое раздражение росло в нем от жаркого шепота женщины. Он сказал:

— Бегай к нему, коли охота слушать, про что сама лучше знаешь. Меня-то чего припутываешь? Мою жизнь захотела узнать? Да я расскажу тебе. Мигни — расскажу. Только ты по второму слову перебьешь. Тебе бы, птица, одни златые зерна клевать, не знаю, кто — мил человек — подсыпает их в клетку твою, да дверцу в клетке забыл затворить.

Клавдия с любопытством посмотрела на него, прикусив губу.

— И про Фросю бы рассказал?

— Фросю? Что ты? — Верх опять был за ней, она сбила его с толку. Кто и как тут на Волге проведал про

то, что было когда-то, а как подумать, то и вовсе не было? — Ты не трогай... не касайся этого. С такими подвижниками-угадчиками знаешь, что делают?

— Его оставь! — страстно сказала она, не отшутившись, не запорхав по избе, словно прошла поверх обиды и угрозы Ильина, даже не замечая их.— Святой он жизни, слышь! Сказала, чтоб понял ты: нет от него скрытого. Говоришь — хожу за тем, что и самой видать. Для того хожу, чтоб открыл, чего не видят мои глаза. Как ни гляжу — не видят. А без того — хоть и не жить мне. Хоть в Волгу головой! Понял ты? А он: «Открою, как приведешь дружка твоего». Тебя, значит. Без тебя туман будто. Не уговорю его, на своем стоит. Пойдем, Гаврилочек!

Легкокрылая птица у златых зерен! Что мучит, что гнетет тебя долу, златоптица?

Наутро ворчал дед Мелентий Нырков:

— Щекочет тебя долгогривый, ворочаешься, чихаешь...

И все пересказал ему Ильин, о чем ни слова не проронил бы молодому парню, ни отцу своему названому — Баглаю; тот поднял бы на смех и властно повернул бы на свое, не почитая Гаврилино стоящим внимания...

Оба деда были неразлучны. Антипкин дед почесал проплешину под раскиданными белыми волосами.

— Перышком, смотрю я, все носит тебя, Гаврюшка. Осадки у тебя нету... Ворожеи, пещерножители — сколько я мороку этого перевидал. И чего не предрекали, а все землю топчу... Святые! Да разве святой человек такой? Ты святого завсегда узнать должон, я те говорю, я и к Зосиме-Савватию досягал... Святой молчком живет. Ты его хочь двадцать разов спроси — не про то, что до тебя, а что до него касается,— воззрится, жует будто что, как бычок жвачку, али патоку глотает — не проглотит,— и ни словечка: сладкое, знать, богово дело у него такое. А ты — святой!.. Кому веришь? Женке-пустовейке. Кореня у тебя, Гаврюшка, нету, так человеку не жить. Ты где хошь гуляй, корень тебе на Дону-реке должон быть. Тебя потопчут, он жив, корень,— и тебе, значит, смерти не будет. И Дону-реке переводу николи не придет, непокоримым простоит Дон до века. Вот что первее всего казаку понимать надо. Старик я, дед, всем вам дедуся, а ничего мне — кореня мово никому не вырвать. Нету моей казачки, схоронил, и сыновья отказаковали, славы добыли, а не нагляжусь на Антипку-внучка с бабонькой его: как

есть я — внучек, не сгинула, стало, и молодость-сила моя в честном казачьем войске, да и не сгинет... Потому учу тебя, а ты слушай...

Мелентий Нырков сказал:

— Женка-то, верно, пустовейка, и не глуп ты как будто, парнишка, а дурей тебя не сыскать... Думаю я — сходить надо к тому ворожею. Пойдем, значит, пусть, нечистый дух, погадает.

— И ты пойдешь?

— Я? — отозвался Антипкин дед. Деды часто отвечали один вместо другого; они так привыкли не отделять себя друг от друга, что иной раз и вопрос, обращенный к одному из них, принимали за общее достояние.— Нет, чего мне, я тут, у светлой воды, посижу, пораздуматься хочу, разбередил ты меня! Может, и пособлю кому аль наставить кого понадоблюсь...

— А я пойду,— объявил Мелентий,— он и мне погадает, не откажет, я те говорю, нечистый дух!

Взбирались по крутизне. Дед сопел. Вела Клавдия. Она и здесь легко касалась земли, только чуть приподнятое плечо и обрисовавшаяся под этим приподнятым плечом линия тела, с упругой выпуклостью бедра, обличали усилие, которое она делала при трудном подъеме.

Была поздняя весна с долгой вечерней зарей, с темнеющей уже от наливающего ее сока заглохшей зеленью по буеракам и первым цветом черемухи. Высоко на круче рвал ветер, перемахнувший через светло-оловянную в этот час Волгу из неоглядной пустынно-лиловой шири на том берегу. То был один из семи ветров, которые, как верили волгари, рождались в холодных, еле отогретых после зимней стужи пустошах, чтобы дуть, не зная отдыха.

Туча с дымно-желтоватым отсветом, с лохматыми закраинами и простертым вперед, точно шарящим отростком затмила свет зари, вползая на неприютное небо.

Клава придерживала косынку кончиками пальцев, рукав соскользнул с ее отставленной руки, открыв круглый розовый локоть, из-под косынки, трепещущей по ветру, выбивались рыжеватые завитки волос.

Гавриле почудилось вдруг: пройдут годы, много годов, но не может быть, чтобы сила их была сильнее вот этой будто летящей женщины. И молодое, упруго и гибко покачивающееся тело, гордо и страстно поднятая голова с завитками волос над тонкой кожей шеи — в последнем,

желтом, бьющем из-под тучи свете — останется навсегда безотменно, неразрушимо.

Он непроизвольно прижмурил глаза, чтоб сберечь то, что увидел...

Клавдия вела торопливо. Она плохо встретила деда Мелентия. Но он непреклонно стоял на своем: Гаврила пойдет только с ним. Она смирилась и заторопилась.

Куда? Даже тропки не было. За гребнем кручи пряталась лощина. Какой-то сладковатый дух застоялся в ней. Тысячелистник хватал за ноги мягкими лапами. Стая птиц вилась в сумерках над падалью.

— Иосафатова долина,— сопя пробормотал премудрый Мелентий Нырков.

— Чего? — спросил Гаврила.

— Надо тебе... Ко всему, как смола, липнешь.

Неохотно объяснил, что это та долина, где кипят котлы для грешников. Похоже, что старый Мелентий сам вовсе не был уверен в своем объяснении.

Глухое эхо перекатило обрывок какого-то из его слов; люди замолчали.

Но кому жить тут? Трава, где склон опять пошел вверх, примята. Воткнуты палки, на них два горшка донцем кверху и две насаженные вороны, уже почти расклеванные.

Клавдия забежала вправо. Робко позвала. Никого. Не расступилась земля. Тогда, держась руками за обрывистый выступ склона, приникая к нему, она скользнула в темную впадину за ним. Там чернела пещерка или скрытый лаз. И никого.

Человек появился внезапно. Он, верно, пришел со стороны, как и его гости. Выглядел он не так звероподобно, как можно бы ждать от пещерножителя. Пронзительно посмотрел (были прозрачные сумерки), задержал взгляд на деде Мелентии, почти не глянул на Клавдию, рукой указал — ожидать.

Из лаза послышалось его невнятное бормотание. Лучинка осветила казан, войлоки, грубый крест, овчину. Человек вынес лучину, разжег приготовленный костерик, заполняя слух людей своим непонятным бормотанием. Когда он склонился, на огне блеснули красные, кроличьи глаза.

Позвал. Клавдия встрепенулась. Он отстранил ее, лицо повернул к Ильину.

Что же такое началось? Гаданье? Человек смотрел в

казан, где булькала вода, и опять вонзал свой воспаленный взгляд в казака. Тогда басовитое, тетеревиное бормотание его прерывали слова, он говорил будто то, что видел в казане. Видел он донскую станицу и девушку Найдёнку, истомленную. И мать, Махотку,— вдову мужа мертвого и мужа живого, к которой в перекошенную на ржавых петельках дверь низкой хатенки скреблась старость. И богатые курени в вишенье и подсолнухах — казаков, вернувшихся со служб. Потом будто пелена скрывала от него все, он вскакивал, плел, наступая на людей, свою невнятицу. Булькала вода, он вглядывался и видел Гаврилу на персях, на персях у батьки. Ох, счастливого Гаврилу, ох, излюбленного изо всех у батьки.

— А из кого же — изо всех — излюбленного?

— Знаешь ли, Гаврила, семью свою, семью батькину, сынов его и чад? Вон она, гляди, ух и выросла, ух и раздалась широко вдоль да по бережку до Волги-речки. С укромов вышла на лужки, из трясин — на просторы. Вот он как богатеет, батька, под руцей господней! Мысли его — злата дороже, ноне они не тайные, открытые, злата не таит богач, златом гордится. Ведаешь ли те мысли? Еще расти семье! Вдесятеро!

— Ведаю...

— А как же? Бо и тебе расти с ней, излюбленный. А ведаешь ли, где батька, куда гребет он, куда парус правит, в усть какой речки гостинец готовит?

— Не сказывался мне...

— На полдень поклонись! На полночь поклонись! А и на заход солнечный, к запорогам. Одного батьки семье поклонись! Его, Поволжского... Повольского! Сочтешь ли ее, семейку-то? Считай! Грядущий день твой там!

Сдавленный шепот Клавдии:

— Грядущий... Обещался ты. Мой где день?

Слышала все о Гавриле, еще больше о батьке (она разумела — о Ермаке). А про нее? Когда ж про нее? Будто нет ее вовсе меж них... Для того ли рабой стала, привела, по суровому приказу, казачка Гаврилку? Нет, не для того, а чтоб смилостивился, пожаловал, открыл ей, где лебедь ее, где сокол, черный коршун ее, придет ли, прилетит — пусть хоть склевать жадно, до смерти бабью, впустую цветущую красу ее!.. Иль навовсе покинул?

Провидец и не покосился на Клавдию.

Тоже шепотом, склонив голову над булькающей водой, он спросил:

— А какой предел положит он себе?

И загремел, руками ударил себя в щеки.

— На полдень поклонись! На полночь поклонись! Стружки бегут сверху... шибко разбежались. Да не стружки — боты. Гляди, орленые боты. Царевы! Пушки, гляди! Стрельцы в охране. Ништо... Окружили, крючьями цепляют, полезли, ох, посыпали на борта... мураши! Рубят, колют... В шатре уже атаманском казна царя Ивана. Кто царь на Волге? Ась?

— Нету того... Иван — царь. Что говоришь? — испуганно отшатнулся Гаврила.

— Будет! Без обману вода. Будет. Гляди. В мыслях есть? А? Не лги!

Ильин и сам не понял, как, почему опустил он глаза перед этим странным, упорным, красноватым в отблесках пламени, так что казался он пылающим, взором.

— А то, может... не тесна ли придется и широкая Волга? Может, на Дон, а? На Дон гостевать? Да не сам-перст. Со всеми со чадами.

...На Дону веселье, попы крутят казака Дороша с приймачкой Найдёнкой, не век ей томиться. Ни яблочка в садах — убраны. Гуляет городок, и с других городков плывут по осенней воде изукрашенные челны. Щедр Дорош, сколько новых стригунков в табунах его!..

...Али на низ, а? Астрахань-город — свое царство?

Али... али вверх? Крепки ли казанские стены? Ох, далеко видно с кремля Нижнего Новгорода. И не московская ли, ох, сторонка видна?

— Гляди! Сам гляди! В воду! Слышишь? Видишь? Без обману она! Не лги!

И, опутанный сетью слов, выбормотами и вскриками, смятенный, повинуясь напору чужой воли, что-то — сам потом не помнил что — говорил Гаврила.

— Постой! — вдруг выступил вперед Мелентий.— Стой-ка!..

Со злой гримасой рывком Клава уцепилась за него. Он откинул ее руку. Шагнул к провидцу.

— Теперь я тебе погадаю. Спрашивал ты: признаю ли я тебя аль забыл? В ту ночь спрашивал на Дону, как юшланы считали. У огонька-то. Так признал я тебя! Поздорову, нюхало, нечистый дух!

Не вскочил — прыгнул отшельник. Шипя, загас костер, залитый кипящей водой из опрокинутого казана. Визгом Клавдии огласилась лощина.

Напрасно и на другой день и еще не раз виновато, побитой собакой подкрадывалась Клава к лазу во впадине. Валялся казан со вмятиной от удара сапогом. До белых костей сгнили, мурашами съедены вороны на палках.

10

Ватажка в стружках и долбленках, улюлюкая, высыпала на стрежень, но за суденышком нежданно вывернулись из-за мыска еще два, шибко подбежали на парусах и веслах; казаков порубили, нескольких взяли в железы. Тогда ватажка посадила своего атамана в воду, привязав к коряге, и ушла к Ермаку.

Два других атамана сами привели своих людей. «У семиглавого змея один удалец все головы сшиб»,— сказал Ермак и поверстал атаманов в есаулы.

«На Жигулях — какую охрану ни бери, а дань плати,— наперед знали корабельщики, едущие даже караванами,— иначе живу не быть».

Низкие пузатые насады спускались сверху, с ними палубный бот. Везли в Астрахань припас, снаряд, жалованье. Ермак слушал доглядчиков, загодя повещавших вольницу, потом долго смотрел на Волгу, шапку сбив на затылок. Решил вдруг:

— Этих пропустить. Не замай.

По всей вольнице, по всем ватагам, чьи бы они ни были, объявили:

— Батька судил: не замай.

— Я сам себе батька,— ответил атаман Решето.— Мой суд и мой рассуд.

У Ермака услышали пальбу. Он не переменился в лице, только глаза сузились и закосили. Сотня верхами поскакала в обход горы: на воде казаки не мешались в казачьи дела. Внизу, на одной насаде, ленивый и черный, лежал клуб дыма... Доскакав, изрубили, зажгли шалаши в стане Решета. И тот, кинув все на Волге, поспешил на выручку своего стана. А сотня, разделившись, ударила сразу с двух сторон, чуть он высадился. Решету скрутили руки.

— Ин по-твоему,— проговорил Решето и выругался.— Переведались — будя.

— Еще не по-моему.— Ермак подошел к нему.— Еще будет по-моему.

Он выхватил саблю, помедлил, глядя на выкаченные глаза стоящего перед ним вдруг ссутулившегося человека, потом замахнулся.

Так он брал в руки гулевую Волгу.

Иногда он разжимал кулак, и птенцы его гнезда летели далеко.

В ясное праздное утро, когда голубоватой сквозной дымкой оплывала даль и только стайки ряби, сверкая, перебегали на реке, «Седла-ай!» — прокатилось по стану. Срезая изгиб луки, верховые двинулись за солнцем. На другой день доскакали до ногайского перевоза. Пусто вокруг; лишь очень острый глаз приметил бы легкое желтоватое облачко в степи...

Ногайцы гнали к перевозу русских полоняников. Скрипели арбы с добычей...

Эта добыча перешла в казацкую казну. Полоняников же напутствовали:

— Ступайте, крещеные.

А казачий отряд через степи поскакал к Яику.

Там стояла ногайская столица Сарайчик. Слишком поздно с невысокого минарета бирюч призвал жителей к оружию.

Вскоре отряд несся уже в обратный путь, прочь от саклей и кибиток, застланных дымом.

11

Дорожный человек шел с подожком, посвистывал и поглядывал кругом себя.

Он видел верши и вентери. Рыбой промышляют. Конечно, охотятся. Наверно, еще и бортничают: места медовые.

Он усмехнулся. Нынче мед, а завтра... Ведь хлеба не сеют, сохи боятся, как бабы-яги. Конечно, какой хлеб по этим уступам! Но что-нибудь здесь могло бы вырасти у настоящих хозяев. Хоть редька или капуста.

Не сеют, не жнут, а... Он увидел бочки и кули на берегу.

Вспомнил, как в маленькую лесную обитель, последний ночлег его на долгом пути с севера, пришла «грамота»: «Атаманы-молодцы были на вашем учуге, а на учуге вашем ничего нет. И приказали вам атаманы-молодцы выслать меду десять ведер, да патоки три пуда, да муки

пятнадцать мехов. А буде не вышлете, и атаманы-молодцы учуги ваши выжгут, и богу вам на Волге-реке не маливаться, и вы на нас не пеняйте».

Эх, как смутились тогда монашки, нагоходцы, гробокопатели! И от него, дорожного человека, просили совета да пособничества. А он в тот же час и уйди. Своя рубашка ближе к телу.

Он поглядывал и посвистывал. Людей тут хватило бы на несколько городков, ого! Вон там, у костра, лапотные мужичонки. Бурлаки. Прямо деревенька работных людей, если бы были избенки, а не копанные норы и шалаши. Ловко все тут, ничего не скажешь! Головастый вожак, с умом плодит вокруг себя народишко, диву дашься.

Воля! На это сманивает. Ныне здесь, заутра... заутра в дубовой колоде. Воля в парче да в лохмотьях.

Он потрогал то, чем был перепоясан. Не сразу видно, что пояс дут. Взвесил в руке. Тяжек. Пожалуй, нашлось бы там и серебро, если б взрезать.

Он выбирает самого низенького, у чадного костра, чтобы спросить:

— Как бы мне, человече, к атаману?

Сразу пятеро оборачиваются и смотрят на него.

— Пташечка!

— Откудова залетела?

Спрошенный с улыбкой, нежно:

— Авун [1] подпорем, не бойсь, поглядим, что ты за синичка.

— Колпак с башки долой!

— Тымала!..

А рядом сидящий исполин птичьим голосом:

— На ангельских воскрылиях припорхнул, грамоту до атамана принес.

Но дорожный не робкого десятка.

— Моя грамота волчья: лапа да пять пальцев.

Это понравилось.

Ему указали пышный, шелком латанный шатер.

— Не, мне поплоше.

Засмеялись.

Но спокойно, с шуточками он настоял на своем.

И вот он целый день сидит у Ермака. И никто не может ступить к ним в шатер. Впрочем, уж не раз носил туда казачок вино.

---

[1] Авун — задняя часть штанов *(ногайск.)*.

Захожий не сторонился горяченького. В том и веселие бродячей жизни его.

Он видел, как атаман скоро остановил руку казачка:

— Мне не лей.

Но гостя это не смутило. Он только участливо сказал:

— Что ж ты, батька? Посуху и челны не плавают.

И вдруг всей кожей лица почувствовал ощупывающий взгляд впалых глаз.

— Не тебе батька.

Гость уступчиво ухмыльнулся. Стал пить один. Легкая волна уже подхватывала его. И он плыл по ней, плыл по прихотливому узору своего сказа.

— Есть в полуночном краю окиян-море. По тому морю шел — прадеды помнят — мореход свейский. С корабля увидели — берег пуст, леса великие над белой водой. Множество людей повыбегло из лесов. Несли они шкуры оленьи, собольи и кость драгоценную, трое одну еле подымают. А стоит та кость дороже золота, и все в домах у полуночных людей сделано из нее. Лежит она на той земле, ровно лес, побитый бурей. Только уплыл свейский мореход, и след той земли потерялся...

Атаман спрашивает:

— Голубиную книгу чел?

Захожий человек морщится. Он не любит, чтобы его перебивали, когда он воспарит мыслью. Но отвечает уверенно:

— А как же!

— Про Индрика-зверя что разумеешь?

— Про Индри... как говоришь?

— Ходя под землей, подобно единорогу, прочищал он реки и ручьи. Был с гору. Но не допустил его Илья-пророк тяготить землю. Внушил: «Выпей Волгу!» Он стал пить, да раздулся, лопнул, кости засосало в трясины, прахом занесло.

Дорожный человек улыбается немного снисходительно. Притча кажется ему никчемной и глупой. Он чувствует, что в руках его снова ниточка, и с торжеством восклицает:

— Нашлась, казак, земля свейского морехода! Гюрята Рогович, новгородец, пришел на берег холодного моря — небо с водой соткнулись там! А у моря стоит камень. До неба стоит. Верхи тучами скрыты. И увидел Гюрята — распахнулось окошечко в камне и залотошили там обликом уродливые, малые. Топор у Гюряты — руками к

топору тянутся. Гюрята и кинь им топор. А они через окошко в горе накидали ему мехов груду. И только задумался — откуда же в камени меха? — задуло, закрутило, и в вихре, в замети повалили с неба олени и белки...

Он многое видел. Он видел, как меткая стрела поражает прямо в маленький злой глаз пятнистую рысь и капкан ломает лапу соболю в лесных увалах северных гор. Он видел, как люди в огромных мохнатых шапках, горцы с Терека, шли с гортанными песнями, чтобы в войске царя Ивана, на песчаных холмах далекого северного прибрежья сразиться с тевтонскими рыцарями за жизнь и долю русской земли. Но об этом он молчал, а сплетал с придумками застрявшие в памяти россказни досужих людей, потому что ему казалось, что только сказку приятно рассказывать и лишь небылицей можно приманить собеседника и заставить сделать то, что хочешь.

Так, не останавливаясь, он пил и плел петельки вымысла.

— А есть там, в стране Югорской, гора. Путь на нее — четыре дня, и наверху — немеркнущий свет, и солнце ходит день и ночь, не касаясь земли...

...И живут там люди самоядь, пожирающие один другого, и люди лукоморья — на Юрья осеннего засыпают, на Юрья весеннего пробуждаются. Перед сном кладут они товары безо всякого присмотра. Приходят гости, забирают товары, а взамен кладут свои.

— Затейливые страны! — сказал Ермак.— Ну, а довести сможешь туда, дорога?

Тут пришелец помолчал, пожевал губами и ответил:

— Вольному воля, ходячему путь... К тебе добираясь, встретил я порожний челн. Крутит его сверху водой, одно весло сломано, другое в воду опущено, будто греб им гребец да уснул...

И опять помедлил малость.

— Монахи в скитах неводом поймали тело голое, вздутое, без креста, кости на руках-ногах перешиблены. А еще попался мне черный плот. На плоту вбиты колья. На кольях телеса. Плывет — на волне колышется...

Он придвинулся. У него были белые заостренные уши.

Ермак вдруг оборвал:

— Горох и без тебя обмолотим... Не про то пытаю.

Тогда гость швырнул оземь свою шапку. По-дурацки, как считал он сам. Но «с волками жить, по-волчьи выть» было главным правилом его.

— Не жалко,— крикнул он, попирая ногами кунью опушку,— копейку стоит! Люди югорские молятся золотой бабе, в утробе ее злат младенец.

И, понизив голос, зашептал:

— Пришел я с Усолья Камского сюда, к Жигулям, на Усолье Волжское. Государь пожаловал Анике Строганову земли по Каме, и стал Аника богаче всех московских людей. Большие дела удумал, да помощников мало. Перед смертным часом принял он постриг и преставился в городке Сольвычегодске иноком Иосафом...

Льстиво и маслено подмигнул.

— Ох, баб в Перми Великой — что галок на деревах!

Кружево небылей, ощеренная пасть, душа нараспашку, угодничество... Жизнь — игра в чет и нечет, но надо не забывать кинуть все свои кости. Смотри в оба: не на одной, так на другой, а выпадет чет! Только с этим угрюмо-молчаливым трезвенником бродячему приказчику никак не удавалось угадать, куда катятся его кости. И вовсе он не ждал вопроса:

— В Кергедане Микитка?

— Кто, говоришь?

— Строганов Микитка.

— Нет...

— В Чусовую, значит, прибег?

Ошеломленный, он спросил:

— Ты откель... откелева, ваша милость, ведаешь про те дела?

И вдруг услышал в тишине шумное, во всю грудь, дыхание атамана.

Смирясь, дорожный уже не юлит.

— Семен, сын Аникеев, и внуки Максим да Никита кланяются тебе.

— Листы привез?

— Такое дело на листе не пишется.

— Чем докажешь?

Тот покорно снимает пояс, белые и желтые кругляки сыплются из него:

— Это в почесть.

Снова нелегкое молчание, неотрывный взор угрюмых глаз. И под этим взором человечек чувствует струйку холода вдоль спины и говорит:

— Не я тута один от Строгановых. Еще крыжачок, Смолокур да соляной человек Микешка.

Глаза его бегают. Он выдал сокровенных строгановских людей, по чьим грамоткам сам прибыл сюда с Камы.

Он не смел выдавать. В делах правая рука не должна ведать, что творит левая. Так учат хозяева. Он лепечет:

— Листы, коль захочешь, будут тебе.

Тогда срыву встал атаман.

— Хребет переломаю, тля!..

Холодная струя щекочет спину человеку. Он зажмуривает глаза. Что-то мутное, тяжелое подкатывает к горлу. Али он охмелел?

— Моя собачья жизнь,— говорит он жалобно.

Кого он боится? Разбойника, мук, пыток, раскаленных углей, горелого запаха собственного мяса? Или хозяев всемогущих, тех, что за тыщу верст?

Он мелко спешно крестится.

12

Ермак повел войско вниз по реке.

Струги неслись мимо пустынных берегов, голых, безлесных, мимо развалин старых городов — на час пути тянулись остатки стен и улиц, кучи битого кирпича в лебеде и чертополохе. Плыли мимо соленых озер в ломкой кроваво-красной траве, мимо выжженных степей, где росли горькая полынь и лакричный корень.

Круглые дома-кибитки, табун коней, войлочные кошмы, пестрые тряпки — летучий татарский город остановился в степи. Удары молота по наковальне. Татары ковали железо.

Когда-то с этим обычаем — ковать раскаленное железо в годовой праздник — пришли из Азии завоеватели монголы. Они знали, как сделать лучший клинок и лучшую стрелу. Где-то за степями высились Иргене-Конские горы. Говорили — там есть долина: два всадника могут перегородить ее. Эта долина железная. И бока ее, как магнит, притягивают копья.

Великая орда завладела землями, народами и их добром.

Ногаи тоже ковали железо — они помнили обычай. Но они уже не знали, где ход к Магнитной горе...

Летучий город срывался с места, едва появлялись на реке казачьи струги. Он несся в пыльных вихрях по равнине, покрытой бесконечной и однообразной рябью мелких бугров, к затерянным в степях и одним татарам ведомым колодцам солоноватой воды.

Злее, желтей становилась земля, словно опаленная огнем. Ночью от нее исходил жар. Цепочкой шли рыжие с поднятыми головами верблюды, медленно переставляя длинные тощие ноги, покачивая вьюками на горбах. Так шли они, может быть, от самой Бухары.

Караван исчезал в степи. Только песчаная пыль завивалась воронками. Проносились стада сайгаков. Вода в реке будто загустела от глины.

Близка Астрахань.

В устьях Волги, проскользнув по одному из бесчисленных рукавов мимо города, казаки остановились на острове Четыре Бугра. Он был закидан водорослями. Мутные валы ударяли о берег, чахлый камыш полз по песку. Над известковым камнем выл ветер. Синь в пенистых клочьях распахнулась впереди.

Не потому задержал повольников перед нею, у персидского порога, казачий вождь, что заколебался помериться силою с кизилбашами, «красноголовыми», военной опорой трона Сефетидов.

Еще, впоследок, хотел оглянуться — что назади. А что назади? Да ничего. Черный плот принесла вода: воеводы зубы пробуют над одиночками, над отбившимися. Красноглазый бежал из своей лощины — не нашли, не поймали; промашка, что не скрутили его тотчас. Гаврюха Ильин молодой. Но Мелентий? Сунулся — только спугнул. Против визга бабенки не сдюжил. Ушел красноглазый; ну, а все-таки что? Ништо.

Ништо. Но людей в стане позади себя Ермак оставил, дозорных, «глаза» свои; сам осторожно, с береженьем двинулся. Даже раздумчивый Михайлов считал все это лишним. Сделал по-свойски, не по-михайловски.

И теперь вот дал себе последние дни — оглянуться, прежде чем пуститься через море.

Малая ладейка спешно — весла в помощь парусу — плыла днями и ночами, бессонно, торопилась нагнать Ермака. Ильин (не взятый в поход за дело с красноглазым, оставленный на Жигулях заслуживать вину) — Ильин, едва положив весла, кинулся к Ермаку. Весть верная, на быстрых конях принесли ее из самой Москвы

через цепочку городов по Суре в жигулевский стан и, ни часа не промешкав, пригнали на ладейке, передали ее сюда, на Четыре Бугра. Весть нежданная, грозная: готовятся полки. Рать, какой не видывали еще на Жигулях с тех пор, как Волга течет, вот-вот двинется истребить гнездовье вольницы. Навовсе кончить казачью гульбу. По царскому велению!

Торопясь, захлебывался Ильин. Ермак стоял, не перебивая, руку по-мужицки сунув за пояс.

13

Как на Волге да на Камышенке
Казаки живут, люди вольные.
У казаков был атаманушка —
Ермаком звали Тимофеевичем.
Не злата труба вострубила им,
Не она звонко возговорила речь —
Возговорил Ермак Тимофеевич:
— Казаки, братцы, вы послушайте,
Да мне думушку попридумайте,
Как проходит уж лето теплое,
Наступает зима холодная —
Куда же, братцы, мы зимовать пойдем?
Нам на Волге жить — все ворами слыть,
На Яик идти — переход велик,
На Казань идти — грозен царь стоит,
Грозен царь Иван, сын Васильевич.
Он на нас послал рать великую,
Рать великую — сорок тысячей.
...Пойдем мы в Усолья ко Строгановым,
Возьмем много свинцу, пороху и запасу хлебного.

Песня

Почти сразу о том узнали все. Как улей, гудел стан. Вдруг разнеслось диковинное и неслыханное. Головной атаман, тот, что сбил воедино гулевую Волгу, тот, что шел силой меряться с Персией, звал оборвать поход, гнать всем войском вверх, на край земли, к Строгановым в службу!

Никто не созывал круга — сошлись сами. Как на Дону.

— Волю сулил? Вот она воля: курячьи титьки, свиные рожки.

Зашумел весь круг:

— К купцам?

— К аршинникам?

— Землю пахать? Арпу[1] сеять?!

Крикнул один из днепровских:

— Та нам с тими строгалями не челомкаться. Мы — до дому, на Днипро...

— Атамана перед круг!

— Браты-ы, продали!..

Продали! Вот оно... В капкан, как зверя: спереди море, сзади царская рать. Кого-то на миг выпихнули из толпы, он притопнул, глянул остолбенело, рванул шапку с головы.

— По донскому закону!

Но тут же, согнувшись, канул в толпу.

Охнули, замерли. И расступились, когда шагнул в круг тот, о ком произнесены эти три страшных слова: «По донскому закону».

А он остановился, опустив плечи, косолапо, по-мужицки, с виду — окаменев.

Когда загомонили снова, это уж не был слитный рев. Точно выкрик вобрал в себя ярость толпы и ошеломил саму толпу.

И люди точно спохватились. Это про кого ж кричали? Вот он стоит, он, батька; все видят.

И раздались уже иные голоса:

— На Яик веди!

— По долам и степям рассеемся. Всей земли стрелецким сапогом не истоптать...

— Впервой, что ли?

Но по этому слову — не впервой, мол,— рослый, косматый молодец без шапки, в распахнутой черной однорядке, красуясь, потряхивая смоляным чубом, падавшим на лоб, бойкой пружинной походкой вышел на середину. Он был на голову выше Ермака. Еще с ходу зычно пустил он в толпу затейливым, злым ругательством. Силу по степным ветрам развеивать? Не впервой?

— От стрельцов укроетесь? Нету степей таких, чтобы от *этого* укрыли!

Он потряс тяжелым волосатым кулаком.

Посягнуть на силу казачью, всю ее расточить — да какую силу: не бывало еще такой — все равно что на родившую тебя посягнуть. И чтобы слезы матери не прожгли душу тому катюге! Но не видно такого между ка-

---

[1] Арпа — ячмень *(тат.)*.

заками! А нашелся бы — лучше земле не носить его... Так неожиданно повернул он.

А была ли у него самого мать? Где жила она? Вряд ли когда поминал он о ней товарищам. Но жила, значит, мысль и память о родном гнезде в душе его.

— А моим ребятишечкам чего хорониться? Мы той дорожкой, что решились, ею и двинем. Посулились в гости, так хоть к чертям на погосте.— Сверкнули его белые, ровные зубы, когда он — уже весело — загнул опять такое замысловатое словечко, что толпа грохнула.— Там, за морем, уже столы ломятся, хлёбова нам наготовили. Не обидим хозяев! Чай, люди хорошие! — выкрикивал он под хохот.

— Дыбы, плахи испугались? Моя аж рассохлась, ждамши.— Он рубанул рукой себе по шее.— Бояре кругом нее ходят, попов зовут — святой водой пока что кропить, чтоб вовсе не скорежилась... А царевы стрельцы постучатся к нам под окошки, пообносятся, поматерятся, пока мы нагостюемся,— животы подведет, у воевод бока без баб простынут, и потопает рать до дому, бухан бурмакан! А ну, соколы-атаманы, взнуздай коней деревянных, встрепенись веселей! Поле хоть сыро, да чего синей! И глядите, чтоб весла и мачты в порядке,— ух, и злы персиянки!

Во все глаза смотрел на него Ильин. Так вот он какой, Кольцо! Бешеный и веселый, безудержный, неукротимый, балагур — и все нараспашку, играючи...

— За тобой! — кричали в толпе.

Он прошел близко, что-то говоря на ходу обступавшим его,— Ильин видел его крепкие блестящие зубы, капельки пота на лбу, у корней густых, круто вьющихся волос.

— Кольцо-о! Кольца в атаманы! — тесно сгрудившись, кричали враз Кольцовы «ребятишечки».

Брязга, придерживая саблю, выкатился вперед.

— Батька! И впрямь! Нам с руки на персидском берегу стрельцов переждать. Верно слово!

Ильин не приметил, когда и кем была поставлена лавка, крыта каким случилось цветным куском,— батька Ермак теперь сидел, слушал, ничем не выказывая, худы или хороши речи. Улыбнулся даже, когда и Брязгу крикнули:

— Богданка люб!

Дробился круг. Бритобородые днепровцы отбились в сторону. А со ската к реке, где держались вместе беглые боярские, донеслось:

— Будя ваших! Нам свой мужик атаман: Филька Ноздрев!

Ясно видел Гаврила: батька ждет.

Но вдруг кто-то — там, где кричали «по донскому закону»,— опять взвизгнул:

— Дувань казну!

И опять словно вырвался вздох из грудей. Пока не дохнуло это надо всей разношерстной, раздробленной, тревожно мятущейся толпой, пока не пронеслось и не спаяло ее, Яков Михайлов сказал спокойно, даже не подымаясь с пригорка, на котором сидел:

— Что ж меня не кричите? Аль самому?

Но уже Ермак вскочил.

— Кровь... кровь братов дуванить? Волю — по перышку?

— Воля игде ж? В холопы неволишь!

Отыскивая пальцами застежки и не найдя их, он рванул на шее, сорвал с себя зипун, будто тот душил его.

— В холопы? В холопы? В хо... Сам над собой донской закон сполню, коли порушу волю!

И сразу атаман пересилил себя.

Ильин слышал спокойный его голос: ни с кем атаман не рассчитывался, никому не пенял, посчитались — и будет, сейчас надо о деле.

Ведь Кольца Ивана слышали? К силе великой, к мощи небывалой идем.

Тело о многих головах — как безголовое тело. Такова была гулевая Волга. Правда Иванова!

Говорил ли об этом Кольцо? Говорил, нет ли — не вспомнишь, но снова загудели радостно Кольцовы «ребятишечки»...

А Ермак вдруг повернулся и, пальцем указывая, начал выспрашивать:

— Ты собрал казну в войсковых сундуках? А может, ты? Или ты?

Войско собрало. Войско. Так и назвал этим словом — не повольниками, не гулебщиками. Назвал и мимо прошел, чтоб и подивиться не успели. Уряд казачий, какого не видывали доселе. Так ту голову, коей живо тело, под топор? (Вон когда вспомянул! И почудилось ли Ильину

или в самом деле мелькнул, впился в толпу сумрачный жесткий взгляд атамана. Кого он искал?) Ту казну, коей крепка воля, на дуван?

— Не, не про то, товариство, Ермакова песня поется!

Замолчал, пригнулся, вовсе тихо стало.

Затем негромко, вкрадчиво, как бы меряя глазом поднебесную высь и кошачьим шагом подбираясь к ней:

— Не с великого на малое... не цепи лизать... не по кустам выть... Есть ли сила аль бахвал себя выхвалял: «Я силач» — да надселся, ломаючи калач?..— Шутейно сказал по-кольцовски! И вдруг: — Разгонись, жилы все напряги — и дерзни, сигани на самое великое!..

Остановился. Крикнул:

— Дорожкой пойдем, никем не хоженной!

И будто про себя:

— Горько ноне? А что ж? Полынь на языке, желчь в сердце. Да не мимо молвится: казачий ум бархатный. Кто казаки? *В нуждах непокоримые, к смерти бесстрашные.* Горькое привыкать ли хлебать? Выхлебаем хлёбово (опять кольцовское словцо), таган переворотим и по донышку поколотим. Выдюжим. Бог свят, выдюжим!

Он говорил о камских непочатых землях, о соболиных краях, о стране, где Белая вода. Не в неволю к Строгановым путь лежит, а на такую волю, какой уж никто не порушит.

И выговорил слово. Неслыханное.

— Казацкое царство.

Как пчелиное жужжание в толпе. Вместе с другими кричал и Гаврила.

Первым подбежал Брязга, вытащил, потряс саблю, заорал хрипло:

— Мечи, что ль, ребята не отточены? «Дунай» давай! Выдюжим! Ех, кладенец, женка казачья...

Медленно поднялся бурлак в онучах и, поддергивая штаны, сказал:

— Нам что Кама, что Волга... Стариковали, значит, мы, старики... дело-то привычное — потягнем... Спина, спаси господи, зажила, крепка-то спина, мать пресвятая богородица!

Пан не спешил, поглядывал кругом, слушал и трудную эту речь, и выкрики кидавших шапки удальцов-атаманов, и пчелиный зум толпы. Поскреб в затылке.

— Хлопцы, та и до дому можно. Только что ж вертаться, не пополудничав? С полдороги, да и коней назад? Эге ж, хлопцы, кажу! *Як уж пойихали, так аж пид самисеньку пику.*

Не понял Ильин, как так получилось: батька ни в чем не спорил с Кольцом и все соглашался, а про персидский поход и думать забыли, само собой, без прекословья, вышло — какой там поход, на Каму дорога, по которой ни отцы, ни деды не хаживали! К Строгановым дорога. И выходит, не худо это, а дюже здорово, что к Строгановым,— хоть и неслыханно в казачестве!

14

Душная темь. Дрожит, расплывается звездный свет — ни облачка, а нет ясности, чистоты в воздухе, точно поволока в нем. Низко звезды. Не выдержит бессонного душного жара какая-нибудь, оплавится и скатится. Скатится туда, где льется и плещет вода, моет берега.

Черная ночь.

Масляным пятном расползается по холстине шатра тусклый свет изнутри. Два голоса слышны.

— ...Где приткнутся, там и присохнут. Отдирать — оно и больно. Спокон веку так, знаю. Легче, что ль, человеку, когда голова у него не вперед смотрит, а назад поворочена? Да не раки мы — пятиться.

— Крутить чужие шеи по-своему — ой, и открутить недолго...

— Не поп ты, и похож ты на попа, как... А говорю с тобой, ровно стою на духу. Старому время вышло. Сам пойми. Все вышло. Ни часу не осталось. Срок настал за новое браться, Иван!

— Воля — и старей всего, и новей ее нет.

— Какая воля? Малая воля. Нынче пан, завтра под кустом — господи пронеси, хоть листом укрой... Ватаги, ватажки... Гляди: в одно дыхание дышит гулевая Волга!

— Не слепой...

— Сказать про это на Дону в те поры, как собирались мы сюда,— кто поверил бы? За смех бы почли. Дорош потому щедрот своих не пожалел, снасть дал, что и в черных снах ему такое не снилось. Москва... Москва-то теперь знает; чего не знает — догадывается, а все и теперь до конца не верит. Разве ж так, спрохвала, со-

бирал бы рать царь Иван? Волга десять разов у него меж пальцев утечь успеет. Он на старую Волгу собрался...

— Указать ему, что ль: гляди в оба, тезка, дела тут, вишь, какие — с гору, раздувай и ты кадило, поспешай, мол? Да не бойсь: и встречусь с ним — глаза отведу, я не я, рта не раскрою.

— Эх, что ты знаешь, Иван! Дела, говоришь, с гору... А каки дела? И полдела нет.

— Полдела нет? Ищешь... Чего ищешь?

— Себя самого попытай: воинство это, дыхание одно — зачем? Слышь: зачем? Тут оставаться? Сгинет Волга. Вся сгинет. Теперь уж вся: и смерть ей всей будет общая, заодно. Как и жизнь. Слышь? Так что? Что, Иван? Вот что: снять ее отсюдова, целехонькую, как есть, ни в чем не расточив, не пролив. Вот что! Одно это! Затем и сплочена. И я сымаю. Царь Иван ратью своей в руку подтолкнул. Полымю этому в ином месте разгореться дам.

— Смотрю я на тебя: кременный ты али так перед людьми себя выставляешь?

— Каменных людей на курганах росы моют. Других не видал...

Замолчали. Потом другой голос спросил:

— Молодой у тебя там дожидает. Кто таков?

— Ильин Гаврюшка. С Жигулей гонец. В трубачи его хочу.

— Казацкое царство! Соловьиное слово...

Колыхнулась пола. Кольцо вышел, пригнувшись, потянулся, разминая плечи, затем шагнул к Ильину, посмотрел на него сверху — чуть блеснули в темноте белки глаз, коснулось Ильина его дыхание — и шагнул в темноту.

Исчезло масляное пятно на холстине шатра. Загашен светец внутри.

Уходить? Но горело в мозгу: «Соловьиное слово!» Нынешним днем и вечером Ильин забыл про сон, хоть и не много довелось поспать в пути...

Да и кругом не спят люди. Доносится еще разговор:

— Ты погляди на меня. Хорош парень? Ты не нюхал каленого железа. А я в гроб с собой тот запах понесу! Не забуду, как клещи рвут тело... Куда тянете? Царство сулите — не прельстите. То мужицкое ли еще царство? На Жигулях станем. Все крестьянство будет к нам.

Злой голос:

— А ты струпья мои считал?

Третий негромкий:

— Не пойдем! Слышишь? Мужики не пойдут. В лесу утаимся. В пески зароемся. Нет — в омут головой.

Первого и третьего узнал Ильин. Филька Рваная Ноздря, Филимон Ноздрев, мужичий «атаман», и тихий обычно Степанко Попов. Говорили с кем-то из казаков.

Ильин не услышал, как подошел к нему человек. На голову легла рука.

— Волги жалко? А ты не жалей...

— Я не жалею.

— И добро. Гулял ты, гулял, а знаю, нагулял...

Ильин догадался, что атаман усмехается. Усмехнулся и сам:

— Михайловские сколь обозов гоняли на Дон, в курень его...

— Завидуешь? — жестко оборвал атаман.— Чьими словами говоришь? Запомни: нету михайловских. В войске нет михайловского куреня.— Но опять смягчился голос: — Ты, Гаврила, мои сундуки сочти: много ль начтешь?

Плеснет внизу — и снова тишь. Ермак грузно опустился на землю, рукой охватил колено.

— Вести свои, верно, ты все уж выложил. Нету у тебя новых вестей... Расскажи так чего.

«Соловьиное слово!» Горячо заговорил Гаврила Ильин:

— Батька, народ-то прибьется к нам... там, в царстве твоем... аль одни отваги, охотники?

— Что спрашиваешь? Смыслишь ли?

— Народ-то, мужики?

— Что ты видел? Руси не видел. Жизнь ходи по ней — не исходишь. Век считай мужиков — не сочтешь. Я видел... Ночь черная, безо дней. Не одну неделю ночь, не две — от самой осени за ползимы все ночь, только огнем полощется небо. Горы ледяные на море...

— Где же это? У Зосимы и Савватия наши бывали.

— Подале, подале Зосимы и Савватия.

— Сам ты видел?

— Говорю — слушай... Русь и там. И там она, Русия. Степи казачьи — краю им нигде нет. Восходит солнце в степях и заходит. Скачи по земле с полудня — кончатся степи, лес встанет. И ему краю нет. Ан город стоит. Город не такой, как... Что ты видел? На заре выходи, до-

темна шагай — избы и хоромы, дома и подворья, человеческими руками бревна в каждом притесаны, камень к камню уложен. Сколько рук-то клали? Сколько людей живет? Со счета собьешься. Войско... Сила кесаря и королей, сила ханов об него обломилась. А ты — перетянуть все к себе! Своего простора ищи, нетронутого...

— На просторе нетронутом царство строишь,— опять быстро зашептал Гаврила.— Знал я ране, давно уж знал про то. А спрошу тебя: ищут дороги на Реку кабальные, на Волгу бегут. Отчего же, батька, не хотят с нами, простор не манит их?

Тишь. Умолкли голоса. Потом:

— Пустые слова слушаешь. Вижу, нечего тебе рассказать. На трубе сыграешь, а рассказывать... Ляг поди. Маешься...

А сам атаман не встал, остался сидеть. Выдалась у него, видно, одинокая долгая ночка.

Жаркий полдень. Накаленная земля, песок между горькими кустиками полыни — даже черную, даже выдубленную босую пятку привычного ко всему гулебщика прожигает. Не шелохнет на море. И будто нет его — белесоголубоватый туман реет между берегом и небом.

— Ты змея убил. А жачем убил? — шепелявит Селивестр.

— Вредный он человеку,— отвечает сивобородый Котин.

— Мозга в башке твоей есть? Сдунет тебя отсюдова поганым ветром — еще што годов человека здесь не будет.

Котин — вдвое старше. Но он только терпеливо повторяет:

— Все едино. Всякий дракон человеку вредный. Вредное завсегда уничтожать надо. Потому — трудится человек, земле он работник, сам господь поклонился человеку за труд его...

— Тебе от жилана[1] лихо, а жилану ты лихо.

Лицо Селиверста с остреньким подбородком высмуглено загаром, на щеках — пятна, вовсе обесцветились, выгорели глаза. Он повернулся к шатру — никто не входил туда, атаман, как сморил его сон, так не поднялся до сих пор, а прочие шатры уже убраны, стан разорен, у берега суетятся, догружая ладьи, готовя последнее к отъезду.

---

[1] Ж и л а н — змея *(ногайск.)*.

— Обротал вас,— со злобой выговорил Селиверст.— «Одна голова». Слышали? Зевы раззявили. Какая же воля, раз одна голова на всех! «Войско»... в стрельцы вас верстает, божьих коровок. Холуйское царство оборонять бредете... ловко! И чем взял? Что сказал вам, чего не ведали и сами до сладких его речей?

Люди ушли. Взрыта земля, трава потоптана, пятна и кучки золы, ямы с обсыпающимися краями, следы босых и обутых ног, волоком протащенных тяжестей. Ветер развеивает мусор. Ветер темной полосой заходит на безмерную морскую гладь. В одном месте море вскипает, точно там, близко под поверхностью, мели и перекаты. Но мелей нет, усеянное вскипающими пенными завитками море лилово-черно и глубоко, роем носятся чайки: идет исполинский косяк рыбы. Парус вдали, то блещущий на солнце, то, при отвороте, мглисто-белый. Мимо... Ушел, врос в море.

Подземный быстрый звук — что-то царапает, скребется, комочки земли волнуются, вспучиваются,— из прочищенного отверстия норы выходит грызун. Водит ноздрями с волосками возле них, взбегает на кочку, становится на задние лапки, а передними тонкими ручками торопливо чистится, плещет перед мордочкой. Уверившись, что пусто, спокойно вокруг, грызун свищет.

15

Всадник взмахнул шляпой с белым пером.

— Вольга! Знаменитый река! Почему он Вольга, стольник?

Стольник Иван Мурашкин передразнил его:

— Вольга! Вольга! Эх ты, Вольга Святославич!..

Человек в шляпе с белым пером весьма обрадовался:

— Русски конт Вольга Свентославич на русски река Вольга! Я занесу это в мой журналь.

Но когда всадник проехал несколько шагов, ответ стольника показался ему обидным, он ударом кулака нахлобучил шляпу и внушительно произнес:

— Я слюжиль дожу в Венис и слюжиль крулю Ржечь Посполита, вот моя шпага слюжит крулю Жан,

Войско приближалось уже к Жигулям. Ратники иноземного строя грузно и старательно шагали в своем тяжелом одеянии.

Следы казачьих станов были многочисленны, но нигде ни живой души...

— Смердят смерды,— с пренебрежением сказал Мурашкин: его конь наступил на разбитую винную посуду. Сам стольник потреблял только квас.

Всадник с пером не разделил негодования стольника.

— Bonum vinum cum sapore,— возразил он,— bibat abbas cum priore [1]. Русский человек пьет порох и водка и живет сто двадцать лет.

И всадник захохотал.

— Шпага капитана Поль-Пьер Беретт на весь земля прославляет великий руа Анри! А воровски казак, ви, стольник, должен понимать, есть замечательна арме. Один казак приводит один татарски раб в Москва и получает серебряну чашу, сорок зверь кунис, два платья и тридцать рубль.

Мурашкин был озабочен. Оставалось неясным, как выполнит он свою задачу — одним ударом уничтожить не в меру размножившиеся разбойничьи ватаги. Надо срезать ту опухоль, которая закупоривала становую жилу рождающейся великой Руси, волжскую дорогу — путь на Восток, путь на сказочно богатый Юг, тот путь, который открыли русским казанская и астраханская победы. И Мурашкин не считал себя обязанным выслушивать болтовню этого попрыгунчика,— довольно того, что, по воле царя, приходилось терпеть его, похожего на цаплю, около себя.

Беретт продолжал разглагольствовать:

— О, Русь — негоциант! Он покидаль пахать земля. Он прекратит глупство и дикость. Я занесу это в мой журналь.

Стольник ожесточенно посмотрел на него. Так вот что он понимает, этот навостривший свою саблю и торгующий ею в Венеции, в Польше, на Москве!

А Беретт вспомнил о фразе из одного письма: «Если расти какой-либо державе, то этой» — и подумал, что дороги здесь дики и невообразимо длинны и что гарцевать перед своим полком и бесстрашно вести его в атаку на врага — это красиво и подобает прекрасному рыцарю и

[1] Доброе вино со вкусом пьет аббат с приором *(лат.)*.

мужчине, а трястись вот так в седле — и даже без хорошего вина — через леса и степи, в которых уместились бы три королевства, подобает скорее кочевнику. Он потер свой зад, отметив в душе, что если московская держава еще вырастет, то, пожалуй, ему, капитану Полю-Пьеру Беретту, придется позаботиться о новом переходе на службу в государство более уютных размеров.

И он незаметно отъехал от стольника, у которого не хватало любезности внимать самым остроумным речам, и поравнялся с проводником отряда.

— Ти был ermite и был prophète[1],— сказал капитан проводнику.— Я зналь много занятий. И понималь еще больше. Этих занятий я не зналь. Я есть восхищен. Но почему ти не может найти воровски казак?

Проводник глухо пророкотал из своей проволочной бороды:

— Слушались бы меня — выступили к Ильину дню. Всех накрыли бы.

— Победить в баталия целый флотилия с царски орел и царски злото! Подвесить ambassadeur... как говорится?.. посёл персидский шахиншах на рее его собственный корабль, как... как святой Енох, летающий в небо! О, это есть неслыханно! Это достойно бессмертия в анналах истории!

— Я говорил,— буркнул проводник. — Упреждал. Крылья резать надо было на Дону. На Волге стал воровской царь.

— О!

— А что «о»? Не бывало, так и не будет: по такому рассуждению живем. А его голова — вон она: меж Москвой и шахом всунулась. Где воры? На Персию ринулись, верно говорю — вот хоть на плаху лечь. Спробовали сперва: на царские орленые суда с казной посягнули! Жалованье в Астрахань пропустили, а казну, что государь шаху послал, всю пошарпали. Я вперед говорил: и орел воров не остановит! А после что? Послов побили, что от шаха вверх плыли, к государю, в Москву,— вон что! Меж двумя державами воры переняли Волгу. Не бывало, а вышло, вишь: переняли.

Беретт похвалил:

— Ти умный человек. Ти уважаль анналы истории.

Проводник разговорился:

---

[1] Отшельник и пророк *(фр.)*.

— Воры супротив свого государя. Супротив персиянской державы великой! Вона какой разбег взял! А дальше? Уж не поманит ли и сама Москва-река? Не нынче, не завтра — и мечты такой, может, ласкать еще не смеет, лишь разбег берет... Но попомните: поманит. Я говорил — на посмех приняли мои слова,— сказал он жалобно.— Как потянутся воры к царскому венцу, царевать на Руси,— тогда, верно, на Москве поверят. Да не поздно ли?

Беретт не все понял, да, в конце концов, не настолько уж его занимали сами по себе все эти домашние московские тонкости и счеты, весь этот разбор причин экспедиции на Волгу, где выросло нечто, что еще не стало жакерией, но тем не менее грозило жакерией. Не настолько занимало это Беретта, чтобы он обрек себя на роль безмолвного слушателя. Он оглянулся. Стольник даже не заметил, что капитан Поль-Пьер Беретт больше не гарцует рядом с ним. И, полный обиды, Беретт ответил проводнику:

— Ти мудрый человек. И ти плаваль на Дон-река — это мелкий плаванье. Вот ти плывешь Москва и Вольга — о, это достойно! Но есть знаменитый плаванье для большой корабль: ти должен покидаль этот страна — ти вирос больше его,— и vous allez au слюжба [1] его величества султан et puis [2] его величества романский имперер. Это есть дорога des hommes de génie [3]. И ти станешь добрый католик. Потому что твой большой дорога доведет до город Пари, и капитан Поль-Пьер Беретт отворит тебе дверь шато Лувр. И там ти будешь понималь, что человек чести слюжит целый свет, чтоб заслюжить умирать в город Пари.

Он произнес эту длинную речь с жаром, но не без затруднений. Проводник отбился от отряда, и теперь Беретт скакал вместе с ним по кручам и буеракам. В лощине с отвесными склонами пришлось даже сойти с коней. Клочья туманной мглы волоклись по вымокшей траве. Была глубокая осень. Ноги скользили и вязли в глине. Мокрое белое перо упало со шляпы Беретта. Он чертыхнулся, увидев на воткнутых палках какие-то облезлые перья. Валялся проржавевший казан, похожий на железную шапку, сшибленную мечом Роланда с головы сарацинского ве-

[1] Вы отправитесь на службу *(фр.)*.
[2] И потом *(фр.)*.
[3] Одаренных людей *(фр.)*.

ликана. Проводник шевельнул казан ногой — он глухо звякнул.

— Ти заставлял меня карабкаться, как кошка за попугай... как четверорукий обезьян за орех кокос... как похититель за диамант Коинур... чтобы показать вот этот дырка в гора? — рассердился Беретт.— Но воровски казак не суть барсук или ночной крылатый мышь. Почему ти не лечил твои глаза? В них есть морбус трахома, человек будет от него слепой...

Он так и не понял, чего искал проводник в этом месте или что напомнило оно ему.

Оба сели на лошадей и пустились догонять отряд. Вскоре послышались крики и голоса.

Ратники толпились вокруг чего-то на отлогом склоне, поросшем молодыми дубками. Видно было, как Мурашкин дал шпоры вороному и въехал в толпу.

Два обнаженных тела привязаны к стволам. Они уже тронуты разложением, со многими следами сабельных и ножевых ударов; голов нет. Стольник долго глядел на них, потом перекрестился широким крестом, спешился и простоял без шапки, пока их зарывали.

— И кто бы вы ни были,— истово, как молитву, сказал он над их могилой,— гости ли, купцы аль простые хрестьяне, за все, пред господом и государем, воздам вашим мучителям.

Он не знал, что то была месть и кара атамана вольницы тому, кто тогда на Четырех Буграх, выкатившись вперед, помянул про донской закон и затем укрылся в толпе, и тому, кто потребовал дувана казны. Их схватили, чуть только отплыли с острова. На Жигулях, в казачьем гнезде, совершилась их казнь.

— По коням! — негромко, сурово велел стольник стрельцам.

В рыбачьей деревеньке Мурашкин собрал жителей.

— Были; куда делись — не ведаем,— сказали они о казаках.

— Никто не ведает? — повторил Мурашкин и оглядел толпу.

Тогда отозвалась женщина с круглым набеленным лицом и высокими черными бровями:

— Я скажу.

Мурашкин по-стариковски мешкотно опять слез с коня, подошел к ней, взял ее за руку.

— Звать тебя как?

— Клавдией.

— Открой, милая, бог видит, а за государем служба не пропадет.

— Не надо, я так...

Неделю ли, месяц назад это было, она не помнила. Стояло это перед ней — точно только вчера...

...Зеркальца, коробочки с румянами, бусы, обручи, подвески, сапожки, бисер, летники, шубки — все она упихивала, уминала в укладки с расписными крышками. Разоренное гнездышко — горница...

— Улетаешь, Клавдя?

Это Гаврек, казачок.

Она порхнула мимо, засмеялась в лицо ему, принялась горой накидывать подушки, почему-то взбивая их, пропела:

— Далече, не увидимся!

— К старикам на Суру?

Взялась пальцами за края занавески и поклонилась.

— К старикам — угадал, скажи пожалуйста! Строгановыми зовут. Не слышал?

— О! Значит, берет? Берет, Клава?

Тряхнула головой так, что раскрутилась и упала меж лопаток коса.

— Ты берешь! Ай не схочешь?

— Трубачам одна баба — труба.

Так грустно сказал казачок, что даже пожалела его (не одну себя) и улыбнулась ему.

И опять засмеялась, приблизив к нему свои выпуклые глаза,— знала, что трудно ему делается от этого. Но вдруг почувствовала, как покривился, стал большим, некрасивым ее рот, отскочила, начала срывать, мять вышивки: цветы с глазами на лепестках, птиц, которые походили на нее.

Крикнула:

— Уходи! Федьку-рыбальчонка только и жалко.

— Клава...

— Уйди! — взвизгнула она и притопнула.

Вечером искала его в стане.

— Когда плывете? Завтра? Вчерась только прибыли... Аль еще поживете?

Ластилась:

— Гаврек, ты скажи... Он говорит — не к Строгановым.

Он отозвался тихо:

— Сама понимай...

И на эти слова она опять взвизгнула истошным, исступленным, бессмысленным визгом. Визг этот сейчас снова (будто и не умолкал он) встал в ее ушах, и, сама не понимая как, она закричала в лицо стольнику:

— Как собаку? Со двора долой, ворота заколотить — околевай одна, собачонка? Кровь родную кидать?

— Что ты? Про что ты? Чья кровь? — забормотал стольник.

— А Федька? — Дух у нее захватило, словно падала она с высоты — и теперь уже все равно, теперь уже летела вниз, на землю, о которую через миг насмерть разобьется ее тело.— Его, Кольцов, Федька — до меня еще, сиротинка, без матери...— Низким, грудным воем стал ее крик.— У, волки-людоеды, лютые, косматые! Упыри! А, собака я? На дне морском след ваш вынюхаю!

— Ведом след,— перебил этот вой проводник.— Нам и без тебя ведом. За Астрахань подались, на Хвалынь-море, в Персию. Чего крутишь? Ну! — с угрозой повысил он голос.

Но неловко опять коснулся ее полной руки стольник, погладил с грубоватой лаской, сморщился и сказал вдруг нежданное слово:

— Детка...

Она ничего не видела, точно очнулась сейчас, и, серьезно глядя на доброго, стоящего перед ней старика, быстро сказала:

— К Строгановым уплыли, в Пермь Великую.

— Красавица,— причмокнул губами Беретт.

— Чего говоришь? К Строгановым? Мыслимо ли? Подумай,— не поверил стольник.

— Лгу? — метнулась женщина.— Не одна я тута, остались ихние... по ямам... у них спроси, услышишь.

Все с тем же доверием смотрела она в глаза Мурашкина, словно что-то соединило ее с воеводой.

— И спросим. Этих? — раздался опять глухой бас проводника.

Грязных, в изодранной одежде, гнали стрельцы пятерых мужиков. На руках, на заросших лицах их чернели кровоподтеки. Стрелецкий отряд извлек их из земляной ямы в скрытом месте, указанном проводником.

А женщина не замечала проводника, и голос его долетел до нее словно из отдаления.

— Этих! Этих! — ответила она не ему, а Мурашкину (близко, близко земля, и конец, и смерть!).

Один из мужиков повернул голову.

— Ребя, гляди, ведьмачка! Тая самая ведьмачка! Чтобы утроба твоя лопнула, окаянная! Подавиться тебе сырой землей!

Она провела рукой по лицу, точно что-то стряхивая, стирая с него. Увидела мужиков, стрельцов, а рядом с собой — мясные голые подушки щек над жесткой, смоляной, проволочной бородой, сближенные, страшноватые, красноватые глаза, и зрачки ее расширились.

— *Красноглазый*... Ты? — с трудом выговорила она.

— Узнала? — усмехнулся он.

— Волк ты,— по-прежнему тихо сказала она.— Людоед... Косматый. Ничего я ни про кого не знаю. Где были, куда ушли — не знаю. Не ведала и не ведаю. Солгали мне. А этих — николи не видела... Николи. Слышишь?

— Ну, ты...— Он грязно выругался.— Затрепала подолом! Забыла? — Сближенные по-птичьи, тяжелые глаза ощупывали ее, она поникла под властью этих *глаз господина*.— И так скажешь. Скажешь, как миловалась с Ивашкой Кольцом. Скажешь, как стелила Рюхе Ильину, чтобы пригревал тебя, пока каталось то Кольцо по разбоям. И куда проводила воров-душегубов, зачем оставили они тебя здесь — скажешь. А не скажешь — как подкурят тебя снизу, и руки твои в суставчиках хрустнут, и клещиками ногти вырвут, заговоришь.

Она отшатнулась, вскинув обе белые, полные руки, точно заслоняясь ими, точно спасая их от невыразимого ужаса; рот ее приоткрылся.

— Не скажу! — выдохнула она, не помня себя.

И кинулась прочь. Стрельцы подхватили ее.

— А заговоришь,— почти ласково проговорил проводник.— Пытать!

Видно, не простой он проводник, но имел такую власть, что вот велел и без стольникова спроса. Но тут он перехватил.

— Пустить! — вдруг фальцетом заорал стольник.— Ослобонить! Без нее обойдется...

И, не глядя, гадливо отстранив проводника, чье опущенное лицо, подушки щек, недобро вспыхнувшие глаза еще больше налились кровью, Мурашкин неловко сунул ногу в стремя, шумно дыша, лег животом, сел и, согнувшись, грузно протрюхал рысцой к мужикам.

— Воры? — спросил Мурашкин.

— Нет,— ответил тот, у кого были рваные ноздри.

— Казаки?

— А казаки.

На дыбе, корчась, Рваная Ноздря хрипел:

— Молчи, Степанко, собака!

— О! — проговорил Беретт.— Но ведь он мольшит. Он знай: ex lingua stulta incommoda multa [1].

Капитану было очень не по себе, мужчина — это рубака и солдат, но не кат (необходимый, впрочем, настолько в благоустроенном государстве, что великие короли сами не гнушались исправлять эту должность); все же латинская фраза показалась ему остроумной.

— Когда я биль в Бордо,— отворотившись, стал рассказывать Мурашкину, проводнику и прочим Беретт, даже не следя, слушают ли его,— когда я биль в Бордо, парламент этот великий город украшал мессир Мишель де Монтень. Он обладал душа до того прекрасный и нежный, что кавалер не мог вынести никакой дурной запах. И он не имел волос на темя, но самый тонкий разум в свой голова. Я занес в мой журналь его сентенции. Никого не называй счастливый, пока он не достиг своей смерти. А еще так: для шефа осажденной доброй фортецца, крепости, не будет удачной мысль, как дурак, покинуть свои стенки и выйти на поле для любезный разговор с вражеский шеф. И еще: предавать себя истинной филозофи́ — что есть? Предавать себя истинной филозофи́ есть учиться умирать. Этот простой мужик-казак — философ, mafoi [2].

Так и не понял воевода Мурашкин, куда девались Ермак и его люди. Мужики не сказали ничего. Из окрестных жителей многие, верно, и сами не знали, несли чушь: ушел в Астрахань, побежал к ногаям, подался воевать с поляками.

---

[1] От глупого языка много неудобств *(лат.)*.

[2] Ей-богу *(фр.)*.

И Мурашкин двинулся восвояси, уводя с собой в колодках пойманных казаков и еще кой-кого из тех двух деревенек, что и столетия спустя прозывались Ермаковкой и Кольцовкой.

Но темной ночью один из колодников, который несколько суток до того не спал, когда спали другие, а перетирал, корчась от боли, цепи на своих искалеченных ногах, сбил наконец эти цепи и ушел, шатаясь, черный, в лохмотьях, страшный.

То был Филька Рваная Ноздря.

ВЕЛИКОПЕРМСКИЕ ВЛАСТЕЛИНЫ

1

Свейский мореход, о котором рассказывал Ермаку человек Строгановых, был норманн Отар, состоявший на службе у Альфреда Великого, короля Англии. Во второй половине девятого века Отар поплыл по холодному рыбному морю, где коротко лето и долга темная бурная зима. Заостренный нос и корма узкого длинного корабля Отара круто загибались кверху. Ветер надувал четырехугольный парус на высокой мачте. И двадцать пар весел, продетых в отверстия по бортам, помогали ветру. А над бортами соединялись в сплошную стену щиты воинов.

Три дня Отар шел к полночи, и три дня он видел справа нагие скалы, горла извилистых фиордов, суровую страну норманнов и викингов. Так он дошел до места, где китоловы поворачивают обратно корабли.

Но Отару хотелось узнать, есть ли конец этой стране. И он поплыл дальше на север и плыл еще три дня.

Тут он увидел мыс, отвесный и черный, как бы обнаженный костяк земли. Солнце в полдень едва поднялось над мысом. Волны били пеной о камень, и больше ничто не преграждало морской дороги на восток.

Отар дождался, пока западный ветер наполнил парус его корабля. Четыре дня он плыл навстречу солнцу вдоль скалистого берега, где кривые деревья, словно хранившие на себе следы бури, цеплялись корнями за скудную почву цвета золы.

Однажды мореплавателям явилась морская дева. У нее были женские груди, а длинные распущенные волосы качались по волнам; когда она нырнула, мелькнул ее хвост, пестрый, как у тунца.

Берег вдруг повернул к югу, и, выждав ветра с севера, Отар вошел в морской рукав. Еще пять дней он плыл по тихой и серой воде. Обширная и низменная земля обступала ее. Отар бросил якорь против устья медленной реки. Странная жизнь кипела на ее туманных берегах. Навстречу мореплавателям вышли люди голубоглазые, русоволосые, с горделивой осанкой, одетые в драгоценные меха. Кость морского зверя и другая, дороже золота, которую выкапывали из земли, лежала кучами. Дети играли самоцветами. И викинги поняли, что попали в могучую и богатую страну. Они выменяли меха и кости на привезенные товары и попрощались учтиво, потому что люди те были многочисленны и сильны.

Король Альфред велел записать со слов Отара повесть об этом путешествии.

И долго еще слагатели саг пели о стране Биармии, о ее сказочных богатствах, о сверкающих камнях, украшающих золотые статуи богов в ее храмах, и о людях, не знающих горя.

И еще дольше мореплаватели пытались найти счастливый берег полярного моря на рубеже стран, полгода озаренных скудным светом холодного дня и полгода погруженных в ночь.

Никто больше не мог отыскать того берега.

Но множество дорогих мехов в самом деле издавна шло на юг из некой северной страны. Неведомые охотники далеких лесов наполняли драгоценной «рухлядью» сосновые амбары города Булгара. И к пристаням Булгара в те старые времена, когда цвел этот волжский город, приставали тяжелые барки, а в ворота входили, позванивая бронзовыми колокольцами, караваны верблюдов...

И уж не была ли Пермь Великая в самом деле сказочной пушной Биармией, как убеждал в этом Ермака строгановский человек? Слово «пермь», древнее «парма», звучало похоже на Биармию. Вот только не лежала Пермь у моря, а прислонилась к уральской каменной стене; самое название «Пермь», как думают, некогда значило: Высокое место.

2

Частокол с тяжелыми воротами окружали хоромы. Они стояли на горе. Стены сложены из мачтовых сосен. Вверху слюдяная чешуя посыпала ребристый купол.

И тень хоро́м падала на город, на лачуги с бычьими пузырями в дырах окон и на весь косогор.

Трое людей сидели в дорожной пыли. Смотрели на бледное небо, на густую зелень лесов, видели барки у причалов — они туго натягивали канаты, и от кормы у каждой тянулась борозда, будто барки бежали: так быстра вода. Один из трех плосколиц и чернобород, другой — маленький, нахмуренный, с рваной бровью, третий, видимо, статен, русоволос, с молодой курчавой бородкой.

На целую зиму стали старше эти трое людей с тех пор, как сиживали вот так же на крутых горах над другой великой рекой, и на много лет постарели с того времени, как текла перед ними еще иная теплая река под высоким солнцем — тихий Дон.

А теперь сидели они в простой мужицкой одежде прямо в дорожной пыли, и прохожий народ вовсе не замечал их.

Место вокруг не было ни убогим, ни сирым. Виднелись церковки с цветными луковицами, со звонницами такого замысловатого строения, какого и не видано на Руси. Кровелька на тонких паучьих ножках, закоптелая, но сверху тронутая жаркой ярью, стояла над проемом, в котором глухо, подземно перестукивали по железу кувалды и сипели меха. Повозки, все одинаковые, ровно груженные, катились по гладкой, устланной бревнышками дороге, бежавшей из просеки в лесу к длинным, приземистым, тоже одинаковым домам у пристани. Поодаль, в лощинке, ухала сильно, тяжко, нечасто деревянная баба; и под дружные, в голос, покрики ворочал хоботом облепленный людьми ворот.

Плосколицый сказал, дивуясь:

— Прежде чтой-то я такого не видывал.

Тогда удивились двое других, и маленький выговорил:

— Ну-ну!.. Так ты разве и тут уж бывал, побратимушка?

Внезапно брякнули и растворились тяжелые ворота, и всадники выехали из них. Кони блистали серебристой сбруей, богато расшитыми чепраками.

Первым ехал старик; чуть поодаль двое молодых.

Встречные низко кланялись им. Люди, работавшие на улице, скинули шапки. Но один из задних всадников махнул им рукой, и те надели шапки и опять взялись за свое дело.

Трое сидевших не спеша поднялись, когда верховые поравнялись с ними.

— Будь здоров! — сказал Ермак переднему старику.

Тот только шевельнул бровями на крупном, грубом лице. Ударив лошадь концом сапожка, вплотную подъехал один из молодых.

— Кто таковы? — быстро спросил он, внимательно оглядывая захожих людей; казалось, он с нетерпением ожидал чего-то.

— Воевода казанский прислал меня с людишками, как вы писали.

Ермак показал на Богдана Брязгу и Гаврилу Ильина:

— Это — головы при мне.

— Гм! Казанский! — буркнул старик.

А молодой прищурился и с усмешкой сказал:

— Из Казани не близкий путь.

Ермак стоял почтительно — только шапки не ломал. Совсем неприметно, как жадно скользнул его взор по всадникам, по лицам их, по одеяниям. Вот они, властелины пермской земли. Старик — это дядя, Семен Аникиевич, глава строгановского дома. Рядом с ним, быстрый и усмешливый, — племянник Никита. Другой племянник, Максим, разглаживает рукой в перстнях шелковистые усы. Дует холодный ветер. Максим морщится, разговор его, верно, не интересует. На мгновение он перехватывает взгляд Ермака, поджимает губы и неприязненно кидает:

— Чудные ратнички завелись у московских воевод!

Затем встряхивает длинными, до плеч, кудрями.

— Ступайте к приказчику. Нам недосуг с безделицей возиться.

Вон как, дела с казанским воеводой ему безделица!

А Никита опять усмехается, чем-то очень довольный, и трогает коня. Теперь он уже оказывается впереди остальных.

Много месяцев миновало с той поры, как на острове Четыре Бугра решился переход в Пермь. Зимовали, не дойдя до места. Надо, чтобы Мурашкин вовсе потерял казачий след. Проедали волжские запасы. Выведывали. Но

и те, кого по-прежнему страшила служба у купцов, понимали, что тянуть больше нельзя...

И вот Ермак сам в городке. Весь его обошел, не открываясь. А ввечеру явился в строгановские хоромы. И Никита Строганов ничуть не удивился, что теперь уже нет речи о казанском воеводе, с низким поклоном ответил на поклон атамана:

— Добро пожаловать! Давно бы так!

Все казачье войско приплыло в Чусовской город, как сообщает строгановская летопись, в день Кира и Иоанна 28 июня 1579 года.

3

Тесная крутая лесенка вела из сеней наверх.

Светло и просторно в верхних горницах. Солнечные столбы падали из окон, синим огнем сверкали изразцы печей, желтые птицы прыгали за прутьями клетки. Ничто не доходило сюда, в расписное царство, снаружи, из мира нищих лачуг.

Да полно, Пермь ли Великая это, глухомань, край земли?!

Гаврила был при Ермаке. Он смотрел, не отрывая глаз.

И видел он вещи такого дивного мастерства, что нельзя вообразить, как они вышли из человеческих рук.

Витые шандалы со свечами. Поставцы с фигурными ножками. Скляницы, чистые, как слеза, легкие, как птичье перышко. Вот чашка, искусно покрытая финифтью. На ней изображен луг. Трава его пряма, свежа и так зелена, как могла она быть, верно, только на лугах, еще не тревожимых человеческим дыханием. И некое сиянье горит над травой — нежные цветы-колокольцы подымаются ему навстречу. Но посреди колокольцев, стройней и статней цветочного стебля, стоит молодец, соболиные брови, шапочка на черных кудрях. Щеки — в золотом пушке, алые по-девичьи губы приоткрыты. Он ждет кого-то. Стоит и поет, ожидая. Кого он ждет?

Отворилась створчатая дверь в горницу. Вошла красавица — пышные рукава почти до земли, поверх белого покрывала кокошник, унизанный жемчугом.

Она вошла, ступая маленькими шажками, высокие каблуки стучали, длинные, в палец, серьги вздрагивали.

Когда она быстро в пояс поклонилась гостям, приложив руку к высокой груди, блеснули большие зеленовато-голубые, похожие на стоячие озера глаза.

Потом за створчатой дверью опять раздались ее скорые-скорые шаги, будто, выйдя из горницы, она кинулась бегом. То была жена Максима Строганова.

Горячил хмель. Громко звучали голоса под низкими потолками.

— То, что видите,— говорил Никита,— не в единый час создано. Многим хвалиться не стану. Сам, меня не дожидаясь, вызнал. Сказывают, жил такой султан, одевался нищим и бродил по городу... Тебе б хозяином стать, Ермак Тимофеевич. У тебя бы копейки не пропало.

— А тебе бы в атаманы, Никита Григорьевич. Ни один воевода нипочем бы не поймал. Ты-то ведь тоже, как я спервоначалу казанской сиротой прикинулся, обо всем догадался.

Истинно они были довольны друг другом. Никита продолжал:

— Шелка возим через Астрахань. Мастеров-полоняников у ханов выкупаем. Бочками идет к нам аликант, какого и царь не пивал в Москве. Лекари немчины и всяких ремесел художники голландские — в челяди у нас.

Максим сказал:

— Гора огнедышащая — вот что наши вотчины. Погаными окружены. Только и знаем русского, что баньку. Москву чего поминать? Там тишь. Вот Юдин-купец и открыл в той тиши тридцать каменных лавок.

— Солью торгует, — отозвался Семен Аникиевич. — Соль-то, соль чья? Наша.

Никита поморщился:

— Э, полно... Атаман Ермак солью не торгует.

— Пущай ведает все же,— веско вставил Максим,— что нашей соли Ганза просит, Лунд[1] ничего не жалеет за наших соболей.

Дядя Семен, старый и грузный, поднял глаза от блюда.

— Скажу, как начался род Строгановых. Два ста лет назад татарский князь Спиридон пришел из орды к Дмитрию Иоанновичу, к Донскому князю. И так за обиду стало это хану, что поднял он всю орду на Русь. За то, значит, что лучшего своего потерял. А великий князь, возжелав испытать верность нового слуги своего, возьми

[1] Лондон.

да и пошли самого Спиридона на татар. Татары сострогали ножами мясо с его костей.

Он перекрестил свое морщинистое мужицкое лицо и торжественно проговорил:

— Потому зовемся Строгановыми. Мы — княжьего роду!

И несколько мгновений значительно молчал; никто не решался перебить его.

— Когда князя Василья Васильевича Темного пленили казанцы, погибала Москва, вся русская земля скорбела. Кто выкупил из казанского плена слепца-мученика? Лука Строганов, внук Спиридона, а дед Аники, моего родителя!..

Он важно и строго обвел взглядом стол, потом подпер голову и старчески задремал. В свое время круто ему приходилось под тяжелой рукой Аники рядом со старшими братьями, Яковом и Григорием, любимцами отца. Теперь он сам был главой дома Строгановых.

Никита подмигнул:

— Дядя спит и князем себя видит. Он торопится: уже стар. А мне спешить некуда. Не в том вижу главное, а вот в чем,— он коснулся лба.

Между тем меды и брага текли по сторонам. Кто-то вскочил и заревел басом. Разгорелась ссора. В углу пьяно заорали срамную песню. Дюжий казак, уже полуголый, выворотил на пол миску с горячим варевом. Напрасно музыканты все громче дули в дудки и били в тарелки, стараясь заглушить ссору.

— Твой молодец,— сказал Никита,— остуди-ка его!

— Сам остуди,— усмехнулся Ермак.

— А что ж, остужу.

Громко хлопнул в ладоши. На середину выкатились дураки в бубенцах и желтолицые писклявые карлы. И в то время, как одни плясали и корчились, выкрикивая, другие разлетелись к буянившему казаку, окружили его и, низко кланяясь, протягивая ковши и громадные братины, увлекли его в своем шутовском кольце.

Как ни в чем не бывало Никита продолжал:

— Мореход из земли брабантской Брунелий плыл от нас в устья Обь-реки. Пути ищу в златокипящую Мангазею. Да, может, о делах не на пиру говорить? Это я, не взыщи, по обычаю своему: время для меня — что золото.

— Сам всю жизнь так мыслил, а не слыхал ни от кого. Золотые слова. Спасибо, Никита Григорьевич.

— Не на чем. Хмелен ты, Ермак Тимофеевич?

— Хмеля над собой в атаманы не ставил.

— Люблю,— сказал Никита.— Ну, коль так, пусть, пируют, а тебя милости прошу в другую светелку.

И на лесенке в башню перестали они слышать гул пира.

4

В углу, перед темной иконой, потухшая лампада — не до того! — на столе татарские счеты: шарики, вздетые на проволоку. Это — строгановская родовая гордость: Спиридон, по преданию, так и приехал с неведомыми до того на Руси счетами из Золотой Орды.

На круглом столике приготовлены крошечные чашечки. Отвар кипел в сосуде. Никита сам налил его в чашечки.

Желтоватый отвар отдавал странным, вязким травяным запахом.

— Что за зелье?

— Не пивал?

— Не доводилось.

— Не ты один. Иван Васильевич на Москве не пробовал и не слыхивал.

Он объяснил:

— Китайская богдыханская трава — чай. Не пьянит, а веселит. Усталость и докуку гонит. Кто пьет, тому до ста жить.

На другом, огромном столе раскинуто полотнище бязи почти в сажень длиной и шириной. Чертеж. В середине его нарисованы горы. Между горами — церкви с крестами. Внизу верблюды по-птичьи изгибают шеи над островерхими палатками. Вверху корабль, распустив паруса, идет по морю среди ледяных глыб, на палубе стоит кормчий, в бархатной шляпе и в туфлях с пряжками. А справа, позади гор,— леса, и гигантские реки ветвятся в их гуще. Окруженный зверями со вздыбленной шерстью, в шатре на корточках сидит чернобородый человек, подняв скипетр и державу. Далеко за ним, на самом краю земли, слоны тянутся хоботами к волосатым людям, качающимся на деревьях; народ в шелках стоит на коленях вокруг фарфоровых башен. И четыре ветра, надув щеки, дуют с четырех углов карты.

— Смотри, атаман! Велика земля — умных голов на ней мало. Купцами и промышленниками Московское царство крепко. Скажу по чести, не хвалясь: нами, Строгановыми, Русь стоит!..

Дикие горы и церкви с крестами среди гор были нарисованы как бы в средоточии мира — между верблюдами Бухары, фарфоровыми башнями Китая, льдами Севера и гильдейским Западом. Рубежи мира сближались, страны подавали друг другу руки, на скрещении дорог сидел купец в куньей шапке и парчовом кафтане до пят.

Ермак слышал:

— Говорю самое сокровенное. Все разузнал о тебе, а теперь сам вижу. Потому и говорю, не дивись. Царь возвышен над народом, все ему дано, нет у него никакой нужды — да ничто не отуманит его взора. С высоты он один зрит всю страну и неподкупно печется о ней! А мы? Сами, мнишь, богатеем? Земле творим богатство! Тут, на украйне дикой, радеем за Русь, за веру. Всей земле заслон! Земля спала, нехоженая, язычники молились в поганых капищах. Аника Строганов, дед, бил челом об этой пустой земле великому государю Ивану Васильевичу. И призвал народ. Подъял неусыпный труд. Выстроил города. Государеву казну податями наполнил.

Никита нагнулся к чертежу, глаза его горели.

— Смотри! Генуэзец, фрязин — тому ста лет еще нет — повел суда, за морем нашел Новый Свет. Золото кораблями оттуда...

— Свет, говоришь? — перебил Ермак.— Новый Свет?! Нашел... Кто ж он, фрязин этот?

— А ты, атаман,— тихо сказал Никита,— ты подумай: что ж, и на Руси нет никого поотважнее Колумбуса, генуэзца?

Ермак следил за его тонким красивым пальцем.

— Что там? Ель частая... пуща...

— Царство Сибирское!

Ермак повторил:

— Сибирское царство...

— Слыхивал?

— Краем уха. Ты скажи: чье ж то царство?

— Русское! — Никита ударил ребром ладони по чертежу.— Наше! А сидит там вор Кучум-царь, последыш Батыев.

И, как дядя на пиру, сказал торжественно:

— Великий государь царь Иван Васильевич пожаловал нам, ведая наше радение, сибирские земли. И Тахчеи, и Тобол, и Обь-реку с Иртышом. Леса, пашни и руды: железные, медные, оловянные и горючие серы...

И развернул пергамент: «Дана грамота в Слободе лета 7082-го[1] майя в 30-й день. Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии».

На шнурке висела царская печать ярого воску.

— Пустошь,— сказал Ермак.— Место немереное...

Он подумал, прикрыв глаза веками.

— Рухляди ищете? Нелюдье раздольное...

— Там соболь. Царский зверь...

— А может, не одного того чаете, а...

— Дорожку? — горячим шепотом подсказал Никита.

— Путь — еще дальше.

— А куда путь? Куда, думай, казак!

— Вон куда! — Ермак указал на шелковый народ у фарфоровых башен.

— Высоко взорлил! — все горячей, все быстрей зашептал Никита.— Не столь! Не столь! Не большаком, не прямиком. В глухих урманах истомится душа того, кто дерзнет напролом, на стремнинах изноет сердце, пески пустынь выбелят, завеют кости. А верный все ж то путь, самый верный. Слушай! То путь — в Великую Бухару.

— В Бухару!..

— Дивно тебе?

— А реками русскими? И через море Хвалынское?

— Большего в сей день от меня не жди. Короче, думаешь, и проще? Нет, твой путь петлястей. Верно и коротко — как я сказал. Мозгуй.

И как будто перевел разговор:

— К каким богатствам поворачиваем Русь! Корабли пошли в Лунд, в Любок, в Атроп[2]. Польются оттуда нектарные вина, сукна, бархат, художества, блистающая утварь стеклянная. Краса, на Руси неслыханная, приманит красу. Дастся — имущему: господни слова. И все это, все — как в могиле, за басурманскими мечами... Иди, пробуди! Кого же вспомянет Русь? Кого, Ермак? Воевод да бояр, про кого говорят: толстые мяса хоронят в Белокаменной? Строгановых вспомянет! Да тебя!..

---

[1] 1574 г.

[2] В Лондон, в Любек, в Антверпен.

Снова Ермак повторил:

— Сибирское царство.

Стукнули в дверь.

Донесся отдаленный гул пира.

В дверях стоял человек. Строганов поднялся.

— Прости, Ермак. То за мной. Время — что золото. Ты же на пиру потешься.

И сказал уже шутливо:

— А кто стережет Кучумово царство? Чудь заблудящая да гамалья-вогулишки.

5

Никита спустился крутой лесенкой, миновал боковые ходы. Служка нес перед ним светильник. Ражий детина ожидал в домовой часовне. В пол ее вделан двойной дубовый люк. Вглубь вели пахнущие глиной ступени. В подземелье, глухом как гроб, зеленые звезды сырости мерцали на кирпичной кладке. Тяжелый замок долго не поддавался ключу в четверть длиной. Наконец, лязгнув, замок отскочил. Дверь, окованная железом, повернулась на скрипучих петлях. Огонь светца застелился, как зловонным ветром пахнуло из черной пасти двери. Слабые пятна и отблески побежали по стенам, полу и потолку погреба, куда вступил Никита.

Пляшущий мрак отступил и в одном из углов открыл скорченную фигуру человека совершенно голого. Он согнулся пополам, как бы вися на кольце, к которому был прикован за пояс.

Сине-багровое, страшное, с вывернутыми суставами тело человека распухло.

Палач ждал наготове.

— Падаль,— сказал Никита.— Где взял подметные листы беглого раба Афоньки Шешукова? Строгановы — сыроядцы, а? Душу выворочу!

6

Когда он поднялся назад в чертежную светелку, его уже ожидали Семен и Максим.

Трое Строгановых собрались в чертежной.

— Ты теперь к себе, в Кергедан, Никитушка? — ласково спросил Семен.

Никита налил себе холодного чаю.

— Что, без меня вольнее?

— Не дури! Общие дела сообща делаем.

— С атаманом-вором,— вставил Максим,— дело важнее всего.

Скучающим голосом он стал перечислять:

— Страховит. Лицо как в машкере. Волос подсекает коротко — как мних. Жох, все огни прошел. Взор — подколодный. Черемис аль цыган?

Он запел:

А в залесье калина,
Пню я, молодец, поклонюсь...

— Мы игрецы,— усмехнулся Никита, давши Максиму пропеть.— Строгановы от века игрецы.

— Как бы не проиграться, братец. Черта в дом — не вышибешь лбом. Прыток ты.

— Я? Да что ж, я один разве? А ты? Аль уж вы вместе с дядей сплавить меня по Чусовой собрались?

— Что ты, голубчик, очнись, соколик. Ты же не тесина, чтоб тебя сплавлять по Чусовой. А только ты и на вепря один ходишь, да вепри со страху другой дорожкой бегают. Вот и с атаманом в особицу пуще всех рассыпался.

— А царского гнева боишься, что призвал беглых воров,— нетерпеливо сказал Никита,— так землей закидай все, что в городишке нарыл против царского указу. Где руды неуказанные добываешь — зарой. Боюсь, ох боюсь, что и городишко-то придется тебе отдать воеводишкам.

— Вот ты ябеду и настрочи,— с той же скучающей, холодной издевкой ответил Максим.— Я те и научу как. На себя глядя. Все и выйдет в точности, что от тебя про нас с дядей слышим.

Никита передернул плечами.

— По мне, хоть вовсе отступайтесь. Хоть сейчас. А из моей воли не выйдут тати. Шелковые, как малые ребята, будут. Завидущие глаза — хватит силы, залью. Не доходило и не дойдет до Москвы.

И опять, пожав плечами, Никита протянул руку к чертежу, к лежавшей на нем царской грамоте с восковой печатью — к той, что пять лет оставалась пустым

даром, почти насмешкой, куском пергамента, валявшимся в ящике.

Но тут произошло неожиданное. Быстро Максим перехватил руку Никиты. Некоторое время они боролись. Потом неловко расцепили руки, не глядя друг на друга.

Семен произнес умиленно:

— Аника из райской обители воззрился на дом Строгановых. Не ты ли порушишь его, Никита? Общее дело. Расхлебаем сообща!

Привстав, он сгреб грамоту, будто ловя мышь, и сунул ее за пазуху. Мурмолка у него сползла на затылок, открыв багровый лоб.

— Поспешаешь? — осклабился Никита.

— Цыц! — вдруг заорал Семен и сжал палку.— Гришка, твой отец, пикнуть не смел у Аники! Ступай, ступай восвояси, добром ступай!..

Они стояли друг против друга, тяжело дыша, трое изворотливых, ярых в достижении задуманного, принаряженных для пира людей. Теперь они были нагие друг перед другом.

Никита выдохнул с ненавистью:

— Ты, Семенко! Из гроба к горлу моему тянешься. Слаще всех тебе сибирский мед. Весь его в твою с Максимкой ненасытную утробу впихнуть хочешь. Но погоди, еще ты не обскакал меня.

Никита вышел, грохая подкованными сапогами. И сразу утишил волнение крови. Он привык мгновенно смирять себя.

Короткая светлая ночь. Восток алел. Никита подумал, что ложиться уже поздно. Все важные дела тут покончены, и Никита на рассвете погнал на тройке в город Кергедан, Орел тож,— торопить оттуда Брунелия, морехода, чтобы тот живее искал кратчайший путь в златокипящую Мангазею.

7

Оливье Брюнель был валлонец, родом из Брюсселя. Корабли «Московской компании» плыли в Индию и Китай по Северному морю. Делами «Московской компании» правили в Лондоне шесть лордов, двадцать два рыцаря, тридцать эсквайров, восемь олдерменов и восемь

джентльменов. Корабли назывались: «Добрая надежда», «Эдуард Благое Предприятие», «Доброе доверие», «Серчсрифт» — что означает «Ищи прибыли».

Но прибыли им пришлось искать гораздо ближе Индии и Китая: ни один корабль не проник дальше Карского моря. Зато многие корабли возвращались на Темзу с пенькой, воском, бочками сала и драгоценными мехами, которых хватило бы на тысячи королевских мантий. Еще привозили они с собой вести о мореходах, погибших во льдах.

За англичанами поплыли голландцы. Они захватили в свои руки торговлю с Беломорьем и Печорским краем. Целую факторию в Коле наполняли их товары.

И Брюнель, смелый человек, также сел на корабль и приехал в Холмогоры.

Здесь он увидел мужиков, которые бесстрашно ходили на кочах в ледяное море.

— Река Обь? — чесали они в затылке.— Дойти можно...

И, проконопатив, высмолив свои лодки, они ставили на них паруса, бравшие только прямой ветер, да и пускались мимо льдов, где вмерзшими стояли оба судна сэра Хью Виллоуби со своим экипажем мертвецов.

Поморы показывали Брюнелю бивни мамонта. Слоновая кость укрепила его в мысли, что он на верном пути в Индию и Китай. И мерцание сокровищ зажглось перед его взором.

От английского купца Брюнель услышал рассказы о белом городе на азиатской реке. Там живут железные люди: купец полагал, что это воины в броне. У них есть животные с длинной гривой и хвостом, но безрогие и с круглыми, а не раздвоенными по-оленьи копытами. Люди белого города знали лошадей! Город этот, судя по всему, находился у стен Китая.

Англичанин уехал к себе на Темзу, пожелав Брюнелю здоровья и благополучия в этом мире и блаженства в мире грядущем.

А Брюнель больше не мог оторвать глаз от миража, мерцающего над Северным морем.

Он снял с себя кружевной воротник, чулки, широкий шелковый пояс, надел меховые унты и тулуп поморов. Отпустил бороду, стал божиться по-русски, отважно плавал по ледяному морю, на голландские деньги завел тор-

говлю — дешево покупал, дорого продавал и так настойчиво принялся разгадывать тайну пути на Обь, что прежде всего забеспокоились именно джентльмены с Темзы. Положение на доске следовало выправить, голландцев окоротить: кому надо, шепнули (это искусство всегда стояло на большой высоте), Брюнеля схватили как шпиона и бросили в тюрьму.

Строгановы сидели далеко, на Урале, но их доглядчики рыскали по городам и селам Московского царства и даже по таким местам, где до них не ходил никто.

Из своего камского далека Строгановы заметили Брюнеля в ярославской тюрьме. И длинные руки отворили тюремные двери, Брюнель вышел на свободу и сделался строгановским приказчиком.

Тогда Строгановы снарядили его в Мангазею. С кормщиком-помором Брюнель, смелый человек, проплыл морем Печорским, урочищем Югорский Шар и Нарзомским морем [1]. Так он оказался счастливее капитанов Виллоуби, Стефана Бэрроу, Пита и Джекмена и первый из иностранцев увидел Обскую губу, по которой скользили сшитые из оленьих шкур лодчонки ненцев.

Сюда не добрались еще воеводы и пристава. Тут, на реке Тазе, стояли острожки, срубленные поморами-промышленниками и беглыми людьми. Эти люди вели торг с ненцами, попутно собирали с них ясак. Пахло тюленьим жиром и дикой гусятиной. Охотники раскладывали на берегах шкуры, добытчики — кость и рыбу. Торгующие опорожняли корцы с горячим вином.

Вверх по реке простиралась громадная богатая страна.

Брюнель встретил на торгу людей с тючками, в которых было все: ножи и топоры, бусы и оловянные ложки, железные зеркальца и порох.

Люди с тючками бойко сбывали дешевый заморский товар, а в тючки к себе упрятывали лис, куниц, соболей, горностаев.

Вольная Мангазея на Тазе-реке за Обью была уже златокипящей.

Поразительную вещь узнал Брюнель: выходило, что люди с обиходным товаром тоже от Строгановых. Тоже — как и он.

---

[1] Южная часть Карского моря.

Никакой татарский мурза Спиридон не зачинал рода усольских вотчинников.

Он пошел, этот род богачей, от крестьянского или посадского, скорей всего новгородского корня.

Были купцами, верно, с тугой мошной, если, по легенде, Лука Строганов в самом деле выкупил в 1445 году Василия Темного, внука Дмитрия Донского, из казанского плена. Но все же только купцами, а время от времени род Строгановых опять порождал и тощие, крестьянские ветви. После покорения Новгорода Иваном Третьим Васильевичем о гостях Строгановых больше не слыхали в вольном городе. Они бежали, но, сметливые и решительные, сразу скакнули широко. В книге «Описание новые земли Сибирского государства» об этом сказано так: «А тот мужик Строганов, породою новгородец, посадской человек, иже от страха смерти и казни великого государя царя Иоанна Васильевича всеа Русии самодержца из Новаграда убежал со всем домом своим в Зыряны, сиречь в Пермь Великую».

Около Устюга и Соли Вычегодской в начале шестнадцатого века снова возникли Строгановы. 9 апреля 1517 года великий князь Василий Иванович дал грамоту на соляной промысел сыновьям Федора Строганова, внукам Луки — Степану, Осипу и Владимиру. То были старшие братья Аники, а самому Анике шел тогда девятнадцатый год.

Но младший Аника далеко обогнал и братьев, и всех прочих Строгановых, предков своих,— так обогнал, что на триста лет стало пословицей: «Богат, как Аника Строганов».

Он начал уже стариться, ему стукнуло шестьдесят, когда вышло его дело. У него выросли помощники, любимые сыновья от второй жены Софьи — Яков (отец Максима) и Григорий (отец Никиты).

По отцову указу Григорий поставил в Москве, перед царскими приставами, щедро задаренными, пермитина Кодаула. И Кодаул, запуганный насмерть и прельщенный серебром, свидетельствовал, будто южнее Чердыни по Каме до Чусовой земля лежит пустая, без пашен и дворов.

Так добились Строгановы в 1559 году грамоты Грозного:

«Се яз царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии пожаловал есми Григория Аникиева сына Строганова, что мне бил челом а сказывал, что-де в нашей вотчине ниже Великие Перми за 80-т за 8 верст по Каме реке, по правую сторону Камы реки, с усть Лысьвы речки, а по левую деи сторону реки Камы против Пызновские курьи, по обе стороны по Каме до Чюсовые реки места пустые, лесы черные, речки и озера дикие, острова и наводоки пустые, а всегда деи того пустого места 146 верст».

Земли было 3 415 840 десятин. Он получил ее, Аника, так, здорово живешь, по челобитью Григорьеву и по лжи Кодауловой, и она была не пуста, на ней издавна жили люди, охотились, ловили рыбу, сеяли хлеб, платили пошлины и тоже, как Аника Строганов, варили соль. Они и отцы их первые пришли в глухие места, срубили лес, чтобы поставить жилье. Были свободными, но теперь — со всем своим добром — стали Аникины. Вот как начал он.

Он ставил варницы там, где сочились соляные рассолы. Яма, выложенная камнем, служила печью, а из деревянного ларя рассол стекал в црены, железные ящики-сковороды, висевшие на столбах. Люди стояли у цренов; соль проедала одежонку и кожу на теле, язвы не заживали. Работали с восхода до заката, осенями вставали затемно и ложились ночью. Приказчики покрикивали на крещеных: «Эх, работнички, радейте хозяина для!» Соль дорога, мужицкий хлеб с мякиной дешев.

Дозволил царь созывать людей неписьменных и нетяглых, а письменных, тяглых и беглых боярских людей, буде забредут они в камские места, велел хватать и отсылать господам их.

Аникины люди спускались в шахты-колодцы. В раскаленных горнах клокотало железо. На склонах гор, в сланцах, желтели медные кристаллы. Аника, не раздумывая, сам завел у себя все, как у царя: и железное, и медное, и оловянное литье. Он лил свинцовые пули и делал порох.

Приказчики его рыскали по Руси, зазывали на Каму новых подданных. Где тут разбирать, тяглый ли, «письменный» ли человек или даже беглый холоп? Всем находилось место.

А воры еще ниже гнутся в земляных колодцах, еще теснее льнут в прожженных портах к горнам, крепче

стоят в сторожевых башнях, у чугунных пушек: знают воры — некуда им податься от камского владыки-благодетеля.

«...А что будет нам Григорей по своей челобитной ложно бил челом, или станет не по сей грамоте ходити или учнет воровати, и ся моя грамота не в грамоту».

И за царской надписью приписи дьяков Петра Данилова и Третьяка Карачарова, да окольничих Федора Ивановича Умного и Алексея Федоровича Адашева, да казначеев Федора Ивановича Сукина и Хозяина Юрьевича Тютина. И на шелковом шнурке — красная печать.

Он не платил в казну оброков с соли и рыбных ловель, ни ямских денег, ни податей. Ходил по своей земле в мужицком армячишке — жилистый старик с суровым лицом угодника, строил не покладая рук, считал копейки.

Он был жив еще, когда в 1568 году по челобитью другого сына, Якова, от царя снова подвалило счастье — новые 4 129 217 десятин.

Так неслыханно росло Аникино богатство. Он умер через два года в ангельском чине в городке Сольвычегодске. И грамота царева так и не стала «не в грамоту».

Что ни делал Аника, ничто не доходило до Москвы. Серебро раздуло его мошну, серебро сурового и могучего камского властелина затыкало рты пермских воевод.

По грамоте 1568 года завладели Строгановы Чусовой и построили в пятидесяти верстах от устья Нижний Чусовский городок с крепостью при нем. Татары, остяки, пришлые русские люди жили вокруг городка в старых деревнях — Калином Лугу, Камасине, Верхних Муллах, Слудке; иные из этих деревень есть еще и в наши времена.

Из городка правили Строгановы слободами Яйвенской и Сылвенской. На Каме стоял строгановский город Орел, он же Кергедан.

Завели Строгановы и свой монастырь — под горой, в устье Пыскорки. Монастырю были отведены земли от Чашкина озера до речки Зыряны, со слободой Канкаррой, деревней Новинками и десятью деревушками, пожнями и покосами, рыбными и звериными ловлями, бобровыми гонами и медовыми улазами, чтобы прилежно молились монахи о многогрешных строгановских душах.

9

Семен Аникиевич тяжело сидел на лавке. Дурная кровь переполняла его оплывшее старческое тело, он еле вмещался в красном углу. Боль тупо сверлила то в груди, то в боку, то где-то в животе.

Поутру к нему являлся лекарь, арц.

— Вы спали лучше,— говорил он, склонившись,— в вашем глазу я вижу ясный кристалл. То мой инфузум расширил зрительную жилу, и пневма пробила ход сквозь слизь, эксцеленц.

Он подавал чашу.

— Тут симпатическая сила антимония и эссенция золота. Золото влажно и горячо снаружи, но сухо и холодно внутри. Оно подобно солнцу. Ваша болезнь спиритуальна, эксцеленц.

Кланялся.

— Благородная тинктура для благородной болезни.

Напиток был красноват и противен. Лицо врача, большое, костлявое, с широко расставленными неподвижными водянистыми глазами и двумя круглыми пятнами румянца на щеках, вызывало представление о раскрашенной мертвой голове.

Семен Аникиевич морщился. Он не сомкнул глаз ночью, он не знал, зачем глотает эти отвары ценою в целую деревеньку с народом.

Он подумал, что баня, водка с селитрой и сотовый мед перед сном помогли бы ему больше и что при отце никакой целитель не переступал порога этого дома.

— Ты как лечишь? — сказал он, мутно глядя на бритого человека в епанче.— Я не церковный купол, чтоб меня золотить. Печень горит у меня, печень в нутре. А ты — червонцы толокешь. Не травишь ли?

Старик вспыхнул и потух. Но череп, обтянутый румяной кожей, почтительно и вместе безбоязненно склонился.

— Не смею прекословить, эксцеленц. Планета Юпитер отворит ворота печеночной жилы. Я принесу вам эссенцию аурипигмента. Она уничтожит черную желчь и усладит горечь желчи желтой. Так написано в книге «Парамирум».

А Семен Аникиевич думал, что этот голос, скрипучий и вкрадчивый, больше всего напоминает кваканье лягушки, помазанной лампадным маслом.

Когда врач ушел, тупая боль поднялась из живота и заныла в груди. И для Семена Аникиевича боль эта сливалась с неотступной мыслью, что не увидеть ему княжества, ни строгановской Сибири. Зачем же звали воров, шли тайно от Москвы на опасное, дорогое дело?

Что же теперь, уж их и не выдворить? Шевеля губами, морщась, Семен Аникиевич, чтобы обмануть боль, пытался считать, сколько строгановского хлеба зря съело это не в добрый час зазванное разбойничье войско. Бормотал, качая головой:

— Мышь в коробе — что князь в городе!

Гнев поднимался в нем, помутневшие глаза начинали сверкать.

— Оле ж тебе, прыткий Никитушка!

На стене висела клетка, в ней сидела пестрая заморская птица. И старику казалось, что заморская птица не принимала его попреков Никите, будто она кричала из-за прутьев человечьим голосом: «Черта впряг, аж лысина взмокла, хворый байбак!..»

Семен Аникиевич стаскивал с потной головы замызганную мурмолку.

10

Но Строгановы не отступались от игры — не в их это привычке. Игра была самой большой, какая когда-либо затевалась в строгановском роду, игра и с казаками, и с воеводой, и с самим царем.

По гнилым мосткам через четверо чердынских ворот вползали обозы с щедрыми строгановскими дарами воеводе. Дары назначались для того, чтобы око государево спокойно дремало и не глядело, что творится в Усолье.

Око государево было — вдовый князь Елецкий. Чердынские люди также носили ему, по заведенному обычаю, свои дары, кому сколько по силе. Сила у них, правда, невелика, но князь Елецкий не привередничал. Если «нос» оказывался не денежный, а вещевой — кованый ларец или медвежья шкура с оскаленной мордой, воевода оглаживал его рукой; дареный мед сам непременно пробовал деревянною ложкой. Затем виновато сообщал ключнице, правившей домом:

— А мы с носом, Агафьюшка, мы с носом!

Авось ключница простит, что мал «нос».

Когда через болота, через бездорожные леса добирался в Чердынь посланный из далекой Москвы, воевода разглядывал его: не боярин — дуб мамврийский, тугой каменный затылок. И князь среди разговора наводил:

— Государь-то где?

Московский человек отвечал, что царь в Слободе или что на малое время приехал в Кремль.

— Ты видел его? — И понизив голос:— Как он, ну?

Уже выпили по чарке. Наставало доброе доверие. И, расцепив челюсти-жернова, гость объяснял, что царь грозен и лют.

— Да тебе что, князь? Тебе-то все едино, будь хоть сатана из пекла. До тебя и в год не доскачешь.

Тогда воевода говорил негромко:

— От обычаев прадедов отступился... Камизольщиков полна Москва... Аглицкий царь!.. У нас душой отдохнешь, Самсон Данилыч.

Приезжий тоже умерял свой голос-рык.

— Коль в одиночку — один конец... Дерево за деревом — так и весь лес свести недолго... А Русь, с Русью-то что станет? Страшно вымолвить, подумать страшно. Русь наша матушка! Нища. Разорена. Кровью истекла на ливонских полях. Кровью поплыла Москва: весь народ на плаху положить готов...

Старый князь уже охмелел от двух или трех новых чарок, кругом стояло всегдашнее нерушимое спокойствие, и во всем этом тихом спокойствии по-прежнему набольший он сам. И, стукнув по столу, князь уже не таясь, возглашал:

— Соборне надо. Соборне!

11

Казаки несли свою службу в Усолье.

Разбившись на отряды, они караулили страну.

Она лежала чащами и взгорьями, болотами и каменными грядами, огромная и пустынная, вдоль пустынных рек. Лось, фыркая, сбрасывая с отростка рога застрявшую ветку, несся папоротниками к скрытому водопою, эхо повторяло дробный стук его копыт. Желтая вода сочилась в медвежий след, похожий на человечью ногу. Пожар красной ягоды охватывал в августе поляны. Стервятники кружились над тем местом, где валялся

павший зверь, расклеванный, до кости ободранный голодными зубами.

Среди лесов катились быстрые реки.

Ночами обступал жилье волчий вой.

У околиц слободок валили деревья, корчевали и жгли вековые пни. Бурелом занимался от палов. Он горел, как порох, с треском и пальбой, листва никла и скручивалась, горький дым, медленно вращаясь, восходил между березами. И солнце висело в мертвенных венцах на тусклом, померкшем небе.

Тогда в непролазной глуши из своего жилья выходил исконный лесной житель — охотник-вогул. Он тянул носом гарь, нахлобучивал шапку из бересты и, вскинув голову, на худых упругих ногах шел медвежьими лазами, под бородами лишаев на столетной коре, в еще более глухую дичь, где в медной воде шевелились черные пиявки.

Угрюмо надвинулась осень и мочила дождями, по черным ночам завывала в логах, пока не улеглась зима.

Светлые, узорно разубранные, окованные, лежали камские места под низким солнцем короткого дня. И отряхнув белый прах с пимов, потирая лица в дымном избяном тепле, говорил народ: «Старик шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет».

Миновала и долгая зима. Побурел в ямах последний снег, весна зеленым пламенем пробежала по клейкой глине обрывов.

Девушки с венками на головах собирались на лугу, расплетали косы, пели, плясали и пускали венки по воде.

И опять жар подымался от земли. В сумерках волки подходили к варницам и лизали соль.

Стояли белые ночи.

К концу лета лилово зацветал высокий узколистый иван-чай. По утрам окатывали росы.

Год завершал свой круг.

Гаврила Ильин летом ездил с казачьей станицей на север. Отъехал от станицы и взял путь прямиком — все ополночь. Увидел мочажины, и выворотни, и лесные кладбища — пеньки. Крошечные булавы кольчатой мышиной травы торчали на болоте. Открылась гора, вовсе черная, как из печной сажи. Внизу сгрудились избы — ворота с кровельками, как в шапочках, наличники рез-

ные, расписные ставенки, островерхие крыши с венцом. Коза блеяла из подворотни, высовывая бледно-розовый язык.

Ильин постучался в избу. Хозяева глядели хмуро. Но угостили сытно. Вечер долго не угасал. Казак вышел на улицу. Конь его жевал под навесом хрусткую траву с жесткими болотными резунцами. На топкой елани молча, без песен, плясали парни и девушки. Только слышались чавканье ног в грязи, короткий смех, негромкие голоса. Казак постоял, поглядел, его будто не замечали, он вернулся в избу.

Хозяин тоже не спал. Он вращал при светце тяжелое точило. Кругом разложены диковинные камни. По одному бежали багряные и молочные жилки и складывались так, точно ладья ныряла посреди ледяных глыб. Вишнево отсвечивал камень кровавик. Были камни, полные дыму. И тусклое солнце сияло внутри как бы застывшей водяной капли.

В притолоку стукнули. Вошел сосед. Согнувшись, он долго рассматривал на светец то, что обтачивал хозяин.

— Вода текет? — спросил хозяин, тот утвердительно хмыкнул.— А искра́... Куда искра́?..

— Тепла добавь,— велел наконец сосед.— Поточи. Дай радость.

— Погодь, как полну-то силу отворю,— с суровым торжеством ответил хозяин.

Радуга, чуть поблекшая, цвела в руке высокого мужика.

— Злат цвет! — сказал Ильин.

И хозяин поднял на него тяжкий, неприветный глаз.

— На себя накликай. Цвел, да отцвел. Я не видел, и ты не видел, чур меня. Каменна Матка одна видела...

Ночь ненадолго смежила глаза, и вот уже *белая кошка пялится в окошко.* Хозяин с подожком-щупом, мешком да лопатой зашагал из избы. Он долго заглядывал в ямицу на боку горы, как в глядельце. Казак поднялся на гору. И оттуда на краю неба он увидел раздвоенное облако. Было оно прозрачно и сине и огромно высилось надо всем.

— Что это там, дед? — спросил он у старика, дремавшего на солнышке.

— Камень-горы! — ответил старик.

— Далеко ль?

— Пряма дорога. Сам гляди. Он тихóй, путь-то по нашим местам.

Но зыбко туманилась даль за черными дорогами. Туманами здесь называли еще озера...

Ильин заторопился из узорчатой деревни угрюмых людей. Но навсегда запомнил он то облако, которое было дальше всего, за самой дальней далью, и все-таки нависало исполински надо всем... Он не умел рассказать об этом и, вернувшись на Чусовую, только про одно сказал казакам: про черную гору и каменные цветы в ней.

— А слышь, ребятушки... нам бы клады те.— У шепелявого, мелколицего казака Селиверста загорелись глаза.— И не хаживать бы отселева никуды!..

Бурнашка Баглай ответил:

— Серебра хочешь аль злата? Научу тебя, слышь. Змеин след примечай. Есть крылат змей. Проползет — гора донизу расселась. Дна нету, и ухнет там, бабьим причетом причитает. Улетел, значит, а хозяйку поставил девку — гору-красу беречь... Там ищи!

12

И опять воронье, садясь тучей, отряхивало листву с берез. Под слепым осенним небом, собравшись кругом, казаки затевали песню:

Эх, да дороженька тырновая-я,
Эх, да с Волги-реки!..

Но ветер хлестал сырые камские пески, скудно тлели лучины в низких срубах, бородачи, погорбясь, сумрачно слушали песню; лица их казались земляными, опущенные узлистые руки — как корни... И гасла песня.

Скудная шла жизнь на строгановских хлебах, зряшная жизнь, без обещанного прощения вин, без чаемых несказанных богатств, без своей воли.

Со злой тоски иные, захватив кулек пищи в лодчонку-душегубку,— кто с оружием, а кто и так,— убегали тайком по последней воде искать дороги на веселую Русь, на Волгу. И вода смывала их след.

Другие осели тут, на Каме, поманили их блудящие огоньки кладов и тоскливая бабья песня. И охолопились казаки.

Гаврила Ильин приручил трех ласок. Они бегали по нему, когда он спал, обнюхивая ему волосы и уши кро-

шечными злыми мордочками. Под утро сами забирались в кошель.

— Когда же через горы, батька?

Атаманы часто собирались, иногда звали и есаулов, сотников, кой-кого из казаков. Сложился как бы тесный круг. Кольцо торопил. Осторожный Михайлов особенно настаивал: прежде все разведать, разузнать. Не кидаться же так на целое царство. Ермак сидел понурившись. «Видно, прав Яков. Бродов-то не знаем, а в омут суемся...»

Приехал Никита Григорьевич — спросил о том о сем, под конец настойчиво и нетерпеливо сказал:

— Что не видно тебя? Заходи, покалякаем.

А в хоромах в упор повел речь, что давно пора в Сибирь.

— Ржет воронко перед загородкой, подает голосок на иной городок,— сказал он пословицей.

— Орел еще крыл не расправил,— ответил Ермак.

— Пока расправит, как бы его воро́ны не заклевали. Да и не обучен я птичьему языку,— криво усмехнулся Никита Григорьевич.

На еланках бурели полоски сжатых хлебов. Дожинали позднюю рожь. Котин (вовсе белеть стала его борода) садился на обмежки во ржах,— высоко подымались колосья и клонились, согласно шурша. Осторожно пригибая стебель, он оглаживал два золотых рядка с прямым чубом на конце. То была Русь.

13

Вспоминая про Волгу и Дон, они давали привычные имена здешним безыменным ярам и холмам: Азов-гора, Думная гора, Казачья. «Пошли ермачить»,— говорили дружки, уходя в лес на охоту за зверем, а может, и не только за зверем. Ермачить! Так высоко навсегда стала в их умах прежняя грозная слава атамана. И это словцо, и названья гор, перенесенные за тысячу верст со светлого юга, жили потом еще века и дожили до наших дней...

Но уж выучились казаки глухому местному говорку — не как на Руси, с повышением голоса на последнем слоге фразы. Чулан и подпол стали называть «голбец», про глаза говорили «шары» и о красивой девке — «баская девка».

14

Ермак еще раз побывал у Никиты Григорьевича.

— Ну как, отрастил крыла-то? — спросил тот.

— Парусины ищу паруса ставить.

— Плыть через горы? — сказал Никита.— Косят сено на печи молотками раки.

— Дивно тебе? Скажи: откуда пала Чусовая?

— С Камня пала. С крутизны.

— А за той крутизной какие есть реки-речушки? Велики ли? Куда им путь на стороне сибирской?

— Водяной путь через Камень? Конные тропки по гольцам и те кружат, день проедешь, а где вечор был — вон оно, глазом видать...

— Голышом докинешь? То и не с руки нам — вкруговую плясать да голышами перекидываться. Путь войску должен лечь — как стрела летит.

— Никто тебе такого пути не укажет — ни русские, ни вогуличи, ни сами татары. Чертеж в светелке помнишь? Что ж, человечек есть, кто чертил его. Мой человечек. С ним разве потолкуй. Да послушать-то его послушай, а вникать во все, что наплетет, особо не трудись; старичка, впрочем, не огорчай.

Под лестницей в строгановских хоромах ютился чертежный человек. Книги заваливали весь его закут. Огромные, чуть не вполпуда, старинные пергаменты в телячьей коже; малые, на немецкой бумаге, книги, крытые бархатом; книги с серебряными застежками; книги с фигурами зверей... Лежали развернутые темные круги арабских землемеров, генуэзские портоланы со звездами компасных румбов. Тощий человек в подряснике жил среди горькой пыли, носившейся над вязью скорописи, над неровными новопечатными строками московского дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца,— над ярью, киноварью, золотом заставок, похожих на тканые ковры.

— Чертеж, что в верхней горнице, истинно сотворен мною,— сказал он.— Не скудоумам изъяснить его. Зримое видят в нем и прелестное. Сорок лет затворяюсь я тут от суесловия мира. И знай: я один скажу тебе о стране Сибирь!

Он воздел руки, перепачканные в черной и золотой краске.

— Тремя поясами препоясана земля. Где пролег пояс хлада, там все обращено в твердый камень. Под горячим

поясом текут реки свинца, там гибнет всякое дыхание. На середнем поясе рождаются люди и звери, прозябают злаки.

И, втянув во впалую грудь затхлый воздух, он воскликнул, ликуя:

— Слушай! За Каменем, в азиатской стране, стоит царство попа Ивана. Три тысячи шестьсот царей покоряются ему. А живут в нем одноглазы и шестируки, псоглавцы, карлы и великаны. Бродят звери леонисы и урши и зверь бовеш о пяти ногах. Лежит море золотого песку. Камень кармакоул огнем пылает ночью. Текут там белые воды — белая река Геон. Не слыхивали в том царстве о татях, о скупцах, о льстецах, нижé о лжецах. Как идет поп Иван, несут перед ним блюда с землей, чтобы помнили люди — от земли взяты и пойдут в землю. И нет там ни бедных, ни богатых. Подвизаются жители того царства Мафусаилов век, не ведая болезней. Ибо горесть, кривда и болезни — то прельщение людское. Скажи: «Тьфу, блазнь!» — и нет их.

Он задохнулся, мучительный кашель потряс его тщедушное тело.

— Доволен? — усмехнулся Никита Григорьевич.— Полегчило тебе? А ведь золотой был старик... Все книги и все чертежи — в лобастой той голове. Был, да весь вышел. Крышка. Видел? Помощи от него, как от лекаря латинского: не боле, чем и от нас с тобой. Медикус... наука. Всяк в жизни на чем-нибудь своем утверждается, ноге опору ищет; выбей опору — трясина засосет. И стоит одноногой цаплей целитель, арц, дохтор. Я не помеха. Пусть: дядю тешит; ему тоже, дяде Семену Аникиевичу, лекарь веку прибавляет, лечит.

Странно, не как с прочими разговаривал с Ермаком Никита Григорьевич. Даже начавши с досады, вроде забывал и про досаду. Точно недоставало ему как раз такого разговора. Точно нашел в Ермаке то, чего не находил в других. Странно, непостижимо! Ведь ни черточки же, кажется, не было общей у него, властного, неутомимого, расчетливого пермского хозяина, с казачьим атаманом!

Все же Никита Григорьевич пожал плечами, будто стряхивая зыбкий этот разговор, и снова настойчиво повернул на главное:

— Чего нужно тебе — нет в голове старика. Нет и не было. В книгах такого не найти. Ни с него, ни с меня спросу не жди. Тут сам ты, помни. Делай с береженьем — дурак кидается очертя голову; но знай: своей головой, своей становой жилой ответишь. Верный час угадаешь — твоя взяла. Дед Аника жил так все годы свои. Нам не достать до него — пожиже вышли. Но и я не забываю дедовой заповеди. Пока жив, не забуду.

Назидание, упрек. Ермак ничего не ответил, наклонил голову. Не подумалось ли ему: есть правда в словах твердого, быстрого человека, который и сам умеет и другого учит схватывать жизнь, как тура за рога?

Вечером говорила красавица жена Максима:

— Реки увидишь не как наши: береги-яры крутые, вода ясная, где быть супротивному берегу — только туман пал... По морю плавал?

— Плавал.

— Плавал... А я — нет. Там каждая река — что море. Одну минуете — другая на пути, широка, величава. И за последней на горе стоит шатер, хан-царь Кучум сидит в шатре. Закрывает путь к иной горе, к белой; а за белой — желтая гора. Высока, верха не видать. Серебряна гора — белая. А желтая... Татаровья зовут: Алтын-гора.

Разузоренные от скуки россказни вроде тех, каких полон короб притащил на Волгу, к атаману Ермаку дорожный человек с Камы,— уж не она ли, Максимова жена, и собирала ему короб? Воображение, придумки... И все про богатство, серебро, золото!

Но по последнему слову Гаврила Ильин вскинулся:

— Алтын-гора?!

Женщина подтвердила спокойно, закат бил в стоячие озера ее глаз:

— Злата-гора. Лишь низом зверь рыскает, птица летает. Верхов ее, говорю, никому не коснуться... Ты счастливый?

Он никогда не думал об этом.

— Счастливый,— опять утвердительно кивнула она головой.— А я?

Что ни говорила, все будто примеряла на себя. И слова у ней были какие-то чужие, словно подслушала их где-то и прибрала себе.

— Чему завидуешь? — спросил Ильин.— А завидуешь — снимись отсюда. Поехала бы с нами?

— Еще бы!

— Ваши люди тоже пойдут. Вот — хозяйкой при них. Ведь на чем захочешь, на том и поставишь. Все в твоих руках.

Засмеялась:

— Баба?!

Конечно, он не говорил всерьез. Наверно, его подмывало вывести ее на чистую воду. Она взялась рукой за щеку.

— Не смею я. Ничего не смею. Сенные девчонки — каждый день все одни смешки, тары-бары про одно и то же: чего они видели, чего знают? Дуры! Лотошат — точно кашу не прожуют. Скоро и я так... забуду, как речь вести. А выйдешь — то ли человека встретишь, то ли росомаху. Максим смеется: явись Христос к росомахам, доныне бы царствовал, не распяли бы, лесной зверь — самый лучший человек. Так и живем — против неба на земле.

Они сидели на пригорке, среди урмана, подступавшего к городку. Она пришла, как всегда, внезапно, за ней — сенная девушка с кошелкой. На Руси бы дело неслыханное, а здесь, на Чусовой, еще нету, не выстроено, видно, для нее теремов.

Вначале шли розно, он поодаль, она болтала и смеялась с девушкой. Смело шла в глушь. Попадались по пути зола костров, обломанные ветки, будто кто-то ломился напролом. Крестьянские девушки и бабы, забредя с лукошком в этакую недобрую дебрь, не решались даже аукаться и уносили что есть мочи ноги.

Она не боялась...

— Ягод сбери,— приказала девушке, совсем молоденькой, явно было — преданной своей госпоже.

— Измараешься,— остерег Гаврила, когда она выбрала место сесть.

Не ответила, села. Спелая коса двойным венком лежала на ее голове. Ни серег, ни румян, ни белил. Гаврила видел, как ровно опускалась и поднималась ее пышная грудь. Красота лица ее казалась ему неправдоподобной. Высока была почти по-мужски; и это изобилие тела непонятной женщины также подавляло его.

— Против неба на земле,— еще раз протянула она.— И про наши места, про Камень, тоже ведь только от

тебя, от гулевой головы, и слышу. От своих, выходит, не от кого.

Точно и не говорила сама о реках-морях, о шатре Кучума, о златых верхах, до которых не досягнет птица!

— Дурье! — осудила она и тут же похвалила:— А про горушку-облак, про самоцвет с полымем и дымом — хорошо ты... А еще?

Так всегда бывало. Усевшись, велела: «Слушаю, начинай». Слушала внимательно, ей он рассказывал и такое, чего не умел рассказать товарищам. Когда заканчивал, ненасытно требовала: «А еще?» Но вдруг перебивала своим, неожиданным. Говорила складно, но всегда будто пробуя, примеряя — для чего-то впредь,— как оно получается. Сидела рядом, а уже словно неведомо где; и он с болью и обидой ощущал, что должен все время приманивать ее былью и сказкой и еще тешить чем-то ему непонятным, чтоб не ускользнула вовсе.

Вдруг вспомнила о Семене Аникиевиче (Гаврила и не думал спрашивать):

— Дядя что? К дяде зелен змей повадился. Гроб завтра, а ему в мыслях только одно: зелен змей. С утра пьян, а вечером и руки поднять не может — лоб перекрестить. Никите Григорьевичу прямо мерзит это. Знал бы ты, како-ой он — Никита Григорьевич! — опять протянула она задумчиво.— Один он и есть. Один на всю Пермь. Нету других таких... А Максим Яковлевичу я и дорогу бы рада заказать на ту, дядину половину.

И тут мысли ее снова перескочили:

— А он мне, Максим, всё утешения. «Савушка...» — говорит. Выдумал, будто я царица Савская, про которую у попов в Библии писано, что с Соломоном-царем она; так и зовет Савушка. А то еще кликнет: «Радуница»! Знаешь, это когда русалок, мертвых душ поминают. Выдумщик... «Савушка, говорит, не скучай, вот погодь, болярин князь-воевода приедет, как свою епархию... воеводство то есть, объехать решится, забава тебе будет. Али мы к нему в Чердынь». Али что... Жди да погодь. Утешенья... Обещает: «Да я тебя, жар-птица, и на Москву свезу». Как во сне это — попасть в Москву...

— А я тебе на что? — с нежданной злостью сказал Гаврила.— На что тебе? Любопытствуешь? Тоже забава?

Чуть дрогнули, как бы удивленно, ее извитые ресницы.

— Вот ты как... Тогда, в верхней горнице, и не приметила тебя. Приметила только, что уставился какой-то... Прямо как крапивой ожег, без стесненья, без вежества всякого... Ты то есть. А теперь... Гляди, гляди, Гаврюша. Сколь хочешь, гляди. Сама дивуюсь: отчего стало так между нами? И не слышу в себе ответа. Как услышу — беспременно тебе перескажу. Мало тебе? Все мало? А что псарям меня отдадут, если дознает кто, как мы с тобой сидим тут,— мало тебе?

— Что ты? Кто отдаст тебя? Красоту такую...

Она неприметно, мимолетно улыбнулась. И вдруг заспорила с тем, чего вовсе и не было в словах Гаврилы.

— Дикие вы, страшные, говоришь? А пущай дикие, пущай страшные. Не видала таких... как ваши, как ты... Ну и смотрю. Будет с тебя и такой причины! Да какой ты дикий? Прикажу: «Влезь на дерево, гнездо разори, птенцам головки скрути — хочу», — ведь влезешь? Вот... Да постой, ты и сам признавался,— по какой-то своей, ей одной ведомой ниточке разговора опять изворотливо вильнула она,— признавался ты: пред тобой я — нужна тебе; а нету меня — и не вспомнишь даже.

Поднялась, малое время ее вышло, крикнула девушку, оправила платье,— из-под подола мелькнула над низким сапожком, надетым по-простому, на босу ногу, молочно-белая икра с черными волосками на ней.

15

Легкой синью на небе возникли горы.

Воздух двигался и переливался вдали.

Вот уже в прозрачности погожего осеннего полудня видно, как зеленая пена взбегает по склонам и, словно разбившись о каменные гряды, отпрядывает обратно.

Казаки выступили. На тесном кругу шумел Кольцо и добился-таки своего. На стругах проплыли Чусовую и повернули в Сылву. Тут кончались строгановские владения и начинались «озерки лешие, леса дикие».

Плыли не спеша, с частыми привалами. У реки появились городки зырян и вогулов. С одного из привалов выслали отряд. Он воротился через малое время.

— Люди эти оружья не ведают,— сообщил ходивший с отрядом Бурнашка Баглай,— зелья слыхом не слыхи-

вали. Такой кроткой да утешной жизни, что им да веру христианскую — с ангелами б им говорить. Как овцы беззлобные,— сами все богатства свои нам предоставили.

— Большие ли богатства тебе достались?

— Мое, друг, от меня николи не уйдет. Но великого сокровища жажду — иное без надобности мне. Жизнь-то свою я чуть почал,— пропищал великан.

Был он полунаг, длинные громадные руки его торчали по локоть из рукавов рубища с чужого плеча.

Казаки гребли дальше, мимо городков, уже не высылая отрядов.

Суровая непогода поздней осени опустилась на ущелья.

И тогда понял Ермак, что «обмишенились», что по Сылве выхода в Сибирь нет. Под самым Камнем жили Строгановы, а не умели указать прямой, войсковой дороги за Камень!

Уже коченела земля: салом подернулась вода; белая муха зароилась в воздухе.

Где застигла беда, там и остановились. Насыпали вал, нарубили лесу, построили городок.

Вскоре голод подобрался к городку. Люди, посланные Ермаком, на лыжах прошли ущельем и — в мути, в колючей смежной замети — разглядели черную тайгу загорной страны.

Выпадали дни удачи.

В берлоге взяли медведицу. Убили сохатого, и двое отважились из жилы напиться горячей крови.

Все круче приходилось казакам. По утрам находили обмерзших на ночном дозоре. Мертвых выволакивали за тын, зарывали прямо в снег.

Мутным кольцом облегла метель, выла над ледяным ущельем Сылвы.

Не все возвращались с охоты.

Бережочек зыблется,
Да песочек сыплется.
Ледочек ломится,
Добры кони тонут,
Молодцы томятся,
Ино, боже, боже!
Сотворил ты, боже,
Да и небо, землю;
Сотвори же, боже,
Весновую службу!

Не давай ты, боже,
Зимовые службы!
Зимовая служба —
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно.
Ино дай же, боже,
Весновую службу!
Весновая служба —
Молодцам веселье,
Сердцу утеха.
И емлите, братцы,
Яровы весельца;
А садимся, братцы,
В ветляны стружочки;
Да грянемте, братцы,
В яровы весельца,
Ино вниз по Волге!
Сотворил нам боже
Весновую службу!

И не выдержали слабые духом, бежали по сылвенскому льду.

Тогда снова на страже лагеря Ермак поставил суровый донской закон.

Строго справлялась служба. Артели отвечали за казаков, сотники — за артели, есаулы — за сотников, казачий круг и атаман — за всех.

Недолго сочился мутный свет, и снова тьма. Дым и чад тлеющих головешек в избушках, в землянках, тошный смрад от истолченной коры, которую курили в огромных долбленых трубках, похожих на ложки; тяжкое дыхание тесно сбившихся людей. Опухшие, с кровоточащими деснами, молча, недвижимо лежали. Только охнет, застонет в забытьи да грузно повернется человек. Долгий, нескончаемо долгий вечер; ночь. Иногда, как бы очнувшись, кто-нибудь распластанный на шкурах подымется, пошатываясь, толкнется к выходу,— там сугробы выше человечьего роста, оттуда влетит, рассыплется белесый обжигающий столб.

Голос атамана:

— Уныли? Рассолодели? Не мы первые, не мы последние. Грамотеи! Хоть что, хоть сказку расскажи. Чего так сидеть? Послушаю.

Колыхнулась черная масса, стало различимо, что сложена она вдвое: сидящее туловище и перед ним ноги с поднятыми коленями, и колени и макушка одинаково чуть не упираются в потолок. Тонкий голос пропищал:

— А вот хоть я... Да сказки из головы давно вымел: сорока на хвосте принесет, в одно ухо вскочит, в другое выкину. Быль скажу.

— В книгах прочитал или люди передали?

— Было. Вот слушай.

БЫЛЬ КАЗАКА БУРНАШКИ БАГЛАЯ

Про свои дела не стану рассказывать. Не терплю похвальбы. Я и так всему войску ведом. Может, я не только что тут — в Сибири бывал. А расскажу вам не про себя, а про казака, который в здешних местах бродил и не хныкал, не то что вы.

Собрался тот вольный человек на охоту. Взял щепотку соли и наговорил на нее: «Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, в чистое поле. И пущай сбегаются ко мне белые звери, зайцы криволапые и черноухие, со все четыре стороны, со востоку и с западу, с лета и с севера».

В лесу встречу ему — медведь. Сытый был, не кинулся, захрапел и наутек. Долго гнал его казак. Слышит бег медвежий перед собой, треск ветвей, на ветвях видит клоки шерсти, а нагнать не может. Распалился.

Вдруг смолк топот, шатнулись дерева. Показался медведь — голова с пчелиный улей, встал на дыбы, пасть, как дупло, дымом курится.

У казака и сердце зашлось. Шепчет: «Ставлю идола идолова от востока до запада, от земли до неба и во веки веков, аминь».

Сгинул медведь, будто и не было. Глядит казак — место неведомое. Дубы трехвековые, черные, топь в гнилушках. И ничего у казака — ни ножа, ни ружьишка,— где девалось!

Сорвал можжевеловой ягоды — да кисла, бросил. Видит: уже смерклось, вышел в вышине пастух рогат на поле немерено — пасти овец несчитанных.

Звезда одна скатилась, пала на землю и, как свечка, горит. Нагнулся к ней казак. Да обернулся вовремя: видит — катит к нему в черной свитке по трясине, как посуху. Казак и ударь его наотмашь. Звякнул и рассыпался — куча злата жаром горит!

Мне что, я своего часа жду. Навороти передо мной чего хошь — и не колупну. А казачишка хоть храбрый был, да тороплив. Пал на ту кучу, в полы гребет.

Только захлопало вверху — птица села на ветку. И говорит ему птица человечьим голосом:

«Ты кинь все это золото и серебро кинь. А возьми, слышь, простой малый камень».

Подивился. Место черное. Не слыхивал, чтобы птицы говорили. Золото и серебро жаль кидать. Но поднял камешек. Что, мол, такое?

Так, кремешок. А глянул — глаза протирает. Будто солнце горит в камне, и зеленая трава по пояс, и листочки шелково шелестят. А в траве — пестрые шляпки грибные. И не шляпки грибные — крыши изб и теремов, окна резные, верхи позолочены. И народ травяной снует — с ноготок и того меньше. Бороды зеленые, ножки — стебельки, глаза — маковы росинки. Рос там желтый цвет — козлобородник, раскрылся — стукнул, как воротца распахнулись. Выглядывает будто княжна или царевна, сама желтая, волосы желтые, нагнулась, вниз чего-то кричит. А там возы едут, плотники топорами стучат, бревно к бревну подгоняют, дом ставят.

А из самого большого терема выбежали слуги, расставили на дворе столы и скамьи, покрыли скатертями. И народ повалил — откуда взялся! Из щелей, из-под корней, на челнах — по луже, как по озеру,— а челн — лист, жилами сшит. И все разодеты — прямо бояре или, сказать, стольники. А столы полны. Печенья, соленья, и птица, и рыба, и ковши с медами да брагами. И трубы трубят, выговаривают: ту-ру-ру!

Помутилось с голодухи у казака. Пошел он по улице. Красота, строганые доски настланы вдоль домов, девки поют по теремам. Только идет, а народ вовсе его не замечает. Он к одному, к другому — даже не поглядят, будто и нет его.

Приходит на площадь. Бьет там водомет двумя струями: направо струя — чисто золото, налево — каменья самоцветные. Бери кто хочет! Да никто и не подходит. Зачерпнет разве кто ребятишкам на забаву.

А кругом сидят портные и шорники. Из маков да лопухов кафтаны и порты кроят, нитки сучат, длинными иглами шьют, седла чинят. Утомятся или оголодают — выкинут из рта язык вполаршина, полижут угол дома, губы оближут — и опять за иглу.

Пришел к большому терему. У ворот — стража. Хохлы из перьев на голове, сами в белых рубашках, стоят

на одной ноге. И то ли копья держат, то ли не копья это, а просто клювы.

Пропускают — и эти не видят его.

Он — во двор да к столу. Пир горой, ковши вкруговую; песни орут, служки в платье цветном бегают, суетятся, еле гостям подносить поспевают. А уж запахи сладкие да сдобные — за версту у сытого слюни потекут.

Никого не стал спрашивать, хвать серебряное блюдо с вареной щукой. Ан перед ним на черепке лягушечья икра. Ого, братику! Лебединое крыло потянул в рот. Выплюнул: оса изжеванная. Хлебнул браги из ковша: гнилая вода болотная, черви красные извиваются и в руках его — мертвая собачья голова.

А кругом — едят, не нахвалятся, пьют до донышка. Гам, звон. Иные уж и в пляс под музыку. И пар, примечай, духовитый: караси там в сметане, зайчатина плавает в соку.

Тут уж разобрало. Как брякнет казак, как гаркнет, скатерть долой, блюда оземь. Вот переполошились! Сбились в кучу, пальцами тычут, будто впервой увидали. Девки сбежались, тоненькие, как тростинки, тоже уставились. И все галчат, как галки. Галдят то есть.

Тут он чует — опутало его будто нитками, тонкие, не видать даже, а не разорвешь. Поволокли в терем. Стража копьями стук, растворила двери. Темно, как в домовине. Дорога тесная, то вверх, то вкось, то вниз, как в кривом суку. Прошли еще через двери. По сторонам их — летучие светцы. И видны вдоль стен какие-то сидни с мерзкими морщинистыми харями.

А за третьими черными дверями — пенек, весь в сморчках и поганках, трухлявый. Выходит из пенька старенький старичок, лицо в кулачок, на бороде мох, на одной ноге берестяной лапоток.

«Ты кто, говорит, с какой земли по наши души?»

А казак отвечает: нашего, мол, царства человек, вольной-де жизни сыскать хочу, лиха на вас не мыслю, отпустите, Христа ради.

Древесный старичок весь затрясся, руки в боки, хохочет, лист на башке прыгает, и бояре хохочут, пуза под кафтанами ходуном ходят, и стража — в лежку.

«Тысячу лет,— говорит старичок,— я в Муравии державу держу. И богов твоих не ведаю и царства твоего не

знавал. Хо-хо, говорит, твой царь-государь... Да вон оно, понюхай, вольное царство. Худо же, говорит, ты искал его. Одно наше вольное царство и стоит на свете, никакого другого нет. А ты его и не приметил. И какая такая у вас скудность и теснота, ты потешь, расскажи нам. Места, что ль, на земле не стало?»

Тут он сморщился и как чихнет! Черная пыль из поганок полетела.

«Эй! — сипит.— Мертвым духом пахнет. Сведите-ка его в погреба да попытайте, откуда он такой взялся и какое такое его царство. Чтой-то не пойму».

Потащили казака в кротовину у корня дуба. Стали под ногти загонять колючки — подноготную выпытывать. Крепится, только шепчет: «Небо лубяно, и земля лубяна».

Да не вытерпел, крикнул и уронил камень.

Оглянулся — ночь, топь, и нет ничего. Пошарил — и клада нет.

Как и выбрался с того места! Пришел — одежонка в клочья. Только срам прикрыт. Отощал, одичал, как зверь лесной. А рука синяя, до плеча раздулась.

После три дня вином душу отмачивал да похвалялся, будто сам атаман подносил. И я с ним пил, да что с него спросишь! Мне б доведись до того старичка-сморчка, я б с ним не так поговорил!

16

Однажды красное без лучей выкатилось солнце в мглистом тумане. И странный красноватый отсвет лег на землю. Ермак поглядел на солнце. Резал мороз, туман был острым и сухим. Тусклый выпуклый шар висел высоко на небе. Широко шагая, Ермак вышел за тын, отломил ветку. Тягучая зелень открылась на волокнистом сломе.

Заметенный снегом, казался мертвым стан. Зычно, весело разнесся голос Ермака:

— Эй, заспались!..

А в эту самую пору распахнулось окошко на Чусовой. Максим Яковлевич Строганов выглянул, рукой придерживая кудрявые волосы, которые зашевелил ветер. Там

не было тумана, искрился снег, но какая-то желтизна проступила в его сахарном блеске. Народ толпился у реки, доносились говор, звонкие окрики. И вдруг полнозвучно и протяжно ударил колокол, подхватили вперебой малые колокола, красный звон полился по всему сияющему миру.

Был воскресный день.

Максим Яковлевич глубоко вдохнул резкий, пахучий, радостный воздух, схватил шапку с собольей опушкой, накинул шубу. У паперти он раскрыл кошель, горстью черпнул денег.

— Лови, православные... ух!

Нищие затянули стихиру.

— Пляши! — крикнул Максим.

Лихо, боком, играя бровями, раскинув шелковые кудри из-под заломленной шапки, подошел он к девке, залюбовавшейся на него, веселого, синеглазого, выхватил ее, закружил на умятом, отпотевшем снегу, сам запевая высоким чистым голосом:

Овсень! Таусень!
Все ворота красны,
Вереи все пестры,—
Ты взойди-погляди
К Харитону во двор!..

Ермак не торопился обратно. Место страшной зимовки, место, где многих закопали в землю, а все ж выдюжили,— то было первое не строгановское, его место.

Да и вовсе ли зря миновалось грозное испытание?

Нечто переломилось в казачьем стане под сылвенскими снегами, долой отпало одно, занялось, укрепилось иное. Теперь, по весне, это было войско. Не в мечте атамана, не в одних страстных словах его — впрямь войско.

Ермак медлил на этом своем казачьей кровью купленном месте, устраивал свой первый, самый дальний русский городок на неведомой земле. И чтобы крепко стоял он, Ермак построил в нем часовенку и освятил ее 9 мая, на Николу Вешнего, прежде чем вернуться на Чусовую.

И доныне есть там — на левом берегу Сылвы, в устье реки Шатлыки — деревенька, и зовется она: Хутора Ермаковы.

17

Три месяца пробыли еще казаки у Строгановых.

Неспокойны были эти три месяца.

Камская земля сотрясалась.

Скатившись с Каменных гор, тучей налетели вогулы. Вел их Бегбелий Агтаков. По селам и починкам побежал красный петух.

Агтаков подступил под Сылвенский острожек и под самые Чусовские городки. Тут переняли его казаки. Бегбелий не принял боя и побежал.

Он был Кучумов мурза. От людей его, захваченных казаками, больше узнал Ермак о вогульских становищах, о земле Сибири и о племенах — данниках Кучума.

Новый срок отплытия указал Ермак своему войску — на месяц раньше прошлогоднего, но все же к осени, когда соберут и обмолотят урожай в тех местах, где должно пройти казачье войско. Таков был расчет Ермака. Это тоже урок зимовки на Сылве. И не только в этом урок.

Толпа казаков двинулась к амбарам у причалов. Яростные крики долетели оттуда. Грохнула тяжелая дубовая дверь, обитая железными полосами.

Максим Яковлевич прибежал на шум.

— Что тут у вас? — спросил он.

«Не уберутся никак, черт не возьмет. Добро, Никитушка! Умней всех!» — злобно подумал он.

— Грабят! — взвизгнул приказчик.— Максим Яковлич, жизнь порешить хотят...

Он стоял, раскинув руки, будто распятый, защищая дверь.

— На кой ляд нам твоя жизнь, тля,— проговорил высокий казак с черным клоком.— Плывем, слышь, купец, в Сибирь плывем! Припасу отвали!

Максим покривился.

— Какого припасу? И с тобой ли толковать про то?

— А со мной! Со мной потолкуешь! Отворяй! — рявкнул высокий.

Максим оглядел его, не двигаясь. Крупное гладкое смуглое лицо, большие блестящие глаза навыкате, черные, почти без белков, с длинными ресницами, густые широкие брови. «Бабы любят»,— определил Максим.

Твердо сказал:

— Твой атаман дорогу ко строгановскому крыльцу знает. А ты пьян, эй, уймись по-хорошему!

Но высокий возразил:

— Я — Кольцо, атаман.

— Главный где твой?

— Я тебе главный, слышь!

«Что тот, что этот»,— мелькнуло у Максима. Насмешливо, голосом брата Никиты, он сказал:

— Чего ж тебе надо, главный?

И тогда Кольцо перечислил то, что велел ему вытребовать Ермак (сам не пошел, переложил на Кольца): три пушки, пищали, тяжелые и малые, заплечные, на каждого казака по три фунта пороха, по три фунта свинца, по три пуда ржаной муки, по два пуда крупы и овсяного толокна, по пуду сухарей и соли, по половине свиной туши, по безмену [1] масла на двоих...

— Не давай, хозяин! Не соглашайся, батюшка! — запричитал приказчик.

Максим снял с головы шапку и с поклоном подал казаку:

— А то и рубашонку с себя скинуть? Ты говори, чего там!

Приказчик голосил:

— Уговор был... Максим Яковлич, пороху даем два бочонка, ржицы пять четвертей... Креста нет, бесстыжий!.. Хорюгвы даем...

— Сверх уговору,— веско подтвердил Максим.— Слышишь?

— Хорюгвы? — крикнул Кольцо.— Хорюгвы? А тебе — Сибирское царство?

— Пол-именья хочешь? — сорвался Максим.— С собой прихватить? Чтоб стало, значит, на всю житуху, как сиганешь с Камня обрат к нам... опять сиганешь, как с Сылвы? Рот набивать хозяйской кашей? С царем Кучумом за пазухой? Да недолго! Недолго кашу дарма жрать таким плавателям! Чердынь не за горами. Укорот готов на тебя. Я говорю: долой с земли моей, откудова взялся — слышишь? — целы покуда!

Что он говорил, что он говорил, что он говорил — руша всю строгановскую игру, не помня про казачью выручку от Бегбелия, стоя вдвоем со своим приказчиком посреди озверелой толпы? Но злоба ослепляла его, злоба

---

[1] Примерно один килограмм.

не против даже этого любезного бабам главаря со всей его оравой — злоба против Никиты, двоюродного братца Никиты, затеявшего всю эту бестолочь и дичь, Никиты, увильнувшего, как всегда, в свою барсучью нору — Кергедан, после того как и с Савушкой... нет, про это он не хотел, не мог, запрещал себе думать.

— С земли твоей? Сдалась нам земля твоя, кишки ею набей! — Кольцо ткнул подкованным сапогом дубовую дверь.— Лясы точить? — заревел он.— Отворяй!!

Максим вдруг спросил:

— А того, другого... ростом ниже тебя... плосколицего, будто в машкере... прежнего главного ты уходил, что ли?

Лязгнула сабля, выхваченная из ножен Кольцом. Он подскочил к Максиму с бешеным ругательством.

— Башку прочь! Падаль твою по клоку расстреляем!

Ненавидящие глаза, гогот. Максим почувствовал ярость толпы, как пальцы на своем горле.

Приказчик с побелевшим лицом отпирал замок; руки не слушались его; замок сбили обухом.

Когда Максим, повернувшись, пошел домой, он ощутил, что держит что-то в руке: серебряная подковка, на счастье. Согнутая, исковерканная. Максим отбросил ее прочь.

Он не задумывался, как он остался жив. А остался он жив потому, что уходила с камской земли уже не волжская вольница. И настрого приказал Ермак: припас достать, но накануне похода не посягать ни на кого из Строгановых, поставленных на пермскую украйну самим царем.

18

День и ночь строгановские люди меряли, насыпали в мешки, отвешивали на контарях — весах с одной чашкой — хлеб, крупу, толокно, порох. День и ночь грузили казаки струги.

Когда затухали огни варниц, собирались глядеть на необычайные сборы люди в язвах, выжженных солью, и подземные люди — кроты из рудных шахт. Во тьме они выползали наружу, ковыляя, харкая черной мокротой, и все еще поеживались от могильного озноба. Кроясь во мраке, сходились у своих землянок лесовики. Хмуро

смотрели на движущуюся цепь теней, протянутую от тусклых светцов в распахнутых амбарах до белесой дороги реки.

У амбаров и на пристани кипела веселая работа — с посвистом, с окриком, с ладным стуком молотков и крепкой руганью. Неслыханная в этих местах работа. Неведомые затеяли ее пришельцы, путь-дорогу выбрали себе не указанную. И сами Строгановы поклонились им.

19

Настало небывалое в строгановских вотчинах. Белый волк пробежал по улице слободы при всем народе, ратные люди палили в него, да пули не взяли, так и ушел в леса. Баба родила младенца — весь черный, с лягушечьими лапками.

И пополз слух: «Будет за все управа; великие предстоят перемены».

— Кровью крестьянской жив хозяин! Возьмешь у него лычко, отдай ремешок.

— Роем землю до глины, а едим мякину.

В лесах и горах вогульских скрывался Афонька Шешуков, а с ним — вольная ватага русских людей, и зырян, и вогулов. А у Афоньки сильная грамота неведомо чья — все переменить, кончить купцов-людоедов.

— Приспеет время. Придет Афонька. Все сделает Афонька по грамоте. Варницы окаянные поломает. Не соль — мясо крестьянское в них варят. Камни, серебряну руду — кто добыл, тот, не таясь, и бери себе. Недолго царевать Строгановым. Гарцевал пан, да с коня спал.

— Чего казакам одним уходить? Они путь кажут. Айда с Ермаком! В казаки!

— Воля, рябята!

— Воля...

20

Вышел человек из дебри. Смело пробрался к самой Чусовой. Люди в починках и деревнях пекли и варили, чтобы было чем встретить гостя, если завернет в их жилье. Бедняки велели своим хозяйкам вытаскивать последние припасы. Но он отыскал сперва неказистый шатер в казацком стане.

— Тебя хочу видеть,— сказал человек, одетый в звериную шкуру.— Твоя дорога поперек нашей. Отойди в сторону, не мешай народу.

— Мне идти поверх гор,— ответил Ермак,— тебе — под горой. Жди, пока разминемся.

— Горе не ждет. Кричит горе!

— Чего хочешь?

— Казачки твои чтоб слыхом не слыхали, видом не видели ничего, когда свершится суд мужицкий.

— Я тут еще стою. Поберегись!

— Ай раздавишь?

Помолчали.

— Не счесть, сколько годов кроюсь в дебри,— опять заговорил покрытый шкурой.— Малым жив бывает человек. Воздух сладкий, ручей студеный, щекот птичий, дерева зеленые — все ему дается. А жаден он, ногу норовит на хребет другому упереть и кричит: «Мое!»

— А ты крепче стой за свое!

— Не глумись! За свое и пришел постоять. Мало злодеев, а всё землю топчут. Ради них ли подымешь саблю?

— Не строгановской правды ищу, а правды войска моего.

— Одна на свете правда. Хрестьянская. Со злодеями сразись, с теми, кто хребет мужичий ломит, о живых душах кричит: «Мое!»

— Сражаться велишь? А сам-то ты знаешь, власть такая кем тебе дадена? Песню свою на какой глас поешь? Кто ты, ну?

Гость огляделся. В шатре люди. Поднял глаза на атамана. Так же молча кивнул атаман: «Говори, свои все, раз пришел».

— Шешуков я,— просто сказал гость.— Афанасием крестили, Афонькой кличут...

— Шешуков... Вот ты и скажи: силу ли за собой какую чувствуешь аль так... кукарекаешь, Шешуков?

— Правда за мной, святая, всем просторная, правда живота, не смертного тлена.

Большой чубатый человек, сидевший откинувшись, засмеялся:

— Много ль полков помогла она тебе побить?

Михайлов поддержал Ивана Кольца:

— Это когда господь по водам ходил, правда сама города отворяла. Теперя... Не так ищешь ее! Свято место пусто не бывает. Одних царство окончится, других цар-

ство поставится. Ты сгони боярина, так сам боярином стань. Ну, пожжете строгановское строение, а дале? Короток разум...

Чубатый — Кольцо — все усмехался.

— «Воздух сладкий, ручей студеный, щекот птичий». Самое для монашков... А ты приглядись, браток,— какие из нас монахи? Да и то взять: сколько вас? Три брата Кондрата?

— Сколько? — ответил гость.— А не сочтешь, сколько. Земля мы. Власть кем дадена, пытаешь? — Он обращался к Ермаку, на тех двоих не смотрел.— Грамота у нас есть. Батюшкой Филимоном Ивановичем, надежей хрестьянской, власть той грамотой против сыроядцев дадена.

— Филимоном? — переспросил Ермак.

— Щипцами палача мечено лицо его. Боярским кнутом — тело. Дыбой кости изломаны. И то не его мука, то мука тысячи тысячей. Потому отмстителем поднялся он — за хрестьянство всея Руси. По грамоте мы, стало быть. По закону.

— Москвой тряхнуть! — проговорил Ермак.— На краю света, в лесу, как зверь... а каким мечтанием прельщаешься! Я силу копил — не кинул ее прельщенью этому. Мужик бессильный — царством тряхнуть!

— Нет,— покачал головой Шешуков.— Царство не тронем. Дошла правда до царя. Указал государь — по правде той исделать. Скрыт указ. Изменой скрыт. Извели царицу — аль не слышал? И самого волшбой и злодейством хотят жизни порешить. Из престольного града свово убег государь царь Иван Васильевич. Нету его на Москве...

— Куды же убег? — поинтересовался Кольцо.

— В Слободе от злодеев схоронился. Опалился, расказнил изменников. И ныне казнит смертью, да голов несчетно у них. Тогда велел государь хрестьянам своим стать за него одностойно, миром, значит, в топоры взять супостатов, огнем пожечь гнездовья их, хоромы бесовские. Не с одного своего разума пришел я к тебе, сижу, беседы беседую. Батюшка Филимон Иванович к тебе прислал, ведомо ему стало про тебя. Супротивником народу, спрашивает, хочешь ли быть?

— Филимон! — повторил Ермак.— А какую тесноту жизни своей избыл я, ведомо тебе? — гостя ли он спрашивал или, минуя его, смерда Филимона прозванием Рваная Ноздря? — Какого лиха хлебнул? Сколько батогов

спину мою полосовали, считал ты? Рубцы от лямки щупал? Язвы соляные видел? С полночи на полдень вот эти ноги протопали. С заката до восхода. Державу всю исходили, рубежи ее измерили. Раны от ворогов ее до смертного часа на теле моем гореть не перестанут. Светлый Дон я оставил — темен он мне показался. Приволья матери широкой Волги не пожалел. Узок твой кафтан: боюсь, на плечи накину — по швам поползет.

— Народ,— ответил лесной человек,— как травяное поле. Выкоси его — отрастет. Выжги — зазеленеет. Нету истребленья народу. Мир, он свое подымет. А в обход его пути нет, ты помни!

— Сильный смерти не трепещет, на указы, под землю зарытые, надежи не кладет, не грамоты, а жизни сам себе ищет. Крут мой путь. Горсть веду на орду целую. Приставай к нам, коли смел.

— Так, атаман,— покончил Афанасий Шешуков, вставая.— Твой путь — для горсти, а мой вселенский, да еще круче. Не белые воды, не соболиная казна — плахи, знаю, на нем. Да прямо на них идти людское горе велит!

21

Груженные доверху казачьи судна не выдержали, стали тонуть. Ермак велел прибить с бортов широкие доски. Но и доски не помогли, и тогда выгрузили и оставили часть припасов, не трогая военного снаряда.

И вот готово к походу казачье войско.

Под Ермаком атаманы: Кольцо, Михайлов, Гроза, Мещеряк и Пан. Под атаманами есаулы, выбранные из простых казаков — из тех, что знали грамоте. Войско поверстано по сотням, в каждой — сотник, пятидесятники, десятники и знаменщик со знаменем.

Были еще трубачи, зурначи, литаврщики и барабанщики.

Оружие войска: легкие пушечки, доспехи, сабли, копья, бердыши, тяжелые двухаршинные и семипядные пищали. Ружей все же не хватило на всех, иных вооружили луками.

Приехал на малое время Никита. Он показал вид, будто ничего не случилось. Деловито осведомился, всем ли довольны казаки. Сам осмотрел пушки и несколько доспехов, прищурясь, пересыпал из горсти в горсть муку.

Потом сказал торжественно:

— Ну, вижу, удоволили вас. Чаю, не забудете того, когда общую нашу добычу дуванить станете. За прежние же вины словцо замолвим; строгановское слово не мимо перед царским слухом молвится.

Он кивнул писарям. У тех уже приготовлены кабалы на казаков за все добром и не добром взятое. Что ни случалось, все умели Строгановы обернуть выгодой для себя, на этом и возвысился строгановский дом.

Максим выступил вперед.

— Про вас говорят: ни в сон, ни в чох... А вы бы, разудалые, идучи на подвиг ратный, христианский, перед богом обеты положили... По обычаю, атаманы.

Он чуть приметно покривил губы. Божба разудалых показалась ему забавной.

Строгановские люди держали принесенные хоругви — дар вотчинников идущим на подвиг. Святители, угодники яркого, нового, пестрого, хрупкого письма — не похожие на смурых казачьих.

К этим хоругвям оборотился Ермак.

— Мелентий! — позвал он.— А освяти ты, Мелентий, хоругви вот эти, дар нам... Строгановским, слышал, поклялся я. Так ты их теперь по-нашему, по-казачьи, перекрести!

Толпа, поняв, грохнула. Но он возвысил голос:

— Освяти их на жесточь, на бездомовность нашу. Пусть ведают одну крышу над головой: небеса. Освяти их на вихри и бури: чтоб от дождей не вымокли, чтоб вьюга не занесла. На стрелы каленые, на пищальный гром, на дым пороховой освяти. И чтоб всегда билось казачье сердце в груди того, кто понесет их,— так освяти!

Толпа казаков слушала в молчании. Все как один поскидали шапки. Вышел Мелентий Нырков, дед Долга Дорога. Антипкин дед нес за ним деревянную бадью с водой — кропить.

Потом грянули литавры, забил барабан. Кинулись по стругам.

Отплывало счетом шестьсот пятьдесят четыре человека; много охочих строгановских людей пристали к войску.

Атаман Ермак поднес ко рту рог. На головном струге весла рванули воду.

Было 1 сентября 1581 года.

Всего прожили казаки у Строгановых два года и два месяца с днями.

22

Никита Григорьевич тотчас опять уехал в Кергедан. И вовремя.

Едва длинная цепь стругов скрылась за поворотом реки и пропала из глаз камских людей — еще в крутых берегах отдавалась, затихая, стоголосая песня,— а уже полетела весть по камской земле:

— Казаки ушли!..

Как на крыльях неслась от села к селу, от починка к починку.

И тогда пелымский князь Кихек, стоявший наготове, спустился с гор с вогулами, татарами, остяками, вотяками и пермяками.

А в строгановских вотчинах поднялся черный люд.

Забили в набат на звонницах в погостах. Вешали приказчиков и дома их сжигали, чтоб и семени не осталось строгановских холуев. Как на праздник, в белых рубахах и в кумаче двинулись к острогам с косами, серпами, молотками и рогатинами, разбили колодки колодникам, выволокли на волю людей из смрадных земляных ям. Потом пошли расшибать варницы. И золоченые чешуйчатые кровли, причудливые, на Руси невиданные церкви, то о многих углах, то похожие на диковинные корабли, смотрели озаренные багровым светом, как бушует народный гнев.

В окна строгановского дома на Чусовой были видны зарева и пламя пожаров. Максим Яковлевич не ложился спать. Раздраженно по кругу он обходил горницу. И в каждое окно светило зарево.

В комнате дяди перед темными ликами в серебряных окладах горели толстые свечи. На сбитой постели валялась шуба.

— Где челядь? — брюзгливо спросил Семен Аникиевич.

Он поднялся, сел у окна, зябко кутаясь.

— Челядь! Вылезут из щелей, как увидят, чья возьмет. Ничего! Братнина подмога спешит из Орла-городка, скачет, торопится нас от лютой смерти избавить...

Максим насмешливо сжал губы, но левое веко его дернулось.

Окна закрыты наглухо, все же сквозь них донесся вопль толпы и затем тяжкие удары. Может быть, то били стволом дерева в тын Чусовского городка.

Вбежала жена, кинулась к Максиму.

— Страшно мне, жутко, Максимушка, одной сидеть... Золотой, соколик, увези меня... Боюсь я. Изверги там.

Ее полные, сухие, приоткрытые губы вздрагивали.

— От казаков это... зараза ихняя. Верь мне, я говорю, я знаю! Прежде ничего такого не бывало. Зачем зазвали их к нам?

— А не ты ль всем сама в уши это нашептывала? — со злым, странным торжеством отозвался Максим.— Песню эту тянула, вместе с Никитушкой в одну дудочку... с деверьком?

Она прижалась к мужу большой тяжелой грудью и плечами, уже громоздко толстеющими.

— А на волю их выпустили для чего, в Сибирь? В железы надо было. Из Чердыни призвать, Максимушка, я знаю. Чтоб ужаснулись воры. Что ж теперь, Максимушка?

— Пиши! — крикнул Семен Аникиевич и стукнул по подлокотнику кресла.— Пиши об окаянстве Никитином! Пиши, что он весь род Строгановых извести задумал. Челобитную государю пиши на собаку!

В башнях по углам сидели строгановские пищальники. Их было мало; жидко звучали выстрелы.

Сумрачный, суровый сновал в городе народ. Слушал удары в городской тын и только ждуще хмурил брови с мрачной усмешкой.

Вдруг истошный крик донесся из-за тына. Страшный, тоскливый, смертный вопль. Бабьи, ребячьи голоса слились в нем.

Тихо, совсем тихо стало в городе. Недоуменно, настороженно вслушивались люди, еще не понимая.

Плещущее пламя взвилось в черное небо. Зловеще светло стало на городской площади. Сквозь крики, сквозь вой и грохот у стен явственно послышалось смоляное шипение и потрескивание гигантского костра. Горела подгородная слобода, черные избы работников шахт и варниц.

— Братцы! Что же это?!

— Девок бьют! Баб! Братцы! Ребят жгут огнем!

— Женка моя... там осталась! С тремя малышками... Люди добрые, а-а!

И грянул громкий голос:

— Что делаем? Русские мы? В оружейну избу!

Тотчас отозвались:

— Оружье бери!

— К стрелецкому голове!

— Вар варить!

— Стучат. Ворота высаживают.

— Не высадят!

Кто-то крикнул:

— К Максиму Яковлевичу! Пусть дает пики, топоры.

Колыхнулась, метнулась толпа. Иные бежали к башням на подмогу стрельцам. Ядро же толпы быстро двинулось к хозяйским хоромам. Во главе, хромая и подергивая спиной, шел высокий человек. То был кузнец Артюшка Пороша, битый кнутом, потом брошенный в подземную тюрьму и пытанный Никитой Григорьевичем за подметные листы Афоньки Шешукова.

На крыльце кузнец скинул шапку.

23

Кихек подступил к Чердыни, очень удивив воеводу Елецкого, который никак не представлял себе, что ему придется воевать и что его позеленевшие пушки могут сгодиться на что-нибудь, кроме как на то, чтобы безвредно стоять на ветхих станках.

Воевода затворился в городе. А Кихек, нагнав страху на князя и постояв малое время, опустошил всю местность окрест и двинулся на юг. Он взял, разграбил и сжег Соликамск. Подступил к Кергедану, и зловещее зарево так же багрово озарило горницы Никиты Строганова, как и хоромы Максима и Семена Аникиевича в Чусовском городке.

Кихек не взял Кергедана. Далеко в горах устоял Сылвенский казачий городок. Но на четыреста верст край был разорен.

И весь народ поднялся против вражеского нашествия.

Большая беда заслонила все остальные беды. Строгановские кабальные теми же косами и топорами, которыми убивали приказчиков, теперь косили и рубили отряды

Кихека, подстерегая их в лесах, на скрытых тропах. Вместе со стрельцами грудью отражали нападения на городки.

И, захватив что мог, Кихек ушел. Он торопливо скрылся в ту сторону, куда уплыли казаки.

На свое счастье, он не догнал Ермака.

Когда в декабре 1581 года в Пермь приехали царские гонцы с грозными грамотами Елецкому и Строгановым, они увидели пустынную страну, обугленные срубы вымерших деревень, груды развалин, где ютились голодные, одичалые, кое-как прикрытые шкурами и рубищем люди.

Триста лет жила память о нашествии Кихека.

ПУТЬ ПТИЦЫ

1

Хан Кучум сидел двадцать пять лет на Сибирском юрте.

Три с половиной века стояло Сибирское царство.

В древние времена по великим рекам, на равнинах и по окраинам тайги жили племена земледельцев и охотников. Вблизи озера Зайсан бродило племя усунь. Дулгасцы рылись в горах Алтая, плавили руду в глиняных горшках, а драгоценный металл возили в Скифию. И греческие колонисты с берегов Понта Евксинского рассказывали Геродоту о муравьином народе — аримаспах, похищавших золото у грифов. Грифы стерегли его в далеких горах, где лютая стужа на восемь месяцев в году обращает почву в камень.

От Енисея до Оби с Иртышом жили, постепенно сливаясь друг с другом, народы диньлинь и хакасы. Они были рыжеволосы и голубоглазы, знали искусства и ремесла, разводили скот, а в степях и на таежных палах сеяли хлеб. И ученые хакасские купцы писали по-уйгурски купцам Китая; письма отвозили богатые караваны, уходившие на Восток по издревле проторенным путям.

Новые народы явились на Иртыше: жуань-жуани и гун-ну. Вскоре гунны потрясли мир, и затем земля забыла о них. А жуань-жуаньский хан в шестом веке стал властителем Алтая.

Прошло еще шестьсот лет. Многочисленные городки стояли по Иртышу и на Алтае; два богатых города выросло и в киргизских степях. Чингисхан, проносясь со своими ордами через Азию, услышал про страну Шибир. О горе Сюбвыр пели на Оби и Енисее.

А в зауральских лесах сложили такую легенду об основании сибирского татарского царства.

Был народ сыбыр, некогда многочисленный, но мирный,— доныне остались от него курганы и городища. Когда ворвались татары в его землю, люди сыбыр вырыли ямы, вошли в них, подпилили столбы, державшие земляные крыши, и заживо похоронили себя.

Нет больше ни людей сыбыр, ни татарского царства, но имя древнего народа, любившего свободу больше жизни, живет в названии бескрайней сибирской земли.

Впрочем, летописцы сообщают об этом же событии несколько иначе. Чингис вскоре после разорения Бухары убил татарского князька Мамыка, а Мамыкина сына послал в дальний улус *тайбугой* — собирать ясак с покоренных племен — вогулов и остяков (то есть манси, хантов и других). На крутом Красном яру, при впадении Ишима в Иртыш, тайбуга поставил городок Кизыл-туру и окружил его тремя валами.

И от тайбугина рода пошли сибирские ханы. Народ узкоглазый, ловкий в обращении с конями, тугими луками, кривыми ножами и седельным арканом, на котором можно волочить пленника и раба, сохранил облик и обычаи татар-ногаев. Сибирские татары пили кобылье молоко, реки переплывали охотнее на коне, чем в лодке. На рослых, светлоглазых казанских татар сибирские татары мало походили: те рано сели на землю, отяжелели, посмирнели, сея ячмень, торгуя козьими и конскими шкурами у великой реки Волги.

Тайбугин род правил среди смут и раздоров.

Из ногайских степей пришел Ибак и убил ишимского хана Мара. Но молодой Махмет, внук Мара, отомстил за деда: он убил Ибака и, восстановив власть тайбугина рода, построил на Иртыше новую столицу — Кашлык, ту самую, которую русские летописцы звали городом Сибирью. Но города Тюмени, или, как раньше он звался, Чимги, на реке Туре, Махмет не покорил, и там основалось отдельное Тюменское ханство.

Произошло это в самом конце пятнадцатого века.

Русские летописцы повествуют еще, что при последних ханах и князьях тайбугина рода в Сибирском царстве стало замечаться много причудливых и тревожных знамений. Над местом, где русские построили потом Тобольск, вдруг появился в воздухе город с церквами и раздался даже колокольный звон. Однажды летом вода в Иртыше и вся земля по берегам сделались красными, как кровь, а потом почернели. А один мурза, что жил в городишке Бицик-туре, недалеко от Кашлыка, ясно видел, как из утеса Алтын-Аргинак вылетели золотые и серебряные искры и с неба спустились огненные столбы.

Тогда, передают летописцы, братья-князья Едигер и Бекбулат обратились к Грозному с просьбой принять Сибирское царство под свою высокую руку.

Впрочем, к этому времени пала Казань, вся западная равнина вплоть до Урала, и югорские зауральские места на севере стали уже русскими, а в ногайских степях поднимался на тайбугин род «шибанский царевич»,— так что у обоих братьев и помимо вмешательства небес в судьбы татарского царства нашлось достаточно поводов для обращения к московскому царю.

Из Москвы приехали счетчики. Они насчитали тридцать тысяч семьсот податных людей в Сибирском царстве. Едигер, старший брат, обещал платить царю Ивану дань соболями и белками: соболей тысячу в год и еще даружскую пошлину в пользу сборщика дани — даруги.

Всего Едигер с братом успели доставить в Москву в 1556—1557 годах семьсот соболей, потом тысячу соболей да сто соболей даружской пошлины и еще шестьдесят девять соболей вместо белок. Но больше им ничего не пришлось платить.

«Шибанский царевич» отнял у них царство и, как водилось, убил обоих братьев. Но корень тайбугина рода ему все же не удалось вырвать: беременная жена Бекбулата бежала в Бухару и, укрывшись там в доме одного сеита, разрешилась от бремени сыном, названным Сеид-Ахматом, или, проще, Сейдяком.

«Шибанский царевич» был хан Кучум, внук Ибака; внук снова отомстил за деда. «Шибанским» же царевичем Кучума называли потому, что он следом за своим отцом Муртазой (который был недолгое время ханом в

Астрахани, а может быть, всего только у какого-то из мелких кочевых племен) считал род свой славным, древним и происходящим от Шейбани, Батыева брата и сына Чингисханова первенца Джучи.

2

Кучум был лихим наездником и воином.

Он покорил Тюменское ханство. Ему подчинились все татарские волости и племена от Исети и Тобола до верховьев реки Оми и озера Чаны. И царство Кучума приняло форму груши, верхушка которой упиралась в тайгу на Иртыше, верстах в полутораста ниже устья Тобола, а широкая часть лежала на юге среди ногайских кочевий, в Барабинской степи.

Кучум перебил послов Грозного и перестал платить дань.

Вокруг царства-груши хоронились в лесах и тундрах княжества остяцкие и вогульские — данники Кучума.

Даже с самых низовьев Оби, с берегов Ледовитого океана, слали ему ясак. И власть сибирского хана переваливала временами через Уральский хребет, достигая Камы.

Никогда еще Сибирское царство не ширилось так, как при хане Кучуме.

Кучум открыто казнил и велел тайно придушить непокорных и строптивых князьков и беков, а преданных ему одарил, по примеру великих ханов, улусами и землями.

Двадцать пять лет правил Кучум, и была ему удача.

Но хан одряхлел, темная вода застлала ему глаза. Ханское тело, изнеженное подушками, отвыкало от седла и вольного ветра. Одетый в пестрый халат, хан сиживал теперь целыми днями среди ковров и курений.

И подобно тому, как толпа слуг окружала хана, так и толпа городков окружала ханский город Кашлык, чтобы не подкрался к нему никакой враг. Один городок отдан мурзе Атику, другой — караче, ханскому думчему; недалеко от устья Вагая стоял городок князя Бегиша. Ясаул Алышай берег узкое место на Тоболе. Возле Ишима собирал дань со своих владений мурза Чангул. Каждому дан кусок разодранного на клочья государства — лишь бы все вместе уберегли одного...

Гарем Кучума стал еще многочисленнее, чем прежде. В нем были уж отбывшие свой женский срок старшие жены с черными от табака зубами, сытые розовые женщины средних лет и совсем девочки, отобранные из рабынь. Их увешивали монетами и серебряными побрякушками, закармливали приторными клейкими сластями, и скоро, в душной праздности, эти полурабыни-полужены начинали оплывать желтоватым нездоровым жиром.

Тогда их заменяли новыми.

Кучум верил (и табибы — врачи — поддерживали в нем эту уверенность), что юное дыхание должно молодить старческую кровь.

Женщины плясали для него — он привычно глядел, взор его почти не различал их — и пели, перебирая струны, непонятные песни своей родины, которые они еще не успели забыть.

Полюбившимся ему женам он также дарил городки — из свиты городков-крепостей, толпившихся вокруг Кашлыка, на горе, которая называлась по-арабски Алафейской, то есть «Коронной».

Иногда хан садился в колымагу с пологом над ложем из ковров и подушек и ехал к какой-нибудь из жен в дареный городок — в Сузгун-туру, в Бицик-туру или в излюбленный свой Абалак.

Выходя от жен, он совершал омовение и слал скороходов к мурзам с повелением еще ревностнее нести в становища неверных Магометов Коран — опору ханов, копье и щит державы.

Из Бухары в Сибирь явился шейх. Ему было открыто, что кости семи мучеников за веру покоятся в сибирской земле. Следом за шейхом явились многочисленные служители пророка — бухарские ахуны, муллы и абызы — и вместе с ними брат Кучума — Ахмет-Гирей.

Многие татары разбили болванов, приняли обрезание и закон Магометов. Но другие, жившие у кочевий Епанчи на реке Туре, в Лебауцких юртах по Иртышу, при устье Тары и в Барабе, говорили:

— Богов, сделанных нашими отцами, можно попросить отвести гром. И если боги будут глухи, им не надо давать пищи и жертвенной крови, пока голод и жажда не отворят их ушей. А пророк Магомет умер давно, и никто не знает верного о боге аллахе. Зачем нам новая вера?

И тогда имамы, улемы, ахуны, абызы и муллы укрепили руку хана Кучума и брата его Ахмет-Гирея, и кровь упорствующих досыта напоила кости семи мучеников, что покоились у берегов Иртыша, как то увидел сквозь землю святой шейх.

3

Однажды Кучуму донесли, что на песчаном острове в устье Тобола в полдень явились два зверя: один, пришедший с Иртыша,— большой белый волк, другой, пришедший с Тобола,— черная приземистая собака. И звери начали бороться, маленький одолел большого, а затем оба исчезли в воде.

Хан Кучум призвал толкователей Корана и улемов, которые знали тайны и объясняли сны. Он спросил, что значат два зверя. И спрошенные ответили, что большой зверь означает хана, а малый — врага: он придет, свергнет хана и завоюет Сибирь.

Хан велел разорвать мудрецов лошадьми и с той поры потерял спокойствие.

Маленький черный пес! Откуда кинется он?

Угасший взор хана ласкал племянника, Махметкула, богатыря. Со своими воинами из благородных родов — уланами — Махметкул проносился по стране, по степям и чащобам, и вероломные лесные и болотные князьки снова, как псы, лизали руки старому хану. В Махметкуле чуял хан свою молодость и — кому ведомо сокрытое? — брызнувшую снова через много поколений страшную кровь родоначальника Чингиса.

Махметкул сидел на корточках у ханских ног, бритоголовый, и сплевывал желтую табачную слюну. Рукоять его ножа блестела над коленом. Оборотясь к востоку, хан молился, чтобы Махметкул грозою прошел по землям, истоптал конями и в дым развеял селения и по горячей золе проволок женщин-рабынь.

Враждебный мир окружал владения старого хана. Там, в безмолвном пространстве, откуда прилетали четыре ветра, хан мысленно отыскивал врага.

Он обратил на запад свой умственный взор, но скоро отвел его. Сейчас он не боялся московского царя. Кони Махметкула знали дорогу в пермскую землю. Царского посла, ехавшего за данью, на аркане приволокли к хану.

Воевода Афанасий Лыченицын бежал, потеряв пушки и порох.

С юга явится черный пес.

Там лежала Бухара, многоликая,— город-раб, пресмыкающийся во прахе, город-господин, чья гордыня поднялась превыше звезд, вечный город, державший в дряхлых ладонях судьбы людей и народов, бесчисленных, как песок...

Не тогда ли, когда Чингис пришел в Бухару, было зачато Сибирское ханство? И не в Бухаре ли на протяжении трех с половиной столетий рождались молнии, ударявшие по этому ханству? За бухарские стены укрывались беглые князья и беки во время раздоров в тайбугином роду. Из бухарских земель приходили те, кто оспаривал власть сибирских ханов.

И вот там, в Бухаре, сокрытый, возмужал последыш тайбугина рода князь Сейдяк.

Брат Ахмет-Гирей сидел рядом с Кучумом.

Может быть, потому Ахмет-Гирей остался здесь, что и он боялся Бухары, откуда вместе со святой верой шли ковры, сверкающие ткани, тайные яды и клинки, на которых кровь не оставляет следа. Не там ли жил мститель — князь Шигей, поклявшийся кровью свести с ним старые счеты? И знал Ахмет-Гирей, что ничем иным нельзя смыть того, что было.

Он взял в жены худенькую, болезненную девочку, почти ребенка, дочь Шигея. Она забавляла его три лунных месяца. Но жалкая ее худоба и слезы прискучили Ахмет-Гирею. И он отдал девочку своему рабу.

Ахмет-Гирей не жалел и не вспоминал о том. Но с тех пор остался в Сибири.

Кашлык, город-стан, лежал перед братьями. Глиняный и деревянный, сосновые дома богачей и полные черного дыма лачуги. Каменные кузницы на высокой площади, где пели в толпе слепцы, выли, гремя железом, голые иссохшие дервиши и боролись силачи. Рысьи шапки северных охотников, птичьи перья пришлых лесных людей, козловые штаны степняков, залубеневшие от лошадиного пота... И надо всем — над нищетой, кизячным дымом и пестрыми лоскутьями — верблюжий рев, конское ржание и собачий лай.

Вот каков Кашлык, вознесенный на желтой горе, неприступной, как утес. Но он уже вырос из тесной одежды своих рвов и стен и выплеснул наружу, под гору,

жилища воинов и непроходимую толчею юрт и копаных нор бедняков.

Он рос и раздавался вширь, город, построенный сто лет назад ханом Махметом. А в той земле, где он стоял, находили еще почернелые бревна срубов и кирпичи, обожженные некогда неведомым народом. И потому многие называли Кашлык также Искером — старым городом.

Зазвякали колокольцы. Стража заперла железные ворота, пропустив караван. На вьюках, покачивающихся посреди узких и крутых уличек, пыль тысячеверстного пути.

Хан нетерпеливо послал людей опросить прибывших. Но то не были бухарские купцы,— хан напрасно ожидал их. Что же их задержало? Кровь стучала в висках у Кучума. Почему не везут из Бухары крошеный табак, молитвенные коврики, девочек-рабынь, говорящих птиц, хорезмские седла и лекарства для больных глаз хана, чтобы встал хан, оглянулся в широком мире, увидел свет и меткой стрелой сразил врага?

Но он сидел спокойно, опустив веки. Страха не было в нем. С яростной и суровой радостью он ждал и желал борьбы.

Молодость его ушла, но в жилистом теле сохранилось довольно сил. Он не думал о конце, о смерти. Он хотел долго, еще долго жить на этой жестокой, напитанной желчью и ядом, жгучей и вожделенной земле.

Настал вечер. Хан поднялся. Поднялся и Ахмет-Гирей. За целые часы братья не сказали друг другу ни слова. Но хан любил, когда Ахмет-Гирей вот так сидит рядом с ним,— молчаливое его присутствие помогало, как братский совет, созревать мыслям и решениям хана.

Теперь он решился. Он предупредит удар. Он выследит врага. Пусть мутны глаза хана. В мир, змеиным кольцом обвившийся вокруг сибирской державы, он пошлет заемные глаза — соглядатаев.

Он кивнул. И быстро, легко пошел, не опираясь на раболепно подставленное плечо мурзы.

В укромную камору, пустую, с земляным полом и сандалом, на котором хан грел свои зябнущие ноги, впустили троих татар, из числа самых преданных людей Кучума. Они жили наготове в Кашлыке. Даже мурзы и карача ничего не знали об этих потаенных слугах. Для всех они оставались шорником Джанибеком, цирюльником Мусой и площадным силачом Нур-Саидом.

Хан затворился с ними. Такие дела он делал один. Сильный вождь не просит, чтобы его коня вели за повод; и нет приближенного, которому бы он открывал, как шаткая духом женщина, все пути свои.

Говоря с татарами, он думал о черном псе, пришедшем с юга, с Тобола. Но Кучум был хитер и осторожен. Он не забывал, что среди притоков Тобола все-таки есть и текущие с Западных гор. Потому к тайным своим велениям он прибавил еще одно. Еще одну нитку следовало отпрясть лазутчикам в многоликой Бухаре, где в великий узел связываются все дороги.

4

Они миновали земли степных людей, живших в круглых кибитках с одним отверстием вверху,— через него входил свет и выходил дым. Степняки мочили кожи в глиняных чанах и сшивали цветной войлок так, что на нем показывались очертания зверей и листьев. Вдруг все кочевье поднималось с места; на повозках, запряженных быками, увозили кибитки. И там, где вечером шумел стан, утром, насколько хватало глаз, раскидывалась степь.

Тайные посланцы хана проехали бледное, лежащее в песках и в скудной глине Аральское море. Птицы кружили над ним, рыбаки железными крючьями вытаскивали сомов, истекавших желтым жиром.

Дальше пошли камыши и тянулись день, другой и третий. Лес без ветвей в рост всадника вокруг окон гнилой воды. И ночью хлопьями, метелью против высоких звезд и белой луны роились и проносились комары.

На тропе соглядатаи догнали караван. В нем была тысяча верблюдов. Раскинувший палатки в полуденный жар, караван походил на город. «Кучумовы очи» прикинулись купцами и пристали к каравану.

С ним вместе они проехали мимо гор, снежные вершины которых пылали на закате.

Так прибыли они в светоч мира — Бухару.

Был вечер. На улицы вышли водоносы с козьими мехами на головах. Улицы прядали из стороны в сторону между глухими стенами, спутывались в клубки и затем снова терялись в глиняной желтой толще города. Если бы с птичьего полета взглянуть на этот город, показался

бы он пчелиными сотами, в которых пробуравил ходы какой-то прожорливый червь.

Утром лазутчики попрощались с караванбаши и пошли на базар у башни Калян, минарета смерти. Минарет суживался кверху, к венцу окошек. Оттуда сбрасывали в дни казней преступников, вырубая на камне их имена. Минарет возвышался над проходами, где по бархату и золотой парче работали тюбетеечники, над лавками, устланными тафтой и терсеналом, над навесами гончаров, обувщиков, медников, изображавших на кованых подносах дворцы и гробницы, над рядами, где торговали изюмом, миндалем, сахарными рожками, винными ягодами, сарацинским пшеном, тутой, исходившей синим соком, и сладким месивом, которое зачерпывали горстью.

Удивительный город, где всего много — и нищеты и богатства! Город, где так же трудно отыскать человека, как в дремучем лесу!

Он уже оглушил и зачаровал пришельцев из суровой страны, сибирских людей. Они расположились на кошмах, им подали зеленоватый чай и пенный хмельной напиток; впрочем, для блюстителя священного шариата, запрещавшего правоверным опьяняться, это было только забродившее кобылье молоко.

Сюда сходились вести с половины мира. Врачеватели язв, купцы и площадные виршеплеты щеголяли языком Фирдоуси и Гафиза. Лазутчики держали уши открытыми и вели хитроумные разговоры. Но еще до того, как напиток ударил им в головы, они обнаружили, что среди тьмы князей, переполнявших Великую Бухару, никто из собеседников не знает ни князя Сейдяка, ни князя Шигея.

Но зато об одном человеке постоянно говорили вокруг и знали его, видимо, все.

— Он объявил, что в хвосте его осла ровно столько волос, сколько в бороде имама Бахчисарая.

— В городе Ак-Шехире он накормил судью ужином, сваренным на звездном свете.

— В Конии он приехал на мельницу верхом на торговце рабами.

— А разве вы не слышали, как он научил читать Коран осла нашего повелителя хана (пусть вечно сияет в подлунной его имя)? Насыпал овса между страницами, и животное, поедая зерна, перелистывало книгу.

— Что такое? — сунул свой нос между беседующими шорник Джанибек.— Кто этот могучий человек, который ничего не боится? Он правнук пророка? Непобедимый эмир? Или богач, чьим деньгам ведет счет один аллах?

— Нет,— ответил один из собеседников.— Когда вор забрался к нему в саклю, он сказал жене: «Тише! Не пугай его! Может быть, он все-таки найдет что-нибудь, и мы узнаем, что не так уж мы бедны, что кое-что у нас есть».

— Но как же, нищий, он сумел объехать столько городов — Бухару, Конию, Ак-Шехир, Бахчисарай — и везде оставить по себе славу?

— Спроси у птицы, как она летает.

Удивительный город. Когда они удалялись от чайханы, там все еще слышался хохот...

Возможно, что у татар в самом деле несколько кружились головы от выпитого и услышанного и шли они, чуточку колеблясь из стороны в сторону, но все же они направились прямо туда, куда им и следовало направиться, чтобы раздобыть нужные сведения. Правда, они не заметили, как следом за ними поднялся еще один человек — маленький, жирненький, с голым желтоватым лицом в оспинах и притом вовсе невидный, какого-то мышиного цвета. Правда и то, что не так уж легко выбраться из базарной толчеи, полной всяческих диковин...

Вот смуглые высокие люди с желтыми значками на лбу развертывали ткани, расшитые деревьями, на которых сидели птицы с женскими головами: искусная вышивка изображала леса Индии, родины продавцов.

Неподалеку расположились другие, неподвижные, как изваяния. Их одежды играли ослепительным, струящимся блеском. Шапки напоминали башенки. А на лакированных блюдах перед неподвижными людьми лежали корни, похожие на человеческое тело, имевшие силу возвращать молодость, пузатые фигурки, будто отлитые из легчайшего прозрачного молока, зеркала, оплетенные драконами, разинувшими пасти.

На невольничьем рынке и вовсе не протолкаться. Продавцы щелкают бичами, зазывалы кричат, выхваляя простоволосых полячек, рослых ливонцев, маленьких генуэзцев, восьмилетних девочек-персиянок. И все хозяева рабов клянутся, ударяя себя в бороды, что среди их то-

вара нет московитов, неукротимо склонных к бегству на волю.

У входа на рынок сидит меняла. Он зевает и смотрит по сторонам.

— Эй, почтеннейший! — кричит он всаднику, у которого к стремени прикована вереница рабов.— Неужели остался еще хоть один человек в тех странах, откуда вы их всех ведете?

Меняла сидит под аркой, о которой сказано поэтом, что небеса, приняв ее за новую луну, прикусили палец от удивления. Над аркой между гнездами священных аистов вьется по голубому полю изразцов белая надпись: «Царство принадлежит аллаху».

Вот наконец и нужная татарам дверь.

Гулко отдался стук бронзового кольца. Коридор за дверью шел коленом, чтобы породить даже в самый удушливый жар легкое движение воздуха. В высокой комнате, убранной пышными коврами, у светильника сидел старик, важно читавший книгу в половину своего роста.

Татары смущенно ощупали свои пояса. Много ли весит сибирское серебро среди роскоши этого города, куда со всей подлунной текут серебряные реки?

Осанистый старец приветливо встал. Он повел своих гостей во двор. Прислужники тотчас приволокли туда громадного жирного барана. Старик важно посмотрел на него, помедлил, погладил сначала себе бороду, потом шелковистую баранью шерсть и пожалел барана. Те же прислужники его увели и взамен принесли горстку костей и золы. Старик удовлетворенно кивнул головой. Он вытряс золу на песок и кинул кости. Джанибек, Муса и Нур-Саид поняли, что их серебро оказалось довольно легковесным, но все же терпеливо и безмолвно просидели на корточках во время всей церемонии. Покончив с нею, хозяин разомкнул уста:

— Две головы рогатых баранов нельзя сварить в одном котле. Земля тесна для двух великих. Я вижу одного: князь Сейдяк возрос, и руки его тянутся далеко от дома сеита, мир ему. Но глаза мои стары, и больше я не вижу ничего.

Татары снова распустили пояса.

Старец начертил круг, посыпал его просом и молча дождался, пока все просо склевала курица. Тогда он сказал:

— Слишком поздно. Ваш повелитель долго дремал. Уже оседланы и ржут кони. Может быть, тот, кто их подковывал, скажет вам, куда обращены их головы.

Он назвал далекую глухую улицу, где жил ковач, и добавил:

— Если вы летаете, как птицы, вы опередите всадников.

— Как птицы! — с досадой сказал огромный Нур-Саид, борец.— С утра я слышу щебет вместо человеческой речи. Лучше укажи нам того, кому ведомы птичьи пути!

— Разве ты знаешь такого? — подозрительно спросил старик.

— Не нам — тебе, мудрейший, он должен быть знаком. Он живет в вашем городе,— вежливо возразил Муса.

Но когда он пересказал слышанное на базаре, вся важность слетела со старика. Он затряс бородой, жилы на его лбу вздулись, он забрюзжал, яростно вращая глазами:

— Глупые сказки черни! Знайте, что такого человека нет и никогда не существовало!

И, выпроваживая татар, он сказал им вдогонку:

— Постарайтесь выйти из моего дома так, чтобы вас никто не видел.

Но чуть захлопнулись за гостями двери, человек мышиного цвета, незаметный, как дорожная пыль, показался из-за поворота улицы.

Глиняные поры снова поглотили сибирских посланцев. Они пробежали крытые кварталы, куда падали лишь редкие пятна лучей сквозь дощатый настил. Глухое пение доносилось временами из-за осыпавшихся стен...

Внезапно на перекрестке толпа преградила дорогу татарам. Как ни торопились они, все же вынуждены были остановиться, оттиснутые к стене.

Подняв над головами длинные прямые трубы — карнаи, трижды протрубили трубачи. Горнисты сыграли на рожках. Телохранители гигантского роста смыкали круг. У каждого — колчан с оперенными стрелами, кривая сабля, щит и в руках длинное копье с красным бунчуком.

В кругу телохранителей шел хан, тень аллаха на земле. У него было странное, не по-человечески бледное ли-

цо с поднятыми бровями. Он шел в китайском шелковом кафтане, золото блестело на витых рогах у его пояса. Рядом несли роскошные носилки. Хан мелко переступал ногами, обутыми в красные шагреневые башмаки.

Татары склонились в почтительном изумлении: хан в самом деле не походил ни на кого из людей на улице ни обличьем, ни диковинным нарядом, ни этими шажками, вселявшими мысль, будто не живая воля, а некий сокрытый хитростный механизм движет им.

Мальчики с нарумяненными губами плясали позади телохранителей, вскидывая узкие руки, унизанные кольцами и браслетами. И с каменными лицами выступали толстый куш-беги — великий визирь, мехтер — министр стражи, тощий диван-беги — хранитель казны и топчибаши — хранитель оружия, в чалме, затканной золотыми полумесяцами.

Оружейники, чеканщики, гончары, ножовщики, тюбетеечники и продавцы «чахчуха», платья «с шорохом»,— все они робко смотрели, как проходит хан-повелитель, тень аллаха.

— Ля иллях — сказал в молчании чей-то голос, и легкое движение вдруг пробежало по толпе.

— Это он! — прошептал один.

— Он сказал «ля иллях» — «нет бога!» — выговорил другой.

— Глупцы! — закипятился тучный краснолицый купец в чалме из тончайшей белой материи.— Он не кончил речи. Сейчас он скажет: «Ля иллях, иль алла...» [1]

— Ля иллях! — повторил звучный голос, и все обернулись к говорящему. Это был высокий тощий человек средних лет с крючковатым носом и козлиной бородой.— Ля иллях! Люди бухарские, истинно сказано, что для тысячи таких ворон, как вы, достаточно одного комка глины.

Он стоял лицом к середине улицы и подмигивал черным смеющимся глазом туда, куда смотрел,— в сторону ханского шествия, о котором все забыли.

— Это он! — закричал мехтер, министр стражи.

По всей улице прокатились звуки рожков. Приставы и стражники кинулись в толпу. Началось смятение.

В мгновение ока улица опустела.

Только бледнолицый хан с высоко поднятыми, словно

---

[1] Начало магометанской формулы: «Нет бога, кроме бога...»

приклеенными бровями двигался по пустой улице среди своих слуг и телохранителей, словно его ничто не касалось. Хан поднялся в арк, дворец, возносивший свои крепостные стены на искусственно насыпанном холме.

— Кто говорил с народом? — спросили татары, когда смятение улеглось.

— Ходжа Насреддин! — ответил прохожий.

— Его поймали?

— Ты видел птицу, пойманную черепахой?

Ковач был закопченный полуголый человек в тюбетейке, сдвинутой на ухо.

— А, вы от Абдурахмана-эфенди. Знаю,— отозвался он, когда татары ему рассказали, кто их послал.— Еще что знает ковач? Только конские копыта. А вам, конечно, хочется услышать, кто сидит в седле?

Он засмеялся.

— Сказал ли вам старый чудодей, что в некоей северной стране предстоят перемены и мирным торговым людям лучше выждать их конца? Потому-то тропы на Иртыш и зарастают травой.

Этот кузнец был странно осведомлен не только в княжеских, но и в купеческих делах. И слишком вольно отзывался о достойном старце, испытывавшем неверную судьбу пеплом бараньих лопаток. Поистине, в славной Бухаре все люди были не теми, кем казались!

Когда же пояса татар еще значительно облегчились, ковач лукаво прибавил:

— Мои руки не касались тех коней: для Великих песков подковы не нужны. Впрочем, может быть, я найду человека, который помогал седлать. Но к чему вам это?! Если у вас нет крыльев, как вам опередить всадников?

Который раз они слышали эти пернатые сравнения и советы? Можно подумать, что тут крылатый народ, которому гораздо привычнее летать, чем ходить по земле!

Они вышли со злобой против этих людей, скользких, как угри.

В глиняном лабиринте, куда они углубились, путая следы, как лисица, они нашли наконец дом князя Шигея.

У ворот стояла стража, ночью в доме горели яркие огни. Но огни лгали: князь уехал на охоту. Больше лазутчики Кучума не выведали ничего.

Прилежные поиски привели их даже к тайному пристанищу Сейдяка. Цирюльник проник туда легче, чем можно было ожидать. Но он увидел темные комнаты в мрачном запустении, с паучьими гнездами по углам и крысиным пометом на ложе.

Охота Шигея, исчезновение Сейдяка, всадники, ускакавшие в северную пустыню!.. Сибирские лазутчики словно описали круг: он снова возвращал их к ковачу на глухом пустыре.

5

Толстый, почти безбородый человек с круглым лоснящимся лицом беззаботно сидел на земле. К нему подскочил дервиш в остроконечной шапке.

— Я ху! Я хак! Ля иллях, илла ху! (То он! Он справедливый! Нет бога, кроме него!) — выкрикнул дервиш и протянул свой чуп-каду, сосуд из тыквы.

— Гм,— сказал круглый человек.— Тебя обмануло сходство. Но я все-таки не тот, о ком ты говоришь. Тебе надо вот куда...

И, взяв дервиша за плечи, он повернул его к мечети, в свод которой замурован ларец с волоском из бороды пророка. В одно мгновение вокруг обоих собралась хохочущая толпа.

— Ты видел, откуда он пришел?

— Да. С большого базара. Я шел за ним.

— Верно! Он убедил ростовщика на базаре, что аист снес алмазное яйцо.

— Нет, он сказал ростовщику: «Брось в пустой мешок столько пул [1], сколько ты отдал в долг беднякам, и вместо каждой вынешь тилля». Ростовщик тотчас стал кидать в самый глубокий кожаный мешок все слитки и вещи, какие у него были, потом просунул голову и половину туловища в мешок, чтобы посмотреть, как растут деньги, и застрял там.

— Я сам видел зад лихоимца, торчащий из мешка, а у меня зоркие глаза, потому что я охотник на джейранов.

— Ради бога! — взмолился цирюльник Муса.— О ком вы говорите? Кто это?

---

[1] Пула — самая мелкая медная монета, 64 пулы составляли теньгу (около 15 копееек), а 20 теней — одну тилля.

— Ходжа Насреддин! — отвечали ему.

— Но ведь это совсем другой человек.

— Ты, должно быть, никогда не видел его. Это он пошел в Балхе на базар ни с чем, а вернулся в шубе, на коне и с полным кошелем.

— Это он научил в Дамаске нищего заплатить жадному харчевнику звоном денег за запах плова.

— Ведающий птичьи пути! — воскликнул цирюльник Муса, торопливо продираясь в середину толпы.

Тревожные вопли рожков наполнили воздух. Стража с обнаженными мечами оцепила улицы. Людей пропускали по одному. Однако круглого человека в толпе не оказалось, хотя глухие стены тянулись с обеих сторон,— некуда было укрыться белой бухарской кошке, не то что такому толстяку...

6

Двое, каждый в трех драгоценных халатах и в сорокаоборотной чалме «тильпеч», сидели на расшитых подушках. Ковры Абдурахмана показались бы в этом доме нищенскими лохмотьями. Между резными столбами галереи огромные зевы цветов краснели в тяжелой тусклой листве, окутанной неподвижным облаком приторного аромата.

Тут не было ни высокопарных обиняков, ни кур, склевывающих просяные зерна. Эти двое никем не старались казаться. Ханы возносились и низвергались; они же были из тех, чье могущество неизменно. То было само могущество Бухары.

И перед ними сидели не шорник, борец и цирюльник, но посланцы сибирской земли.

Выполняя особое веление Кучума, Джанибек начал:

— Где великие ханы Золотой Орды? Настали глиняные времена. Чтобы покорить вселенную, каган Чингис соединил народы.

— Джебраил отверз ему двери рая,— медоточиво вставил старший из двоих, сидящих на расшитых подушках.

— Глиняные времена,— повторил Джанибек.— Нет Казанского и Астраханского ханств. В Югре — власть

врага. Горы не остановили его. Что ханство Кучума рядом с державой Московита? Тайбугин род уже платил дань. Вот слово хана Кучума: если воины Московита придут на Иртыш, их должны встретить не одни джигиты Сибири, но священное войско ислама. За Кашлыком черный жребий в некий день выпадет Бухаре. Но будет, как вы рассудите.

Ни один мускул не дрогнул на лицах под двумя белыми чалмами. Послышалось тонкое пение комара. Дом был поднят над городом, как ханский арк. Внизу необозримо раскинулись плоские крыши, позлащенные косыми лучами. В одном месте они расступались, виднелась небольшая площадь. Там на помост вышел фокусник в высокой шапке. Он выкрикивал, но всего несколько человек остановилось перед помостом.

— Пусть гавкающему помочится в рот лягушка! — наконец сказал со своей подушки молодой, с широким, как луна, лицом в редкой рыжей бороде.

Старший взял пиалу, отхлебнул из нее, долго со сластью обсасывал ус и только тогда обратился к Джанибеку:

— Ты зачат в год мыши. Ван-хан Московский двадцать лет воюет на западе. Каких воинов он пошлет на восток? Чингис испепелил Бухару. Железный Хромец ниспроверг арк. Но двенадцать поколений сменилось с тех пор, как зарыли в стране желтых гор Чингиса; пять поколений знают о черной плите, лежащей над костями Тимура в Гур-Эмире.

Он отсчитывал годы и поколения, как серебро в мешках.

Рыжебородый выпустил клуб дыма.

— Моря воды и мертвые моря песку — вот стены Бухары. Пусть стрелы Московита перелетят через них. Бухара владеет богатствами земли. Где сила сильнее?

— Слагатели стихов,— продолжал старик,— говорят о стоглазом звере. У нас тысяча тысяч глаз. Мы знаем, какие корабли плывут по реке Итиль [1], о чем думает диван [2] Московита, велики ли смуты в стране Булар [3], сколько арбалетчиков на земле Башгирд [4], ловцов рако-

---

[1] Волга.
[2] Правительство, дума.
[3] Польша.
[4] Венгрия.

вин у руми[1] и бочек с соком виноградных лоз у франков. Но мы знаем еще о делах и событиях в царствах Великого Могола и Хатай[2], где живет в сорок раз больше людей, чем в странах Булар, Башгирд, во Франкистане и на земле руми и русов. Мудрец держит весы. Если враг кинет свой меч на одну чашку, разве не отыщется тотчас иной меч, еще тяжелейший, который сам прыгнет на другую, чуть посеребри его ножны? Пусть ослепленные яростью проливают свою кровь: она потечет рупиями и дирхемами к прозорливому. Мудрый правит буйствующим миром, как всадник горячим конем,— легким движением поводьев.

— Глупца же,— сказал лунолицый,— и на верблюде собака укусит.

И он засмеялся тоненько, словно заблеял.

Фокусник внизу потерял терпение. Он вытаскивал змей из рукава и глотал огонь, но кучка зрителей не увеличивалась. Тогда он сердито топнул ногой. И из щелей вылезли одна за другой тринадцать крыс — по счету людей, стоящих перед помостом.

Человека впустили через заднюю дверь. Невысокий, жирненький, с лицом евнуха, мышиные, кругленькие глазки посреди пыльного решета оспин. Младший из хозяев даже покосился, не остались ли три пятна пыли на полу, там, где он ткнулся лбом и руками. Старший бровью не повел.

— Говори.

Он рассказал все. Каждый шаг тех троих, что только что вышли отсюда. Но ему никто не кивнул — встать.

— Проводишь их в Великие пески,— проговорил старик.

— Господин,— запричитал человек и ткнулся снова всем лицом в пол,— ты сказал — это последняя служба... Твой слух не тревожил я докукой о награде. Вернусь в Истамбул, дозволь.

Старик не кинул взора на распростертого. Единственно его интересовали цветы — как их колебало неприметное дуновение между резными столбами галереи. Казалось, там красные птицы опустились в густую, черно-серебристую от резкого солнечного света листву.

---

[1] Так называли византийцев, потом преимущественно малоазиатских христиан и вообще греков.

[2] Китай.

— Когда же они останутся в песках,— продолжал он,— не вернешься сюда. Опередишь караван молодого князя Сеид-Ахмата и князя Шигея, чтобы первому быть в Сибири.

— А если,— подхватил младший,— отважится Кучум на войну с Московитом, ты — ханский раб. Тебе ведь полюбились воины-русы, эти... казаки.— Засмеялся тоненько, блеюще и пояснил: — Княжеский караван долго простоит развьюченным в Хиве — он придет с серебром, уйти ему надо с войском,— времени у тебя хватит.

— Но,— строго и бесстрастно закончил старик (если он вообще к кому-нибудь и обращался, то, очевидно, только к красным цветам),— едва над сибирской землей подымется пыль от скачущих хивинских всадников, оставишь все дела, чтобы сделать главное: поможешь слепцу слезть с коня; сядет зрячий. Живой или мертвый сойдет слепец с седла и уступит повод — откуда мне знать, как судил аллах?

— Вор,— зажурчал луноликий своим медоточивым голосом,— бежит, когда возвращается хозяин. Владелец сокровищ прогоняет из своего дома нищего. Строптивому нечего делать на путях справедливости и благодарности. И возлюбленный аллахом возьмет достояние того, чей жребий взвешен и оказался пустым. Да будет покров пророка над мудрым сеитом, взрастившим князя Сеид-Ахмата в священных пределах Бухары, сияющего Ока мира... Ну, встань,— разрешил он. И велел: — Радуйся.

Верно, затем, чтобы показать, как радоваться, он снова тоненько проблеял.

Но человечек не встал и не обрадовался.

— Смилуйся! — заголосил он, весь дергаясь.— Господин, чем хочешь отслужить вели. Раб твой забудет про Истамбул. Пощади! Не в Сибирь, не к московитам, высокий господин... Пыль от ног твоих языком вылижу.

Старик впервые перевел на него глаза. Молча и неподвижно он рассматривал дергающегося человечка. И тот задом, змеевидным движением жирного тела, стал уползать прочь.

7

Зубчатая стена с одиннадцатью воротами окружала город. За стеной огромного кладбища теснились каменные гробницы. Люди в страшном рубище, пряташиеся,

как звери, при звуке шагов, ютились там вместе с бездомными собаками, рядом с истлевшим прахом.

Сюда, когда начало смеркаться, пришли по указанию ковача татары, чтобы встретиться с человеком, седлавшим коней. Но за полчаса до условленного времени к ним подошел человек, серый как пыль.

— Вы искали знающего птичьи пути,— сказал он.

— Тебе известно, где он? — воскликнул Нур-Саид.

Человек повел их между сводчатыми гробами, сложенными из камня и алебастра. Он остановился у могилы, любовно украшенной конскими хвостами и множеством рогов.

— Вот он.

— Где? Укажи,— прошептал Муса, озираясь.

Человек засмеялся.

— Говори громче. Его не разбудишь.

— Ты лжешь. Его здесь нет.

— Смотри.

И при неверном свете татары прочли древнюю, искрошившуюся надпись:

«Здесь Наср-Эд-Дин ходжа. Старайтесь не входить сюда. О моем здоровье спросите у того весельчака, который выйдет отсюда» [1].

— Я именно тот,— сказал человек,— кто вьючил караван Сейдяка и Шигея. Не огорчайтесь, я проведу вас путем птицы. Я знаю, что вам надо, мне все открыл кузнец. Караван движется с утра до вечера, уже целый день, но только один день, и не могут быстро ехать те, кто везет серебро для хивинского войска, готового выступить на Иртыш. Вы отнимете серебро и захватите живьем врагов вашего хана и его брата. Хива не дождется гостей. Но поторопимся, пошли!

Тогда злоба и отвращение к этому городу охватили души татар, и степная удаль проснулась в них. Они почувствовали тоску по горячему, потному конскому телу в своих кривых ногах наездников, выросших в седле.

Уже под утро выехали с отрядом верных людей; некоторых привел их новый спутник и проводник; его звали Савр.

[1] Такова подлинная эпитафия на так называемой могиле Насреддина в Ак-Шехире. Но в пятнадцати городах Востока показывают могилу ходжи.

А человек, посланный кузнецом, пришедший на кладбище через малое время после того, как татары поспешили за Савром, напрасно искал их. Они никогда не встретились с ним.

8

На выезде из города они перегнали всадников с соколами на руках. То были охотники на диких лошадей. Когда вдали взлетит пыль проносящегося косяка, охотник снимет колпачок с головы сокола. И красноногий узкокрылый хищник, настигнув жертву, будет долбить ей голову до тех пор, пока лошадь не обессилеет. Тогда охотник, подскакав, накинет ей на шею аркан и широким ножом взрежет горло.

Река, бурая от глины размытых берегов, неслась на север. Татары переправились через ее крутящиеся воды. Они вступили в восточную пустыню Черных песков. Зелень и тень исчезли из глаз. Растительность, серая, безлистная, похожая на хворост, торчала кое-где на песчаных грядах. Но овцы, лошади и верблюды отыскивали и здесь себе пищу. Кум-ли, песчаные люди, жили в пустыне в круглых юртах. Они пили кобылье молоко, обходясь почти без воды.

Татары проехали низменность в истрескавшейся глине, называемую «полем змей», и плоскогорье, называемое «полем тигров», где пятнами и полосами выступала соль.

Они миновали местность, заросшую бурой колючкой, и местность, где над бескрайним морем песчаных холмов стояло мутное марево и не было троп.

На копье, воткнутом острием вниз в небольшой бугор, висели переломленный лук и тряпка. Под бугром лежал убитый. В его крови некогда вымочили тряпку. Но она засохла, неотомщенная кровь успела порыжеть; песок до половины засыпал копье. Кривились перекрученные стволы саксаула, похожие на вывихнутые, пораженные опухолями сочленения.

Однажды татары встретили следы конских копыт, среди которых не было ни одного отпечатка ноги верблюда. Здесь промчалась хищная стая: добрые люди ездят с верблюжьими караванами.

Татары совершили омовение пылью и песком, предписанное пророком в безводной пустыне, и произнесли сикры — исповедание имени божия. Оно обладало силой отгонять джиннов, имевших обыкновение угрожать путешественникам, приняв вид омерзительных стариков со свиными ушами.

Во время короткого привала проводник каравана вместе с одним из бухарцев двинулся пешком по конским следам в пустыню; остальные ждали их, не смыкая глаз. Бухарец, тоже татарин, оказался по-настоящему верным человеком. За полночь он вернулся один. Правый рукав его халата болтался. Отвердевший от запекшейся и смешанной с песком крови, он зловеще сохранял округлую форму, как будто его по-прежнему наполняло живое тело. Куда исчез проводник?

Охваченный ужасом отряд поскакал в пески. Но через двести шагов свежий конский след пересек дорогу. Он кружил, как ястреб; бегство бесполезно. Поставив животных кольцом, головами в пустыню, стали дожидаться утра.

На рассвете показалось облако пыли.

Ни верблюдов, ни ослов. Это был вовсе не караван, а только конные люди. Лошади, накормленные териаком, неслись, как джейраны. Главарь, курбаши, с пронзительным визгом рубил воздух кривой саблей. Рядом с ним летел вчерашний проводник.

Отряд татар встретил налетевших стрелами. Потом схватились за ножи. Нур-Саид увидел, как один из воинов отряда всадил нож в спину другому. Великан в два прыжка очутился рядом и задушил предателя. Затем, хлопнув по плечам Джанибека и Мусу, отпрянул в пустыню. В суматохе побоища им удалось скрыться за ближним барханом. Они бежали, пока перестали доноситься торжествующие крики, смертные стоны и лязг оружия.

Когда трое беглецов свалились, обессилев, колючий песок обжег им тело сквозь клочья одежды. Кругом рябили желтые холмы. Человеческий крик замирал за ближним холмом, как в слое ваты.

Беглецы выбрали путь по солнцу. Но временами они замечали, что кружат. Они не были кум-ли, людьми песков, и не умели отыскивать тайные колодцы, что узнаются по надломленной веточке саксаула или чуть более пышному кустику джузгуна. И скоро в их тыквенных бутылках иссякла мутная, теплая вода.

Неглубокие впадины протягивались поперек пустыни. Казалось, чудовищное животное пронеслось здесь гигантскими прыжками, вдавив ступни своих ног в испепеленную землю. Это было опустевшее русло Амударьи,— она текла тут, через Каракумы, до того, как повернула из Каспия в Аральское море. Соляные отложения ржавыми корками выступали на почве. Валялись окаменелые раковины. Птицы с розовыми зобами неспешно поднялись над горькой лужицей.

Полузасыпанные песком арыки отмечали узкие полосы и квадраты неведомо когда заброшенных полей. Среди них беглецы нашли глубокую щель колодца. Они зачерпнули воды шапкой, опущенной на связанных вместе ползучих стеблях. И вода покрыла бурым налетом руки и лица людей.

Однажды татары увидели пирамидку друг на друга положенных человеческих скелетов. Безмерный круг пустыни, бугристый, словно изрытый черной оспой, замыкал в себе этот столб костей меловой белизны. Пепел чешуйчатых растений посыпал змеиные хребты барханов.

Под барханом беглецы наткнулись еще на труп верблюда, огромный и вздутый. Но чуть нога коснулась его, он провалился, рассыпался мелкой, истлевшей трухой.

В этом месте упал на песок цирюльник Муса, натянул на голову лохмотья халата и больше не встал.

На другой день показались стены. Высокие, сырцового кирпича, они сохраняли кое-где зубцы, узкие просветы бойниц. Песок насыпался в пустые ложа арыков. Мертвый город вырастал из пухлой беловатой, словно пропитанной селитрой, почвы. Город без тени, с рухнувшими сводами ворот.

Лица двух оставшихся в живых обуглились. В углах губ пузырилась пенистая сукровица.

Ночью холод судорогой сводил их тела.

На четвереньках один из беглецов взобрался на бугор из глины, твердой, как камень. Зеленое пламя било на горизонте в небо. Росло дерево. Невероятного, невообразимого цвета, забытого, казалось, навсегда за эти дни или недели блужданий по пустыне.

Увидевший впился зубами себе в плечо, чтобы прогнать наваждение. Потом он хрипло зарычал. То был Джанибек. Исполинский Нур-Саид, борец, лежал скорчившись у подножия бугра.

— Жить будем! — крикнул в ухо ему Джанибек.

КУРЕНЬ ХАНА КУЧУМА

О, Руская земле!
Уже за шеломянем еси!

Слово о полку Игореве

1

С каменной стены Урала текли реки. Одни — на запад, на Русь, другие — на восток, в Сибирь.

По их берегам стояли леса. На каменную осыпь с маху выносился козел и застывал, упираясь передними ногами, вскинув граненые рога. В урманах, сопя, роняя пену с толстой губы, тяжко схватывались лоси-самцы. Лисица тыкала остренькой мордочкой в заячий след. Припав на коротких лапах, по-змеиному изгибая спину, крался к беличьему дуплу соболь. А ночью, кроясь у вековых стволов, выходила на охоту неуклюжая росомаха.

Круто пала с Уральских гор Чусовая. Водовороты кипели под отвесными скалами.

Медленно двигались против шалой воды казачьи струги.

Первые летучие нити осенней паутины сверкали на еще знойном в полдень солнце.

Суда, груженные тяжело, повертываясь на быстрине, черпали волну.

Днище заскрежетало о камни. Раздались крики. Люди со струга соскочили в воду. К ним бежали пособлять с соседних судов.

Поплыли. Но река приметно мельчала.

— Чусовой до Сибири не доплыть,— говорили казаки.

— А кто тебе сказал, что плыть по Чусовой? Тут речка будет. Повернуть надо.

— Где же речка?

— Вона!.. Катится, тиха, полноводна...

— Не, ребята. Атаманский струг миновал. Не та, значит, речка.

— Батька знает, куда путь взять...

— Батька... Ой ли! А Сылву жабыл?

Это прошепелявил Селиверст.

Десятник прикрикнул:

— Веслом греби, языком не мели.

Ночами расстилали на берегу шкуры. Драгоценную

рухлядь кидали прямо в осеннюю грязь. Что еще с Волги везли, чем разжились за два года на Каме, все и волокли с собой в будущее свое Сибирское царство.

Только у Баглая не осталось ничего: что было, давно спустил по пустякам, кидая кости для игры в зернь на серой чусовской гальке, как некогда на высоком майдане у Дона.

Но Баглай не унывал. Срезав ножом еловые лапы, он настилал их для ночлега.

— Вот он, мой зверь. Вишь, шкурка чиста, мягка.

И укладывался, приминая хвою тяжестью своего огромного тела.

— А зубов не скаль. Мое от меня не уйдет.

Костры горели дымно. Но когда, охватив подкинутые полдерева, вскидывалось пламя, прибегал от сотника десятник.

— Не свети на всю поднебесную. Не у Машки под окошком. Растрезвонить захотели: мы, таковские, идем, встречайте?

Плыли дальше. И тесней сходились берега.

Атаманский струг остановился. Остальные, набегая, тоже останавливались.

— Что там? — спрашивали на задних судах.

— Перекат... Пути нет...

— Выгружай! — разнеслось с атаманского струга.

Люди с недоумением схватились за мешки. Еще припасу покидать — с чем ехать?

Но тотчас разъяснился приказ. Не муку и не толокно — нажитое войсковое богатство, которое всегда до последнего возила с собой вольница, даже ото всего отказываясь, его-то и велел выгружать Ермак.

Отвесный утес в этом месте надвигался на реку. Гулко отдавались голоса. На вершине гнулись ветви сосен, пластая в ветре — неслышном внизу — синеватую хвою. В срыве крутизны зияла пещера.

Яков Михайлов указывал руками на реку, на струги, на пещеру, в чем-то убеждая с необычайным жаром.

— Правильно, Яков! — прокричал Селиверст, хотя, конечно, не мог разобрать слов Михайлова.

Но всем было понятно, что он доказывал. И еще несколько голосов поддержали:

— Все кинь, казну не тронь: закон!

— Да какие же мы казаки останемся!

— Круг спросить!

— Бросаем теперь,— повторял окружающим ободренный Селиверст.— А где же те казаки, кого расказнили за одно слово про дуван? Ни людям, значит, ни себе — лешему и лешенятам!

Он все помнил, что другие уже начали позабывать. Как на Четырех Буграх взвился, только услышав «дувань казну», батька, атаман. Будто и страшнее вины, чернее мечтанья не могло быть; будто на святое, самое богово посягнули — на то, что он же, батька, атаман, совсем напрочь отшвыривал теперь! И чем приманивала Кама с Волги, тоже помнил Селиверст: уж не золотой ли земли тогда чаяли? И вот, отживши на Каме, кидали последнее, еще волжское! Чтоб, значит, и памяти вольной Волги не осталось!

Куда ясней. И кругом Селиверста, да и там, кругом Михайлова, сбились думавшие тоже так. Однако вот дед Мелентий Долга Дорога, хлопоча у своего наполовину уже разгруженного стружка, заворчал:

— Какой такой круг соберешь — чертяк на камушке, нечистый дух?

Люди измаялись в борьбе с рекой. Оставить харч? Припас? Видение Сылвы неотступно стояло перед всеми. Ни на мешок муки, ни на сухарь даже или щепоть соли нельзя уменьшать войсковой запас! Пищали, что ли, пустить на дно? Пушечку покатить через борт? Порохом притрусить речную стремнину?

— На войну идем, братушечки!

Простодушен Брязга и сказал простые слова. Но вот раздались они — и вышло, что именно их не хватало, других не надо слов.

В соболя завернемся от стрелы и меча Кучумова? Серебром укупим Сибирское царство? Парчу да бархат поволочем через все горы, глушь всех лесов, сквозь лешие дебри — к кровавым сечам?

Вояка со скарбом! Ему б саблей взмахнуть, да полны руки коробьев. Как боярышня с домком да возком.

Закон! Не про то закон, не про наше дело, тяготу нашу и смутный завтрашний день неведомой грозной войны!

Передали от струга к стругу, что атаманы согласились, Михайлов спорил и сам признал — иного нет. Стихли, рассыпались сбившиеся было кучки. И Селиверст замолчал.

Батька объявил:

— Приберем на обратном пути, целей будет и нам ловчей.

По-иному заговорили:

— Никто тут не тронет.

— На постой становим — дожидайся нас.

— Как у царя в кладовке — чисто, сухо, милое дело.

Вон какие голоса!

Селиверст молчал. Что кинуто — кинуто навсегда. Еще будем ли и сами в обрат!

Казначеев, что были под Михайловым, поверстали в простые ратники. Войска прибавилось! Ответ же за войсковое добро — оружие, припас — остался на атамане Матвее Мещеряке.

Все были мокры, валились с ног. Скорей бы!

...И с тех пор уже не одну сотню лет ищут в уральских пещерах несметные богатства, положенные Ермаковым войском.

2

Боковые речки сносили в Чусовую осеннюю муть и опавшие листья. Но одна из них катила по кедровому лесу прозрачную воду.

— Серебряна река,— сказал Бурнашка Баглай.

Он увидел, как передний атаманский струг повернул в нее, в реку Серебрянку.

Больших гор не было. Обнажились камни. Торчали скалы, как гнилые зубы. Извилистые гряды преграждали кругозор, и река виляла между ними. За поворотом — новая тесная лощина. Каждая походила на западню. И без громких песен, засылая вперед обережной, ертаульный легкий стружок, двигались казаки.

На привале атаман призвал двух татар-толмачей, взятых из строгановских вотчин. Он был хмур и молчалив.

Моросило. Каплями оседала сырая мгла. Она цеплялась за скалы, за вершины деревьев. Висели неподвижные туманные клочья. Казалось, тут гнездо их.

Лица людей покрыла сизая сырость. К утру одежды делались пудовыми. На дне стружков перекатывались лужицы воды.

Один из стругов встряхнуло. Люди привскочили, и сошедшиеся с обоих берегов кедровые ветки скинули с них

шапки. Казаки завозились у струга в стылой воде. Под днище подсовывали ослопья.

— Сама пойдет... Сама пойдет...

Серебрянка быстра и узка. Ермак, махнув все еще возившимся людям, велел стачать лыком три паруса и перехватить речку за кормой застрявшего струга.

Вода на мгновение вздулась около плотины, затем прорвалась. Но уже качнулся струг. С протяжным криком протолкнули его мимо изъеденного камня-утеса, одетого мелким ельником.

На другое утро еще в темноте люди будили друг друга. Весть мгновенно облетела стан:

— Убежали.

Не спрашивали кто. Скрылись, несмотря на крепкую охрану, татары-проводники.

Тяжелой тишиной встретили в стане мутно сочившийся рассвет. Дико и пустынно вокруг...

К парусному навесу атамана три казака привели человека, малорослого и скользкого, покрытого черной кожей. На коже виднелись остатки чешуи: человек был в рыбьей одежде. Он забормотал скоро-скоро на непонятном языке. Баглай, подойдя, склонился над ним.

— Твоя врала, моя не разобрала,— сказал исполин.

— Убить поганца,— сквозь зубы с ненавистью произнес Селиверст.— Из-за них терпим, из-за них от себя свое оторвали.

Один из конвойных отозвался, как бы оправдываясь:

— Вогул, рыболов... смирный.

— Смирный? Наше будет жрать. Чтоб как на Сылве?

Спокойный голос перебил:

— Ты, что ль, врага еще не повидав, убивать рад?

Селиверст на миг онемел перед Ермаком. Вдруг скулы на маленьком, в кулачок, лице его задвигались.

— Я... А что ж?.. Татаровья убегли. Кровное наше — им, им!.. Всех поганых убивать!

— И про Сылву ты кричал? — так же спокойно спросил Ермак.

— Зима — вот она! Память коротка, думаешь? Не забудем Сылву! Что ж мы? Без обуток... Голы!.. До одного жгинем! Погиба-а-а...

Два раза с короткого размаха Ермак ударил его по лицу. Он шатнулся, отлетел и, падая навзничь, еще кричал:

— ...а-а-а!..

— Живым оставлю,— сказал Ермак.— Людей мало. Но как еще услышу, не посмотрю, что мало,— голову долой! Гноить войско не дам. Гром же свой — не на таких вот бессловесных, не на вогуличей, рыбой живых... При себе оставьте, еще понадобится ему грянуть!

И скорыми шагами пошел прочь.

На весь стан раздался окрик Кольца:

— Чего гамите? Верна дорога, бурмакан аркан!

Посланный дозор воротился с вестью, что невдалеке, в двух-трех часах, есть речка и течет она в сибирскую сторону.

Водяная дорога через Каменные горы, короче всех, никому до того неведомая, никем не слыханная, была найдена.

Зимний острожек обнесли стоячим тыном [1].

Вокруг лежала охотничья страна. С вогульских стойбищ казаки привозили юколу — мороженую рыбу — и соленое мясо. Стойбищ не разоряли; но не все отряды блюли атаманов запрет.

Один отряд забрел далеко — до Нейвы. И татарский мурза, по волчьему закону тайги, перебил гостей всех до единого.

Ходили на охоту. Подстерегали сохатых у незамерзающих быстрин — водопоев. Из норы подняли лисий выводок.

Перед весной, подделав полозья под струги, казаки потащили их волоком.

— Разом! Ну-ка! Взяли! Сама пойдет...

Но струги тяжелы. Казаки «надселись», как вспоминает песня, и кинули весь строгановский флот [2].

3

Подошла весна, медленная и скупая. В погожие дни ручьи становились голубыми от небесной синевы.

По рекам Жаравлику и по Баранче казаки на связанных плотах спустились до реки Тагила. Тут останови-

---

[1] Место, где стал этот второй город Ермака, известно, его называют «Ермаковым городищем», или «Кокуй-городищем»; поблизости течет речка Кокуй.

[2] Еще двести лет спустя на казачьем волоке лежали Ермаковы струги. Сквозь днища их росли вековые деревья.

лись. Валили лес, строили новые струги. Гудели уже первые хрущи. Тяжелой, черной работой было снова занято все войско. На этом месте стал третий городок Ермака. В него в случае беды могли бы вернуться казаки.

Построили струги, погрузили припасы и поплыли вниз по Тагилу.

Урал исчез, будто его и не было, рассыпался редкими синими холмами.

Там садилось солнце. Неяркий, жидкий закат растекался холодной желтизной.

В чужой, неведомой стороне двигалось войско. Далеко, за уже невидимыми горами осталась русская земля...

4

Разведчики рассказывали о покинутых юртах. Земля лежала пуста. Казалось, она примолкла, затаив дыхание. Настороженная, она молчаливо тянулась по обеим сторонам реки.

Но пока ничто не преграждало пути. Воды Тагила вынесли струги в Туру. Сосновые и кедровые леса попадались реже. Река то спокойно текла среди степей, то, стесненная отвесными берегами, бурлила и пенилась на стремнинах.

Однажды показалась толпа всадников в острых шапках, с круглыми щитами у груди. Раздался звук, похожий на быстрый свист кнута. И тотчас одно весло повисло в уключине, движение струга прижало его к борту. Гребец удивленно смотрел на стрелу — как она торчала в его руке и как вздрагивало еще ее оперение; и он неловко пытался вытащить ее. Рядом выругались. Звонкий голос крикнул:

— А ну, шугани!

Стукнули ружья, в них торопясь вкатывали пули; пищальники по двое брались за пищали. Но не успели зарядить и изготовиться, как спереди заорали неистово:

— Клади оружье! Клади!

Подчинились не вдруг, с ропотом.

— Греби! Налегай! — орали впереди.— Таи огненную силу! Передавай назад!

На атаманском струге забил барабан. По барабанному бою струги подтянулись кучнее. Барабан ускорял дробь. Весла сверкали все чаще. И еще учащал удары барабан. У гребцов еле хватало дыхания. А барабану все было мало. Он частил, он сыпал скороговоркой. Пена

заклубилась в следе атаманского струга. И за ним летели, рвали речную воду остальные струги. Всадники неподвижно застыли на берегу, словно пораженные видом этого необычайного каравана. Потом исчезли.

На новом речном изгибе показалось несколько земляных юрт с торчавшими кверху концами жердей, и тут выскочило к реке вдвое больше всадников.

— Не проскочить,— сказал Брязга.— Ударим, юрты пошарпаем.

— Вон там отлого,— указал на берег Кольцо.— Мне десятка довольно. Слышь, батька? Вмиг обойду!

Ермак смотрел из-под руки, ответил:

— Тороплив.

На берегу молча ждали. Но едва ертаул поравнялся с юртами, стрелы косо вжихнули перед носом его и за кормой. Кто-то охнул на струге. Толпа на берегу испустила вопль.

— Не пробьемся,— повторил Кольцо.— Десяток давай, отгоню!

— Родион в крови. Смыря пораненный.— Ермак выпрямился, обернулся к Кольцу: — Бери ж струг, Иван. Ин по-твоему! Только стой: языка мне надо.

Кольцо перескочил на подбежавший стружок, и тот развернулся, обогнал атаманскую ладью и, враз ударив всеми веслами, понесся наискось к отлогому месту выше юрт. Всадники на берегу заколебались. Конной дороги к месту, куда летел струг, не было. Одни поскакали прочь от берега, оглядываясь. Другие спешивались. А Кольцо стоял во весь рост под жужжавшими стрелами.

Все струги Ермака проскочили тем временем вперед.

Отдаленный крик донесся до них, раскатились два выстрела. Скоро плотный черный дым встал там, где были юрты.

Казаки гребли медленно. Они услышали нестройную песню раньше, чем показался нагонявший их стружок. На дне его лежал связанный лыками, в одежде, измазанной кровью, татарин с бритой головой. Он ответил на вопрос, чьи юрты:

— Епанча.

— Вы захотели злого,— сказал Ермак.— Но я не поднял руки. То был только один мой палец, а твоих юрт уже нет. Иди с миром. Скажи всем.

И он приказал перевязать рану татарину, накормить его и выпустить где пожелает.

Плыли в тюменских пределах. На берегах виднелись клочки ржаных и овсяных полей. Там, где стоял некогда город Чимги, теперь были только кочевые юрты.

Старики принесли мяса, хлеба и шкуры зверей в знак мира.

— Власть Кучума кончилась,— объявили казаки.

— Кто снимет ее? — спросили тюменцы.

— Мы сняли ее с вас!

— У Кучума воинов — как листьев в лесу. И мы не помним, когда мы жили по своей воле. Разве деды помнят... Вы уйдете, откуда пришли,— что скажем мы хану, горе нам?

Тут, прервав путь, остановились казаки.

5

Ночью свет месяца дробился на быстринах и широко разливался над разводьями, повитыми тонким туманом. Там сонно и сладко пели лягушки, и казался безгранично мирным этот серебристый простор. С высокого берега слышались голоса: то гуляли молодые казаки, и девушки с мелко заплетенными жесткими косичками смотрели на них, чуть откинув худенькими руками кошмы в юртах.

Мало-помалу замолкли голоса. Пустел берег.

Гаврила Ильин воротился к стругам, когда уже померк серебряный блеск, лягушки перестали стонать, уснув, и ровно-тусклая поздняя желтизна от заходящего месяца одна лежала на безмолвной реке.

Место Ильина — на большой крытой барке с припасами. С чуть слышным скрипом качнулась под ногой барка, и сильнее потянуло тиной от воды.

Тогда сиро и одиноко стало Гавриле.

Он взял дуду. Сдавленный, тянущий звук помедлил и нехотя слетел с нее. Но другой вышел чище, легкокрылей. И уже рассыпчатые звуки звонко понеслись вослед первым. Затеснились, бойко подхватывая друг дружку, чтобы вместе взбежать по тоненькой, как ниточка, лесенке. Тугая, хлопотливая, ликующая жизнь билась теперь возле Ильина.

И будто не он им — они ему рассказывали, он только прислушивался, чтобы не проронить ни слова.

Они рассказывали о стране с синими жилами вод, с бегущими тенями облаков. Той страной плыли казачьи

струги,— походила она на пятнистую звериную шкуру. Лебединый клик раздавался с озер. Белые камни высились над потоком, иссеченные письменами неведомых людей.

Костяки древних незнаемых воинов тлели под курганами, позеленели медные острия их боевых копий...

На высоте звуки становились хрупкими, как льдинки, и потом падали, ширясь, делаясь горячими. И от этого щекотный холодок пробегал вдоль спины Ильина. Он больше не видел мертвенной пустынной желтизны, не замечал, как гасла в ней осторожная, негромкая его игра,— иной мир сиял кругом него, просторный, светлый, щемящая радость жила там. Возносились к небу острые скалы, ладьи бежали с моря. Войско шло в лихой набег. Заломленные шапки, острые ножи за поясом. Всадники с красными щитами выметнулись на берег, стрелы преградили путь войску. Но сквозь стрелы вел его непобедимый атаман, мимо мелей, через перекаты, по голодной черной земле. И подобен он тем великим атаманам, о которых давным-давно на берегу реки Дона поминал старый старик,— Нечаю, Мингалу, Бендюку. Он вел войско затем, чтобы раскинуть шелковые шатры — как самоцветы на лугу — под птичий щекот, под ясные песни белогрудых женщин...

— Про что играешь?

Наплыл туман, Ильин только теперь заметил человека, стоящего на носу барки. И тотчас перестал играть и робко спросил:

— Не спишь, батька?

Человек, переступая через кладь, подошел, чуть блеснули глаза против перерезанного чертой земли, уже не светящего месяца; под бортом булькала черная вода.

— Хорошо играл. А про что?

— Ни про что... Сердце веселил.

— Про наши дела, значит,— утвердительно кивнул Ермак. Присел на борт, заговорил: — Много игры я наслышался — и нашей русской, и татарской, и немецкой, и литовской. Песен много разных. Всяк по-своему тешит его — человечье сердце... Под золоту-то кровлю всякого манит...— И помолчал.— А такая запала, парень, что не тешила, не манила...

Вдруг — мутно виделось — он закинул голову, торчком выставив бороду, протяжно, низко — утробой — затянул:

Не грозовая туча подымалась,
Не сизый орел крылья распускал —
Подымалась рать сто сорок тысячей,
С лютым шла ворогом биться
За землю, за отчину.
Подымался с той ратью великой...

Не хватило голоса, он тряхнул бородой, отрезал песню.

— Кто подымался, батька? — подождав, спросил Гаврила.

Ермак точно не слышал.

— А то будто женка причитает: под березой нашла ратничка, порубан он — меж бровей булатом:

Век мне помнить теперь того ратничка
На сырой земле на истоптанной,
Да лицо его помертвелое,
Алой кровию залитое,
Да глаза его соколиные,
Ветром северным запыленные...
Ты за что про что под березку лег?

Распевно повторил, отвечая за мертвого:

За родимую землю, за отчину...

И шумно передохнул.

— Унылая песня. А на смерть с ней идут. Нет сильней того, с чем на смерть идут, парень.

— Где ж то — в войске царевом?

Ермак не ответил.

— Нешто мы царевы! — рассмеялся Ильин.

— Эх ты!..

Скрылся месяц. Забелел восток, и, наклонясь вперед, рукой опершись о колени, медленно заговорил Ермак:

— Все поле черным-черно от ратничков. И как ахнет сила-то, поле-то, одним кликом грянет. И пошло войско на приступ...

Что он вспомнил? Казанский поход? Начальные времена Ливонской войны? Нежданный разговор, нечего отвечать Ильину, да вряд ли Ермак и ждал ответа.

Тишь. Простор в редеющем сумраке. Птица сонно подала голос. Никого — только мы.

— Никого! — сказал Ильин и опять засмеялся.

Ермак мельком глянул на него и строго продолжал — Ильин слышал:

— ...Калужские, московские, рязанские, камские, устюжские... Нас-то сколько? Полтысячи! Своей, ду-

маешь, силой сильны? Вон чьей силой! И Дон не сам — той силой стоит.

Уже была эта речь, и тишь, и ночь была — ночь за тем днем, как на буйном кругу решился путь на Каму. А теперь что? Его ли, трубача, вразумляет атаман или опять спорит, все спорит с тем, кого нету, с мужиком Филимоном?

...Звуки-льдинки над закурившейся туманом сонной водой. Близок рассвет. Грянет войско в поход, непобедимый атаман поведет его по неоглядной, по утренней земле.

Теми, давними, его же собственными, в ту волжскую ночь сказанными словами ответил Гаврила атаману:

— Свой простор, нетронутый — вот и сыскали его...

Атаман оборвал:

— Памятлив... Помнишь. Только понял ли что? Поживи с мое, по земле потопай, по Руси — и своим умом дойдешь. А сейчас — что сказал я тебе, в это вникни.

Поднялся тяжеловато, будто с досадой. Но вдруг передумал что-то, улыбнулся.

— Памятлив... Хорошо. Да и что же без памяти была бы человечья жизнь? Птичий век!

Уж высветлилось небо. С береговой кручи протяжный крик:

— А-а... он!

Тотчас отозвалось близко на стругах:

— Сла-авен До-он!

И дальше:

— Тюмень-город!

Перекликались дозорные.

У борта валялся топор. Ермак поднял его, спросил:

— Твой?

— Смырин. Родивона.

— Что ж, и прибрать некому? Кидаем, парень. Что топоришку — струг состроим и тот в лесу покинем! — Он постучал о борт топором, чтобы плотнее насадить его.— Иной скоротал век, хлеба скирду стравил, а оглянись — ничего не осталось, трын-трава весь его век. Тропочки-то хоженые узки, все собьемся на них, что́ было за душой, и то дарма расточаем... Хозяина земле надобно.

В холодном тумане безжизненно чернели недвижные струги. Ермак сунул топор под рогожку, бережно перешагнул через кладь, занес ногу через борт на корму соседнего струга. Там встречу ему поднялся человек.

— Здоров, Яков. Рановато!

— Свет уж.

Атаман заговорил озабоченно:

— Нынче борта подобрать: поплывем, волну опять черпанем. Порох — надежней укрыть в середку. Смолы насмолить, пока стоим здесь...

Еще кто-то поднялся на струге, ошалело озираясь спросонья, пошел, кутаясь в рваный зипун, к краю за своей нуждой.

Михайлов рукавом отер мокрую бороду, лицо.

— Вот тоже... Обносился народ. Без баб томятся...

Безмерное небо сливалось на востоке с безмерным зыбким и белесым простором водяной казачьей дороги.

Днем атаман призвал к себе Гаврилу.

— Дорогу разведать надо. Посылаю тебя глазами казачьими. Дело сделаешь, важнее какого нет для нас. Жители окрест не держатся за Кучумову власть. Насильник он, пришлец — не свой. Отряд возьмешь, разведаешь, что за юрты, чьи, где конец Тюменскому ханству. И чтоб добром встречали войско. Слышно, что даже в трех, а то и четырех днях пути сидит еще не Кучумов раб, а тархан, который хоть платит дань, а сам себе вольный господин.

— Один пойду, без отряда. Короб возьму.

— Ну, добро, по-волжски. Вспомнил старую службу,— усмехнулся Ермак.— А я вот еще и Девлет-бея, «крестничка» твоего, тоже не забыл.

Ильин набрал товару попестрей. Бугор скрыл короб за его спиной, колышущийся в лад с широким ровным шагом, и непокрытую голову, на которой ветер развевал русые волосы.

6

Раненный в грудь Родион Смыря лежал, угрюмо морщась; когда ему становилось очень больно, он мял и крутил подстилку, иногда пальцы его сами шевелились в воздухе; но не стонал, молчал.

Его с другими ранеными положили в юрте; он попросил перенести его на струг. Вечером, услышав трубы, он сказал:

— Жидко играют. Дуют, надрываются. Радости нет...

— Лежи,— перебил сидевший возле него казак с такой черной мощной, пышной шелковой бородой, что и звали его не по имени, а Цыганом.— Еще и не видевши боя, а уж долой из строя. Лежи!

Раненый рванулся, боль пронзила его, он скрипнул стиснутыми зубами.

— Цыц! — прикрикнул Цыган.— «Не хочу быти Родион, хочу зваться всяко, кличь — Аника-вояка»... Ну, чего тебе? Шкурку-то, рухлядишку малость поиспортили? Так ведь и на бессловесном скоте заживает, на тебе подавно...

Цыган бережно поправил повязку раненому. Уселся шорничать. Молчать он не мог, сыпал прибаутками, которые придумывал иной раз складно, а по большей части нескладно; но все равно его черные, почти без белков, цыганские глазки-сливы довольно поблескивали.

— А играют жидко,— сказал он,— Ильина все нет Гаврюшки...

Об Ильине ничего не слышно вот уже пятый день...

На горке над Турой стоял казачий дозор. Дозорной вышкой служило дерево, как у закраин Дикого Поля на Руси.

Внизу ульи юрт лепились друг около друга и бежали с горки вниз, в балку речки Тюменки. Над юртами курились дымки, тянуло кислым запахом жилья.

Постоянно возвращались казачьи отряды. Завидев их издали, дозорный кричал:

— Наши!

Но Ильин как в воду канул.

— Нету,— с натугой повторил Родион Смыря.— Так. Не его одного уж нету. Богова сопля твой Ильин. Носитесь с ним. А чего носитесь? Ваня играл. Ребров Ванятка. Бес сгубил — за грош. Закон — он един, чтó для атамана, чтó для меня.

Тяжелый взор Родиона впился в быстро и ловко ссучивающие щетинки с дратвой руки Цыгана.

— Порхаешь,— с хрипом выдавил из себя раненый. Он сказал это о легко летающих руках Цыгана. Но объяснять было трудно ему или просто не захотел.— Шлеи тачаешь, хомуты... А кони где?

— Ну, как не быть коням. Нынче нет, завтра не миновать — ан вся снасть, хвать, и готова. Казак и конь — что палец и долонь.

От его места шел крепкий дух кожи, пропитанной лошадиным потом. Цыган с наслаждением вдыхал его. Неведомо, где он раздобыл все эти груды конюшьего снаряда. За работой стихала его тоска по коню. Шорничал и мастерил он даже для татар, силком выволакивая из какой-нибудь юрты сбрую или седло, требовавшие, по его мнению, особенно искусной починки.

Отряды ворочались благополучно, лишь один попал в засаду, неизвестно чью, двоих мертвых принесли обратно казаки. Их положили на высоком берегу; все войско прошло мимо мертвецов.

Родион Смыря попытался встать и снова упал навзничь.

— Иди! — захрипел он Цыгану.— Кидай все к дьяволу. Богдана Брязгу предоставь сюда.

— Холуй я тебе? — проворчал Цыган.— Лежишь, жиреешь, люди ему бегай. Найду я его, как же! И не придет он вовсе, на кой ему такая колода...

— Селиверст, поганец, пальцами растереть — жаль, пальцы запачкаешь,— а прав. Сабли наголо надо. Чтоб страх был. Воюем или что мы? Перебьют, передавят поодиночке...

Цыган вытер руки о фартук. Где ни искал он Брязгу по всему месту прежнего города Чимги, а отыскал. И Брязга пришел.

— Долго будем домовины казачьими телами набивать? А? Ответь, Брязга. Али это не казаки — овечки? Закопаем, лягут неотомщенные — и все? Ладно так? Может, и закона больше нет, чтó един для тебя, для меня, для атамана? И поход откинули — зимовать здесь обреклись, авось-либо Кучум смилостивится, переберет наших, да кого и оставит!

— Молчи, Родион, говорю тебе — молчи!— закричал Брязга.— Посеченные, порубанные, постреляннные... ты не видал их.

То ли выдохнул шумно, то ли прорычал что-то Родион, повязка сорвалась с его груди, он не стал поправлять. Слушал.

— Поднять войско да вдарить. Конешно: сердце у каждого казака отмщением горит. Ужаснется орда. Кольцо Иван согласный с этим. А нельзя.— Брязга покорно и недоуменно развел руками.— *Не велит*, слышь! Вот убей, спроси меня — отчего завсегда делать по его надо?

Не скажу, не ведаю. А надо. Как рассудит, так и надо; уж я говорю тебе...

Показался Бурнашка Баглай. Да и была ли такая сторона или местечко во всем стане, где он не показывался? Словно маячил он сразу тут и еще у пяти стругов, у десятка шатров, там, где берегли пищали и где кашевар готовился раздавать свое горячее варево. Показался Баглай и надолго засел на высоком берегу на пригорке, на солнышке.

— Бурнашка,— окликнул его снизу Цыган,— и чего ты все думаешь? Где ж наш Гаврюшка, скажи?

— Что тебе, человече, мои мысли? — ответил Бурнашка.— А про Гаврилку ведай, что друг ему я. Ничего не станется с ним, пока я жив, помни! Мне б пойти вместо него, я б того тархана вмиг кругом пальца обежать заставил и себя самого в зад поцеловать!

— Уйди,— прохрипел Родион Смыря.— Уйди, чтоб не видел тебя. Провались... пустобрех. От таких, как ты, сохнет казачий корень.

Бурнашка встал, мигая светлыми глазами. И пошел с серьгой в ухе, жмурясь от солнца, покачиваясь на длинных, как столбы, ногах. Вечером он вернулся на горку. Короткий кафтан не сходился на его груди, под кафтаном был полосатый халат, на голове навернут какой-то тюрбан...

Ермак хмурился. Саблю попробовал пальцем, востра ли, но опустил. Слышали, как сказал атаманам:

— Запозднились. Правда, тюменских мужиков повидали... Но доле мешкать нету нам досуга. Сам пойду с отрядом, спытаю то, чего не вызнал доглядчик: одной ли саблей воевать нам или отыщутся еще иные помощники против Кучума. Да и где сам он, доглядчик. Богдан, ты со мной.

Юрты попадались редко, иные пустовали — жители укрылись, в других — старики выходили навстречу, покорно сгибая морщинистые шеи. Почти не останавливался нигде Ермак, шел все дальше и дальше.

— Отдохнем после.

Городок стоял, окруженный саженным рвом; за перекидным мостком — стража с копьями и толстыми пуками стрел в саадаках.

Из городка вышел начальник стражи.

— Гости московиты?

Ермак ответил:

— Московиты.

— Из Бухары идете?

Вопрос неожиданный. Но Ермак не сморгнул.

— Так, идем.

— Тархан жалеет, что вы продали верблюдов барабинским людям. Тархан говорит, что вам надо было ехать прямо к нему, а уж потом, если захотите, в Барабу.

Дивясь, но по-прежнему без запинки отвечал Ермак:

— Нам сказали, что тут нет верблюжьего ходу, есть водяной. Товары не все расторговали, нарочно оставили, везли для сильного господина — тархана.

Начальник стражи цокнул языком.

— Господин видел. Товары хороши. Сколько вас?

— Десятеро,— сказал Ермак.

— Войдут пять.

— Малым числом пускают,— шепнул Брязга.— Ты — голова войску, я войду.

Повел пятерых. Оружие у них спрятано под полами. Ермак остался за воротами.

Тархан сидел на цветных подушках в грубо срубленной избе — полный человек с лысым высоким лбом и заплывшими глазками. Но иногда они вдруг словно вьюркивали из своих нор и делались рысьими, зоркими.

Гаврила Ильин на корточках в углу избы играл на жалейке. Тархан перебирал, не глядя, ворох побрякушек из мелкого строгановского товара. Напротив сидел поджарый татарин с желтым лицом скопца и курил.

— Долго ждал,— сказал тархан.—Твой человек говорил: через два дня будешь. Я рад. Больше товару надо. Мой город богат. Мои воины могучи. Нет могучей их! — крикнул он, и было очевидно, что это относится не к гостям, а к невозмутимому курильщику.

Развязали новые короба, привезенные Ермаком. Ильин, ловко встряхивая кудрями, разложил товары. Тархан еле взглянул.

— Мои. Беру. Еще?

Говорил «мало», а даже не глядел!

— У тархана Кутугай,— шепнул Ильин.— Из ближних ханских. За данью приехал.

Брязга тотчас обратился к поджарому:

— А ты, господин, что потребуешь?

Кутугай презрительно шевельнул веками без ресниц.

Ему надоели эти истории с купцами, возящими нищие товары из Московии в Бухару и из Бухары к толстяку, который пыжится посреди своих болот. Глупые истории и волыночное дуденье — ими три дня морочили ему, Кутугаю, голову, отводя прямой вопрос о покорности и дани хану!

Дерзкая мысль мелькнула у Брязги. Такого подарка атаман не ждет!..

Возясь с коробами, казаки отгородили Кутугая от тархана.

— Слушай,— вдруг хрипло, настойчиво зашептал Брязга желтолицему.— Для тебя иной товар. Покажу, айда, пойдем с нами.

Расслышал ли что-нибудь тархан? Он только сказал Ильину:

— Играй.

И переливы жалейки слились с сипеньем Кутугая, которому затыкали рот кушаком.

С порога казаки низко поклонились тархану. Глаза его тусклы и безучастны, и он, сидя со своими телохранителями посреди ножей, колец, зеркал и ларцов, даже не переменил позы. Возможно, замысловатые купеческие истории были ему рассказаны так, что не показался слишком удивительным и необычайный конец его спора с ханским сборщиком.

От избы «вольного господина» до перекидного мостка всего полтораста шагов. Люди с изумлением глядели на гостей: пришли с коробами, а уходят с мурзой. Но никто не остановил их. И стража почтительно, как ни в чем не бывало, склонившись перед связанным Кутугаем, тотчас перекинула мост.

— Богдан,— сказал Ермак,— не сносить тебе головы! Спасибо, брат.

Гаврила видел, как атаман шагнул к Брязге и крепко, долгим поцелуем поцеловал его. Ильина же потрепал по плечу.

— Рад, что жив. А за службу от войска спасибо.

Как только понял Кутугай, что не купцы его схватили, он перестал рваться. Он убедился, что его ждет плен, а скорее всего мучительная смерть, и считал, что победитель вправе так поступить с побежденным. И он утих; к этим людям он по-прежнему чувствовал презрение и думал о том, чтобы не проявить перед ними слабости духа. Но случилось то, что сбило его с толку.

Ермак посадил его рядом с собой. Вынесли дорогие подарки, перед которыми в самом деле были ничто побрякушки в избе тархана.

И не успел мурза прийти в себя от изумления, что горсточка с виду нищих, невесть откуда взявшихся людей сначала схватила его на татарской земле, а теперь одаривает, как услыхал речь, полную льстивых восхвалений его, Кутугаевых, высоких достоинств и совершенств хана Кучума.

— Велик хан. Силен хан,— говорил Ермак; он весел и доволен, точно не он Кутугаю, а Кутугай ему сделал самый дорогой подарок.— Ай-яй-яй! — сожалел казацкий атаман.— Выходит, вона как принимают ханского мурзу князьки да тарханы!

И Кутугай качал с ним вместе головой и говорил, что не легко быть верным слугой великого хана.

— Да уж зато потешу тебя,— старался угодить гостю Ермак.— Байгу тебе покажу.

Пяти стрелкам велел палить. Железная кольчуга пробита насквозь, как травяная! Мурза цокнул языком, веки его невольно дрогнули.

— Полно! Глупая забава прискучила гостю! В диковинку ль то ему? Прощай. Мне в обрат пора. За рухлядишкой посылали нас Строгановы, купцы. Слыхал? Да вон куда залетели. Еще выберемся ли? То — тебе. А это — хану в почесть, коль примет его милость от серячков...

Клинок с серебряной насечкой атаман с себя снял. И темно-пушистые соболя, лисы, на которые так скуп был тархан...

На глазах мурзы русские погребли на восток и долго махали шапками.

Кутугай же, не допустив к себе тархана, поскакал в Кашлык и вскоре, в русском цветном платье, поцеловал пыль у ног хана. Перед ханским седалищем он разложил подарки Ермака. Затем он рассказал об удивительных гостях, об их щедрости, вежливости, их мудром смирении и об их непонятном оружии. Впрочем, уже гребут эти гости против течения по сибирским рекам; запоздали, спешат до осени вернуться на Русь... Да и всего их — на пальцах сочтешь.

Дотянувшись до ханского уха, Кутугай зашептал о тархане. Сердце его черно, как болота, в которых он живет. И хорошо бы, чтобы почернела его голова на копье, воткнутом посреди его городка.

А Ермак в это время поспешно со всем войском плыл вниз по Туре. Теперь-то он знал, что не только в пищалях и пушках его сила!

7

В том году надолго залежались уральские снега, потом быстро растаяли, и вода высоко поднялась в сибирских реках.

От крутого правого берега струги отходили далеко — на полет стрелы. Плыли там, где месяц тому назад была твердая земля. Ивовые ветки гибко выпрямлялись за судами, осыпая брызгами с пушистой листвы. Еловые лапы и листья берез касались воды, деревья словно присели, расправив зеленые подолы. В лесу вода стояла гладко, без ряби. Лес скрывал ее границы: казалось, она простиралась беспредельно, плоская, плотная, темная в ельнике, светло-зеленая в березняке. Волнами накатывал запах осиновой коры. Белыми свечами вспыхивали черемухи, окутанные медовым облаком. Внезапно лес расступился, открывая голубой островок незабудок. Из зарослей взлетала стая уток и с кряканьем падала в воду: утки не боялись людей.

Справа распахивались просторы еланей, немятые травы уходили в сияние далей. Глинистые обрывы казались пористыми от дырочек ласточкиных гнезд.

— Сладость тут,— говорил тихий казак Котин, гребя на последнем струге.— Земля-то богатая. Матушка-кормилица...

— Ничья земля,— отзывался кто-нибудь из строгановских людей.— Осесть бы, сама кличет.

На атаманском струге Ермак говорил Михайлову:

— Дорогие места, да еще дороже будут. Втуне лежит земля. Спит. Сколько в мире, Яков, сонной той земли!

Водяная дорога, как просека, легла в лесу. Осиновые и березовые ветви выносило оттуда в Туру. Откуда приплыли? Видно только — совсем недавно отломлены, свежесрезаны. На стержне, где сталкивались струи, завивалась легкая пена. Рогатый жук, шевеля усами, карабкался на щепку, которая перевертывалась под ним. Но он без устали, без спешки, равномерно, упрямо, упорно двигал лапками, все цепляясь за скользкую щепку. Полуденное солнце освещало реку. И в глубине расходились,

оседали тяжелые мутные облачка, качая тонкие волосы водорослей. Это вливалась в Туру темная вода реки Пышмы.

Шел последний день тихого плавания казаков.

Рвы и раскаты показались вдалеке над чернолесьем. Сух тут был и левый берег, а на правом толпились и скакали, горяча коней, всадники. Пешие лучники усеивали валы Акцибар-калла.

Кони с тонкими ногами и выгнутыми шеями казались игрушечными. В толпе мелькало несколько искр, очевидно шишаки вожаков.

Трудно было представить себе, что это далекое крошечное, муравьиное войско, рассыпанное по гребню крутого красноватого берега, значит что-то в необозримом сияющем просторе, в солнечной прозрачности воздуха.

Но сразу, как по знаку, смолкли все разговоры о своем, обиходном, только нарочито громко перекликались между собой струги. Особенная, напряженная бодрость переполняла людей. Гулко над зеркальной гладью летели голоса. Вдруг заиграли трубы, забил барабан на атаманском струге. И тотчас, как дуновение, долетел спереди отдаленный многоголосый крик.

Мерно в уключинах застучали весла, все чаще, дробнее. Уже стали видны морщины на обрыве: огромный, голый, дымчатый, повис он над изворотом реки. Но что ж мы — опять мимо?

Вокруг переднего судна — темное облачко ряби. Задние смотрели, как гребцы рвали там веслами воду, запрокидываясь назад, и как одно за другим повисали весла. Гул ярости прокатился по стругам. Упруго круглясь, забелели по бортам дымки выстрелов. На берегу гнедая лошадь поскакала, волоча в стремени большое тело человека с завернувшимся на голову азямом.

Опустел гребень обрыва, но гуще, беспощаднее секли воздух и воду стрелы укрывшихся за валами Акцибар-калла лучников. Только струйки и столбики праха безвредно вздымали на валах казачьи пули.

И тогда остановилось все водяное войско.

Трое в шишаках вылетели на вал, джигитуя.

Снова заговорила труба на атаманском струге.

Глинистый холм высился у реки правее города. Туда по звуку труб двинулось несколько стружков.

Гроза, размахивая шапкой в длинной костлявой руке, первым прыгнул на берег.

Люди полезли по скользкому обрыву; трое втаскивали пищаль.

— А ну, ребята, миром!..

Молодые строгановские работники и пахари лезли, карабкались, срывались.

Обессилев под сыпавшимися стрелами, залегли на полугоре, били из ружей. Гроза, оборачиваясь, взмахивал шапкой. То искаженное его лицо, то голый шишковатый череп мелькали выше и выше по круче.

— ...о, о-а!..— донес ветер его крик.

Вверху раскачивался чернобыльник — близкий и недосягаемо далекий, за ним — нерушимая небесная голубизна.

Вдруг что-то надорвалось среди взбирающихся на холм. Сперва нерешительно, в двух-трех местах, потом поспешней, по всему скату, люди покатились вниз, к реке. Нахлобучив шапку, бешено вертя саблей, делая странные прыгающие движения, чтобы сохранить равновесие, Гроза что-то кричал. Что он кричал, не было слышно. Над рекой стоял грохот. Грязные клочья дыма с запахом пороховой гари цеплялись за воду. Спрыгнув с ладьи, вытаскивая ноги, глубоко ушедшие в ил, врезался в толпу Брязга.

— Куда, куда? Мухи с дерьма! — взвизгивал он, неистово ругаясь, молотя, рубя по головам, по плечам бегущих.

Две стрелы впились перед ним в плечо и в руку худого высокого казака в изодранной одежде. Глянув на Брязгу налитым кровью глазом (другой был давно выбит в боях), казак выдернул с живым мясом одну стрелу за другой и ринулся вверх, осклизаясь по глине.

Люди поворачивали и, поколебавшись мгновение, согнув спину, как перед прыжком в холодную воду, кидались опять на приступ.

Очень высоко на срыве холма лежала, почти висела зеленоватая тупорылая длинная пищаль, удерживаемая чуть взрытой ее тяжестью землей.

— Наша! Бери! Не отдавай, ребята! — крикнул кто-то из передних, и в один миг пронеслось это по казачьей толпе, и все увидели теперь одиноко брошенную пищаль.

Но татары сверху тоже видели ее. Сильный их отряд уже засел на холме. Странный этот неуклюжий предмет

на скате связан с громом «невидимых стрел»; сама необычайная сила пришельцев застряла на крутизне!

Началась борьба за казачью пищаль. Высокие шапки показались над обрывом. Грянули, раскатились выстрелы; несколько тел сорвалось с вышины, перевертываясь, раскидывая руки.

Но выдохлись, отхлынули и русские.

Тишина окутала холм. Замерли залегшие во вмятинах ската живые — рядом с мертвыми. Ласточки, тревожно метавшиеся над рекой, влетели, щебеча, в свои земляные гнезда.

Татары ждали сумерек. И казаки знали это.

То было состязание на выдержку.

— Не отдадим, ребята!

Пядь за пядью, на ширину ладони, на вершок, осторожно готовя, выбирая следующее движение, ловчась выискать прикрытие, морщинку на крутом скользком склоне, хоронясь за мертвецами, подползали казаки к одинокому тяжелому, тусклому стволу.

Добрались до верха всего несколько человек. Ружья они передали товарищам, залегшим ниже по склону.

Вот он, ствол, носом зарывшийся в землю, вот оно, голое место кругом него. И вдруг зачиркали по глине, по сухим былинкам стрелы!

Тогда вскинулся кривой казак в измаранной кровью рваной одежде, стрела тотчас пробила его шапку и осталась торчать в ней. Высокий, жердеобразный, страшный, горбоносый, с клоком черных с сединой волос, падавших на выбитый глаз, на опаленное лицо, он взмахнул обеими руками, как бы разгребая что-то плотное, что было вокруг него, и скакнул вперед.

— Бери-и! Принимай! — дико заревел он.

И упал на ствол, сбил, увлек его вниз своим телом.

— Антипка! Анти-ип! Милый! — раздался старческий крик: дед кинулся к падавшему внуку...

Длинные вечерние тени стлались по земле. Струги отошли вверх от города.

В темноте победными татарскими кострами запылал берег, валы Акцибар-калла и холм, у которого легло столько казаков; красноватые отсветы перехватили воду.

На рассвете труба прервала свинцовый сон тех, кто выдержал весь кровавый день накануне. Они слушали. Отбой? Назад в Тюмень? Нет, снова атаман бросал на

приступ войско. На этот раз всех людей со стругов. На тот самый холм и на отлогость перед ним, где открытый простор татарским стрелам с раскатов и с холма.

И, как делывали это русские рати, казачье войско подняло знамена-хоругви. Атаманский струг среди самых первых уперся в мелкое прибрежное дно. Вскочив на нос, атаман оборотился и махнул мечом во все стороны своему войску. Никола-угодник, суровый и седобородый, иссеченный дождями, исхлестанный ветрами, покрытый пороховой копотью, шествовал впереди.

Вся татарская сила собрана в один кулак, чтобы смести казаков в реку, уничтожить их начисто. Чем поможет пищальный гром безрассудным в битве грудь с грудью? С торжествующим кличем ринулись татары из-за валов, с холма, на бегу измеряя взглядом — сколько тех, пришедших с реки? Вон они все. Других нет. И все сами пожаловали на вчерашнее место!

Туда, где началось смятение, пробивался атаман.

— Погоди, погодь! — кричал он на бегу.

В шлеме и в кольчуге, он тяжело обеими руками подымал не саблю — меч, Никиты Григорьевича дар, покряхтывая в лад мерным, несуетливым взмахом, основательно, на совесть делая нелегкую, ужасную, неизбежную работу. Слыша его голос, казаки дрались остервенело. Они плотно держались около своего атамана, там и сям вырывались вперед, тесня, откидывая, топча врагов. Четверо оказались на венце холма. Но тотчас двое из них рухнули навзничь с обрыва, перекручиваясь в падении, сбивая нижних.

— Погодь! Е-ще! Погодь!..

Но шаг за шагом отступал атаман с тесной кучкой казаков все ближе к берегу.

Об одном беспокоились татары: только бы не ушли! Только бы не выпустить!

В шишаках, в кафтанах с железными пластинами, устремились к Ермаку трое, распихивая своих. Не простые воины — князья, сами хотели схватить, как на звериной ловле, вожака пришельцев. Тогда отдаленный раскатистый крик раздался позади татар.

То вторая половина казачьего войска, тайно высаженная вчера, пока татары, торжествуя, отбивали русских от холма и отстреливались с городских раскатов, ночью глубоко обошла вражеский стан и ударила с тыла!

Татары увидели высоко летящую по воздуху новую, такую же самую хоругвь. Им почудилось, что она раздвоилась, волшебно удвоив русское войско, и что нарисованный на ней бог или атаман указывал казакам, как поражать татар.

8

Пустынны берега Тобола. Ничто не оживляло эту страну. Ветер трепал седые нити ковыля. Леса сменялись открытыми пространствами, и березовые островки подымались над степью. Там, где высокий обрыв возносился над рекой, воздух под ним казался густым и неподвижным. И челны стремились скорее по стрежню проскочить такое место.

Ни днем, ни ночью теперь не было отдыха. Следы конских копыт испещряли мокрую глину берегов. Внезапно раздавался знакомый посвист. Хриплый короткий вскрик на каком-нибудь струге рвал тишину. Но как увидеть, откуда прилетела стрела?.. Влегали в весла, натягивали паруса, чтобы поспешно уйти вперед.

В сердце огромной враждебной страны вступало казачье войско. На редких привалах караульные прикладывали ухо к земле: не донесется ли конский топот? В воздухе ловили запах гари, дымок костра.

Ночевали на стругах.

Не решались раскладывать огонь. Грызли сырую рыбу, ели муку, взболтанную в мутной воде.

Гнус столбами стоял над стругами, облеплял лица, руки, забирался под одежду; до свету зудела кожа.

Не вынеся, иные зажигали гнилушки, погружали лица в едкий дым.

Что-то тихо толкнулось о борт струга. Тело колыхалось в воде. Отблеск гнилушки пал на мертвеца.

— Гаси! Гаси огонь! — заорал казак на струге.

Сноп огненных искр прочертил воздух. Вода слабо зашипела.

Наутро медленно, осторожно двинулись дальше. Мыс в густых елях темнел на пути. Течение вынесло из-за коряг длинноватый полупогруженный в воду предмет, снова он догнал казаков, прибился к стругам, и казаки опять узнали синие разошедшиеся ступни мертвеца и позеленевшую от тины жидкую бороду...

9

На атаманском струге разговор:

— Что там?

Яков Михайлов козырем надставляет ладонь над глазами.

— Бель на волне... Рябит.

— Перекат? У тебя вострей глаза.

— Не, Ермак... Завалы...

— Не проскочим?

— Перебит стрежень. Завалы, а меж завалами бом... Останови струги.

Сгрудившись, стали все суда.

Ночью выслал Ермак два малых отряда лазутчиков, по обоим берегам.

Один отряд не вернулся. Другой привел языка.

...Там, в тесном месте, где гребнями вздымались берега, хан велел запереть воду — путь казачьему войску. Есаул Алышай приставлен караулить загороженный Тобол, чтобы уничтожить суда, когда они наткнутся на железную цепь между завалами.

— Пусти в обход,— сказал Кольцо.— Сделаю, как с Епанчой. Акцибар-калла тем взяли.

— Сколько войска тебе, Иван?

— Алышайка жёсток. Половину отряди.

Яков Михайлов пожал плечами.

— Один раз — удача. Вдругорядь — счастье. То же третий раз — бабья хитрость, кого обманешь?

Гроза покосился угрюмо.

— Надвое поделимся — вдвое и ослабнем.

— Всем войском вдарить,— подал голос Брязга.— Ей-ей! Сшибем. А не сшибем...

— Не сшибем, так и с голодухи недолго подохнуть — злобно подхватил Мещеряк.— Припас-то что́ потоп, что́ подмок, что́ крыса сожрала.

— Так что ходу ни вперед, ни назад,— повернулся Ермак к нему.— Пророки! А ну еще думай! Ты, Никита?

Пан вынул изо рта коротенькую трубочку.

— Як же без хитрости? То ж ветряк спросту руками махает... А было у меня шестнадцать хлопцев — мало! Перекрестился — бачу: тридцать два! Так то еще когда мы с ляхами бились, чуешь, батько...

— Добро,— сказал Ермак.— Чую, атаманы. И думаю: не в лоб и не полсилой в обход. Вот как: прямо на-

грянем и в тот же час всем войском обойдем. Сладим так?

Два дня стоял Ермак у цепи, запертый на той самой воде, которая делала его неуязвимым.

На третий день он повернул обратно. Но, отъехав несколько верст, велел казакам ночью собирать хворост. Так рассказывают летописи. На хворостяные вязанки надели зипуны. В глубокой тьме казаки с Ермаком вплавь добрались до берега. На стругах с хворостяными людьми остались только укрытые камышом, кугой, тальником, соломой — чем придется — гребцы.

Наутро суда с распущенными парусами двинулись к цепи. Татары встретили жданную добычу, которая наконец давалась в руки: стрелы с зазубренными наконечниками разрывали паруса; стрелы гигантских, в рост человека, луков пронизывали толстые борта.

А пока длился бой с хворостяными людьми, Ермак, далеко обойдя врага по суше, ударил в спину Алышаю. Был вечер. Татары торопливо молились молодой луне.

Казачье войско, приплывшее по реке и заговоренное от стрел, а теперь вдруг явившееся на суше, показалось татарам бесчисленным и волшебным.

Кинув убитых и раненых, отстреливаясь с седел, Алышай и его воины бежали. И Ермак по конскому топоту понял, что, поверни ханский есаул в сторону казаков, всех бы перетоптал одними конями.

Место, которое караулил Алышай, Ермак назвал Караульным яром. Название это сохранилось до наших дней.

10

Воды катились слева, с запада. Безмолвно стояли залитые лески. Холодно поблескивала чешуя мелкой ряби.

На широком разливе, где встречались прибылые воды с тобольскими, остановились казаки.

— Что за река?

Шалаши лесных людей стояли у ее устья. Здесь рыбачили вогулы-манси, бродили охотники остяки-ханы. И они назвали реку каждый на своем языке.

А татарин Таузак, Кучумов слуга, не успевший ускакать, потому что короткие и прямые дороги очутились теперь на тинистом дне, сказал третье имя реки, уже слышанное казаками там, на русской, пермской земле:

— Тавда.

И приостановилось тут, как бы заколебавшись, поредевшее в боях казачье войско: слышало, знало, что по Тавде — последний путь, путь к Камню, на родину...

Вот на длинной плоской намытой косе чернеют казачьи сотни.

Старик в широких портах, голый по пояс, чинил рубаху. Поднял ее, рассмотрел на свет слезящимися глазами, потер костяшками левой руки красновато-черную, будто выдубленную шею, вытащил кожаный мешочек, набил крошевом долбленку. Рубаху положил на землю, привалил чуркой, а сам поковылял к костру, присел на корточки и раскурил угольком.

Хмурый, очень исхудалый, видимо после тяжелой болезни, казак следил за стариком.

— Что у тебя? Где раздобылся? Дай потянуть,— попросил он.

Другой старик, весь розовый, с почти голым розовым черепом, на котором совсем мало осталось белых, во все стороны раскиданных волос, остановил казака:

— Ни к чему тебе, Родион.

— Не у тебя прошу.

— Ну, запороги там,— продолжал розовый старик,— а то, окромя их, значит, никто меж православными прежде таким грехом не баловался — зельем табашным.

— А ты не крещеный?

— Я в Турщине был, меня чуть в евнухи к сералю с женками не приставили.

— Мелентия, верно, там, в Турщине, в попы евнуховы становили, так, что ли?

— Ты на Мелентия не кивай, как яз, так и он, заодно мы.

Вернулся Мелентий. Молодой запорожец с короткими, бесцветными, густыми, как мех, волосами отмахнул рукой горький дым Мелентьевой носогрейки.

— То-то тютюн твой як у турецкого паши — трохи очи не выест. «Запороги!» — передразнил он розового старика.— Казать не вмиешь...

— Был, братцы, у меня тютюн,— заговорил казак, ножом строгавший ветку.— Ех! Креста не сберег, его сберег. Сереге Сниткову дал поберечь, дружку. А того Серегу туринская волна моет.

— Плыл все за нами, отстать не хотел. Видели, ребята? Звал нас, что ли...

— Шалабола,— зло сказал Родион Смыря.

Все примолкли.

Лишь розовый старик, уже тугой на ухо, бормотал свое:

— Грех да баловство... молодые! А чего разбаловались? Антипка-то, внучек, ирой, всему казачеству ведомый, сам знаешь, красавец, а зелья и ему не дам ни-ни, ни синь-пороха. Млад-зелен... «И думать не смей»,— говорю. Бабоньке его на Дону, слышь, обещал я — так уж пригляжу за ним.

Когда он был в «Турщине»? Когда на Дону? Ему казалось — только вчера. Все чаще, охотней он говорил о далеком прошлом, видя его яснее, чем настоящее.

Мелентий взял его за рукав.

— Пошли, дед, днище постукать. Забивает вода в струг, что будешь делать!

— Уж конопатку сменяли, сотский велел,— охотно стал рассказывать круглолицый парень с того же струга, что и деды.— Издырявил, вражий дух, борт, чисто решето. Стрелой бьет наскрозь, ровно пикой холст. Где берет такую стрелу?

— Нашву нашить,— отыскался советчик.

— Лес-то мокрый, тяжелый. Валить его, братцы, да пилить с голодухи....

— Да ты какой сотни?

— Тебе что?

— Нет, ты скажи!

— Да он кольцовой.

— Оно и видно — прыгуны. У нас в михайловской — служба, ни от какой работы не откачнешься.

— Сумы зато у вас опять толсты.

— Может, у есаулов толсты...

— А что, братишечки,— сказал вдруг вовсе не к разговору круглолицый парень,— мужик-то, он мается, землю ковыряет век, скупа землица мужику, грош соберет, полушку отдаст.

— На Руси, братцы! — отозвался Котин, и нельзя было понять, восторг, тоска или странная укоризна зазвучала в его голосе.

Казак из михайловской сотни повернулся к молодому запорожцу:

— То ж у вас, у хохлов: палку в землю воткни — вишеньем процветет.

А Родион, морщась, поднял рубаху. Грудь его была замотана тряпкой.

— Хиба ж вишня,— равнодушно ответил запорожец, пригладив меховые волосы.

Бурое пятно проступало в тряпке на груди Родиона.

— Все саднит, Родивон?

— Не, портянка сопрела,— серьезно вместо Родиона ответил круглолицый парень-балагур.— Посушить, не видишь, хочет!

— Мажет он чем стрелу, что ли,— сказал казак, строгавший ветку.— Ой, вредные до чего... Царапка малая и та чисто росой сочится и сочится. Не заживет, хоть ты что.

— Дед Мелентий пошептал бы.

Родион Смыря сказал с сосредоточенной злобой, разматывая тряпку:

— Супротив его стрел не шептать — железные жеребья нарезать заместо пуль. Пусть спробует раны злее наших.

— Не трожь, Родион! — прикрикнул Цыган.— Не береди, говорю. Конское сырое мясо приложу — оно всяк яд высосет.

Он только что выкупался. В воде, окутанный облаком брызг, неистово колотя руками и ногами, он отфыркивался, горлом издавал непостижимые, вдоль по всей косе разносящиеся звуки, похожие на гусиное гоготанье, ржание целого табуна и вопли о спасении. Выскочив, кинулся валяться на песке. Потом, покрытый словно рыбьей чешуей, топал ногами, похлопывал ладонями, как ямщики в стужу. Холодный ветер обдувал его, туча налетела на солнце и, не выдержав, Цыган схватился за рубаху.

— Без коня человек — полчеловека,— закончил он свою мысль из-под рубахи, которую тащил обеими руками через голову. Просунув голову, отдуваясь, успокоил: — Вмиг зарастет твоя шкура. Хоть и долго не зарастает, гнилая у тебя шкуренка, Родион...

Натягивая же штаны, сообщил:

— И чего это: раньше не сойдется очкур, натачать уже думал. А ныне засупонюсь — вроде и вовсе нет меня, хоть другого мужика в те же порты вместе со мной пихай. Ангел, видать, хранитель полегчил меня — поклажу снял с души, брюхо тоись.

Котин показал на восток:

— Дождь на низу-то. И вверху, видать, лило — взмутилась Тавда.

— Вихорь развеет, бела туча.

— Слу-у-шай! — протяжно разнеслось вдоль берега.

Вдруг зашевелились, закопошились. Раненые подбирали с песка разложенные посохнуть лоскуты.

— Федюня! — позвал голос Мелентия.

И круглолицый балагур в тот же миг встрепенулся, вскочил и, тряхнув волосами, побежал к стругу, по которому «стучали» деды. Люди уже облепляли струг. Под покрик, взрывая песок, челн съехал в воду, качнулся на волне.

Мелентий Нырков, по колени в воде, кинул в челн топор. Вышел, потопал, зябко натянул зипун, вздыхая.

— Владычица...

Снова протяжная команда:

— По стру-угам!

Теперь у каждого струга кучка людей. Но вот один кто-то оторвался, отбился прочь, следом за ним еще несколько, потом многие; они торопливо бежали обратно, шапками зачерпывали тавдинской воды.

— Ушицы похлебать? — сердито окликнул бегущего мимо Родион Смыря, закрывая, запахивая грудь и с натугой подымаясь.

Казак, к которому он обращался, отпил глоток, но не вылил воды из шапки, сказал:

— Вишь, играет. Прах светлый, земляной, легкий! Чисто рыбки...

— А Тобол небесной мутью мутен — так мнишь?

— Черна она тут, земля. Суземь...

Неожиданно лицо Родиона, угрюмое, худое, с землистыми губами, покривилось.

— Дай-кось напоследях,— тихо сквозь зубы попросил он.

Но уж тот, все держа шапку донцем книзу, кинулся бегом за своими.

И вдруг нетвердо, неуверенно еще, будто только просясь и отыскивая себе место, поднялся над говором, над нестройным шумом запев:

По горючим пескам,
По зеленым лужкам...

Новый голос поправил:

Да по сладким лужкам...

Быстра речка бежит,—

продолжал запевала.

И разом несколько голосов перехватили:

Эх, Дон-речка бежит,—

И уже понеслось над всем берегом в звучной торжествующей чистоте:

Как поднялся бы Дон —
Сине небо достал.
Как расплещет волну —
Не видать бережков:
Сине море стоит.
Ветер в море кружит,
Погоняет волну...

Люди садились в струги: примолкла песня, но не умерла совсем, тихо, с жалобой продолжалась она на другом конце косы — далеком оттуда, где родилась:

А уехал казак...

Заливисто, высоко вступил, запричитал голос Брязги:

Ой, ушел в дальний путь...

Снова охнул берег:

На чужбину гулять,
Зипуна добывать...

Тогда, вырвавшись, овладев рекой и берегом, опять взвился голос Брязги:

«Не забудешь меня!
Воротись до меня»,—
Дон-река говорит...

Подстерегши, чуть только зазвенев, обессилел он, в тот же миг выступил другой, густой, настойчиво зовущий, в лад глухо ходящих, стукающих в уключинах весел:

«Я тебя напою,
Серебром одарю»,—
Дон-река говорит.

И опомнился, окреп, мощно покрыл серебряный водяной простор хор:

Я твое серебро
В домовину возьму,
Ино срок помирать
Нам не выпал...

— Нам не выпал, братцы, еще,— выговаривал голос Брязги.

Гей та бранная снасть.
Та привольная сласть —
То невеста моя!

Из отдаления невнятнее, дробимая эхом, долетала песня, и, когда не видно стало стругов, все еще доносилась она, слабея, из-под черной крутой, нависшей на востоке тучи, и казалось — там, далеко, с дробным постуком копыт шли конные полки.

11

Хан Кучум понял наконец, что не следовало верить цветистым речам Кутугая. Помчались гонцы, у каждого стрела — знак войны; но им долго пришлось скакать, пробираясь в отдаленные урочища. Согнанный народ спешно рыл глубокие рвы вокруг городков на Иртыше. В лесах валили деревья — засекали дороги.

Махметкул сидел рядом с ханом.

Иногда, когда входили и повергались перед ханским седалищем мурзы, беки и вожди племен, молчал старый хан, а громко, смело, повелительно говорил Махметкул.

И хан с любовью обращал к племяннику свое лицо.

Вечером, когда они остались одни и зажгли в покое светец с бараньим жиром, Махметкул сказал:

— Едигер Казанский и Иван Московит стояли друг против друга. Каждый тянул в свою сторону веревку, что свил Чингис. Чуть крепче бы мышцы Едигера — вся стала бы его. То не был год зайца, но год свиньи. Мурзы, беки — подлая свора — перегрызли силу Едигера. Ты жил уже, когда снова могла бы воссиять слава Бату, а вышло так, что вознесся Московит. Но ты жив еще, и в твоей юрте, хвала богу, свора лижет ханскую руку.

Хан безмолвно кивнул. Не к сыновьям от многих жен — к этому юноше прилепилось его сердце, одинокое после гибели Ахмет-Гирея, брата.

Страшна и непонятна эта гибель. На ястребиную охоту уехал Ахмет-Гирей. Истерзанное тело его нашли у Тобола, там, где впадает в него речка Турба. Один человек, с лицом в оспинах, бывший там, видел, как напали на князя. Пораженный ужасом, он кинулся звать княжьих слуг. Но те, допустив своего господина переехать за

реку на лодке, без толку скакали верхами, смотря, как увозят его неведомые всадники. Человек же раздирал себе лицо, падал ниц и громкими криками все умолял людей князя догнать похитителей.

Человека этого схватили и привезли в Кашлык. Хан, обезумев от горя, велел срубить голову главному ловчему и сам развязал того, кто видел последние минуты Ахмет-Гирея. Снова и снова велел хан повторять о них рассказ. И каждый раз, тихонько воя, человек-свидетель ногтями кровавил оспины своего лица, пока хан не удержал его руки.

Был этот человек из бедных скотоводов, кочевавших к югу от Иртыша. Он просился обратно в свое кочевье. Но выяснилось, что часто, еще с детских лет, он встречался с московитами на конских торгах, понимал их язык, знал обычаи; и хан оставил его при себе.

С тех пор закрылось сердце хана для всех, кроме юноши Махметкула.

Но тороплива молодость, хан понимал это. Сейчас не время юному долго сидеть со стариком. Махметкул встал. Угасающий взор хана с любовью и благодарностью проводил его.

Во дворе джигит глотнул напоенного полынью и гарью очагов ночного воздуха. Прыгнул на коня, погнал вскачь, закинув голову; Млечный Путь — Батыева дорога качалась над ним. На шапке Махметкула белел в свете звезд знак полумесяца.

12

Суда плыли сгрудившись, тесно держась одно к другому, не решаясь растягиваться по реке.

Ввечеру тревожно заплакал рожок с обережного челна. Татарская конница тучей стояла на берегу. Всадник впереди всех пригнулся к лошадиной гриве. Сзади него не шелохнулись волчьи шапки воинов. Концы коротких копий горели на солнце.

А за буграми подымались дымы. Они пятнали небо вдоль почти всего берега. Костры скрытого войска!

Новый отряд на темных конях вылетел на пустынное место, мимо которого уже прошли казачьи струги. Точно огромная невидимая дуга коснулась там реки другим своим концом и заперла обратный путь казакам.

Тогда с громким возгласом атаман Ермак в легкой кольчуге сам первый выскочил на берег. Он не дал времени своим заробевшим поддаться малодушию, а врагов ошеломил дерзостью.

Так началась сеча у Бабасанских юрт.

Спасительная тьма ночи укрыла казаков, уцепившихся за клочок береговой земли.

В обоих станах не сомкнули глаз. Татары подползали, как кошки, и тот, кто вторым замечал врага, через мгновение хрипел с перерезанным горлом.

Утром, припав за телами мертвых, русские били в упор из ружей. Татарские лошади, роняя пену с губ, вставали на дыбы и пятились от вала мертвецов.

Прошел день.

Казаки стреляли, старались обойти врага, резались с хриплыми выкриками грудь о грудь. К вечеру стала мучить жажда, о голоде забыли. Слышались рядом то русские, то татарские торжествующие крики, гремели выстрелы, то близкие, то удаляющиеся.

Внезапно впереди наступила тишина.

Хмурясь, Ермак послал разведать вражеский лагерь. Разведчики поползли по вытоптанной траве; сумерки поглотили их.

Они возвратились перед светом.

— За лесом пустое место... Там пепелища велики: костры разметанные... Подале — колки, островки да лог. Сколько ни иди по-над тем логом — ржут кони,— донесли разведчики.

То была вторая бессонная ночь.

На заре показалась толпа пеших воинов.

Внезапно передние присели, и за ними открылся ряд гигантских луков, чьи стрелы пробивают еловые доски.

Пищальный гром не испугал лучников. Но под яростным натиском казаков татары начали отходить — медленно, повертываясь лицом к врагу, чтобы пустить стрелы.

Они отходили на открытое, голое место.

Всадник, нахлестывая камчой коня, нагнал казачьи отряды, хлынувшие, преследуя врага, из леса на поле.

— Копай окоп! Копай окоп! — передал он приказ.

Лошадь, почуяв степной ветер, потянулась мордой вперед и призывно заржала. Он стегнул ее, будто огладил, она повернулась на задних ногах, и поскакал Цыган вдоль войска. Под ним было татарское седло, в кото-

ром еще час назад несся на русскую рать воин Махметкула.

Мягкую, жирную землю рыли торопливо, выбирая ямины, вмятины. А с поля все тянуло порохом, сухой пылью и медовым запахом цветов.

Казаки остановились: напрасно татары продолжали свое притворное отступление. Настало долгое безмолвие. И первые не вынесли его там, в стане Махметкула.

Словно ропот бегущей воды донесся издали.

Казалось, он не нарастал, только перекатывался неумолчно. И вдруг будто тысячи горошин покатились по железному решету за краем земли.

Возникло черное пятнышко. И как бы вихрь клубился в нем. Справа и слева, из полукружия чернолесья, вынеслись другие пятнышки. И росли с каждым мгновением.

Не задерживая своего движения, конные отряды пристраивались друг к другу, сливались в одно на стремительном скаку. Широко растянувшись на пустом, чуть покатом поле, летели, неслись в пыли сотни всадников.

Топот сотряс землю. Заполнив всю ширь, устремлялась на тонкую ленту пеших казаков скрытая доселе сила Махметкула. Гривы развевались по ветру, виднелся оскал конских зубов, волчьи шапки пригнувшихся наездников.

Не шелохнувшись, ждали казаки.

В самое мгновение, когда вот-вот истает пожираемая вихрем свободная полоска между рядами пеших и конной лавой, сверкнула одиноко поднятая сабля. Грянул залп. И казаки исчезли. Вмиг. Лошади с опаленной шерстью с маху перескочили через ямы. Страшный удар пришелся по воздуху.

Но острые лезвия, взмахнувшись снизу, распарывали брюхо лошадям. И новый залп загремел в спину перескочившим.

Тогда впервые в этом долгом бою у Бабасанских юрт замешательство охватило татар. Десятки воинов, сорванных с коней, легли на землю.

И с этого мгновения повел бой не Махметкул, а Ермак.

Двое суток еще, таясь в ложбинах, внезапно налетая, пытаясь прорваться к стругам, жестоко вымещая на захваченных казаках свое бессилие и непонятную гибель лучших воинов,— двое суток оспаривал Махметкул у Ермака Бабасанские юрты.

На пятый день боя юноша разодрал концом окровавленного клинка свою одежду и повернул коня прочь.

Но было измучено, обессилено и казачье войско. Казаки также ушли — в лодки, на воду, в свои текучие рубежи, недосягаемые для врага.

Они отстояли землю на берегу — холмы, лес, болото и равнину — и покинули ее. Они одолели врага в пятидневном бою, но сколько мертвецов зарыты в сырую сибирскую землю, сколько остались лежать так, незарытыми, на пищу волкам, на расклев птицам!

И вот два струга полным-полны ранеными, изувеченными, и нечем их накормить, кроме тощей размазни из толокна, и нечем напоить, кроме мутной тобольской воды.

Победили, но нет ни сна, ни отдыха, и нельзя остаться у места победы: кто знает, с какой новой ратью явится завтра сюда Махметкул.

И по властному звуку атаманской трубы взялись за весла истомленные гребцы.

13

— Татары!..

Высок и отвесен берег, стеной тянется, насколько глаз хватает.

Собрались на один струг все атаманы.

— Не пробиться...

— Одну голову срубишь, другая растет...

— Посуху бы ударить...

— Посуху? Ты после Бабасана отдышаться дай!

— А проскочим — силу-то какую позади себя оставим!

— Долог яр, краю не видать, Ермак...

Он поднял воспаленный, тяжелый взор.

Словно слушал в эти дни и в бессонные ночи не то, что говорили вокруг, а то, что немолчно звучало, говорило внутри него.

— А тылом обернемся — ух, гладка дорожка: юрты Бабасанские, Алышаев караул, Акцибар-западня, Тарханов городок, Чимга-Тюмень, Епанчовы гостинцы, Камень студен да ледян — и к Строгановым... к чердынскому воеводе. Принимай соколов!

Он исчислял все это стремительно, со страстным напряжением.

Прищурившись, окинул взглядом всех в атаманском челне. И вдруг:

— А ну-ка, песельников!

На самом переднем стружке в голоса вплелась труба. Гаврила Ильин поднялся во весь рост, лицом к казачьему войску. Все громче, смелей трубил он и, когда завладел песнею, вдруг задорно повернул ее, заиграл другое. Как бы испытывая свою власть над певцами, он нарочно еще пустил лихое коленце и смотрел, как покорно зачастили весла в лад новой песне. Да, теперь он уже умел это, наконец умел,— то, чего Ваня Ребров, утопленный молодой казак, добивался своим голосом и своей песенной силой.

На берег Ильин не глядел, не слышал ветра, плеска воды, крика татарских всадников. Ему чудилось, что труба тоже выговаривает человеческим голосом. То был его голос и в то же время не простой голос, а громовой, властный, он гремел над водой и сушей, он надо всем возносил самого Ильина. Будто сильнее всех стал Ильин. И с веселым ознобом между лопатками Гаврила то высоко вскидывал песню, то заставлял звуки заливисто, протяжно стлаться по реке, то рассыпал их мелким бисером.

— Эх, трубач, язви те!..— восторженно, умоляюще ругнулся вдруг один из песельников.

А Ильин трубил атаку и победу при Акцибар-калла, у Бабасанских юрт, выпевал те песни, которые играл тархану,— песни о казачьей славе. Ему казалось, что это он ведет все струги и управляет всеми покорными веслами; и до тех пор, пока не иссякнет сила, жившая по его воле в медной трубе,— до тех пор не опустятся весла и будет невредимым он сам и все войско.

Истомленный, он оторвал трубу от пересохших губ, бессильно сел. Далеко уже позади в сумерках прятался Долгий яр.

Тут остановились струги. И новых мертвецов принял топкий левый берег.

Могилу вырыли общую, над ней воткнули крест из двух березовых жердей.

И поспешили опять на струги, чтобы день и ночь, без остановок, сменяясь у весел для короткого сна, плыть и плыть... [1]

---

[1] Плавание мимо выстроенного, как на смотру, татарского войска у Долгого яра было одним из тех дерзновенно смелых решений, которые уже современникам Ермака внушали мысль о его походе как о чудесном и совершенном с помощью сверхъестественных сил.

На правой стороне Тобола верстах в двадцати от устья вытянулось узкое озеро. Возле него жил Кучумов карача. Ему полагалось доносить хану «обо всем хорошем и обо всем дурном, обо всяком, кто бы ни пришел и кто бы ни ушел».

Нежданные нагрянули сюда казаки.

Правда, доходили и раньше вести о них. Но карача, маленький старичок, насмешливо кивал безволосой головой. Полтысячи — против всего Сибирского ханства! Где-то, во многих днях пути вверх по Тоболу, истекают кровью безумные пришельцы. Не о чем доносить хану.

Явление этих неведомых «казаков», неуязвимых, с непостижимой быстротой пронесшихся сквозь все заслоны, высланные навстречу отборные отряды, и внезапно очутившихся в глубине ханства, ошеломило карачу. Но он не сдался, а затворился в городке.

А они ворвались в город. Голодные, изнуренные сверхсильной тяготой этих недель, на теле почти у каждого горели раны... В тобольском илу и в черной болотной земле зарыты их товарищи. На двух тесных, смрадных стругах помирали тяжко изувеченные.

И жестока, ужасна была ярость Ермакова войска.

Никого не пощадили из пораженных ужасом защитников города и трупы побросали в озеро.

Наконец им достались хлеб, мясо, мед и в сотах и в бочках. И в этот страшный день они сыты и пьяны. Но сам карача успел бежать...

14

Медленно поднималось, раскачивалось лоскутное царство. Неохотно извергало оно из своих недр войска и посылало под тяжелую руку Кучума.

Люди в берестяных колпаках на голове приехали из тайги. Вокруг поджарых оленей с лысыми по-летнему боками заливались лаем своры длинношерстных собак, которых держали в голоде, чтобы они стали злее.

Воины остяцких князьков вступили в Кашлык под звуки трещотки. На их щитах скалили зубы намалеванные страшные хари, а стрелы вымазаны ядовитым соком лютика.

Степные кочевники пустили вскачь своих косматых лошадей на крутом въезде в ханскую столицу. Облако

пыли осело у жилища Кучума. Безбровые лица всадников казались покрытыми мукой.

Тогда хан медленно двинулся верхом через свою столицу. И люди, мимо которых он проезжал, поднимались с места и следовали за ним. Так он повлек за хвостом своего коня пестрые лоскутья сибирского войска.

Но грозна была слава казаков, и Кучум не решился напасть на них. Он только отошел недалеко от Кашлыка и велел устроить засеку на высоком берегу Иртыша, возле мыса Чуваша, или Чувашева, в двух верстах выше впадения Тобола.

Сам же укрепился наверху горы.

Вперед выслал большой отряд, чтобы запереть выход из Тобола в Иртыш.

Так стоял Кучум на полдороге между своей столицей и казаками. И те знали, что теперь предстоит встреча с главными силами Кучумова царства.

Уж год как вела по неведомой стране водяная ниточка, чуть прерванная только у каменного темени Урала — там, где прорастали древесные побеги сквозь днища брошенных строгановских судов. Но страна, мнимо преодоленная, снова смыкалась, пропустив струги. И как бы ничего не было: ни побед, ни отчаянной смелости, ни чудесной мудрости, ни богатырских, будто былинных подвигов.

Все еще только предстояло.

Ермак оглядел свое поредевшее войско, частицу русской земли, далеко залетевшую...

Кто ставил городки на Кокуе, на Тагиле? Разве не сама русская земля городками этими перешагнула через Камень и, ширясь, стала в незнаемых местах? Кто и чьим именем брал «поминки» [1] у покорных тюменских стариков, думая не про то, как бы «пошарпать» кровавой саблей добытые богатства, кто шел неотступно вперед, хотя не было богатств, а вместо них смертная бранная тягота? Кто складывал ханскую дань с земель и низвергал хищную власть мурз, кто думал и стремился привлечь к себе эти земли, оставить крепкими за собой, посвоему, по-хозяйски устроить их? Вольница, не знающая удержу, не воевала так во время удалых набегов на Волге, в ногайских степях... И монгольско-тюркские покорители — джехангиры — не так проносились над миром: развалины на века отмечали их путь.

---

[1] Малая дань, пошлина.

Донскому закону подчинялись казаки. Но хоругви были не донскими, а русскими ратными знаменами.

Казак, справно знавший «церковный круг» (он же, когда надо, в помощь кашевару, а то и за плотника), дед Мелентий Долга Дорога бормотал перед знаменами обрывки ектеньи вперемежку с непонятными словами, похожими на заклинания. Набрав в горшок тобольской воды, он шептал над ней и брызгал потом на вылинявших от солнца и непогоды угодников, на землю-мать и на казацкие сабли. И молился владычице и Николе.

Тут во время долгого сидения в городке Карачине, перед тем как принять последнее нелегкое решение, Ермак назначил войску еще одно испытание.

— Поститесь! — приказал он.

Из сорока четырех дней, проведенных ими в Карачине, они постились сорок, хотя успенскому посту положено быть только две недели.

«К смерти бесстрашные, в нуждах непокоримые...»

Кровавое крещенье окрестило их, нужды закалили.

Но перед последним неслыханным подвигом атаман еще испытывал их нуждой.

«Что мимоходом урвали, то и добыча наша...» Здесь, в пошарпанном Карачине-городке, и это тоже переламывал атаман. Не на нее одну, не на вострую удалую саблю будет оперто его дело, когда свершится тот подвиг.

...Впрочем, Мещеряк, не мигая водянистыми глазами, по косточкам расчел, что припасу мало, на чужой холодный берег стучится осень, неведомо, что ждет впереди.

И рачительный хозяин, отдавая приказ поститься, усмехнулся в бороду:

— Будем беречь припас.

Четырнадцатого сентября казаки снялись и поплыли дальше. Они с боем дошли до устья Тобола. Светлое, белесое под пасмурным небом пространство раскрылось перед ними. То был Иртыш.

15

Широкая волна, как на море, ходила на нем, завивала гребни.

Ночная тьма окутала все. И во тьме казаки увидели огни. Не приставали к берегу. Ермак улегся на пахнущих смолой и сыростью досках струга. Но не спал. То ле-

жал тихо, чтобы не разбудить спящих,— им надо набраться сил,— то неслышно вставал и без шапки подолгу смотрел на далекие огни.

Они подымались дорожками ввысь, к звездам, тянулись длинной цепочкой, повиснув высоко, смешиваясь со звездами, и можно было понять, как высок там берег.

О чем думал тот человек, фрязин, генуэзец, про которого рассказывал Никита Строганов,— о чем думал, смотря ночью с корабля на огни в океане, огни своего Нового Света?

Сквозь шорохи и плеск воды слышался слабый, всюду разлитой как бы тонкий звук — голос ночи.

К утру засвежело. Ветер стал перебирать волосы казака. И он стоял и смотрел, приземистый, широкий, с посеревшим лицом, пока чуть видная розоватость не примешалась к тусклой белизне гребней.

Казаки проснулись. Натянули паруса. И с первым лучом поплыли против иртышской волны.

Высадились в городке мурзы Атика.

Теперь они находились в самом сердце татарского стана. Темным горбом подымался навстречу Чувашев мыс. Там виднелись татарские всадники и люди, рывшие землю.

Когда затихал ветер, доносился скрип телег. Обозы шли нескончаемо по невидимым дорогам.

Река отделяла казаков от Кучума.

Миновал день, за ним другой.

В городке было тесно. Спали на голой земле. Холодная роса покрывала по утрам блеклые травы. Голые ветви в лесу за низким валом чернели сквозь облетавшую листву и качались со свистом. В дождь черная жижа заливала земляной городок.

Струги колыхались у берега, сталкиваясь друг с другом. Их вытащили из воды, чтобы не сорвало с чалок и не унесло.

Ермак ждал.

Он рассчитывал, как тогда, у Бабасанских юрт, что враг не выдержит испытания терпением, что хан сам прыгнет, чтобы вырвать занозу из сердца своего ханства, и последний бой будет тут, у городка Атика, выбранного Ермаком.

Ханская конница впрямь закружила близ городка. Ястребиные глаза кочевников издалека различали, что делается у казаков.

Но хан не давал знака к нападению. Только стрелы подстерегали неосторожных, тех, кто показывался из-за насыпи. И все теснее сжимали свои круги подвижные татарские отряды.

Стало голодно. А татары открыто зажигали свои костры близко от городского вала, и в городок тянуло жирным запахом жареного мяса.

Обросшие, оборванные казаки подымались тогда, как косматые звери, из накопанных берлог-землянок.

И уже роптали.

...Темной ночью сесть на струги и бежать на Русь! Вот она — стылая осень, а за ней зима. Ни один казак не доживет до зеленой травы...

— Волков накормим своим мясом.

Ермак слышал это.

На все доставало силы до сих пор. Неужели не станет ее на *последнее?*

Но разве он не знал, что на той дыбе, на которую поднял он войско, еще раз заколеблется сила самых испытанных?

Теперь ни дня не ожидал он, пока глухой ропот станет открытым или заглохнет сам собой.

Он сам вышел навстречу ропщущим и поклонился, как в кругу на Дону или на Волге.

Он сказал:

— Думайте, браты-товарищи: отойти нам от места сего или стоять одностойно?

И в ответ понеслось, что слышал до того: кинуть все, бежать на Русь.

Он подождал. Потом сказал с сердцем:

— Псы скулят, а не люди. Как шли вперед, вороги бежали. Сами побежите — перебьют поодиночке. Не множество побеждает, а разум и отвага.

Показал через реку, к востоку.

— Вот он, Сибирь-город. Полдня осталось.

Заревели:

— На гибель завел! Смертную тоску сердце чует! Назад веди! Не поведешь — сами уйдем, другого поставим над собой!

Озираясь, Ермак крикнул:

— Все так мыслите? Все так присягу помните?

Толпа колыхнулась. Сзади раздалось:

— Вины нам высчитывать... Это что ж! Ханские саадаки сочти!

Загудел медленный, густой, сиповатый голос:

— Фрол Мясоед... Сумарок Сысоев... Филат Сума... Митрий Прокопьев... Пётра Дуван... Васька Одинцов... Серега Снитков...

Считал пустые места в казачьем войске, выкликал тех, чьи кости тлели в сибирской земле. И слышно было, как после каждого имени с каким-то всхлипывающим шумом человек втягивал воздух.

Над головами толпы Ермак видел высокий берег. Он тянулся с запада на восток. Крутые овраги местами прорезали его. На самых высоких буграх стояли городки. Вот он, тот бугор, что называли татары Алафейской — Коронной — горой! Кто укрепится там, будет неуязвим. Но и этот берег придется брать. Это тоже не минуло.

Он жадно смотрел за реку. Перевел суженные, пылающие глаза на толпу.

Нет, не все тут мыслили так. Он услышал Брязгу:

— Могильный выкликатель! Камень за пазуху!

Казак колоссального роста выступил вперед. Он был в бисерном татарском платке, в чувяках на босу ногу. Оправил полы балахона, похожего на монашескую рясу.

— Куда это я побегу, атаман,— вона как опять раздобрел! На Чусовой отощал было вовсе. Пытают, пытают: «С чего жиреешь? Ведь только арпу-толкан [1] и ешь!» А я говорю: как по весне тагильская вода поднялась, так в меня водянкой и кинулась.

— Бурнашка!—отозвались в кругу, и несколько человек засмеялись.

Кто-то звонко крикнул:

— Не год — пятнадцать лет шли встречу солнышку. Куда ворочаться? По следу своему не казаку — зайцу сигать...

Ермак усмехнулся.

— Его поставьте атаманом,— кивнул на Гаврилу Ильина,— коли я негож!

А Кольцо спросил:

— А ну, кто от дувана Кучумовых животишек бежать захотел?

Тогда, раздвинув стоящих, вышел Родион Смыря, не спеша поднял впалые глаза на исхудалом лице, пока его взор не встретился со взором атамана. Родион не отвел глаз.

---

[1] Арпа-толкан — поджаренная ячменная мука.

— Бессловесный твой,—бухнул он глухо,— игрец на трубе рот раскрыл. Голос ты ему дал,— свово-то ему откуда взять? Труба касаема его, не казачьи дела. Так прямо тебя, не его, спрошу, мне он...— Пальцами большой, похожей на грабли руки он произвел щелкающий звук.— Спрошу: какому закону молишься?

— Казачьему закону! На зуб попробовать хочешь? — за атамана рявкнул Кольцо; ярость вспыхивала в нем легко — как сухой порох от огнива.

— Горлом ты, Иван, не возьмешь,— с тем же угрюмым, злым спокойствием прогудел утробный голос Смыри.

Все знали его. Давно ли затянулась его рана? Новый кроваво-красный рубец пересекал его щеку. И вот он, не глядя больше на Кольца, снова впившись свинцовыми зрачками в атамана, отрубил, что надо отойти отсюда!

Места взяли довольно. И рек, и лесов, и степей — вволю. И стада, и хлеб, и покорные юрты. Отойти в Чимгу-Тюмень, отдельное от Сибири царство уже было там. Будет наше. А не отойдем,— стало быть, не обещанного, а чего-то другого ищем? Нет на то казачьего закона! Стены головой прошибать— нет на то вольного закона! Ханства рушить, хоть всем головы сложить,—нет такого и донского закона!

И, услышав, что речь о донском, старик Антипкин дед, тугой на ухо, одряхлевший за этот год, забормотал:

— А возвернемся на Дон... возвернемся, значит... дождутся нас. Семья у кого, вот как у мово внучка — бабонька, детки. Благодать-то, ясменно на небе, теплынь-туман с Азова...

Слушали, не перебивая, его бормотание — не было старее его с Мелентием в войске. Слушали, да, верно, и в душу западало.

Так, значит, с кануна, с порога, когда вот оно, через реку, осуществленье мечты неслыханной, небывалой, все оборвать, дать деру, спасая животишки,— и прахом месяцы, годы,— с Сылвы, нет, с Волги, с самого Дону, нет, раньше, раньше... Прахом вся жизнь сверхсильного напряжения.

— Ты-то! — чуть смолк старик, яростно крикнул опять Кольцо — не старику, Родиону.— Не ты, когда задержалось войско в Тюмени, отступниками от закона атаманов лаял? Всех на хана, в самое сердце ханства тотчас кинуться подымал? Теперь вышло по-твоему. Что же

ты? Обратно в ту самую Тюмень зовешь? Поворотлив закон у тебя!

— Поворотлив,— подхватил слово Ермак; он не помнил себя.— Не казачье дело? Не казачье? В Тюмень? Кучуму-царю в соседушки? Ну что ж, в Тюмень. До весны удержимся ли там? А весной хватит туринской прибылой воды косточки пополоскать. Наши косточки. Худой соседушка хан Кучум! Только тыл ему показать — все орды прильнут к нему. И те, что откачнулись, тоже. Ханы ногайские, хивинские. Вона с Иртыша до Камы... до самого Яика — орда-ханство! Тогда уж никто не посягнет на власть Кучума. Мы не выстоим — и Перми не бывать: такой уж соседушка всей Русии хан Кучум. Али забыли Бегбелия? Тогда ему сподручно станет и Казань спытать — крепка ли она на Волге, русская Казань? И Касим-паша — может, и тот не помер еще,— и его на конь подсадят... С этим воротимся на Дон... к пытке и колесу? Про них тоже забыли?..

Нету возвратного пути. Один путь: вон он, чрез речку только. Дошли — а отсель своротим? Непереносимое уж перенесли,— сами себя предадим собачьей изменой? Тех, что головы сложили... тех, кого по именам выкликали-сосчитывали, предадим? Другой раз закопать их хотите, спину супостату оборотив? Казачья клятва от века нерушима! На веки веков славу подымем. Вся Русь поклонится нам. Попы в церквах помянут. От отцов к детям пойдут наши имена...

Славу добыли — втопчем ли ее в землю?..

Орды разбили, у последнего стоим. Вона, через речку!..

Так он говорил. Словно кругами ходил вокруг одной мысли, кипевшей в нем. И все возвращался к ней, чтоб по-всякому защитить ее и отстоять. То страстно, то яростно, с издевкой, с лукавством-хитрецой.

Нет иного — вот что кипело в нем.

Он подошел в упор к Родиону Смыре, сурово сказал ему:

— Ступай. На место ступай.

Ночами зажигались, бок о бок со станом, костры. Джигит, встав в рост, выкрикивал ругательства русским. В лагерь залетали стрелы с привязанной дохлой мышью и собачьим калом.

Вдруг донеслась тревога. Крики, пронзительный жалобный вой, лязг оружия, топот погони. Кто-то, спасаясь, бежал к русскому стану. Хитрость? Но на этой стороне реки не могло быть больших татарских сил. Хитрость была бы бесполезной для татар.

С изумлением услышали на валу:

— Не стрели! Не стрели! Свой, свой...

Человек хотел взбежать на насыпь и оборвался. Он задыхался. Кровь на лице его размазана по оспинам.

Как его втащили на вал, так он и остался лежать. Засвистели стрелы: татары пытались убить перебежчика.

— Ратуйте,— просил он, молил «аману» (пощады).— Все вам скажу.

Его оттащили внутрь стана. Пришел атаман. Перебежчик забормотал, что он бухарец, гость, ограбленный Кучумом «скаженным», который «царей убил».

Но из Бухары и Хивы уже идут аскеры законного князя, аскеры идут покончить с лютым ханом-захватчиком.

— Правда, правда,— бормотал перебежчик.

Весть важная.

— Дюже важна,— признал атаман.— Под пыткой повторишь,— предупредил он человека.

Услышав атаманский голос, тот сел. Всматривался круглыми глазами. Внезапно закрыл глаза, тихо заскулил, раскачиваясь.

Потом опять быстро заговорил. Русы-батыры хотят напасть на хана? Он все скажет, где стоит сам Кучум и где мурзы его. А зачем напасть? Уйди, подожди... Гнилое дерево падает само. Близко аскеры...

Глухо чернела ночь. Даже татарские костры перестали чадить. Ермак приказал запереть человека до завтра. Поставили нестрогий караул: только прибег, куда ему податься и зачем? Перебежчик — сам останется. Соглядатай — еще ничего не успел доглядеть. Нечего наряжать строгий караул.

Только что ж выходило? Что все-таки прав Родион Смыря, и могильный выкликатель, и десятки других, мысливших одинаково с ними (а теперь таких, верно, сотни — после того, как послушали прибеглого бухарца).

Федюня, молодой балагур, из строгановских, давно уже вовсе свой в казачьем войске, толкнул Гаврилу Ильина. Была сосущая, щемящая пустота предутреннего часа, когда всего чернее, непобедимее всего ночь; одно

сырое, необъятное дыхание невидимой реки беззвучно обволакивало весь мир. Причудилось? «Стой, мы охотники, нам не чудится». Федюня припал к земле. Лежащий, нет, ползущий человек возле копаной землянки атамана колыхнулся извилистым движением. Кто? Перебежчик из-под караула? Лазутчик, стало? Что он высматривает во тьме? «Батьку убить»! Вмиг сквозь тьму Гаврила, как при молнии, увидел то, чего не видел, не разглядел на валу, когда все обступили перебежчика и трещащим факелом освещали его.

...Площадь. Полным-полно народу. Бесконечно давняя и такая далекая — не дойдешь, не доедешь — широкая площадь, как во сне. Двое мальчишек, рыба в руках. Женщина на коне, смуглая, рослая, худая, большерукая. Женщина — это его мать. И за конем по земле, сопротивляясь волокущему аркану змеиными движениями белого жирного тела...

— Оспа! Савр!—подумал ли, крикнул ли Ильин...

Все это — вмиг. Вскочил лазутчик. Когда он успел захватить пищаль... две заплечных, легких — вот что в руках его. Все при той же молнии, на бегу, ясно работала мысль Ильина. Не для того в полночь очутился в стане («Как? Откуда? Чудом...»), не для того, конечно, чтобы пытаться удирать еще до света. Ясно — встретил, кого не ждал. Ермака! Донского. Того, кто помог матери схватить его в тот день на Дону. И хоть остался еще неузнанным (кто ждал его здесь!), но ужас погнал вон, пока ночь, пока нет свету. К Кучуму вернуться — с чем? Убить вождя казачьего! И для хана — и для себя! Нет,— так хоть пищальку, «огненный бой» — все же авось не прогневится хан...

Крики, повскакивали люди. Сталкивались, мешали друг другу. Ругань, суета, мелькнул огонь. Грохот выстрела с вала — охрана пальнула в поле. Савр изворачивается, проскакивает, отпихивается — и уже на самой насыпи. Точно наизусть знает дорогу, видит сквозь темноту, точно кошачий глаз, собачий нюх у него.

— Федюня! Федю-уня!

Охотник уралец сиганул — как в воду! — и ухватил плечо беглеца. Ильин — следом. От дозора на валу спешили казаки,— раньше б понять им, где перенимать беглого! Один впереди, скорей, ох, скорей!

Кто б подумал, что в жирном этом, коротком человечке такая сила? Может, ужас удесятерял ее? Вся жизнь

его была цепью страшных дел, в одном локте от смерти, вся жизнь его прошла в тревоге и ужасе, тщетной мольбе о тиши, о жене, не открывающей лица перед чужим взором, о кусте фиг в своем саду над журчащей водой...

Он падал на землю, вывертывался, вцеплялся зубами, не отпуская оружия, лягнув ногой, заставил отшатнуться Ильина, сшиб Федю, сам кубарем покатился наружу, в пустую мглу. Но передний казак из дозорных догнал его. Сопящее дыхание, возня, хрип — душат за горло... Федюня, Ильин, еще пятеро — уже внизу вала, в чавкающем болоте. Два факела, стеля огненные искряные полосы, прочертили дорогу туда с насыпи. Казак лежал, навалившись на отнятые самопалы. Беглец исчез. Черное пятно с курящимся парко́м быстро росло около казака.

В чистой белой рубахе положили Цыгана. Один глаз его никак не хотел закрываться. Точно он хитро все выюркивал из своей щелочки и подмигивал на спокойно-неподвижные, одна покрывающая другую руки: «Ишь ты как! Не шевелятся, не тачают: вон оно что получилось с ними, не верите — полюбуйтесь, сам даже не ожидал...»

Давешние караульщики, упустившие Савра, выставлены с исполосованными спинами тут же, на позор и муку себе. Сильнее не стали их наказывать — не одни они виноваты в этом ночном деле.

Стояли и проходили казаки. Молчали. Кольцо, отойдя к землянкам, сказал с сердцем:

— Брехал брехун: голову класть велим. И не велели — кому таскать ее надоело? — да вот она лежит, Цыганова голова!...

Двадцать третьего октября казачье войско пересекло Иртыш.

16

В те времена Иртыш оставлял лишь ленту плоского прибрежья, как бы пятачок под кручами Чувашева мыса, там, где теперь Княжий луг.

Кучум преградил прибрежье засекой.

На мысу стали его главные силы.

Место казалось неприступным.

Здесь в темноте высадились казаки на топкую землю.

Спешно, безмолвно перетаскивали с ладей ядра, порох, пищали. Ночь без сна.

На заре косо, свистя, полетели стрелы с голой и черной Чувашевой горы, и над ней показался зеленый значок.

Тогда взвилось знамя над тем местом, где стоял Ермак.

Татары разглядели весь казачий лагерь — как он мал, и выкрикивали сверху бранные слова... Сам загнал себя в западню безумный враг — между горой, рекой и неприступно укрепленным местом.

И они привязывали к стрелам дохлых мышей и баранью требуху.

Казаки бросились на завал и отхлынули обратно.

Но спокойно развевалось казацкое знамя, и, заглушив крики умиравших, грянули бронзовые горла пушек.

Пушкарь огромного роста щипцами хватал каленые ядра. Он высился, окруженный дымом и запахом горелого войлока и тряпья, и отпрыгивал, когда отдавала пушка. Полы длинного кафтана затлевали на нем, и Бурнашка Баглай урчал, и ворчал, и ухал, приседая вслед ядрам.

Только ядра плюхались в вал, безвредно вздымая столбы праха и древесного крошева из засеки, пересыпанной песком.

А когда смолкли пушки, донеслись снова сверху крики и хохот.

Уже поднялось солнце. И тут решили наверху, на Чувашевом мысу, что пора кончать дело.

Оправдался первый расчет Ермака! Выманили! Татары сами в трех местах проломали засеку и хлынули, согнувшись, вперед.

— Алла! Алла!..

Ермак стал у знамени. Он стоял, обнажив голову. Войско видело его лицо с темными скулами, с небольшими, тяжело запавшими глазами, освещенное солнцем с востока над железными плечами кольчуги.

Дрогнуло и двинулось знамя Ермака.

Брязга, маленький, прыгая через рытвины, бежал впереди всех.

— Любо, любо! — кричал он и махал саблей.

Ругатель, матерщинник, который и словечка не скажет впросте, выкрикивал он это простое: «Любо!», словно в отчаянном этом бою потеряли силу все его выверты, загибы, богохульства.

Сшиблись бешено, с грудью грудь.

Эхо кидало, как мячи, вопли, лязг, грохот, точно там, в воздухе, шла вторая битва над пустынной водой.

Отчаянный бой! Какой расчет в нем?

Не все татары были перед казаками — негде развернуться,— а только часть их.

На вершине Чувашева мыса, за стенами и валами, Кучум слышал шум битвы.

Городок Чуваш господствовал над окрестностью. Но теперь крепость на мысу и воины в ней стояли праздными.

— Что там? — жадно спрашивал хан и полузакрывал глаза. Надо, чтобы никто не мог прочитать его мысли. Будет так, как судил аллах. Но, как многие слепнущие люди, хан не замечал, что, вслушиваясь, он напрягается, вытягивает шею в ту сторону, где вздымались из провала под обрывом звуки сражения.

Когда казачий свист и крики заглушали имя аллаха, пальцы хана сводила судорога, он привставал и начинал тихонько нараспев молиться. Вестники простирались перед ним. Он наклонялся к ним, всматриваясь в упор, и до крови щипал им плечи и руки, ловя невнятные, прерывающиеся слова, слетавшие с их губ.

Не с железными ли людьми сражались его воины?

Самая смерть не устрашала тех людей. Вокруг мертвых снова смыкались ряды.

Когда горло начинало гореть от жажды, люди черпали воду шапкой и опять кидались в сечу; пар стоял над ней.

Казак в помятой кольчуге врубался в ряды татар. Он тяжело и без промаха крушил все вокруг себя, охая при каждом ударе, как будто рубил дерево. Кривые клинки татар отлетали при встрече с его саблей, словно она заговоренная. Громадный татарин полоснул его клышем, широким прямым ножом. Кольчуга выдержала, только вмялась в голую волосатую грудь, и лишь покачнулся казак.

Был этот казак темнобород, на большом лице его с кирпичными скулами нос, тоже с большими, широко вырезанными ноздрями, казался приплюснутым.

Еще одни глаза, острые, рысьи, неотрывно следили за казаком. И вот Махметкул пригнул голову, а его бухарский клинок очертил сверкающий круг. Сверкающий круг коснулся казака. Племянник хана со смехом кинул через плечо в толпу своих улан мертвую голову.

Но ни тревоги, ни замешательства не наступило в ка-

зачьем войске. То не был атаман, но простой казак, похожий на него,— в городке мурзы Атика, на кругу, именно его Брязга назвал могильным выкликателем.

Клинок Махметкула опять засверкал в гуще боя. Рядом бились его уланы — знать, ханская опора. Они привычно ловили каждое движение его бровей.

Багровое солнце коснулось зубчатой гряды пихт. Кровавый отсвет заката напитал небо и пустынную воду реки.

Спотыкаясь о мертвые тела, брели окончившие свой тяжкий, кровавый труд воины, садились на землю.

Еще вспыхивала то тут, то там битва.

Пали сумерки, и она угасла.

Обрубали ветви деревьев татарского завала для казачьего костра.

У костра под хоругвью на подостланной попоне сидел Ермак. Яков Михайлов сидел перед ним на чурбане. Другие атаманы расположились поодаль прямо на земле. Седой Пан подремывал, свесив на грудь голову.

Что же, вторая ночь без сна... Свое сделали: выстояли. Не взял, не скинул их Кучум! Но и он невредимо стоит, где стоял. Ничего не решил кровавый день: все назавтра.

Михайлов, наклонясь, вглядывался в насечки на куске бересты,— нацарапанные ножом, они больше походили на зарубки, чем на письмена,— и говорил:

— К остякам и вогуличам, думаю... К туралинцам, барабинцам, коурдакам и аялинцам.

— Кого послать? — спросил Ермак.

— Акцибарского князька и Епанчина толмача.

— Надежны? — нахмурился Ермак.

Михайлов не удержал мимолетной язвительной усмешки.

— Да ведь как сказать? Савра не я привечал.

И продолжал ровно, глуховато:

— А скажут пусть таково: войско, мол, благодарит, что слепого Кучума обморочили; спасибо, мол, и будя, пусть в юрты повертывают, как до завалов их подойдем.

— Постой! И так еще молвить: что впредь будет, то зачтем. За доброе — со своего плеча зипун дам. Князьям их — по юшлану. Ты, Матвей Мещеряк, не скаредничай, поди, слышь! А что было — быльем поросло; вспомянет кто — глаз вон.

Ожидавший сотник привскочил было — исполнять. Ермак удержал его.

— Наших двоих... да нет, четверых отрядить с ними. Да позабористей! Слышь? Побархатней. Сам выберешь. Эти к туралинцам, к барабинским татаровьям сходят.

— И не промешкать, до свету,— строго добавил Михайлов.

Ермак негромко позвал:

— Кольцо!

Тот повернулся всем телом и поправил шапку.

— Заутра левая рука войска твоя. Тебе, Яков, правая рука. Сдержишь хана, пяди не уступая. Ведите полки. Поставим их...

Но перебил себя, поглядел на обоих — Михайлова и Кольца, ударил каблуком вытянутой ноги по земле.

— Полки, говорю! Будем биться ратным обычаем. Как под Ругодив ходили с тем Басмановым [1].

— Ругодив вспомянул! — пробурчал Кольцо.

Плоско лежала, чернела в туманном мороке земля. Ни огонька в эту ночь на вражьей стороне. Явственно, мирно пугукала вдали птица.

Ермак качнул головой:

— Убыло нас, эх! Коротка наша улица...

И опять сосредоточенно склонился:

— Так еще посидим, атаманы. Как строить нам полки на завтра. Ты, Никита...

...Говорят в тамошних тобольских местах, что седому Никите Пану выпало ночью скрыто обойти Кучума и стать, где татары держали конский табун. На заре завязал перестрелку Михайлов, Кольцо завернул левое крыло в обход, заставив татар растянуть свой стан, против вогуличей и остяков пошли на приступ Ермак с Грозой. Так ли, нет, но слишком велико было неравенство сил, и всюду верх был за Кучумом. И вот, когда уже покатилась казачья рать и темная, быстрая, глубокая иртышская вода готовилась слизнуть ее, огненным боем, по трубе Ермака, Пан шуганул табун, ошалелые кони ворвались в ханский стан, а с ними, с тылу, свежий казачий полк. И тут переломилась сеча. Начало рассыпаться многоязычное, силой собранное войско Кучума. И будто бы, гово-

---

[1] Нарва была взята русскими войсками в 1558 г., в начале Ливонской войны.

рят, знаем мы и то место, где ожидал Пан трубы Ермака: Панин бугор (в нынешнем Тобольске). Так ли? Не подсказка ли это словесного созвучия? По-русски надо бы: Панов бугор. Панин же хранит память не казака Пана, а некой «Пани» или, может быть, «Панина»... Да и не был в те времена пуст бугор, стоял на нем городок одной из ханских жен Бициктура...

К полудню часть татарского лагеря оказалась в казачьих руках.

И тотчас перешел в наступление скинутый было Ермаков отряд.

Наша! Наша берет! Может, тут разом все и покончим?

И полезли на ханскую крепость, но жив Кучум, стрелы и камни встретили их.

Быстро взбирался худощавый казак. Дважды сшибали его, он прихватывал рукой место, ушибленное камнем, вскакивал, карабкался. Он опередил товарищей.

Тучный великан поглядывал снизу, из оврага. Он уже не стоял при пушке, пушка отдыхала. Видел: худощавый казак сбросил верхнюю одежду, лез в одной белой рубахе, из-под нее выбилась, болталась ладанка. Ухватившись руками, он искал упора ступнями босых ног. Чтобы достать его стрелой, лучникам пришлось бы высунуться под казацкие пули. Великан присел, ухнул: он вдруг понял, что лезет казак не просто со всеми, а видит что-то свое, особое и за этим особым взбирается. Что же это? Лучник все-таки высунулся. Ничего не боится. Ух! Раз, другой спустил тетиву... Мимо! Рукой подать, а мимо... никудышный, слава тебе, лучник!

Тучный колосс дернул круглой головой, вскочил с места и устремился к крепостной горе.

Он также полез, не обращая внимания на камни и стрелы, далеко, по-обезьяньи выкидывая руки. А тем временем худощавый молодой казак последним рывком вынес свое легкое тело на край крутизны, волосы его вспыхнули на солнце.

Великан не мог знать, что казак в этот миг прямо перед собой видел белые от ужаса пуговки глаз на мятом лице Савра. Савр стоял простым лучником на самом краю, и татарин с плетью рядом! Только это и успел увидеть казак, как Савр, визжа, рванулся, первым из всех

татар кинулся на него — так же, как перед тем кидался вперед других под пули со своими неловкими стрелами (никогда не бывал прежде бойцом, ни разу до этого не натягивал лука).

Только глазом мигнуть, показалось великану, продержался казак на челе крепости, в ярко бившем солнце и начал валиться навзничь. В белой рубахе, между лопатками, торчком торчало что-то, белая рубаха не бела — черный пот измарал ее или кровь... Но руки казака вцепились в другое, бившееся тело, увлекли его за собой; оба падали вместе. Как отыскал великан точку опоры на крутизне, чтобы подхватить одного падавшего, как выдержала даже его чудовищная сила?

Баглай крепко обхватил Ильина и, почти закрыв своей огромной рукой всю его голову, бормотал:

— Ничего... Ты чего? Ничего...

Пуля пробила шатер Кучума. Хан вскочил с проклятьем. Сухая кисть его, похожая на лапу хищной птицы, легла на плечо поспешно взбежавшего в шатер воина.

— Махметкул?!

У вестника перехватило дыхание. Он пролепетал, что Махметкул ранен и ближние телохранители едва успели спасти его.

Хан вышел из шатра. Он услышал лошадиный визг, и грохот арб, и рев, подымающийся из-под земли за насыпью, и странный мгновенный тонкий присвист, будто птичий писк. Что-то глухо ударило, и вдруг все сотряслось, комья земли больно осыпали хана, а пыль запорошила ему глаза.

Он яростно вглядывался. Лучники стояли на одном колене, руки их непрерывно шевелились, и туловища качались: то отваливались назад, то наклонялись вперед. Все время двигались согнутые люди. Воины что-то подымали с земли и снова наполовину распрямлялись. Хан знал, что воины подымают и сбрасывают камни.

И, оттолкнув двух мурз, раболепно моливших его вернуться, он быстрыми шагами пошел к насыпи у края и стал там во весь рост среди согнутых людей и внезапно участившегося присвистывания и птичьего писка.

Кучум не красовался — просто хотел сам разобраться в положении. Сильно сократился его лагерь. Куски отсечены, но — хвала аллаху! — главный стан удержан. Здесь, над Иртышом, безопасно. Потерь пока нет. Если не считать этого кочевника или скотовода, червя, которого он

приблизил было ради памяти брата, Ахмет-Гирея. Хан защищал его ото всех, подарил ему свое доверие. Сам послал его к русским. А тот бежал назад, едва занеся ногу на вал городка Атика, ни с чем бежал из русского стана. Трусость была ненавистна хану. Он велел поставить презренного на самое опасное место, дал бичи воинам-соседям. Дерзкий рус добрался доверху, он свалил вниз джигита с собачьими глазами и сердцем зайца. Стоило того! А трус успел всадить нож в спину храбреца. Хорошая мена, отличная мена!

Отбит приступ, нового здесь ждать нечего. Но сзади, со спины, с тылу, где город-столица, где поставил он яскальбинских князей...

Что там? Хан пошел по хребту Чувашева мыса, к уланам Махметкула. Вон оно — рев, близкий, подземный, жестокий. Топот перебегающих русов. Яскальбинцы? Где яскальбинцы? Несколько голов вдруг сразу выросли на краю. Одна — прямо против хана. Маленькая, остроносая, бледнолицая, со спутанными желтыми непокрытыми волосами, она показалась хану невыразимо омерзительной.

Взгляд хана на мгновение скрестился со взглядом врага. Хан хрипло вскрикнул и прыгнул вперед, чтобы сталью сабли заткнуть рот этой голове, точно из него и вылетел страшный подземный рев. Десять клинков протянулось, чтобы защитить и опередить хана.

Кучума оттащили от края. Кто-то повторял, задыхаясь:

— Пора уходить. Жизнь твоя драгоценна. Яскальбинские князья открыли путь врагу.

Хан стряхнул удерживающих его.

— Здесь стою. У меня остались воины. Пока я тут, не посмеет враг двинуться на Кашлык: в спину ударю, уничтожу!

Он остался стоять. Словно вся прежняя сила встрепенулась в старом хане.

Вогулы погнали оленей домой, в свои юрты, укрывшиеся в непроходимых яскальбинских болотах.

Ушли остяки — зачем им хан Кучум, его бог, его война?

Он остался стоять, как стоит ствол дерева, с которого оборвали листву, обрубили ветки.

Так, все еще неприступным, простоял до ночи последний оплот Кучума — Чувашское укрепление.

Но ночью и туралинцы, люди из Барабы, коурдаки и аялинцы покинули хана.

Двадцать пятого октября хан велел столкнуть в Иртыш две бесполезные пушки, привезенные некогда из Казани. И когда они ухнули в реку, хан, покачиваясь, закрыл глаза.

Потом вскочил на коня, и тайной тропой конь, знавший дорогу, сам принес его в Кашлык.

Ночью промозглый туман закутал место побоища.

Тяжело ступая, прошел Ермак по кровавому полю.

Кругом перекликались голоса. Казаки искали товарищей. Раненых разбирали по сотням.

Сбитые в кучу, сидели и лежали пленники, загнанные в котловину. Их стерег караул.

Ермак остановился, опершись на саблю.

— Уланы,— злобно сказал Гроза, указывая на пленных.

Ермак ладонью рубанул воздух:

— Головы долой!

Тихий молитвенный вой раздался в котловине.

Ермак пошел не оглядываясь, запахнув зипун.

Земля всхлипывала под ногами.

Тела валялись на топком прибрежье, на береговых обрывах, во рвах, на валах и в засеках, которыми усилил Кучум Чувашское укрепление.

Сладковатый, едкий пар подымался от почвы.

— Три дня всему войску работать, закапывать,— сказал Мещеряк.

Михайлов качнул головой.

— Разберемся. Кого и в Иртыш.

— Юшланы, рухлядишку поснимать,— напомнил себе Мещеряк. Он стал прикидывать, сколько сайдаков, панцирей, хорасанских клинков досталось казакам.

В Кашлыке Кучум взял кое-что из своих сокровищ и с близкими своими бежал в Ишимские степи [1].

Так совершилось событие, о котором в Кунгурской летописи, написанной простыми казацкими словами, сказано: «Ермак сбил с куреня царя Кучума».

---

[1] На берегах Иртыша долго жило предание о зарытых сокровищах — Кучумовых кладах. В 1941 г. мне пересказывали в Тобольске это предание: из колодца в овраге Сибирки есть ход в подземелье, у входа там стоит вороной конь в золотой сбруе.

ГОРОД СИБИРЬ

1

Двадцать шестого октября 1582 года казаки подошли к Кашлыку.

День был на исходе.

Гора вздувалась глиняными голыми склонами за отвесными рвами, за ущельем, где катилась Сибирка. Ключи били на дне ущелья; вода сочилась под сорокасаженным срезом, которым гора обрывалась к Иртышу. Но только жесткий кустарник щетинился во впадинах да местами по крутизне тянулись рыжеватые полосы, похожие на ржавчину или на запекшуюся кровь.

Выше земля разбита в пыль и усыпана золой. Виднелись стены из обожженного кирпича. Дома из еловых бревен подымали шатровые крыши над глиняными лачугами.

Казаки посовещались и подождали немного: они опасались засады. Не верили, что Кучум оставил это место, огражденное Иртышом, крутыми обрывами, стеной и валами.

Перелезли через один вал и увидели за рвом еще больший. Позади него, опять за рвом, был третий, самый высокий.

Город стоял пустым. Все его полукочевое население бежало.

И тогда русские поняли меру своей победы у Чувашева мыса. Они взобрались по извилистой крутой улице. Запах навоза, отбросов многолетнего человеческого обиталища застоялся в ней. Казаки входили в столицу стройно, по сотням, со знаменами и трубачами.

Ермак сразу выставил крепкие караулы у ворот.

С вершины горы он оглядел окрестность.

— Тут устроимся...

Седая грива Иртыша у береговых излучин, пустынный лес в далях и стаи воронья над водой на западе, там, где черным горбом выдавался берег...

В распахнутых жильях осталась утварь, всяческий хлам, сбитые из досок и подвешенные к потолку зыбки. В ямах-погребах — нарезанная ремнями вяленая конина, бараний жир, уже прокисшее кобылье молоко, ячмень,

полба и мед. А в домах побогаче казаки нашли пологи и шитые серебром ткани, брошенные халаты и шапки и даже клинки с насеченными стихами Корана.

На четвертый день пришел остяцкий князь Бояр с низовьев Иртыша. Он пал на землю и прижал к ней моржовую седую бородку, выставив бурую, старческую, в морщинах, шею в знак того, что казацкий атаман волен срубить его повинную голову.

Бояр знал этот покой в цветном войлоке и коврах и то возвышенное над полом место, перед которым он простерся: седалище Кучума. Но с Бояром теперь случилось то, чего никогда не случалось с ним в этом покое. Человек, сидевший на ханском месте, поднял Бояра и посадил рядом с собой. Он угостил и обласкал его. И, понемногу оправившись от страха, остяцкий князь рассказал Ермаку все, что знал, о беглом хане Кучуме, о ясачных людях, о делах в своем городке и в других, соседних княжествах. И поклялся самыми страшными клятвами пребывать в верности.

Сам он и многие другие разнесли по улусам слух об этом милостивом приеме. К воротам Кашлыка стали возвращаться бежавшие татары. Жители окрестных улусов приходили со своими старшинами. Они били себя в бороды. Женщины с пищащими ребятами стояли у повозок.

Они знали, что надо платить победителю. Но та дань, которую потребовал с них страшный атаман, показалась им теперь малой и легкой. Он брал по счету: *с дыма и с лука.* Иных, покорных, князьков прикармливал, другим, самым гордым, отъевшимся у ног хана, грозил — и тем уж ни беглый хан, ни шайтан, ни сам аллах не могли помочь.

Простой народ казаки встречали приветливо:

— Живите мирно, где жили. Пастухам и ковачам железа будет крепкая защита. Живите за казацкой рукой! Хана и мурз его не опасайтесь. Честным гостям-купцам — настежь ворота, вольный торг.

И многие люди в селеньях почувствовали, что грозная сила русского атамана теперь обернулась на их сторону — чудесно непобедимая, она стала за них, против недавно еще всемогущего хана.

Так по-хозяйски устраивался Ермак на своих новых землях.

Выбрали место для рыбных промыслов. Ставили амбары и сушильни. В кузнях засипели мехи. По сотням выкликнули мастеров; они принялись жечь уголь, искать — на цвет и на запах — серный и селитренный камень для порохового зелья.

Еще одним удивил Ермак покоренный им люд: он звал к себе на службу иртышских татар.

И уже татары из Кашлыка и ближних городков рубили лес, тесали бревна, строили новые крепкие стены вокруг бывшей ханской столицы взамен старых, почернелых, вросших в землю...

Ермак сказал как о самом обычном деле:

— Пашни бы присмотреть, посеять по весне овес, ячмень, полбу, а по осени — и ржицу.

На площади перед частоколом ханского жилья (эту площадь казаки называли майданом, как на Дону) Ермак приметил широкоплечего казака с вовсе уже белой бородой лопатой.

— Заходи,— позвал его атаман.

Просидел тот у атамана недолго, а на другой день встал до свету, перепоясался лыком, обмел снег с порога и пошел по улице.

Спускалась она, вся чистая, снег поскрипывал под ногами. Чуть туманно, безветренно. Казак глянул вдоль глиняных запорошенных юрт —

Вышло на улицу солнышко ясное,
Солнышко ясное, небушко тихое...

Старый казак Котин шел и пел обрывки того, что, сам не ведая, хранил в себе с далекого своего, казалось, им самим позабытого крестьянского детства.

Он глядел на пустоши за Кашлыком. И ему виделось, как пустоши эти становятся полями и расстилаются поля — зраком не окинешь. В дождь растут хлеба, поднимаются, в вёдро наливают зерна в колосьях...

2

В юрте Бурнашки Баглая очнулся Гаврила Ильин. Долго не закрывалась рана; он то лежал в тяжелом забытьи, то метался в горячечном бреду; жизнь и смерть спорили в нем.

Дни и ночи без сна сидел около него великан. Он никому не позволял подолгу быть возле Ильина, выслал вон пятидесятника, явившегося от атамана, и самому атаману, когда тот зашел и замешкался в юрте, объявил:

— Иди, тебе пора.

Огромной своей рукой он удерживал раненого, чуть тот начинал биться и метаться; после укутывал его зипуном и овчиной. Со дна своего мешка доставал какие-то травы, собранные то ли на Волге, то ли еще на Дону, сухие, истертые в землистый порошок, распаривал их в воде, прикладывал к ране, поил отваром. И когда восковое лицо Ильина покрывалось смертной истомой, Баглай отирал ему лоб и струйку пенистой крови в уголке губ и, покачиваясь, кивая сам себе, бормотал, что-то неведомо кому рассказывая, и тонким голосом запевал диковатые песни без начала и конца.

И выходил того, кому, казалось, не жить.

Ильин проснулся, как бывало в детстве после ночи со страшными снами.

С того самого мига, как, точно при молнии, увидел он широкую, тревожную площадь, двух мальчиков, конную женщину и признал Савра,— с того самого мига давно отжитое неотступно и связно вставало перед ним и будто вело свою вторую жизнь.

Но теперь она стала для него как бы единственной настоящей жизнью.

Миновавшая ночь показалась короткой худенькому подростку Гаврюше, Рюхе. Он знал, что он не кто иной, как этот худенький подросток. И он проснулся, выпростал руки, помотал головой, чтоб согнать страшные сны, зная, что увидит белый поворот дороги, теплый, летний, насквозь озаренный солнцем подъем улицы,— там лежала мягкая, нагретая пыль и росли кусты татарника, оттуда открывалось — он и это знал — широким полукружием синее сверкание реки. И громадная, такая же, как вчера, но опять, всегда опять новая жизнь, жизнь-радость, горящая и зовущая к неведомому счастью в степях за Доном, стояла на пороге.

Счастье сразу нахлынуло на него. Он потянулся — еще в полудреме — с куги, где спал, к месту матери, которая, он слышал, за дверями ломала хворост и готовила кизяк для очага.

Вот она закончила свое дело, и пар заклубился в дверях, и в клубах пара вошел с охапкой дров, щепы и сушняка громадный человек. И то ли заиндевели его волосы, то ли чернь их смешалась с сединой. В дверь увидел Ильин, что белизна улицы — от снега, а глина слепых юрт и заборов холодна; и была незнакома огромная пустота за тем местом, где будто обрывалась улица. И он понял, что это не Дон, а Иртыш и что это и есть то самое, куда звало его золотое горение в задонских степях, то самое, куда он ехал, и шел, и плыл по дорогам своей жизни — и вот *доехал*.

Он сразу охватил это сознанием, но подробности оставались темны ему. И теперь он, точно наверстывая, жадно с каждым мгновением впитывал эту новую жизнь; песня же радости не смолкала в нем.

Он хотел спрашивать, говорить.

— Кашлык?

Он подивился, что выговорил только одно слово, да и оно с таким трудом далось ему.

— Вот поспал,— сказал Бурнашка.— Чисто как я; так я-то хоть после дувана. Ты ж дуван царства Сибирского проспал. Меня слушай, жди, пока скажу. Чего не скажу — знать тебе нечего.

Отчего б ему не ждать? Но была какая-то помеха, заноза в нем. Он все время ощущал ее. Она сидела где-то и под песней радости — сидела и мешала, не давала ждать. Вытащить ее долой, освободиться. Она торчала... как боль между лопатками... как нож в спине!

Вдруг он вспомнил. Сказал, прошептал, умоляя:

— Савр?

Великан покривился, испустил залп непонятных восклицаний. Сел и, грозя кому-то толстым пальцем, забалагурил:

— Твоя мать заарканила гада. Теперь ты. А как же? Не свое сделал, а довершил материно. В оный день на Дону-реке началось, а вон когда день тот кончился! Так это ты и понимай.

Как раз это и понимал Гаврила. Словно прямо в мысли его смотрел великан, торжественно мотая головой, чтоб утвердить сказанное.

— А мне кто она, Махотка, твоя мать? Жена. Вот и понимай, значит...

Побалагурив, «выдержав» Ильина, он стал рассказывать. Рассказал, что все большие атаманы, и сотники, и

пятидесятники битком набивались в избу: живой ли, мол, Гаврилка Ильин, простой казак, узнавший Савра и словивший Савра?

— Тебя-то я подхватил, немного ты пролетел, да и легок ты, как перышко. А он упал аж в дол с горы. Костей бы не собрать у другого. Да, прах его возьми, целехонек. Костей не было у него, верно слово говорю. Паром надут — как животное кошка: нипочем не расшибется, хоть с колесницы Ильи-пророка скинь. А почему? Костей настоящих не имеет, один кошачий пар — душа ее, значит.

Нового суда не наряжали, новых вин не высчитывали. Исполнили по старому суду, будто все длился тот давний донской день, оборвавшийся в лихой час. Столб вбили под горой. К столбу прикрутили Оспу. Ровно в полночь, как велел донской суд, совершилась казнь. Казаки выстроились. Грамотеи, по памяти старых казаков, написали давнопрежние вины Савра, как в донском приговоре. Вышел донской казак Родион Смыря и снес голову с жирного тела ордынца из крымской Кафы, служившего еще Касиму-паше и атаману Козе, тайному дивану Бухары, князю Сейдяку, хану Кучуму и многим иным, чьи имена уже никому не перескажет эта голова с лицом в оспинах, покрытым как бы серой пылью.

На другой день Гаврила встал. Хотел выйти.

— Ветром сдует! — прикрикнул Баглай.

На третий день доковылял до улицы, прислонился к невысокому глиняному забору и с радостным удивлением смотрел, как толкутся неизвестно откуда взявшиеся крошечные мошки, вспыхивая против солнца.

Забор ограждал просторный двор юрты за все войсковое добро ответчика Мещеряка. Он сам стоял на дворе, в татарской распахнутой шубе. Перед ним сидел Брязга, держа между коленями обеими руками рукоять длинной сабли.

Атаман Матвей руки сунул за кушак, ногу заложил за ногу — хером и, пребывая в этой затейливой позе, отчитывал пятидесятника.

— Голубь ты. Голубиная твоя душа,— услышал Ильин.

Брязга открыл и закрыл рот, точно словил муху.

— Городим тын, держась за алтын,— продолжал Ме-

щеряк, глядя сверху вниз немигающими бледно-голубыми глазами.— А бирюк ходит за Иртышом.

Брязга ответил:

— На бирюка есть огненный бой.

— Это что наши мужички таганками селитерку с серкой таскают? Ничего, за год натрем пороху, на одну пищальку достанет.

— Ну,— сказал Брязга,— батька не крив.

Мерещяк пропустил это мимо ушей и продолжал:

— Царевать приобыкаем. Оно просто. Мягко да лестно. Сладкоречием сыты, мужицкая сошка сама в руки прыгает... А вот я тебе открою кладовые: гляди, что там — мышиная свадьба или воинский припас?

Разговора Ильин не понял — слишком светло и радостно было у него на душе,— но, вернувшись, пересказал Баглаю. Великан сморщился, закрутил головой, что-то забормотал, сердито, недовольно двигая ноздрями.

3

А про «бирюка» и в самом деле забыли. Казаки ездили по татарским селениям. Там завелись у них кунаки и побратимы. Женки завелись.

Перед Николой зимним двадцать казаков отправились ловить рыбу подо льдом в Абалацком озере. Пала ночь, рыболовы уснули у горячей золы костра.

Ночью вышел из лесу таившийся весь день Махметкул. Татары перерезали сонных. Только один казак не дался ножу — отбился и в ту же ночь прибежал в Кашлык, к Ермаку.

А в городе гуляли, пели песни — готовились встречать день казацкого покровителя. Никто не ждал черной вести.

Поднял Кольцо людей: как были в праздничных кафтанах, вскакивали в седла.

— Сам,— сурово сказал Ермак и сел на коня.

Низко пригнувшись под хлеставшими ветвями, летела казачья лава. Пар поднимался от конских крупов.

У Шамшинских юрт казаки настигли шайку Махметкула.

Только немногие татары ушли живыми, но с ними Махметкул.

На обратном пути Ермак подъехал к Абалацкому озеру. Рядком, как спали, лежали зарезанные казаки. Кто спал на левом боку, не успел перевернуться на правый. Только голова, чуть тронь ее, откатывалась от тела.

И Ермак похоронил мертвецов на высоком Саускапском мысу, среди ханских могил.

4

Еще двое князей явились с повинной. Ишбердей из-за Яскальбинских болот и Суклем с речки, павшей в Иртыш ниже Тобола. Княжеские нарты с добровольным ясаком стояли у ворот Кашлыка.

Ермак принял князей так же, как Бояра. В их честь трубили трубачи и стрелки палили из пищалей. Атаман богато одарил обоих князей, и никто бы не узнал по его лицу, что вот только отошла кровавая ночь у Абалацкого озера.

— Служить буду тебе,— сказал Ишбердей. И назвал Ермака: — Рус-хан.

— Служи. Верно служи,— ответил Ермак.— А я не хан и не царь...

Узкий след прочерчивали на снегу лыжи и нарты.

Казаки в волчьих шубах длинной плетью погоняли упряжных собак. Ели конину, в земляных городках пили травяные настои, прокисшее запененное молоко и мед. Волжская песня будила дремучую тайгу.

Пятьдесят, тридцать, а то и двадцать человек приводили в покорность целые княжества. Товарищи-побратимы чуть не сам-друг пускались в дальний путь и открывали неведомые земли.

Страна сбрасывала ханскую власть, как ветхую одежду с плеч долой.

А Ермак, устраивая сибирскую землю, уже звал грамотками к себе на торг бухарских и русских купцов.

Дорога из Бухары в Кашлык — пусть не заносит ее снегом, пусть бурьяном не зарастет она. И пусть лягут новые дороги — с Руси в город Сибирь.

На великом перепутье станет этот город...

5

Но еще задолго до весеннего разлива вод, всего через месяц с небольшим после занятия Кашлыка, когда ни облачка не омрачало казачьей удачи и победы,— разве только ночная резня под Абалаком,— в счастливом декабре 1582 года Ермак спросил атаманов, как они мыслят: *слать ли послов сейчас или обождать?*

Долгое молчание было ему ответом. Они сидели все вместе — шестеро атаманов и с ними Брязга. Они сидели у деревянного дома на юру, на темени горы. Под горой — Иртыш в сизоватом льду. А дальше — лески, похожие отсюда на камыш, черные боры на белой равнине до самого неба.

Атаманы молчали. Ермак не торопил с ответом. Кой-кто курил. Другие сидели, откинувшись, расстегнув ворот.

Был мир и ясный свет кругом с чуть вплетающимися золотыми нитями того поворотного часа, когда день начинает неуловимо склоняться к вечеру.

За муравьиной кучей города не видно холма по ту сторону оврага, за Сибиркой. А там, на оголенном погосте, с которого ветер выдул снег, все прибавлялось крестов, сбитых из жердей,— сверху две дощечки, сходящиеся острой крышей. А в закромах убывало пороху и свинца. За каймой лесов, в южных степях, залечивали раны Кучум и Махметкул. Там стрела, призыв к священной войне, летела от кочевья к кочевью.

Сколько пути отсюда до сердца далекой Руси? И сколько обратного пути — не для казачьих гонцов, а для медлительного тяжеловесного стрелецкого ополчения?

Михайлов прикинул все это и спросил коротко:

— На год вперед считаешь?

Кольцо ожесточенно поежился.

— Матвейки Мещеряка отходная... слышали уж.

А Мещеряка будто ничего не касалось. На атаманских собраниях сидел брезгливый и полусонный. Сейчас он только чуть шевельнул глазом на красном, обветренном лице.

Ермак чертил прутиком по земле. Опять спросил, не подымая головы:

— Так что, браты-товарищи? Как мыслите?

Брязга вдруг сорвался с места:

— А так мыслю, братушка, что не пожили вольной волею. И не попробовали...

— Та ни, ноздрею нюхнули,— с усмешкой вставил Пан.

Брязга дернул шрамами на лбу, на щеках:

— И чего же шли — с Дона, значит, слетели, с Волги слетели, со всей Руси, вошь твою так, слетели! И где же те казаки-товарищи, два ста, почитай, побитых?

Костлявое лицо Грозы с широко расставленными глазницами медленно багровело. Он несколько раз втянул воздух, будто порываясь что-то выговорить, то было для него тяжким трудом. Наконец он выдавил:

— Строгановым Сибирь... купцам, значит.

Невнятно буркнул яростное ругательство, и снова посерела кожа на его лице.

— Строгановым? — злобно переспросил Ермак, но тотчас сдержался. Сказал мягко: — Ты, Яков, что сосчитал?

Он все чертил прутиком.

Ровно, спокойно, обстоятельно объяснил Михайлов:

— Счет мой нехитрый. Торопишься. И перезимуем, и перелетуем еще. На досуге и обдумаем. Прикинем так, прикинем и этак — как способней, так и отрежем. Сгоряча горшков наколотишь... А Мещеряк, курицына мать, хозяин скаредный. Ему все — ой-ой-ой, мало, рундуки пусты, подавай еще!

— Ты про меня? — отозвался Мещеряк.— Я что? Мне еще в этом деле до тебя как до неба.

И замолк.

Молча слушал и Ермак.

Мысли, давние смутные для него самого, тяжело вращались, но больше он не отпускал их от себя неузнанными, он смотрел им в лицо, и наконец они прояснились. «Что мимоходом урвали...» Тот, кто этого ищет, пройдет по земле бесследно, как вихрь. Вихрем бы и развеяло золу сожженных казачьих хижин, славу недолгого казачьего царства в Сибири.

Он отшвырнул прут.

— Хоть день, да наш? Казакам не детей качать, пожили — и чертополох на могилках?

Примирительно вступился Михайлов:

— Да кто про это! Не за то головы клали, путь небывалый с Дону отомкнули. А думать надо. Не с маху. Рассудить надо, как крепче стоять.

— Вот и рассудим,— опять остыв, согласился Ермак.— Рассудим. Посидим, браты.

Но все молчали, ждали.

— Думаю так, браты-атаманы. Ты, Богдан, коренной донской. Грозой тебя, Иван, прозвали под Перекопом. А притопал ты откудова? С Мурома, глядь. Матвей — из боров заокских аль с речки Казанки, а то с пустоземья северного — под сполохами повит; сам-то молчит, свои думы бережет еще пуще войсковой казны. Колечко по всей по матушке Волге каталось. Никита... А сошлись мы, атаманы, вместе. Попы, что ль, нас в купель одинаково окунали... Сошлись все — в одну силу сложились. Людей же в войске нашем шесть сотен было, как с Камы тронулись. Половины нет, браты-товарищи. Силы достало Кучума воевать. Поминки, ясак собираем ноне,— вам, что ль, кланяются князья да мурзы? Аль мне? Нам поклонились — да завтра подмяли. Руси-царству кланяются — при дедах их, помнят, стояло и при внуках стоять будет.

— А мы,— бухнул Гроза,— сами русские и есть.

Брязга пожаловался, скосив глаза:

— Словечка родного другой год не слышим! Хоть матерка бы русского...

У Кольца блеснули ровные зубы:

— А мы клич кликнем. Бирючей разошлем: мужиков, мол, да баб поболе на простор зовем.

— Новый народ зачинать? — перебил Ермак.— Песен из Москвы привезть? Вторую Русь ставить? — Он досадливо, нетерпеливо поморщился.— Языки чесать собрались, что ли?

Снова не спеша заговорил Михайлов:

— Сибирь взяли, а поднять не подымем, то дело ясное. Да чело нешто свербит, что бить челом собрался уж нынче? Обождем, говорю. Обдумаемся — как ловчей мосток через Камень перекинуть.

— Не шутейное дело,— Ермак нетерпеливо топнул ногой,— на крови нашей оно! Сделали его своими руками. Девки мы, что ли, теперь глаза долу опускать? Коль сами молчите, я скажу, атаманы, чье дело: не донское, не волжское, не строгановское — вона как повернуло, слепой видит. Шли на простор и отворили простор. И щитом Русь защитили со всхода солнечного. Ждать, Яков? На год загадал?

Ясней, ясней смутные мысли...

— Таиться нам нечего. Не позор, не стыдобушка перед всем казачеством, перед народом, то, что добыли мы. Полцарства прирастили смертными трудами своими. А пить захотели — чего сухим ковш держать? Что день, что год продержи — а все напиться придется.

Годами меряется жизнь одного человека — втуне она, как не была, если не останется начатое — расти сквозь годы. Немереная темная даль грядущих лет!

Сидели, думали атаманы.

— Вины-то перед царем выслужили, что правда, то правда,— опять первый начал прикидывать вслух Михайлов.— Про старые дрожди не поминают дважды.

Кольцо сказал:

— Он те посохом и благословит и помянет!

Рассудительно возразил Михайлов:

— Мимо двора сколько ни ходить, а в ворота зайти — и то верно. Ты размысли: не с Дону, не с Волги повинная твоя — со столичного города Сибири.

— Голова твоя, Яков, на сто лет вперед обдуманная. А по моей топор у тезки скучает — дожидается, пока надоест ее мне носить.

Ермак прервал их спор:

— Крут царь Иван Васильевич, горяч, а земли ради простит, не боярский угодник.

И прибавил раздумчиво:

— А не простит — сама земля простит: ей послужили.

Опять, борясь со своей неотвязной мыслью, Гроза тяжело проговорил:

— Были вины — смыли. Свято дело наше. Не идолам Строгановым Сибирь!..

Пощипывая ус, Яков Михайлов напомнил еще:

— А Никитушка что же молчит?

Пан отозвался:

— Песни ваши слухаю, да чую — те песни давно уж хлопцы спивали: кохали дивчину, да не себе.

С нарочитой простоватостью почесал в затылке.

— Блукали по свету — притулились до места. Чего балакать? До царя так до царя. Ото же и я кажу: *пид самисеньку пику.*

И снял шапку; мягкий воздух облек его непомерный лысоватый лоб и сивую голову.

Тогда снял шапку Ермак, и все атаманы стащили шапки; последний, точно дремал до того,— Матвей Мещеряк. Ермак истово перекрестился.

— Ну, браты-товарищи! Во имя отца и сына и святого духа. Со Христом...

Кольцо спросил:

— Сам поедешь, Тимофеич?

— Тебе ехать, не иному,— подтвердил Яков Михайлов.

Мещеряк сказал медленно:

— А как батька послом уедет, верно, тебе, Яков, с войском управляться — не иному?

Никита Пан неожиданно:

— Кумекаю так: Кольца послать. Для таких, как он, кого плаха ждет, царь дуже ласков. Да правда: краше его, як вин схоче, никто у нас сказать не может.

Кольца послать?! Кого плаха ждет?!

Но и Гроза поддержал это: Кольцу ехать.

Тогда Ермак как отрубил:

— Тебе и ехать, Иван.

Усмехнулся, вспомнив, может быть, давнишний ночной разговор, в смутный час, на одном острове в синем море — Четыре Бугра зовут тот остров:

— Ты и вправду ведом там. Со знакомцем встретишься.

Кольцо вспыхнул, выкатил белки и без того выпуклых глаз на смуглом лице. Не вскочил, не крикнул — с вызовом, задорно тряхнул волосами.

— Я, бурмакан аркан, не отказчик. Спытать задумали — не испужаюсь ли? Сыщите страх, чтобы испужать Кольца!

Дерзкое, озорноватое, но, как подумать, не простое — с хитрым расчетом замышленное посольство! Заговорили о том, что повезти, сколько взять народу.

Ермак сказал:

— Слышь, Иван, и Гаврилу возьми Ильина.

Кольцо свел мохнатые брови. Атаман коснулся его плеча.

— Легкая рука у него... И пусть увидит, что не сошелся свет на Дону, на Волге, да и на Сибири...

Двадцать второго декабря 1582 года собачьи упряжки тронули нарты с атаманова двора в Кашлыке.

С Кольцом — пять казаков. На нартах— шестьдесят сороков соболей, двадцать черно-бурых лис и пятьдесят бобров. Князь Ишбердей со своими вогуличами проводил казаков прямой дорогой, волчьей тропой через Камень.

6

В Сибири казачье войско, ожидая с Руси царской помоги, продолжало единоборство с Кучумом. Шайки ханских людей кружили возле казачьего стана, выжигая аулы за то, что их жители отступились от хана и стали держать сторону русских. Ермак не давал хану копить силы в пустынных кочевых степях. После Абалака следил за каждым шагом Кучума и отгонял его все дальше и дальше.

И та земля, которая еще недавно была достоянием Кучума, теперь горела под его ногами, чуть только он пробовал ступить на нее.

Двадцатого февраля 1583 года не простой татарин, а мурза Сенбахта прислал Ермаку известие, что Махметкул пришел на Вагай, верстах в ста от Сибири.

Шестьдесят удальцов поскакали к месту, указанному Сенбахтой.

Ночью вблизи озера Куллара они напали на врагов.

Кровь товарищей, сложивших головы на холодных берегах Тобола и Иртыша, казацкая кровь, пролитая у Абалацкого озера, кровь русских мужиков из уральских сел и замученных жителей вогульских и остяцких земляных городков была на Махметкуле.

Но Ермак и тут не дал отуманить себя гневу и мести. Он с почестями встретил пленника в Кашлыке.

Некоторое время Ермак выжидал. Быть может, в Кашлык прибудут ханские посланцы для переговоров о Махметкуле и мире. Мир очень важен — все меньше становилось казаков.

Но посланцы не приходили, и долго ничего не было слышно о Кучуме. И тогда Ермак отослал Махметкула тоже в Москву — в дар царю; с Махметкулом поехал Гроза.

А Кучум стоял в это время на дальней луке Иртыша, в диком месте. Первый гонец вошел в ханский шатер с вестью о пленении Махметкула, батыра, того, чьи шаги бесшумнее шагов крадущейся кошки, кто настигал врагов быстрее ястреба и отвагой превосходил вепря.

Второй гонец явился к хану и сообщил, что «думчий» — карача со всем оставшимся татарским войском оставил его и ушел вверх по Иртышу, к реке Таре.

А третий гонец принес весть, что князь Сейдяк уже знает о поражении похитителя отцовского престола и с войском выступил из бухарских пределов, чтобы добить Кучума.

Тогда во второй раз согнулся неукротимый дух хана; старческие слезы потекли из его незрячих глаз, и он произнес персидское двустишие:

От кого отвратится аллах, честь сменится тому на бесчестье,
И любимые други оставят того...

7

Миновало лето, за ним и осень.

Присоединились еще к русской Сибири Белогорье и Кода, самое большое остяцкое княжество на Оби.

Но казаки все оставались одни в Сибири.

Жестокие морозы снова сковали землю.

Между серебряными лесами легли мертвые дороги рек.

Ясная ночь. Полог, шитый звездами, раскинут над лесными верхушками. Звездный отблеск на снегу, на ледяных иглах. Поднимается и ползет по ярам, стелется по холодной пустоши волчий вой.

Поздний свет пролился с востока. На высоких розовых крыльях застыли летучие облака. И стали далеко видны во все стороны волнистые снега, синеватые на западе, розовеющие на востоке. Только ветры, гуляя, тронули их на открытом месте мелкой рябью да от примятого сугроба бежит стежка следов. Тут потоптался и потом ускакал сохатый или олень. Мягко вдавились отпечатки лап прыгнувшей с ветки рыси.

Света прибыло. И в брызнувшем блеске, вся в хрустальной паутине, сияла темная зелень кедров и елей, кидая синие тени на снег.

Наступал 1584 год.

ЦАРЬ МОСКОВСКИЙ

1

Ехали на собаках, в трудных и бездорожных местах шли на лыжах рядом с нартами.

У западного склона Урала Ишбердей поворотил свои нарты обратно. Ветер унес татарское прощальное приветствие.

Впереди на холме, над лесом, мохнатым от снега, виднелся деревянный крест часовенки и низко стлался дымок.

Почти полтора года не видели приезжие людей, говоривших на одном языке с ними.

Пересев в сани, с присвистом проскакали по заметенной улице между черными избами, красуясь дорогими шубами.

Ночевали, ждали, пока в ямах ямщики сменят лошадей, и спешили дальше. Но слух о послах неведомой восточной земли, везущих сокровища, опережал казаков. Во встречном городишке к ним выходил поп с крестом. Народ толпился; стрельцы с алебардами на плечах очищали место боярину.

И снова — ветер, ни человека, ни зверя, пуховые, лиловые в сумерках сугробы глухой зимы. Только позади — тын на пригорке и сизая маковка церквушки.

Так миновали лесные погосты, купеческие города, где колокола гудели над бурым снегом торговой площади, волжские посады, с замками на дверях хлебных лабазов, похожими на гири.

И выехали наконец на большую дорогу.

День и ночь двигались по ней люди. Быстрой рысью проезжали конные ратники в синих кафтанах. Медленно тянулись длинные ряды груженых саней. Возницы дремали, намотав вожжи на колышек, изредка, приподнявшись, лениво нахлестывали кнутом лошаденок, и те, не изменяя шага, отмахивались хвостами. Везли мешки с зерном, с мукой, прикрытую рядном рыбу, каменную соль. И опять — новый обоз — зерно, рыба, мука и сухие красные ноги мороженых туш, как палки, торчащие из-под рогожи. Нескончаемая вереница саней с поклажей двигалась в одном направлении, туда же, куда ехали казаки,— будто там, впереди, жил исполин, которому вся страна посылала эти сотни обозов.

— Аль оголодала Белокаменная? — крикнули казаки молодому русоволосому парню, шагавшему за санями.

— В Москве ржи не молотят,— лениво, обрывком поговорки, ответил парень. Кнутовище в руке, рукавицы за поясом — мороз нипочем!

По бокам дороги строганые белые столбы отмечали поприща.

Ямщики споро перекладывали лошадей, не давая проезжим оглядеться на новом месте, и гнали коней так, что захватывало дух. Казаки дивились огромным ямским

дворам. Чуть не полк конных людей мог бы поместиться в каждом таком дворе.

Но все чаще стали попадаться волости странного запустения. Сухой чернобыльник качался по ветру на полях. Черными, обгоревшими развалинами зияли пожарища деревень.

Вот проехали казаки Паншины выселки, Постниковы лужки, Плещеву выть. Пусто. Нету выселков, волкам выть в выти.

Клок гнилой соломы торчал из-под снега, стояла грибом церковь с рухнувшей звонницей, с выломанными дверями и окнами. А на погостах — кресты, кресты...

— Чье село?

— А бог его знает, не сыщешь прозвания.

Нищие — голь кабацкая — брели по дороге. Пили в кабаках, по ямам и тут же валились в снег, пропив зипуны.

— Далеко ли, орлы?

И спрошенные глядели: диковинные проезжие, бояры не бояры и с купцами-толстосумами не схожи, одеты — окольничим впору, у двоих посеченные лица.

Вдруг кто-нибудь из казаков лихо подмигивал, и «орел» приосанивался — только голое тело светилось в дырах лохмотьев.

— За солнышком! Перья петелу щипать да волю выкликать.

— Астрахань славна арбузами, а мы гологузами.

— Аль я виновата, что рубаха моя дыровата?

Поговорочки, скоморошьи прибаутки — язык казакам знакомый.

— Ух, и сколько вас, шатунов!

— Русь с места стронулась...

— Куда ж она, матушка?

— А куда подале...

Кольцо поводил бровью.

— А в Сибирь. Не чуяли? Ждите-пождите, обратным путем всех заберем к атаману Ермаку.

В черных шлыках шли по дороге монахи. Монастыри белели на холмах, в безмолвных лесах, на крутых берегах рек. Никогда не было на Руси столько монастырей, как стало их в те годы,— бежали под монастырский покров боярские земли, чтобы укрыться в тихом и вер-

ном приюте от властной, перебиравшей людишек руки царя Ивана.

И воздымались над пустошами медные главы, а под каменными стенами лепились курные избы кабальных монастырских деревень.

2

Однажды казаки увидели как бы широкое сверкающее облако, дремлющее на горизонте. И вот вырезались башни и главы, островерхие кровли над темным разливом домов.

Захватив полнеба впереди, город причудливо поднял верхи своих стрельчатых колоколен, теремов, куполов, зубчатых стен, словно сказочный узор на раскинутом ковре.

Теперь дорога несла казачьи тройки в потоке конных и пеших, возков, саней, груженых и порожних, как широкая река, вливающаяся в плещущее море.

Узкая уличка вилась в гуще изб. Через заборы виднелись оконца, глядевшие во дворы. Резные столбы поддерживали крыльца. Колодезные журавли скрипели на перекрестках.

Местами дома исчезали. Тянулись плешины, где обугленные бревна проглядывали из-под пожелтевшего снега. То страшные следы пожара, бушевавшего двенадцать лет назад, когда крымский хан Девлет-Гирей пожег Москву.

Но, как волшебная птица, воскресавшая из огня во все ярчайшем оперении, город этот вставал из пепла своих пожарищ неистребимым, обновленным.

Дровни запруживали дорогу. Мужики топтались, похлопывали рукавицами. Работные люди таскали бревна. Плотники стучали топорами. На пустошах росли стены из пахучего свежего леса, терема пестрели расписными ставенками.

Поезд казачьих саней пробирался медленно. Гаврила Ильин смотрел по сторонам. Мостки с перильцами перекидывались через речушки. Жестяные петухи на крышах поворачивались носом к ветру. Пук куполов вырастал внезапно, будто из самой земли. Чем дальше, тем гуще по улице валил народ. Ильин видел синие, канареечные, алые, атласно-белые, парчовые, голубино-сизые шубы, шапки с малиновым, серебряным, голубым, травяным

верхом, оторочки и опушки светлые, пепельные, темные и каких-то удивительных мехов, как бы в искру, кушаки всех оттенков, рогатые кики, душегреи, цветистые платки, переливное шитье кафтанов, красные, зеленые, соломенно-желтые сапожки, откинутые вороты, черные как вороново крыло, седатые, рыжие...

Ильин вглядывался в эту толпу, расписную, как оконца и крылечки резных теремов на белом снегу, под белыми шапками на кровлях. Не сразу он различил в ней людей в опорках и поддевках, холопов и посадских, хозяек, вышедших с кошелями, а не показывать наряды, людей в странных, коротких, нерусских платьях.

И все спешили, словно всех гнало какое-то одно не терпящее отлагательства дело.

Тут никто не встречал казаков, мало кто и оглядывался на них. Только лавочники у дверей своих лавок провожали казачьи розвальни взглядом да кумушки, облепившие церковные паперти, судачили вслед им.

По бокам улицы пошли большие и нарядные боярские дворы. Были среди них и белокаменные. И вдруг далеко отбежали, сторонясь, дворы, дома, избы, заборы, паперти, палаты,— словно отплеснуло долой все море золоченых глав, высоких коньков, окошек, затянутых бычьими пузырями, блистающих слюдой и зеленоватым стеклом.

Ильин увидал башню. Низ ее — куб, на этом суровом кубе как бы возникала новая башня и, вся заплетенная в каменное кружево, стремилась ввысь, а там на ней стояла еще третья, чтобы, среди стрел и зубцов, верхушкой досягнуть до неба.

Все улицы, все дороги подбегали сюда. Здесь был им конец. Сколько бы ни колесили по пустошам, сколько ни кружили по лесам, где бы, с какой безвестной стороны ни начинались — с гор ли, с Дикого ли Поля, с ливонских ли рубежей, с холодного или теплого моря,— все они через всю страну стремились сюда, сходились и показывали: тут средоточие и сердце земли.

3

Дорогой Кольцо горделиво говорил: прямо к царю. Но чуть переступили порог приказа, стало ясно, что в этих словах нет смысла.

Дьяк даже не поднял лба.

— К великому государю? — сказал он, скрипя гусиным пером.— Высоко прыгаешь. Мне сказывай.

Кольцо опять все повторил, и Гаврила подивился, как складно и как терпеливо спросил он на этот раз уже не царя, а боярина.

— А для ча боярина? — сказал по-прежнему не казакам, а пергаментному исписанному листу дьяк.— Я тебе боярин. От Кучума Муртазиева?

Будто и не слыхал, что говорил Кольцо!

Кольцо было возвысил голос. Дьяк откинулся, седой, жилистый, с пером в мягких толстых пальцах, из-под поднятых бровей взглянул на атамана так, словно сквозь него рассматривал каменную стену приказа. И кольцовское «бурмакан аркан» застряло в глотке. На сидящего человека, пред которым, ломая шапки, стояли лихие, всеми смертями испытанные гулебщики, не произвело никакого впечатления, что хана Кучума больше нет и что вот эти люди — покорители целого ханства и послы нового, Сибирского царства.

Наконец он вымолвил — и тоже так, будто каждый день к нему являлись послы и наперебой предлагали по царству:

— Дары привезли — посмотрим. Станете на посольском дворе. Избу укажут. Ждите.

И заскрипел по листу, показывая, что отныне все шесть казаков измерены, взвешены и что им никуда не вырваться из ровных строк крючковатого почерка.

Они вышли, не зная, чем же кончилась беседа и позовут ли их во дворец, но чувствуя, что нечто неуловимое, всезрящее и сильнее самой сильной силы опустилось на них и обвилось вокруг.

4

Избу указали. Чуть только послы осмотрелись в ней, Кольцо брякнул дверью, ушел.

Вернулся злой, озабоченный. Новости принес плохие. Когда новый чердынский воевода Перепелицын, посланный царем на место благодушного князя Елецкого, написал о делах в Камских землях, в Москве поверили наконец в невероятное: что казаки с Волги ушли к Строгановым. В гневной грамоте царь корил Строгановых за воровство и велел немедля, под страхом опалы, казаков

отправить в Чердынь, а главарей схватить и взять в железы. Тогда было поздно: казаки воевали с Кучумом. А теперь, выходит, дважды виноватые — за Волгу и за Каму — сами явились в Москву!

— С похвальбой явились,— сказал Родион Смыря и сплюнул.— Еще как высчитают тебе третью награду — и за Сибирь твою,— век больше ничего не попросишь.

— Не каркай! — рявкнул Кольцо. И сразу смирился, сел, руками охватил голову и улыбнулся робко, по-ребячьи.— Ты бы, дед, а?.. Слово бы, что ли, какое знаешь, на жесточь... Голову бы уж срубили долой — один конец.

— Вот те и к царю,— проговорил желтоглазый Алешка Ложкарь, пятидесятник после Бабасанского боя.— Да все кинуть, и нынче же обратно...

— Лих теперь уедешь!

— На Москве я какой поп,— зашамкал Мелентий Нырков.— Мой пошепт — на Тоболе да на Иртыше. Молитва моя — из земляного духа: земля-матушка учила меня. А вы, ребятки, чуть что... Эх вы! Ты владычицу помяни, она знает — легкий грех человечий, где большой грех взять? Вот и пождите, значит, подивуйтесь: на Москве-то ведь! Я на церковные главы покрещусь, на торгу потолкаюсь — чем торгуют, охти, владычица!

И он перекрестил рот. Долгая дорога его и до Москвы довела, куда и не чаял. Довела — и выведет, ничуть о том не беспокоился старик. Но сдал он, одряхлел, бог знает сколько ему было лет.

— Впрямь Москву поглядеть, дверь-то нам, чай, не заказана,— сказал сотник Ефремов.— Пошли, Родион!

Родион Смыря буркнул:

— Я куманька проведаю. Куманек у меня тут. С Гаврюхой ступайте.

А сам пошел один.

Дома без крылец, с острыми крышами мигали одинаковыми плоскими оконницами, как глазами без век, чопорно подобрав гладкие, будто метелкой подметенные стены.

Казаки шли обнявшись, и Гавриле Ильину думалось, что жить тут должны люди-кощеи, с гусиными шеями и недовольно поджатыми губами. Но повстречалась девушка — голубенькие глаза на белом, как сыр, лице, волосы, будто посыпанные мукой.

«Кралечка-красавица,— подумал Ильин,— сказала бы, и какого ж ты роду-племени».

Глаза девушки округлились, а пухлый рот брезгливо втянулся ниточкой.

— Ихферштее нихьт[1],— тонко пропела она этим безгубым ртом; услышала, что ль, мысли Ильина?

Поезд тяжело груженных возов остановился у каменных хором. Растворились окованные двери, душно пахнуло источенной шерстью, пробкой, какой-то сдобной пылью. В толпе, разгружавшей возы, суетливо покрикивали двое толстяков, лица их, точно надутые, раскраснелись и лоснились, ветер загибал поля широченных шляп,— шумным толстякам было жарко в морозный день. «Кто ж такие?» — «Фрязины —гости!»

Не сошлись ли тут все концы мира? Сошлись, и каждый оставил что-нибудь свое: стрельчатые башни, каменное кружево, раздвоенные зубцы, причудливый узор резьбы, шатры крыш, легкую мавританскую арочку, бирюзовый столбец или карниз, похожий на жемчужную низку, пятна яри, червлени, чешую куполов, многоцветную, как оперение заморских птиц.

На пригорках бессонно вертели крыльями мельницы. Черный дым обволакивал закопченные срубы. Там лязгало и клокотало. Огненный блеск, вырвавшись сквозь прорезы в сумрачном кирпичном своде, пронзал, как лезвием, удушливую тьму. И слышался свист расплавленного металла.

На просторном поле казаки увидели пушки, отлитые на пушечном дворе. Казачьи пищали, покорявшие Сибирь, показались бы малютками рядом с ними.

Лошади, впряженные по нескольку пар, влекли их с тяжким грохотом. Были пушки-змеи, пушки-сокольники, пушки-волкометки — у всех позлащены и роскошно расписаны лафеты. Сотник Ефремов по складам читал имена, выбитые на бронзе и чугуне:

— Барс. А-хи-ллес. Ехидна. Соловей. Ишь, пташечка, голова, чать, с плечами в клёв войдет!

Вдруг, изогнувшись на низких седлах, вылетели всадники. Мохнатые, окутанные паром лошади, желтые скулы под островерхими шапками, мелькнувшие в быстром степ-

[1] Не понимаю *(нем.)*.

ном намете, сайдаки у пояса. Татары здесь, в войске великого государя!

— Москва! — дивясь говорили казаки.

Подходили полки. Развертывались, снова собирались у своего знамени с широким крестом. Каждый стрелецкий полк издали различался по цвету кафтанов. Цвет алый, цвет луковый, цвет брусничный, крапивный, мясной, серый, травяной запестрели, соединились — и вот ожило, зацвело все огромное поле, сколько глаз хватало, в равномерном колыхании, как бы одном дыхании несчетного множества людей.

Зачарованно глядел Ильин. Кони казались слитыми с всадниками. Аргамаки — есть ли им цена? Шитые чепраки. Блещущие копья и вырезные бунчуки, развевающиеся по ветру у концов их. Гаврила невольно прижмурил глаза. Он увидел (или почудилось ему?) высокие крылья за спиной нескольких всадников, птичьи, орлиные...

Но была черна нищета курных лачуг.

Город не выставлял напоказ своих ран, но глубоки и тяжки они, нанесенные страшной, изнурительной, почти четвертьвековой войной. Нищие и калеки гнусаво пели на папертях церквей.

Не мир, но только перемирие привезли царские послы из Запольского Яма. Ползли слушки: будто Баторий снова подступил ко Пскову, будто шведы вошли в голодные, обезлюдевшие новгородские области. И в тревожные ночи москвичи искали на небе зарева татарских костров.

5

Трубил рог, стрельцы разгоняли народ, гонец самого царя подскакал к казачьей избе. Казаки всполошились. Им велели одеться нарядней.

Толпа расступилась, сворачивали боярские возки, когда вели казаков в Кремль Спасскими воротами — по мосту через ров, мимо тройного пояса зубчатых стен.

И вот как бы засверкала радужная громада. Здания теснились, набегали друг на друга, охватывали одно другое, сплетались, и все громоздилось, ярко, узорно

возносясь ввысь. Там, в вышине, над Москвой, толпились кровли: будто меж золоченых скирд стояли шатры; вскидывались гребешки; переливчато блистала епанча. Дымки чуть заметно туманились над изразцовыми трубами, сложенными в виде коронок, под медной сеткой. И кругом сияли кресты, жаром горели орлы, единороги и львы.

Расписные двери вели на Красное крыльцо. Словно из-под многоцветных шапок выглядывали решетчатые окошки. И завитки на стенах складывались в ветви и стебли неведомых растений...

Звезды и планеты сияли на потолке палаты, как на небесной тверди. Семь ангелов витали, посрамляя семиглавого беса. Беседовали пресветлые жены — Целомудрие, Разум, Чистота, Правда. Ветры дули над морями и землями. То была вселенная. Молодой царевич держал в руках раскрытую книгу. «Сын премудр веселит отца и матерь»,— гласила надпись. Вот он возрос, царевич Иосаф, и пустынник Варлаам открывает ему, что скорбен и жесток мир. И царевич с отверстыми очами идет в мир, ищет правого пути. Подымаются и ярятся враги. Обступают соблазны. Он укрепился сердцем и поборол их. Он препоясался мечом и поразил врагов. От руки его изливается живительная струя — напоить людей. Вот он в сверкающих одеждах — царь, раздающий златницы нищим.

По стенам, по сводам вилась роспись, будто выпуклая, невиданно, не по-иконному живая; в упор глядели сверхчеловечески огромные лики, была непостижима тонкость сотен мельчайших изображений. В яри, в лазури, в златом блеске вилась роспись. И палата казалась золотой.

Царь сидел на возвышении. Морщинистый лоб высок от убегавших под шапку залысин, вислый нос удлинял, как бы оттягивал вниз припухшее желтоватое лицо в клокастой, седой с рыжинкой бороде,— ни с чьим другим не схожее, необычайное лицо, не таким ждал увидеть царя Ильин.

Царь шумно вздохнул, трудно втянул воздух, голос вылетел не сразу, но тотчас окреп.

— Встаньте. Ты встань, Иван Кольцо. И товарищи твои.

Не сразу решились подняться. Царь сказал:

— Ближе подойдите. Не бойтесь. Верным рабам, не лукавым, нечего бояться.

С минуту он озирал казаков неуловимо быстрым взглядом. Потом произнес, как будто и раньше шел об этом разговор:

— Дьяки уже сочли все сибирские богатства. Да дьякам нашим где с Кучумом воевать — им в подьяческий полк на Москву-реку выйти за тягость великую. Тебя, Кольцо, послушаем со боярами честными.

И после этих слов царя Кольцо сверкнул белыми зубами и вытащил из шапки криво исписанный лист. Ильин подивился — то была челобитная Ермака. Кольцо и не заикнулся о ней в приказе. А сейчас он принялся по складам, запинаясь, читать. Царь слушал недолгое время, прервал и велел одному из стоящих вблизи бояр принять челобитную. Теперь он ждал, видимо, рассказа Кольца, и Кольцо неловко потоптался, не зная, что сказать. Стало тихо. Ильин слышал дыхание многих людей, наполнявших палату. Тогда царь, скользнув вокруг цепким, быстрым взглядом, начал спрашивать. Он спросил о дорогах, о городах, о реках, о рухляди — о богатстве, какое есть и какое можно добыть; о припасах, людях и здоров ли сибирский воздух.

Ильин, стоя праздно, жадно разглядывал царя. Царь подался вперед, ухватившись за подлокотник,— рука была узловатой, рот большой, с опущенными углами. И словно опалены припухшие щеки.

Он торопил ответы казака, часто поправлял его.

Приказал подать себе соболиную шкурку из числа поднесенных казаками, с наслаждением поглаживал шелковистый мех узкими пальцами.

Ильин заметил, что, говоря, царь смотрит, как сибирский посол смущенно мнет шапку, и царю нравится это. А Кольцо вдруг, тряхнув волосами и сверкнув белками глаз, сказал на всю палату с казачьими словечками:

— Вона, царь-государь, сам ведаешь все. Мы сарынь без чина, добро, коль на теле овчина. Коли ба пожаловал нас зипунишками да учужками, мы бы милость твою в куренях под тем тарагаем [1] раздуванили.

Царь нахмурился. А Кольцо так же громко и с озорством брякнул:

---

[1] Тарагай — сосна *(тат.)*.

— Башку Кучуму на Барабе снесем. А хошь — живьем утянем.

— Скор,— возразил Иван.— А войско ханское чем перебьешь? Кистенем?

— Чем велишь! Хоть и кистенем!

Царь все морщился.

— Поучи нас, Иванушка,— угрюмо сказал он.— Вот король Баторий за подарком к нам прислал. Еще кровавый пот не отер с лица, еще посеченных своих не схоронил,— и что же попросил? Красных кречетов. Большего не умыслил — скаканьем с кречетами усладиться. А нам что приятно, спрашивает, чем одарить? *Конями добрыми*,— ответили мы,— *шеломами железными, мушкетами меткими.*

И тогда Кольцо, как бы в простодушном смущении, опять принялся теребить шапку, но даже весь порозовел — так трудно было ему скрыть радость: ведь то было слово о помоге, которой он приехал просить, и слово это вымолвил первым сам Иван Васильевич!

И, вскинув голову, атаман смело и громко сказал царю о казачьих нуждах.

Человек в высокой черной шапке дал было знак казакам: царский прием кончен, в соседней палате соберутся думать бояре, ждут дьяки. Но ровными, твердыми, неслышными шагами подошел к трону широколицый, сильно заросший курчавой черной бородой. Не обратив внимания на человека в высокой шапке, он стал допрашивать про убыль в казачьем войске, про оставшееся оружие, про ясачных людей. Терпеливо, придирчиво выпытывал подробности, не сводя с Кольца внимательных, озабоченно-усталых глаз. Потребовал поименно назвать мурзаков и князей, отпавших от Кучума. Казакам подсказали шепотом, что это конюший боярин Борис Федорович Годунов.

Наконец, тряся щеками, ворчливо загнусил из глубины палаты древний боярин:

— Вот и пожаловать казачков сребром аль там выслугой. Пущай крест целуют. Войско ж до времени и вовсе не слать, по худому сгаду моему. Войско здесь надобней. Ту дебрь казачки почали, им и управляться. Так, по сгаду моему, и порешить бы это дело добрым советом, бояре. Томен государь, спокой ему нужен. По сгаду...

Слушал ли царь? Он прикрыл глаза, на лбу налилась жила. И словно землистая тень легла на лицо.

— Ахти! — услышал Ильин позади себя. То пугливо прошептал юнец, весь в веснушках, с маленькими, кукольно-красивыми ушками и в одежде столь златотканой и таким колоколом, что Гаврила счел его тоже за боярина.

Царь медленно поднял тяжелые веки и поглядел на гнусившего свое старика. Тот осекся, только с разбегу прогундосил еще что-то себе под нос — донеслось: «А-ся-ся...»

— Молодого посла слушали — старость молчит: не подобает,— сказал царь (человек в высокой шапке больше не вмешивался).

Древний боярин обиженно отдулся. Мелентий Нырков неловко ступил два шага, спешно обмахнулся двуперстием.

— Атаманы ведают про войско. А про землю тамошнюю, батюшка, скажу: чиста она, просторна, утешна...

И поперхнулся, чуть не сказав свое «нечистый дух». Царь, видимо, остался недоволен. Он подождал, не вымолвит ли старик еще чего, и вдруг спросил:

— Чертеж привезли?

Казаки молчали. Царь с укоризной и назидательно сказал о пользе для государства чертежной науки. Слов, какие говорил царь, Ильин не знал и не понял; он смотрел на пергаментную, в складках кожу рук и на иконки с разноцветными камешками на груди, и человек этот, сидящий выше всех посреди блестящих топориков на плечах окаменелых рынд, казался ему, как в сказке или во снах, нечеловечески непонятным. И Гаврила дивился бойкости Кольца.

Царь велел дьякам немедля, по опросу, сделать самый точный сибирский чертеж и затем возвысил голос:

— Зла не помню! — И только эти слова впервые и указали казакам, что царю известно все про них и ничего он не забыл.— Милостью взыщу, как взыскал меня господь на гноище моем. Да не омрачится ничем день сей! Не о смерти — о жизни говорю днесь. Зрите, слепые: царство Сибирское верными рабами покорено под нашу державу.

Он стоял во весь рост в тяжелой парчовой одежде. Воскликнул с внезапной силой:

— Радуйтеся! Новое царство послал бог России!

Несколько голосов в палате прокричали:

— Радуйтеся!

И человек с одутловатыми щеками и потным гладким лбом, сидевший неподалеку от царя, стал часто креститься.

То был царевич Федор.

6

Гости расселись у столов по старшинству и чинам. Старцы в тяжелой парчовой одежде безучастно дремали на лавках. Более молодые переговаривались, кое-где о чем-то спорили. Приглушенный гул стоял под низкими сводами. Тут были Шуйские, Мстиславские, Трубецкие, Шереметевы, Голицыны — рюриковичи, гедиминовичи, действительные и воображаемые потомки «отъехавших» ордынских князьков, патриархи и птенцы старинных «колен», заметно поредевших при Иоанне.

Слуги быстро, бесшумно уставили столы посудой. Четверо внесли огромную серебряную корзину с хлебом.

Гул утих. В створчатых дверях показался Иван Васильевич. Опираясь на палку, грузно, медленно, между поднявшихся и кланявшихся бояр, прошел он к креслу. С ним рядом, поддерживая его под руку, шел статный, в роскошной русой бороде, окружничий. На вскинутой голове царя был надет венец из золотых пластин с жемчужными подвесками.

— Благослови, отче! — высоким голосом сказал царь.

Митрополит в белом клобуке благословил трапезу.

Стали обносить блюдами. Молодец в бархате остановился с низким поклоном перед Иваном Кольцом.

— Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси жалует тебя хлебом.

Бархатный молодец удалился, бесшумно ступая, важно неся, как чашу с дарами, свое уже начинавшее тучнеть немолодое тело.

Ильин потянулся отломить себе кусок, его дернули за рукав.

Вскоре веселый красногубый боярин принял на себя попечение о сибирских послах. Он потчевал их:

— Кушайте, пейте во здравие. Радость-то, радость какую привезли! Гостюшки дорогие...

Яств сменялось множество — в подливах, в соках, то пресных, то обжигавших рот незнакомой пряной горечью.

— Вино как мед,— пробурчал Родион,— рыбка зато с огоньком.

Боярин всплеснул холеными белыми ладонями.

— Из-за моря огонек! — И он стал перечислять: — Корица, пипер[1], лист лавровый, венчающий главы пиитов.

— Мы к баранине привычные,— не поняв, сказал сотник Ефремов.

Гаврила Ильин тоже не мог разобрать, вкусно все это или нет, но было это как во сне, и он ел, и утирался рукавом, и с гордостью смотрел, как все эти люди в цветных сияющих облачениях рады им, казакам, и стараются услужить, а у каждого из этих людей под началом город или целая рать. И Гаврила пытался сосчитать, сколько ратей у царя Ивана, и, забывшись, толкнул бело-румяного старичка в херувимском одеянии по левую руку от себя.

А слуги ловко подхватывали пустевшие блюда. Каждая перемена кушаний подавалась на новой посуде. В серебряных бочках кипели цветные меды. В гигантском корыте, литом из серебра, лежал целый осетр. По столам пошли кубки в виде петухов, лисиц, единорогов. Дважды не давали пить из одной чары.

Уже под металлическими грудами глухо трещали доски. Забывалось, что это золото, серебро, и малая часть которого не имеет цены. А неисчерпаемый источник выбрасывал в палату все новые и новые сокровища.

И в полумраке Гаврила различал ликующее и вместе сумрачное выражение на лице царя. Что-то голодное, ненасытимое почудилось казаку в этом выражении. Ильин заметил, как, полуобернувшись, он что-то проговорил. Восемь человек внесли тяжелый предмет. Из чистого золота сделан терем или дворец, аршина два длиной, с башенками и драконьими головами; на месте глаз вставлены алмазы. Дубовый стол охнул под великаньей золотой игрушкой.

Царь нагнулся вперед, подперев подбородок ладонью левой руки, громко сказал:

— Видно, нищи мы и голы — в кафтанишке изодранном поклонимся в ноги нашим врагам!

Человек в черном камзоле льстиво отозвался из-за царского плеча:

— Толикое видано лишь у короля Инка в златом царстве Перу!

---

[1] Пипер — перец.

То был голландский лекарь Эйлоф.

— Дорог камень алмаз,— продолжал царь.— Он утишает гнев и гонит похоть. Потому место его — у государей, дабы, владея людьми, властвовали прежде над собой.

Эйлоф подал фиал с вином. И тогда, внезапно отворотясь от сокровищ, Иван Васильевич поднял его на свет. Словно большая ленивая рыба, окаймленная звездным сверканием, проплыла в голубой хрустальной влаге.

— Хлябь морская,— медленно произнес царь.— Что в склянице сей? А ведь дороже она, истинно невиданная, и злата и лалов[1]. Кровь и слезы — злато, грех человечий. В ней же вижу великого художества славу, дивных венецейских искусников ликованье!

Он держал ее поднятой — переливалось звездное сверкание. Он держал ее за стебелек ножки и ласкал ее взором — так, как ласкал (подумалось Гавриле) шелковистых соболей длинными пальцами на посольском приеме.

Голос его то наполнялся звучной силой, делался певучим, то падал до вкрадчивого шепота,— будто несколько переменчивых голосов жило в груди у Ивана Васильевича, и он играл ими, любуясь их покорностью.

Бережно, как бы боясь погасить хрустальный блеск, опустил узкий стеклянный сосуд. И вот уже стольник с подносом в руках изогнулся перед боярином в середине палаты.

— Князь Иван! Великий государь жалует тебя чарой со своего стола.

Боярин непонятно и неуловимо вздрогнул. Но встал, решительным взмахом руки оправил волосы. И все в палате встали и поклонились ему, когда он с одного дыхания осушил высокий венецейский фиал.

— А расскажи ты, князь Иван Петрович, как круль Батур хотел Москву на блюде шляхте поднести!

То зычно крикнул статный оружничий, ближний царя, Бельский.

Боярин ответил:

— Не свычен я, Богдан Яковлевич, рассказывать.

— А шепнул же ты крулю во Пскове такое, что тот сломя голову ускакал в Варшаву... чтоб дорогой, не дай боже, не забыть!

---

[1] Лалами называли драгоценные камни, в особенности рубины, яхонты.

— Кто же тот князь Иван? — спросил Ильин.

Веселый боярин-доброхот пояснил громким шепотом:

— Шуйский князь!

И казаки отложили еду и питье, чтобы яснее разглядеть знаменитого воеводу, который целовал крест со всеми псковскими сидельцами стоять насмерть против польской рати, сам кинул запал в пороховой погреб под башней, когда поляки ворвались было через пролом, и там, в осажденном Пскове, сломил кичливость Батория, уже предвкушавшего близкую победу в страшной этой войне.

Бельский, хохоча, тряс роскошной бородой, спадавшей на грудь малинового кафтана. Но царь стукнул по столу.

— Али уж вовсе ослаб брат наш Баторий,— сказал он хмуро, но подчеркивая имя польского короля и титло «брат», точно играя, непонятно для Ильина, ими,— умишком, что ли, оскудел, раз вы потешиться над ним радехоньки? А он, вишь, и на престол скакнул через постелю старицы, Анны Ягеллонки, страху не ведая...

Так витиевато царь намекнул на непристойную подробность возвышения Батория. Грубо хохотнул Бельский. Царь же вдруг оборотился к послам:

— Вот я станишникам загадаю, не обессудьте, бояре; хоть темные люди, да бывалые. Отгадайте, станишники: возможно ли царству великому, как слепцу и глухарю, в дедовом срубе хорониться?

Как разобраться тут волжскому гулебщику? Но, видно, разобрался — не в царском, так в своем,— споро, не смутясь, поднялся Кольцо:

— Несбыточно. Водяная дорожка в Сибирь привела. Стругу малому — малая речка. Лебедю-кораблю и с Волги ход в море Хвалынское.

Ловко угодил, забавник! Краткий гомон прокатился по палате и замер.

— Так,— повторил царь,— несбыточно. Так, Иван Кольцо! Вижу ныне, в день веселия: на всход солнечный — соколиный лет. Будет помилует бог, а доступим мы и то вселенское море на западе. Море праотич наших!

Богдан Бельский сказал:

— Да не по вкусу то иным гостям в твоих хоромах. Руку-то твою как отводили!

— Скажи! — живо откликнулся Иван. И голос и лицо его выразили удивление.— Уж не веревкой ли рады были нас связать, радея о животе, о нуждишках наших?

Бельский промолчал.

— И кто же они? Что, разумом тверды паче нас, грешных? Сердцем чисты, как голуби? Прелести женской, плотских услад отреклись? Говори! — упрашивал царь.— Может, землю свою и правду ее возлюбили больше жизни? В бдениях ночных потом кровавым обливались?

Оружничий шевельнул широкими плечами.

— Что пытаешь, государь?

Он утопил руку в червонно-русых волнах бороды, глаза его простодушно голубели на полнокровном, румяном лице.

— Не таи, Богданушка, не все же тебе с девками на Чертолье пошучивать... А может, открой, и вовсе не о том радели? Али...— Иван наклонился в сторону Бельского, будто поверяя ему одному,— али и корень природного государя извести умыслили... как того Зинзириха вандальского?

И сразу опал гомон в палате.

Надо всеми пирующими неподалеку от казаков высилось туловище боярина-гиганта. Он все время сидел неподвижно, хмурился, должно быть, не слушал, только последние слова царя и долетели до него; он опустил и поднял веки. Но кто такой Зинзирих вандальский, он, видно, не знал и тотчас отогнал его от себя, а опять вспомнил что-то свое, досадное,— повернулся так, что грохнула дубовая скамья, и снова окаменел.

Менялись кушанья. И от каждого нового за царским столом лекарь Эйлоф отрезал по куску — пробовал, старательно, уже через силу прожевывая и мучительно скрывая это.

Царь же вдруг крикнул и хлопнул в ладоши:

— Гойда! Гойда!

И кучкой сидящие близ его места на низеньких лавках — очутился там, безо всяких чинов, и кукольно-розовый юнец в златотканой одежде — повторили крик и застучали руками:

— Гойда! Гойда!

Сделалась суматоха — не пьяным ли пьяны? А царь, громко, Бельскому:

— Брат, подай.

Богдан Бельский, племянник Малюты, вскочил, красуясь, и в суматохе едва не выхватил вино у кравчего.

— Пей, брат.

Но, не принимая кубка, царь вперил в него неподвижный взор. В каменной, внезапной тиши усмехнулся, отвел взор и отослал вино кукольному юнцу. Мальчик взял обеими руками, неловко встал, не поклонился, а как-то махнул красивой головой в сторону царя — и царь даже подался вперед, с жестокой, голодной жадностью глядя, как он пьет, и давится, и поперхнулся, залив вином одежду и стол. И тогда, откачнувшись, царь захохотал пронзительным, оглушающим смехом, дергая редкой клокастой бородой на закинутом лице.

— Пиршество ликования! — торопливо шептал казачий доброхот, князь Федор Трубецкой.— Чуден, велелепен ноне государь...

Он возгласил здравицу и славу великому государю. Подхватили шумно, зазвенела посуда.

Казаков со всех сторон стали спрашивать о стране Сибирь.

— А реки в тех местах есть? Рек-то сколько?

— Семь рек,— уверенно расчел Кольцо.— И против каждой — что твоя Волга!

Загоготали ближние царевы, но царь не улыбнулся.

На подушке поднесли ему другую, двухвенечную корону. То была корона поверженного Казанского царства. Он возложил ее на себя.

И снова Гаврилу Ильина поразило выражение сумрачного торжества, которое жгло черты царя.

Царь хлопнул в ладоши:

— Иван Кольцо! Ты поведай: как хана воевали, многих ли начальных атаманов знали над собой?

Всякий раз, как царь обращался к атаману, Ильин был горд. А Кольцо отвечал не просто, но с нарочитым ухарством, точно мало ему было, что выпало беседовать с царем,— еще и поддразнивал самого Ивана Васильевича да испытывал: а что сегодня можно ему, атаману станичников, вчера осужденному на казнь?

— Карасям — щука, а ватаге атаман — царь.

Шелест пошел кругом: дерзко! Царь помолчал несколько мгновений, потом выговорил хрипло:

— Потешил.

Ильин не понял, отчего все опять замолчали. И несколько мгновений длилась гнетущая тишина.

Но усмешка скривила лицо царя. Как показалось Гавриле — злая и нарочитая. Царь сделал знак. И тотчас двое подхватили Кольца под руки, подвели к царскому

креслу и с обеих сторон толкнули вниз, указывая пасть на колени.

А царь коснулся ладонью головы казака.

— С моего плеча,— сказал царь громко,— хороша ль будет с моего плеча шубейка?

И тут же забыл о казаке. Оборотился к палате.

— Не фарисеи — разбойник одесную сидит в горних. Князь Сибирский — нареку имя тати тому Ермаку, как зовете его!

В мертвое безмолвие кидал Иван язвящие слова:

— Всяк противляйся власти — богу противится. Горе граду, им же многие обладают!

Голос его несся над столами, настигал на скамьях, в уголках, от него нельзя было укрыться.

— Не вы ли жалуете нас Сибирским царством? Не вы. Разбойные атаманы-станишники. И за то все вины им прощаются. Гнев и опалу свою на великую милость положу. Всяк честен муж да возвеселится: радость ныне! Не посмеялись недруги над ранами отверстыми, над муками, над скорбью моей! Дожил я до дня такого! А с тех...— он остановился на миг,— с тех, кто одно мыслит с изменниками...— он ударил посохом, вонзил его в помост,— с изменниками, которые до князя Ивана хотели отпереть Псков Батуру, а Новгород шведам,— с тех псов смердящих вдвое взыщу! Огнем и железом!

Гаврила видел: царь гневен. Но за что прогневался он на этих добрых, услужливых, важных, блистающих, как небесное воинство, людей, кто из них и чем прогневил его, этого Гаврила не понимал. Неужели это тот самый человек, что принимал их в посольской палате? А сейчас — разве для их ушей это? Да будто и не бывало здесь сибирских послов. Свой давний яростный спор, свои дела — поверх их голов!.. И, оглушенный, сбитый с толку, с внезапной робостью, которой он не мог подавить в себе, Ильин только оглядывался. У кукольного юнца дрожали загнутые ресницы, он смеялся всеми веснушками на своем личике, заливался смехом, раскрыв румяный рот, пьяно, нагло, визгливо. Боярин, весь черный, косматый, глядел исподлобья блестящими, колючими глазами. Рядом с ним, положив локти на стол, сидел гигант. Как из камня высеченный, тугой затылок, мощный, почти голый круглый подбородок, глубоко врезанные глазницы. Он сидел, упрямо сжав губы, ничем не выдавая своих дум.

— Волки, ядущие овец моих! — воскликнул царь, и

митрополит суетливо поднял, протянул к нему осьмиконечный крест.

Со страстной силой царь отвел его:

— Молчи! Божьим изволением, не человеческим хотеньем многомятежным, на мне венец этот! Никто да не станет между царем и судом его!

И вот в это время в палату вступил новый человек. Ровными, твердыми, неслышными шагами, слегка кивая направо и налево, не меняя озабоченно-усталого выражения умного лица, прямо к царскому месту прошел Борис Федорович Годунов. Со спокойной почтительностью немного наклонился, что-то проговорил. Иван коротко ответил, оборотясь, сказал несколько слов (и, видно, совсем не так сказал, как говорил до сих пор на пиру) в сторону стола, где сидели Захарьин-Юрьев, Шереметев, Мстиславский, царский шурин Нагой вместе с худородным стрелецким головой — от любимого Иваном войска, которое он завел в свое царствование.

Затем громко произнес:

— Ну, хлеба есть без меня.

И с Годуновым пошел к выходу.

Будто легкий ветерок порхнул по палате. Играли гусляры, шуты, взвизгивая, дергали себя за кисти колпаков,— люди у столов не слушали, шептались. Куда пошел царь? Что же случилось? Ильин хотел спросить об этом у бело-румяного старичка (веселый боярин-доброхот князь Трубецкой куда-то скрылся), но старичок толковал соседу о яблоневом саде. Вдруг до слуха казака донеслось:

— На валтасаровом пиру сидим. Сибирскому царству плещем, десницу господню глумами отводим.

Черный косматый боярин забрал в кулак бороду, сощурился.

— Весел ушел. Не езуит ли проклятый, Поссевин, опять пожаловал? Али с Лизаветой Аглицкой союз? А все для чего? Ливонию отвоевывать. Одна могила угомонит...

Но челюсти гиганта двигались, как жернова, перемалывая пищу; косматый напрасно окликнул его:

— А, Самсон Данилыч?

Тогда косматый повернулся в другую сторону.

— Уж ты скажи, Иван Юрьич: тати от царя Кучума — что ж они, оборонят от ляхов? отвратят крымцев? аль мордву с черемисой смирят?

Он не чинился перед татями, сидящими совсем неподалеку.

Бело-румяный старичок, оторванный от разговора о яблоньках-боровинках, проворчал:

— Ась? Мне-то не в Сибири жить, а на земле отич, да и в гробу лежать меж костей их...

И наконец расцепил челюсти гигант:

— Не яблоневый цвет будет над Москвой — кровавый пар. Не с Крымом война — с Русией: на свою страну поднялся, как на ворога. Наполы рассек... как тушу, прости господи, мясную. На гноище своем опять решается весь народ к плахе сволочить — окромя кромешников своих. Круль у ворот Пскова. До Ильмень-озера доходил — до Новгорода! Голод по весям. На дыбе пресветлая Русь. Вотчины полыхают от холопьих бунтов. Шатанье, смуты грядут. Горько!

— Слышали ноне? — сказал через стол рябой старик.— Гремел-то как?

— А к девке Лизаветы Аглицкой сватается — от живой седьмой жены! — так ручку лизать готов. А с ласкателями, паразитами... соромно сказать: «братик, братик». Небось.— Гигант кукишем сложил кулак в рыжем волосе.— Где Афонька Вяземский, дружок-кровопивец? Федька Басманов родного отца придушил али там ножиком горло старику перехватил: думал угодить, думал на веки вечные срамную любовь-ласку сохранить; где ж он, Федька? Так-то. А тоже кучерявенький был — не хуже этой... тьфу! — то ли девки, то ли юнца — вон рыгочет, нюни распустил... Нынче братик, завтра на кол. Небось! — Глазом он указал на царское место: — Бирюза на грудях слиняла — видели? Теперь, чать, недолго!

Не соразмерил голоса — смолкло все, в тиши раздались слова гиганта. Сзади, незаметно войдя через скрытую дверь, стоял царь. Он стоял, прислонясь к стене, в тяжко вздутом колоколе одежд, втянув шею, как бы изнемогая под бременем, до белизны пальцев стиснув посох.

С тяжелым шорохом одежд, в третьем венце, осыпанном самоцветами, царь двинулся к своему месту. Гусляры ударили по струнам. Иван Васильевич приветливо что-то проговорил, зачем-то торопливо наклонился лекарь, а бархатный молодец важно направился к гиганту, неся чару.

Как подбросило Гаврилу — он вскочил, слыша стук собственного сердца, захлебываясь отчего-то и все глядя

на лежащие на скатерти крупные, с сухой желтоватой кожей руки царя... И вдруг Ильин в первый раз ясно разглядел глаза царя. Они были карие с голубизной. Но такой огонь расширял их зрачки, что казались они почти черными, точно это и была та огненная сила, которая жила в царе и жгла его. Гаврила потупился, будто этот взор насквозь пронизал его.

Ильин лишь заметил веточки жилок в глазах, темные ямы запавших висков. На один миг,— показалось Гавриле,— остались они двое, казак и царь, отделенные ото всего в палате...

Но Иван уже не глядел. Он отворотился. Бархатный молодец кланялся низко у соседнего с казачьим стола. А каменный боярин по-бычьи нагнул голову, и лицо его наливалось свекольным соком.

Давно стало темно, засветили огни, в палате было чадно. И диковинное, непонятное переполнило Ильина, закружилось в голове его. Ему казалось, что травы, написанные на сводах палаты, шевелятся и хмурое око зажигается в них.

Самое большое человеческое богатство, немыслимое наяву,— что ж, теперь он видел его: груды, горы серебра, тяжкого как булыжник, почернелого; жирную пищу, размазанную по тускло-желтоватому золоту; сотнями рассыпанные цветные камешки, слепенькие при коптящих огнях.

Пир кончался. Смешанный хмель десятка напитков разморил самых слабых и самых жадных. Несколько человек в разных концах палаты привалились к столам. И пошатнулся гигант, в луже вина макая жидкую поросль на круглом подбородке, странно рухнула его голова на стол. Царь в упор посмотрел на него. Обернулся и приказал:

— Вынести!

7

Сибирских послов кормили на государев счет.

Им надо было оставаться в Москве, пока медленно скрипели перьями приказные, велемудро сплетая словеса указа, и собирали сибирскому казачьему войску припас и царское жалованье.

Грамота не дошла до нас. В ней, уверяет летописец, величался Ермак князем Сибирским.

Велено было готовить рать для похода на Иртыш. Дьяк Разрядного приказа известил о том казаков.

Но золоченая решетка Красного крыльца больше не размыкалась перед ними.

Они бродили по улицам и площадям. И больше всех — Гаврила Ильин.

Он доходил до края города, где за широким полем горели главы, ввысь стремились стройные башенки у речной излучины. Монастырь? Дворец? Твердыня? А дальше, через реку, подымались отлогие горки, все в лесу.

Избы на краю города стояли просторно. За огородами — сады. Колоды ульев указывали на жилище пасечника. Рядом изба не походила на другие. Крепкая, опрятная, небольшая, она не жалась подальше в глубину двора, не жмурилась боязливо и подслеповато, укрывшись забором, а открыто выглядывала на свет чистыми, с цветным отблеском взятых в мелкий переплет граней слюды оконцами. Резьба бежала по наличникам, карнизам до самого конька.

Может, и ничего во всем этого такого не было, но остановился перед нею Гаврила — никуда ведь не спешил, просто ходил по городу,— и чем больше смотрел, тем сильнее хотелось ему (он сам не знал отчего, словно что-то подталкивало его) узнать, что за люди живут здесь.

Брякнула незапертая калитка, тявкнула лениво и мирно, для хорошего заведенного домовитого порядка, сытая собачонка. Молодайка отворила. Увидя молодца в шубе вроде как боярской, в куньей шапке — «Вон кто попить воды попросил!» — застыдилась, заалелась, закрыла рукавом смеющиеся черные глаза, отскочила.

— Маманя!

Высокая старуха в черном платке, с гордым лицом строго посмотрела, позвала в сени, вынесла воды.

Из темноты сеней через растворенную дверь Ильин увидел комнатку. Натопленная, сухая, золотистый свет заливал ее. В первое мгновение он не мог понять, что было в той комнатке. Пестрая, цветная, искрящаяся на свету толпа... Что за толпа? Все с ноготок. Войско вышагивает в кафтанчиках. Тройки летят. Водомет бьет из дыхал грузной, иссиня-черной, с белым брюхом рыбы. Трое взобрались на сосновую полку, в руках палочки, за пле-

чом нищенские сумы. Но и сам змий, свесивший с дерева плоскую голову, завидует им, тщетной сочтя свою мудрость! А вон стоит человек об одной ноге и без лица. И что подле него? Огромный нос! Нос, диковинно переходящий в драконьи извивы. И еще два уха, растущие сами собой, как лопухи. Киноварью выведены какие-то слова внизу, вроде — вирши.

— Попить просил, касатик,— певуче напомнила старуха.

Почему смутился, смешался он и слова не мог вымолвить? И, ощутив жгучую краску на лице, заторопился вон?

Старуха напрасно держала корец, из-за двери виднелись смеющиеся глаза молодайки.

На крыльце Ильин зажмурился от голубоватого сияния снега в саду по сторонам ровненько расчищенной дорожки.

Уже домами улицы заслонена изба, снует народ, не разберешь, где она осталась, в какой стороне. Никогда Ильину не взять бережно в руки ни одной из тех фигурок, чтобы рассмотреть дивное их художество. И хозяина их не повидать, не встретить, ни словечком не перекинуться с ним. А хотя бы словечко, хотя одно-единственное, от него услышать! Почему же бежал, не узнав даже, дома ли хозяин? Да нет, верно, не было его... Скакал он, верно, на лихом коне, смотрел на город, на людей, молод, весел, кудряв, и откладывал в себе, что надо, что захотел, для чу́дной своей работы. И больше никогда не поведать ему того главного, что знал Ильин и чего никому он не мог бы рассказать так, как рассказал бы этому московскому человеку: об отваге и смертном труде, о дорогах, пролегших по груди земли, и как необъятна она и златы дали, бескрайна радость простора. Все бы тот понял, все. И открыл бы, в чем тягота жизни и где исход из нее,— он, сотворивший сам сонмы земли, воды и воздуха.

На широкой площади у Кремля (Пожаром называли ее, хотя Ильин не видел сейчас на ней никаких следов огня) шумел торг. Их много было в Москве, но шире всего расплескался этот. В толчее проворные люди в бараньих шапках сбывали татарские седла, халаты, зелье, лохмотья и потрепанное узорочье, кривые ножи и тусклое ордынское серебро. Шныряли черные монахи. Под рясой у них — частицы мощей и животворящего древа, гвозди с присохшей кровью Христовой. Дай медный алтын —

будет твое. Переминался на задних лапах приведенный горбатым поводырем ручной медведь. И бездомные, ютившиеся под кремлевской стеной, глазели, как он ходил, выпятив пузо, и грыз кольцо, представляя спесь.

Каменных лавок Ильин не мог счесть. Из одних слышался распевный, бойкий говорок купцов, сыпавших складными прибаутками. Другие забиты, заколочены, доски местами уже выломаны, через дыры внутрь нанесло снегу. Темным дымом колыхались в небе птичьи стаи, медленно оседая на стены, на кресты и купола, чтобы затем снова взвиться с хлопаньем сотен крыльев над лавками, над площадью, над Кремлем.

— Воронья у вас, галок! — сказал Гаврила человеку, который тоже приостановился поглядеть на красный товар.

— Легче, друже! — ответил человек.— Ворона и галка — царская птица. Или неизвестно тебе, что изволением и премудростью великих государей поселена она во дворце и теремах? Никто не прокрадется с черным умыслом: вороний грай переполошит дворец. Так бунту и мятежу заказан путь птичьим караулом. Надежа на галку крепче, чем на рынд. И летает она не спросту, а под смотрением дьяков Разбойного приказа.

Ильин круто повернулся к человеку: скорее низенький, голова бурачком, безбородый, жиденькие, какого-то заячьего цвета усы торчком, немолод; в нагольном тулупчике. Не тем бы ответить этому размеренному, самомнящему голосу, посередь дороги сказавшему тебе «друже», разумея «дурак»!

И то, что голос этот выговаривал, будто нарочно, каждую буквицу, и с ленцой тянул слова, и был — у немолодого человека — тонок и высок, точно у монашка-послушника,— все это подымало темную волну неприязни в Ильине.

А человек между тем повернулся, зашагал. Ильин так ничего и не сказал ему. Москва!..

К реке сбегал обжорный ряд — там висел кислый запах щей, требухи и пота. А за рекой стоял кабак, когда-то поставленный царем для опричников.

Оттуда валил пар. Там сипели волынки. Гаврила вошел в дверь на их звук. Осанистый, дюжий, краснощекий дядя красовался в середке, расставив ноги, сдвинув шапку на затылок, распахнув шубу, уперев руки в боки, а перед ним юлил кабацкий голяк.

— Голова ль ты моя удалая! — говорил краснощекий.

— Удалая твоя голова,— подтверждал голяк.

— И что ж ты? — грозно и весело допытывался краснощекий.

— А я до головы твоей.

— Вопрошай!

— Скажи, головушка, ответь, не обессудь удалого молодца: почто ты его в кабак завела?

Краснощекий захохотал и кинул голяку деньги. Вдруг повернулся к Ильину:

— А, сибирский царевич!

— Признал по чему? — спросил Гаврила, чуть оторопев.

— По перьям! — крикнул тот.

И вдруг весь кабак, все питухи, и веселые женки, и сидельцы, и даже волынщики загрохотали, а юливший голяк тоненько залился.

— Ты, эй! — гаркнул Гаврила.

Злоба еще больше закипела в нем. Но тот взял его за плечо и, простерев другую длань, повелевающе остановил грохот.

— Пророк Моисей,— возгласил он,— водам Чермного моря глагола: «Утишьтесь, воды!» И расступитесь!

Чермного моря тут не было. Но кабацкие воды безропотно расступились, и, ласково, крепко придерживая Ильина, нежданный знакомец повел его туда, где булькала разливаемая сивуха. И сам не заметил Ильин, как очутилась у него в руке водка, и как он выпил ее одним духом, и ему наливали уже снова, а потом наливали еще.

— Я царский пивовар,— важным шепотом сообщил знакомец, но так, что все вокруг тоже слышали.— Мне все ведомо.

И Гаврила с удивлением почувствовал, что никакой обиды в нем нет, а пивовар показался ему больше самого большого боярина. И он был горд и счастлив приязнью высокородного пивовара, царского ближнего, которого любит и почитает вся Москва.

В растворенную дверь входили и выходили люди. Пивовар всем выхвалял Ильина, называл царевичем и казаком-атаманом и похлопывал его по плечам и по спине.

Кто бы ни вошел, пивовар всех знал. А если не знал, то все равно встречал как приятелей и чуть не сродников, и не успевал вновь вошедший осушить чарку, как

уже казалось, что он с ним век знаком. Все он делал с какой-то особенной легкостью.

Стоило ему захотеть чего — и тотчас становилось, как он хотел. Посмотреть на него — не было ничего проще и веселей, чем жить на Москве да гулять так, чтобы улицей раздавались встречные, и, гуляючи, пошучиваючи, наживать домки и подворья, и пить сколько хочешь вина, и без отказа играть с женками и девками.

— Анисим, распотешь!

И Анисима знал он, слепца с вытекшими глазами на неподвижном лице. Слепец ударил в струны и затянул женским голосом:

И говорит:
«Ты рублей не трать попусту —
Не полюблю
Я тебя!»

Пивовар задохнулся:

— Распотешил! Не полюбишь! А ну, сухи чары. Пей! Пей, мы с атаманом угощаем!

Гаврила брякнул монетами. Он все робел. Но теперь это была восторженная робость. Она наполняла его волной умиленной благодарности за то, что вот наконец и он причтен к этой непостижимой, завидной жизни. И с радостной готовностью платил он малую цену, какую мог уплатить за это,— развязал и больше не завязывал свой кошель. Только стыдился, что так жалко его казацкое серебро в глазах пивовара, которому открыта вся Москва.

Послышался захлебывающийся шепот позади. Мужик в портах и рубахе сидел прямо на заслеженном полу. Он пьяно подпирался руками, чтобы не упасть вовсе. На груди под расстегнутой рубахой виднелся большой медный крест. Мужик не то со стоном заглатывал воздух, не то причитал, подвывая. Никто не слушал его. Только из угла поднялся чернобородый человек в синей поддевке и нагнулся над пьяным. Что-то негромко он говорил мужичонке. Потом внятно донеслось:

— Хороши слободки на Дону.

Услышав про Дон, Гаврила горячо принялся рассказывать о донской жизни, о воле, о себе, вырвал у кого-то волынку и сыграл. И все ревниво следил: слушают ли? Все слушали, стучали кулаками и кричали:

— Ох и казак-атаман!

Он был горд и счастлив. Он рассказал, как играл на

жалейке тархану и как поймал Савра. И все расхохотались, он тоже было начал смеяться. И вдруг понял, что снова смеются над ним и что для здешних людей тархан и Савр — ребячьи, нестоящие пустяки.

Тогда, моргнув глазом, он отвернулся; кровь прилила к его лицу.

— Тут тебе не с кистенем... девок щекотать... Тут жох народ! — кричал ему веселый пивовар.

Гаврила отошел в сторону и сел на лавку; пьяный мужичонка сидел на полу рядом. В голове у Ильина гудело, в глазах круги.

— Кровь высосал, жилы вытянул,— расслышал он бормотание мужичонки.— Голодом мрет народ...

Мужичонка бормотал это бородачу в синей поддевке.

— С обозом мы тут — оброк ему везем, пот мужицкий. Ему-то, боярину. Лютому-то... Напали на нас. Мужики-бунтари... возы разбили. Как же, гляди, я? Гол, значит. Грех-то, грех... Душу заливал, слышь, из-за греха того. И вовсе гол остался, последнее снял. Теперя что ж? В железах теперя сгноит. Баба у меня, детушки, помирать им.

— Кто боярин твой?

— Семен Митрич князь. Болховской.

— Ступай на Дон!

И будто ему, Ильину, это было сказано: «Хочешь вернуться на Дон?»

...На поля изумрудные, на холмы лазоревые, на воды хрустальные — на Невесту-реку!..

Мужик же медленно, мучительно рассказывал свое, и жалость колола седце Гавриле:

— А податься, мил человек, некуды податься. Юрья-то дня нетути. Заповедный, слышь, год. Чепь та, значит, заповедная — насмерть крепка. От дедов страшное такое дело неслыханно, а ноне стало: живую душу на мертвую чепь.

— Податься? — вдруг совсем склонился к нему бородач в поддевке.— А есть куды податься. Испытывал тебя, про Дон говоря. Не на Дон! К Филимону ступай! Зовет Филимон. У Филимона — там мужику и место.

— Филимо...— безнадежно повторил мужичонка и не выговорил длинного имени.— Бог-то, мил человек, ты скажи, бог-то где?

— Бог? Слушай великое слово, человече,— вдруг откинулся, выпрямился, загремел, как труба, черноборо-

дый.— Слушай! Прилетел орел многокрылый. Крылья его полны львовых когтей. Расклевал он поля, вырвал кедры ливанские, похитил богатства и красоту нашу! Полки ополчил, и повели их полканы. Чад наших терзает!

В кабаке стало тихо. Кто-то сунулся с улицы в двери и попятился назад. Пивовар заторопился и, не поглядев на Ильина, пошел к выходу, ловко сдвинув чуть набок шапку.

Страшен, черен был мужик в поддевке. Он шагнул по опустевшему кружалу так, что хрустнули мостки.

— Перед тремя Ваалами лбы расшибают попы!

Только и остались в кабаке, что синяя поддевка, мужичонка в портах. Ильин и еще человек, которого Гаврила раньше не замечал.

— Орлы, галки,— дела на деревах, не человечьи. Не суйся, друже, как бы глаз не выклевали!

Тот, четвертый, говоря это, сощурился,— глаза сделались остренькими, как буравчики.

И по слову «друже» вмиг признал его Ильин — и чистенький нагольный тулупчик, и новенькие, подшитые кожей чесанки, и торчащие под носом усы, и весь облик этого человека, опрятного, гладкого, над чем-то посмеивающегося. То был тот самый, с Пожара! И опять он про галок. Нет, уже теперь Ильин не смолчит ему!

Вскочил, кинулся, но опоздал. Тотчас опять стало шумно, кабак наполнился топотом, разноголосыми криками. Синюю поддевку загородили люди, бряцающие оружием. Ильин толкнул их, он рвался к нагольному тулупчику. За спинами их он видел сумрачно-спокойное, с белыми, как костяными, белками глаз лицо человека, звавшего к Филимону, грозя Орлу и Ваалам. И вот прорвался Ильин, вот уже перед ним круглая голова бурачком.

И он взмахнул руками, выкрикнул что-то прямо в те маленькие, довольные, остренькие, самомнящие глазки. Но хмель сразил Гаврилу. И, рушась, он видел еще, как пихали и тащили каты мужичонку в рубахе и синюю поддевку и как чернобородый вдруг захохотал и впился зубами в плечо ката.

Ильин очнулся. Кабацкая женка снегом оттирала ему уши.

— Бедненький... Что ж ты?.. И шуба... Красу-то какую в грязи вывалял! Шапка где твоя?

Он слегка улыбнулся ей. Неподалеку стоял мальчик лет десяти, с волосами в кружок, стоял и смотрел, на щеках его двумя яркими яблочками играл румянец.

Женщина достала Ильину чем прикрыть голову.

Солнце уже коснулось крыш. И лучезарно горели над площадью главы собора Покрова.

Столпы девяти престолов подымались с каменного цоколя. Луковки и купола в яри, золоте, лазури и сверкающей чешуе венчали их. Как цветочный куст красоты непорочной, нетленной, сиял собор над грязным снегом широкой площади.

Красная заря ранней, еще не тронувшей льда и снега весны заклубилась над византийскими шапками башен, над теремами, черными улицами, зубцами стен. И колокольни Кремля, сквозные на закатном огне, затрезвонили о московской славе.

8

Посадский в нагольном тулупе не сразу вернулся домой. Он любил солнечную, звонкую тишину пустынных улочек с рядами запертых ворот, улочек, кружащих затейливо и неторопливо, как человек, не хотящий в эти весенние дни дать себе никакой заботы; любил тихое и неумолчное постукивание капели, землистый мох, открывшийся в желобах, голубей на перекрестках, сияние города, то возносящегося на холмы, то широко припадающего с обеих сторон к полной густого, струящегося воздуха дороге реки, и небо — такой глубокой, такой жаркой голубизны, что, если закинуть голову и смотреть только на него, хотелось снять шапку, сбросить долой зимнюю одежду и расстегнуть рубаху.

Пасечник сидел у своего крылечка, вырезая детскую свистульку. Он поздоровался.

— Верно, сосед, что и кесарь поднялся на нас?

— Кесарь! — сказал посадский.— Не верю тому. А пусть и кесарь. Народ-то, мужик-то, во! Когда та силища за себя станет...

Он думал о мужике в синей поддевке.

— А слышал,— спросил пасечник,— нынче у Кузнецов стали резать хлеб, а на нем и выступи кровь?

Посадский в ответ хмыкнул.

— Кровь, оно точно — кровь мужицкая на хлебе, да очами не видать ее.

Потом он добавил, думая все о том же — о слышанном в питейной избе:

— Я в божественное, ведомо тебе, худо верю. По церквам вкушаем из поповых рук мясо и кровь, как людоеды. Христос, бают, всех братией нарек. Ан кабалы пишут. И кому поклоняются? Доске размалеванной. Хребет гнется — земле поклонись, кормилице!

Горница его была пахучей от брусков дерева, от стружки и краски, радужная пыльца осела на краешек стола.

Вернувшийся из города хозяин снял с полки плясунчика-дергунчика с нищенской котомкой.

— Легкая душа! Благо тебе. Ветхую клятву «в поте лица вкушай хлеб свой» ты с себя скинул. И в том мудрее ты всех мудрецов земных.

Щелкнул по плоской голове змея, обвившего древо.

— Здрав будь, старый хлопотун.

Кит выкидывал воду из темени, и хозяин позвал его:

— Гараська!

Потом любовно оглядел стрельцов, тронутых краской по сусалу так, что получались на стрельцах бархатные кафтаны, покивал семейству совушек, козлам, журавлям, тройке с расписными дугами,— санки проносились мимо злого волка со вздыбленной шерстью, а в санках сидели удалец и девушка. И всех назвал по именам:

— Фертики — по миру шатунчики. Параскинея Тюлентьевна — совушка, госпожа. Князь Рожкин-Рогаткин. Рыкун-Златошерст.

И стрельцы поблескивали крошечными самопалами, и волк качал ему приветливо злой головой.

Земные люди, звери земные.

На особом месте стояли три пахаря, три брата, и сошка у них была не простой, а золотой.

Быстрые, легкие шаги послышались за дверью. Вошла жена.

— Пашенька, а кто был у нас! — заговорила она.— Попить будто попросился. Я-то уж вижу, какое «попить». Маманя ему подает, а он и забылся, что просил, в дверь глядит — не оторвется.

— Что ж вы его — со двора поскорей долой? — ласково попенял жене мастер.— Это уж ты, Машутка, знаю

тебя. И маманю, даром что тебе она свекруха, в свою веру перевела.

— А какой хорошенький, Пашенька,— не слушая и будто дразнясь, продолжала она.— Годами как я, а высокий, как деревце. Брови свел, а потом обомлел весь. Волос яркий, с медяным отливом. Знаешь, так: точно копеечку взял и натерся.

— Ну, слышу, слышу,— махнул он рукой.— Бери кисть, вапы [1] бери, садись малюй на мое место. Не впервой.

Он ходил по комнате, что-то прибирая, переставляя. Заговорил серьезно:

— Хорошего человека упустили. Не дюже сладко ему на земле на грешной, чаю. Тысячам не сладко. А таким, как он, особо. Мне ли не знать? Для них и стараюсь. Зачем спорю, Машутка, со всем белым светом, свой закон наместо богова становлю, как думаешь? А для того, чтоб понял человек: пусть и тяжка тягота, да все же не она над ним, а он над ней. Стой твердо, красой утешься. Смехом осуши слезы. И поверит человек в силу свою.

У жены были светлые глаза. Они так блестели («светили»,— называл это мастер), что когда — то ли смешливо, то ли застеснявшись — она жмурилась, казалось, она хочет хоть немного притушить их.

— Радуется,— кивнула сыну на нее старуха.— А чего радуется? — Она покачала головой, поджав строгие губы.— Бытье у нас: день да ночь — сутки прочь. Солнце на лето, у соседки корова отелилась. Да кто прошел, кто зашел... Ты бы ей, Павел, дитенка — сынка аль дочку. Не благословил вас господь.

— Что вы, маманя! — даже испугалась, заслонилась рукавом Маша.

— Вот, вот, точь-в-точь как тот: увидел — полна каморка махонькими твоими, ему бы глядеть, а он заробел, да и вон из избы.

— Заробел! — повторил мастер.— Вон какой человек. Остановить надо было, маманя!

— Чего останавливать? — певучим своим голосом ответила старуха, строгие губы ее чуть улыбались.— Сам вернется, дорога не заказана. Кому коснулось до сердца, того оно и приведет. Так будет лучше, чем силком.

— Болярин он! — значительно наморщила брови жена.

---

[1] Вапы — краски.

Собирая на стол, повторила:

— Болярин. А ты — «не сладко ему на земле». Плохой ты угадчик...

— Боярин! — засмеялся мастер, берясь за ложку.— Так и повадились к нам бояре, отворяй, Машутка, ворота. И одного хватит с нас...

— Спасибо ему,— пропела старушка.

— Я приметлива,— сказала жена.— Ты со мной не спорь. Посадским нашим такими не бывать. И то вот еще примечаю, что скрытен ты больно нынче — пришел, а молчишь, ни словечка не говоришь, где был, что видел.

Она все поддразнивала его. А это были дружные люди.

Постучал сосед-пасечник.

Миски в сторону, расставили, как всегда, шахматы. Мастер растопорщил над доской усы заячьего цвета, что-то гудя себе под нос. Потом он поднял глаза и сказал:

— А что я видел, спрашиваешь? Чудо. Огнедышащее, к человечьей речи не приобыкшее, художества не ведающее, в диких пещерах обитающее, сперва кровью, а после вином упившееся, в соболя обернутое, по гноищу их волочащее!

Пасечник, размышляя над ходом, отозвался:

— Это что! Ноне я приложил ухо к колоде, а в ней зум-зум рой-то пчелиный. Солнышко чуют, махонькие!..

9

Дорога через поле между окраиной Москвы и Новым девичьим монастырем пречистой девы-путеводительницы всегда оживленна. Шли богомольцы. Двигались боярские возки. Сам царь езжал — прежде часто, сейчас пореже — молиться. Мертвецы знатнейших родов ехали не торопясь — успокоиться в подполе монастырской церкви.

Сани летели в снежном вихре и как вкопанные стали возле узорной избы. От коней валил пар. Чтобы осадить их, кучер натянул вожжи, откинувшись назад, побагровев лицом.

Боярин вылез, прямой, высокий, полноватый, но не слишком. Идя к крыльцу, голову гордо закинул.

— Пожалуй, Семен Дмитриевич,— приговаривал хозяин.

— Ну, показывай, показывай, что там у тебя, чем бог милует,— громко трубным голосом заговорил боярин на

крыльце, похлопывая рукавицами, отряхивая снег с шубы.— Чтоб молодая хозяйка не заругала,— объяснил он.

В горнице он похаживал, повторяя:

— Это уже видел. И это. И это.

— А что ж, Семен Дмитриевич,— оправдывался хозяин,— недавно ведь жаловал, все как стояло, так и стоит.

— Не лениться ли уж начал? — сверху вниз устремил на него свои ястребиные, с рыжинкой, глаза боярин.— Поленись у меня! Я те не посмотрю...

Угроза шуточная, они давным-давно знали друг друга — князь-боярин, носитель одного из славнейших имен, и мастер, смерд из подгородной слободы.

— И скуп ты. Чуть получше — трясешься, как змей, стережешь сокровище. Прячешь. Хитришь...

Князь сел на покрытую лавку. Говорил он, как обычно, громогласно, и все же мастер сразу понял: сегодня приехал не такой, как всегда, что-то заботило князя.

Обе хозяйки уже приготовили угощенье. Князь не чинился.

— А я и голоден.

За кушаньем он сказал, что ему ехать далеко, надолго, а на вопрос: «Куда путь?» — ответил:

— Не твоего ума дело. И не моего. Государю, знать, видней...

Среди всего, что сделал мастер за последнее время, вот чем сам он в особенности дорожил. Три фигурки соединены вместе. Человек об одной ноге — на одном значит, единственном утвержденный в своей жизни,— плоский, так что спереди не имел лица, но, подобный лезвию, мог проникать повсюду. Рядом с ним нос, способный вынюхать все на свете,— острый и горбатенький вначале, затем витой, пока не заканчивался многими драконьими изгибами. А еще уши, стоящие на пути всего, что слышится. Казалось, они росли сами по себе, как лопухи,— так мало они оставили соку и сил для своего хозяина, он весь пошел в уши, сморщившись в крошечный сморчок.

Все трое — одноногий, нос и лопухи — на общем дворике-дощечке. И мастер не упускал почтительно кланяться им за то, что они так не походили на него.

— Даже в мыслях не держал я той стороны,— снова заговорил князь.— В иных краях-сторонах порадеть еще хотел царю. Да и голову сложить,— отцы и деды мои пораньше меня расставались с ней. Ан вот не моим хотеньем...

Мастер встал. Он принес дворик-дощечку и отдал в руки князя.

— Вот,— сказал князь.— Вот как ты. Я знал, что пошаришь, так найдешь...

Он осматривал фигурки.

— Знатно! Злость у тебя, Павел. Это кого ж ты? А?

Но, поставив фигурки на стол, он забыл о них.

— Сидел в Грановитой,— вдруг сказал князь.— На пированье. На ликованье. Государь ликовал с татями и вины им отпускал. Ликовали мы и в колокола звонили. А в это время тот шпынь, катюга — нету ему имени — ушел.

Семен Дмитриевич помолчал, опустил голову и с омерзением выговорил:

— К ляхам! К кесарю!

Об изменнике-беглеце еще в Москве никто не слышал, и князь объяснил Павлу.

— Да ты видел его, на царских выходах спесь раздувал. Щеки — сырое мясо. Гной из красных глаз. Как ехидны, боялись его. И впрямь: скольких к плахе подвел. Изветом чуть не сгубил стольника, Мурашкина Ивана, честнейшего старика; с ним на Волгу, катюга, ходил, в поход против воров... против тех, с кем Москва ныне ликует! И как возносили пса — чуть не превыше всех! А теперь все и рассчитаемся, расплатимся за бархаты, которыми мерзости его сами же покрывали. Ратями, человечьими головами расплатимся, как перешепчет он тайное наше на ухо Баторию и кесарю.

Князь вспомянул, что клятвопреступник этот впервые появился на Дону,— оттуда начал.

— Ворам всем, значит, родня,— сказал он брезгливо о сибирских послах.

Но не одно предательство переметчика точило душу князя. И на самом пиру прошипела измена. Царского лица не устрашилась. (Видно, поразил этот пир князя.)

— Слушай-ка,— нагнулся он к Павлу. — Прочитать тебе хочу, что написал. Колокола гудели, а я писал.

Нетерпеливо, пуком князь вытащил листы.

— Им читать, что ли, тем, что на пиру? — громыхнул он горделиво.— Тебе, смерду, и прочту, так решил.

Потемнели окошки. Вздули огонь. Низенькая комнатка стала совсем тесной для трубного этого голоса. Слышно, верно, и на улице, где мертвенным зеленовато-голубым светом луна облила снега, как читал князь.

«Под ярмом басурманским стонала русская земля,— читал он.— И давно ли? Поискать — отыщешь стариков, жить начавших под игом.

Воссиял стольный град Москва. Как солнце взошло над землей. О преславный град, души веселие, очей роскошество, ты, что перенял во вселенной славу Рима кесарей и Константинова Царяграда. Нерушимый град, который стал красуясь. И простоит, покуда не вострубят трубы тысячелетнего царства.

Простоит! Сколько крови пролито, чтоб уберечь, спасти, украсить град, утвердить землю,— нету другой земли в мире, которая столькими муками мучима, как русская земля! Но что стало на той святой крови, то не порушится...».

Это произнес он, возвысил голос. И затем начал о теремах....

«Крамола возвела их. Не в ханском стане, не в Литве — в сердце сердца страны. И когда изнемогала страна, что думали вельможи в теремах? Не Русь, не Москва, думали они, а мой двор. Двор Милославского, Курбского, Львова — вот что думали они. И приводили из Омира, из Аристотеля, из Платонова «Симпозия», в издевку говоря о законах земли своей: «То не правила ваши, а кривила».

А сами на вороньих крылах летели во вражеский стан, чтобы призвать супостатов в дом отцов своих. Врагам отворяли города.

«Мой двор!» — так кричат они. А по городам подхватывают: Новгородский двор! Псковский двор!

Сквозь стремнины и водоверти ведет многоочитый ум царя корабль земли нашей. Да не посужу его. Исполину подобен он, который вышел рубить и корчевать лес, полный ехидн и скорпиев. И смущается дух его посреди неусыпных, неподъемных человеку трудов. Бьют колокола, сполошно заливаются со звонниц. И тогда тоже перезванивали они — помнишь? — в тот день, когда царь, темным гневом помраченный, поразил сына, того, кто продлил бы царство. И скорбно усумнился царь в деле своем. Да укрепится смятенный его дух! Да увидит он плод трудов своих и радость земли!»

— Мне ли говорить? — негромко спросил мастер Павел.— Ты в теремах-хоромах — где гостем дорогим, а где и сам хозяин. А меня и на порог кто пустит?

Князь нахмурился:

— Не для суда твоего читал. Только — слышишь! — какое же может быть художество твое, когда болью земли своей болеть не станешь?

— Земля... окромя и нет ничего, Семен Дмитриевич. Народ-то, земля. Как не болеть? С земли все кто ни есть и сыты. Не херувимы.

— О брюхе толкуешь? И не с земли ты сыт — от моей руки. Про царство рассуждай.

— Летось дворец ставил государь. Вроде опричного. Сперва рвы выкопали, каменную кладку в них положили. Я туда каждый день ходил. Потом уж, поверх, вывели то, что́ для очей. Вот и спросил я себя, в умишке своем: чего же это они стену-то сперва закапывали? Кому она там нужна, в земле? Сразу бы для очей бы им и начать — прямо на воздусях...

— Поп свое, а черт свое,— оборвал князь.— Притчи глупые плетешь... для простаков-дураков. Рухнет здание — несдобровать и кротам, которые в земле роются.

Теперь (облегчив, верно, сердце чтением) он пристальней взглянул на фигурки, стоящие перед ним на столе.

Уроды, нелюди. Вот они, чудища, пятнающие Русь. Как представить себе, что их тоже родила мать, что бегали они замарашками, и купали, мыли их в корыте, и они хлюпали водой, выговаривая бессмысленные, милые ребячьи слова? Ничего не осталось, все скинули: сердце, душу, хитростно-радостную силу человеческую. Осталось, вскормлено, страшилищем вздулось лишь то, что помогает проникнуть повсюду, все вынюхать, ко всему приникнуть бесстыдным, жадным, Иудиным серебром оплаченным слухом.

Вот они, те, кого со страстной силой ненависти всю свою жизнь ненавидел князь.

И чтоб не забыть этой ненависти, фигурки он возьмет с собой в дальнюю дорогу, в края, о которых не думал, которые и птицы в небесных кочевьях своих облетают стороной.

Сказал угрюмо:

— Корявые мысли твои, а руки... Или ты сам не понимаешь, что делаешь? Да нет, понимаешь... Только что? Хочешь — отвечай, а не хочешь — промолчи, все едино. Руки твои сотворили, а мне досталось. Понимать-то, выходит, теперь не твоему, а моему уму-разуму. Так-то; такое оно — художество.

— А я скажу,— вдруг горячо ответил Павел.— Хочешь послушать — скажу. Чего мне скрывать? То у царства тайны, у меня — какие? Что с чужой женкой пошучу? Так это от Машутки будет тайна, и то, боюсь, все равно не поверит, хоть и сам признаюсь. А про это, рукоделье мое, скажу тебе, Семен Дмитриевич. Вот хоть нынче случай, чтоб далеко не ходить, старое не вспоминать. Человека видел одного — красавец, гордый, силач...

— Где видел?

— В городе. В царевом кабаке.

— Без хором обошелся,— усмехнулся князь.

— Народу набилось довольно. Манит вино... Набился народ и гудёт. И невдомек тому силачу-красавцу, что промеж народа скрылся один без лика,— раз лика нет, как узнать его? Вон он всюду, хоть в замочную скважину, а пролезет... Не ведал силач, что Ухо тоже приложено к стенке. Такое Ухо, что тараканий бег в запечье на дальнем конце улицы и то услышит. Ничего этого не ведал... Только когда Ноздря всунулась, засипела, схватился, да поздно: пахнуло ветром поганым, кольцами ужасными стиснуло — и нету силача. Вот мой сказ.

Безмерная усталость обозначилась в чертах князя. Он опять уронил голову,— седина сильно вплеталась в растрепавшиеся темно-русые, уже не золотистые и не кудрявые волосы. Распахнул одежду, стало очень душно.

— А с такими бы, как этот краса-человек,— верь истинному слову, Семен Дмитриевич,— чтó нам бы король, что сам кесарь! Мне бы лишь памятку о нем людям сделать, порадовать людей, а там все рукоделье свое хоть и покинуть. Вижу ясно его, мужика-силача, вот как тебя перед собой, а сдюжу ли...

Князь, похоже, вовсе не слушал.

— Истомился народ,— проговорил он.— С пути сбиваются. Ослаб, оттого шатанье.

— Если велишь умишку моему...

— Не скоморошь,— покривился князь.

— Нет, не ослаб! Не ослаб! Ты приглядись: только сказываться начала та сила. Чего ж горевать нам, Семен Дмитриевич? Николи зданию Руси не рухнуть! Разве кроты стены держат? Земля, люди, народ!

Князь посмотрел на него.

— Ты... Пашка... Смердову кожу художество твое скинуло с тебя. А в другую сунуть забыло. Рук своих ради поберегись. Ой, ежели отсекут их когда на колесе,

другая такая пара сыщется ли еще на свете? И у нас, да и за морем. Это на прощанье тебе говорю.

Все тяжелее, все мучительней становилось князю.

Народ. Шатание черного люда. Речи по кабакам...

Конечно, только пьяные речи. Но где-то в борах, в извечной тиши — лязг топоров, голодный рев пламени, пожирающего вотчины, поместья. Середь зимы косы прыгают в руки людям в сермяге.

Вот у самого стольного города разбили обоз с оброком из его, княжеской, деревеньки. Мужичонки-обозники не порадели о добре, не положили живота,— конечно, тоже заодно со злодеями, с изменниками, с бунтовщиками, наносящими удар в спину стране в грозный час ратной ее страды.

Кто подымает сермяжников? Есть вожаки. Головы холопьи. И главная голова та, которую никто до сих пор не мог снять с плеч долой. И на всех площадях даже царского города Москвы говорят о ней, именуют. Как же имя это?

— Филимон,— подсказал Павел (какая тут тайна, сто раз записано это имя скрипучими перьями приказных).

— Мой грех,— дернул уголком рта князь.

— Твой?! — поразился Павел.

— Мой мужик. Из Рубцовки. Вида нечеловечьего. Тулово — аж до колен. Не похож на твоего силача-гордеца? В руках моих был. Сам выпустил его из своих рук. Семьдесят грехов мне бы простилось... А теперь... Я ответчик. Пусть никто того не знает — я знаю.

Силач-красавец в синей поддевке, разбойный сибирский посол среди московской не разбоем, а разумом и трудом сотворенной великой красы; мужичонка полунагой, из княжеского разбитого обоза... Весь день этот, листы, кинутые на стол, странный, крутящийся вокруг какой-то дразнящей точки разговор с князем, смятение его — все соединилось в уме Павла. Он тихо спросил:

— Тебе что, его, Филимона, найти охота, боярин?

— Перед царством мой ответ...

— В Сибири он,— вдруг сказал Павел.

— В Сибири?!

Князь думал. Прочь из Рубцовки, после кнута, недосеченный (если кого бы досечь, то именно его, изверга, государству ката, семьдесят грехов спустятся), к казакам ушел. И Мурашкин будто захватил его даже было на Волге. Впрямь, конечно! В Сибири, опять с казаками,

Где ж еще? Оттого и неуловим. Оттого и на дыбе не могут ничего показать смерды, повторяющие его имя.

— Так. Ну что ж, — чему-то даже обрадовался князь,— одно к одному. Судьба сама, значит...

Он мешковато поднялся из-за стола. «Стареешь, Семен Дмитриевич!» Взял фигурки, да где-то, верно, неловко поднажал. И что это? Вдруг тоненько засипело, даже маленькое пыльное облачко вылетело из ноздрей носа-дракона; в забавке был секрет.

Князь близоруко поднес ее к ястребиным глазам. И тут разглядел, что киноварью выведенные буквицы складываются в вирши:

Слух преклони — да внемлешь писк:
Пищит ужасный василиск.

— Василиск! — пробурчал князь.— Да ты знаешь ли, что такое василиск? Ужасный — так и голосом его ужасни: шипит, скажи, змеиным шипом, рыкает рыком львиным. Вот так. А ты... «пищит»!

10

Кольцо спешил с отъездом. Зажились. В целодневном сверкании небес шла весна. Пока еще она там, в вышине, небесная весна. Но спустится на землю, и затуманится высь, надолго забудется о сверкании света — чтобы без помех в тишине туман сгрыз снега. И тогда не станет пути.

Кольцо торопил в приказах. И там чуть быстрее скрипели перья.

А Гаврила затосковал. После того дня, когда, как во сне, мелькнула узорная изба и потом начался стыд на торговой площади, на Пожаре, а кончилось все в страшном кабацком чаду,— после этого он больше не хотел показаться за ворота и, когда все разбредались, оставался в доме.

Не раз приходила к нему веселая женка — та, что подняла его тогда и шапку дала. Но и ей не удавалось выманить его.

И вот — все ли написали приказные или чего не дописали, но у крыльца стоят сани. Несколько розвальней для поклажи, несколько саней, покрытых цветным рядном, для послов.

Тронулись. Скрипит снег, искристой, пахучей, как свежие яблоки, пылью порошит в лицо. Едет в Сибирь из Москвы царское жалованье: сукна и деньги всем казакам, два драгоценных панциря, соболья шуба с царского плеча, серебряный, вызолоченный ковш, сто рублей, половина сукна — Ермаку; шуба, панцирь, половина сукна и пятьдесят рублей — Кольцу; по пяти рублей — послам, спутникам Кольца.

Когда, истаивая, засквозили над дальней чертой земли башни и терема Москвы, Гаврила Ильин запел:

Шыбык салсам,
Шынлык кетер...

Ветер движения срывал и уносил слова.

— Что ты поешь? — крикнул Меленгий Нырков, вынырнув из ворота справленного в Москве тулупа.

Кыз джиберсек,
Джылай кетер...

— Шалабола! — сказал Родион Смыря и сплюнул.

Если стрелу пущу,
Звеня, уйдет.
В далекий край,
Если выдадут девушку,
Плача, уйдет...

Ильин пел ногайскую песню.

ВАГАЙ-РЕКА

1

Воевода князь Семен Дмитриевич Болховской собирался, по указу Ивана Васильевича, в сибирский поход. Он выступил из Москвы с тремястами стрельцов в мае 1583 года.

Ехали водой. На воеводском судне стояли сундуки и укладки с княжескими доспехами, шубами и поставцами.

Плыли Волгой, плыли Камой. К осени воевода добрался только до пермских мест. Там пришлось зимовать.

Еще и эту, новую, зиму казаки оставались одни в Сибири.

Весной 1584 года у остяцкого городка, на реке Назы-

ме, пал атаман Никита Пан. Он лежал костлявый, седой, кровь почти не замарала его.

Некогда Никита пришел из заднепровских степей на Волгу. Были волосы его тогда пшеничного цвета, много тысяч верст отмахал с удальцами в седле и на стругах, искал воли, вышел цел из битв с мурзами, ханом и Махметкулом — и вот погиб в пустячном бою у земляного городка.

Ермак поцеловал Пана в губы, и кровь бросилась в голову атаману.

Казаки ворвались в городок и перебили многих. Назымского князька взяли живым.

Курились еще угли пожарища, когда Ермак покинул это место и отплыл вниз по Оби. Он увидел, как редели леса и ржавая тундра до самого края земли разостлала свои мхи. Тусклое солнце чертило над ними низкую дугу.

Пустою казалась страна. Редко раскиданы по ней земляные городки. Иногда, ночами, в сырой, мозглой мгле далеко светил костер. Преломленный и увеличенный мглой, он взметал искры, когда пламя охватывало мокрые смолистые хвойные лапы, мелькали тени, и дым медленно вращался, то оседая, то вздымаясь вверх,— мигающее веко красного ока. Но, добравшись после долгого пути до места, где горел костер, казаки находили головешки, уже тронутые пеплом...

Между тем тут, по Оби, как и по нижнему Иртышу, лежали княжества хантов. Жители их на лето переходили в глубь страны.

Далеко на севере, у самых обских устьев, находилось княжество Обдорское. Там стоял идол — та самая золотая баба, слух о которой прошел по Руси. Впрочем, была та баба вовсе не золотой, а каменной, очень древней и только обитой жестяными листами. В жертву ей закалывали отборных оленей.

Но от реки Казыма, где чумы Ляпинского княжества встречались в пустошах с Сосьвинскими чумами, атаман поворотил струги обратно и вернулся в Кашлык. Ему не поседелось там; через десять дней он поплыл снова по Иртышу и Тоболу, мимо тех мест, где бился с Кучумом два года назад.

Ермак плыл к Тавде, по которой шел путь через Камень на Русь. Возле Тавды когда-то остановилось, поколебавшись, казачье войско. А теперь атаман сам свернул в нее и поплыл спеша, будто что-то гнало его, не позволяя остановиться.

Он хотел встретить запоздалых гостей — московскую подмогу — у порога своей земли. Но она кончалась на Тавде. Речная дорога терялась в глуши. И со своей горсткой удальцов Ермак решил расчистить путь для сильной царской стрелецкой рати.

2

Тут жили таежные люди. В чащобах властвовали вогульские кондинские князья.

За ходом рыбы и оленьих стад кочевали поселки и городки. И юртами вешними сменялись юрты зимние.

Теперь солнце долго свершало свой путь на небесах, мимолетная ночь была светла, и люди манси (вогулы), как и люди ханты (остяки) на севере, забыли на зеленеющей земле о зимних юртах.

Комары поджидали их у гнилой воды. Но они знали, что комаров создал злой и бессильный дух Пинегезе и что мраку не дано сейчас власти в мире. Прозрачная смола натекала и застывала на стволах сосен. Дятел не успевал засыпать ночью. Кора берез лопалась от сладкого и светлого сока, медово пахнущего луговой травой.

Вогул выходил из берестяной юрты. С собой нес накрученную на руках жильную веревку и сыромятный ремень. Охотник чувствовал гулкое биение своего сердца. И когда, расширившись, оно наполняло всю грудь, он запевал в лад шагам своим. Он хотел петь обо всем, что видел: о неспящих птицах, о березовом соке, похожем на жидкое солнце, о комариной зависти, о знойном тумане у реки и о том, как пахнет оленья шерсть. Но он не умел высказать этого. И слова его песни были только о том, зачем он вышел из берестяной юрты:

В широкой долине — семь оленей.
И один из них — мой рыжий олень.
«Убегу от тебя»,— он сказал.
«Не убежишь от меня»,— я сказал.
Подбежал я к нему, и набросил ремень на шею,
И веревкой опутал его.

Вогулы ушли за оленями на север от Тавды, и в летних юртах ничего не знали о войне и о русских. Там знали старшего в роде, главу кочевья. Людям отдаленных кочевий было мало дела и до своих кондинских князей,

Князья же со своими воинами держали водяную дорогу.

Близ реки Паченки князек Лабута осыпал стрелами казаков Ермака.

Ермак разбил и полонил Лабуту и в битве убил другого князька по имени Печенег.

Трупы убитых атаман велел побросать в маленькое озеро.

Пошел дальше, назвав озерцо Поганым.

Князь Кошук покорился после первых выстрелов. Он вынес все меха, какие нашлись у него в юртах.

Стояла удушливая жара, мгла и гарь ползли по земле.

В Чандырском городке Ермак нашел шайтанщика, спросил его:

— Скажи — что станет со мной?

— Тебя никто не победит,— сказал шаман.

Ермак помолчал. Потом спросил тихо:

— А долго ль жив буду?

Шаман забил в бубен и с воем закружился. Он вертелся долго, исступленно, в рогатой маске. Костяшки у его пояса звякали. На губах выступила пена. Он схватил нож и ударил себя ниже пупа, будто вспарывая живот, и тут служки связали его.

— Спрашивай! — сказали служки.

И снова спросил Ермак о сроке своей жизни.

Неживым голосом, закатив глаза, быстро заговорил шаман:

— Могучие медведи будут служить тебе. Никто не станет против тебя. Хана привяжешь к стремени. Дети и дети детей увидят седой твою голову.

Ермак слушал, скучая, выкрики шамана, похожие на позвякивание костяшек.

Дети и дети детей... Где они? Вот лежит связанный человек и, пророчествуя, льстит и лжет новому русскому сибирскому хану, как льстил и лгал, верно, прежним татарским ханам, трясясь за свою жизнь. На губах его не просохла пена, его пришлось скрутить, чтобы он в исступлении не порешил себя, а он лежит и цепляется за свое гнилое ложе, чтобы отвратить смерть. Разве так страшна она? Разве так дорога жизнь?

Человек покосился глазом — веревки мешали ему повернуться — и вдруг сказал внятно:

— А через Камень, хотя и думаешь, не пойдешь. И дороги нет. А поворотишь, дойдя до Пелыма.

Горбясь, вышел Ермак из жилища шайтанщика.

Он ехал сюда затем, чтобы встретить рать Болховского на пороге, как гостеприимный хозяин. Только затем. Что же иное могло побудить его свернуть в Тавду, в ту Тавду, мимо которой он проплыл два года назад?

Большими шагами он дошел до воды. И тотчас по его знаку взмахнули весла.

Ночи уже стали темными, когда казаки добрались до городка Табара. Там, на взгорье среди болот, Ермак круто оборвал путь; долго и тщательно собирал ясак. Время было позднее: самая пора положить конец пути.

Атаман сложил собранное в ладьи. И вдруг, не щадя людей, не давая им отдыха, поплыл, заспешил в Пелым.

Пелымское княжество укрывалось в лесах и топях; в нем росла вещая лиственница, которой приносили человеческие жертвы.

Отсюда, из Пелыма, князь Кихек ходил громить строгановские слободки.

Но сейчас грозного Кихека и след простыл. Смиренно встречали Ермака пелымские городки.

Вода уже стыла, облетала листва, птичьи стаи проносились на юг, и хвоя поблекла.

И все же Ермак медлил в пелымских местах. Он выспрашивал жителей о стрелецких полках и еще об одном: о том, как из Пелыма пройти на Русь.

Птицы, вылетавшие из пелымской тайги на позднем солнечном восходе, садились в полдень в Перми Великой.

А спрошенные жители говорили, что сейчас нет пути через Камень.

Но путь еще был.

Только обратного пути не будет...

Ермак же все колебался и медлил. И казаки роптали, заждавшись атаманского знака.

Богдан Брязга, пятидесятник, нежданно попросился у побратима отпустить его через Камень.

— Ты, Богдан?

— С Москвы-то не слыхать... не слыхать ничего. И Гроза-атаман позамешкался.

Думал и молчал Ермак. Брязга сказал:

— Москва мне что, братушка. Я и без тех калачей, сам ведаешь, сыт.— И не заговорил — сиповато зашептал: — Я живо. Глянуть только последний разочек... Весточку о нас подам — и сюда в обрат!

И после того как ушел Брязга, Ермак еще стоял в Пелыме — пока наконец решился поворотить к Иртышу.

Проезжая в Табарах мимо городков, жители которых знали земледелие, он по-хозяйски собрал ясак не шкурами, а хлебом — на долгую зиму...

3

Подошла четвертая зима после ухода из Руси.

В землянке Гаврилу Ильина ожидала молчаливая татарка. Он глядел на ее жесткие косички, свисающие из-под частой сетки из конского волоса, на смуглые худые щеки и на глаза, притушенные тусклой поволокой,— он знал, что они иногда зажигались для него тем огнем, какого никому другому не увидать в них. Стены землянки завешивало бисерное узорочье. Сидя на дорогих шкурах, накиданных казаком, женщина кутала в пестрое тряпье его детей и пела им древние степные песни о батырах Чингиса.

Бурнашка Баглай ходил, сменяя, что ни день, пестрые халаты; они смешно вздувались на его непомерном животе и болтались, еле достигая до колен.

— Гаврилка! — кричал он пискливо, подмигивая круглым глазом.

И похвалялся, что нет ему житья от крещеной остяцкой женки Акулины и русской женки Анки — так присохли, водой не отольешь.

А потом, чванясь, рассказывал, как проплыл Алышаев бом на пяти цепях у Караульного яра, как первым вскочил в Кашлык и сгреб в шапку ханские сокровища!

Впрочем, никто не видал ни женки Акулины, ни женки Анки, которая была будто бы в числе зазванных Кольцом с Руси. (Уже многие казаки были женаты. Котин, пахарь,— хоть бела борода,— «сéмью основал», «доступил напоследках домка своего». Сколько еще придется то рушиться, то опять воздвигаться этому домку!)

Начальный атаман сперва оставил за собою ханское жилище. Но неприютно стало ему за частоколом, в путанице клетушек-мешочков. Он переселился в рубленное из еловых бревен жилье кого-то из мурз или купцов. Там жил один.

Когда Ильин однажды вошел к нему, он сидел опухший, с налитыми жилами у висков под отросшими, спутанными, в жестких кольцах волосами. Даже не поглядел на вошедшего.

Вскоре жилье осталось пустым. С двумя сотниками Ермак объезжал иртышские аулы.

Вернувшись, осмотрел косяки коней, пороховые закрома, кузни, мастерские. Разминая мышцы, сам брался за тяжелый молот. Приплыв на плоту по высокой осенней воде к островку, травил зайцев в кривом сосняке. Русаки, забежавшие сюда еще по прошлогоднему льду и ожиревшие за лето, петляли и, обежав круг, останавливались, глядя на человека выпуклыми бусами глаз.

Казалось, всячески он отвращался от покоя.

Когда же снова призвал Ильина к себе в избу, оттуда пахнуло нежилым, прогорклым. Стыдясь, закрывая лицо, допоздна убиралась в избе татарка Ильина.

Сам же Ильин домой не пошел, ночевал у Ермака.

Он стал как бы ближним при атамане.

4

В том году тревожно жили люди на Иртыше. Гонцы в высоких шапках скакали из степей. Они привозили недобрые вести о Кучуме, о Сейдяке, о конских следах в степи, о коварстве двоедушных мурз. Казаки спали в одежде, сабля под головой. Их осталось совсем мало.

Иван Кольцо в который раз вспоминал за чаркой о том, что видел на Руси. Сотни посадов, тысячи сел. Народ в селах и посадах неисчислимый — мужики, бабы.

— Пушка Ахилка — ого, бурмакан аркан!

Майдан в Москве широк, и кругом — белые стены, орленые башни, главы церквей.

Тезка же, что тезка? Хвор, видно, но не хлипок, нет, встанет, не гнется. Мы ему челом. А он голосом мощным: «Прощаю вас, вернейшие слуги мои». Князи-бояре пыль метут перед ним...

Помощь же обещал. На волчий зуб попасть — не лгу. И не я один — все слышали. И в грамоте есть про то. Да, может, загинула помощь где в сибирском пустоземье... А шапку как надел тезка — ой, шапка! Полпуда, одних каменьев пригоршни две.

Он помнил сухость старческой руки у своей головы и

душный тот, восковой запах — его он вдохнул тогда... Только про это что говорить?

Горячее вино — водку — казаки гнали сами.

— Яз пью квас, а как вижу пиво — не пройду его мимо...

От хмеля, мутная и веселая, поднималась тоска. И тогда становилось все трын-трава. И есаулы под гогот и свист первыми пускались в пляс.

— Эх, браты! Кто убился? Бортник! Кто утоп? Рыбак. Кто в поле порубан лежит? Казак!

Казаки набивались в есаульскую избу. Рассаживались по лавкам и по-татарски — на полу. Ермак, князь Сибирский, садился в круг:

— Чтой-то, братцы, и он пьян, атаман. Раньше — когда-никогда, а теперь вот и он. Ничего, братцы...

Это была пьяная осень в Кашлыке.

5

Гонец татарин бухнулся в ноги Ермаку. Он бил себя в сердце, рвал одежду и выл в знак большого несчастья. Карача просил о помощи против ордынцев.

— Скорее, могучий! Еще стоят шатры карачи у реки Тары. Но уже покрывает их пыль, взбитая конями орды. Пусть только покажется ук арачиных шатров непобедимый хан-казак со своими удальцами, чтобы в страхе побежали ордынцы!..

Ермак хмуро смотрел на вопящего, дергающегося на земле гонца.

— Почему я должен верить тебе?

Гонец снова завопил, что карача клянется самой великой, самой страшной клятвой — могилами отцов своих — преданно служить русским и всех других мурз и князей отвести от Кучума.

Приподнявшись, он указал на подарки.

— Выдь. Подумаю,— сказал атаман.

Когда гонец повернулся, Ермак понял, почему неуловимо знакомым показался ему этот человек, простертый на земле. У него была такая же худая, морщинистая, беззащитная шея, как у Бояра, старика с моржовой бородкой, который первый пришел в Кашлык служить ему, Ермаку.

Он окликнул гонца:

— Пожди! Что, много ли посечено ваших? И кони пали, верно? И земля пуста от злых наших сеч?

— В шатрах у карачи довольно богатств,— осклабился гонец.— Он сберег все сокровища, не дал их расхитить лукавым рабам, чтобы еще вдесятеро одарить тебя.

И вышел, пятясь задом.

Сорок удальцов оседлали коней. С ними послал Ермак второго по себе, Ивана Кольца.

Но казаки не доскакали до Тары.

Карачина засада подстерегала их на пути.

В глухом месте татары окружили казаков. Ярко светила луна; не спасся ни один.

Два широких шрама пересекали лицо Бурнашки Баглая под птичьими глазами. А теперь кривая сабля сзади разрубила ему шею. И рухнул великан, рухнул врастяжку, не охнув, смявши телом куст можжевельника. Великан-силач, кто руками разодрал бы пасть медведю, да не попадались ему медведи на его веку...

Так погиб он в лесу, убранном в последний багрец,— человек, всю свою жизнь прошедший по краешку. Завтра манило его златой чарой, и, ожидая ее, он не пил из той, что держал в руках, а только пригубил края. Но кто знает, не досталась ли ему при этом мера счастья такая щедрая, какая редко достается человеку?

Он погиб с Иваном Кольцом, с красавцем Кольцом, с тем, на чьих плечах трещала царская шуба...

Люди карачи поскакали по становищам и городкам.

— Во имя пророка! — кричали они.— Голова русского богатыря у нас на пике! Смерть русским! И всем, кто стоит за них!

Казаки не сразу поверили в гибель Кольца. Рассудительный, осторожный Яков Михайлов выехал собирать ясак, взял с собой всего пять человек, как прежде.

Но и окрестные князьки, осмелев, поднялись, напали на шестерых казаков. Тут нашел свой конец донской атаман Яков Михайлов.

Троих атаманов потеряло казачье войско за лето и осень 1584 года. Четвертого, Грозы, все не было из Москвы. Ушел пятидесятник Брязга — ему начальный атаман разрешил то, чего не разрешил себе. Может быть, и разрешил ему вместо себя.

Только Матвей Мещеряк остался с Ермаком.

6

А. Болховской добрался до Сибири. Он прибыл в ноябре, когда сало уже плавало по рекам. С трубачами выступили казаки за город встречать князя. Он первым сошел с ладьи. Следом го́ловы — Иван Киреев и Иван Глухов — начали высаживать на берег триста стрельцов.

В своей столице Ермак устроил пир для гостей. Песни и крики далеко разносились с горы над Иртышом. Казаки братались со стрельцами.

Князь ночевал в избе Ермака. Подняв брови, он оглядывал ее темные от копоти углы без божницы. Ночью он выслушал рассказ о покоренной стране. Свет загасили. Но князь не заснул. Тяжелые мысли, взметенные усталостью, все не хотели оседать...

Он ворочался. Наконец сказал:

— Ты теперь на государевой службе, помни.

И медленно, с расстановкой заговорил о том, как надо править новой страной.

Следует с осмотрительностью подводить народы под высокую государеву руку. Наложить небольшой ясак. Урядясь в цветное платье, воевода должен говорить государево милостивое жалованное слово. Одарить новых подданных бисером, оловом в блюдах и тарелках, котлами и тазами из красной и зеленой меди, топорами, гребнями, медными перстнями. Но не мирволить через меру. Это тут, в Сибири, конечно, было промашкой. Вона как отблагодарили: ножом в спину. Страху не ведают!

«Государевы поминки» собрать, может, по старинному обычаю, еще поминки воеводские и дьячьи — там будет видно. О данях, какие наложить, когда все утихомирится, после обдумаем. Ценная рухлядь, соболя. Для государства это богатство. За морем шкурка такая дороже золота. Царство ждет, казна истощилась. Вскорости обсудим это, не сегодня.

Мертво, тихо за стенами, в мертвой тишине слышен Иртыш — плеск волн, шорох сала. Мышь скреблась. Едко несло спертым духом, пером, горклым салом, отрубями. «Тараканий запах», — неприязненно определил князь.

— Что я тебя спрошу, Семен Дмитриевич: хлеб не ты пригонял на Дон?

Нежданный вопрос. Князь поднялся во тьме, присел.

— В тот год, как Касимка-паша шел к Астрахани? Хлеб, боярин, в станицу...

Станица названа.

Князь сжал тонкие губы. Память всегда безотказно служила ему. В душной, нечистой тьме он явственно, до мельчайших подробностей представил себе человека, с которым сейчас ночевал. Плотный, невысок, немолод, неказист — с обветренным, темноскулым лицом, с сивым, жесткими кольчиками волосом. Человек, который встретил его, потчевал и вот лежит супротив его в этой тьме. Человек, которого он не видел прежде никогда... Однако постой, постой... зипунник, неказистый со своим плоским (у монголов, что ли, так?) лицом... зипунник, сиротой горбатившийся в середке толпы, покато опустив плечи, опустив голову,— наверно, чтоб скрыть бешеный блеск глаз, оскал зубов, когда невольно осклабится его красногубый рот в черной как смоль бороде. И толпа, непостижимо, непонятно сразу покорившаяся ему,— хоть тут же и станичный атаман, хоть тут сам посол великого государя с грозой и милостью, хлебным караваном на голодной реке. Это он?! И это — тот самый?!

И князь увидел огромный, голый, словно приподнятый по краям круг земли, бурую степь под беспощадным солнцем, медленно движущийся столб праха. И в средоточии круга — высокую площадь, очеретяные крыши, землянки-копанки, глину, разбитую в пыль, на подъеме белой улицы. Давным-давно, казалось, забытое, то, чего никогда он не вспоминал, вдруг встало перед ним, будто не было протекших лет,— встало вместе с охватившей его тогда ненавистью ко всей той дикой, бессвязной жизни. И так остро, юношески неистово пронзила его тогда ненависть, что и сейчас, в воспоминании, она обожгла ему сердце.

Нескоро, хмуро он ответил:

— Хлеб? Много я мотался по Руси, государю служа. И Дон велик. Не упомню годов и станиц ваших.

Грузно лег.

— Ну, соснуть...

Но опять не пришел сон. Тихо. Тяжелый, шумный вздох казачьего атамана,— привык, конечно, один быть в избе, разве что с кем из младших своих. Не спит. Ле-

жит, верно, с открытыми глазами. Тоже вспоминает. Что вспоминает? Звонкий, твердый голос, тонкие губы, ястребиные глаза, гордо вздернутую красивую мальчишескую голову?

И Болховской говорит:

— Ночное бдение у нас с тобой.

Потом:

— И я тебя спросить хочу.

(Зачем откладывать на завтра?)

— Спрашивай.

— Есть у тебя такой казак... вида, скажу, зверовидного...

Короткий звук, должно быть, смешок.

— Не обессудь,— жестко кидает князь.

Он объясняет: густая волосня, копной; грудь — вроде кузнечного меха; голос — зык медный.

Вопрос атамана:

— Это за что ж ты, князь, так невзлюбил его?

— Ноги коротышки, туловом громаден — медведь медведем,— так же, неторопливо, с запинками (точно всматриваясь во что-то и сверяясь, похоже ли) перечисляет князь.

Человека этого видел он тоже очень давно. Да и видел ли? Оттолкнув руки тех, кто хотел стащить его с кобылы, человек сам поднялся, и взгляд князя скользнул по лоскутьям кожи на сине-багровой спине.

Только скользнул, ничего не разглядел.

Но за годы, что он тяжко, с укорами себе, думал об этом человеке, князь мало-помалу как бы собрал его образ, и теперь он стоит перед ним. В него всматривается, с ним сверяется князь. Но во тьме этой разбойной избы, рядом с разбойным атаманом, мучимый бессонницей, князь не просто рассказывает — он дает еще исход глухой тоске, тоске и старой ненависти, снова обжегшей его сердце.

— А мы вот что,— слышит он голос Ермака.— Заутра выстроим казачишек, ты уж сам и сыскивай, староват я в угадки играть. Вот только не обессудь и ты, князь Семен, многих недостает наших. Еще найдешь ли... дружка своего. Я так чаю: шубой ты его в особицу жаловать хочешь?

Слова дерзки, задело атамана, «князя Сибирского»! Болховской пропускает слова мимо ушей. Он продолжает:

— Ноздри, палачом рванные.

Молчание. Долгое молчание.

И кровь горячо прилила к голове князя (почасту стало это делаться с ним за последнее время, чуть что). Здесь? Значит, здесь?!

— Нет его.

— Как нет? Недостает? — неловко ухватил князь слово, сказанное атаманом, поправился: — В боях убит?

Торопливо спросил, жадно ожидая ответа.

— Не в наших боях. Не для него они. Свои выбрал. Не там ищешь.

— Нету...— сказал Болховской. Отлила кровь.

— Сколько нас? Одна, другая сотня. Мало ему. Слышишь, мало! Народ потянуть замахнулся.

Резко и язвительно Семен Дмитриевич бросает в темноту:

— Утухнет пламя. Утушат, не бойся. С державой тягаться? Теперь-то тем боле утушат. Не в землю, гляди, растем... Ты сам, ты кому покорил под ноги новое царство? Силы новой, стало быть, кому прибавил? Ему, великому государю!

Молчание.

Голос Ермака:

— Жив мужик, значит?

— У Строгановых слышал — шкура цела покуда.

— И в Усольях, значит, ведомо про него!

— А в Москве указывали — с тобой он...

— Живой,— протянул Ермак.

Ни тот, ни другой не произнесли имени.

7

На другой день князь перешел в Кучумов дворец.

Вышел, стал у ханского частокола, посмотрел на Иртыш.

И казаки смотрели издали на высокого, чуть сутулого воеводу.

Казаки зазывали стрельцов к себе в гости. Вечерами угощали самогонной водкой. Похвалялись с прибаутками, и московские люди дивились:

— Ишь, лисы, соболя сами под ноги валят!

Правда, прибаутки оставались прибаутками, а лис и соболей еще почти не видывали.

Кто-нибудь из стрельцов спрашивал:

— А как у вас пашенка?

— Наша пашенка, детина, шишом пахана.

То была тоже похвальба: пашенка ужо завелась, только и ее было мало.

Старейшины окрестных аулов по-прежнему приходили к Ермаку.

Он же говорил им:

— Идите к князю Семену.

Князь ожидал атамана, не дождался, сам отправился к Ермаку.

— Что гоже у станишников,— объявил он,— у нас негоже. Все казачьи заводы и порядки надо сменить,— указывал князь, сидя на лавке и костяшками пальцев постукивая по столу.— Атаманы и есаулы пока пусть, но не два войска в Сибири, а одно. Одно воеводство.

Ермак не перечил.

— Как велишь.

Болховской слал и принимал послов; изредка говорил в тяжелом, пышном боярском облачении «государство милостивое жалованное слово». В хозяйство не очень входил, а больше махал рукой:

— Ты уже порадей...

И усмехался, как бы в оправдание:

— Страна-то мне чужая, голубчик...

Ни разу он, от отца еще слышавший: «Мы, Болховские, Рюриковичам чета, сами Рюриковичи»,— ни разу князем не повеличал «князя Сибирского».

А Ермак по-прежнему целыми днями не слезал с коня, а то и лыж. Радел, не переча ни в чем.

Между тем в Сибири с приходом стрелецкой подмоги стало не легче, а еще тяжелее. Князь полтора года ехал из Москвы. Припасу не привез. Домовит он не был, ехал на государево дело, а не стоять с весами-контарем в амбаре. Для амбара-то можно бы подыскать иного человека, попроще, а не воеводу славнейшего рода. О Сибири же во времена казачьего посольства в Москву разнеслось (а позже в Усольях еще и приукрасили), что нет богаче этого простора, Руси отворенного.

Особой веры этому князь не давал, но во время долгого пути приучил себя к мысли, что воля государя, указавшего ему дорогу в Сибирь, означает, что царь ждет от него обереженья, устройства новой земли и, воз-

можно скорее, помощи оттуда всему царству в его главном деле — в боренье за великий простор Запада. Иначе и быть не может — все-таки не трезвонили бы, будь поиному, московские колокола о русской Сибири.

Так он думал, и это помогало ему свыкаться с трудной, надсадной, нескончаемой дорогой, все дальше и дальше уводившей его от сердца страны и от тех рубежей, где кроваво решалась судьба великой страны.

Болховской ехал на время. Он сделает то, что не могли сделать казачьи ватаги; и после того, конечно, воротит его царь.

А пока что — не жрать же ворон зовут казачьи атаманы, запаслись, стало, чем встречать.

Семен Дмитриевич Болховской привез войско на легких, никакой — ни московской, ни пермской — снедью не обремененных судах.

А следом ударила зима. Не по-московски суровая. Поначалу ходили на охоту. Но пурга замела тропы. Над сугробами торчали деревянные кресты. Кусками льда затыкали оконца с порванными пузырями. В избах и днем темно.

Теперь стало тесно — по десять и больше человек жило в каждой избе. Спали вповалку. К утру не продохнуть.

Триста лишних ртов быстро управились с запасами Мещеряка. Съели коней. Доедали мороженую рыбу — юколу. Отдирали и варили лиственничную кору. Обессилевшие люди, шатаясь, брели от избы к избе. Многие больше не вставали. Начался мор. Багровые пятна ползли по телу.

И зимой сибирское княжение выпало из рук Болховского.

У него в горенке горела лампада у божницы. Все реже подымался он с вороха шкур. Гóловы Глухов и Киреев по чину являлись к воеводе, он слушал их внимательно, но слышал не их речи, а как кровь — теперь уже все чаще, уже безо всякой причины — варом обливает щеки ему, шею, лоб, темя. Он выжидал, пока отхлынет кровь, но тогда возникало какое-то ровное постукивание за дверью. Чтобы заглушить его, он, оставшись один, натягивал на лицо лисью шубу. Тогда больше не видно темной мути за оконцем. Но постукивание

продолжалось еще явственнее. Это билась жилка у него на виске.

И он вслушивался в ее биение днем и ночью, постепенно слабея. И беззвучно рассказывал самому себе всю жизнь.

Было в ней много дел, много смелости, много пройденного, проезженного, много бранного шуму и шума городов, надежд и дум, мечтаний о великом жребии — не для себя, для отчизны; были непочатые силы, которым не виделось конца,— не страшная ли война съела их? Забелела седина, а не старик. Мало было покоя, хоть и хотел его,— деревенской тиши и покоя в семье, в красном тереме на Москве. Кому же понадобилось, чтобы кончилась его жизнь в черной глухомани? К морям видел великие пути — к турецкому полуденному морю и к западному, достославному. В глушь, на восток,— такого пути не искал, для того не жил. Что ж, может, и не хватило для того жизни, жизнь одна.

Но захотел царь — и вот тут, в дикой пустоши, близ разбойного князя Ермака, суждено, может, прерваться веку князя Болховского, воеводы, искателя дорог в кипучий мир, любозрителя всяческого художества, усердного почитателя блистательной книжной мудрости — свидетельницы дел человеческих на земле.

Он не смеется — не дают вспухшие десны, да и нет сил, а пожалуй, и охоты; только беззвучно усмехается в уме, чуть опустив уголок рта.

И подымает веки. Казак стоит. Казак принес припас от Ермака. Ермак нет-нет, а пришлет узелок Болховскому. Жалует мерзлой рыбкой, парой или троицей тощих хвостиков. А казак не уходит, он стоит у стола, наклонился, смотрит-смотрит на московскую забавку — Одноног, Нос, Лопухи,— прямо впился глазами с каким-то непонятным страхом и с радостью, точно себе не верит. Скажи пожалуйста, ни у кого никогда не видел князь такой радости. Из-за чего? Из-за деревяшки, чурбашки, забавки!

— Подойди... ко мне,— зовет он.

Казак подошел. А все оглядывается. Там еще чудо аль приснилось, явилось вдруг из сна и снова в сны ушло, растаяло? Не может же быть, чтобы тут, наяву, в руки взять, было это! И как спросить князя, «боярина лютого» (не забыл казак, в ушах его стоял захлебывающийся шепот мужичонки с медным крестом в кабаке,

на заслеженном полу), как спросить про немыслимое, про диво: как, откудова, почему нашлось у него это диво, которое некогда, один лишь раз мелькнуло казаку в солнечной, радужно сверкающей горенке узорной избы? Такой не похожей ни на какую другую избы, что, потеряв ее в толчее московских улиц, за несчетными домами, теремами, толпами, не раз сомневался казак, да была ли она, не придумал ли он все сам?

— Нравится? — еле слышный голос князя.

И не ждет ответа князь, вдруг чувствует, как хоть слабая, но настоящая теплая улыбка шевелит его губы. А ведь он не думал, что сможет еще улыбаться! Он выпростал руку, протянул ее к казаку.

— Как звать тебя?

— Ильин Гаврила.

— Приходи, Гаврюша...

Говорить ему трудно, он передохнул, еще раз слабо улыбнулся и докончил:

— Поговорить хочу с тобой. А умру... себе возьми.

Теперь он ждал Ильина. Может, не так уж и темна муть за окном?

Ильин приходил. Какие у них разговоры,— Ильин все смотрел на те три воедино соединенные фигурки, а на радость его смотрел князь.

А вот Ермак, тот вовсе забыл дорогу к бывшему ханскому жилью. Болховской трижды посылал за ним. Только по третьему зову он явился.

Князь впервые назвал его Тимофеичем и, трудно выговаривая слова, все удерживал его; сказал и об Ильине.

Но совсем не такой Ермак, какого знал князь Семен до этой поры с Сибири, сидел возле него. Отчужденный, сумрачный, с недобрым огоньком в глазах, не помощник воеводы — атаман.

За ним пришли и сюда, постучались, не чинясь с больным князем, в дверь.

И атаман поднялся.

— Недосуг,— буркнул он.

И прошел с двумя казаками по делам, о которых не доложил воеводе,— по делам опять на себя взятого сибирского княжения.

Осенью атаман принял гостей, открыл для них кладовые. Но когда опустели кладовые, точно отрезал князя от себя. Как некогда в сылвенскую зимовку, все в казачьем войске подчинилось одному: дожить до весны.

Десятники отвечали за свои десятки, есаулы — за десятников, атаман и круг — за всех. И снова донской закон встал над жизнью и смертью людей. Будто ничего не переменилось с той зимы на Камне и воды совсем не утекло за четыре года.

Охотники промышляли в лесах; случалось, и гибли, но когда возвращались, то с добычей.

Выпадали дни с одной лиственничной корой — делили кору. В лучшие избы снесли больных цингой; их отпаивали настоем хвои.

Матвей Мещеряк часами просиживал с Ермаком. И тому, что высчитает Мещеряк — какой пай дать на душу, сколько воинам, сколько женщинам, как поделить любую добытую кроху,— подчинял все войско Ермак, неумолимо отворачиваясь от свежих бугров на кладбище княжьих людей.

В ханском жилище под угасшей лампадой умер Семен Болховской.

Костром из кедровых поленьев оттаяли землю. Ломом и кирками вырубили яму.

В мерзлой сибирской земле закопали воеводу.

Голова Иван Киреев пропал. То ли бежал, то ли погиб где-то на Иртыше. Глухов ни во что не вмешивался. Выжившие стрельцы ходили теперь с казачьими сотнями.

8

Морозы спали, днем налегал густой туман, подъедая снег, просачивалась медленная вода и пахла, как белье у портомоек. К вечеру снег примерзал, покрываясь настом. Начались оленьи и лосиные гоны. Верные русским жители татарских и даже дальних остяцких и вогульских городков (там тоже были «дружины», «женки» у казаков) пригнали в Кашлык тайком от карачиных соглядаев нарты с дичью, рыбой и хлебом.

И вовремя: еле стих легкий скрип порожних нарт, как раздались топот копыт, лошадиное ржание, крики воинов. Двенадцатого марта карача с ордой подступил к городу.

Он думал легко взять его. Но Ермак хорошо укрепил бывшую ханскую столицу. Глубокий ров шел вдоль горы. За ним — валы и стены. Пушки стояли по углам.

В поле перед валом казаки пометали еще чеснок — шестиногие колючки из стрел. Кинутый чеснок тремя ногами впивался в землю, а три ноги торчали. Прикрытый снегом, чеснок калечил вражескую конницу, впивался в ступни воинам-пехотинцам.

Карача не смог взять Сибири. Но он стал станом перед городом и запер русских. Весна свела снег с полей. Берега Иртыша лежали в пуховом облаке распускающихся почек. Временами казаки видели множество повозок. Запряженные конями и быками, они двигались по черным дорогам к стану карачи.

Мурза не торопился. Его орда стерегла все выходы из Сибири. Но сам мурза не хотел скучать под крепостными стенами. Он раскинул свои шатры поодаль, в молодой роще у ханских могил на Саусканских высотах. Сухонький старичок, он любил стихи, краткие мудрые изречения и свежесть природы. Он жил «в зеленом Саускане» с женами и детьми, дожидаясь дня, когда ворота Кашлыка сами отворятся перед ним и гонцы поскачут по ближним и далеким городкам с вестью, что хан из нового рода сел на древний улус тайбуги.

Русских в городе осталось мало. Многие перемерли за зиму. Пали отважные атаманы и бесстрашная волжская вольница, громившая Махметкула. Пушечная пальба орду уже не пугала. Татары только отводили обозы немного дальше. А смельчаки подбирались к стенам и пускали стрелы. С некоторыми летели в город грамоты. Мурза хвастал. Он грозил посадить на кол обоих атаманов и набить чучела из кожи казаков и стрельцов.

Снова начался голод. И на этот раз гибель казалась неотвратимой.

9

— Повоевали. Вот и повоевали!..

Темно в избе, нечем светить. Он полулежал, опираясь на левый локоть. Ильин слышал, как сипло, несвободно, не по-молодому клокотало у него в груди.

— Царство искали... и сыскали. А был человек — он не верил. То давно, много годов назад. Он сказал: «Настанет пора — сам себе не поверишь, атаман...» Желтый глаз у него, круглолиц и жил крепко, подмяв под себя свою правду,— не вытянешь из-под него и с места его

не стронешь. «Не себе сеял, чужие и пожнут»,— сказал он. Дорош — звали того человека. И был еще другой человек... С нами шел, да отбился, свернул с сакмы,— тогда ты ночью, на острову, на Четырех Буграх, первым сказал мне про то. А думаешь, я и не знал? Отбился. На свою на дорожку. Что на ней? Сласть? Полымя и дыба. А людей скольких манит туда! Тысячи людей. Филимоном звали этого другого...

— Уйдем отсюда,— быстро и горячо заговорил Ильин, словно прямо отвечая на сказанное.— Уйдем. Мы не кабальные. Свет-от велик. На белых морях, на островах и на отмелях в лежку лежит баранта, а руно у ней золотое...

— Алтын-гору вспомнил? Все ищешь?

— Ты поучал: «Отдыху не знай, дыханья не переводи, ногам не давай отяжелеть в покое».

— Ищи. Это хорошо. Ты легкий, и легко тебе. Где прибьет других долу, тебя сорвет, вскинет, и цел выйдешь.— Тихо усмехнулся: — А до бабы слаб. Богатырем, уж вижу, так и не станешь, пусть хоть на волос, а не вытянешь...

Помолчали. Потом опять медленная речь:

— Мне же иное. Один я. Всю жизнь прожил — и вот один остался. Кто есть Матвей Мещеряк? И смел и зол — да на бесптичье атаман. Тебя люблю. А знаю: никогда тебе не атамановать. За то, может, и люблю. Вижу в тебе, чему воли в себе не давал я: люди на мне, их вел, за них ответ держу.

Смолк. Ильин спросил:

— Годов сколько тебе, атаман?

— Седина на темени? А был черен? «Дети и дети детей увидят седую голову».— Опять чуть слышно усмехнулся.— То шайтанщик в Чандырском городке. «До Пелыма,— сказал,— дойдешь, назад поворотишь». Брюхо себе вспорол, а потом провещал...

— Помер?

— Нет! Кровь-руду хотеньем унял, только пригоршню наточил.

— Как может это быть, батька!

— Эх ты! Ничего нету сильнее человечьего хотенья. Ничего. Сколько ни будешь жить, помни про это.

— А ты сам, батька?..

— Я? Что я?

Он оборвал сердито и грубо, верно, хотел выругаться, но только сипловато засопел. Потом тряхнул головой, прямо глянул на Ильина, в темноте блеснули глаза.

— Слушай же! В земляной яме сгноили батяню. Двадцать годов гнил. Человечий язык забыл, стал псу подобен. Как пес, и подох в яме... И мамка не пестовала меня. Мальчонкой уж кормился у артельного тагана. Соль подземная поела тело. И плоты гонял для Аники... для Строганова. Кнутобойцы строгали мясо с хребта долой... у мальчоночки. Му́ку мирскую не слыхом слыхал — на себя поднял. Браток, старшой, искал доли, не сысканной отцом. Что вышагали сам-друг с ним! Светлую воду тоже нашел — из нее указали ему соль варить... из светлой воды. Да у печи запороли. Другой брат землю пахал. Зернышко свое, девять строгановских. Повидать его хотел, как на Каме стояли,— нету его, в колодках сгнил, тятьке вослед...

Дыхание его пресеклось.

— Никому про то не говорил я.

Через малое время он возвысил голос:

— Не съела меня му́ка мирская. Думал, есть оно во мне — это хотенье.

Негромкий возглас Гаврилы — он не слышал.

— Кто считал лета мои?.. Как на Дон прибег — сколько годов тому... Волей донской от всех бед спасаются. А тесно мне было во пустой степи. Не спасенье себе отыскивал... Еще по всей по Руси путь лежал мне. Ратную жизнь испытывал. Под Могилевом-городом. На Ливонской войне под Ругодивом.

Прервал Ильин:

— Семена, князя, казнил за что?

Скрипнула лавка. Ильин был терпелив и дождался.

— Сам призвал его. Смирен был пред ним во всем. Ни в чем не перечил. Казнил?

— Зимой,— подсказал Ильин.

С угрозой проговорил атаман:

— Мало тебе того, что слышал?

Ничем, ни звуком не помог ему Ильин. И еще уступил Ермак:

— Понял, стало? Понял?..— Он не подметил — почуял быстрый кивок Гаврилы, яростно вскинулся: — Молчи!

Теперь впотьмах раздался прерывистый его шепот:

— А всего не понять тебе. Не знаешь счету моего с

Болховским-князем, не ведаешь, что присчитано к этому счету в Сибири-городе... в избе вот этой,— ночевали мы с ним... А начался счет на Дону. Голодный круг собрал Коза. Под кручей — будары, хлебом полны. Оттоль взошел он на майдан — с гордыней, мальчишка, князь, каты на веки вечные не положили отметок на его хребте. Я оборонил его, распалился народ, по клокам его б разорвали... Да тебе не упомнить, несмышленыш в те поры ты...

— Я не забыл.

— Не забыл?! Вишь, не забыл. Вон они, «веки вечные», с тобой мы, Гавря...— Потеплел его голос.— Летучий ты пух, да носило тебя моим ветром!

И рука атамана легла казаку на плечо.

— Малых-то, ребятишек, много ль у тебя?

— Не ведаю, батька. Как знать мне?

— Эх, Гавря, пушинкой и пролетишь, следа не врежешь.

Долго ничего больше не прибавлял атаман. А Гаврила подумал о жизни о своей, о людях, носимых по миру, как перекати-поле, и ему стало горько. Услышал неожиданно:

— А у меня жена была и сынишка рос. Один сынишка.

Изумленный, переспросил Гаврила:

— У тебя?

— Давно... сколько уж тому. А закрою глаза — и слышу: журавль скрипит. Кры-кры, кры-кры. Колодезь там, подле самой избы. А за бугорком речка, песочек белый. Все кораблики пускал мальчонка; из осинки выдолбит, палочку приладит и пустит. Беленький рос, не в меня — в мать.

— Кто ж была она?

— Аленкой звали...

— Померла?

— Нет, сам ушел. Той речкой уплыл. Плакала, билась. Попрекала: иную избу, с иной хозяйкой искать иду. Слабое бабье сердце...

— Жалеешь?

— Жалеть... Что она — жалость?

— Ты не жалей,— сказал Гаврила.

— Только вижу, как вчера было: стоит — и уж ни слезинки, глаза сухи, ровно каменная. Ожесточилась

сердцем... Мысок набежал, скрыл, одно слышно — журавль скрипит: кры-кры.

Он все возвращался к самому давнему.

— Жизни краю нет, пока дышит человек, так думал я тогда. Ищи свое! Иди, Ермак. Ночью лежишь тихо, на небо смотришь. Сколько звезд — и все будто одинакие, а приглянешься — разные. Прозваньям-то их прохожие, проезжие люди выучили, да мало тех прозваний: все больше вниз, под ноги, глядит себе человек — не вверх. Где я ни бывал, а ясная ночка — подыму глаза, узнаю звезды. Одни они кругом, значит, только чуть повыше аль чуть пониже на небе.

Он замолчал, не перебивал, не мешал ему Гаврила.

— И решил я тогда: везде путь человеку. Надо будет — далече пойду, где русская душа не бывала — и туда дойду. Дойду и сыщу, чего искал. И отмщение найду за все — и за слабые те бабьи слезы, и за глаза сухие Аленкины...

— Знаю, за тобой шел, ты вел. Чтоб на просторе жить, на воле — вольницей.

— Эх! — как бы с досадой отмахнулся Ермак. Долго молчал, и, должно быть, хмурился. Вдруг сказал: — Города бы мне городить, Гавря!

Ильин тихо:

— Ты царство ставить хотел.

— Царство? — повторил Ермак.— Казачье мы вершили дело, а обернулось оно... Русь вот за ним. Сама пришла и стала — накрепко. Не та она, что при отцах, Москва — не та. Вот и свершили иное, чем замахнулись. Да только иным, не мне его видеть.— Он вобрал воздуху в грудь, и голос его окреп.— А пусть и побоку нас, пусть же — князи-бояре... На час они, как Болховской-князь: пришел — и уж зеленую мураву телом своим кормит. Как глазом моргнуть — вот что они. И над тем, что свершили мы, они не властны. И над реками не властны, над землей, над простором лесным и над народом,— ему же нет смерти. Великую тропу открыли мы, первые проторили. А он, народ, пойдет за нами. Дальше нас пойдет. Тыщи несчетные двинутся, землю пробудят, украсят. Помянут нас, Гавря, и в ту пору скажут, что не пропала пропадом наша кровь...

Он говорил быстро, точно торопился все высказать до того, как загорится утро и откроет его лицо.

10

В последний раз воспрянула сила Ермака. То, на что он решился, было еще дерзновеннее, чем все прежнее.

Он выслал с Мещеряком почти все войско. Сам остался с горстью людей в городе, теперь беззащитном.

Выбрал для этого темную ночь (то было спустя три месяца после начала осады).

Поодиночке переползали казаки через валы и стены. Мещеряк выпрямился. Тускло догорали татарские костры. Торчали вокруг них поднятые оглобли телег. Потянув носом воздух, Мещеряк приказал:

— Пошли!

Беззвучно миновали стан под Кашлыком. Черная тьма поглотила обложенный ордой карачи город Сибирь.

Мещеряк вел людей прочь от него, в Саускан.

Охрану у карачиных шатров перебили прежде, чем она успела схватиться за оружие. Казаки ворвались в шатры. Убили двух сыновей мурзы. Сам мурза едва ускользнул.

Шум боя донесся до орды под городом. Кинув стан, татары побежали на выручку к мурзе. Занималось утро. Казаки сдвинули повозки карачина обоза и отстреливались из-за них. Татарские лучники напрасно сыпали стрелами. До полудня татары пытались сбить казаков с холма. Но казаки били в упор, без промаха. Татарские воины падали у могил древнего ханского кладбища.

Тогда, не зная, сколько перед ними врагов, и боясь, что другое русское войско ударит им в тыл из Кашлыка, татары побежали.

Ермак вышел из города. Со всеми казаками и стрельцами он кинулся преследовать бегущих. Он мстил теперь за Кольца, Пана и Михайлова, за всех изменнически погубленных карачей.

Мурза Бегиш укрепился на высокому берегу озера, что тянулось вдоль Иртыша выше Вагая. Много карачиных людей пристало к Бегишу. Казаки взяли городок яростным приступом.

— Отдай его на мою волю,— высокой фистулой, равнодушно глядя водянистыми глазами без ресниц, сказал Мещеряк.

От этого городка двинулись к Шамше и Рянчику. В Салах сдались после первых выстрелов. Из Коурдака население скрылось в леса.

Елегай, княживший в Тебенде, вышел к Ермаку с поклоном и подарками. Он вел с собой красавицу дочь, которую сам Кучум сватал за своего сына. Тебендинский князь привел ее, чтобы отдать казацкому атаману вместе с лежалыми рыжими мехами и полосатыми халатами.

Но Ермак отказался от живого дара.

Он сумрачно обернулся и пригрозил своим:

— Смерть тому, кто ее тронет!

Русские ни до чего не коснулись в городе Елегая, старика с лисьей душой, отдавшего на поругание дочь, лишь бы удержать в дряхлых руках малую свою власть.

В местности Шиштамак, недалеко от реки Тары, Ермак остановился. По выжженной степи, покрытой травами, похожими на серый войлок, кочевали туралинцы. Они были нищи и беззащитны. И шайки беглых людей карачи угоняли их скот и жгли их убогие камышовые шалаши.

Туралинцы принесли Ермаку все, чем богаты: лошадиные кожи, сыр и айран, грубое тряпье, сшитое из красных и бурых лоскутьев, шкурки желтых степных лисиц. Дети таращили черные глаза из плетеных повозок, полных лохмотьев.

А Ермак не взял ничего у нищих людей и освободил их от ясака, который они раньше платили мурзам и князьям.

Когда русские возвращались из земли туралинцев, им встретился татарин, покрытый степной пылью.

— Бухарские купцы,— сказал он,— уже на пороге твоей страны! Караван их велик.

И тогда Ермак вернулся в город Сибирь.

Здесь он ждал бухарского каравана.

Но гонец на запыленной лошади подскакал к атаманской избе в Кашлыке и закричал, что Кучум стал у Вагая и загородил дорогу бухарским гостям.

И Ермак с полусотней казаков бросился им на выручку.

Он поднялся по Вагаю более чем на сто пятьдесят верст. Но не было ни бухарцев, ни вестей о них. Около бугра, называемого Атбаш, что значит «Лошадиная голо-

ва», Ермак повернул обратно. Он понял, что весть ложная.

Хан Кучум издали следил за Ермаком. Когда тот плыл, хан скрытно шел берегом. Ермак делал привал — останавливался и хан.

Возле впадения в Иртыш Вагай очерчивает дугу. Но проток спрямляет ее; перекопью звали его; он сокращал на шесть верст путь плывущим по реке.

Небольшой островок зажат между рекой и перекопью. Струги Ермака пристали к нему. Лил дождь с грозой и бурей. Пала ночь. Люди не спали трое суток. Они заснули тотчас, очутившись на мокрой, холодной земле.

— А дозор, атаман? — напомнил Ильин.

— Иртыш, слышишь, ревет. Кому тут быть? Да и до стана близко...

На миг у Ильина беспокойно мелькнула мысль о Савре. «Ахтуба пуста, а без караула не гуляй»,— сказал он волжской пословицей.

— Мрут, Гавря, люди не по старости и не по младости живут...

Ильин не понял. «Выставь же дозор»,— хотел было повторить он, но усталость смежила ему глаза.

То была ночь с пятого на шестое августа.

Кучум стоял на крутом берегу против островка. Татары знали место, где можно через реку перебраться на лошадях. Но и теперь, во тьме, хан не решался напасть на казаков. Таким страшным казалось ему имя Ермака.

Хан вызвал татарина, приговоренного к смерти, и велел пробраться на остров. Тот вернулся и сказал, что русские спят, а охраны нет.

Но хан не поверил ему. Татарин в другой раз кинулся в реку и принес три самопала и три лядунки.

Тогда хан перевел всех.

Рев и вой бури, шум дождя заглушали хрипение умирающих. Только нож-клыш, входя в тело, будил на короткое мгновение тех, у кого сон не сразу сменялся смертью.

Победители отрубили казачьи головы и вздели их на пики.

Но головы атамана не подняла Кучумова пика. Его не зарезали сонным. Вскочив, он прорубил себе дорогу к реке. И уже отбился от наседавших, не чуя ножевых ран, уже добежал до воды, но волна отогнала струги. Ермак прыгнул и оступился. На нем было две кольчуги,

подаренные царем. Они тянули книзу. Волна захлестнула его.

Нечеловеческим усилием он вынырнул, глотнул воздух. И тотчас быстрая струя опять смяла его. Тогда, борясь со струей, он увидел на миг сквозь черную воду, сквозь непроглядную ночь широкие светлые реки, караваны у стен, опоясавших города, елки на высоком берегу, их вершины — как стрелы. Рябой мальчик в разодранной рубашке рвался прочь от реки, закатившись криком: «Не виноватый я!» В реке — вдруг стало видно — рогатый жук равномерно, упрямо, упорно двигал лапками, цепляясь за скользкую щепку, которая перевертывалась под ним.

Ермак все бился с волной, стремясь преодолеть железную тяжесть, и, уже захлебываясь, искал, нашаривал дно.

АЛТЫН-ГОРА

1

Только один казак спасся во время ночной резни на Вагае. Это был Ильин. Он вскочил с Ермаком, вместе с ним бросился в Вагай, но попал на татарский брод, невредимо вышел на берег и добрался до города Сибири.

Матвей Мещеряк, с головой, втянутой в плечи, взвизгнул резким, высоким голосом, буравя подбежавшего недвижными голубоватыми глазами:

— Змей! Все полегли, сам цел-целехонек!..

И ударил его по лицу.

Но Ильину было все равно; он не стал отвечать Мещеряку и даже не озлобился на него.

Упала могучая рука, всех поддерживавшая, и люди почувствовали себя беззащитными. Человек выходил на улицу и вдруг срывал с себя одежду, мял, топтал ее и с ревом садился, где стоял.

Один крикнул:

— Сами по воле своей отсель! Кабалы избыли, хрещеные! Бей голову Глухова!

Мещеряк вышел, посмотрел. Кричал, шепелявя, маленький казак. Прислонясь к забору, Мещеряк только покривил улыбкой извилистые губы.

Наутро город затих, придавленный унынием.

И всего через десять дней — пятнадцатого августа — русские покинули Кашлык, которым владели почти три года. Они не решились возвращаться дорогой, какою пришли, а свернули на север, Иртышом выплыли в Обь, чтобы оттуда посуху перевалить через Югорский Камень.

Но десятка два человек не захотели оставить Сибирь. С ними скрылся в тайгу высокий сухощавый казак с русой бородкой — Гаврила Ильин.

А пустой Кашлык занял Али, сын Кучума. Но Кучумово царство, рухнув от удара, нанесенного Ермаком, больше не могло подняться. Сейдяк выгнал Али, убил семь сыновей Кучума и стал княжить в Кашлыке. Тайбугин род в последний раз завладел своим древним улусом и восторжествовал над «шибанским царевичем».

2

Шаткое ханство Сейдяка скоро рассыпалось под ударами стрельцов, которых рать за ратью посылала Москва. Татары оставили Кашлык. Этот город так и стоял с тех пор пустым, медленно превращаясь в развалины, и окрестные жители забыли его название и звали только Искером — старым городищем.

Но жил еще полуслепой Кучум. В 1590 году он снова вышел из степей на берег Иртыша, убил и ограбил многих татар: он по-прежнему мстил им за Ермака, за то, что они передались ему. Через год новому тобольскому воеводе Владимиру Кольцову-Масальскому удалось нагнать воинов Кучума в степях Ишима. В воеводской рати шло много сибирских татар: не с ханом, а с русскими связывали свою судьбу иртышские аулы.

Хан, разбитый, бежал.

В эти годы построены города Пелым, Березов, Сургут и Тара. А в 1595 году у самого Полярного круга, недалеко от впадения Оби в губу Северного моря, русские выстроили Обдорск, который называли также Носовом, как и остяцкий город, стоявший на этом месте до того.

Кучум скитался в дальних степях. Уже во всем прежнем его ханстве не осталось места, где бы он мог спокойно раскинуть свои шатры. Но, ускользая от воевод, его шайка лихих головорезов налетала на татарские городки и селения, жгла, убивала, грабила, что попадалось, и снова скакала в степи на косматых конях.

В 1595 году Кучум стоял в Черном городке у реки Оми. Голова Борис Доможиров нагнал его. Татары снова были разбиты. Но и на этот раз хан ушел невредимым.

Барабинская степь стала русской. Воеводы слали Кучуму зазывные письма. Но он, бездомный бродяга, по-прежнему называл себя ханом и царем. В 1597 году он ответил воеводам:

«Бог богат! От вольного человека, от царя, боярам поклон, а слово то: что есте хотели со мной говорить?..»

И в своей грамоте перемешивал угрозы с мольбами.

В 1598 году в Тобольске и Таре спешно вооружили семьсот русских и триста татар и отправили их в поход против неукротимого слепого хана. Больше трех месяцев воевода Воейков искал его. Битва произошла двадцатого августа на Оби, в двух днях пути от озера Ика. Она длилась с солнечного восхода до полуня. Пали шесть татарских князей, десять мурз, пять аталыков, брат и двое внуков хана. Пять оставшихся в живых царевичей, восемь царевен и восемь цариц, ханских жен, попали в плен.

Но еще не наступил конец. Без семьи, с малой шайкой Кучум бежал на верхний Иртыш. Там он кочевал около озера Зайсан-Нор, воруя лошадей у калмыков. Они нагнали его у озера Каргальчина. И снова Кучум спасся. Крепкий конь унес его на простор степей.

Он скрылся у ногаев, над которыми властвовал некогда его отец Муртаза. Но ненавистную память Муртаза оставил о себе на ногайской земле. Ногаи схватили людей Кучума. Близкие границы Бухары, которой хан боялся всю жизнь, дали последнее прибежище Кучуму. Так он сам явился сюда — будто что-то привело и втолкнуло его, отрезав все другие пути. И в бухарских пределах нож неведомого убийцы пресек жизнь развенчанного сибирского властителя.

3

Все дальше на восток шли русские по Сибири.

В 1596 году на Оби выросли стены Нарыма.

В 1604 году было указано набрать пятьдесят молодцов добрых, умеющих стрелять. Им дали по четверти муки, по пол-осьмине круп и толокна да по два рубля с полтиной. Они поплыли вверх по Оби, вышли на реку Томь и построили Томск.

В 1618 году русские заложили Кузнецк.

Были живы еще старые казаки, ходившие с Ермаком. Их рассказы казались чудесными служилым людям, заселявшим сибирские города. Однажды казаки собрались и чинно, по ряду, стали вспоминать старое. Но не во всем они соглашались друг с другом. Гаврила Ильин рассказывал о том, как удвоилось казачье войско перед Акцибар-кала, о победе хворостяного полка у Караульного яра, о трубах, невредимо проведших струги мимо Долгого яра, о дерзкой хитрости атамана под Бабасанскими юртами. Он вспоминал о страшной ночи на Вагае, о другой, тихой ночи в Тюмени-городе и как на жалейке играл тархáну, о ласке атамана Кутугаю, о княжьей дочери из Тебенды, о поимке Савра. Ничего не сказал о смутной ночи в Кашлыке, обложенном карачей... И что он говорил, оспаривал старый казак Селиверст.

— Не было этого, как жа! — возражал он.

Теперь Селиверст, кажется, даже меньше шепелявил, расчесанная бородка аккуратно обрамляла снизу его маленькое, морщинистое лицо. Он объяснял толково и солидно, как действительно происходила та или иная битва и как одерживались победы.

— Царство целое сбили — шутка! — повторял он веско и как-то поддергивал при этом кверху свою тощую грудь.— По истине надо, как жа. Сами ведь шли, кому и рассказать окромя — постыдимся пустяков, в гроб смотрим!

Родион Смыря сидел сутуло, курил и, вынув изо рта трубочку-долбленку, коротко бухал — так или не так. С ним не спорили — как скажет, так и оставалось.

Он велел написать о буйном круге в городке Атике и те смирившие круг слова, какие сказал атаман.

Вспоминали и другие казаки.

И грамотей записал то, что сообща порешили. Бумага берегла теперь от шаткости людской памяти предание о том, как был «сбит с куреня царь Кучум».

В 1621 году приехал в Тобольск первый сибирский архиепископ — Киприан. Он позвал к себе казаков Ермака. Немногие старики пришли к нему и принесли с собой *написание*.

Тогда Киприан внес в поминальный синодик имена атаманов и казаков, погибших в сибирском походе, чтобы петь им в тобольском соборе вечную память; летописцы по казачьему написанию составили свои истории «покорения Сибири».

А Гаврила Ильин послал челобитную царю Михаилу Федоровичу. Он бил челом, чтобы царь не оставил его в нужде, голоде и великих долгах. Но он не молил униженно, а говорил о себе, что двадцать лет полевал с Ермаком, до ухода с Волги на Каму, выставляя это перед царем как свою гордость. Гулял он на Волге всего десять лет, но был там с Ермаком. И он прибавил вдвое себе то, что раньше сочлось бы смертной виной, а теперь стало великой заслугой.

4

Во многих сибирских деревнях жили одни пашенные мужики, без баб. Они слезно молили прислать им баб, чтобы было на ком жениться, потому что без бабы в хозяйстве никак нельзя.

Томский казак Василий Ананьин поехал к монгольскому Алтын-царю — Золотому царю — и проведал «про Китайское и про Катанское государство, и про Желтова, и про Одрия, и про Змея-царя».

Но Ананьина «на дороге черных колмаков Кучегунского тайши карагулины люди (караульные люди) ограбили, а живота взяли самопал с лядунками и зельем, да зипун лазоревой настрафильной новой, да рубаху полотняную, да однорядку лазоревую настрафильную».

На отмелях великого моря, возле устьев реки Анадыри служилые люди увидали множество черно-рыжих скользких туш. Они лежали на версту по берегу и саженей на сорок в гору. Тот, кто первым увидел их, принял их за сказочную баранту с золотым руном. Это были моржи, и на отмелях-каргах начался промысел ценного рыбьего зуба.

Кругом на «новых землицах» росли городки.

Из воеводских городов рассылали людей в дальние службы, в отъезжие караулы и проезжие станицы.

Шли охотники; промышленники промышляли в лесах зверя. В степях, на таежных раскорчевках, у рек заводились пашни.

Покрученникам, крепостным, невольникам редко вы-

падала дорога на волю; закабалялись вольные. В иных глухих дебрях воеводы объявляли:

— Я тебе царь и тебе бог.

И семь шкур драли с объясаченных, семь шкур спускали со своих русских. Челобитной идти оттуда до Москвы не месяцы — годы; и еще годы, пока отзовется далекий дьячий приказ, нарядит дознание, пришлет управу.

А то и вовсе не будет отзыва. Лютый воевода сменялся, умирал, или отчаяние вкладывало в руки замученных людей оружие. И следовало усмирение, «погром» бунтовщиков.

Возвращались побывавшие на юго-востоке. Там течет река неоглядной шири, темная, как море,— четвертая великая сибирская. И они рассказывали о местах по Амуру, что места те изобильны, украшены и подобны райским.

5

В конце долгого царствования Алексея Михайловича, когда уже отгремело восстание Разина, громом своим заглушив память о мужике Филимоне и других, звавших прежде — еще до Ивана Болотникова — на вольный путь, в тот год, когда затрезвонили московские колокола о рождении у молодой царицы Натальи Кирилловны мальчика Петра,— в Успенский монастырь на Иртыше пришел постригаться сухощавый старик. Был он вовсе сед, с редкой бородкой и торчащими ключицами, очень древний, но держался прямо и ходил бодро, легко.

Старик был нищ и одинок. Пришел он из деревни Котиной, под Тобольском, говорили — он жил там чуть не со времени самого Котина; но и Котина уже никто не помнил из котинских правнуков. Когда перемерла родня старика, допытаться не могли: он плохо слышал.

В монастыре он немного чеботарничал, но из-за глухоты и древности его другие монахи с ним не сходились; давно уже перевалило ему за сто.

Во время служб он шевелил губами. Крестился только двуперстием. Голоса же своего старик не подавал целыми неделями, и забывали даже, что он еще тут.

По ночам ему снилось, что он летает.

Иногда ему приходили на память детство и Дон. Он видел одинокую огненно-разгорающуюся точку посреди зеленого ската, выхваченного из мрака, и девушку-най-

денку. Девушка представлялась ему тонкой, высокой, с плывущей походкой, в ожерелье из мелких монеток на шее; ему помнилось, что звали ее Клавкой, и образ ее неприметно переливался в образ татарки по имени Амина, с матовыми глазами и черными косичками, висящими из-под сетки конского волоса.

ВСТРЕЧЬ СОЛНЦА

Послесловие

1

Немало уже лет тому назад мне пришлось побывать в уральском городке. Городок, расположенный вблизи Чусовой, был мал, гостиницы в нем тогда не существовало, мне указали семью, где можно остановиться.

Вечером у хозяев заиграли баян и патефон, раздались песни — справлялось какое-то семейное торжество. Пели, окая по-уральски, «Шумел камыш», «Уж ты, сад», «Авиамарш».

И вдруг кто-то затянул песню, какой давно не доводилось слыхать:

Ванька-ключник, злой разлучник...

Песня давних времен о смелой, погубленной и все-таки побеждающей молодости...

Я постучался и попросил позволения войти. В комнате тесно сидели у двух составленных столов рабочие эмалевого завода с женами, продавец из магазина, медицинская сестра. На стене висел лубочный портрет человека с черной бородой.

Я поглядел на портрет — странный, какой-то древний и почему-то висевший на видном месте,— но сразу спросить показалось неловко; потом, к слову, я все-таки задал вопрос:

— Кто это?

— А это,— услышал я неожиданный ответ самого хозяина,— Ермак Тимофеевич, предок наш.

— Предок?!

— Конечно! Мы тут самого казацкого роду...

— От ермаковских казаков?

— А что? Горстка была? Сибирь-то взяли...

— Сибирь взяли,— басом повторил, как молотом вколотил, широкоплечий бритоголовый человек — хозяйский шурин, как я уже знал.

Парень со значком ворошиловского стрелка сказал:

— За ним не одни казаки — и народ бы пошел. И шел. Городкам по Чусовой кто основатель?

— Народу всегда понятно, за кем идти,— значительно произнес хозяин.— Его сам царь князем сделал, только Ермак отказался.

— На черта ему княжество! — снова ухнул своим басом шурин.

— Такой бы и сейчас делов наворотил в наших горах! — весело заключил кудрявый, красивый молодой человек, очень гордый тем, что он сидел рядом с женой, почти девочкой (молодая пара и была виновницей семейного торжества).

Больше ничего и не было сказано, заговорили снова о своем, живом, сегодняшнем. Но удивительная черта поразила меня в этом нечаянно мной вызванном разговоре: будто не касался он отдаленной истории, а перебирали люди некие семейные воспоминания.

Медицинская сестра пояснила мне, постороннему:

— Может быть, и не всё, как по книгам, говорят, но вы не думайте... Тут в самом деле много людей старого казацкого корня, ну и рассказы идут от отца к сыну.

Бревенчатые, неоштукатуренные стены стреляли и трещали, весь дом временами как бы вздрагивал, но когда я вышел, на дворе стояла дремучая тишина. Пласты снега слоеным пирогом свисали с крыши, гора с раскиданными такими же бревенчатыми домишками сверкала, только темнели улицы, как овраги в снегу. И при полной луне видно было, что стены всех домов черны, обуглены временем, как пожаром,— и приходила мысль, что на них оседала заводская копоть с тех самых пор, как Строгановы варили здесь соль.

Через несколько лет я попал в Березники. Новый город тогда еще только отстраивался. Дома — многокорпусные, кирпичные — становились поодаль друг от друга, по сторонам воображаемых проспектов, оставляя между собой промежутки тайги, превращенные в палисадники.

В новеньком Дворце культуры, огромном, роскошном внутри, с вазами алоэ на лестнице, читали лекции о яровизации, играли сонаты Бетховена; заезжая труппа

показывала с обширной сцены трагикомедии Сухово-Кобылина.

А рядом в стеклянных витринах были выставлены золотые, багряные, изумрудно зеленеющие, дымчато-розовые соляные кристаллы — подземные цветы Прикамской равнины, более прекрасные, чем мрамор и самоцветы. Это обломки калийных, натронных, фосфорных соляных пластов, пронизанных жилками самородного металла, блеском крупиц золота,— пластов, идущих на десятки километров к югу — до Кизела, где они сменяются черными толщами каменного угля, и к северу — до Соликамска с его шахтами, похожими на фантастические дворцы.

В комнате с витринами, куда захаживали инженеры, ученые-химики, шахтеры, монтажники и грабари, я снова совсем неожиданно напал на след атамана Ермака.

Человек, непонятно посапывая, рассматривал витрины. Мне виделись только потертая ушанка и мокрая от растаявшего снега бороденка. Вдруг он стал говорить:

— Вот оно... Вот, значит, как теперь. Открыто. На весь народ! Стары люди хоть и знали что — молчали.

Слова показались занятными, подобные «вступления» приходилось слушать, обычно они предвещали какой-нибудь рассказ об уральской старине. Я спросил:

— Какие старые люди?

Человек обернулся; на лице его с острыми скулами цвета красной меди удивительно и неожиданно синели ясные, пристальные глаза.

— Старые люди,— повторил он.— Знали, да помалкивали.

Досказал он потом, в «ресторане» поселка Чуртан,— я, человек «командировочный» и, стало быть, бездомный, уговорил его вместе отужинать, выпить по кружке пива. «Ресторан» был временным, полутемным, помещался в бараке; перед входом на дощатом настиле поверх заскорузлого снега дымились в инее лошади, запряженные в сани. Под гармонь, в едком и сладком махорочном дыму, мой новый знакомец говорил:

— Тысячи народу пришли сюда — со всей России, так? Большой силой берутся за лес да за горы... А мест наших, скажу, все ж таки не знают. Чтоб знать их, места, мало того, что сам провекуй тут век,— и отца с матерью в ту землю схорони...

Скрутил самокрутку, долго для чего-то разглядывал

ее против тусклой лампочки своими синими глазами. Я не торопил, понимал, что сейчас начнется рассказ.

— Примерно, вот про соли и каменья говорили. Пещера есть тут одна... Слышал про пещеру?

— Нет.

— То-то что нет! В пещере, в рост человека, были положены руды и каменья...

Я знал легенду о скрытых сокровищах и подзадорил:

— Так это ж не здесь. И неизвестно, было ли что в пещере.

Собеседник мой кинул на меня быстрый пристальный взгляд.

— Это ты про Ермаковы червонцы, что их не было? Верно, не было. Да каки ж таки могли быть червонцы? Рассуждать надо. Люди тогда соль варили, щи лаптем хлебали, зверя били. Червонцы! Болтают без смыслу...

Он замолк, как мне показалось, сердито. Старые уральцы несловоохотливы. Дым самокрутки, окутав его, не поднимался, а медленно оседал; сквозь дымное облако виднелись скулы и бородка. Может быть, и кончен разговор. Но человек встряхнул еще густыми сивыми волосами, отмахнул дым и повторил снова:

— На червонцы те хватало охотников. Болтать да копать. Да беда, вишь, кака — кладов не нашли! А не было их — так и не нашли.

— Наверно, не было,— на этот раз решительно поддакнул я.

— Рассуждать, говорю, надо. В лесах наших бывали? Отъезжай чуток — стена стеной леса. Просеки в них — откуда? Повалил кто будто стену, дорогу проложил. А кому вроде валить? Заводских стариков спроси. Ермак прошел. Ермаковы просеки в лесах. Вплоть до нашего места доходил. И, конечно, велел богатство подземное спробовать, накопать. Богатство нашей земли, а не монеты с царским лицом. Слышь? После в пещеру сложил. Зачем? А как знак. Это, понимайте, цвет земной. Видимо, для всех зацветет земля, когда станет вольной. И пусть будет знак, что завладает народ землей. Пугачев еще, говорят, ходил в ту пещеру. А то — червонцы! Каки червонцы...

Старик, сидящий передо мной, был «ямского роду». Два века его деды и прадеды гоняли тройки сибирским путем — по Каме, Вишере, Лозьве и Тавде, через Чердынь и Югорские горы. Сам он раньше тоже был ямщиком, теперь служил возчиком на комбинате.

Я слушал его, гармонь заливалась то ухарски, то тоскливо, а за окнами огромное, вполнеба, полыхало ночное зарево Березников. Там, за разреженной тайгой, в шести или восьми километрах, сиял, горел и переливался огненный город. Между корпусами вздымались пылающие колонны, скрещивались аллеи пламенных цветов на тонких стеблях; в искристых струях, сыпля звездами, плыл гигантский корабль ТЭЦ.

И свет далекого города был так ярок, что можно было бы читать, не зажигая огня.

2

Тому, кто видел Урал, уже не забыть его.

Косой дождь где-нибудь на Горнозаводской, лес на горах, высокий, частый, ровный, стоящий на страже; станции, внезапно расцветающие во тьме; огнистые россыпи заводов — как созвездия драгоценных каменьев. Города-заводы. Улицы с нежданными кремнистыми обнажениями, золото, найденное невзначай в городском парке. Безлюдное молчание дымчатых кряжей в темной шерсти лесов. Синеватые озера в ожерельях высоковольтных энергетических колец. Вздыбленная земля, словно наново вышедшая из гигантского творила, извергнувшая свои недра горами и отвалами выработанной породы. Народ, неутомимый в труде, мудрый, бесстрашный, своеобычный во всем, потомственные рабочие, горняки, горщики, равных которым нет в мире. Люди золотых рук и сердца, открытого для созданной ими же, ни на какую другую не похожей высокой поэзии этой земли. Говор глуховатый, с непривычной для чужого слуха акцентировкой фраз, с усечениями и стяжёниями слогов...

Уже полюбив эту землю, уже исколесив, избродивши ее, уже ожидая от нее всего, все же еще не знаешь ее, не представляешь истинной меры сокровищ, хранимых ею. Не ходячее, пустое слово «суровое» надо прилагать к тому, что метко называют здесь «цветением земли»!

И на этой земле, от Мугоджар до северных тундр, не угасла память о казацком атамане Ермаке. Коренные уральцы горды не только родством по духу с ним и удальцами его, но и родством по плоти. Мне рассказывали о потомственных пролетарских семьях, в которых сотни лет передавалась память о фантастическом, ни в каких кни-

гах не записанном «дворянстве», будто бы пожалованном их предкам Ермаком. Здесь нерушимо уверены, что и Ермак был своим, уральцем. Во многих местах укажут Ермакову гору. Сокровища же Ермака сокрыты по всему Уралу. Они закопаны, они положены в пещеры; в тайниках стоят Ермаковы ладьи с казной.

Иногда это, как осмыслил очень по-своему мой березниковский знакомец, «каменья». Но чаще все-таки золото.

Почему связано оно с казачьим богатырем? Просто ли это сказания о разбойничьих кладах? Нет. Не раз услышишь убежденное: «А когда Ермак приходил, тогда золото впервой и открылось». Сама земля открывала людям свой дар, когда по ней проходил Ермак!

О многих сказаниях услышал я от П. П. Бажова, человека поразительных, неповторимых знаний, чуткого, любовного внимания ко всему, что связано с родным ему Уралом, его людьми, историей их и трудом; писателя, чье несравненное мастерство открыло целый мир,— не каждому и среди больших писателей дается это? В том дивном мире, с его любовью и ненавистью, страстной молодостью, мудрой старостью, сказкой и былью, красотой земли и прекрасным мастерством человека, живет народная правда об Урале, претворенная в нетленную правду искусства.

В 1945 году в маленьком домике на окраине Свердловска Бажов сказал мне между прочим:

— Стоит крепостца Курбского,— знают, что есть такая крепостца, а имени нет, забыто. А об Ермаке — кругом...

Особо, отлично ото всех запомнили тут волжского атамана, всего-то пробывшего с казаками своими на пермской земле два года с небольшим, а затем поплывшего по уральским и сибирским рекам в неведомые, темными вымыслами повитые края...

Тракт Тюмень — Тобольск сейчас идет вдоль этого водного пути, некогда проложенного казачьей ратью в сердце Кучумова ханства. И на этом тракте история перестает быть книжным рассказом. Тут живы названия, отмечавшие славные по летописям места боев — юрты Кашкаринские, Варваринские, Бабасанские; живы и те названия, которые давал сам Ермак и его сподвижники: Долгий яр, Березовый яр, село Караульноярское...

В Тюменском музее хранятся две пушечки. На них различимы надписи старинной вязью. И местные жители неколебимо уверены, что это, конечно, пушечки Ермака.

Фольклор о Ермаке записан скудно. Собирателей ждут важнейшие находки — за ними незачем даже отправляться куда-нибудь в глушь. Но замечательно и записанное. Оно показывает, что не только на Ермаковых тропах, но чуть не на всем пространстве нашей Родины народ помнит о казачьем атамане. И это не книжная, а живая память. О «взятии Сибири» создан былинный эпос. Больше того, казаку, жившему четыре века назад, народ прибавил — случай беспримерный — полтысячи лет жизни и ввел его в свои исконные богатырские песни. «Ермак стал,— удостоверяет знаменитый сборник песен Киреевского,— любимым лицом песнетворчества и перенесен почти во все старшие былины». Вот он едет на коне:

Поскоки его были по пяти-то верст,
Из-под копыт конь выметывал
Сырой земли по сенной копне...

Он — племянник самого Ильи Муромца. Вместе с Ильей служит Ермак в Киеве у Владимира. Вместе обороняют они русскую землю от Мамаева нашествия.

А если от старших былин перейдем к историческим песням о казачьем атамане, то тут новая, на первый взгляд неожиданная черта. Упорно, из песни в песню, сопровождают Ермака два заступника народных — Разин и Пугачев. Вместе гуляют они по Волге, по Каме, по Приазовью.

Туго пришлось Грозному под Казанью — сходятся Ермак, Степан Разин и боярин Никита Романович [1], подошел к ним и Емельян Пугачев.

Они думали-гадали думу крепкую,
Думу крепкую заединую: [2]
«Мы Астрахань-городочек пройдем с вечера,
А Саратов-городочек на белой заре,
А Самаре-городочку мы поклонимся,
В Жигулевских горах остановимся,
Шатрики раскинем шелковые,
Приколочки поставим дубовые.
Сядемте, братцы, позавтравкаемте,
По рюмочке мы выпьем — поздравствуем,
По другой мы выпьем — песнь запоем,
Погуляем да в путь пойдем
Под Казань-городок!»

---

[1] Захарьин, брат царицы Анастасии, первой, любимой жены Грозного.

[2] То есть как один человек, общую думу.

И даже судьбами обмениваются. Замещают друг друга в целых эпизодах и, уступая свою долю, берут на себя долю другого. По Ермакову пути, по Каме, плывет Стенька. Кручинится казак в азовском плену, и казак этот — то Разин, то Ермак; в памяти народной судьба Ермака особенно тесно свита, сплетена с судьбой Разина.

Что же это? «Завоеватель» — и вожак голытьбы, борец за правду народную, о котором говорили: «Стенька — это му́ка мирская...»

Вот песня о том, как Ермак повыбил из царских палат бояр. А сам остался там — «в беде сидит, бедой крутит».

Вслушиваемся еще и в такую песню: предводитель «разбойничков» встречает вышедших против него солдат и говорит им странное слово.

«Почто вы, солдаты хорошие,— спрашивает он,— почто с нами деретесь? Корысть ли от нас получите?»

Кто же «мы»? Это «мы», так не похожее на разбойничье?!

3

Почти четыре века тому назад, в царствование Ивана Грозного, совершилось событие огромной исторической важности. Казачье войско уничтожило в сибирских землях власть хана Кучума, который считал себя потомком Чингисхана, и открыло русскому народу путь на Восток. Людей в том войске недостало бы и на один нынешний полк, а вел их атаман Ермак.

Вот этот гигантских скачок, которым народ наш, перемахнув через Уральский хребет, вышел на бескрайний простор, и остался связанным с именем Ермака. Поразительно было все, что сопровождало это событие и последовало за ним. Полтысячи храбрецов сокрушили целое ханство. Русские люди пошли мерить немереные пространства. И уже полвека спустя казак Иван Москвитин услышал прибой Тунгусского моря, позднее названного Охотским. Россия стала страной, равной которой не бывало на земле.

Это был беспримерный исторический подвиг. Полвека, чтобы пройти вдоль гигантского азиатского материка! Вспомним, сколько добирались «пионеры» Нового Света до своего Дальнего Запада...

Кто же был зачинатель дела, Ермак, чей поход открыл в сущности новый мир, неизвестный материк, более обширный, чем Америка?

«Средний интеллигент» царской России имел о Ермаке весьма туманное представление.

Я вспоминаю свои гимназические годы. Картинка в какой-то хрестоматии: исполин в тяжелых доспехах кидается во вспененные волны. В учебнике русского синтаксиса я прочел стихотворение, автора которого не знаю до сих пор:

За Уральским хребтом, за рекой Иртышом,
На далеких отрогах Алтая
Стоит холм, и на нем под кедровым шатром
Есть могила, совсем забытая...

И дальше рассказывалось, что ни зверь, ни птица не приближается к волшебной могиле, в которой лежит страшный и зачарованный мертвец.

А по страницам учебника истории Ермак проходил тих и светел, и от лат его распространялось сияние. Он никогда не ел скоромного, день начинал молитвой, и победы были дарованы чудесным путем добродетельным его казакам. Скорее всего он походил на одного из тех тощих и желтоликих святителей, у которых от непрестанных бдений высохла кровь, и они стали прозрачными, как восковая бумага.

«Русский Кортес! Русский Пизарро!» — кричали ура-патриотические книжки, которые я прочитал уже позднее, после гимназии. Их сочинителям до смерти хотелось, чтобы Российская империя, как и прочие порядочные империи, завоевывала «дикие» земли, жгла и резала дикарей, захватывала колонии.

И вся эта лживая литература ничего не могла рассказать о подлинном Ермаке, сбросившем Кучума.

В весьма небольшой степени исправляла дело история, опирающаяся на документы. Слишком были скудны эти дошедшие до нас документы о легендарном казацком вожде. В них намечен только пунктир событий.

Слишком редок и притом противоречив был этот пунктир. Он допускал самые несходные и даже противоположные оценки личности Ермака и его дела. И находились историки, которые выносили приговор: да что ж, случайная фигура, вскинутая на гребень исторической волны, обычный наймит-покрученник Строгановых.

Правда ли это? Могло ли так быть?

Есть какое-то оскорбление чувства исторической справедливости в подобных толкованиях. И чересчур невероятен разрыв между огромностью событий и лилипутским ростом (как думали такие историки) людей, чьими руками вершились эти события.

Никогда дело великого значения не может быть сделано ничтожными или презренными руками: это знание несомненно для нас.

И возможно ли, чтобы народ *четыре века* носился с кондотьером, наймитом, случайным подкидышем славы?! Поверить в это так же трудно, как в существование прекрасного здания, утвержденного на острие иглы.

4

Да, навряд ли найдется другое имя, которое глушил бы такой густой бурьян выдумок и небылиц, заволакивала бы такая мгла разноречий и баснословий, какой плотно окутано имя Ермака.

Начало жизни его неизвестно; конец тонет в тумане легенд. Только четыре-пять лет (от прихода к Строгановым до гибели на Вагае) вырваны резким светом из тьмы.

Даже самое имя — Ермак. Что такое Ермак? В святцах нет такого.

Высказывали предположение, что это Ермил, Ермолай, Еремей или даже Герман. Но не Ермил, не Ермолай, не Еремей и не Герман, а именно странное, нехристианское Ермак стояло в самом первом по времени и притом церковном известии — поминальном «Синодике», который составил в 1621 (или 1622) году, по свежей еще памяти и по словам живых Ермаковых соратников, Киприан, ученый, архиепископ сибирский.

Ермак на волжском жаргоне — ручной жернов или артельный таган (котел); так звали и артельных поваров-кашеваров. Вот и пришлось в церквах несколько веков петь «вечную память» языческому Ермаку — ватажному котлу, ручному жернову или повару.

Тем удивительнее это, что у всех Ермаковых атаманов-помощников мы знаем настоящие имена. Только для самого Ермака никому не удалось с достоверностью отыскать другое имя... Существует, правда, мнение (оно внесено и в одну из сибирских летописей, так называемую

Черепановскую, только в самую позднюю из них), что по-настоящему звали Ермака Василием Тимофеевичем Алениным. Краеведы-уральцы даже уверены в этом: Аленин был пермский человек. Но прямых доказательств этому нет.

Так что же разглядим мы в сумраке стародавнего, потрясенного времени? Надо внимательнее смотреть. Терпеливо сопоставлять известия. Подмечать штрихи и черты, мимо которых, может быть, скользнет торопливый взор.

И тогда перед нами выступят контуры человеческой судьбы. Какой судьбы? Это большая судьба, не рядовая, поражающая. Проступят ее необщие черты, и мы убедимся в правоте народа-песнетворца, свидетеля и судьи. В дальнем отдалении возникает перед нами живой образ Ермака.

5

Он был среднего или невысокого роста, плечист, плосколиц, с кудрявыми волосами — сохранены свидетельства о его внешнем виде. Особо отмечены смелость его и необычный дар слова, способность убеждать — «велеречие». Был он во время сибирского похода не стар («чернобород»), вероятно лет сорока — сорока пяти; большая жизнь к этому времени была уже прожита им.

Что было в этой жизни? Видимо, немало дорог избродил он на Руси. Есть намеки и на службу его в войсках Грозного на Ливонской войне. Уже упоминалось, что предания, упорно бытующие на Урале (поддержанные в последнее время некоторыми исследователями истории пермской земли), выводят его из работных людей строгановских вотчин. Трудно в самом деле иначе объяснить необычный, беспримерный с точки зрения обычаев волжской вольницы и уже вовсе невероятный для коренного донца путь на Каму, избранный Ермаком, когда донеслась весть о движении рати Ивана Мурашкина.

Вряд ли он был «вековечным» казаком: скорее мы должны искать его в числе тех, кто попадал на вольную реку, потому что «Доном от всех бед освобождаются», а бед этих — сам вдосталь хлебнул; в числе тех искателей правды и доли, каких много тогда бродило по широкой Руси.

Почти нет сомнений, что он пришел еще через одну

школу военного воспитания: был участником донской обороны очень тяжелого для Руси 1569 года, когда к неудачам Ливонской войны присоединилась грозная опасность на юге и все казачество поднялось на борьбу против полчищ султана Селима и крымского хана Девлет-Гирея, подступивших к Астрахани и угрожавших самому существованию русского юга.

По крайней мере, сразу после этой войны Ермак — уже атаман; а ведь надо было время, чтобы выслужить это звание.

В атаманстве своем он не примкнул к домовитой и покорной казацкой старшине, но возглавил бездольную голытьбу; ее-то и повел он на Волгу, на «гульбу».

Русские песни, русские сказки, память народная ясно подтверждают то, что известно историкам: нельзя ставить никакого знака равенства между эпическим «разбоем» Древней Руси и простым уголовничеством. То было явление особой и сложной социальной природы и функции: в нем был общественный протест. Поисками простора — для себя и для голытьбы — была эта волжская «гульба» Ермака. Народ-песнетворец не ошибся: то был и путь Степана Разина.

И вот после этого будто бы начисто сломлено все, чем был жив до сих пор,— смиренная дорога на Каму, дорога в наймиты к купцам, к Строгановым! И добро бы сам — всю Волгу увел с собой. Как поверить этому? Как понять?

Присмотримся же к центральному узлу драмы — к отношениям между властелинами далекой Перми и казачьим атаманом. Нам не хватает точных дат, даже в годах путаница.

Но, сопоставляя события, приходится сделать вывод, что непросты эти отношения.

Прибыв поздней осенью на Каму, казаки зазимовали где-то на острове. Зиму и весну они прожили там, не входя в Чусовской городок. Очевидно, разведывали, испытывали. И только летом, в «день Кира и Иоанна» (28 июня), состоялось торжественное вступление Ермака в Чусовую.

Было ли все гладко и в дальнейшей службе Строгановым, было ли безропотное и немудрящее выполнение их начертаний? Будем держаться той нити, которую удалось отпутать от клубка смутного и неясного. По-видимому, Ермак дважды отплывал в Сибирь. Первая попытка

(в 1580 году) была самовольной: казаки отплыли, не спросясь, даже не сказавшись Строгановым. В Сибирь не пробились, «обмишенились», выдержали голодную зимовку на Сылве, но по весне опять не стали торопиться к «хозяевам»: еще на Николу вешнего (9 мая) Ермак освящал часовню в заложенном им новом — уже в незнаемых, «леших» местах — Сылвенском городке. Затем снова три последних месяца у Строгановых — и второе, окончательное отплытие в Сибирь. Снаряжали Строгановы и даже «кабалы» взяли за все данное казакам, но перед тем Ермак послал к Строгановым Ивана Кольца, и тот «приступиша гызом». Что такое «гызом», знатоки старинных говоров гадают, но было это нечто до того неприятное, что Максим Строганов отворил амбары и отдал казакам все, что они сами потребовали. А казачьи «кабалы» Строгановым, очевидно, так и пришлось положить на вечное хранение вместе с семейными реликвиями...

Тут не отношения хозяина с покрученником, но обоюдная *игра:* выиграли ее не Строгановы.

Заметив это, мы лучше поймем и невероятное: уход с Волги на Каму. А что было в этом невероятное, видно из того, что стольник Мурашкин на Жигулях начисто потерял след казаков, хотя во что бы то ни стало ему надо было этот след отыскать. Когда через три года из доноса нового чердынского воеводы Пелепелицына (Перепелицына) Москва узнала, где они, на Каму немедленно полетела грамота с черой печатью. Из этой опальной грамоты царя Ивана ясно, как серьезно он отнесся к появлению в Перми вольницы...

Итак: не было слома, зачеркивания всей предыдущей жизни. Строгановы зазывали, но может быть, потому и зазывали, что знали в Ермаке «своего», пермяка. Он же пошел по дороге, возможно, известной ему, но пошел, имея в виду свои особые цели. Линия жизни не ломалась: она продолжалась. И не было ли тут очень смелого, очень далекого загада? Новых поисков такого простора (раз тесно стало на Волге, как до того тесно стало на Дону), куда не дотянется уж никакая воеводская рука? Строгановы подали мысль о Сибири, но не для них он повел туда казаков.

Зыбко и неясно различаем мы многое в тех давно отгремевших событиях. И многое гадательно — вот оговорка, о которой нельзя забывать.

Навряд с теми ничтожными силами, с какими шел Ер-

мак, мог он наперед ставить задачу завоевать целое ханство.

Возможно, что речь шла о набеге или о том, чтобы зацепиться за край нетронутой шири за горами. Но была властная закономерность в самом походе, и цели его — внешние и внутренние — изменялись в ходе жестокой борьбы.

Пусть вначале они были очень частными, как бы даже личными. Думаем, однако, что и тогда это не было только набегом ради наживы. Поиски простора — более верное слово. Ермак увел пятьсот с небольшим казаков. Он не поднял народных пластов, как то вскоре сделает Болотников и восемьдесят лет спустя Степан Разин.

Как в песне, где Ермак никого не позвал на место распуганных бояр в царские палаты, то был стихийный бунт еще только разгоравшейся богатырской крови.

Не этим была значительна судьба Ермака, а тем, что она переросла это — и как переросла!..

Дело в том, что дорога, на которую вступил Ермак, была дорогой, отвечавшей исконной тяге, а в Иванов век — и властной необходимости для Русского государства. Эту дорогу проторяла новгородская вольница; ее избрали те, кто обжил Пермь Великую — Урал, откуда уже не одна нить протянулась к стране «за Камнем»; поморы ходили в устье Оби: то были русские места. Была народная и государственная неодолимая нужда в этом русском пути на Восток.

И, ступив на этот путь, Ермак должен был сделать дело не свое, а народное и государственное.

Только «должен» не означает тут автоматизма: труд безмерно более тяжкий, затрата силы несравнимая требовалась для народного дела. То была беспощадная историческая проверка: способен ли на такой труд, найдется ли сила? Иначе история смела бы без следа и самую память о Ермаке, как о сотнях других, искавших только «своего».

6

Чем был сибирский поход в военном отношении? Ничтожность сил и поразительность результатов сделали его мифическим уже в глазах современников.

Лоскутное Сибирское ханство стало сильнее всего именно при хане Кучуме, сбросившем прежнюю династию

тайбуги. У татар не было огнестрельного оружия; но не надо преувеличивать значение и казачьих пушек с пищалями. Били они недалеко и не метко, приходилось здорово повозиться, пока зарядишь и выстрелишь. Стрелы больших луков летели не намного ближе и пробивали доски. Разрывных снарядов, бомб у казаков не было. А с «огненным громом» татары уже сталкивались раньше. Воевода Лыченицын бежал, кинув свои пушки после стычки с Махметкулом (племянником Кучума), две казанские пушки были, видимо, у Кучума.

И вот, когда мы следим за этим походом, перед нами опять проступают необщие черты атамана Ермака.

Это черты вождя и организатора. За ним шли беспрекословно. Уже на Волге он возвысился над другими атаманами вольницы, и так, как никто не возвышался до него. Он стал главой всех «повольников», сильным настолько, что дерзновенно наметил путь, которым десятилетия спустя прошел Разин (опять перекрест судеб!): собрался «в Кизилбаши» — походом на Персию. А потом, как мы знаем, сумел увлечь за собой почти всю буйную, непокорную вольницу на неведомый ей Север. Дважды в сибирском походе заколебалось казачье войско: у Тавды, возле последней дороги на родину, и на Иртыше, когда казалось безумием штурмовать Кучумовы твердыни в сердце ханства. Он справился с этими колебаниями. Он верил в свое дело, знал, куда вел, и зажигал других своей верой.

Но он был суров во время страшной зимовки на Сылве. Тогда он поставил на страже лагеря «донской закон»: только в жестокой дисциплине, в предельной организованности оставался шанс спасти войско, дожить до весны. Он добился этой организованности, отсекая, казня себялюбивых и слабых, кто подрывал ее и губил войско. И повторил это зимой 1584—1585 годов, когда ему тоже удалось сберечь своих казаков, а значительная часть стрельцов с приведшим их князем Болховским погибла.

Спаянной, крепкой, с одной волей должна быть эта казачья рать, частица Руси, далеко залетевшая. Ермак выпестовывал эту спаянность мерами, необычными в среде вольницы. Не как главарь набега за добычей вел эту войну с ханом, называвшим себя потомком Чингиса. То были русские ратные обычаи. Может быть, перенял он их еще в военной «школе» своей, в войсках Грозного. И еще усилил перенятое. В этом смысл сорокадневного поста —

испытания нуждой,— наложенного им на казаков в городе Карачине, где еще были припасы, не грозил голод. Так начиная с сылвенской зимовки совершалось превращение гулевой ватаги в русское войско.

Не все мы можем восстановить в обстановке боев сибирского похода. То не были бои на равных. Они шли подчас при большом численном перевесе у противника. Часто наивны дошедшие до нас рассказы. Но характерно, что победу ни в одном почти бою летописцы не приписывают одной храбрости, а пытаются вспомнить, каким полководческим приемом Ермак добился ее. И нет сомнения, истинны те особенности и черты Ермака-полководца, которые согласно вытекают из описаний всех боев. Это железная воля, поражающая врага неожиданность тактических решений, дерзкая смелость в выполнении их, находчивость, умение применить новую военную хитрость в каждом бою.

При Акцибар-калла, как можно представить себе, ничего не дал обстрел укреплений, и Ермак малым войском атаковал в лоб, пустив бо́льшую часть в обход. На Тоболе, по рассказу летописца, «хворостяное войско» — сделанные из хвороста, одетые в зипуны чучела,— ринулось в стругах на цепной бон (или, как тогда говорили, бом), которым Алышай перегородил реку, а настоящая казачья сила вся тем временем обошла врага. У Бабасанских юрт Ермак оборотил в свою пользу хитрость Махметкула, уже заманившего казаков прочь от воды... И на Иртыше — там поредевшая, колеблющаяся казачья рать открыто пересекла реку и ударила на все войско ханства, неприступно укрепившееся на отвесном высоком берегу,— не просто ударила (что было бы бессмысленным безумием), а с точным, смелым и тактическим и политическим расчетом. Наконец, может быть, самое дерзновенное — весной 1585 года: отчаянный тайный ночной бросок всего войска из осажденного города, бросок, направленный не на кольцо осаждающих, а на жизненный нерв их, на ставку вражеского военачальника («думчего» Кучума — карачи) далеко в тылу; тогда, выжидая результатов этого броска, Ермак остался с горсткой храбрецов в беззащитом городе — лицом к лицу со всеми осаждающими.

И вот еще: не битва, но то, что было потруднее иной битвы. Долгий яр, где татарская конница, не боясь больше «огненного боя», тучей нависла над рекой на длинном

береговом гребне. Ермак проплыл тут с развернутыми знаменами, под звуки труб, запретив бесполезно тратить порох,— и летописец убежден, что только сверхъестественные силы оберегли струги от губительного ливня стрел.

7

Была и «жесточь» — что скрывать? — в этих битвах, в этих схватках не на жизнь, а на смерть, в этом единоборстве тающей горстки бесстрашных с военной силой целого ханства, не растерявшей еще вековых, идущих от Чингиса традиций набегов и истреблений. Не это поражает нас в истории «взятия Сибири» — ведь шел шестнадцатый век! — а то, что было в ней и нечто прямо противоположное.

Два года без всякой помощи извне оставался Ермак в Сибири. Едва ли больше трех сотен уцелело казаков. Легче легкого было бы смять, истребить русских, тем более что был жив Кучум, и воины у него были, и зеленый значок его звал к «священной войне» городки и поселения. А русские ездили по пять, по шесть человек и все расширяли свои земли. Десяток казаков присоединял целое новое княжество,— это тоже у летописцев называется походом, хотя ни одной жертвы в таких походах не было. Товарищи-побратимы отправлялись куда-нибудь ополночь и делали русскими области величиной с доброе европейское королевство. «Сбитый с куреня» Кучум выжигал татарские аулы за то, что они передались русским, сибирская земля больше не принимала его. Мурзы выдали Ермаку Махметкула. Татары вернулись к покинутым было очагам; они избрали новую жизнь, жизнь с русскими.

...Самое начало похода. Все решающее еще впереди. Смелым рейдом маленького отрядика в городишке Тархан-калла захвачен Кутугай, ханский приближенный, приехавший туда собирать дань. Его можно было уничтожить, выведав, что нужно,— сильным врагом меньше; можно было объявить пленником, заложником, использовать это с выгодой, поставив условия хану. Все это было в обычаях времени. Ермак поступил неслыханно: принял с почти льстивым почетом, захвалил, заставил развязать язык и проводил со щедрыми дарами, безо всяких условий, но

вовсе сбив с толку и хитрого мурзу, да, видимо, на некоторое время и самого хана!

Ровен рассказ летописца. Но, читая, мы догадываемся, как хохотал суровый «батька» с атаманами — помощниками своими — или по малой мере усмехнулся в бороду после того как, склонясь до земли, выпроводил безмерно зачванившегося (а только что смертельно испуганного) Кутугая! Было, наверно, немало крепкого, народного юмора в страстной душе казацкого вождя!

Его хитрость, по летописям,— это всегда быстрая, чуть лукавая находчивость. Махметкул заманил его прочь от воды у Бабасанских юрт, он не спохватился вовремя, попался. Что же, он велит вырыть «окоп». Когда ударила скрытая татарская конница, казаки дали залп, «исчезли» под землей и тотчас еще второй залп вслед перемахнувшим коням. В реке Серебрянке мало воды — он велит перегораживать ее парусами, и струги шли по живым шлюзам.

Конечно, это тот самый человек, другим свойством которого была «велеречивость»,— один и тот же человек. Да он и был велеречив с Кутугаем — еще как!

По-видимому, он обладал незаурядным политическим разумом и тактом. Он поддержал тюменских «стариков»; не тронул тархана, владетеля городка, где был захвачен сборщик дани. А в решающий час у Чувашева мыса, на Иртыше, повел бой, пересекши реку, и скоро лоскутное войско хана распалось, князья остяков и вогулов увели своих людей,— так оправдался тактический и политический расчет Ермака.

А без всего этого, без таких необычайных черт похода, без этих качеств, вовсе неожиданных у вожака вольницы, голой саблей и нельзя было бы взять Кучумово ханство. Это было тоже необходимое условие сибирской победы.

Уже победителем и по отношению к побежденным (с которыми тогда не чинились) он вновь и вновь повторял случай с Кутугаем. Через несколько дней, после занятия столицы ханства, он, принимая остяцких князей, посадил их около себя.

Последний поход 1585 года. Три года казаки одни в Сибири. Под зиму 1584 года князь Болховской привел было подмогу, но и самого его, и значительную часть стрельцов уже зарыли в мерзлую землю. По-прежнему один «князь Сибирский» — Ермак. И вокруг него — почти

никого из прежних помощников. Кто сложил голову, кто в Москве — отвозит пленных. Новой подмоги не будет. Оживились надежды хана, мурзаков и их сторонников. Но больше не могло быть речи об открытых боях. Значит, остается из-за угла, поодиночке, в предательских засадах уничтожать русских, благо они не берегутся. Ивана Кольца, второго после Ермака, посла к Грозному, ближний Кучума — «карача» — вызвал «на помощь» (характерно это «на помощь»!) и убил. Убит атаман Михайлов. Но только еще через несколько месяцев, когда обессилила русских страшная зима, решился карача поднять таившихся до того приспешников своих и ханских, попрежнему владевших в Сибири городишками. И все же — хоть и застигнутых врасплох— не удалось перебить русских. Ермак выдержал еще три месяца осады вдобавок ко всем месяцам бесконечной зимы. И потом сбросил осаждающих. Быстрым, грозным, беспощадным был атаман в этом последнем своем походе. Он вычесывал из Сибири пособников хана и мурзаков. Он дошел до Тары, где кочевали туралинцы. И тут он не только не принял у нищих людей скудных даров, но вовсе освободил их от ясака, какой они платили раньше.

Пусть, как сквозь туман, сумрачным и будто высеченным из камня видится нам образ Ермака. Но такой и подобные факты внезапным теплым светом освещают этот образ.

8

В нем не было ничего от Лихача Кудрявича. Это может огорчить ищущих во что бы то ни стало в народных героях нашей старины разудалых добрых молодцев. Рядом с тем, о чем сказано выше, какая-то неизменная основательная домовитость проходит через всю его жизнь. Уже на Волге, сколько можно судить, он пытался завести свой обиход. И стоит перечесть список затребованного казаками у Строгановых — в поход собирался заботливый хозяин. А самое время выступления и маршрут тоже выбраны неспроста, а так, чтобы попасть в места, где есть пашня, и подгадать туда к обмолоту. То были хорошо усвоенные уроки сылвенской зимовки!

На воинском своем пути он строил городки. Мы узнаем о нем как об устроителе краев. Он разведывал недра. Заводил пашни.

Так велика у летописцев вера в то, будто все сделанное в Сибири человеческими руками сделано Ермаком, что они приписывают ему и «перекопь» (конечно, на самом деле простой проток), которая сокращала путь плывущим по речной луке возле устья Вагая, огибая островок — последнее, роковое пристанище Ермака.

Знаменателен предлог, с помощью которого удалось заманить в засаду казачьего вождя. «Бухарские купцы, которых ты ждешь, стоят у порога твоей земли, но Кучум заступил им дорогу...» И он кинулся с полусотней на выручку. Он зазывал купцов из Бухары! Здесь, в Сибири, они должны были встречаться с русскими гостями. Тут должен был пролечь кратчайший путь с Руси к сказочным богатствам Востока, мечта о которых сводила с ума голландских мореходов и джентльменов лондонского Сити. Вот о каком будущем для вчера еще дикого места думал недавний атаман голытьбы. То была государственная мудрость. Можно предполагать, что школой, откуда он вынес ее, оказалась вся его жизнь: исхоженные просторы великой страны, ратные поля у Балтики, у «моря праотич наших», косматый, могучий, пушной и соляной Урал, синее, песенное раздолье Юга, великая дорога Волги — все то, что слилось в одном имени родины — Руси.

9

И вот, вдумавшись во все это, мы поймем сибирский поход. Мы поймем, почему немедленно после победы, никем не понуждаемый и дальше всего, казалось бы, ушедший от властной руки Москвы, атаман вольницы бил челом Сибирью Москве, Грозному.

Еще раз скажем: дело, начатое как казачье, оказалось общерусским и вне этого не имело смысла. Казачий вождь искал простора на дороге, по которой уже неудержимо стремилась сила могуче крепнувшего государства. И мечта Строгановых, и расцвет вольной «златокипящей Мангазеи» на Тазе-реке, за Обью, и хождение на Югру, и та дань, которую платили уже царю Ивану последние князья рода тайбуги, и самый поход Ермака — всем этим по-разному, но выражалось это непобедимое стремление. Восточный простор был необходимым дополнением западного, в тяжкой борьбе за который провел жизнь Грозный.

Но должна была быть незаурядной голова того, кто в совсем непростой, многосторонней игре, какая велась вокруг сибирского похода, сумел возвыситься — за этими тридевятью землями — от мыслей и целей личных и окольных до мысли государственной. И открыто принял эту мысль, когда менее зоркий еще и не разглядел бы ее, принял как итог всей своей жизни.

Тут, в этой кульминационной точке, мы заглядываем как бы в самый смысл этой жизни. И, как в озарении, открывается нам то, что дало ей власть победить смерть и — в народном песенном творчестве — преодолеть четырехвековую даль...

Известно, как Грозный принял посольство с Иртыша: трезвоном московских колоколов. И любопытный штрих: по преданию, провозгласил Ермака «князем Сибирским».

Когда Болховской вел в Сибирь испрошенную Ермаком стрелецкую подмогу, в том же 1584 году, на Каму, к великопермским вотчинникам Строгановым, полетела новая грамота. В ней весьма неласково, опять под угрозой опалы, приказывалось им снарядить для плавания в Сибирь пятнадцать стругов. Так не разговаривают с теми, кто только что принес радость и праздник всей земле. На мой слух, по крайней мере, эта грамота — надгробное слово над мифом о Строгановых — крестных отцах русской Сибири.

Но подчеркиваю и оговариваюсь: на мой слух. Слишком густ туман, скрывающий обстоятельства «взятия Сибири», зыбки очертания того, что видится в этом тумане...

Вот недавно была вновь воскрешена и прежде известная версия о долгом походе Ермака (с 1578 года), о нескольких зимовках на пути; дважды ездил Кольцо — из Карачина-городка, где было многомесячное стояние, к Максиму Строганову за подмогой; и уж потом, второй раз, опять к Строгановым, с известием о сибирском взятии, и они от себя направили его к царю, чтобы оправдаться...

Можно бы спросить, насколько удачен был выбор именно Кольца для посылки именно к тому Максиму Строганову, к которому он, Кольцо, «приступаша гызом». Не проще ли было, раз уж так, послать кого другого?

И разве мыслимо, чтобы Строгановы, желая оповестить царя (*такого* царя!) о своих великих заслугах, ограничились пересылкой «рикошетом» кучки «воровских ка-

заков», а не поехали сами, хотя бы вместе с ними, хотя бы кто-нибудь из Строгановых, как всегда езжали раньше, при прежних челобитных!

Дело-то шло о сокрушении целого ханства, о Сибири!

Ни из чего не видно, чтобы имя Строгановых называлось во время торжеств в Москве, когда Ермак получил «дар царя» и «князя Сибирского».

Ни из чего не видно, что Строгановым досталась доля в сибирских делах и богатствах — чтобы хотя вспомянули о не такой уж старой (1574 г.) жалованной грамоте на «Тахчеи, и Тобол, и Обь-реку с Иртышом»; она так и осталась «не в грамоту».

А Сибирь с самого начала стала управляться русским государственным порядком — *мимо* Строгановых.

Высказано мнение, что Ермак дважды ходил с Волги в Усолья и привел полуторатысячную дружину; что зазывали Семен с Максимом Строгановы, Никита же был против; что в Москву ездил от казаков вовсе не Кольцо; что Пан сыграл чуть не главную роль в победе под Чувашевым; что никакого Пана не было.

Поистине о событии, после которого не минуло и четырех веков, судим менее уверенно, чем о походах Александра Македонского, за две тысячи лет до того!

Но мы живем в такое время, когда в области любой науки раскрываются тайны, о которых твердили: «Не знаем и никогда не узнаем».

Вот, например, видимо, выясняется наконец точное место погребения Ермака.

А в самое последнее время Р. Г. Скрынников предпринял, можно сказать, коренной пересмотр «сибирского взятия». Поход едва двухмесячный и начался годом позже. Резко отличный, служилый путь вождя дружины. Другой гонец в Москву — Иван Александров Черкас. Другие имена среди ближних...

10

Все летописцы считают нужным особо отметить храбрость Ермака. А ведь товарищи его были «в нуждах непокоримыми, к смерти бесстрашными». Он рисковал головой в первых рядах своего войска под Акцибар-калла, у Бабасанских юрт, под Чувашевым мысом, когда нужно было показать пример.

В нем была строгая внутренняя красота. Известны разгульные нравы вольницы. В песни вошла персидская княжна Степана Разина. Драматурги начала прошлого столетия в поте лица сочиняли любовные истории Ермака. Им пришлось нелегко: летописи и предания молчат о разгуле «князя Сибирского». Но вот сохраненное: в предсмертном, беспощадном своем походе он вошел в Тебенду. Елегай, княживший там, сам вывел к нему красавицу дочь. А он отверг живой дар. Мало того — оборотился к своим и пригрозил казнью тому, кто коснется девушки или чего-либо в городе.

Рыцарских романов он не читал, да мы и не знаем, был ли он грамотен (хотя в войске его были грамотеи). Но, крутой с другими, сам всех круче соблюдал неписаный закон казачьей службы. В этом законе для него были долг, и честь, и слава, и сила казачья.

Пленный и заласканный Кутугай, пленный, залитый предательски пролитой казачьей кровью Махметкул, с почестями отправленный в Москву,— мы видим, как умел смирять себя казачий вождь.

Меньше чем за год до смерти, тщетно дожидаясь Болховского, он предпринял поход навстречу ему, в Пелым, к крайним прежним пределам русской земли. И там, всегда осмотрительный, прождал, колеблясь, забыв об осторожности, почти до тех пор, пока стали смерзаться реки. Чего он ждал? Болховского? Его не надо было обязательно встречать, да он и приплыл в конце концов невредимо сам, никем не встреченный. Или тоска по родной земле погнала атамана к ее порогу и надолго удержала там? Может быть, и тут мы заглядываем в эту замкнутую от нас и никакой документальной исповеди не оставившую душу...

Гибель же его воочию показала, что он значил для тех, кого он вел.

Когда он погиб со своей полусотней, количественно тут не было ничего непоправимого: при нем войско выдерживало и не такие потери. Но теперь паника охватила и казаков и стрельцов в Сибири. Они бежали из страны, которую удерживали три года и где в сущности им никто непосредственно не угрожал. А ведь оставались еще атаман Мещеряк и голова регулярного стрелецкого войска Иван Глухов.

Но и еще одно выяснила его гибель: как органично и крепко построенное им.

Ничего не зачеркнуло это временное бегство. Колесо истории совершило оборот — его нельзя было повернуть назад. Сибирь уже стала русской. И уже безо всяких серьезных сражений и тягот довершили превращение ее в землю нашей Родины немногочисленные рати, присланные Москвой и ведо́мые даже не слишком смелыми и решительными воеводами.

Дорога на восточный простор была проложена. Больше она не могла зарасти.

Ермак не был «му́кой мирской», как Степан Тимофеевич Разин; конечно, его дорога не была и дорогой Пугачева. В разное время они жили, в разных условиях действовали. И черты сходства, подмеченные песнями, не заслоняют различия их дела.

Но не ошибся народ; народ никогда не ошибается в главном: в оценке великого в своей истории и основного смысла в делах тех, в ком он полагает воплощенной силу и правду свою и кого зовет своими богатырями.

Нет, не «случайна» фигура Ермака на памятнике Тысячелетия России в новгородском кремле, на древней русской площади, через которую, как смрадный дым, прошли — и нет их — фашистские полчища; не случайно Ермак стоит там, против Софии — храма, который был старым уже тогда, когда Александр Невский служил в нем молебен после победы над тевтонскими рыцарями.

11

Первым русским городом, выстроенным в Сибири, была Тюмень. Ее заложили через год после смерти Ермака. А еще через год в восемнадцати верстах от Кашлыка, против устья Тобола, письменный голова Данила Чулков заложил Тобольск, который надолго затем стал главным городом Сибири.

Русские несли с собой в Сибирь свой жизненный уклад, обстраивались хозяйственно и крепко. Зимовья на волоках или у речного устья обносили тыном из обтесанных кольев, строили города со стенами и башнями.

Как сбегут буйные весенние ручьи и первым щебетом наполнятся леса, двигались дальше. Сколотив кочеток или дощаник, распялив сырую шкуру вместо паруса, а то и просто сунув топоришко за пояс, вздев на плечи самопал и торбу с припасом, горьковатым от угольков костра,

шли и шли на восток, «встречь солнца», отыскивая новые, еще неведомые приволья. «Землепроходцами» метко назвали этих разведчиков неизведанных земель. Это было поразительное явление нашей истории, какого не знала больше ни одна страна. И были жизнь и дела землепроходцев героичнее и удивительней приключений воителей с последними могиканами, о которых рассказал Купер, и тех покорителей американского севера, влекомых «золотой лихорадкой», которых воспел Джек Лондон.

За соболями, за горностаями, за куньим и лисьим мехом шли в Сибирь промышленники. С луками, тенетами, западнями уходили с рек в лесные чащи. Зарубали деревья, чтобы не сбиться; в ямах зарывали прокорм на обратный путь. Охотились по приметам. Придумывали и свой особый разговор, где все называлось «другим словом», чтобы не спугнуть удачу: конь назывался долгохвостым, ворон — верховым, змея — худой, кошка — запеченкой.

Землю измеряли не верстами, а «днищами» (днями) переходов.

В 1609 году русские зазимовали на Енисее. В 1620 году мангазейский промышленник Пенда дошел до Лены.

В 1639 году с вершин Станового хребта, где мерзлый ветер крыл инеем черный камень, казак Иван Москвитин увидел спутанную гущу лесов Приморья. Он спустился по реке Улье. На изрезанном берегу белые венцы пены окружали обломки скал, раскиданные будто ударом гигантского молота. Живая гладь, седая, пустынно-свинцовая, сливалась с небом. То было Тунгусское море, позднее названное Охотским.

Так в пятьдесят восемь лет русские прошли из конца в конец весь материк. В сороковых годах семнадцатого века острожки появились на реках сибирского северовостока. И русские кочи проложили северный морской путь от Лены к Чукотке.

Вот рассказ, показывающий, какие люди ходили туда через шестьдесят лет после смерти легендарного казачьего атамана.

В 1649 году Тимофей Булдаков повез жалованье из Якутска на Колыму. Лето он плыл вниз по Лене и зимовал в Жиганске. На другой год к июню дошел до моря. Но прижимные ветры месяц держали его в устье. Только к концу августа, просекаясь сквозь льды, доплыл Булда-

ков до Святого Носа. Так назывался мыс между Яной и Индигиркой.

В море стояли большие льды. Начались *ночемержи* (ночные смерзания воды). Против устья реки Хромой пять кочей вмерзли в лед. Вместе со льдами их понесло в море, и земля скрылась.

Когда лед стал держать человека, казаки разошлись искать землю. Но нашли только вмерзший коч служилого человека Андрея Горелова. Шторм сломал лед и пять дней снова носил по морю кочи. Люди болели цингой. Началось торошение льда. Из помятых кочей вынесли запасы. Решили льдами идти на землю. Но Булдаков не хотел кинуть казну — порох, свинец и медное казачье жалованье. Их тоже понесли на себе. Кто взял по три фунта, кто по фунту, а сам Булдаков — сверх своей доли запасов — полпуда. Шли девять дней. Через разводья перетаскивали друг друга на веревках. На земле сделали нарты и лыжи. Так добрались до зимовья возле Индигирки. Но купец Стенька Ворыпаев попрятал свой запас — пудов пятьсот хлеба — и выкупил весь корм у туземцев, чтобы никто не мог накормить казаков. Люди Булдакова просили у купца хлеб в долг, давали на себя кабалы, скидали с себя одежду. И Ворыпаев смилостивился: продал немного муки по пять рублей за пуд. За эту баснословную по тем временам цену можно было построить пять городских башен.

Булдаков прожил на Индигирке до великого поста, кормясь корой и выпрошенной юколкой, мерзлой рыбой. А потом послал людей искать брошенные во льдах кочи, сам же пошел на Колыму через горы. Месяц шел до Алазейки. Ели кору. Почти у всех была цинга.

Но все-таки добрался до Колымы, принял у боярского сына Василья Власьева зимовье и выдал служилым людям жалованье за два года.

А за год до того как Булдаков вышел из Якутска, в 1648 году казак Семен Дежнев выплыл из устья Колымы. Был он родом из Великого Устюга, двадцать лет служил в Сибири и в сибирских боях выслужил девять ран.

В море за Колымой буря понесла коч Дежнева. Земля, тянувшаяся бесконечной грядой с запада на восток — от самого берега поморов и еще дальше, от тех западных стран, откуда приезжали к поморам купцы в бархатных камзолах,— внезапно оборвалась. Море повернуло на юг.

И уж не над скалами, а над волнами чертило солнце свою низкую дугу. Красная неширокая дорожка бежала по волнам к солнцу.

Ток воды, словно невидимая река, понес Дежнева по этому открывавшемуся морскому пути за солнцем, к югу.

Пройдя проливом, долгое время спустя названным (не очень справедливо) Беринговым, Дежнев сделал великое географическое открытие: доказал, что Азия не сливается с Американским материком.

А в это время другой устюжанин, Ерофей Хабаров, шел на четвертую великую азиатскую реку — Амур. Там уже побывали служилые люди Пояркова и принесли весть, что те места «подобны райским».

12

В 1660 году стрелецкий сотник Ульян Моисеев сын Ремезов ехал к тайше (князю) калмыков-хошотов Аблаю. С собою Ремезов вез кольчугу. Он передал ее Аблаю. Аблай поднял кольчугу над головой и поцеловал.

Это была кольчуга Ермака.

Аблай поведал Ремезову, что давно, еще мальчиком, он, тайша, заболел, ему дали проглотить земли с могилы Ермака, и он исцелился.

Сотник загостился у Аблая. Аблай много пересказал ему за это время: о дивных походах Ермака, о волшебствах, которые творило его мертвое тело, о похоронах атамана и о таинственных свойствах его одежды и оружия. Ремезов записал рассказы Аблая, и тайша поставил на записи свою печать.

У сотника был сын Семен. Он стал сибирским географом.

Уже в Петрово время Семен Ульянов Ремезов с сыновьями Леонтием, Семеном, Иваном и Петром составили свою летопись покорения Сибири. В эту летопись, написанную затейливым, местами почти песенным языком, Семен Ремезов вставил тайшины рассказы и другие туземные легенды, которые ему довелось услышать.

И вот о чем говорилось в них.

Труп Ермака нашли через неделю после вагайской резни. Яныш, внук князя Бегиша, удил рыбу у Епанчиных юрт, в двенадцати верстах выше Абалака. Он уви-

дел человеческие ноги, торчащие из воды, накинул петлю и вытащил тело.

Мертвец был могучего сложения и в драгоценных панцирях, сверкающих золотом. Яныш с криком побежал в поселение. Сбежались татары. Когда мурза Кайдаул снимал с трупа панцири, изо рта и носа мертвеца хлынула кровь.

Нагое тело положили на помост, и мурзы, беки и приближенные их стали пускать в труп стрелы. Из каждой новой раны чудесно лилась свежая кровь. Как живой был этот труп. Тогда сам хан Кучум с мурзами и даже дальние вогульские и остяцкие князьки прибыли к телу, чтобы кровью Ермака отомстить за кровь своих родичей.

Слетались птицы и кружили над трупом, но ни одна из них не садилась на него.

Через шесть недель знатным татарам во сне явилось грозное видение. И многие сошли с ума. Князья в ужасе сняли тело с помоста и предали земле на священном Баишевском кладбище под сосной. Для погребального пира по Ермаку закололи тридцать быков и десять баранов.

Один панцирь Ермака отослали в святилище белогорского шайтана. Другой взял мурза Кайдаул. Кафтан Ермака достался Сейдяку, а сабля с поясом — караче.

Волшебная сила жила во всех этих предметах — в панцирях, в саблях, в одежде погибшего атамана. Не враждебная человеку, а доброжелательная ему, помощница в делах, исцеляющая болезни.

Шейхи ислама, обеспокоенные чудесами, творимыми мертвым Ермаком, запретили поминать его имя и пригрозили смертью тем, кто укажет его могилу. Но свет стоял над ней по субботам — как бы свеча зажигалась в головах. Этот свет видели только татары, простые татары; даже для русских он был невидим.

Удивительны эти легенды сибирских народов о Ермаке, сохраненные простодушным Ремезовым.

В них отделена резкой чертой знать ханской Сибири от простого татарского люда. И как знаменательна эта черта! Хан и слуги его пытаются пролить кровь мертвого Ермака. Сверхъестественные силы поражают их. Страшные видения сводят с ума беков и князей, хотевших

надругаться над трупом казацкого атамана. Именно татары видят свет над его могилой. И тщетно шейхи запрещают им поминать его имя.

Вслушаемся: где же здесь колонизатор, покоритель? Героем остался Ермак не только в русской памяти, но и в памяти сибирских народов. Эти рассказы и легенды сложили как раз те, кого он покорял. Кто еще из воевод и атаманов, подводивших «инородцев» под «высокую государеву руку», удостоен этого?

Кольчуга Ермака больше семидесяти лет хранилась в роду мурзы Кайдаула. Летописцы сообщают, что она была исполинских размеров — в длину два аршина, пять четвертей в плечах. Каждые пять железных колец с изумительным искусством сплетены между собой, «на грудях и меж крылец печати царские — златые орлы, по подолу и рукавам опушка медная в три вершка»; спереди, ниже пояса, одно кольцо прострелено.

Байбагиш-тайша давал за панцирь десять семей невольников-ясырей, пятьдесят верблюдов, пятьсот лошадей, двести быков и тысячу овец, но Кайдаул не отдал панциря. А умирая, заповедал сыну, беку Мамету, никому не продавать его.

Тогда Аблай-тайша, властитель калмыков-хошотов, возгоревшись желанием получить чудесный панцирь, отправил посла в Москву просить, чтобы оттуда приказали Мамету отдать панцирь. Но Мамет не уступал его. И через два года, в 1660 году, новые тайшины послы пришли с подарками к тобольскому воеводе, чтобы тот велел упрямому беку передать волшебный панцирь Аблаю.

Воевода сперва по-хорошему давал Мамету тридцать рублей — «цену не малую». А потом уже прислал пристава — Ульяна Ремезова.

Так тайша получил кольчугу Ермака.

Но спустя некоторое время в улусе Аблая побывал сам бек Мамет. Он захотел посмотреть на панцирь, который завещал ему хранить отец, мурза Кайдаул. А когда Аблай показал ему панцирь, Мамет не признал его за свой.

И снова в 1668 году тайша шлет в Москву послов. Снова Москва дает указ «о сыску пансыря Кайдаула мурзы». Но волшебный панцирь исчез, и никто его больше не видел.

«Это отрывок северной шехеразады,— восклицает известный исследователь истории Сибири С. В. Бахрушин.— Эпическое посольство от азиатского государя за волшебным панцирем!»

Вторая, нижняя кольчуга Ермака попала к кодскому князю Алачу. След ее также затерялся.

В 1646 году березовские служилые люди отбили на «погроме воровской самояди» у самого устья Оби русский панцирь. На одной медной мишени его был изображен двуглавый орел, а на другой буквы, в которых узнали инициалы князя Петра Ивановича Шуйского. Кольчугу Шуйского привезли в Москву, в Оружейную палату. Почти триста лет пролежала она там. И в 1925 году С. В. Бахрушин высказал предположение, что это и есть «низовой» панцирь Ермака. Грозный подарил «князю Сибирскому» кольчугу воеводы Шуйского — участника многих славных походов, убитого в битве с поляками близ Орши в 1564 году. Псковский герой был сыном этого Шуйского.

Если верно предположение С. В. Бахрушина, то, значит, в Москве хранится единственный безмолвный свидетель смерти легендарного атамана, вместе с его телом опустившийся в холодные и мутные воды...

13

В Новочеркасске стоит памятник донскому казаку Ермаку.

В Тобольске на крутой горе, далеко видный и по Иртышу и по Тоболу, высится обелиск серого мрамора. На нем надпись: «Ермаку, покорителю Сибири».

И во многих местах — на Урале, в Сибири и даже в Казахстане — из поколения в поколение передаются рассказы о Ермаке, и люди с гордостью говорят, что они *того казацкого корня.*

По всему простору нашей Родины поет народ древние и новые песни о Ермаке.

Да, беспримерной чести удостоил народ казака, погибшего в шестнадцатом веке и всего-то действовавшего на исторической арене три-четыре года,— чести соединения с былинными богатырями!

Постине необычайна и прижизненная и посмертная судьба Ермака, того, кто стал мифом уже к половине

семнадцатого столетия, всего через пятьдесят лет после своей смерти!

И пусть давно уже стал забываться, непривычным делаться для слуха старинный былинный лад. Но стоило Рылееву поновить «думу» о Ермаке — и вот почти полтора столетия опять летит по всему нашему простору эта дума, и под рылеевское «Ревела буря» задумывается Василий Чапаев и в славные ведет бои за молодую власть Советов свои отряды...

А если бы и вовсе вывелись люди, помнящие древние легенды и напевный склад богатырских сказаний, если бы и поснимали со стен уральских и сибирских жилищ лубочные, наверняка вовсе не похожие портреты казачьего атамана,— все же надолго еще остались бы его следы на земле, по которой он прошел.

Хутора Ермаковы на Сылве, Ермаково городище на мысу у Серебрянки и другое — на левом берегу Тагила, в шестнадцати верстах от Нижне-Тагильского завода, Ермаков перебор на Чусовой, Ермаковка-речка, приток Чусовой, Ермаков рудник, роковая Ермакова заводь в устье Вагая, знаменитый Ермаков камень, нависший над Чусовой,— там в пещере будто бы скрыл атаман легендарные сокровища... Да двадцать или тридцать деревень и поселков — Ермаковых, Ермаковок, Ермачков.

Не географы давали все эти названия. Их никто не придумывал. Их создал народ, который от Карпат до Тихого океана и от Белого моря до Черного помнит о Ермаке.

1938—1969

Механик великого художества

ПОВЕСТЬ

Маркс работал над «Капиталом». Он писал о промышленных революциях. Что такое эти переломы, перевороты в промышленности, в способе производства, если их проанализировать с точки зрения техники?

Маркс начал тринадцатую главу первого тома с исследования «Развитие машин».

Есть три части в машине: двигатель, передаточный механизм и механизм исполнительный, собственно рабочая машина. И первые две части существуют ради третьей.

От этой третьей, от преобразований в ней и исходили промышленные революции. Так обстояло дело во время промышленной революции восемнадцатого века. Даже первые, примитивные паровые машины за почти столетнее свое существование — с конца семнадцатого века по восьмидесятые годы восемнадцатого — сами по себе мало что изменили. Именно машины-исполнительницы, вторгаясь в одну отрасль промышленности за другой, ломали склад и тип производства. И больше нельзя было обойтись без мощного двигателя; котлы с приспособленными поршнями, лениво качавшие воду, превратились в силачей, возвестивших век пара.

Переворот в одной области производства захватывал и другие, с ней связанные. Промышленная революция шла нарастая. Машина-пряха привела за собой машину-ткача. А машинное прядение и машинное ткачество «оба вместе,— отмечал Маркс,— сделали необходимой механически-химическую революцию в белильном, ситцепечатном и красильном производствах». Как расти хлопчатобумажной промышленности без громадных хлопковых полей? Приходилось возить много, возить далеко, возить быстро: преобразование средств сообщения,

транспорта стало неотложным делом. Полный переворот претерпело судостроение. И повсюду требовалось столько строительных материалов, как никогда раньше. Родились «циклопические машины», чтобы «ковать, сваривать, резать, сверлить и формовать».

Но предстоял еще более важный шаг. Нужны оказались машины для изготовления всех этих машин. Человеческие руки сами по себе больше не могли с этим справляться.

Только шаг этот был особенно трудным. Машина должна взять на себя работу математической точности, головоломной сложности! Машина должна научиться «производить необходимые для отдельных частей машин строго геометрические формы: линии, плоскости, круги, цилиндры, конусы и шары»!

Такая задача отличалась от всех прежних задач, встававших перед творцами машин.

Не двигать, не толкать, не тащить с мощной и грубой силой, не ударять, как молот, не крутиться, как веретено,— нет, на этот раз машина должна была вымерять, соразмерять, с точной обдуманностью менять рабочие движения, как рука самого опытного мастера, у которого безошибочный глазомер и всегда наготове циркули, линейки, лекала!..

Без этой революции не было бы хода дальше, промышленность не стала бы «на собственные ноги». Так написал об этом Маркс.

Революцию эту знаменовало изобретение суппорта. Он заменил «не какое-либо особенное орудие, а самую человеческую руку». Ту руку, «которая создает определенную форму, приближая, прилагая острие режущего инструмента к материалу труда или направляя его на материал труда».

Суппорт появился на токарном станке. Но вскоре замечательная «механическая рука» перешла и на другие машиностроительные машины. Она делала свое дело «с такой степенью легкости, точности и быстроты, которой никакая опытность не могла бы доставить руке искуснейшего рабочего».

Последние слова Маркс взял из английской книги «Промышленность наций», изданной в 1855 году. И выписал оттуда же, что введение суппорта «разом повело к усовершенствованию и удешевлению всяких машин и

дало толчок новым изобретениям и усовершенствованиям».

Но когда и как создавалась «железная рука»? Где было начато великое всемирное дело?

Английская книга не сомневалась, что человечество обязано вечной благодарностью за это англичанину же Генри Модслею. Свой патент Модслей взял в 1798 году и несколько улучшил суппорт в первом десятилении девятнадцатого века.

Итак, рубеж восемнадцатого и девятнадцатого веков. Ту же дату указывало множество других книг по истории техники.

Галерея Петра Великого в ленинградском Эрмитаже. По стенам портреты людей с суровыми и значительными лицами, карты, панорамы, изображения судов, крепостей, строящегося города. В витринах разложены массивные инструменты — измерительные, навигационные, хирургические. Стоят глобусы и сферы, лежат открытые трактаты и регламенты, непривычные нашему глазу скорописи с торопливыми пометками на полях. И в дальнем конце галереи, как бы оглядывая ее со всем, что в ней есть,— с астролябиями и аптекарскими ларцами, кубками в четверть ведра, парадными ботфортами и грубыми штанами, куртками, остроконечными шляпами — рабочей одеждой, шитой на гиганта,— сидела фигура темноволосого человека в голубом платье. Она была видна сразу, едва вступишь в галерею, но галерея длинна, и сидящая за своей прозрачной стеклянной стенкой фигура казалась маленькой, подчиняясь законам перспективы, которые так страстно изучали художники и архитекторы тех времен.

Но многие, пройдя полдороги до «восковой персоны», свертывали налево.

Там зал станков. Механизм, стоящий справа у окна, утвержден на шести высоких витых ножках. С одного края станка-стола сделаны еще четыре стойки-балясины, посередине соединенные попарно точеными поперечинами, а поверху связанные карнизом. Всюду украшения, фестоны, изумительная обработка всех поверхностей, всех граней, всех углов. Очевидно, строителя заботила красота того, что он делал, и в свое представление о совершенной технике он непременно включал понятие: прекрасная.

Прихотливо изогнутая рукоятка сейчас наглухо закреплена. Станок на мертвом якоре. Но рабочие ходы его мы можем проследить с такой отчетливостью, как если бы он был в живом движении.

Поглядите, какой путь назначил строитель силе, которая вдохнула бы жизнь в замерший механизм станка.

Зубчатка подхватила бы ее, эту силу. Вот она поднята на высоту человеческого роста, к приводному валу, укрепленному между стойками. И там строитель разделяет ее, силу, движущую станок, на два потока, на два рукава.

Большой поток отведен ременной передачей вниз, к тяжелому вращающемуся шпинделю, главной оси станка. А меньший... меньшему предстоит ряд превращений. Строитель делает его совсем непохожим на то, чем он был. Он гранит его, как гранильщик гранит ценный камень; неотступно и бережно обтачивает его, пока он не станет способным выполнять ту работу, которая по точности сравнится с работой часового механизма.

Причудливая маленькая шестеренка, похожая на формочку, которой хозяйки вырезают из теста фигурные печенья, сцеплена своими устремленными вперед торцовыми зубьями с зубчатым горизонтальным большим колесом — сцеплена под прямым углом: удивительное сцепление! Как медленно вращается это колесо на вертикальной оси! Тут первое резкое замедление. Ось внизу, на уровне шпинделя, заканчивается червяком: еще медленнее будет вращаться та зубчатка, которая дальше соединена с червяком.

Несколько горизонтальных осей, словно ряд новых ступеней, каждый раз опять меняют скорость движения. И вот копировальный палец, вставленный в «держалку», скользит и перемещается, ходит по вертящемуся барабану, чутко ощупывая все выпуклости, все впадины латунного цилиндра-копира, не пропуская ни одной черточки, ни одной линии на нем.

А все движения копировального пальца повторяет у другого барабана другая «держалка», другая «рука». Она ведет резец по цилиндру-изделию так же, как копировальный палец ходит по образцу. И изделие становится совершенным, немного уменьшенным подобием образца-копира, как бы сложны ни были рисунки, фигуры, формы поверхности образца.

Итак, снова сошлись разделенные мастером оба потока движения. Дело одного осталось грубым и простым: вращение шпинделя с обоими барабанами. Это дело известных и в старые времена токарных станков, которые вращали изделие, подставляя его токарю. А работа другого, с его двумя «железными руками»,— это уже работа не прежних станков, а самого токаря.

В красоте станка, в остроумии его конструкции угадываешь радость мастера, ставшего хозяином машины. Радость от покорности доселе не покорявшейся силы. Рассматривая неожиданные и точные конструктивные решения, видишь, что мастер как бы пробует, испытывает себя и, от избытка своего, будто играет с нею. «А вот так — могу? И еще это — сумею? Могу! Сумею!»

И в недвижимой машине открывается богатство души давно жившего человека.

«ST. PETERBURG»,— читаем мы на зубчатой шестерне над рукояткой. И в полукружии выгнутого по форме колеса названия города гравирована дата. Ее можно прочесть как 1712. Но цифры стилизованы, последняя похожа на латинскую букву «зет» — ее можно принять и за семерку со случайной черточкой внизу...

БАШНЯ

В Москве, в Навигацкой школе он впервые встретился с царем.

Тогда царь вихрем носился по стране — от Азова до Ладоги — и подписывался «печали исполненный Петр». И страна — от литовских пущ до восточных морей — напрягала силы в борьбе за независимость, за могущество, за право на завтрашний день.

Шведский Карл вторгся в Польшу, волоча за собой огненный след полыхающих городов и сел; в обозе он уже вез губернатора для Москвы — генерала Шпара.

В Прибалтике гремели русские пушки, отлитые из колокольной меди. Строили корабли в Олонце, Архангельске, Воронеже. В Уральских горах копали руду.

Полки царских солдат усмиряли восставших посадских и работных людей в Астрахани, башкир на Белой реке, тяжело шагали по донским дорогам, где собрался народ под вольные знамена бахмутского казака Булавина.

На реках вырастали плотины, и вода, стесненная скользкой глиной, вращала огромные скрипучие колеса. Над необъятным пространством несчитанных старинных семисот- и тысячесаженных верст колебался дым плавильных печей. В гигантской стране жило двадцать миллионов человек. Сермяжные крестьяне триста дней в году отрабатывали подати, издольщину и оброки. Бывали моры. Люди бежали «на низ» — в казаки — и в Сибирь. Кнут свистел в сыскных приказах, на голое темя лили воду, пока человек не «изумлялся».

В невские топи били сваи. Строился «северный парадиз» — Санктпитербурх. «Грамматики» и «риторики» дошли уже до деревни Денисовки в полуночном холмогорском краю; немногие годы спустя там родится Михаил Васильевич Ломоносов. И в онежских лесах, мимо раскольничьих скитов, легли просеки, по которым Петр перетащил из Архангельска на Ладогу суда.

Еще в 1692 году в Москве начали строить каменные ворота «с шатром». Они должны были походить на корабль с высокой мачтой, вплывающий в Москву, носом на восток, кормой на запад. Второй ярус был в галереях — это «шканцы». На третьем ярусе Сухаревой башни разместилась «Школа математических и навигацких наук». При школе была токарня. Машинами заведовал выписной немец Иоганн Блеер.

Он делал свое дело старательно, а после работы неторопливо посасывал глиняную трубочку, сидя на окованном ларе, куда откладывал копейки, денежки и алтыны.

Мимо шлепала по каменным лестницам башни-корабля шумная команда дворянских, дьячих, подьячих, посадских, рейтарских и вовсе простого звания детей — ученики. Указ о наборе в школу заканчивался, как обычно петровские указы, грозно: уклонявшимся и тем, кто от математической и навигацкой науки укроется в учение к попам, в Славяно-греко-латинскую академию, что при Заиконоспасском монастыре,— бить сваи в Петербурге или копать руду на каторге. Те, у кого не было пяти крестьянских дворов, получали кормовые деньги — кто двенадцать копеек, кто пятиалтынный в день: на прокорм хватит, но, хоть полагалось иметь «французские» камзолы, иные ходили в чем ни попадя; поймает целовальник в городских воротах — стащит неуказной кафтанишко, в школу придется возвращаться вовсе телешом.

С утра «камзольщики» и «босота» фехтовали в «рапирном» зале. Потом шли в класс. Там стоял отставной солдат с хлыстом для нерадивых и «продерзостных». По знаку учителя им «всыпали» батогов, а то драли кошкой — плетью с полудюжиной тонких хвостов. Петровская наука была делом серьезным. И класс был фрунтом.

На кафедре рыхлый, дородный человек произносил, старательно отставляя нижнюю губу:

— Мы будем начать Эуклидес принципиа...

Это был главный учитель — Генри Фаргварсон, «Андрей Данилович», как его называли.

Кроме него, учили еще двое иноземцев, приехавших в Россию вместе с ним: Степан (Стефан) Гвын и «Рыцарь Грыз» — Ричард Грейс. Англичане коверкали русскую речь, уснащая ее жаргоном Темзы и Клайда, смешанным с кухонной латынью. После этих «лекций» ученикам еще долго приходилось рыться в «Лексиконе триязычном», в «Арифметике» и в «Книге о землемерии» Агапия, монаха Критского, или у Авраамия де Графа в «Книге, учащей морского плаванья вкратце, обаче: Математыка, Геометрия и География неумолкоша», чтобы разгадать шарады *аддиции, субстракции, животворных кругов* и *верстателей.*

В сущности, хитрого во всем этом было немного. Иной ученик начинает бойко отвечать о *сложении, вычитании, зодиаке, экваторе* и еще о многом другом, что надлежит знать навигатору. Рыцарь Грыз кивает, а потом вдруг наморщит красный лоб:

— Оу, хёрид, ту хёрид. Как сказать по-русски? Ты есть прыткий и острый, вот как! Все слова твои лишние. Ты понимай: наук не суть гребной матч на приз, годдэм! — Грыз успел в своей жизни изучить только одну навигацию: в лодке на веслах по Темзе, наперегонки с ребятами из колледжа Христа.

Он подымался со своего места на кафедре и, с удовольствием потянувшись, щелкал по лбу бойкого ученика.

— Как весь класс и как твой *тичер*, учитель,— так и ты. Не вперед других! Это значит *добрая команда*, ха-ха!

И он раскатисто хохотал, как и полагается «хорошему парню».

Только иной раз хохот неожиданно застревал у него в горле. Грыз напыживался, но видно было, что он сму-

щен и явно не в своей тарелке. Он обменивался церемонными поклонами с входившим в дверь человеком и очень поспешно ретировался из класса. А входил Леонтий Филиппович. Настоящая фамилия его забылась. Рассказывали, что сам царь наименовал его магнитом, притягивающим знания. Так и остался он для современников и потомков Магницким. Ему платили втрое меньше, чем Фаргварсону, и половину того, что Гвыну и Грызу,— свой, чего там! Но им-то и держалась Навигацкая школа.

Магницкий все слышал, что было в классе.

— А ну, повтори-ка, что знаешь. Смело повтори.

Магницкий слушал ученика, одобрительно улыбаясь. Усердие, прилежание и главное, самое главное — острая сметка. Для таких и писал свою «Арифметику» — вот этот том в телячьей коже, в добрый квадратный фут величиной и такой увесистый, что слабой руке не поднять, отпечатанный черной и красной краской, украшенный картинами: книгу не для пустых и не для праздных голов. Правда, написана она, пожалуй, еще слишком мудрено: образцов-то ведь прежде не бывало, как надо писать такие книги. Старый Аристотель еще судил там о многих вещах на земле и на небе. Но четыре арифметических действия были дополнены «радиксами» — корнями — до кубических, алгеброй, геометрией, тригонометрией. Содержалось поучение о торговле и кораблевождении. Были советы, как мерить высоты, глубины, лить пули и рассчитывать зубчатые колеса. Сказано о параллелях, компасных склонениях, приливах, текучих водах и ветрах. Математика изъяснялась в примерах, «потребных к гражданству». Не как игра ума, но как душа механики и строительства.

А каждое правило заканчивалось нравоучительными стишками, виршами. И после урока английского «рыцаря» класс твердил шумно и весело:

Разум весь собрал и чин
Природный русский, а не немчин.

Вечерами школа стихала. Рыжие закаты расплескивались над Москвой. Отсюда, с башни, она была широко видна. Близкие переулки, как будто кружащие на одном месте, пахнущие кашкой, росистой листвой и теплым хлебом, а дальше — разлив домов, с холма на холм... Вдруг видимый где-нибудь поворот улицы, площадь, белые палаты над бревенчатыми избами, сиянье глав и позолоченных верхов, голубой пруд и сады в низине, а на

венце холма горят и сверкают слюдяные оконца в расписном тереме под высокой крышей шатром... Город чинный и пестрый, щедрый город торгов, потех, веселого разгула, колокольного звона, строгий город трудов и хозяйского рассудительного расчета, город школы, книги и воинского учения, город древней суровой славы и красоты, оберегаемых зубцами Кремля,— вот он, весь примолкший, в столбах багряного дыма, в кольце темных лесов и созревающих полей.

Жужжанье токарных машин — одно наполняло в это время башню-корабль. Кто работал там? Ведь Иоганн Блеер ушел к своим, немецким «гезеллям» — товарищам — выпить перед сном чарку водки или кружку солодового пива.

Тогда у станков оставался один он, помощник и подручный Блеера Андрей Нартов.

Гасло косое солнце, юноша точил коробки, табакерки, замысловатые фигурки из дерева, кости, рога. Металл побеждал вещество. Его, нартовскими, руками творилось маленькое чудо. Табакерки, коробки... Но он видел литые хоботы пушек, валы маховиков, части огромных машин, будто одаренных разумом, созданных и выточенных резцом. И в тихом зуде и скрежете, в мастерской, залитой сумерками, слышался ему грохот баб, вгоняющих сваи в черное болото, стук кувалд воронежских верфей и рев огненного металла орудийных цехов.

Станки были немудрящими. Две стойки, сбитые доской, две бабки — нужен глаз да глаз и твердость в руке, чтобы верно вести резец, не резануть вкось. Сколько порченых вещей, пота и струпьев на пальцах! Тут слишком много от мастера и слишком мало от машины. Художество, и нелегкое, но скорее рукомесло, чем техника. И весь станок — сооружение уж больно нескладное, совсем на живую нитку. Ногой пхнуть — и посыплются все эти стойки, бабки, лучки-смычки...

Тягуче перекликались дозорные. На закате, как и днем в «адмиральский час», выходили инвалиды, на галерее играла музыка.

Трещали и чадили лампы с вонючим маслом. Внизу, под башней-кораблем, одна белела укатанная дорога — из города на север, мимо стрелецких изб, по валу. Оттуда, с Немецкой слободы, далекой дробью доносился барабан. К ночи и военный город утихал. Мимо него, мимо Преображенского дворца и страшного застенка, укатан-

ная дорога шла на север и на восток и где-то там, за немереными далями, терялась в лесной глуши...

Тогда никто больше не ходил по каменным переходам башни-корабля. Впрочем, однажды рыцарю Грызу, оксфордскому математику, когда он, еще более румяный, чем обычно, нетвердыми шагами вышел из дверей своей квартиры в нижнем ярусе и неизвестно зачем присел на приступках лестницы, послышалось шлепанье и скрип окованных дверей. Ему стало ясно: едва обсохла штукатурка, нечистая сила угнездилась на башне. Не Брюс ли, колдун и астролог, сиживавший в высокой светелке на «мачте», завел ее?

Так вот, в этой башне токарь-ученик Нартов впервые увидел царя. Петр обходил классы, сидевшие тише воды, ниже травы. За ним в расшитых немецких платьях — Лефорт, Меншиков, Апраксин, князь Черкасский. Мука сыпалась с их париков. С высоты двойного роста царь нагнулся над станком, нескладным сооружением. Нартов близко увидел круглую голову, большие выпуклые блестящие глаза и «усы котски», подбритые снизу. Закрасневшись, ученик начал точить. Его пальцы вели резец легко и точно, не дрогнув. Они казались самой совершенной частью в этом нестройном, вихляющемся соединении дерева и металла. И строгая форма будто сама собой вылущивалась из грубой болванки.

Он вытер о кожаный фартук масляные руки в ссадинах и мозолях.

— Иоганн,— сказал Петр Блееру, усмехаясь и указывая на молодого ученика,— ты с ним придешь в Преображенский дворец, в мою токарню.

В башне царь оставался долго. Для него открыли запертые покои. Там собралось «Нептуново общество». Председателем был Лефорт, надзирателем — царь, был «вития» (оратор), а среди членов — Меншиков и Брюс.

Потом, грузно ступая тяжелыми ботфортами, царь спустился вниз, в сарай, где хранился маскарадный кораблик — «памятник-миротворец». Его вытаскивали после победоносных баталий. Тогда его возили по Москве с распущенными парусами, ночью — в потешных разноцветных огнях.

— Чаю, смóтрите за ним, чтоб во всяк день был здоров,— сказал Петр, по обыкновению с шуткой.— Ему недолго почивать в чулане... Помните про это!

СОСЕД ПЕТР

Он был прав.

Подошел 1709 год. Год Полтавской победы.

«...А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе...» [1]

В том году изменилась судьба Нартова.

Мастер Иоганн Блеер, которого называли и писали у нас «Еганом», отложил однажды в сторону глиняную трубочку и, покинув свое место на окованном ларе с денежками и алтынами, к «гезеллям» не пошел, а отдал душу доброму немецкому богу. От Блеера остался и дошел до нашего времени небольшой станочек, собранный на квадратной доске просто и добротно. В нем видны блочки и тросики, которые помогают токарю лучше скопировать рельеф или изображение со взятого образца,— придумка, всякий скажет, уместная и полезная, пороху же мастеру не выдумать.

И Нартов стал теперь не подручным, а сам учителем и заведующим машинами в башне.

Он обучал учеников, будущих инженеров (слово это появилось в петровское время).

В царской библиотеке было немало книг, где рассказывалось о лучших станках в мире. Он прочитал эти книги. Перед собой он видел лучшие «махины». Не очень-то они могли помочь в делах, которые ежедневно предстояли ему и его товарищам.

Петр, углядев Нартова, уже не выпускал его из виду. Но для Петра отметить, отличить и полюбить кого-либо значило заставить его работать вдвойне. Это прежде всего. О вознаграждении же «своих» простых людей царь, иной раз непомерно щедрый к фаворитам (да и к иноземцам), подчас забывал...

Так и с Нартовым. Хозяин машин и наставник в башне, мастер в Преображенской токарне — хорошо, с другого бы и столько не спросил, а с Нартова — мало. Пусть наладит на своих станках изготовление точных навигационных приборов: ничего, и с этим справится.

Справился.

В мудрых народных сказках человек, получивший сверхсильное задание, придумывает и способ невиданный, чтобы его выполнить.

---

[1] Слова приказа Петра войскам 27 июня 1709 года, перед Полтавской битвой.

Умных и рукастых машин-помощниц еще не существовало на свете. Но они *должны* явиться. Без них нельзя!

Ведь небывалая машина грезилась еще юноше Нартову у станков на башне...

Теперь недолго было Нартову оставаться в Москве. Петр не мог обходиться без него. Юноше простого звания предстояло быть всегда под рукой у властелина могучей империи.

Город стоял немощеным. Несрубленные сосны застряли между домами на Невской перспективе. Ветер свистал в их тощих ветвях. Осенью муть кольцом облегала город под плоским небом. Оттуда по дорогам толпы за толпами двигались мужики, их гнали конвойные. Шел народ, подымаемый селами,— строить, строить!

Иногда приводили партии мастеров-иноземцев, выменянных по приказу царя в Пруссии.

Дома ставились просторно, далеко друг от друга, между ними корчевали и жгли пни. Город опасливо выбирал место, куда ступить. В дальних кварталах нога с крыльца попадала в зыбкую, всхлипывающую трясину. Но через острова уже прошли по линейке линии проспектов.

Над стройкой носилась протяжная трудовая песня, уханье. Шлепали деревянные бабы. Возле курных изб, низко расстилавших дым по земле, в каменных дворцах сверкали венецианские зеркала и резвились золоченые амуры.

В углу между Невой и Безымянным Ериком достраивался Летний дворец. По струнке выровнялись вдоль аллей подстриженные деревья молодого сада. Строгими рядами белели около них мраморные статуи. Сад был островом. Река Мья (Мойка) и только что прорытый Лебяжий канал омывали его четвероугольник с юга и запада. Матросы на летящей гичке, взрезая светлую воду ударами весел — все весла враз, как одно,— видели струи первых фонтанов возле нового царского дома. Поэтому и Ерик стали потом называть Фонтанкой-рекой.

Золоченый флюгер над домом царя был сделан в виде всадника, поражающего дракона. На стенах были бронзовые доски с изображениями. Юноша с лирой, сидящий на спине смирного морского чудовища. Прекрасная женщина, выходящая из воды. Море и судно, плывущее к городу с башнями, штиль и шторм, диковинные существа —

полулюди, полурыбы, шлемы и победы — всюду та же зыбкая, чудесная, таинственная стихия — вода, море.

Как не похоже на Москву!

Царская токарня, чуть отстроился Летний дворец, была перенесена туда. В саду, с его стрижеными аллеями, боскетами, фонтанами и мраморами, были еще мастерские. Выписной немец Зингер важно изъяснял секреты токарного искусства; в русском языке он был столь же плох, как и сухаревские британцы.

Нартов внимательно и прилежно слушал Зингера. В том была характерная черта русского мастера: из книг, от всех знающих людей, от других русских мастеров и от иноземцев — отовсюду он, не кичась, умел брать лучшее. В Москве учился у Блеера, сейчас и у Зингера...

Некоторые станки вывезены из-за границы. Нарышкин привез «боковую персонную махину» из Флоренции. Вскоре Нартов изучил их все.

И сделался ближним токарем царя. Какой крутой поворот судьбы московского парня без роду и племени!

На дверях токарни надпись: «Кому не приказано или кто не позван, да не входит сюда не только посторонний, но ниже служитель дома сего, дабы хотя сие место хозяин покойное имел».

Нартов жил в токарне. Петр, возвращаясь ночью, находил его склоненным над чертежами.

— Сиди, Андрей, только дворца не сожги,— кивал он. Иногда среди ночи подсаживался сам.

Царский кабинет рядом. Дверь туда редко затворялась. Нартов видел разложенные новопечатные книги: Штурмову «Механику», Гибнерову «Географию», Бергдорфа «Непобедимую крепость», Вобаново «Искусство укреплений», «Деяния Александра Великого».

Петр жил рядом с ним — в латаном кафтане из грубого сукна, в шерстяных чулках и стоптанных рабочих башмаках.

Он вставал в пятом часу утра. Прохаживался, сутулый гигант, дергая длинной, узкой спиной,— слушал дела. В шесть уходил. Пешком, стремительно, саженными шагами проносился, с палкой в руке, по строительному мусору, плотинам, сдвинув брови, без шапки, с гривой жестких конских волос, вылезающих из-под короткого парика. Пил квас, анисовую и «крепыш», который готовила Екатерина. К столу подавал сам «мундкох» Фельтен,— лакеев дома не терпел,— за стулом стоял дежур-

ный денщик. После обеда спал. Опять слушал дела. Затем точил с Нартовым.

Точить было его страстью. Он тоже принадлежал к породе людей, руки которых постоянно чесались — просили дела. Работа была его отдыхом и развлечением. Иногда, затворившись, он точил целый день, не допуская к себе никого.

Из четырнадцати ремесел, которые знал Петр, токарное было любимейшим.

Как Ромодановский — «князь-кесарь» и Шереметев — фельдмаршал, Нартов видел царя «без доклада». И Петр сам крестил его первенца Степана (впрочем, крестить тоже было его страстью).

В двух шагах от Нартова вершились дела страны. Блестящая вельможная верхушка входила то шумно, то с трепетом, наполняя комнаты мукой от взбитых париков и шелестом шитых камзолов: канцлер граф Головкин, дородный генерал-прокурор Ягужинский с раскатистым голосом, генерал-фельдцейхмейстер граф Брюс, вице-канцлер Шафиров, вынырнувший из мрака китай-городских лавок, чтобы стать бароном. И, конечно, Алексашка Меншиков, всесильный, пышный, храбрец, казнокрад, ночи просиживающий, когда надо, за работой, бывший разносчик подовых пирогов.

Царь был нетерпелив. Не раз при Нартове совершались расправы дубинкой...

А однажды Нартову и самому пришлось вступить чуть не в рукопашную с Меншиковым и вытолкать его, почти великана по росту. Механик был сильным человеком.

В редкие досуги царь сиживал у окна. Он смотрел на яхты и буера на Неве. Но долго просто смотреть он не мог. Вскакивал, требовал бот и, стоя на носу, выкрикивал приветствия встречным судам. Зимой прорубали лед, чтобы Петр мог совершать свои мореходные прогулки.

Он брал с собой Нартова в Лахту и на укрепления Кронштадта и Кроншлота. Возвышались валы и стены с жерлами пушек на недавно отвоеванной земле.

— Видишь,— сказал Петр,— в Петербурге скоро спать будем спокойно.

Все дальше от русской столицы отодвигался грохот шведской войны.

Приезжали голландские шкиперы. Они входили в низкие двери царского жилья. Петр, «командор Питер»,

дымил с ними скверным табаком и, сияя, калечил голландскую речь, полузабытую с саардамских времен.

Солнце врывалось в окно: оно сверкало в металлической пыли, стружках и глянце кафеля; свет казался цветным. Пощелкивали огромные черные часы, соединенные с указателями силы и направления ветра. Чужие флаги полоскались за окном на голубой реке. Шкиперы слушали слова царя:

— Вот Невою видим из Европы ходящие суда, а нашею Волгою увидят торгующих в Петербурге азиатцев.

И парадиз Петербург, величаво ставший на море, открытом в широкий мир, рос и украшался.

Два года продолжалась планировка Васильевского острова. Царь вернулся из-за границы и в шлюпке поехал осматривать «новый Амстердам».

Увидел он: нарытая и брошенная земля, канавы, ползущие вкривь и вкось, чтобы сторонкой миновать пышно выпершие хоромы, стены, съехавшие набок... Оттуда, с желтых стен, со дна канав подымалась мужицкая песня, неумолчный голос строителей парадиза. О чем была эта песня?

Два кораблика, третья лодочка
Пушками, ружьями установлены.
На корме стоит есаул с веслом,
У руля стоит атаман с ружьем.
Черный бархатный кафтан
На могучих плечах.
Черна шляпа с позументом
На его русых кудрях,
Как зелен сафьян, сапожки,
Рукавицы с серебром...

То была песня о вольной Волге, о Жигулях Степана.

Царь схватил чертеж. Где геометрия проспектов? Где кружево каналов, дивное строение мостов, набережных, стройная линия каменных домов над водой?

Архитектор Леблон только рукой махнул:

— Светлейший князь Меншиков...

— Как исправить?

— Все срыть и строить вновь.

Тогда судорога свела лицо царя. Углы его рта опустились, губы почернели, на них выступила пена. Он дергал головой к левому плечу, казалось, он дико косит вытаращенными глазами. Хриплых слов почти нельзя было разобрать. Он кричал, что батареи Василья Корчмина, отбивавшегося от шведов на острове, были рас-

положены лучше, чем все это строение, испакощенное светлейшим, жадным до мзды и роскоши губернатором Меншиковым.

Он тряс петербургского губернатора, страшно, вышибая душу.

Но душа в Меншикове сидела крепко...

Внезапно царь прерывал дела. Собирался «всешутейший и всепьянейший собор». Члены его были наряжены причудливо и цинично: то была насмешка над ненавистными Петру (и Петра ненавидевшими) церковными, монастырскими «большими бородами». Начиналось «служение Бахусу», и в этом «служении» не было меры...

Но на другой день, скинув с железного тела опьянение, Петр снова был у станков, на верфи, в застенках Тайной канцелярии, в госпитале, где он сам брался за хирургический нож, чтобы выпустить жидкость из раздутого тела больного водянкой. Он поспевал всюду. Он неизменно был центром огромной государственной машины, тем, о ком в донских степях и лесах Сибири говорили шепотом, оглядываясь: «Никуда от него не уйдешь».

Он ненавидел пустую формалистику этикета. Однажды, работая в корабельных мастерских, он приказал передать прибывшему из-за моря послу, что если посол действительно имеет что сказать царю Петру, то может прийти в мастерские: царь Петр слышит там не хуже, чем во дворце. И не задумался сделать служанку императрицей.

Смерч, бушевавший в нем, «уздой железной» вздернувший Россию «на дыбы», не вел — нет, гнал ее к завтрашнему дню. Но сзади него остался терем московского царя и кровавый след страшного детства.

Петр провел сквозь свою жизнь идею долга, труда, дисциплины, служения отечеству.

Но он сам был наследником и носителем той брошенной им в Москве романовской деспотии, где даже пороки властелина-вотчинника были обожествлены. И тот самый человек, который, тяжело больной, извинялся перед всеми ожидавшими во дворце,— пусть не подумают, что это лень, он в самом деле не может встать,— человек, твердивший: «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую» — и безропотно снесший окрик мастера на верфи за свою неловкость, он мог сшибить с ног палкой приближенного, опоздавшего снять шляпу, и на пирушке влить в глотку собутыльнику «кубок большого орла».

«Ближний» царя Нартов был поставлен теперь выше Зингера, выше мастеров и токарей Летнего сада — Филиппа Максимова, Варлама Федорова и всех других.

Но жалованье царь платил ему «против корабельных подмастерьев» (то есть как подмастерьям). В три с половиной раза меньше, чем Зингеру! Если же сравнить с городами, которыми Петр жаловал Меншикова, то нартовское жалованье окажется и вовсе ничем.

А ведь царь понимал, что перед ним не просто токарь, но инженер-механик, равных которому и поискать — нигде не сыщешь. И неспроста брал с собой в Кронштадт: царю нужны были технические советы Нартова по этой крепости — защитнице Петербурга. Нужны были советы художника-механика Нартова по фонтанам-водометам (Петр страстно любил их живую воду, повсюду устраивал их), по петербургскому «строению», по статуям-памятникам, которыми должен был быть украшен Петербург. Второго Нартова у царя не было.

Дела много, тысячи дел,— царь вернулся из-за границы и указал своему ближнему токарю помогать адмиралтейским мастерским, где стоились корабли молодого русского флота. В мастерских уже стояли небывалые нигде в мире станки с «железной рукой».

Как радостно Нартов берется и за эту большую работу! Или мчится в Москву, снова видит башню, переулки в кашке и лебеде, золотой узор глав и теремов на цветном расписном ковре города, накинутом на холмы и пригорки, легкие крыши шатром и зубцы алых и белых стен. Все исстари знакомое, но выросло и в Москве новое строение «в линию» и поубавилось дедовской тихости. В Москве монетные дворы, надо налаживать правильную выделку на этих дворах серебряной и особенно медной монеты — едва полтора десятка лет, как ее вообще начали чеканить.

Но царю без него не обойтись, он торопит его в Петербург, в токарню. Изготовляются детали точных инструментов, измерительных приборов — для флота, для армии, приборов для калибровки, для лучшего прицела пушек. И, конечно, вытачиваются и паникадила, ларцы, коробочки, «апостолы Петры». Изумительны многие из этих вещей, великая красота вложена в них мастером, та красота, страстная тяга к которой разгоралась еще в душе юноши там, в Сухаревой башне... Изумительны и те станки, которые он строит теперь один за другим; уве-

ренно разрешены в них новые технические задачи. Прихотливой, как бы одушевленной вязью линий изукрашаются изделия на этих *гильоширных* станках [1].

Но... не слишком ли много «розовых махин», когда столько вокруг горячего, радостного, тяжкого, до страсти желанного труда? Может быть, и самого себя едва смеет Нартов спросить про это. Ведь так угодно его величеству, «его императорскому блаженству» (этим словом — годы спустя — Нартов назовет царя). Угодно после исполиновой работы позабавиться и «розовыми махинами», платя за все механику Нартову «против корабельных подмастерьев»; точно так же угодно, чтобы собачка Лизетта подносила челобитную: тогда великан захлебывался хохотом и тряссся длинным телом, закинув назад голову...

В 1718 году Нартов начинает строить свою самую замечательную машину — станок особого совершенства, большой, мощный. Станок этот выполнит работу десятков людей в мастерских и на заводах, облегчит нелегкое их бремя, а дело сделает быстрее и лучше, точней, чем могли бы когда-нибудь сделать люди. И надо, чтобы уже не слабая человеческая рука, а сила воды приводила в движение такие станки. Так задумал Нартов.

Помогает строить станок Зингер: давно уже он стал из учителя помощником...

Но сложилось так, что работу эту пришлось отложить. Царь посылает своего механика за границу. Как всегда, он нетерпеливо торопит: ехать надо не для забавы, а чтобы послушать ученых, какие считаются славнейшими в мире, выведать секрет парения и гнутия дуба для кораблестроения, купить новые «токарные махины» и собрать лучшие физические, геодезические и гидравлические приборы.

СТАРАЯ ЕВРОПА

Нартов повез в подарок королю прусскому токарный станок, кубок, выточенный собственноручно Петром, табакерку и живой «презент»: «больших гренадиров», рослых

---

[1] Гильоширование — нанесение орнамента, автоматическое гравирование сложных и тончайших узоров, «роз» на металле, слоновой кости, дереве и т. д.

деревенских ребят для потсдамской королевской прихоти — гвардии великанов.

В прусской столице он был принят Фридрихом-Вильгельмом, тучным человеком, обсыпанным табаком, с непомерно большой нижней частью лица, рядом с которой исчезали и маленький лоб и крошечные глазки.

— Was ist das? — спросил король, скосив глаза на станок.— О, братец Петер шлет нам превосходнейший механизмус. В нашем Берлине не видывано ничего подобного. Мы будем обсуждать это на заседании табакսколлегиума.

И, захохотав громоподобно, он принялся восторженно ощупывать гренадеров и командовать им «фрунт». Затем, строго глянув вокруг, отправился с тростью по улицам своей «гауптштадт», столицы, пустевшим при приближении его мастодонтообразного величества. Шепотом рассказывали, что король однажды поймал не успевшего вовремя скрыться портного и прибил, приговаривая:

— Мои дети должны меня любить, любить, а не бояться.

Фридрих-Вильгельм поставил забавный механизм в мраморной камере во дворце.

— Тебе повелевается обучить нас,— сказал он Нартову и снова захохотал громоподобно.

Шли дни и недели. В Берлине, городе, где дома выстраивались шеренгами и, казалось, ждали только команды, чтобы начать маршировать вдоль улиц в том же оцепенелом порядке, в каком маршировали Фридриховы гвардейцы, русский механик давал уроки королю. Король в кафтане с лоснящимися обшлагами брал эти уроки тогда, когда — после плацпарадов, советов по вербовке великанов, перешивания пуговиц на старых мундирах, пыхтенья трубкой на «табачной коллегии», хитрого выколачивания грошей из бюджета школ и сокрушения зловредной науки — ему приходила блажь изобразить из себя «монарха-работника».

Через полтора месяца король-скряга сунул Нартову свой портрет и тощий кошель. И через Голландию Нартов отправился в Англию, обетованную страну мореходов и механиков.

Вот письмо Нартова, от марта 1719 года, в Петербург. Он «таких токарных мастеров, которые превзошли российских мастеров, не нашел». Он привез с собой чертежи

«махин», изобретенных в России, чертежи своего нового станка. Чертежи он «мастерам казал, и оные сделать по ним не могут».

В письме его есть, конечно, сожаление: машины-то все-таки не построены, и надо же оправдаться перед царем, но главный тон этого нартовского донесения Петру — гордость. И за свою родину, и за свой народ.

...Муравьиный город. Бездельники на рыжих кобылах с подстриженными хвостами. Четырехугольные башни на грузном мосту; мрачный Тоуэр... Бесконечные доки на Темзе; остовы кораблей; сотни людей, занятых гнутием и парением корабельного дуба, зычные глотки, красные кулачищи надсмотрщиков...

Улицы трущоб. Клейкий туман, слизью оседающий на кирпичных стенах, на дверных петлях. Тесно напиханные дома-лачуги. Оборванные люди с потухшими носогрейками во рту, ожидающие на кучах гниющих отбросов, у мутно-радужной реки. Эти оборванные люди ждут работы. Авось перепадет пенни за то, что подставишь спину тюкам из трюма ост-индского судна. Тюки непомерные, слоновой тяжести, в тюках — несметные богатства, привезенные из Индии для их лордств из Вест-Энда, для их великолепий из Сити...

Это гордое сознание — характерная черта для петровских посланцев (хоть приезжали они за «наукой»). Так ездил Нартов; так семнадцать лет спустя (уже после Петра) поедет учиться Ломоносов. Сам Петр однажды сказал грубо (в передаче немца Остермана, которому, конечно, не было никакого резона что-либо приукрашать в этих словах): «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней можем повернуться задом».

Нартов присматривал в Англии машины, которые могут пригодиться. Они тянут свинец, золото и серебро, сверлят медные трубы, нарезают зубцы. Семь машин. Но Петр, велев машины приобрести, денег на это не дал. И русский механик покупает на свои, хотя после этого остается у него только на жизнь впроголодь.

И едет в Париж.

В Парижской Академии наук — его станок! Его станок с «держалкой», с «железной рукой», подаренный Петром несколько лет назад.

Он становится к нему, академики в париках собрались и смотрят, как на удивительной машине работает сам творец ее.

Он слушает астрономию у де Лафая, математику у Вариньона, совершенствуется в искусстве у Пипсона. Искусство и механика — в его представлении они неразрывны. Могучая техника прекрасна: прекрасна цель, которой она служит, прекрасен разум, породивший ее. Механика сама художество.

Он вытачивает портреты старого Людовика XIV, его правнука — малолетнего Людовика XV и дюка Орлеанского.

Париж в искусстве знал толк. Биньон, президент академии, пишет о дивном художестве, с каким он, Нартов, изображает «одним резом» черты или «характеры». Казалось невероятным, что портрет можно сделать на токарном станке. И вовсе немыслимым, чтобы машина сама скопировала произведение искусства, сделала точно такой же портрет. Это было больше, чем техника! В глазах Биньона станки Нартова преступали грань того, чего вообще следовало ожидать от механизмов. Фокус. Вроде автомата «турок, играющий в шахматы». *Медальерные* нартовские станки, прямо предназначенные, чтобы делать портреты, медали, были из мира новых, рождающихся вещей. Аббат Биньон еще ничего не знал об этом мире.

В биньоновском аттестате, который Нартов увозил с собой в Петербург в 1720 году, говорилось: «Ваше величество не ошибается в избрании подданных, которых Вы изволите употреблять в своей службе...»

СМЕРТЬ ПЕТРА

Петр мало старел. Разве что лысина больше открыла лоб над широко расставленными глазами, чуть заметнее выделилась бородавка на носу.

Все оставалось по-прежнему. «Тяжкие забавы любителей славы — военное искусство, потешные огни, пушечная пальба, кораблестроение». Торжества и маскарадные выходы на Троицкой площади, с кувыркающимися шутами, матросами, ходящими на руках; царь бил в барабан.

Парады, зрелища величественные. И шутовские. Шутовские свадьбы.

Шутки в письмах. Шутки на ассамблеях. Первоапрельские шутки. Забавы почти детские... (Как доставало времени на это?)

И ямы — могилы, куда сваливали несчетные безымен-

ные трупы — на их костях воздвигали крепости, города, строили «северный парадиз». Вонючий дымок над застенками, запах паленого мяса. Кровавые розыски. «Потехи» казней, мучительных, многочасовых. Страшная запись в журнале: «Было пито изрядно» — когда пытали, а после удушили в Петропавловской крепости сына, Алексея; отец сам был среди палачей.

Дубиной и кнутом он подгонял страну.

Неукротимая энергия по-прежнему кипела в Петре. Делал сотни дел и начинал сотни новых.

Пройдут десятки лет, и гениальный немецкий поэт, думая о великих людях, скажет, что надо быть молодым, чтобы делать большие дела. Но вернее иное: люди, чей след остается в веках, не дают сломить себя старости, и за ее порогом продолжается у них молодость.

Петр жил как бы на бегу. Однажды, отправляясь в поход за тысячи верст, он в то же утро написал собственноручно 32 указа сенату — торопливым, почти недоступным прочтению почерком, с неслыханными титлами и сокращениями.

Бег жизни он не замедлял до последнего дня.

Был «металла звон» в петровских указах. Они казались выбитыми на бронзовых досках.

Самое течение фраз, с тяжеловесно-латинской торжественностью, придавало им изваянность монумента — величественного и грозного.

Это была монументальность, подобная той, стремление к которой пронизывало русскую жизнь Петровской эпохи. И она не только не противоречила быстрому бегу, но подчеркивала мощность его, отливала в огромные и зримые формы.

Механика Нартова была слита с искусством, с красотой; так же тянулось к искусству, к красоте, искало себя увидеть в них все «строение» в петровской России.

И две сестры — архитектура и скульптура — стали главным искусством.

Чертежи возникающих проспектов и каналов, в отуманенную даль протянувшиеся набережные, ряды зданий, дворцов — фризы, пилястры, фигурная лепка строгих и затейливых фасадов. Вздутые мышцы атлантов, летящие гении, трубящие Славы. Орлиными крыльями и скрещенными мечами осененные входы, симметрия гигантских стен. Высокие, как корабли, церкви, стремящиеся к небу иглы и шпили. И фонтаны, и статуи в

«регулярных» садах, огненная архитектура празднеств, трезубцы, сверкающие сказочные «города» из белых распущенных парусов во время нептуновых потех, столпы и триумфальные врата, выбитые медали в знак побед... А там, за городскими заставами,— марш боевых полков по прямым «перспективным» дорогам, стрелой прорезающим поля, чащобы и буреломы...

Воротившийся из чужих краев Нартов снова увидел и ощутил не знающий отдыха замах этой жизни.

В токарне Нартов нашел англичанина, заведенного царем во время отсутствия «ближнего токаря».

— Вот ты, наконец, Андрей,— сказал царь и облобызал его.

Станки жужжали среди ватерпасов, угломеров и астролябий. Еще бесформенный мир валов, маховиков и шестеренок ожидал Нартова. То был начатый им в 1718 году большой станок. В нем он воплотит то, что тщетно искал у токарей Темзы и в парижских подъемных механизмах: умную технику, которая возьмет на свои плечи главную тяжесть человеческой работы.

Но конструктору приходилось часто отрываться. Он не роптал на отлучки: отрывали его не по пустякам. Заграничная поездка сильно возвысила Нартова в глазах Петра.

Строится Кронштадтский канал. Нужен камень, нужно быстро, силой «механики», колоть, пилить его. Нартов разрешает эту задачу. Он придумывает, как легче и проще управлять шлюзными воротами. Строит машину для сверления фонтанных труб (вообще за эти годы он изобретает и конструирует еще многие станки, пока идет работа над большим, самым главным его станком).

В те годы в Петербурге было много замечательных механиков, мастеров и инженеров — москвичи, новгородцы, знаменитые оружейники-туляки. Часто их присылали «запятнанных» — с выжженными клеймами. Не «пятнали» Якова Батищева, изобретателя сложных и мощных машин (они действовали водой) для Тульского завода. Батищева выписал в Петербург Брюс. И на Охте, на большом пороховом заводе, загудели тяжелые, в сотни пудов, жернова, загремели ряды гигантских грохотов. Покорная сила сотрясала ярусы заводских корпусов. Ночью таившиеся на пустынной равнине шайки беглых, «воровских», людей видели огни за рвом и палисадом и слышали бессонный металлический гул.

Часовые брали на караул. Батищев, недавний простой солдат, потом тульский строитель, теперь начальник завода, выезжал из ворот. Он ехал в город, на «кузню», тоже им устроенную: там перековывалось старое железо — у государства все на счету. Затем надо на Литейный двор, на Пушечный двор. Что там? Пушки пробуют лить глухие, в глухом стволе высверливается канал. Задача не из простых. Медь неподатлива. Но есть одна голова, которая справится с этим...

Так скрестился путь Якова Батищева и Андрея Нартова.

А платили Нартову все «против корабельных подмастерьев». Годами не выдавали денег на квартиру. Долги опутывали лучшего механика страны и «ближнего человека» царя. Но в разговорах с глазу на глаз он не смел заикнуться об этом властелину. Писал челобитные. Царь ничем не показывал, что получал их. Только все прибавлял работы. Зингер умер — все, что делал Зингер, тоже на Нартова... Выдюжит!

Идут годы. В Ништадте и под стенами Стокгольма Россия продиктовала Швеции мирный трактат. Русскими снова стали Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, Карельский перешеек с Выборгом. Долго праздновал Петербург. В Москве в Преображенском, неподалеку от эшафота, царь сам сжег под барабанный бой свой дом, где когда-то был составлен первый план шведской войны.

Только в конце 1723 года Петр вспомнил о «нуждишках» своего преданного механика. Отныне он будет получать 600 рублей годовых. До жалованья покойного Зингера (тысяча рублей в год, да кормовых пять сотен) все еще далеко...

Царь ездил по заводам. Нартов сопровождал его. На Истецкий железный завод ездили с токарным станком. Петр плавил чугун, ковал железо, «заработав за 18 пуд 18 алтын». Нартов делал опыты над пушечным литьем.

На василеостровской набережной, где две сосны срослись суками так, что не разберешь, два ли там дерева или одно, было указано место для библиотеки и кунсткамеры.

Древности, оружие и украшения отдаленных народов, точеные чудеса китайских искусников, звери и травы ожидали своего водворения в строящиеся покои. Под

смотрением Иоганна Шумахера, эльзасского студента-богослова, плавали в спиртах монстры, натуралии и раритеты. Стояла выделанная кожа великана. Около «могилы урода» с нечеловечески искаженными чертами плясали скелеты недоносков.

Все было на время размещено в Кикиных палатах, вблизи Смольного двора — в доме казненного Кикина, любимца царевича Алексея.

Некий Орфиреус, немец, распустил слух, что им открыт вечный двигатель. Петр в нетерпении велел узнать подробнее. Какое бы полегчение в трудах! И в кораблестроении, и в литье пушек, и в устройстве каналов между реками и морями, и в строительстве городов. Архиятер (главный врач) Арескин тогда сразу же написал Орфиреусу. Потом о нем запрашивали философа Христиана Вольфа...

А в Летнем саду, между статуями «голых греческих девок», горой вздымался глобус, внутри которого на лавках за круглым столом могли усесться двенадцать человек.

Наступило время поселить в парадизе Петербурге на постоянное жительство великую науку о вселенной.

Несколько лет настойчиво велись переговоры с лучшими учеными разных стран.

Петербургской Академии надлежало сразу же, с рождения своего, стать иной, чем академии «старой Европы» с их почтенным грузом средневековой схоластики. На новой академии не будет тяготеть память о монашеских рясах, в которых какой-нибудь «доктор серафический» и просто «ангельский доктор» некогда посрамляли друг друга в споре по поводу природы дьявола.

От петербургских академиков требовалось, чтобы они двигали вперед науку, распространяя одновременно знания и со всем усердием готовя русских людей к ученым занятиям. И еще очень важное: вся академия в целом и особые мастерские при ней прежде всего должны были заняться делами, нужнейшими государству, теми, в которых государство ждет помощи от науки.

А чтобы приезжие академики прилежнее отдавались трудам, Петр решил кормить их недели три или месяц не в зачет, а потом нанять им эконома, «дабы, ходя в трактиры... и в других забавах времени не теряли бездельно».

Петр захаживал к Нартову в новую, жалованную избу, парился в мыльне.

Рубили леса Лифляндии; в тысячах ящиков бросали в воду камень, усмиряя море, кипящее в скалах Рогервикской бухты, от укрепления которой в свое время отступились шведы. У морских ворот Петербурга, около Кронштадта, начали воздвигать гигантскую арку; другие говорили — то будет колоссальный конь, корабли пройдут между его ногами.

Русские моряки готовились плыть таинственным и недоступным северо-восточным проходом, чтобы открыть морскую дорогу в Китай вдоль пустынно-бесконечного края Азиатского материка, где когда-то замерзли во льдах капитаны Виллоуби и Баренц.

Стремительными каракулями Петр пишет указ Витусу Берингу — «великой экспедиции», отправляющейся к Камчатке, чтобы затем подняться к крайней оконечности Сибири...

С ближними же Петр делится: он задумывает снять с места и переселить, куда потребнее, целые села, даже города. Смерч в нем не унимался...

В эту пору Нартов подал Петру доношение о том, что надо создать Академию художеств. Академии наук мало — должна быть еще одна академия. И академия эта будет ведать умной техникой, которая неразрывна с искусством.

Нартов наметил в будущей академии классы разных «художеств»; при них — лучшие мастера и 240 учеников; и типография, чтобы обо всех художествах печатать книги для страны.

Замечателен этот проект, поданный царю Нартовым. Тут было и завершение и как бы главный смысл всей прежней его работы.

Что человек в одиночку, сам по себе? Что он, какими бы почестями его ни осыпали, каких бы богатств он себе ни стяжал? Мало чего стоит такой человек. В Лондоне, в Париже Нартов вдоволь нагляделся на иных таких обладателей «секретов»: были они рабски угодливы перед властителями, а перед прочими — надуты спесью. Пуще же всего опасались, как бы кто не выведал их «секрета». А помани их кошельком потуже — все бросят и снимутся хоть на край света.

На глазах его с легкостью сманивал их русский тугой кошелек...

Разве таково человеческое мастерство?

Место ему, где тысячи людей соединены нелегким трудом — и на горе и на великую радость. Общелюдское оно, помощник стране, слуга государству: в том единственно высокая цель его; тем живо оно и тем прекрасно.

Нартов писал свое доношение не от одного себя. Он ссылался на многих «достойных мастеров разных художеств». Эти русские «многие мастера» тоже не были каждый за себя; они понимали дело как общее, совместное, были заодно. И в Нартове видели они своего главу.

Петр ни дня не промешкал, на доношении сам надписал перечень классов будущей академии: живопись, скульптура, гравюра, архитектура, шлюзы, фонтаны и всякая гидравлика, точные инструменты, часы, мельницы, классы токарей и плотников, столяров, слесарей, мастеров медных дел... А директором академии быть Нартову.

Шел декабрь 1724 года.

В церквах молились о здравии государя и помощи в делах его на новый, 1725 год.

Он возвышал дворянство; он широко открывал дорогу купеческому торгу. Но баре-крепостники, им взысканные и возвышенные, уж не так охотно шли дальше и дальше за беспокойным царем.

Помещики в своих поместьях, заводчики на мануфактурах и те же помещики, заводчики и бородатые «князья церкви», в «кумпанствах» (компаниях), которым велено было строить корабли, богатели не по дням, а по часам,— другого им не было нужно. И все они были вольны в жизни и смерти своих «людишек», «смердов». Еще тяжелее, чем раньше, стала жизнь в черных мужицких избах, в казармах «работных людей».

А мужицкими, холопскими руками делались все славные дела, строилась и билась с врагами за право на великую свою судьбу гигантская страна.

На самой же «вершине», у трона, открывалось «воровство» и среди близких, любимых, возвеличенных Петром, пресыщенных милостями. Вот опять тут и Меншиков, даже Меншиков, Алексашка, друг, кого звал «мин херц» (мое сердце) и поднял от разносчика пирогов до герцога Ижорского...

Петр не берег своих сил — казалось, на все хватит, разве иссякнут они? Он расточал себя без меры, уродливо, варварски, «всепьянейше», и в «тяжелых забавах» и в диком разгуле. Верфь и «Бахус» — до конца дней, строй и артикул, чудо-строение и полушут-полупалач,

кого звал не именем, а кличкой «Вытащи», беззаботное веселье и кровавый застенок,— на все хватит, на все достанет!..

Сил не рассчитывал и не отступал. В каморке под лестницей дворца сидел теперь генерал-фискал Мякинин — ему был приказ не ветви и сучья измены срубать, но извести самый ее корень...

Но сдал железный организм исполина, сжигаемый без удержу, без оглядки. Жестокая простуда, когда в бурю, в ноябрьских сумерках, по пояс в ледяной воде царь спасал матросов около Лахты, не начала, а только усугубила болезнь.

Он оправился; через два месяца вовсе слег.

Выходя во двор своей избы на углу Миллионной, рядом с новым дворцом, Нартов слышал глухой, страшный, безостановочный крик метавшегося под двойным низким потолком Петра. Тело великана-жизнелюбца боролось со смертью, и не верило в нее, и бешено сопротивлялось ей.

Однажды крик смолк, двери дворца были распахнуты, входили президенты коллегий и «господа сенат», стояли и глазели толпы народа: Петр умер.

СТОЛП

Никто больше не торопил Нартова, никто не ждал его «хитрой механики». Чернобровая Катенька, ставшая российской самодержицей, волею «господ гвардии» и Меншикова, своего бывшего дружка, вспомнила о «лейб-механике» Нартове и даже утрудила себя размышлением: что бы такое ему поручить? И она приказала ему отлить «столп трояновой славы» Петра, на котором будут изображены «его вечно достойные блаженной памяти императорского величества баталии».

О «столпе» говорил еще сам Петр. Но то было дело десятое: до столпа, за другими важнейшими трудами, руки не доходили.

Теперь же столп должен был стать главным делом.

Нартов не ослушался императрицы. Он представил ведомость, где было расписано все потребное: медное литье, патроны, лепка из воску, чертежи и рисунки фигур. Он даже просил приставить к столпу знаменитого Каравака, Пино, Шульца, Сен-Манжа. Нужны они ему были не

очень, их участие почти ни в чем и не сказалось. Но упомянуть придворных выписных художников-искусников было обязательно, раз речь шла о «столпе трояновой славы».

Самому Нартову предстояло выполнить собственными руками все главное, относящееся к столпу. Когда же требовалась помощь, он находил ее у своих товарищей — у Звонцова, того, кто должен был строить здание и для его, нартовской, Академии художеств, и у другого мастера-художника — Коровина.

Итак, он начал работать. Но к делу, которое он один только и мог выполнить, у него не лежала душа,— к этому заказному мертвому памятнику, придворному славословию умершего императора.

Когда его захватывала работа, он не знал, что такое досуг. А теперь он оставлял себе досуги. И старался, чтобы становились они все больше.

Потому что все досуги он, больше никем к этому не поощряемый, посвящал тому важнейшему, что еще недавно было впереди всего: созданию техники — помощницы для тысяч работающих людей.

Он доканчивал свой станок, свою небывалую «махину».

В тяжелые члены машины он вложил всю свою изобретательскую смелость, то, о чем думал еще на московской башне-корабле, и весь пыл художника.

Он украсил станину прихотливой резьбой, покрыл орнаментом, воздвиг легкую, изящную колоннаду с пилоном и маленьким обелиском, щедро рассыпал по колонкам медальоны-аллегории,— тут, сработанное не по заказу, не за плату, было все, что требовали от него для столпа. И было в этой дивной, сверкающей механике то, чего не могло быть там: единение ликующего искусства и силы человека — покорителя природы.

Два суппорта токарно-копировального станка работали, как два близнеца, в одно дыхание.

И в согласованности, в точности, в автоматичности их работы были далеко превзойдены все прежние станки.

Копир, как обычно, должен был быть больше изделия. Соответственно, и в точно рассчитанной мере, был больше шаг копировального суппорта, чем его рабочего близнеца. Каретки сами ползли по барабанам. Пальцы искуснейшего мастера не могли быть так чувствительны к мельчай-

шим задоринкам, шероховатостям, выпуклостям, ложбинкам: суппорт отвечал на неровность в волосок (одну десятую миллиметра!). Тогда вибрировала десятипудовая ось со всем рабочим узлом станка, утвержденным на трех упорах. И суппорт, держащий резец, безошибочно повторял, по-своему уменьшая его, движение суппорта-щупа.

Нартов закончил это самое удивительное свое произведение в 1729 году. Когда он начинал его — одиннадцать лет назад,— оно было назначено для Петра. Теперь Петр уже четыре года лежал под каменным полом Петропавловского собора, и в мутное осеннее ненастье воды реки, еще недавно своевольно катившиеся среди пустынного безлюдья, просачивались к его гробу.

Механик не мог закончить работу быстрее. О нем вспомнили еще как о специалисте по монетному делу. Он снова был отправлен в Москву «для переделу монеты двух миллионов». Там, на монетных дворах, были «непорядки и разорения». Нартов круто и резко вмешался. Его универсальный инженерный ум своим «механическим искусством в действо произвел» «к монетному делу многие махины».

Он устроил «плющильню» на Яузе, придумал «гуртильные» станки (для насечки ребер на монетах), оборудовал монетный двор токарными станками и прессами. Изменилось все: и качество и вид монеты, которую чеканили в Москве.

В 1729 году он едет в Сестрорецк — чеканить в монету 20 тысяч пудов красной меди. А затем — опять Москва: Нартов — асессор московской монетной канцелярии.

Кажется, он рад, что нашел себе это дело. Живое дело — не столп. Разве сам царь, сам Петр, восстань он из гроба, не признал бы лучшим памятником себе неутомимый труд для пользы России? И не пустил бы гневно в ход свою дубинку против тех, кто лучшего механика России на годы хотел связать по рукам и по ногам столпом, созидаемым якобы во славу его, во славу Петра, чья радость души была в труде, в деле, в действии?!

Итак, судьба его как бы сделала круг — он снова в древней столице. Обратно в Петербург выехала из Москвы Анна Иоанновна со своими дураками и шутихами. А Нартов остается.

Будто силой инерции, он обрастает понемножку чинами. Но как жалел он, верно, о том времени, когда весь

чин его был токарь и рубля лишнего нельзя было допроситься у крутого царя!

Его оторвали от монетной канцелярии, указав быть при переливке царь-колокола (третьей по счету, считая с первым литьем при Борисе Годунове). Колокол, звонивший всего 33 года,— с последних лет Алексея Михайловича, при рождении Петра и при коронации его, снова упал в 1701 году во время пожара и разбился. Переливал его (увеличив вес с 8 тысяч до 12 тысяч пудов) мастер Иван Моторин с сыном Михаилом. Нартов мало подходил для дел «церковного звону». В нем не было ничего от средневековых колокольных мастеров с их мистическими экстазами у плавильной печи, воспетыми немецкими романтиками. Нартов-художник иными чертами скорее напоминал замечательного мастера итальянского Ренессанса — Бенвенуто Челлини, неистового, богохульного, простодушного, не знавшего устали, за все бравшегося и все умевшего (только в нартовской механике тоже бы ничего не понявшего!).

Но вот его станок-машину, невиданную в мире, заткали сизой паутиной пауки в Петербурге, в «Итальянском доме». На станинах, украшенных орнаментами и аллегориями, ученики, одуревшие от безделья, распивали водку.

И 25 апреля 1735 года Анна велела всю эту забавную механику — «токарные куриозные махины» — передать в Академию наук. Там был и остов столпа, который, как отмечалось, «без асессора Нартова в совершенство не может быть приведен».

И Нартов наконец очутился опять в Петербурге — вторым советником академической канцелярии.

СОВЕТНИК ШУМАХЕР

Ничтожные преемники Петра сменялись быстро. При Екатерине (1725—1727) правил Меншиков. Его свергли Долгорукие, прибравшие к рукам малолетнего Петра II (1727—1730), лишили чинов, городов, всех чудовищных богатств и сослали в Сибирь; там, в Березове, в 1729 году умер

Счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

Престол дебелой, еле грамотной Анны Иоановны (1730—1740) окружили немцы. Миних, Остерман были из тех, кто приехал еще при Петре. Главарем же и первым лицом стал любимец императрицы, остзеец, «герцог курляндский» Бирон — очень надолго запало в память русскому народу мрачное словечко «бироновщина»... Он вершил дела в то время, как тучнеющая, перевалившая на пятый десяток Анна забавлялась несчастными уродцами — шутами и шутихами и справляла жестокую свадьбу их в доме изо льда, построенном на Неве...

Она умерла. Другая Анна (Леопольдовна) стала править от имени двухмесячного младенца Ивана VI Антоновича.

Ничтожным преемникам Петра не удалось, конечно, поворотить историю вспять, отменить развитие русской культуры. Пусть Анна, «императрикс», вздорная и расточительная (двор ее обходился в шесть раз дороже петровского), полагала, что академик-астроном — это тот человек, который должен составлять ей гороскопы; пусть при ней правительствующий сенат и синод имели суждение о дьяволе, взятом из воды и посаженном «во щах» в утробу двенадцатилетней девочки Ирины Ивановой где-то под Томском («чему быть невозможно»,— твердо написал обо всех таких «порчах» Петр в одном из своих указов двадцать лет назад). Все же росла русская промышленность, и больше нельзя было обойтись без гражданских школ, без механиков, без науки; и существовала академия, где ученые на торжественных актах объявляли, что прошли времена, когда нельзя было говорить про движение Земли, и занимались «счетом интегральным», и начинали исследование богатств страны; издаваемые «Комментарии» по-латыни и по-русски сообщали об этом. При академии были мастерские, которые, худо ли, хорошо ли, должны были делать дело нартовской Академии художеств.

Так что было естественно и неизбежно именно Нартову заведовать этими мастерскими.

Только академиков не кормили «не в зачет» и эконома им не наняли. И поначалу им пришлось, отзаседав торжественно в хоромах Шафирова, в самом деле разбрестись по трактирам.

Были среди них знаменитые математики Бернулли и Эйлер (для которого Россия стала второй родиной), физик Бильфингер, астроном Делиль, дельный Лейтман,

заведший оптические мастерские... Но рядом с ними (и другими подлинными учеными) были еще «профессора» нравоучительной философии, метафизики, церковной истории и такие, специальность которых вовсе невозможно было определить.

Академики собирались за круглым столом. Пышные парики облекали мясистые головы. На листе бумаги академики выводили с росчерками тяжеловесные прусские, саксонские, голштинские, будто тесанные из дуба фамилии: Гейнзиус, Вейтбрехт, Байер, Буксбаум, Гросс, Крафт (именно он понаторел в гороскопах для Анны)...

Академия поместилась на стрелке Васильевского острова, в палатах покойной царицы Прасковьи Федоровны. Рядом ухмылялись в спиртах скрюченные монстры.

Иноземцы-академики жили не мирно. Академик Майер или Вильде с завистью высчитывал каждый грош, полученный академиком Юнкером или Фишером. И при неблагоприятном итоге объявлял ученое мнение своего коллеги дурацким. Тогда вспотевший коллега тыкал тростью в съехавший парик оппонента. Иногда слышался звон осколков зеркал или глухой грохот фолианта в телячьей коже...

Президентом поначалу был заместивший умершего Арескина новый архиятер с забавной фамилией Блюментрост[1]. Удовольствие целовать ручку у очередной императрицы или правительницы увлекало его гораздо больше, чем управление науками. Вместе со двором Петра II он в свое время не задумался перекочевать в Москву, откуда изредка присылал эпистолы вверенным его попечениям академикам.

Но лавры его увядали. На его руках умерли Петр I и Петр II, а затем перемерло множество особ царствующего дома. Оставшиеся в живых с опаской стали обходить архиятера. Перестали почти вовсе платить и его академикам (о которых ни Долгорукие, опекавшие юнца Петра, ни перезрелая Анна, забавлявшаяся шутами, вообще не знали точно, зачем они, академики, нужны в Петербурге). И для академии настали времена скудости.

Вот тогда-то и стал всемогущим советник канцелярии Шумахер.

У него были уши мышиного цвета и очень хитрая эльзасская голова. Некогда, обучаясь юриспруденции и

---

[1] Блюме — по-немецки цветок; трост — утешение.

богословию, он написал несколько латинских стихотворений, а также диссертацию «De deo, mundo et anima» («О боге, мире и душе»). Ставши же в России библиотекарем, а заодно смотрителем кунсткамеры, он счел наиболее важной частью своих обязанностей заботу о любимом попугае архиятера Арескина.

Петр послал Шумахера за границу — ускорить приглашение ученых и купить книги.

Среди привезенных им книг были «Галантные и амурные сатиры», «Академия игр» и «Развлечения с тенями». Он расставил все книги в библиотеке и совершил самый предусмотрительный поступок в своей жизни: женился на дочери «мундкоха» Фельтена, повара Петра.

Теперь Шумахер пожинал плоды своей мудрой и рачительной жизни.

Канцелярия, где он начальствовал, поднялась надо всей академией. Какими-то ловкими и для себя самого небесприбыльными операциями Шумахер наскребывал гроши в тощую академическую казну и совал подачки в первую очередь наиболее покорным, в частности и в особенности своему свойственнику, академику естественной истории Амману. И академики сами собой привыкли входить в канцелярию несколько навытяжку.

Ум у Шумахера был от природы игривый. В течение своей воздержной и трудолюбивой молодости он его методически обуздывал. Но теперь святилище наук представлялось ему доской для любопытнейшей шахматной партии. Он со вкусом организовывал битвы докторов аллегории с профессорами элоквенции. Эйлер, Бернулли, Бильфингер, Герман... Математики, прославленные физики! Тщетно пытались они помешать умелому шумахеровскому дирижированию, требовали «абшиду» — грозили уехать, отправляли жалобы юнцу Петру и Анне (которые отродясь ничего не читывали), являлись в канцелярию с настойчивыми требованиями.

Шумахер садился за очередное ироническое письмо Блюментросту: «Соскучившись от многих их глупых вопросов, я раскланялся и ушел».

А двору академия казалась чем-то вроде обременительной и нестройной, хотя почему-то необходимой солдатской команды. И для наведения порядка к ней президентом был приставлен в 1734 году барон Корф, Иоганн Альбрехт, так прямо и названный, «главным командиром академии». При «командире» Корфе Шумахер укрепился

еще больше и стал неколебим (Корф его и сделал советником). А когда в 1741 году академическая команда осталась вовсе без командира, Шумахер, доказавший некогда на кухонной латыни благость провидения, очутился полным самодержцем в обиталище наук...

Но науки, впрочем, все-таки росли. Науки были необходимы стране. И помаленьку все прибавлялось при академии русских специалистов; появилось там и «Российское собрание». И студент Ломоносов уже жадно усваивал за границей премудрость европейских университетов, чтобы вскоре превзойти ее.

Но ежели никакой Шумахер ничего не мог в конечном счете поделать с этим, то — не в конечном счете, а на каждый день — он вполне мог неусыпно радеть, чтобы академия вовремя поставляла оды на разные торжественные придворные случаи, а равно прожекты иллюминаций, подобных версальским, и печатала «подносные» книги. Мог он (впрочем, постоянно упуская выдавать на это деньги) неустанно пещись и напоминать о столпе, коря Нартова: столп был вполне под стать придворному одописанию и фейерверкам. Однако Нартов не стал заниматься бенгальскими огнями; мало прикасался он и к столпу.

Он принялся по-своему делать дело.

Умножил число русских мастеров в академических мастерских, мастерские же начали изготовлять детали машин, научных приборов. Построил винтонарезной станок, станок для вытягивания свинцовых листов, пожарную машину, станки зуборезный и пилонасекательный, принялся за изготовление образцов-эталонов сажени и аршина.

Он уже немолод, но сил ему по-прежнему не занимать — столько лет работал вполсилы, надо наверстывать. И почти сразу после назначения в академию он взялся по своему почину еще за одну работу, работу вне академии.

То была работа для русской армии.

Известно, что артиллерийскому делу он оказал значительные, «небывалые в России» услуги.

Отзыв о первой серии его работ помечен 27 мая 1741 года. Сенат дал знать в академию, что Нартов «за его в сверлении пушек полезное искусство» произведен в коллежские советники.

В сущности, он принялся теперь продолжать то, что

начал при Петре. Тогда для стремительно создаваемой могучей артиллерии он придумывал подъемные механизмы и лучшие способы литья, а вместе с Батищевым строил станок для сверления глухих пушек. И вот он совершенствует этот станок. Правительству Анны Иоанновны и затем Анны Леопольдовны надо было сперва перепробовать «секретные инвенции» (изобретения) иностранцев, чтобы наконец признать станок Нартова.

Среди других нововведений Нартова интересна скорострельная батарея. На круге-лафете установлены 44 мортирки жерлами во все стороны; они стреляют залпами — по полдюжины мортирок зараз.

Он сообщал прямо сенату все новые свои «способы», касающиеся артиллерийского ведомства, минуя верховодящих и в этом ведомстве иностранцев — «генералов-фельдцехмейстеров».

Для Академии же наук у него был готов проект: создать наместо многих мастерских одну общую «Экспедицию лаборатории механических и инструментальных наук».

И тогда советник Шумахер решил дать мат «второму советнику», который один открыто противостоял ему, не признавая ни его власти, ни установленных им правил академической шахматной партии.

Начал он с того, что объявил Нартова несуществующим: он вовсе не внес его в список сотрудников академии. Затем сочинил такой отзыв о Нартове: «Он, Нартов, в знании чужестранных языков необыкновенен, а писать и читать не умеет и в пристойных к оной академии учениях не бывал, ибо, кроме токарного, иного художества не знает».

Заведомая лживость этого отзыва говорит, что нервы советника пошаливали.

Но Нартова нелегко было принудить к сдаче. Он пожаловался в сенат, откуда, конечно, только вежливо запросили об «усмотрении» того же Шумахера.

Шумахер отвечал, что он, Нартов, «столпа» («сего великого и важного дела») «и не начинал, а между тем трудился на артиллерию», и вообще «инструментское дело есть художество, равно как литье колоколов, сверление пушек — ручная работа, а до высоких и свободных наук нимало не касается».

Так он отваживал от академии лучшего инженера-механика.

Впрочем, не его одного: из «оной академии» — обители «высоких и свободных наук» — советник выжил Германа, Бильфингера, гениального Даниила Бернулли. Уехал и Эйлер, один из величайших математиков всех времен; он вернется в Россию, вторую свою отчизну, только через долгие годы, когда уже ляжет в могилу советник Шумахер. Тогда не станет и Нартова, завершит свой жизненный путь Ломоносов. Эйлер будет преклоняться перед ним издалека; с живым же Ломоносовым он больше не встретится...

Шумахер без хлопот замещал всех отъехавших новоиспеченными академиками. Нет, что прежние профессора метафизики и нравоучительной философии! Своими особами украсили храм мудрости (до которого «нимало не касался» Нартов) домашний учителишка Бирона и его же письмоводитель, превращенные в академиков Штрубе де Пирмона и де Руа.

В Петербурге настали перемены. На российский трон взошла Елизавета, вчерашняя опальная царевна, дочь Петра, свергнув в ночь на 25 ноября 1741 года Анну Леопольдовну с ее младенцем Иваном. Верховодство немцев при дворе кончилось. Но зато оказались очень сильны, на первых порах, два француза — посланник Шетарди и врач Елизаветы Лесток. Перемены эти вовсе не затронули Шумахера: он быстро сообразил, чьи желания теперь следует угадывать на лету. Доктор Лесток едва намекнул — и академического звания был скорым манером удостоен некий Сигизбек. Хотя этот муж мирно выращивал травы для декоктов в петербургском гошпитале, наподобие брата Лоренцо из «Ромео и Джульетты» Шекспира, но оказался он желчен и проникнут скепсисом. Он сочинил «Сомнения против системы Коперниковой», то есть против основ астрономии, а заодно — против системы Линнеевой, то есть против основ тогдашней ботаники. Выполнив эти два геркулесовых подвига и наведя, таким образом, трепет на две ученые дисциплины, новый академик совместно со своими дылдами-сыновьями дебошами поверг в страх и всю округу на Васильевском острове.

Однако доктор был вполне доволен.

И, обозревая вверенную ему академическую команду, советник Шумахер имел основание полагать, что она состоит в отличном порядке. Он хохотал, припоминая, как

и Делиль (тоже, впрочем, желавший отъехать) пробовал жаловаться на него:

— Делиль и Нартов — два обманщика и дурака!

Мышиные уши советника при этом не краснели, а серели еще больше.

Крушение правительствующих немцев прошло даже не без пользы для Иоганна Шумахера. Унтер-библиотекарь Тауберг, заботливый зятек советника, извлек из бумаг поверженного Остермана секретные карты с открытиями русских мореходов. И советник с чрезвычайной выгодой переправил их за границу.

ПРАВИТЕЛЬ

И все-таки Шумахер на этот раз ошибся в оценке положения на шахматной доске.

Нет, Нартов не получил мата. Совсем напротив: он сплотил всех, кто был обижен советником, и встал во главе их.

Пускаться в сложную дипломатическую интригу, выяснять соотношение сил, устраивать раскол Нартов не умел. Он попросту собрал к себе средний и нижний «этажи» академии. Тут были Шишкарев, высеченный за брань против немцев студент, переводчики Горлицкий и Попов, копиист Носов, граверский ученик Поляков, и канцеляристы, и академические служители.

В комнату, где писалась новая жалоба, захаживал Ломоносов. Некоторые черновики жалобы, говорят, писаны его рукой.

Ломоносову было тридцать с небольшим; «первым русским университетом» он еще станет. Но Нартов уже сейчас всюду за этого упрямого круглолицего молодца, так похожего на него самого, на Нартова, когда он был молод. И сколько раз он вызволял Ломоносова из бед, которые подстерегали того, порывистого, неуемного, на каждом шагу в Шумахеровом царстве!

Господа сенаторы не торопились вникать в бумаги. Несколько месяцев они размышляли, что им делать с рапортом Нартова. Они плохо знали «ближнего мастера» Петра.

Со своей второй жалобой и жалобами всех обиженных он в июле 1742 года поскакал в Москву, где тогда жила Елизавета. По пыльной долгой дороге день и ночь с гиком мчались курьерские тройки. Через сорок лет мимо тех же нищих деревень проедет Радищев, вслушиваясь в заунывные мужицкие песни и в свист кнута на барских конюшнях среди ржаных полей...

В письмах, которые вез Нартов, говорилось, что никто из русских людей с начала академии не произведен в профессора и даже учить русских юношей перестали; говорилось и о том, что Шумахер — лихоимец и самоуправец, «а Петр Великий повелел учредить академию не для одних чужестранных, но паче для своих подданных». Упоминалось еще, что иностранцы, выписанные Шумахером, не считают нужным ни строчки печатать по-русски. И академия ныне «никакого плода России не приносит».

В Москве веселый двор пил шампанское и плясал вокруг румяной Елизаветы. Императрица считала себя «кумой всех гвардейцев». В походном гардеробе возили за ней тысячу платьев, хотя больше всего ей в самом деле шел гвардейский мундир.

Она умилилась, увидев старого токаря своего отца.

— И тебе, дружок,— сказала она,— досадила немецкая саранча.

— Эмиссары дьявола,— галантно вставил посланник Франции.

— Мы покажем им, как шкодить в Российской империи. Ты сам, слышь, дружок, станешь над академиками!..

Доктор Лесток спутал па сложного, прямо из Парижа, должно быть, весьма полезного для здоровья танца. Очередная галантная острота застряла в глотке французского посланника. Великолепно, конечно, сокрушить «немецкую партию» во славу белых королевских лилий прекрасной Франции. Но Шумахер, в частности, был не столько «немцем», сколько вполне удобным своим человеком на нужном месте. И вдруг Нартов во главе академии — какой нежданный и пренеприятный «реприманд»!..

Елизавета же, ободрив еще раз механика улыбкой, отошла к красавцам гвардейцам. Она все оставалась царевной-хохотушкой: любила веселье, шумливые поездки на богомолье, простую бабью «заплачку», которую надо петь пригорюнившись, и в ее широкой груди резво билось доброе сердце, изумленное поворотом фортуны, этим но-

вым словом — «императрикс». Елизавета высоко подняла бокал; клики «виват» раздались, показалось ей, именно в честь только что совершенного ею хорошего, правильного дела, внушенного, без сомнения, тенью отца...

И вот Нартов — полновластный правитель академии!

Добивался ли он этого? Нет, даже в мыслях он не рассчитывал и не мог рассчитывать на что-нибудь подобное!

Но раз уж случилось — не в его натуре было отступать.

Не был он искусен в деликатной тонкости академического обращения. Лавировать не умел.

Он принялся рубить бурелом в палатах на Васильевском.

И с первого же дня сильная шумахерская партия сплотилась против «выскочки». От ошибок никто его не остерегал, он был горяч,— его намеренно вызывали на неловкости и промахи, злорадно их отмечая.

И сколько пошлого остроумия было потрачено потом на высмеивание промахов «безграмотного» Нартова, «ворочавшего» академией! Сколько издевок отпускалось насчет «губернаторства Санчо Пансы»!

Почти два века на короткое правление Нартова в Академии наук, с тяжелой и подхалимской руки официальных историографов, было принято смотреть не иначе, как сквозь призму Шумахеровой лжи и клеветы. Ее пустили в ход сперва прямые присные Шумахера, сочинившие записки и мемуары об академической канцелярии. Затем та же клевета переползла в истории академии, настроченные скрипучими чиновничьими перьями. И повторяли ее со смаком. Отдельные несогласные голоса терялись в громогласном хоре. Истину исказили до неузнаваемости; старую злобную ложь принимали на веру, не ведая этого, и люди, которым не было никакой причины добром поминать правление в науке господ шумахеров.

Но что в действиях Нартова возмущало или веселило прежних официальных и официозных летописцев академической канцелярии?

Не то ли, что Нартов сразу объявил: он будет править академией, как этого желал Петр Великий, и в самом деле имел смелость не отступать от этого? Или то, что он решил взыскать долголетние многотысячные долги с «высоких персон», преспокойнейшим образом присвоивших академические суммы: с Блюментроста и «командира» Корфа, с адмирала Головина, который как раз был

назначен в следственную комиссию — разбирать жалобу на Шумахера; что делать, Нартов был плохим «политиком»! И национальный момент, как видим, не стоял для него на первом месте.

А может быть, еще то, что он выгнал из академической гимназии посаженных туда Шумахером профессоров, учивших русских юношей, не зная по-русски, и дал возможность преподавать Ломоносову и Тредьяковскому?

От академиков же Нартов потребовал «рапортовать» о своих открытиях «канцелярии». Это была вполне здравая, а в тогдашней академии и необходимая попытка не то что планировать науку — нет, до этого было очень далеко,— а просто ввести хотя какой-нибудь контроль, напомнить «иностранным персонам» об их ответственности за дело, ради которого они выписаны. Нартов ссылался на прямой указ Петра — указ, отмененный Шумахером,— когда писал: «Прежние профессоры — Бернулли, Лейтман, Байер, Бильфингер — о новых своих обретениях и о прочих до народной и собственной пользы касающихся делах — рапортовали».

Он встретил негодующий отпор жрецов «высоких и свободных наук». С каким усердием цитировался их «гордый» ответ Нартову, «чтобы и впредь указов к ним не присылать, а писать бы сообщениями или партикулярными письмами от господина советника Нартова, в которых бы господин советник при конце подписывался своею рукой: вашего благородия покорный слуга».

Ведь именно с этим ответом и с язвительной сентенцией, что «канцелярия — хвост, а профессоры — голова», они погнали прочь секретаря Волкова, когда он пришел к ним от Нартова с предложением рассмотреть русскую географическую работу — описание Казанцевым Северной Земли! И премудрые доктора издевательски присовокупили еще к своему ответу и сентенции требование писать им бумаги — в русской столице! — по-немецки.

Какой бурей возмущения почтили историографы приказ выведенного из себя Нартова опечатать академический архив! Но среди главных исполнителей этого приказа был *Ломоносов* — человек, который жизни бы не пожалел за науку, если бы действительно что-нибудь грозило нанести ей ущерб.

Что еще? Отказ бросать деньги на семейных учителей низвергнутого курляндского герцога Бирона? Лишение пенсий бывших академиков, уехавших из России, кото-

рым Шумахер переправлял тощую академическую казну, как компатриотам, а также из предусмотрительного соображения: «чтобы те не вздумали бесчестить академию»?

Анекдотической нелепостью выставляли нартовский проект открыть торговлю ходкими книгами в пользу академии и даже обязать купцов приобретать ученые издания «по пропорции своего торгу».

В «обители наук» тогда не было ни гроша. Сенат не отвечал на «рапорты». Он больше был занят высочайшими выходами и «куртагами», чем нуждами академии, возглавляемой к тому же своим, каким-то «токарем» Нартовым. Жалованье перестало выдаваться.

О, Шумахер нашел бы выход!

Несколько удачных советов в немецком письме, с выгодой проданные казенные дрова и вино, иллюминации, пышно гравированный титул «Описания академических палат», где боги Олимпа, в их числе и Афина, незримая покровительница мудрецов, склоняются перед именитым адресатом...

А вот Нартов простовато хотел распространять книги, распространять — пусть даже с помощью царского указа.

И насколько меньше знали бы мы о человеке Нартове, не случись этого правления его в академии!

Нартов вознамерился было в каждой науке оставить по одному иноземному академику. Это было — сплеча! Но ведь он слышал, как, даже не понижая голоса, заявляли: «Довольно с нас одного Ломоносова». Даже «академический псарь» был привозным и получал 200 рублей в год!

Нартов предложил резко увеличить число «российских елевов» (учеников). И настаивал на том, чтобы сочинения академиков издавались по-русски — во всяком случае переводились с латинского «для пользы российского народа» академические труды — «Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae» («Комментарии Петербургской Академии наук»): ведь переведенный «Комментарий на 1728 год» был раскуплен до последнего экземпляра!

Сенат не отвечал ничего. Должно быть, он усмотрел в академическом «Санчо Пансе» все признаки опасного безумия старого рыцаря из Ламанчи...

И этому следовало положить конец. Нужна острастка, да покруче! Расправа, настоящая вельможная, истинно дворянская,— чтоб было неповадно. Палки — и побольней!

Тут еще прибавилось и то, что правитель этот, Нартов, никаких «персон» не боялся и — что считал нужным — рубил напрямик.

И пусть он с железным своим, ни перед чем не отступающим упорством добился-таки, чтобы академии выплатили (вынуждены были выплатить!) все, что ей полагалось: добился, чего никто из президентов и «командиров» не добивался. Финал не мог быть изменен.

И колотушки приближались.

Историограф Миллер и ботаник Гмелин вернулись из путешествия по Сибири.

Миллер, усердный собиратель фактов прошлого, человек очень знающий и трудолюбивый, твердо верил в бога на небе и в царя на земле и был врагом всяческих послаблений по отношению к «подлым».

— Das ist der Aufruhr des Pöbels! Это бунт черни! — громыхнул Миллер.

— Ja, es ist eine Rebellion des Pöbels,— тонким голосом отозвался молодой, тощий академик Гмелин. И, скинув рысью шапку с кисточкой, побежал устраивать судьбу ящиков с сухими листьями и тетрадей, где все эти листья были описаны тщательным готическим бисером.

Но академик Сигизбек чрезвычайно хмуро встретил «флору Сибири», привезенную Гмелиным.

— Это вы, коллега,— вкрадчиво начал он,— вы хулили ученый трактат, который я сочинил о траве майник? Вы нашли в нем недостатки, прямые ошибки и даже позволили себе назвать его невежественным? Мальчишка! — вдруг яростно завопил питомец Лестока и гроза Васильевского острова с почти миллеровской экспрессией.— Так посмотрим же, кто здесь ботаник!

И он захлопнул перед носом сибирского путешественника калитку ботанического сада академии.

Но это были домашние свары. Слово было найдено. Чернь. Бунт каналий. Профессор Миллер сел строчить. Он упрятал — первая победа! — в кутузку Ломоносова за то, что тот показал шиш профессору Винсгейму, определенному Шумахером составлять календари. И Нартов как ни старался, так и не вызволил Ломоносова. О нем самом, о Нартове, было сообщено, что он причиняет академическим делам остановку, а интересам ее величества — ущерб.

Приближенные к монаршей особе, а больше всех

сладкоречивый доктор Лесток, взяли на себя труд объяснить «императрикс Елисавет», как смотреть на все это кляузное дело.

— Помилуйте, матушка! И Бирон, и Миних, и Остерман, конечно, эмиссары дьявола, но что же это будет, если подлым дать волю!

Трудно быть императрицей — даже Петровой дочери...

Приметы были безошибочны. Зять Шумахера Тауберт открыто отказался подчиняться канцелярии. Двое из «русской партии» — Адодуров, математик, и Тредьяковский, пиит, осторожно отошли от Нартова. Теплов, ботанический адъюнкт, взял сторону Шумахера.

Правда, далеко не все академики объединились в доносе на Нартова. Не значилось подписей Брэма, Геллерта, Гольдбаха, Делиля и других. Но теперь это было все равно.

И Шумахер приободрился, на следствии он ощутил прилив природной игривости ума. Ах, тут упоминается про четырех лакеев и еще шестерых гребцов для его собственной увеселительной шлюпки, которых он держал на казенный счет? На то прямая воля президента Блюментроста. Нигде не обозначено, ни в какой бумаге? Президент, следственно, сказал об этом устно. Он закрывал науки? Бог мой! Науки открывают и закрывают профессора. И яду на Россию он не имел. Вообще ядом никогда не занимался — не аптекарь. Ни яду, ни скрежетания, как остроумно выражается этот молодой господин Горлицкий, сочинитель жалобы. Вот вино казенное пил, точно. Грешный человек, как устоять против бутылочки, обросшей мхом! Отличное токайское или бургундское! Или высокие господа из следственной комиссии предпочитают рейнское вино?

Лесток досказал за Шумахера остальное, и с таким успехом, что диалоги между советником и следственной комиссией оказалось возможным сильно сократить: лейб-эскулап был пока еще в полной силе.

Адмирал Головин горячо витийствовал в комиссии. И комиссия порешила: Нартова выкинуть вон; потом смилостивилась: вернуть к станкам. Прочих доносчиков на Шумахера бить кнутом. Горлицкого же — казнить смертью.

Впрочем, Елизавета помиловала и даже велела (его и других) оставить в академии; но Шумахер очень легко это отвел.

Триумфально, с извинениями и щедрым возданием за все, что претерпел, он был водворен обратно в палаты на Васильевском, под сень Минервы, как изящно, в классическо-мифологическом духе, выражались при дворе. И советник Шумахер воспарил выше, чем когда-либо прежде. Самому себе он, верно, представлялся в том же аллегорическом роде, не иначе, как совой, излюбленной птицей этой богини — Минервы, Афины тож.

Он с наслаждением садился за ироническое письмо: «Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой, а не Ломоносов, произнес речь на будущем торжественном заседании, но не знаю такого меж нашими академиками. Вы сами, милостивый государь, ведаете, что ни голос, ни наружность гг. Винсгейма и Рихмана не дозволяют доверить им публичную речь... Если бы г. Миллер был в числе академиков, то, так как он довольно хорошо произносит по-русски, обладает громким голосом и присутствием духа, которое очень близко к нахальству,— мне бы хотелось предложить его. Г-н Бургаве, находясь в затруднительном положении по случаю любовного процесса, который не кончится, пока он не удовлетворит плута и пьяницу отца, не наберется смелости произнести публичную речь, так же как и г. Кратценштейн, влюбленный, говорят в городе, в женщину низкого происхождения. Я приметил, что во все времена гг. наши профессоры эмансипировались в делах любви и брака».

Адресатом был Григорий Теплов, недавний невидный адъюнкт, прыгнувший так высоко и так ловко — в наставники юнца Кирилла Разумовского, нового президента академии. Теплов — сметлив, вот уж у кого присутствие духа, близкое к нахальству, для сената и двора он — свой, и в силе он такой, что приязнь его теперь важнее всего советнику...

ЯСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Город оплывал туманом, горизонтов не было, весенняя капель съедала гнилой снег, пестрые флаги кораблей полоскались под низким небом, жизнь проходила за окном петербургского дома, безжалостная, стремительная жизнь... Росли дети, большая семья: три сына, три дочери. Дом был просторен и совсем не похож на прежнюю избу. Седая щетина проступила на щеках...

За плоской чертой земли и светлой воды лежала страна — сполохи горели над рыбными морями, лесными скитами и верфями Архангела-города, чистенькие островерхие дома гляделись с янтарного берега в неспокойные воды Балтики, поля стлались вокруг дивных городов в сердце старой Руси. Пылающее солнце где-то наливало живым огнем гроздья виноградных лоз, и степной ковыль звенел, провожая к Азову синий Дон. Вились пути по рекам, по борам, уводили на солнечный восход, где горбатые горы сторожили несметные сокровища, и смыкалась глухая тайга, и сменялись земли и народы, и опять были горы, степи, леса, города, реки безбрежные, как моря, пути без края, без конца — и то все была Русь... Страна лежала такая огромная, что многими месяцами добирались до границ ее указы из Петербурга, царской столицы... И в этой стране, несчетно богатой, миллионы людей ели горький хлеб неволи и нищеты, и гнулись под батожьем по пашням, по заводам, по казармам, и прирастали к земле... Но в песнях было живо великое слово «воля»; тем чудесней воскресало оно, чем крепче прикручивали к земле, к барской неволе людей. И глухо гудела, сотрясалась земля, сытая потом-кровью, гудела и сотрясалась по заводам, по рудникам, по поместьям, грозно шумели казачьи станицы.

Под окнами петербургского дома проходило безжалостное время. То оно летело на крыльях, то мешкало, все долгие годы твердило голосом кукушки на часах голландской работы: «завтра, завтра — не сегодня»,— и вот наконец, совсем прошло.

Нартов — старик, тот самый Нартов, что был сухаревским мальчишкой, петровским токарем, который превзошел мастеров и механиков Темзы, искусников Парижа своим несравненным художеством.

Под ледяными ветрами сырых, неуютных зим, и в дни, когда весело пела река, вздуваясь, сверкая, взламывая лед, и в жемчужные, неугасающие дни лета по-прежнему он показывался на василеостровской набережной, высокий, грузный, все еще прямой.

Иногда он захаживал в соседний с академией дом, где башню увенчивала армиллярная сфера [1]. Город бы-

---

[1] Старинный астрономический инструмент; здесь — как украшение (восстановленное в наши дни на том же здании в Ленинграде).

стро менял свой вид, он рос, украшался, но там, в кунсткамере, посреди множества достойных удивления и поучительных предметов лежали за стеклами ножички, иглы, табакерки, шпага, чулки грубой шерсти, стоптанные башмаки, пожелтевшие лосины и железная полоса длиной четыре фута, весом полпуда, которую его величество изволил выковать 12 января 1724 года на Олонецком заводе. В креслах сидел «портрет», фигура из дерева и воска — парик с темными жесткими, словно конские, волосами, голубое платье, шитое серебром, при кортике и ленте Андрея Первозванного.

«Сколько бы ныне было работы дубине Петра Великого, если б посмотреть хорошенько!»

Дома он записал эту фразу. И сами собой за ней явились другие. Он доверил перу свою обиду. Обиду за жизнь, не изжитую, не выжитую,— как хотел, как мог, как было по силам. Жестокому и несправедливому времени он противопоставил героическое прошлое. Теперь оно представилось ему золотым веком. Он писал о Петре. День за днем он заносил на бумагу все, что сохранила его память. Дела государственные, великое строение, случаи в первом петровском домике, похожем на избу. В воображении Нартова они претерпевали незаметную метаморфозу. И, очищенный ею, царь сделался средоточием всех добродетелей, как их понимал старый механик и как, по его мнению, должны были понять их современники, читатели мемуаров. Ненавистник черных трутней — монахов, протодьякон «всешутейшего и всепьянейшего собора», он превратился в «истинного богопочитателя и блюстителя веры христианския». Он стал мудрым и терпеливым наставником подданных, и даже расправы дубиной оказались кроткими уроками нравственности.

Нартов писал.

Но неужели только это, только перо ему осталось? Нет, нельзя отнять у него права и чудесную силу быть творцом вещей, покорных ему так, как редко они покорялись человеку.

Вот недавно канцелярия Главной артиллерии и фортификации снова отправила сенату доношение, из которого мы опять узнаем о заслугах Нартова. Там говорится о нартовском способе зачинки раковин в литье чугунных пушек, «чего как в России, так нигде еще в европейских академических диссертациях всему ученому свету

о таковом преполезном государству новом способе публиковано не было».

Раковины были бичом пушечного литья. Сотни пушек из-за них оказывались негодными и шли в переливку. Теперь этого можно было избежать. Сосчитано, что в последние десять лет жизни Нартова по его способу было зачинено 640 медных пушек, гаубиц и мортир и 184 чугунные пушки.

Ускорение формовки пушек, изготовление орудий сразу с готовым каналом ствола, без сверления канала, «секрет», как из пушек стрелять бо́льшими, не по калибру, ядрами, «инвенция», касающаяся создания новых мощных орудий — «единорогов» (историки отмечают, что единороги дожили в русских крепостях до 1906 года)... И опять новые станки, «махины», точные инструменты, важные для артиллерийского дела оптические инструменты.

Гений старого творца вещей не оскудел ни в чем, он становился увереннее, смелее, сделанное им — совершеннее. И сколько же мог бы он сделать, если бы ему предоставили самое простое право — право на творческий труд, если бы *спросили* с него то, что он так страстно, так настойчиво желал дать!

С него не спрашивали. В течение долгих лет с него спрашивали — столп. Остальное, важнейшее для страны, он делал по собственной воле, прорываясь к этому через запреты распоряжающихся им властителей. Ему связывали руки. Заставляли расточать себя. И лишь в скудной мере допускали его изобретения, его механику к тому живому, горячему делу, к которому она рвалась.

Велели заняться колоколом. Он вступил в соревнование с Эйлером, Бернулли и Лейтманом — и его машина для подъема на колокольню гиганта в 12 тысяч пудов оказалась лучше, чем приспособления трех замечательных ученых. Но (опять!) случился пожар. Царь-колокол ухнул с подмостков — и на этот раз навсегда. Часто горела в те времена Москва. Горели деревянные посады; гибли архивы. Горел и Питер; горела сама Академия наук. Пожарную машину, изобретенную Нартовым, так и не применили, не пустили в работу...

Его награждали за ядра и пушки, за колокол, за чеканку монет — праховые деньги, подачка выслужившемуся смерду,— и не пустили на порог «высоких свободных наук» — ни его, ни все его искусство.

В эти годы он писал «Достопамятные повествования и речи Петра Великого». Он писал их в укор и как бы для реванша «вздорным людям, которые не токарные, но государственные фигуры по глупости портят».

Под пером своего ближнего мастера Петр говорил о вселенной, о славе отечества, о возвышении и падении царств, о ничтожестве знатности и полезности для государства великого человеческого художества. Он обращался через три десятилетия прямо к потомкам, к правителям, к тем, кто должен был прочесть записки. Старый мастер подписал предисловие: «Андрей Нартов, действительный статский советник, Петра Великого механик и токарного искуства учитель» (он умер только статским советником).

Мы можем сомневаться, действительно ли Петр сопровождал каждый свой шаг нравоучительными изречениями. Но зато, читая в «Повествованиях и речах» записи хотя бы только о тех случаях, свидетелем которых был сам Нартов, мы убеждаемся, как широк был круг интересов Нартова, разнообразны знания, глубок и восприимчив ум.

И, внимательно прислушавшись, мы услышим не только обиду, но еще и *торжество* в этой книге. Это торжество человека, который знает и уверен, что все-таки жизнь его прошла не вовсе даром, что она была нужна его родине и что сделанное им живет и будет жить вопреки «вздорным людям», шумахерам, тепловым, адмиралам головиным.

В академической экспедиции Нартов доделывал столп — может быть, теперь с большей охотой, чем когда-либо в жизни. Он превращал триумфальный памятник, с чудесно выточенными изображениями дел Петровых, в шедевр русского искусства. Он хотел, закончив столп, повторить его в слоновой кости.

Все же он так его и не закончил: незавершенный столп стоит в Эрмитаже в небольшом круглом зале при галерее Петра.

Еще раз Нартов ездил в Кронштадт. Он указал, как перестроить шлюзные ворота на большом канале, и изготовил модели «пятников и подпятников» к ним.

Есть сведения, что под конец его жизни от него потребовали устроить «катальную гору» в Царском Селе для веселого двора Елизаветы, все не желавшей примириться с тем, что молодость ее давно прошла.

И он придумал веселую гору.

Но осталось еще дело у Нартова. Одно из самых важных дел. Он предпринял его, как итог всему, чего добился в жизни и что оставлял стране. И это дело он доделал.

Как же могло случиться, что до 1952 года мы ничего не знали о нем? Какие равнодушные руки сразу же наглухо похоронили это завещание творца техники, так что сохранился только слух, что была, мол, такая предсмертная рукопись, была, да «утрачена»?

Книга, никогда не напечатанная, рукописная, обнаружена советскими учеными в хранилищах огромной Ленинградской государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Три исследователя истории русской культуры и русской техники (В. Данилевский, В. Васильев и В. Ченакал) изучили книгу. Поражает уже ее заголовок: «Театрум махинарум или *ясное зрелище махин»*.

Человек, который, владея всем, что дала техника до него, сам пробил ей дорогу в завтрашний день, показывает это «зрелище», выводит на сцену для всех открытого «театра» невиданные машины. Нет секретов, нет тайн. Механизмы, дивившие Биньона, механизмы, чья работа казалась чудодейственной, машины, каких не было и долго — много еще десятилетий — не будет нигде, кроме той страны, где создавал их Нартов,— вот они, эти механизмы и машины, смотрите, как просто и ясно их устройство, как понятны законы, на которых они основаны, берите же их! стройте! множьте! обновляйте!

Он говорит об истории механики, ее зарождении и развитии, о сочетании практики с теорией, о месте механики в больших делах страны,— участник этих дел и мыслитель, механик и ученый, свободно распоряжающийся обширным, разносторонним, единственным в своем роде знанием. И за ним-то полтораста лет волочили — даже пачкали ею словари[1] — гнусную, глупую ложь Шумахера!

Он разбирает конструкции машин, принципы их действия. («Это первая энциклопедия машиностроения!» — отзываются о книге исследователи.) Мы читаем о 28

---

[1] Смотри, например, «Новый энциклопедический словарь» Брокгауза—Ефрона, т. 24, вышедший в 1916 году.

станках самого Нартова, о станках с механическим суппортом.

Нартов построил больше 28 станков; в книге (он оговаривает это) описаны не все. Техника, какой не бывало, рассказана строго взвешенным словом, раскрыта 80 точными чертежами, рисунками; два ученика, Петр Ермолаев и Михаил Семенов, участвовали в изготовлении их.

Техника? Нет, и в этом своем техническом завещании он не ограничивается ею. Он говорит о столпе. Вот имена древних царей, громоздивших бессмысленные груды камней, строивших нелепые лабиринты. Что ему до истлевших деспотов? Ледяные дома и катальные города сто́или лабиринта. Аллегория была прозрачной. Всем понятен и вывод: Петр же полезными делами прославил себя. То было «ясное зрелище» времени, государства, судьбы его.

Он написал свою самую замечательную книгу в 1755 году.

Из окон дома, где умирал старик, были видны леса, еще шумевшие на Васильевском острове.

Он не оставил богатств, а только 3929 рублей долгу.

«Достопамятные повествования и речи» потом заканчивал сын Андрей, младший и удачливый. Для него, если не для себя и не для старшего, Степана, петровского крестника, отец добился-таки превращения из смерда в шляхтича[1]. И расчистил ему путь к вершинам табели о рангах, в толпу российской знати. Воспитанник шляхетского корпуса, он стал франкмасоном, членом медалического комитета Екатерины II, президентом Российской академии и Вольного экономического общества; писал оды, эпистолы, переводил комедии Детуша. Он сделался тем, чем никогда не мог сделаться отец: своим для дворянской верхушки. И вряд ли охотно вспоминал об отцовском «художестве»; скорее, мысленно он всегда стремился оправдать отца умильной и верноподданнической этикеткой: «Петра Великого ближний механикус и токарного искуства учитель»...

Заканчивал книгу он совсем в другом духе, чем начал отец.

Он вставлял в нее переводные рассуждения из Элеазара Мовильона, анекдоты, рассказанные Вольтером,

---

[1] Так, польским словом, обозначали в восемнадцатом веке дворянство.

и тирады Жан-Жака Руссо. Его не смущало, что Петру приходится декламировать сатиры на французское общество. И Петр вышел у него похож на ложно-классического героя во вкусе французских драматургов и просветителей.

А могила отца при церкви Благовещения на 8-й линии Васильевского острова с течением времени затерялась. Когда, снимая слои земли, ее отыскали в конце 1950 года советские исследователи, чтобы перенести прах умершего два века назад человека в некрополь Александро-Невской лавры, усыпальницу знаменитых русских людей,— они прочли еще очень разборчивое:

«Нартов Андрей Константинович, статский советник, служивший с честью и славою государям Петру I, Екатерине I, Петру II, Анне Иоанновне, Елисавете Петровне и оказавший отечеству многие и важные услуги по различным государственным департаментам, родился в Москве 28 марта 1680 года, скончался в С.-Петербурге 6 апреля 1756 года».

Небрежными руками выбита надпись. Сомнителен указанный в ней год рождения — очень вероятно, что Нартов состарен ею на целых четырнадцать лет. Он умер не 6, а 16 апреля. Никто не дал себе труда отнестись внимательно хотя бы к основным датам его жизни. И он не служил государям — он служил народу.

Он был бесстрашен, горяч, правдив, горд,— силач и борец, строитель машин, токарь, литейщик, инженер, художник,— его имя хотели связать только с книжкой, где шла речь о монархе, о венценосце. «Достопамятные повествования» издавали не раз — ото всех глаз было укрыто «ясное зрелище», которое он хотел яснее всего показать родине, России.

Но пусть вельможный восемнадцатый век Российской империи, силившийся блистать заемной ложно-классической пышностью, век резких противоречий — суворовской славы, ломоносовского гения, рабства внизу и безумного расточительства, пудры и фижм наверху, до смерти напуганный Пугачевым, а сходя в могилу, костлявой рукой в старческом страхе задушивший Радищева и Новикова,— пусть этот век, в лице своих правителей и тех, кто выражал их самодержавно-дворянскую волю, пусть он стремился стереть или исказить память о луч-

ших сынах России, выходцах из народа. Нет, не пресеклись нити, которые впрял Нартов в культуру своей страны.

Десятки учеников и ученики его учеников подхватили то, что выпустили его руки. На множащихся заводах и верфях работали его станки. Стреляли его пушки.

Они протянулись, эти нити, к гениальному Кулибину, к Сурмину, Сабакину, изумительным механикам конца столетия, а те передали их девятнадцатому веку; так они впрялись в творчество новых поколений русских инженеров, часто не ведавших уже, откуда, от кого пошли чудесные нити.

Сказочно шагнула в наши дни техника, но исследователи отмечают, что вот и сейчас в швейцарском и американском станке повторены как новинка отдельные нартовские «ходы» и решения (например, торцово-зубчатая передача под прямым углом).

Так далеко заглянул вперед тот, в чьем творчестве осуществилось единственное сочетание — новаторской техники с прекрасным искусством.

1938; 1952

Маленькие повести и рассказы

НЕВЕДОМАЯ ФРЕСКА

— Вон какая келья! — сказал Чуклин.

— Не представляли себе? — Сумская вспыхнула. Она хлопотала суетливо, порывисто, неумело, освобождала вешалку, стол, почему-то бегом перенося по одной вещи через комнату, высокая, длинноногая, худоватая.

— Вот, значит, ваша келья,— опять усмехнулся Чуклин.

— Замерзли, Матвей Степанович? На ночь обещали градусов двадцать... Что же я — чаю? Да, видите, условия... Я так рада, что вы приехали, Матвей Степанович!

— Поневоле приедешь после вашего сообщения.— Он все усмехался.— И не до чаев, Елена Ивановна. Напился на вокзале...

— Зачем? А у меня? К себе тоже не заходили? Я бронировала для вас,— сказала она не с похвальбой, а с гордостью школьницы, показывающей отцу пятерку.

— Прямо, прямо к вам!

С порога охватила Чуклина горьковатая гарь от вытопленной и уже закрытой печки, смешанная с застарелым духом холодного табачного дыма. И чуточку с жестяным привкусом пищи. Хлопали двери, в коридоре и за стенками — голоса вразнобой. Откуда-то вдруг потянет запашком отхожего места. Воздух допотопной деревянной гостиницы,— еще не сменили ее, выходит, воздвигаемым высотным, этажа в три, четыре, гигантом! Воздух *той самой* гостиницы. Забытый за годы и мгновенно воскресший в памяти — домашний, уютный. Рассохшееся дерево, бумажные фестончики на горшке с фикусом, бордюрчик на потолке...

— Только подумать, что на исходе две трети двадцатого столетия! Век атома! — Сумская очертила рукой круг, прося извинить анахронизм окружающего,

— Отлично,— проговорил Чуклин.— Отлично... Ну, сядем, выкладывайте, что вы там...

— Сегодня поздно, мы завтра всюду пойдем с вами.— Украдкой она ловила его взгляд. Улыбнулась: — Нет, совсем отложить не могу. Никак не могу!.. Вот хоть фото, пожалуйста, я приготовила.

Он закрыл их ладонью.

— Расскажите пока так,— попросил он.

Сели. Радостно смотря на Чуклина, она описывала место находки. Небольшой храмик. Чуклин сморщился, вспоминая его. Вовсе незаметный, подчеркнула Сумская. Облеплен, обляпан пристройками — вот и считали малоинтересным, поздним.

Теперь она стала очень серьезной. Переворошив бумажки, извлекла листок. Близоруко щурясь, что-то вычеркивая, прочла результаты обмеров. И с каждой цифрой здание будто освобождалось от напяленных на него уродливых одежд. Стены, скупо и легко члененные прямыми лопатками, устремились ввысь. Как достигалось это? — думал Чуклин. Простой куб, который становился не кубом? Какой точностью отношений между полукружиями арочек вверху и прорезями окон? Между сторонами здания и маленьким выступом — абсидой, словно девичьей грудью? Между всем объемом и узостью барабана с островерхой шапочкой куполка?

— Я думаю, Матвей Степанович, надо передатировать. Тринадцатый век.

Сдержанная, почти нагая соразмеренность — без цепенящей суровости и без всякого украшательства, болтливого краснобайства — еще не научились ему? Или попросту отбрасывали мишуру? Так строила Русь, свободная от монголов. Самое начало тринадцатого века. Вон оно что!..

— Я согласен с вами,— сказал Чуклин.

И опять она вспыхнула. Все удивительным образом сразу отражалось на ее серьезном, очень серьезном лице.

— Но вы же ничего не видели! — быстро сказала она с тем же радостным торжеством.

Он-то понимал, чего стоит ее дотошная, кропотливая, ее замечательная работа. «Работа повитухи. Работа вылущивания»,— назвал он про себя. И такова была наглядность выводов, что теперь они казались Чуклину чуть ли не его собственными выводами — да как же иначе, «вон оно что!». Разве он сам — не был он готов, *почти*

готов к ним *тогда?* Отзвук и завершение того, что брезжилось, а после забылось...

...Строение выглядело неуклюже-приземистым. «Здесь?! Ну, что ты нашла здесь? Что ты нашла?» — «Вот эта роспись».— «Фантазерка!» — сказал он. Запустение. Валялись какие-то обломки. Полутемно. Чтобы рассмотреть, надо закинуть голову. Он торопился, дни коротки, сам нагрузил себя такой грудой дел, что не уложить в скупо отмеренный срок поездки. Он видел уже, страницу за страницей, заключительные главы своей книги, которая была тогда главной для него, самым важным в жизни. И как о ней заговорили потом, когда она вышла! «Меткость суждений... Неожиданные сопоставления... Яркая концепция... Неизвестный материал, отныне введенный в научный обиход... Ломка традиций... Открытие...» Некий эстет в порыве энтузиазма расшаркался: «Открытие новой красоты древнего искусства!» Так шумели специалисты, искусствоведы, широкой публики, впрочем, это мало касалось... Итак: его книга; рабочий план; строго и взвешенно выбранные объекты — он знал, что доселе сказанное о них, скользнув по «скорлупе», лишь еле прикоснулось к их неисчерпаемости... Вон что наполняло его дни. А *это*? Вот *это*? В стороне от всего, что поглощало его? Странно, он был чувствителен к нарушениям педантически избранного порядка. К прорывам *строя.* «Посмотри внимательнее. Не спорь пока — можешь?» — «Могу,— засмеялся он.— Фантазерка!.. Постой. Нет, постой. Как ты разглядела? Не жди, чтобы я сразу... Замазано, испорчено. Записано мазилками. Похоже — не семнадцатый век. Даже не шестнадцатый...» — «Раз и ты говоришь... Не знаем, кто... Но ведь вокруг него была *совсем другая жизнь*? Не та, что при Грозном... или при Романовых? Только как же здание?» — «Не торопись. Приедем летом».— «Правда? Смотри, обязательно! Просто в отпуск. Без всякого твоего плана...» — «Обязательно! Сам вижу,— улыбнулся он ее горячности.— Это будет наш план. Твой и мой».— «Даешь слово?» — «Даю».

— Скажу я вам, Елена Ивановна, этого одного достаточно, чтобы оправдать всю вашу командировку.

Она испуганно отстранилась, у него было впечатление — даже вдруг обиженно и беззащитно ощетинилась.

— Нет, не в том же дело! И я не ради этого... А памятник, Матвей Степанович, можно сказать, в очень и очень плохом состоянии.

Чуклин подошел к окну, отдернул ситчик занавески. Грохот снаружи потрясал игрушечный домик. Тихая улочка городка сделалась магистральной автострадой, связавшей все промышленные центры этой и соседних областей. Чуклин подождал, пока отгрохотала серия крытых грузовиков, два с прицепами, и световые полосы прошествовали по потолку справа налево, затмив висящую на шнуре, лампочку в голубеньком тюльпанчике. Гигантская рука света махнула по белокаменным стенам с черными проемами порталов, взметнувшись до шеек глав гладких, чешуйчатых, звездчатых,— он видел их прямо перед собой, за окном.

— Отсюда неверный ракурс, Матвей Степанович,— сказала за спиной его Сумская.— Заслоняют переходные формы, эклектика. Портишь впечатление...

— Эклектика... Мы — народ зодчих, помните у Грабаря?

— Я не занималась специально поздними эпохами. Ни русским барокко. Минус, сознаю, нехватка универсальности... И я увлечена — однолюб,— прибавила она.

«Отсюда я и увидел это в первый раз? Именно отсюда? Из этого самого номера?» Чуклин мучительно старался вспомнить. Нет, как это было? Такой же вечер, часа на два раньше. Только что приехали, прошли насквозь городок. Улица по косогору — одна сторона смотрит поверх окошек другой. Тропки зажаты между домишками и сахарными сугробами. Близко над головой — снежные козырьки с крыш. В несколько минут все преобразилось. Лиловато зарумянились козырьки, сахарность растворилась в легчайшей сини. Толкая друг дружку, спешили девушки, закутанные до бровей, и все же видно было — принаряженные. Весело прижались к щелястому забору: посередке, как в лотке, цепочкой, в гробовом и торжественном молчании,— тяжелейшие рюкзаки за спиной,— ехали велосипедисты, скрючившись, работая ногами с неистовой серьезностью — будто скорым туристским ходом совершали марш-бросок, ровно сто восемьдесят ударов-шагов в минуту. Откуда? Куда? В такой мороз?! И, без единого словечка, оба они вместе засмеялись. Они были способны засмеяться в тот вечер от чего угодно. А он смотрел, как заполыхали ее щеки — горячим заревом, до прядки волос, до черной шапочки, а ниже, у шеи, за неровным, точно на географической карте неведомого мира, горячим краем, сразу молочно сквозила

белизна — он не отводил глаз от этой нежной белизны. И вдруг, стихнув, они увидели небо. Оно стало гораздо выше, чем четверть часа назад. В ясности, абсолютной прозрачности вечера оно словно выгибалось, напрягая и напрягая какую-то струну. Небо улетало от земли. А когда улетит, настанет ночь. Они взялись за руки и побежали. Улицу рассекал овраг. Тропка обратилась в желобок с обледенелыми бортиками. «Значкист! Альпинист! Смотри — как я!» Снег на склоне слежался в наст. А местами проваливался с острым и хрустким изломом. Она забежала вперед, вернулась, повела за руку. «Никакого почтения?» — спросил он.— «Никакого».— «К ученому званию, чинам, орденам?» — «Замолчи. Заработай ордена. Наступай аккуратней, там, где я». Сейчас ее шапочка была ему по плечо. И, большой, он покорно, неловко ступал, больше всего боясь наступить ей на обсыпанные снегом ботики. На другой стороне под голыми деревьями было сумрачнее, шли по кочкам. «Болото?» — «Могилки,— сказала она.— Упраздненное кладбище. Бог знает, какое давнее». Ресницы ее заиндевели, когда она смеялась — на них дрожали порошинки. И вот тут, в далекой дали, сквозь переплет ветвей, из сумрака на свету, явилось *это*. Башни и шатры, цветущее многоцветье, пучки маковок, взлет стен, гладь и каменное узорочье, серебро и голубень. То, что он стремился постигнуть жадно, неуемно, в плену властного очарования, самозабвенно твердя старые слова: столпы, бочки и кокошники, закомары, гирьки, кубастость и клетскость, в лапу и в обло, восьмерик на четверике. Чтобы уловить, исчислить закон красоты, созданной древними мастерами, когда еще и помину не было даже людей, лежащих вот тут, под этой рябью нестрашных, припорошенных, упраздненных холмиков... «Град», поднятый ввысь, над землей, плотными, теплыми слоями сияющего воздуха, преображенный несказанной радостью того вечера!

Затишье — и потрясающий грохот, звон и выпевание игрушечного оконца, пробежка световой дорожки по потолку, сноп, обшаривший высокие фасады напротив.

— Я обратила внимание на отличие в манере одной фрески,— сказала Сумская.— Небольшой участочек, чрезвычайно неудобно расположенный. И в дефектном состоянии. Не бросается в глаза, да и не искали — если сама постройка признавалась очень поздней. И заслонено росписью, хронологически пестрой, безликой, с обычными уставными характеристиками.

— А там, на этом... участочке, уж, верно, тоже ведь не портретики братии с клирошанами, против устава? Не так ли, Елена Ивановна?

Она вопросительно подняла глаза, слегка удивившись ненужной шутке.

— Не в нашем же смысле! Культовая живопись, неизбежная аллегория, обобщенность образов. И хоровое начало, исконно присущее русскому творчеству, чуждому индивидуализму. «Мы», а не «я». Это объяснимо исторически, вы отлично знаете.

— Пусть так. Две манеры. Честь и хвала вам,— ворчливо и придирчиво заговорил Чуклин.— Но почему именно он? Какие данные? Известен Прохор с Городца, Даниил Черный — смешно, что крутимся вокруг трех-четырех имен, только и дошли до нас. А было множество, учителя, ученики. Кто старше, почитался главнее. Вот автографов не оставили, писали неподписное — большая оплошка. Трудились безымянно, артельно — пожалуйста, извольте: хоровое начало! Так какие же данные? И что известно о его пребывании в здешнем городе?

— Я ждала возражений, Матвей Степанович. А что известно о его поездке в Новгород? А вернее всего, он ездил в Новгород. Что известно вообще о его жизни, даже о начале, конце? Пробелы, зияния... Я пытаюсь уточнить: он мог попасть сюда после росписи во Владимире, во время нашествия Едигея, а следом — набега Талыча, когда тысячи людей спасались на севере в лесах,— так он очутился в глухом посаде, в стороне от дорог. Это не произвол мой: у меня анализ фрески. Я доказываю. Никакие отдельные вторжения больше не могли изменить идейного фона эпохи. Куликовская победа — вот что было основным. Неудачи кратковременны; раны быстро затягивались; размах строительства следовал за каждым опустошением.

Чуклин прикрыл глаза. Разве он не помнит наизусть, во всех подробностях ту фреску, ту роспись? Но приходила ли ему в голову такая догадка? Смела ли прийти? Фреска Андрея Рублева! Никому не ведомая. Того Рублева, чей каждый мазок — как редчайшая драгоценность!

— Я думаю, он был здесь очень недолго, Матвей Степанович. Участие его крайне ограниченно...

...Значит, вот так. Очутился в здешнем краю. И тогда, проведав, что он поблизости, стали звать-зазывать мос-

ковского, Андроникова монастыря, чернеца в эту маленькую лесную обительку с единственной старой, чтимой каменной церковкой. Бывшего троицкого послушника. Учащего писать. Учащего жить! Затеяли перероспись своего обветшавшего храмика. Да, верно, шло повсеместное обновление старых знаменитых стен — с той поры, как в сердце каждому живой водой плеснула донская речка Непрядва. Хоть длилось иго. Не расточилась туча — до глубокой старости будет жить еще Рублев, и все же на целых полвека не доживет до конца. О чем он думал — здесь? Что ободран, загажен конским навозом владимирский собор, где на стенах еле просохли краски? Что под его, рублевским, «шествием праведных в рай» схвачен Патрикей, ключарь,— он знал его... Иглы-щепки под ногти, «огненная сковорода», запах паленого мяса, дикий, звериный вой... Человеческий остов привязан к лошадиному хвосту, и вскачь погнали лошадь — но не выдал Патрикей казны. Голод, мор в Москве, выжжены слободы. Прах и пепел на месте Троицкого монастыря. Но немного пройдет времени — пышно, белокаменно отстроит все Никон, преемник Сергия, который благословлял князя Димитрия на Куликовскую битву; и «Троица» Рублева украсит Троицкий монастырь.

— ...Крайне ограниченное участие. Только небольшая группа фигур, ориентированных относительно единого фокуса. Вот тут прежде всего необходима реставрация, рассчитываю на вашу поддержку, Матвей Степанович. Я сделала пробу, чрезвычайно осторожно, буквально на нескольких квадратных сантиметрах тронула верхний слой...

— Слушаю и дивлюсь, как вы одна...

— Ничего бы я не сделала одна — ни обмеров, ни... Я ведь женщина, Матвей Степанович!

— Но какой у них здесь штат? Какие реальные возможности? Нам не удавалось добиться ассигнований. Что ж, может быть, теперь...

— Я привела их в движение,— засмеялась она.— Даже исполком! Боюсь, всех допекла.

— Дорогая Елена Ивановна, зная вас...

— Не надо, Матвей Степанович... Я к тому, что там, в смысловом фокусе фрески, должно быть явление, сияние. Оно отражено в общем движении, которым охвачена группа. А без него в нынешнем виде фреска, вы знаете, поражает своей нецерковностью. Прямо уникальной. Не святые, не старцы — юноши, отроки, даже,— она лу-

каво шевельнула бровями,— отроковицы. Символика расцвета жизни. Вглядываются, озарены — праздничное чувство победы. Оно и главенствует надо всем. А воплощение ее — атлетический образ молодого воина в панцире...

Мышиные голоса за стенкой вдруг стали внятными. Грянул взрыв шутливых восторгов,— кто-то там вошел, под чьими шагами поскрипывала лестница.

— С приветом, мелочь!

— А, баскетболист!

— Какое поприще упустил! Не тем спасаешься!

— Без черной зависти, мелюзга!

— Возьми бинокль — дашь девушке, которая ненароком встретится с тобой, с каланчой.

— Тебя завтра сделает Миша — все великие люди малорослы: Пушкин...

— Петр Великий!

— За Великого Баскетболиста и тренера его — Деда-Мороза!

Велосипедисты? *Те самые*? Чуклин с усилием преодолел иллюзию.

А за дверью, в коридоре, сплетались два женских голоса — медлительно, навязчиво, как осенний дождик,— вторым слухом он все время слышал их сквозь взрывы веселья, рассказ Сумской, собственные реплики.

— Рыба нéршится — он от скандалов от этих и подайся на лов, домой ни на одну ночку...

— Щука нéршится — ее бьют стрóгой.

— Не, он моторист.

— Кто моторист?

— Да он же! Цепляют к моторке десять лодок, он и тащит гусем.

— А она что?

— Враз утихла, уходилась — на берег выбегет, смотрит, у людей выспрашивает, будто невзначай. Гордячка. Соседям-то все видно...

— Я вот тебе скажу. Семейные там скандалы прочие — это жениных рук дело. Жена виноватая. Значит, мужем не владает.

— Полно тебе.

— Завязывай, если полно. Жена, которая мужем владает,— и все идет по порядку.

— Набил он мошну — выработка у них, план — и начал с Фенькой. Так и пошло у них. Ту бросил, новую взял.

— А та, Мария?

— Мария? Прохожу это тогда — вернулась Мария с работы, сидит сама не своя, а так — ровно каменная. Кому вид делает? Гордая. Люди кругом коптят рыбу — у ней пустая изба. Соседям-то все видно. Хотела сказать ей — не сказала: лучше коптить рыбу, чем коптить небо.

— А я прямо тебе: и он дурак. Дурной дурак. Вторая жена сегодня придет, а назавтра и дорожку за собой хвостом замела. Сколько у них с Фенькой — полгода есть ли, нет? А первая — на всю жизнь.

«Как же кончилось это? — думал Чуклин.— Как смог я... Ради чего? Боже мой, как случилось это?» Он не узнавал номера. Здесь или не здесь? А ведь поклясться готов был жизнью своей, что никогда ничего, до последней мелочи не забудет. Гостиница была полна, ночью она гудела от шагов, топота сапог, голосов. Налетали ревизии, обследования, комиссии. Совещания по восстановлению, по строительству с участием вышестоящих. Окна райкома, райисполкома горели до петухов: вдруг позвонят из области? В области: а если вызовет Москва? В магазинах — карточки. Командировочных — с раннего завтрака допоздна нет: буфет, работа, столовка, заседание. Он приходил раньше, дни коротки, с темнотой кончалось его дело вне гостиничного «дома». И он не шел — летел, зная, что его ждут. Тащил судки из столовки. Медленно, тускло, пепельно розовели (свет горел вполнакала) спирали электропечки, и распространялся немного жестяной запах разогретой пищи. Где-то, далеко по коридору, одна, прихворнув, ожидала конца дня девушка или молодая женщина, и, ожидая, в гулкой пустоте она пела:

Эй, друг — гитара!
Что звучишь несмело?
Еще не время плакать надо мной...

Под лестницей громыхнул бас: «В поликлинике неважные врачи — вот почему я предпочитаю не болеть». И снова тоскливо и страшно выводил молодой голос:

Незаметно старость подойдет...

Они не вслушивались, ото всего им было весело — как на одной непрерывной волне — от жестяной пищи, от света вполнакала, от песни, то было счастье — сегодня, сейчас, и оба знали об этом. Весело, смешно — «сплошные смешинки,— говорил он,— ну хватит, довольно, знаешь

что — выполосни их или отойди в уголок, чихни». И вдруг она взяла ладонями его голову — вот эту голову,— пригнула — близко он видел ее внимательные глаза под напряженно сдвинутыми бровями. «Ты что?» — спросил он. «А я ничего». Что было в ее глазах? Ничего. Разве одно. Любая его тревога, даже тень, что только мелькнула и сам называл «выдумки» и «показалось», или радость его и «телячий восторг» (была сумбурность в нем и нелегкость — мало кто замечал, но он знал о себе и она знала) — все тотчас отражалось в зеркале этих глаз. Вот и все. «Вот и все,— сказала она.— Позовем ее к нам, хорошо?» — «Конечно! — подхватил он.— Сейчас, к обеду». И со смешком освободился. Ночи и дни, дни за днями, и, думал он, не будет им конца!..

— Что же вы молчите, Матвей Степанович? Устали? Вам мешает это? — Сумская кивнула на дверь, на голоса.— А я привыкла... Для меня так много значило бы ваше одобрение моей работы...

— Воин в «броне». Поколенной кольчужной рубашке. С «зерцалом» на груди,— сказал Чуклин.

— Да, разумеется,— смутилась она.— Как я могла... Оговорилась. Но... Конечно, вы были здесь прежде. Но ведь в вашей же книге нет... И я не помню ни одной репродукции. Вы все знаете!

Он усмехнулся и покачал головой. У отца, прежде землемера, потом землеустроителя, стоял шкаф домашней столярной работы, со старыми книгами. Романов мало, стихов, кроме Пушкина и Лермонтова, и вовсе не было — отец был человек серьезный, под стать и книги. Правда, очень сборные. Тоненькие рубакинские и «Мироздание» Мейера. «Великие и грозные явления природы», где можно было подолгу и все по-новому рассматривать картинки. Толстенная, от деда, зуевская «Иллюстрированная популярная физическая география» с тремя «царствами»... «Нашествие двунадесяти языков». Забелин о быте цариц. «Знаменитые монастыри» (тоже все дедовское). Плен Шамиля. Валишевский про тайны императрицы Екатерины и «Павел» Мережковского. Книжка о Кудеяре,— в ней рассказывалось, как Василий Третий Иванович согласился наконец на развод с бездетной любимой красавицей Соломонией и как забилась она, закричала и оттолкнула того, кто подошел состричь ей косы,

а боярин хлестнул ее по лицу, и в келье она родила, младенчика скрыли, похоронили вместо него куклу, он же вырос наводящим грозу разбойником Кудеяром — Кудеяр был старший брат Грозного. По праздникам дядья, выпив и закусив, предрекали: «Зачитаешься, Степан».— «Кто прочтет Библию до конца, сойдет с ума»,— остерегала тетя Фрося. «Чуклины — простые люди. Ну, за твое!..» Вот тогда он, мальчишка, верил, что можно узнать все: прочесть шкаф, полку за полкой. И помнил свою обиду, когда в классе докторский сынок, похваляясь, назвал что-то, чего не стояло в шкафу. «У папы все книги!» Чуклин — всезнайка! Теперь-то он знал, что книг, которых никогда не прочесть, бесконечно больше, чем тех, какие он когда-либо видел или увидит...

— Ну что вы, Елена Ивановна. Я просто опасаюсь слова «панцирь» с тех пор, как меня научили писать в нем *и*. Боюсь, не начну ли так и выговаривать — вопреки увещаниям коллег, внушающих, что мне не произнести *и* после *ц*.

Они рассматривали фотографии. Она то присаживалась рядом, то, чтобы не мешать, на длинных стройных ногах, немного пригибаясь, точно умаляя свой рост, перебегала к дивану, к шкафу, к окну — к повсюду разложенным, даже штабельком в углу, возле прикрытых полотенцем кастрюль, оттискам, альбомам, руководствам. Доставала листки, что-то вычеркивая в них. Лицо ее сияло. Большая птица, порхающая по своей аскетической, долго обживаемой и все не обжитой клетке...

Шум снаружи стихал.

Подойдя, склонилась над плечом Чуклина.

— Вот эта,— подала ему фотографию.— Жаль, не передан цвет. Но ведь ясно угадывается. Насыщенная яркость и чистота. Синий, голубой, бело-желтый, розовый, бордовый, фисташковый. Его палитра.

Васильковый, повторял про себя Чуклин. Дочерна темная владимирская вишня. Малиновый — ягоды в малиннике. И небо — высокое, летнее — лазурь, лучезарность, золото вечеров.

В те времена они оба пытались выискивать как бы лазейки в души давно бездыханных людей за дерзкой необычностью языка, образностью и житейской простецкостью древних наименований: «Ярое око», «Златые вла-

са», «Взыграние младенца», «Мокрая брада», «Неувядаемый свет», львы с «процветшими» хвостами. И все возвращалась она к той самой, тогда безымянной фреске. «Что здесь — ты понимаешь? Ни утро, ни день. Почему кажется мне — предвечерье, ветлы у реки? Дорога, самые простые полевые цветы. И поле, когда отцветает и наливается рожь. Ни деревца, ни травинки не изображено — так почему же? Люди. Одни люди. А перед ними — что? Испорчено, затерто — неважно, ясно ведь: свет над всей землей — как звон. Приедем опять сюда в июне, так, чтобы самый долгий, неугасимый вечер? Я покажу тебе. Это же здесь. Даешь слово? — опять настойчиво, тревожно повторила она.— А женские лица... Русоволосая, большелобая, широкоскулая. Смугло-худые щеки. Взгляд прямо на того, с кем говорит. Не узнаешь? Анюта! Сегодня приходила, живая. А что было тогда кругом, скажи? Тревога, набат, зарева. Шествие князя как хана. Новые рабы — княжеские, боярские... А он, не знаю — кто он, здесь, в церковке, пишет наперекор — будто громко кричит: нет, не это жизнь! Не такой ждите, не такую готовьте теперь, а *нашу* жизнь! Открытое сердце. Грусть и радость. Добро к людям, милость...»

Может быть, сам Чуклин досказал эти слова? Так звучали они в его памяти...

— Я уже говорила вам, Матвей Степанович, у меня доказательство — сама фреска. Я сделала опыт. Вот. Наложила два фото. Посмотрите. Полуциркульность головы, абсолютное совпадение с головой Петра из владимирского Успенского собора. Одна кисть. Одна рука! А чередование планов, смена художественного языка, ритмические соответствия, даже вовлечение в единый порыв и промежутков между фигурами... Видите? Возникает как бы дополнительное изображение, отзыв основному — двойная организация каждой пространственной точки. Я просто нигде... нигде больше (восторженно она запнулась) не представляю такой насыщенности... композиционной концентрации! Ни в европейской живописи того времени. Разве что в античной глиптике пятого — третьего веков, эпохи расцвета. Да, понимаю, голословно — надо еще разобраться в возможности скрещений... А этот эффект сферической выпуклости! Усиление динамизма изогнутостью свода в нартексе над входом — использована сама невыгодность, трудность, неказистость места. Tour de force мастера!..

— Нартекс по-русски — притвор,— сказал Чуклин. Он поморщился. Вдруг пожевал губами. Тур-де-форс. Фокус мастера. А если смирение мастера?.. Так, чтобы не ему, залетному гостю, пришлецу на час, верно — младшему, но здешним старикам богомазам первое место и честь? Работайте, как работали, не потревожу вашей работы, мне, уж если просите, хорошо и то местечко, которое осталось...— Что такое сено? — хмуро спросил Чуклин.

— Сено?

— Да. Сено. Надземные части неокультуренных травянистых растений, обезвоженные методом гелиосушки.

— Я не понимаю.— Она покраснела пятнами, точно подсеченная в легком счастливом своем полете, увяла, умолкла.

И тут он спохватился. «За что я мучаю ее? За то, что влюблена в меня... нет, любит, давно, и никогда не скажет, а я знаю это. Мелко, гадко. И ведь красивей она, рост, великолепно сложена. Работяга, горы своротит. В суровой дисциплине, ничего не разрешая себе. Никакой вольности. Литературщины. Смиряя себя. Уколы, придирки к тому, в чем она совершенно права. Что и оттачивала так, наполовину, верно, ради тебя, чтобы показать первому тебе! И уж не за то ли, что уверенно и прямо пришла — чего там! — к открытию, какого ты, может, и ждал, *почти* ждал... до которого, воображаешь теперь, оставался тебе шаг — чуть не один шаг... Но ты никогда не сделал этого шага — не сумел, забыл, прошел мимо. Что же я за человек? Знаю ли я себя?»

— Простите, Елена Ивановна.

— Вы извините. Что называется, доехала вас. Надо было соображать... Хватит, хватит на сегодня! Завтра вместе посмотрим!

— Я вот что думаю, Елена Ивановна...

— И если признаете сто́ящим... что не зря я... может быть, вы согласитесь опубликовать за двумя подписями?

Он как бы не слышал.

— Мы с вами сидим весь вечер, повторяем: нетленная красота, прекрасные формы. Восхищаемся. И не одни мы — тысячи людей, миллионы. Но если всерьез, что же ее, нетленную, кидаем в пасть безвозвратному прошлому? На свалку, именуемую музейным фондом? Умерщвляем, отлучая от жизни? Наши архитекторы, градостроители. Я не о копиях, конечно, смешно, но об использовании элементов, силуэтов. Себя обедняем. «Дом бо-

га» — так вот и чураемся любой сходной черточки. А строил-то народ. Мужик, крестьянин, горожанин и плоть от плоти их — умельцы, розмыслы. Творили высшую, какую понимали, красоту. Запечатлевали свой труд и страдания, ум и отвагу, торжество и надежды...

Она засмеялась.

— Вы шутите, милый Матвей Степанович. Ну какое же тут «или — или»? Или хорошо, или свалка? Говорим: «прекрасное»,— разумеется, видите, как мне дорога древняя русская самобытность. Мой тринадцатый — пятнадцатый век. Но я же беру в перспективе. В контексте времени. А равнять с нашим... Всему свое. Нельзя судить внеисторически. Новое вино — и старые мехи!.. А потом есть форма и функция. Соответствие формы функции. В Финляндии, знаете, строят церкви, похожие на трансформаторные подстанции. Выходит, и тут, даже в таком деле,— прощай, старинка, вон как! Убедила?

В голосе ее зазвучали материнские нотки. Он помедлил. И сказал, вставая:

— Да, конечно. Сумбур... А под вашей работой будет одна подпись: при чем здесь я? Считайте, что диссертация готова — это самое малое, чего стоит такой вклад в историю нашего искусства.

1965

ЧТО БЫ НИ ЖДАЛО

1

Все кругом заволокло дождем. Он падал без ветра, мутной стеной, мелкий, неслышный, словно капли рождались рядом, сочась из тяжело придавивших землю взбухших туч. И белый летний день обратился в тягучие осенние потемки.

Чтобы читать — хоть огонь зажигай. Но они не читали. Им не могла прийти в голову мысль оторваться даже на мгновение друг от друга — украсть мгновение. Как будто любое было на счету, и никак не привыкнуть, что вместе, и следовало торопливо, жадно схватывать и до конца, до предела исчерпывать каждое.

Но, собственно, перекидывались только незначащими фразами и вдруг, с беглой лаской коснувшись друг друга, замолкали. Незаметно он вглядывался в ее лицо, и ему казалось иногда, что он ловит на нем мимолетное испуганное выражение. Что-то в ней меркло, уходило внутрь, прячась за гладкую матовость кожи с нежно и ровно разлитым румянцем. Лишь на какую-нибудь секунду-другую уже улыбка трогала ее губы в ответ на его взгляд и не сразу подымалась к глазам с чуть расширенными — так у близоруких — зрачками. Тогда любовь и какое-то щемяще-виноватое чувство заполняли его всего.

Увидели одновременно, но Ольга первая крикнула:

— Солнце!

Оно появилось впереди, прямо по движению. Потемки ничуть не посветлели, может быть, стали еще темней — тучи чуть отслоились от земли, чтобы тем вернее, безысходнее окутывать, стеречь ее. А впереди, около ис-

синя-черного облачного лезвия, глазок в небе пролил жар тускло-красного солнца.

— Но их два. Смотри: два! — быстро, с бурным восторгом говорила Ольга.— Идем скорей, Юра!

Такого он не видал никогда. Солнце и ночь. Они существовали порознь, не смешиваясь, как масло и вода. Нет, два солнца и ночь. Дважды воскресши, оно пылало двумя венцами — вверху и внизу скрывавшего его черного лезвия тучи.

На носу парохода было сыро и холодно, но узкая водяная дорога столбом лилового света подымалась прямо туда, в закат. «Это мне? — подумал Демин.— Все мне? Слишком много мне!» И ему представилось, что вовсе не он и не в простой жизни, а кто-то лучший, гораздо более достойный этого грозного, нечеловеческого великолепия стоит на носу парохода — плывет, восходит по светозарно-реющей речной дороге...

— Сейчас пристань? — спросила Ольга.— Какая? Не хочу, не хочу остановки!

Глаза у нее сияли. То была ее особенность: точно вся сила жизни переливалась в них. Он не встречал таких изменчивых глаз. Но для него, ему одному сияли эти глаза, и горячая волна всколыхнулась в нем.

— Слышишь запах осиновой коры? Нет, вот липового цвета. Значит, липа еще цветет? Ты посмотри, да посмотри же! Вон там, где обрыв в мать-и-мачехе... Господи, цветов-то что! Иван-чай, целое озерко, правда?.. Там перевоз — видишь, две машины, подводы и стоят с косами? Так и в той деревне, откуда родом мама,— помнишь, я говорила?

Она словно торопилась обо всем сказать скорыми, отрывочными фразами.

— Да ты же ничего не видишь, куда ты глядишь!

Юра видел все это. Отлогость, за ней деревня — там и сегодня встали до свету, начиная новый долгий, трудный день. А на далеких межах и неудобях по косогорам за рекой — где сейчас обкашивали — от трав потянуло, под первыми каплями дождя, крепким и горьковатым настоем; и люди поглядывали на небо, ловили обманчивые рединки в облаках — и ни свернуть самокрутки, ни закурить. Наконец во всем мокром насквозь — рубахах, выцветших гимнастерках, у кого еще с войны,— мокрых так, что уже все равно, гол ты или одет,— потопали гурь-

бой, вразвалку, чуть раньше времени обратно, меся жидкое тесто дороги. Видел и бело чадивший костер рыбаков, и седую, почти известковую, в водяной пыли полосу низких кустов, отчеркнувшую бездонную глубь долины, и то, как где-то за гранью ее вываливался из волокон, пелен и тенет тумана массив все более строго синеющего леса, а зеркальная река впереди слабо зазеленела, и запах сена чередовался с илистой свежестью. И вдруг настал конец реке — она уперлась не в угасший закат, а в низенький шлюз.

— Шлюз... Ну-у!.. — презрительно протянул вбежавший толстый розовый мальчик, крепыш и здоровяк.— Вот так шлюз!

И тотчас из двери рубки осторожно выставились значительное, выбритое лицо и широкие плечи, облаченные в безукоризненный костюм.

— Миша,— пророкотал встревоженный бас,— ступай сейчас же в каюту! Я кому говорю?

И, не выждав эффекта своих слов, лицо исчезло.

— Привет! — отсалютовал хлопнувшей двери маленький Гаргантюа; он, очевидно, не привык стесняться в выражении своих чувств.— Шлюз тоже!

— Ну почему? — сказал высокий, жилистый, в пегой седине человек с мощными бровями.— Вы что думаете, по всей России всегда были такие шлюзы, как теперь на Волге-матушке и на канале? Там видели? Папенька возил?

— Там интересно очень,— плаксиво пронюнил крепыш.— А тут...

— Шлюз этот строился при царе Горохе. Я помню, ка́к строился. «Чудом техники» тогда называли. Я, молодой человек, сам жил при царе Горохе. Сейчас вы с горки смо́трите...

— Все мы с горки смотрим, Сергей Матвеич,— перебил невысокий, стоявший рядом.— А как же? И ты, мальчик, иди, раз отец не велел. Иди, иди, мальчик. После выйдешь.

Но было что-то до того не терпящее возражений в этом обыденном «мимоходном» тоне, что мальчишку точно ветром сдунуло.

— Ишь ты, Бакалов! — уважительно сказал названный Сергеем Матвеевичем.

В это время снизу прокричали:

— Якорь на воле!

Старик и женщина пробежали несколько раз по дорожке над воротцами шлюза. Старик пригнулся с длинным разводным ключом.

— Клапана завинчивает. Домашняя обстановочка! — усмехнулся Сергей Матвеевич.

Он стоял в шлепанцах на босу ногу, с расстегнутым воротом рубашки. Было сыро и холодно.

Женщина помогла старику — они принялись с натугой крутить ручки, выкрашенные в небесный цвет. После нескольких оборотов наконец все завертелось само.

Белеющий вдали створ походил на человечка, как нарисовал бы его Чапек.

Пароход подымался в камере шлюза впритирку с краями ее. Ольга схватила за руку Демина.

— Сошли. Мы успеем. Земляники там... И молока достанем, хочешь?

Перешагнули через борт.

Она с наслаждением, невольно зябко вздрагивая плечами, ощущала прикосновение мягкой, густой, выше колена травы, осыпанной белыми, желтыми, сиреневыми цветами. Упругие веники обдавали водой ее голые ноги, подол юбки, отяжелев, обвис.

Он догнал, поймал ее, ладонями взял за мраморно-холодные щеки, близко и, как всегда, с новым удивлением посмотрел в лицо.

— Ты? Это ты?..

2

Давно ли он вовсе не подозревал о ее существовании? Они встретились в городе, где жили его родители,— он к ним приехал в отпуск. А она как раз тоже собралась наконец навестить своих теток: на этом настояла ее мать. Тетки были сестрами матери — одну, вдовую, в семье называли Мамушка, другую, так никогда и не вышедшую замуж,— странным уменьшительным Лютик. Жили обе вместе.

Однажды он вбежал в комнату, смуглый, веселый, особенно оживленный после катанья на байдарках со школьными товарищами.

— Юра! — окликнула мать с терраски.— Иди скорей.

— Одну секунду, дай только... Волчий голод, мама!

— У нас гости.

Звякнула посуда. Мать разливала вечерний чай из пудовой гири медно-красного чайника — он был старше Юры. «Мальчик наш»,— нараспев похвалилась мать полной, в строгом учительском пенсне женщине с аккуратно, какими-то букольками уложенными седыми волосами. Это и была Мамушка, которую он увидел впервые. Она привела гостившую племянницу Ольгу Шиловскую, темноволосую, серьезную, совсем молоденькую — верно, студентку. Впрочем, тогда он не столько рассматривал ее, сколько слушал голос — чистый и звонкий, как у девочки, и вместе задумчиво-грудной. Сочетание это показалось ему необычайным. Он поймал себя на том, что хочет слышать любое слово, произнесенное этим ясным, как сам себе назвал он его, голосом. Но говорила она мало.

Плеть одичавшей малины между столбиками тесной терраски, когда-то голубенькими, теперь облупленными, зацепилась за ее платье. «Кто-то влюбился»,— попробовал пошутить Юра, робко, по еще детской привычке покосился на отца и высвободил ветку. «Да вы пересядьте,— захлопотала мать.— Вот сюда, место есть».

Свисавшей с потолка на длинном шнуре лампочки не зажигали из-за мошки и бабочек, в светлых еще сумерках над почерневшими кустами и соседним забором выделялась крона деревца с прямым голым стволом, и отец опять сказал, как двадцать лет назад, что оно напоминает пальму. Сильно запахло цветами белого табака.

Гости заторопились. «Проводи, Юра»,— сказал отец. И тут Демин узнал, что она приехала сюда из того же города, что и он, несколько уже лет работает в заводской лаборатории, была замужем и разошлась,— только ему все никак не верилось в это. Шла с ним по теплым, тихим, просторным ночью, заросшим ромашкой по обочинам мостовой улицам совсем не та девушка, что чинно сидела за столом. Она теперь без умолку говорила, подхватывала, что начинал он, и все время, даже в темноте, он чувствовал на себе радостный взгляд ее блестящих глаз. Как будто не плыла рядом с откинутой назад крупной породистой головой Мамушка; тетка же, похоже, не чаяла души в племяннице; на прощание умилилась: «Совсем заговорила вас моя сорока!» Ему казалось, что он всегда, наверно, и в том городе, где они оба жили и работали, был знаком с Ольгой.

Стали встречаться ежедневно. Когда его отпуск подошел к концу, уже молчаливо решилось, что вернутся они вместе. Тогда, точно прыгая в воду, он предложил еще на несколько дней уехать раньше — взять билеты на пароход. Она приняла это с шаловливо-детским озорным восторгом и неожиданно, как нечто само собой очевидное, так что уже он и сам не понимал, кто первый придумал это.

— Не очень побаловал ты нас,— угрюмо буркнул отец на прощание.

Но лишь механической памятью помнил он слова и обиду отца.

— Ты?.. Та самая Олечка?

Сквозь свою одежду он чувствовал, как холодны ее ноги, как мокра — хоть выжимай! — отяжелевшая по подолу юбка.

Тихо. Стихло по всей земле. И во внезапном беззвучии послышались редкие, долгие, на одной струне травяные голоса.

— Кузнечики,— шепотом проговорила Ольга.— Как мальчишки удрали! От всех удрали. Что только там сейчас, в городе... на заводе!

Он прислушался.

— Сверчки,— поправил он. «Так непохоже на всполошные сухие ночи юга»,— пришло ему в голову (на юге он был два года назад).

Вдруг ее восклицание поразило его: в городе?! Куда они возвращались? Почему на заводе?

Но он ухмыльнулся: «Эх ты, гречневая каша!.. Ровно ничего. Незаменимых нет». И сказал дурачась:

— Да, как тебе удалось удрать?!

— А тебе?

— Нет, тебе как?

— И никто не поймал!

Сразу он стал серьезным.

— Что же теперь будет, Оля?

— Глупый...— Глаза ее с расширенными зрачками потемнели и остановились. И опять горячая волна поднялась в нем от этого простого, такого обычного женского «глупый».— Я не люблю тебя — я... не знаю слова. Никогда, никогда, никогда я не захочу быть без тебя! Как я могла?! А ты? Ты?..

— Дурочка...— сказал он.

3

Отвалили от Плеса, кто-то вспомнил «Над вечным покоем» Левитана.

— Это не здесь,— отозвался Сергей Матвеевич.— И не ищите! Очень просто: на картине сборная натура, я вам говорю. Так ему захотелось написать. Я даже скажу, что́ откуда.

— Да? — заинтересовался красавец с орлиным носом.— Представьте, сотни раз стоял перед полотном и сам вроде некоторое отношение... Любопытно, не догадывался, что делать! Слушаю я вас: уж не все ли вы знаете, а?

Говорил он звучным, красивым баритоном, лениво не завершая фраз, предоставляя слушателям гадать, иронизирует ли он или вполне серьезен. Девушки шепотом осведомлялись, не его ли фотография в журнале? Все это отлично, но вот лет десять назад не потребовались бы ему ни рубашка таких чрезвычайных переливов, ни семицветная радуга на ноги вместо носков. Да, что делать, и он, верно, изобретал себе утешения в том, что пролетели и — увы! помяли его годы.

— Право, если б у вас произошла осечка, пришлось бы звонить в бюро повреждений.

Он был очень остроумен.

Сергей Матвеевич только шевельнул могучими бровями.

— Я знаю тут каждый кустик вон с каких времен,— просто ответил он.

— Вы наш впередсмотрящий,— заключил красавец. Он был остроумен.

Он мог бы еще сравнить Сергея Матвеевича со статуями, которые воздвигались на носу старинных кораблей, дабы вести их за собой посреди бурь и безвестных опасностей.

Пожилая женщина коснулась плеча впередсмотрящего.

— Настюша,— обернулся Сергей Матвеевич,— ты бы мне бусоль. Видишь, я тут... Будь добра, Настасья Васильевна.

И женщина принесла бинокль.

— Догадалась, Юрка! И не раздумывала, сразу: бинокль. Какая счастливая пара!

Юра вскинул глаза на девушку. Позавидовала? Разве им есть кому завидовать?

Они бродили по пароходу. Он весь принадлежал им, и всюду они оставались наедине. Несколько раз летело вслед доброе словечко «неразлучники».

— Женщины, видишь, сидят?

— Да. Одна — Настасья Васильевна.

— Другая бабушка.

— Почему бабушка?

— У ней внучки. Она везет их в Касимов. Нет... в Павлово. Ты был в Павлове?

— Никогда.

— А я девочкой, в эвакуации. Слушай, там тогда — ни одной машины. Ну, одна-две... На самом новом доме — тысяча восемьсот девяносто два. Не веришь? Будто в книжку с ятями попала. Портомойки, женщины без мужей — война! — соберутся на плоту...

— Там сейчас строят автобусы.

— Нет, подожди. На кривом тротуаре — улицы горбатые — старик играет с младенцем. Дедушка, отец на войне. Положил на тротуар кошелку и сам сидит рядом, палку просунет под кошелку: «А нет ее! Где она?» И так раз за разом — ничего другого не выдумает, пока мать — дочка его или сноха — не придет с работы. А в конце улицы молодой какой-то, в солдатском, привалился к стенке, как приклеенный, смотрит в одну точку поверх крыш и все то же играет на гармошке — прямо голосит. Кончит и начнет. Послушала, посмотрела я — и в рев. Отчего, скажи? Что в этом было? И сейчас так и стоит передо мной. А девчонкой совсем была...

Потом она сообщила:

— А зовут их Ирина, Марина, Анина.

— Кого?.. Как?

— Бабушкиных внучек. Правда, милый, я серьезно. У меня подруга с таким именем: Анина. Грустит часто. Но не из-за имени, не подумай, по другим поводам.

А среди сидящих женщин две слушали рассказ третьей:

— Давно ли? Годик всего. Первоклассник. Ходил в первый класс. И представляете? Пошел во второй!

Это было так важно и удивительно, что и Настасья Васильевна и бабушка не сводили с рассказчицы глаз.

Бабушка всполошилась, беспокойно оглянулась, стала лихорадочно шарить по всем карманам очки.

— Ириша! — тревожно позвала она.— Мариша! Да где они, вот только что... Анеля!

Плотный, солидный человек окликнул ее:

— Вы своих девочек, гражданка?

— Да где же они, господи?!

— Они в таком возрасте, что нужен глаз да глаз. Я замечаю, вы очень неосторожны с ними, извиняюсь, конечно. Они там, в коридорчике, у машинного отделения. Стоят и смотрят. Как же можно? А если под коленчатый вал?

— Не дай бог! Я сейчас,— сорвалась бабушка,— спасибо!

Он остановил ее:

— Я мог бы привести их, но счел более педагогичным указать вам. И мальчишка с ними,— прибавил он, словно сообщая о явной непристойности, и даже многозначительно загнул вниз большой палец.

— Антонина Марковна, да вы не волнуйтесь,— вспыхнула рассказчица.— Они с Витькой моим.

Отец маленького Гаргантюа с шумом растворил дверь — посмотреть, что такое? За дверью виден столик, на нем толстый желтый портфель и сплошь исписанные листки. Отец согнулся над ними, чихает, сердито морщится и чихает снова, каждый раз слышится:

— Миш-ша! Миш-ша!

За столиком сидит еще узкий длинный человек, на нем пестрый, похожий на кокон, пиджак. Человек вымолвил что-то односложное и смущенно поглядел из-под очков большими ласковыми бархатными глазами. Дверь с грохотом захлопнулась.

— Кто это? — засмеялась Оля.— Нет, ты отгадай! — Она хохотала, как школьница.— Потомок раджи из Аджмира? Самого джайпурского магараджи?

— Нет, что ты! — Он подхватил игру. Пароход принадлежал им.— Декабрист. Из круга Грибоедова. Однако,— Юра задумывается на миг, увлеченный своей выдумкой.— Да, не прямой участник. Расправа миновала его. И замкнулся в себе. Но как будто очерчен кру́гом. Ни друзей, ни женщин. Ты обратила внимание? Лишь с одним, посвященным, решается разомкнуть уста. Или нет, вот...

— Что ты, ну что ты плетешь?!

— А тебе можно?

— Видишь ли, я знаю его. Немного, случайно. Моло-

дой историк, очень талантлив. В аспирантуре этого папы — ты заметил листки, тезисы — там что-то о царице Тамаре в Грузии, я прочла заголовок. А папа этот, боящийся дуновения...

Она знала. Игра для нее была больше игрой, чем для него. Он подивился: ни на шаг не отлучалась, а ведь куда приметливей, насколько зорче его — во всем! Никаких заголовков он не видал.

Пробежала официантка, балансируя тяжелым подносом. Наперерез ей из окошка вытянулась шея ресторанного директора. Она вытянулась так, точно была суставчатой или каучуковой. Поднос заплясал в руках женщины. А каучуковая шея снова сократилась, головка повернулась на шарнирах — директор, крошечный, волоокий, уткнулся грушей носа в накладные. Он напоминал птицу-носорога, замурованную в своем дупле.

Кормили же сегодня, как и вчера, мороженым морским окунем, доставленным межконтинентальной ракетой с неведомых морей-окиянов на рыбную Волгу, и рагу, о котором красавец острил, что его не пожелаешь врагу. И нелегко было понять, отчего, несмотря на напряженные труды директора над накладными, в меню не попадает ни ягодки, ни зеленого салатного листочка и ни ломтика тех арбузов, что горками лежали на любой пристани. И не лучше ли деревянной фигурке директора распрямиться, оставив на время накладные, и выпорхнуть прочь из дупла-окошка, чтобы самому с подносом в руках помочь избегавшейся женщине.

4

Длинный пирс прирос к городку. На пирсе людно и видно, как люди идут мимо новых портовых кварталов, чтобы проводить пароход, который, развертываясь, оставляет отлогую темную дугу на зеленовато-голубой шири. Городок вéка ютился на берегу реки, теперь стал приморским. Люди наизусть знают проходящие суда. Вот пассажирские — они носят имена писателей и актеров. Самоходные баржи именуются городами и местечками. На долю знаменитых ученых остаются почему-то катера.

А вон далеко точечка трудолюбивого буксира влачит плот, громадный, как остров, который забыли пометить на картах. Уже то, что буксир вообще может

подступиться к такой махине, столь же неправдоподобно, как упрямые усилия муравья доставить к себе домой стебель раз в пятьдесят больше его самого.

Но буксир пыхтит, точечка вдали медленно растет, а в толпе на пирсе стоят жены и мальчишки — братья тех, кто сейчас возвращается из рейса.

Плеск и танец волн — их языки стараются как можно выше лизнуть камни пирса.

И — мимо город. Уже не различить людей.

На борту настало время охотничьих рассказов.

— Утки.— Сергей Матвеевич смотрит в бинокль.

— Я давно наблюдаю,— подтверждает Бакалов.

— И, черт их, ведь совершенно же на вид домашняя птица.

— Это издали. Близко она и не подпустит. А сейчас кряковая невзрачней домашней. Другое дело весною: ошейничек белый, на крылышках — зеркальца. У самца, у селезня.

Бакалову сорок, не больше, но выглядит он старше. Когда говорит, щурится почти пренебрежительно, и рыженькие щеточки над губой топорщатся торчком, а по бокам их, к носу и на худых щеках врезаются морщинки; лицо у него скуластое, неказистое.

— Шилохвость — вот та совсем иное. Гордость у нее. И как плывет, и летит — лебедем! Мальчишкой был — прорва их, шилохвостей. Больше, правда, на пролете. А свиязь — помельче этих двух, но повострее...

Тон его не совпадает со словами — точно рассказывает он обо всем давным-давно известном, «мимоходно», как показалось Демину, но тем более не может быть никаких сомнений в сказанном.

— Что ж, Петр Никитич, выходит, вы не только знаменитый рыболов, а...

Но Петр Никитич Бакалов проходит мимо попытки пошутить.

— Ну, рыбалка... Хорошую рыбалку ни на что не променяю. Соберешься под вечер, на ночь, посошок на дорожку...

Вдруг он подозрительно вскинул на собеседника буроватые, жесткие глаза и придирчиво спросил:

— А что, не пьете?

— И не курю.

Петр Никитич издал неопределенный хмыкающий звук. Короткое молчание. Вопрос Сергея Матвеевича:

— Так-таки к черту и послал?
— Да.
— Пьянчугу?
— Да, пьянчугу. Выпить выпью, а пьянчуг... Какая там могла быть жизнь с ним? Трава, с корня сорванная. Пустоцвет. Мне-то со стороны видно. И вы бы, доведись, точно так рассудили. А девчонка платком завязала глаза, любовью называемым. В чем она тогда смыслила — любовь! Первый, кто половчее поманит,— вот и любовь. Жизнь сгубить, поковеркать — любовь! Одна-то жизнь...
— Диковинный,— шепнула Ольга.— И рассуждения непривычные, с чем-то ветхозаветным...— Она колебалась.— Или нет?
Демин кивнул, но он не различал больше в словах Бакалова бездельной приметливости проходящего мимо человека; странное скупое одушевление звучало в каждом из них.
Сергей Матвеевич сложил губы, точно хотел присвистнуть.
— Однако... крутенько. Сестрица ведь родная!
— Ничего, отплакалась. И не запирал — не бойтесь. Перенял молодца, потолковал по душе — и он сам в бега, без вести, значит; мимо окошка ее шел — глаза отводил.
— По душе... Что же сказали по душе?
— Слово знаю,— усмехнулся Бакалов. Он так и сидел, приподняв остренькие плечи — чем только припугнул «молодца»! — Ничего Анна. И замуж вышла, и любила уже не по-глупенькому, и двоих родила. Да только...
Но он резко качнул головой, отрезал — конец этому разговору!
Собеседник его засматривался в простор молодого моря.
— Эк вымахало! — залюбовался он.
— Дело человеческих рук.
— Обротали Волгу. На киловатты теперь пересчитать можно, сколько силы тысячелетиями переливалось в мускулах ее. Силу эту взяли, да не отняли. Вон в чем суть и корень! Волги не убыло. Сторицей отплатили! Море вымахали!
— Да, кружили-колесили тут прежде от города до города...
Чудесной линии полета подобен путь поверх оставшихся где-то внизу, в холодной мгле, в подводном цар-

стве змеиных изгибов, извивов, меандров старого русла; а кругом него заиливались желобки речек, речушек, потерявших прозвания.

— А я скажу: таким и должно быть дело рук человеческих. Возьми — да вдесятеро отдай. Так, говорю, хозяйствуй на земле. Законом поставь!

— Когда бы всегда закон,— хмуро отозвался Петр Никитич.— А то, бывает, от прадедов повторяем: «Лес рубят — щепки летят». И почище прадедов, сколько золота-лесов так в щепу и пустили.

— Погодите. Вникнуть надо: рыбы одной вместит толща эта...

— С рыбой пока получается оплошка,— перебил только что севший пассажир.— За большим делом малое недоглядываем.

— А что ж писали,— спросил Петр Никитич,— что сазана запустят, стерлядь, сига? Селедочку знаменитую, плещеевскую?

— С Плещеевым или там с озером Неро не равняйте. Там, по урожаям рыбы сказать, чернозем-вода, а у нас — супесь.

— Это почему ж? С бентосом и планктоном плохо? С червячками,— перевел Сергей Матвеевич.

Новый пассажир ухмыльнулся.

— Да, и с «червячками»,— подтвердил он в тон.— Дно-то ведь какое? Где торфяники всплывают — гидростанция по радио только сводки дает, вроде обсерватории нашего моря... А где перед тем, как затоплять, так и не расчистили до конца, бросили в пеньках — догнивать под водой...

И он помянул, что рассчитывали брать 100 тысяч центнеров, а берут 35—40, да и то вопрос, не подрывает ли это запасов рыбы.

— И вот еще. Металлургический гигант, гордость и краса, верно. А сточные воды? Штрафы, запреты... Да все сказка про белого бычка. А наш брат, рыбачки? Святые, что ли? Найдут зимовальную яму — тоннами таскают, пока не очистят. И еще во все колокола: «Вон какие мы — нашли!»

— Нет, ты обожди, друг,— вскинулся Петр Никитич.— Ты обожди. Про что ж это ты? На глазах чтоб гибло, а мы жалостью и жалкими словами отделываемся? В те самые колокола и надо бить, а как же? И крепко языком того колокола по иной башке...

— А вы сами не по нашему ли делу? Специальность какая?

— А мы такой народ, что нам до всего дело,— отвечал Сергей Матвеевич.— Специальность? Он карусельщик, на карусельном станке работает. Я... Вода, говорите, у вас не та?

— А кто б вы ни были и откуда, вода та замечательная вода! Бинокль-то при вас? Во-он, глядите, вон туда. Смекнули? Нет? А берег, разберитесь, какой? Песочек, галька? Желтенькая каемка? Нету каемки. Берега, выходит, вовсе нету. Вон я и без бинокля — след на обрывчике, полоса, будто варом обварило. А потому, что вчера вода доверху хватает, а сегодня... Отливаем да приливаем. Так, мол, надо для режима работы ГЭС. Рыба же набьется в протоки, устья, нерестилищ ищет, не глупа она. А тут весь ум ее ни к чему. Несчётно гибнет от замора в илу, как отольют воду ниже черты, ниже, значит, отметки «98».

— Чудо сделали, море,— сказал Сергей Матвеевич.— А сами себе еще не верим. Еще «в чину учимых» — Петр Алексеевич, царь, так говаривал, не дурак был. Так вот я скажу,— ты, Настасья, садись с нами, тебе тоже интересно,— скажу: выучимся! Природа гибка. Упряма, но гибка в сильных руках. Возникнет новая фауна. Фауна пресных морей. Рыбы без туризма от устьев до верховий. Вот как голомянка в Байкале. А может, не одни рыбы. Существуют озерные... озерные...

Как жаль, что именно тут он потерял слово и сунул вместо него подвернувшееся:

— ...тюфяки?

Пегая его голова и дочерна выдубленная шея возвышались над всеми.

— Тюлени,— помогла жена.

Она явно относилась по-матерински к этому высокому, сильному немолодому человеку. А он так же явно рассчитывал на нее и даже, приходится сказать, злоупотреблял этим.

Ответ же на свой вопрос он получил неожиданный.

— Дельфины на кофейной гуще! Не слыхивал. И не услышу,— заговорил плотный солидный попутчик, сидевший как изваяние.— Это кто же у вас получается директор завода — черт с рогами? Или начальник ГЭС? А у него на загорбке промышленность области, бывает — и двух. Обеспечь — не то голову долой! А он, по-вашему,

почешется пятерней, да и надумает: пошлю-ка эту всю бесперебойную ритмичность к такой-то матери, извиняюсь, конечно, и дам-ка я команду промышлять о здравии рыбок. Возьмем теперь уровни уловов, контрольные цифры путин. И тут недовольны, слышу, легко этак, с кондачка рассудили, хоть будто и сами причастны? План! Ясно? У главного инженера Рыбтреста — раз. Да захоти он поломать, бухгалтер за руку схватит: есть такая статья? Недодать государству? Финансовая дисциплина! Ого-го, как спросят!.. План — железная основа всей жизни. И стальная не-пре-лож-ность в осуществлении! — проскандировал он размеренно и педагогически — точно так, как объяснял бабушке, что внучек ее вот-вот затянет в коленчатый вал.— Это не игрушка — взял и поломал. Сложнейший государственный вопрос!

Он говорил долго, обстоятельно, сказал, что доводов у объективщиков, стремящихся сорвать важнейшие планы, всегда миллион.

Очевидно, не в обычае его легко уступать трибуну, на которой он оказался.

И он обильно расставлял в воздухе высокие и бесспорные слова,— каждое из них повисало в особицу, а общий смысл, связь и цель речи неуловимо ускользали. С кем он спорит? Что и против кого отстаивает? Чего добивается? Но загадочным образом на любого, кого настигали слова этого назидательного, неторопливого, четкого, тусклого голоса, ложился как бы пыльный осадок их: неясное, тревожащее, тягостное ощущение собственной вины.

«Почему я не выношу его? — спрашивал себя Демин.— Не выношу его куполообразного емкого темени. Истовости его в умывальной, с закатыванием и обдергиванием рукавчиков рубашки, с футлярчиком для зубной щетки, расстанавливанием стаканчиков, мыльницы, пасты, эликсира, методическим натиранием пядь за пядью лба, ушей и мочек их и слухового прохода, брыл, шеи, рук, промежутков между пальцами. И долгого сидения в уборной. Не выношу его справедливости, ради которой он изгнал из столовой двух стариков, доказав, что они сели за столик не в очередь. И того, как, воздев голову к небу, он возвещает, что появились тучи и солнце скрылось. И как торгуется на базарчиках, требуя, чтобы в стакан прибавили еще две ягоды, потом, окинув взором

оставшуюся кучку, пораздумав, шумно выдыхает: «Ну и эти»,— а стоящие за ним расходятся ни с чем.

Как я ненавижу все это, да простится мне!»

Он беспокойно обернулся: что Ольга? Она опиралась о борт. В бесконечном отдалении над горизонтом застыли завитки облаков, легчайшие, сквозные, наведенные в небе над громадной водной равниной. У края ее легла темная полоса, словно густо мазнула гигантская кисть. А вблизи решетка солнечных лучей утоплена в самую глубину и висит в прозрачной глуби, так и не касаясь дна...

Оля следила, как земной мир принимает море. Она вся захвачена этим. И вся потянулась к Юре:

— Свободна. Свободна, как ветер!

5

— Еще я не успела рассказать, вот послушай... Я хочу, чтобы ты все-все знал про меня. До последней малости.

И пытливо заглядывала в глаза:

— Ты ведь тоже хочешь? Правда?

Она рассказывала, как училась (была отличницей), как проводила прошлое лето, о своем неудачном замужестве и — со всеми подробностями — о семье, о счастливом браке сестры. Вспоминался ей к чему-нибудь то тот, то другой случай, трогательный, забавный, и она брала Юру под руку: «Вот еще и это... Ты слушай». Говорила об увлечениях, о подругах, о сослуживцах. Ей недоставало юмора, все разрешающего броским и пустопорожним острословием; но живо, ярко, блестя глазами, умела передать юмор людских отношений, связей, особенных обстоятельств — видно, как влекло ее, как выискивала она это, не щадя тех, кто попадал в силки ее цепкой, пристрастной наблюдательности.

Часто, однако, бывала мягка, серьезна; восхищалась, просительно, почти требовательно ища согласия.

Юра скоро так знал окружающих ее людей, словно встречался с ними. Только все они существовали не сами по себе, а именно в связи с ней, с ее жизнью. Оттенок удивления, нет, даже какого-то восторженного изумления перед своей судьбой, перед тем, что произошло с ней, перед своим вчерашним, сегодняшним и, конечно, завтраш-

ним днем окрашивал все ее рассказы, сквозил в памятливости на всякую мелочь, ее касающуюся.

На вопросы Оля отвечала, не упуская ничего; сама торопила, подсказывала их.

Но чем больше он слушал, тем явственнее шевелилось в нем смутное, тревожное ощущение, что чего-то не задевают все ее слова.

Что он знал о ней? Ее работа? Контрольная лаборатория на таком-то заводе... «Ведь это далеко-далеко от тебя, я понимаю, милый».

Ее жизнь? Да, все эти окружающие ее люди, фигурки, расставленные на доске, которыми она будто играла, переставляя их в своих горячих рассказах. И он, как бы отвечая, как бы споря с ней, словно вызывая ее на что-то еще не произнесенное, главное, начинал рассказывать о себе. Тут он хотел, он должен был перед самим собой пересказать все, до конца, дочиста. И не мог иначе.

Не мог не заговорить о собственной работе. Сейчас определилось для него важное, самое важное в его жизни — распутье. Тяжело и сложно прошел последний год. Он завершал начатое уж несколько лет назад. Завершал ли?.. В обостренной, как никогда раньше, борьбе, когда все «за» вплотную схватились со всеми «против», год этот подвел к решению. Нет, надо быть осторожнее, хотя бы к первому этапу решения. Сколько еще всего будет впереди!

Их было несколько человек, почти все молодежь. Он сам, недавний тогда выпускник МЭИ, инженеры чуть постарше, которые подхватили его туманную поначалу мысль, один солидный физик-кандидат, поворчавший и вдруг горячее всех поверивший, что так можно, и рабочий, механик-новатор, о чьих золотых руках толковали все. В сущности, какая же группа? Работали в разных цехах и отделах.

А дело, объединившее их, оказалось делом сверхурочным.

Мысль заключалась в том, что должен отыскаться способ непосредственно измерять теплоотдачу электрических машин.

Когда мелькнул проблеск этой мысли? Может, на последних курсах энергетического проще представлялось тогда многое, чем вышло в действительности. И яснее вообразил Демин беспримерную мощь неисчислимой, «как песок морской», армии электрических машин.

Живы миллионы людей, еще помнящих XIX век, когда ничего этого не было. Но уже ни им, ни тем более сотням миллионов моложе их даже в фантазии своей не оторвать человечество от электрической армии, не скинуть ее долой. Это равносильно уничтожению облика всего сегодняшнего мира, разрыву тканей его — абсурду.

На пятом курсе, перед экзаменами, он несколько недель ходил под впечатлением собственным воображением созданной картины.

Домашние крошки-ворчуны, ползуны и слуги; вышколенный персонал больниц, лабораторий — машины — помощницы и ассистенты, глаза, уши, сверхчувствительные пальцы; работяги цехов, хлопотуны полей и ферм, кроты шахт-подземелий, скороходы и пловцы. Моря электрического света над земным шаром — фары, прорезающие мрак космической ночи.

Попробуй, перережь пуповину, соединяющую их с человечеством!

Исполинские генераторы уже наливают силой свои мускулы, напружинившиеся, чтобы помериться с самой тягой земной.

Еще не взлетели спутники. Но Юра не сомневался — как и его сверстники, как подавляющее большинство советских людей — что это произойдет скоро, вот-вот, именно в нашей стране. Уверенность, возможно, даже опережала головокружительный полет времени.

Поединок с планетой! С гордым чувством студент вспомнил теперь Святогора-богатыря из школьной книжки: древнерусскую мечту о сверхъестественной силище человека, которая дерзнула на это, на последнее, на абсолютный предел — и сломилась (а тогда, в школе, мальчишкой, он вовсе не расслышал былин, они ничего не задели в нем — выучил и забыл).

Себя студент не переоценивал. Не чей-то уединенный гений, а тысячи готовят победное торжество человеческого могущества. Слово «народ» для него не было пустым словом. Но, коль так, надо самому влиться в поток, хоть каплю свою прибавить к еще неведомому в истории разливу!

В то время говорили о генераторах-гигантах американской станции Гранд-Кули мощностью 120 тысяч киловатт. Строились еще большие — для Куйбышевской ГЭС. На лекциях профессора объясняли, что водородное

охлаждение позволяет повысить мощность крупных турбогенераторов на 25 процентов.

Так, значит, не пустяковый и не узкотехнический вопрос — заме́р теплоотдачи электрических машин.

Как сложны, однако, как трудоемки и зыбки расчеты, связанные с этим, на какие косвенные, виляющие (так казалось Демину) уловки, хитрости приходится пускаться!

Что-то тут нарушало, оскорбляло здравый смысл: юный ум нетерпим и прямолинеен.

Неужели нельзя непосредственно измерять теплоемкость материала, температуру, теплоотдачу — «дыхание» гиганта, «прислушиваясь» датчиком к узлам гудящего на полных оборотах стального тела?

Это же сигнал для точной регулировки охлаждения. Самая ранняя диагностика едва возникающих сбоев — ведь сотни тысяч и миллионы сто́ят машины! Сигнал для конструкторов — на будущее.

В этом заключалась мысль.

Их поддержали. Кое-кого перебросили — так, чтобы дать возможность работать вместе. Все еще было крайне туманно.

Месяцы — или год? — первых прикидок, уточнений, вновь и вновь все сначала, неудачи и споры, и сколько слепых часов, часов, когда пусты глаза,— вдруг защиплет стекшая со лба холодная капля пота.

И затем серия экспериментов, часто сбивчивых, с опытными образцами, но это уже стало не «вообще», что-то уже держишь в руках, и нужно взвешивать и решать. Тогда начались настоящие трудности.

Экспертизы. Понятна, конечно, их необходимость. Во все более компетентных инстанциях. Любая задоринка, которая разве что только мелькнула (да и кому, казалось бы, кроме них, и заметить ее), представала тут вдруг десятикратно увеличенной в холодном, ясном, беспощадном свете. Выставленная напоказ, словно помимо нее ничего и не было в опытах.

Выводы экспертов... Член-корреспондент, старый, желчный, блестящий конструктор, отозвался коротко: досадно, что оторвали от важного дела неубедительной, детски неумело нагроможденной цифирью: «А, в сущности, к чему? По грибы с колокольным звоном!»

И саркастический совет:

«Такую завидную молодую энергию да если бы направить по одному из тех каналов, которые...»

А самые методы внутреннего охлаждения полых обмоток ротора и статора с нагнетанием водорода повышенного давления? Вот над чем надо работать!

«Товарищи предлагают? Можно и так,— сварьировал второй эксперт, ученик первого.— Если, разумеется, хватит настойчивости... Все это пробовано и перепробовано. Абсолютно ничего нового».

«Неслыханно! — полагал, напротив, третий.— Претензии на переворот? Может быть, на открытие неизвестных физических законов?»

«В конце концов, если не устраивают принятые таблицы... Нельзя отрицать постановку вопроса о дефектах и громоздкости расчета по теории подобия. Но устранять их надо, базируясь на ее же правилах: вот путь!»

«Теоретически легче было бы принять смелую попытку перенесения и в данную область теплового моделирования по Кирпичеву и Михееву, чем...»

Вежливость удержала этого рецензента от слова: доморощенность.

«Замысел интересен и, следует думать, продуктивен. Однако...»

И следует колоссальное «однако». Но не будь хоть таких голосов, как не извериться в успехе, в самом значении начатого? «Понимаешь, настаивать на включении темы в план я лишен возможности. Впрочем...» — сказал в прошлом году директор, переходя на «ты». Он не мешал, но отношение его утратило ясность. Во взглядах товарищей все чаще проскальзывала участливая или насмешливая жалость. Балагур и весельчак инженер Масленников внимательно перечитал отзыв члена-корреспондента, потом зачем-то перевернул его вверх ногами и сказал почти с завистью:

— Как пишет! Прямо по Маяковскому: «А зачем мне это все? Как собаке здрасьте».

Ни постной скорби, ни сочувственного возмущения — ничего у него не получилось, широкая, благодушнейшая улыбка так и осталась сиять на розовощеком лице.

Если бы у Юры и его друзей сохранилась внутренняя свобода посмотреть на все со стороны, они спросили бы себя, не упрямством ли подменен фундамент их веры в свое дело.

В прошлом году Демин отказался от отпуска. Почти все они оставались на местах. Чуть не день за днем он мог бы вспомнить, восстановить осень, зиму — тем страннее в целом они выпадали из памяти. Вплоть до поздней весны, когда опытная кривая показала крутой изгиб, перелом на 45 градусов. Дыхание машин уловлено!

С чем он и уехал. Пришла естественная передышка. Свое суждение вынесет институт Академии наук. Либо не в меру разбухшая иллюзия, либо открытый семафор.

И вот все это впервые отпустило его. Окружил привычный мир детства. Он был в утреннем откашливании отца за стенкой, которое заканчивалось рыканием,— тогда, в детстве, оно казалось львиным. В неумолимой войне матери со всякой соринкой, крошечной паутинкой. В педантичном порядке за столом, где ни над одной мелочью не властно время. В протяжных вечерних травяных голосах, щемящих и спокойных. В теплых сетях ромашки у обочины тротуаров. Косарях, ожидающих перевоза. Знобком перламутровом тумане перед восходом солнца...

Он радостно окунулся в этот мир, так что даже не удивился, когда тот вынес ему подарок, самый дорогой в жизни.

Вся душа его словно расширилась.

Да, он хотел поделиться всем, чем владел, всем лучшим в себе до последней мелочи — с ней, вчера еще неведомой,— да нет, он всегда ее знал и любил, не зная, и не мог иначе,— так всем телом, всем сознанием своим чувствовал, был убежден он. Вернее, не поделиться — все отдать ей, Ольге Шиловской,— только так и сам он сделался бы по-настоящему богат.

Вот почему теперь, возвращаясь к уже завершавшему круг, не сегодня-завтра ждущему его решению, он должен был заговорить с ней об этом — о годах своей жизни. И заговорить, как не сумел бы несколько месяцев назад: теперь уже, будто со стороны, даже с какой-то высоты, откуда открыта именно даль, свободный путь за зеленым глазком семафора. Невозможно иначе. Свободная даль. Так он чувствовал — вот сейчас. Чувствовал и знал: сил хватит на все.

Ольга слушала, не сводя с Юры золотистых (как он называл их про себя), так легко, переменчиво темнею-

щих глаз. Черта напряженного внимания вырезалась на ее чистом лбу. Она задавала вопросы и вдруг, смешавшись, вспыхивала:

— Видишь, до чего я бестолковая...

Не красила губ, ресниц, не употребляла никакой косметики, не «мазалась». Но с необыкновенной тщательностью ухаживала за собой, во всем старательно храня, оберегая свое женское естество. Наскучив ждать, он стучался в дверь.

— Потерпи. Любить не будешь,— весело отзывалась она из-за двери.

6

Женщина говорила:

— Пригорюнишься, пожалеешь себя: да, пришлось нам... А рассудишь — всякому свое. Мой характер легкий. Петр у меня, конечно, порох.

Сергей Матвеевич:

— Не очень весело обернулась поездка к пенатам, вижу...

— Перегорело уж. Мой характер легкий. Самое горькое перегорело. Витенька во второй класс пошел.

Витенька, мальчик с негустыми русыми волосами, серьезный, он выглядит старше своих лет; в этом его сходство с отцом. Мать доверяет его только бабушке, Антонине Марковне, с ее тремя внучками — Ириной, Мариной, Аниной; в Павлове бабушка не сошла.

— Все перестановили,— продолжает мать,— всю комнату, шкаф со стеклянными ящиками для книг купили на то место, где стояла ее кроватка. И обои — все... Кто войдет, говорит — в новый дом переехали. Совсем маленькая была...

— Да мы родом оттуда, из того города,— перебил Петр Никитич. Он не хотел этого разговора.— Я и вот она, Катя. Родной город, а как же? Там и поженились. Собрались туда как? Очень просто: у ней отпуск, у меня...

— Горюет он по девочке. Совсем маленькая была,— сказала жена.

Бакалов упрямо:

— Родное место тянет — что там еще плести! Сколько лет не были...

Жена не обратила на это внимания.

— И так еще сошлось, что Аннушка, сестра его — Анна Никитична, написала: муж тяжело болеет. Вот мы и... При нас и похоронила мужа. Посмотришь на чужое горе — погодишь со своим докучать людям.

— Много у тебя другого горя было?

— Горя не горя... А не хлебнули с тобой, Петя? Не намыкались? Тебе-то, скажу, что́ — напрямую режешь кому ни попадя. На ниточке сколько висели из-за пороха твоего. Так и сейчас: вернемся, а к чему вернемся? Хоть когда бы ты помягче; с плеточкой на обух...

— Думаешь, порошинка лжи легче и незаметней — в рукав спрячешь и чист выйдешь, а проглотишь — костью в горле не станет?

— Удивляюсь я, как ты тут смолчал этому... распорядителю.

Так она отозвалась о плотном, солидном попутчике с его педагогическими разносами.

— Распорядитель! Ханжа.

— Он хуже, чем ханжа: он искренен,— неожиданно поправил Сергей Матвеевич.

— Я знаю его,— сказал Бакалов.— Слово произнес на похоронах Степана, мужа Анны. «Кто такой?» — спрашиваю. «Знакомый,— объясняет Анна, сама плачет.— Степан даже приятелем звал. Да как слег, тот ни в дом, ни в больницу ни ногой. Вот только теперь, на кладбище, явился. И какая бы обида, если не позвать на похороны, ввек бы не простил!»

Жена перехватила ниточку:

— Вовсе голову потеряла тогда Аннушка! Представляете, как одной? Что бы и делать стала, если б не Петр Никитич! — с гордостью прибавила она.— Могилка мужа не обсохла, а к ней с ордером: уплотнять торопятся. И с пенсией хлопоты. Детей двое.. Весь город на ноги поднял Петр, а как же? — совершенно по-мужнему сказала она.— А до того — с врачом в больнице...

Она любила рассказывать. Даром что Бакалов ни о чем таком не хотел вспоминать. Человек был обречен, оставалась последняя попытка, дерзкая, очень рискованная. Один шанс из ста. «Это подсудное дело»,— несколько раз повторил врач. Он нервно мыл руки. Бакалов не мог поймать его взгляд. Возможно, врач был прав. Но

сейчас он боялся не за жизнь умирающего — он боялся за себя. «Тюрьмы́ затрепетали? — рубанул Бакалов.— А тут смерть. Смертная казнь человека».

— Неудобен ты, Петр Никитич. Угловат. Колюч. Не снисходишь. Труден... Ох, и не просто, вижу, с тобой!

И Сергей Матвеевич положил громадную лапу на плечо своего нового друга, углом поднял могучую бровь на иссеченном черными шрамами морщин лице.

7

Катерина Бакалова была общительнее всех.

— Молодые,— обратилась она к Шиловской с Деминым,— вместе мы с вами садились — не земляки?

— Земляк,— ответил Демин.

— Нет, я впервые,— покачала головой Ольга.

— Впервые, значит, ничего не видела,— повернулся к ней Петр Никитич.— Городской сад да центр?

— Ну что вы! — засмеялась Ольга.— Еще и проспект Металлургов.

— Правильно! Вот где центр! Город-то новый — красавец! И, как говорится, из тьмы лесов, из топи блат. Я и сам увидел его — обомлел. Ничего, как есть ничего на месте том не было! Мальчишками с удочками и снастью-паучком меж кустами бегали.

— У этой самой речушки? Жижица бурая под мостом.

— В ту пору, как мы, босоногие, налетали рыбалить, как судили? Краю нет рыбе-рыбешке! Не выловишь, не вычерпаешь. А теперь жижица: жаль. Это к слову. По квартирам бывали — сравнить, как живут, а как прежде, до новых домов, жили на Березовой, Веселой, Золотой? Впрочем, опять повторю: жаль.

— Чего жаль?

— Непонятно? Что улицы выстроили золотые, а словом золотым все не приспособимся отметить их. Сто лет знали: знаменитый художник родился в нашем городе. Знали, а ни памятника, ничего. Смотрю: статуя ему стоит. Поставили! В новорожденном городе, возле лучшего здания — Клуба металлургов. Чего же не решаемся в именах, какие даем, порадоваться?

— А бюст знаете в сквере на Бобуновской?

— А вам известно, чей это бронзовый бюст? Мать партизана Бобунова приезжала, чтобы при ней, значит, сдернули с бюста холстину — на открытие. Тогда изо всех домов на Бобуновской улице вышли люди — звать ее к себе, старуху, хоть гостить, хоть жить. «Имени сына вашего улица — ваша улица!..» Лешка Бобунов, босый, как и я, бегал на речку. Да вот встретился с ним, с бюстом...

«Как он говорит! — думал Демин.— Ни для чего на свете не с краю его хата. Будто и вовсе нет никакого «краю» на свете! А ведь не гладка его жизнь. Ни за что бы не разгадать этого! Шкаф с ящиками на месте детской кроватки... Легкий ли характер у его жены? Да, и ей бы хотелось немного полегче... Но какой ценой далось ему все? Какой ценой дается это людям? Оля, а ты, ты понимаешь это?..»

— Да оставьте вы ее хоть на минуту! Дайте вздохнуть без вас. Поговорим по-мужски, Юрий Яковлевич... или Георгий?

Близко Демин увидел большое, пухлое, будто на яичных белках, лицо, овальные ноздри мясистого носа с горбинкой, чуть выпуклые, с широкой радужиной глаза красавца.

Он опять ронял фразы небрежно, некоторые слова преподносил как бы на серебряном подносе, выговаривая их, словно со сцены, и все время лаская собеседника доброжелательно-невозмутимым взором.

— Про меня, собственно, больше болтовни, я вас уверяю, чем... Да, я возбуждал интерес, привлекал... А вас любят.

Дважды коротко затянулся и далеко, на отлет отвел руку с папиросой, вкрадчиво разглядывая дымок.

— У меня есть товарищ... назову даже — друг. Он известен в стране, поэтому не посетуйте, если я...— Наклон головы изобразил фигуру умолчания.— Жизнь его с юности и до вот этого часа облечена ореолом. Нет никого, кто бы не завидовал ему. Знаю только я. Один знаю. Судьба провела его среди женщин блестящих, любящих, даже любимых им — и из которых ни одна ему не правилась.— Он поджал губы, давая время собеседнику изумленно осознать сказанное. И значительно продолжал: — Но если любящая и любимая ни в какой момент не представится вам за-ме-сти-тель-ни-цей,— протянул он со странной ленцой и вновь поджал губы, вы-

жидая, прежде чем договорить,— заместительницей той, которой нет и не было у вас,— вот тогда это счастье!

Демин больше не слушал его.

«Счастье! То, что всегда впереди, завтра, нет, и не завтра — через месяцы, через год, через те годы, когда сделаю и оглянусь, когда *дорасту*; то, что иногда, реже видится вчера, в отдаляющемся полудетском прошлом: счастье — *вот это?* Сегодня, *сейчас?!*

Чувствует ли она себя неразрывно связанной со мной? Отныне и навеки? Нерасторжимой связью — одно со мной. Что бы ни ждало, что бы ни случилось!..»

8

Потом он помнил еще площадь, середина ее придавлена серой полуруиной — до архитектурного памятника не дотянула, ссыпной пункт не догадались устроить. Казалось, что это от тяжести ее площадь скосилась, один конец просел. И тишина вокруг, дощатый рыночный навес в этот час пуст. Домишки, обступившие площадь, малы, тесны — некогда нынешняя полуруина господствовала надо всем. В стороне, в купеческих палатах расположилась больница. Тишь и теплынь. В палисадниках за простыми столами пили чай. Пахло сухой пылью и по-вечернему травой; над безголовой колокольней руины вились птицы, вспыхивая на резком зигзаге светлым брюшком; глаз мог бы следить за их лётом до самого края неба — так открыт и чист воздушный купол. Настойчиво, как будто кому-то торопливо втолковывая что-то, дробно, механическим дятлом долбил движок. Чем живут люди во всех этих домах — и в первых этажах, и за распахнутыми окошками вторых, и в похожих на птичники галерейках, примостившихся над откосами, упираясь длинными деревянными ногами?

С урчанием и фырканьем, охая утробой, вкатился на площадь автобус и, накренившись, чуть не чиркнув о землю, замер. Люди посыпали из него, летучая толпа заполнила площадь — как столько народу умещалось в нем!

Люди возвращались с работы оттуда, из-за бугра, где рос молодой город, перенявший жизнь и у старого.

Внизу, под горой, за рядком кустов на травяной площадке играют в футбол — это с парохода, свободные из

команды и пассажиры. Красноватый свет неуловимо ложится на все.

Только река чиста от него — там нежная зелень, и празелень, и оливковые полосы; ширь ярка, тяжела, почти курчава, но у пристани уже высветлилось. Высь пуста. Демин взглянул еще раз — месяц-молодик стоял над затоном, сливовый сок сочился из него на затон.

И рядом с ним, с Деминым, темноволосая, некрасивая, прекрасная девушка с быстрой и горячей душой. Девушка, чья любовь видит это так же, как видишь ты сам.

А после был Углич. Разомкнувшееся и принявшее их в себя полукольцо света казалось необъятным. Огнистые чертежи и пирамиды залоснились в масляно-черной воде. Местами на берегу, наверно, светло как днем. Огни переплетались узорами, выстраивались аллеями, сгущались в белые сияния. Там белый день. И в нем искрились ярусы точек-окон в зданиях-громадах. Электрическая сила! Половодье ее! Рождаясь тут, она разливалась у самого своего истока, как Волга за высокими воротами шлюза. И ликующе потопляла пустыню ночи, отбрасывая ее прочь. Прежний образ всплыл в сознании Демина: фары, пронзающие глушь и мрак космической ночи. С необычайной, зримой ясностью он представил себе это. Кто знает, на сколько сотен тысяч, миллионов километров в глубь мирового пространства! Один из тех пунктов Земли, чей свет видят обитатели иных планет, если существуют. Где-то у гигантских труб, в лабораториях, где обрабатываются сверхчувствительные пленки, они видят, угадывают бессонный, победный, гордый труд далеких братьев-людей!..

Пятнышком темнел заповедник с палатами царевича Димитрия. Туда через воду вели длинные, с двумя поворотами, мостки. Но и там переливалась цветная нитка лампионов в городском саду.

Старик со скрипкой очутился на пароходе. Как, когда он вошел? Куда собирался ехать и собирался ли вообще? Никакого билета у него, конечно, не было. Он сразу засел в ресторанчике. Человек с мутно-голубыми глазами налил водки и ловко, цокнув языком, выхватил стакан обратно из руки старика. Другой, молодой, прыщавый, сказал:

— Сперва «Мишка, Мишка».

— «Полюбила»,— бухнул наливавший водку.

— А «Зойку» умеешь? — спросил третий, стоя у двери, не присаживаясь.

Хрящеватые, в пуху уши старика слабо порозовели.

— Я артист! — ощетинился он и, чтобы показать обиду, захотел крикнуть, но сорвался на петушиную ноту: — Меня Ойстрах знает! Требовать от меня пошлятины — оскорбление!

Он по-петушьи выкрикивал преувеличенно интеллигентские фразы, сивые волосы его ерошились клочьями, виски и руки покрывали звездчатые пигментные пятна. Он закашлялся, и голос его съехал в сипенье.

— Я сыграю вам Presto из c-dur-ной сонаты...— пробормотал он спотыкающейся скороговоркой и начал поспешно вытаскивать из футляра скрипку.

Поднялся со скрипкой, квадратный и приземистый, выпяченный живот, на котором расходились полы кургузого — очевидно, чужого — пиджачка, упирался в край стола. Смычок извлекал неравномерно быстрые, обескровленные звуки. Стоявший у двери подсел к двум другим. Они все потешались. Выпили, и часть водки пролилась. Старик, скосив глаза над прямым толстым носом, следил, как капли падают на пол. Издевка не смущала его, но он еще убыстрил свои тусклые звуки — и вдруг, без перерыва, заиграл «Осенние листья». Что-то изменилось в его позе, пустяк — живот отошел от стола, левая вытянутая рука прочертила чуточную дугу вниз, но скрипка сделалась поразительно похожа на поднос официанта.

— Гадость,— брезгливо, со злыми глазами сказала Ольга,— гадость, гадость! Откуда это? Ты замечал их прежде, милый? О, какая мерзкая гадость!..

— А что, профессор,— Бакалов так в первый раз назвал Сергея Матвеевича,— когда ты строил Угличскую ГЭС, ты не расчел такого?

— Гробовые выходцы. Не упокоились в гробах. Видел некогда подобные скверные сны наяву. И читал... слезницы! — с внезапным ожесточением отозвался Сергей Матвеевич.— А сейчас вижу, как в обезьяньем зеркале. Дерьмо не выгребли, и мухи над дерьмом.

Он выразился грубее, вполголоса, забывая, что слышит не один Бакалов. За столом не обращали внимания.

— Соромно смотреть! — уже не сдержался он. За столом один обернулся.— Существует здесь, я полагаю, администрация?

— Администрация? Смотреть? Я вот и без администрации... А как же? Ишь ты, смотреть! Куда ему ехать, этому... пиликальщику? Купить ему билет куда надо, а? И чтоб он ни ногой сюда, в эту харчевню... Этих же троих... А ну, строитель!

— Дерзай, Петре,— диковинным своим языком благословил Сергей Матвеевич, окончательно примиряясь с ролью не ведущего, а ведомого.

Парна́я теплынь. Всеочищающий ветер движения. Звезды снова засыпали небо. Ни намека, ни мысли об осени. Нет ее нигде на земле. Но она, невидимая, уже полными горстями осыпала небо.

— Пойдем побудем одни,— попросила Ольга.

Далекие, еще дрожали и плющились огнистые чертежи и пирамиды.

Демин сказал, как клятву:

— Смотри, пусть никогда не погаснут для нас эти огни...

Разве дни, только дни провели они тут вместе? С трудом, как из глубокого колодца, пришлось бы доставать памятью то, что было прежде. Громадное в их жизни прошло, совершилось тут и отделило от прошлого.

Он думал, что никогда ничего не забудет из ее страстного шепота до утра.

9

Директор встал и выждал, пока стихнет шум; затем он постучал вилкой по стакану, и шум стих также во второй комнате. Директор сказал о замечательной победе коллектива, и какие смелые и упорные у нас люди, настоящие упрямцы, от которых не отмахнешься, сказал он весело и добродушно, сколько они крови испортили многим товарищам. Можно бы и назвать этих товарищей,— он хитро покосился при этом на трех или четырех ответственных сотрудников, сделав длинную, многозначительную паузу, и по комнате пошли смешки,— но зачем же называть, портить им дальше и без того попорченную кровь. «А первый среди них я»,— сказал он и весело склонил повинную, ежиком остриженную голову. Потом и он тоже — в который раз сегодня! — поименовал «героев нашего вечера». К молодым, «безусым» обращался так:

— Ну, подымись, покажи себя.

А кончив совсем просто:

— Отличные люди! Прекрасные ребята! — как-то сощурился и помахал рукой.

Сразу задвигались, зашумели, зааплодировали, раздались выкрики.

Секретарь парткома осторожно выбирал слова, избегая приподнятости и преувеличений. Достижения значительны, и все обошлось, но это не должно заслонить, что поддержать-то поддержали, да когда? Так, чтоб без особого риску. Еще бы лучше, если бы поступил к тому времени определенный сигнал от вышестоящих инстанций, а то и прямехонько из ЦК! Повинные головы — правильно. Вот мы их и видели. И меч не сечет. Меч-то не сечет, а зарубочку в памяти, в своей собственной, сделать не мешает. И попомнить об этом следует — пусть даже и здесь. Вовсе притом не омрачая товарищеское торжество.

— Бочка меду, ложка дегтю,— раздалась реплика.

Все происходило очень непринужденно.

— И очень просто: когда придется починать свежую бочку — или товарищ решил, что это последняя и единственная? — чтоб тогда уже без капельки дегтя. Слаще мед. Я — за будущее,— ответил секретарь.

— Николай Евдокимович,— крикнул главный инженер,— ведь экономии-то даем стране!..

И он повторил ту цифру, что постоянно называлась в комиссиях и на совещаниях последних двух месяцев и, таким образом, стала как бы узаконенной.

— Да это же наметки,— живо возразил со своего места директор.— Скрупулезные выкладки со всяческими оглядками. А если реально взять в масштабах страны, то, черт его знает, может быть, и...

И директор почти на четверть увеличил цифру экономии — еще утром, на заключительном ответственном заседании, он не сделал бы этого, а теперь счел уместным, чтоб подчеркнуть неофициальность встречи, с гораздо более свободными допусками для мечты и фантазии.

— Вон, в масштабах страны, сколько мы даем!

Людно и тесно. Из шума вырвалась жалоба радиолы:

Все други, все приятели
До черного лишь дня.

Демин счастливо усмехнулся. Он знал, что это неправда.

В дверь входил Сергей Матвеевич. Седина его ярче и равномернее засеребрилась, но не сдавались мощные брови, корректный профессорский костюм сидел превосходно и ничуть не спорил с лицом бакенщика и моряка. Вернее, никто не угадал бы сейчас такого лица у человека с серыми, умными, суховато-проницательными глазами исследователя, высоко несущего голову, похожую на те, что выбивали на древних монетах.

Маленький Петр Никитич выглядывал из-за его плеча. Сейчас он осмотрится и удовлетворенно хмыкнет: «А как же!» — это уже написано на аккуратных морщинках возле подстриженных, торчком стоящих усиков. И как скажет, все кругом станет на место.

— А я с именинником. Я хочу с именинником,— потянулся чокаться через стол инженер Масленников, еще розовее, чем обычно.

Он подпевал крутившейся, еле слышной за шумом пластинке. Демин слушал и не слушал. Вдруг одна фраза очутилась рядом, встала в упор, как бы отдельно от всего остального, и полоснула-обожгла его. На мгновение он прикрыл глаза, словно каждая буква была раскаленной, выпуклой.

Спутник нашей радости —
Месяц молодой...

— Что с вами? Георгий Яковлевич, что с вами? — забеспокоился Масленников.

— Жарко,— ответил Демин. Что-то слетело долой с его души.— Голова заболела.

— «А болит у того, кто не пьет ничего»,— продекламировал Масленников.

То испуганное выражение, которое мелькало на лице Ольги, снова вернулось в угличскую ночь. Он ловил его несколько раз, когда она думала, что он не смотрит. И вдруг его потрясла догадка: что боится она чего-то, вовсе не связанного ни с ним, ни с ними обоими, что̀ находится вне всего, о чем ему известно, вне его жизни, его власти — и ближе всего к ней.

Она пробормотала в какую-то минуту, когда уже собрали вещи, быстро, наскоро кинувшись к нему, мучая, истомляя его и самое себя поцелуями:

— Ты пропусти меня вперед. Останься, подожди. Умоляю тебя... Так надо. Я все объясню, скоро...

...Кто-то нес в левой руке ее чемоданчик, правой похозяйски обхватив Ольгу за плечи, почти заслонив спиной в модном пиджаке бутылочного цвета. А она, подчиняясь, идя своей легкой походкой, клонилась, льнула к нему и о чем-то без умолку болтала с тем блеском, сиянием глаз, которые так знал Демин.

— Гусеница,— выговорил он.— Ярко окрашенная гусеница,— повторил он, смакуя первые попавшиеся бессмысленные слова, даже без боли.

И рванулся вперед. Он увидел гладкие до глянца волосы, широкий подбородок чуть тронутого ответной усмешкой лица — склонясь, спутник Ольги что-то спокойно толковал ей, мельком кивнув встречному в заводской спецовке.

Все было как в тумане или во сне. Точно сбит с ног ударом обуха. Они не замечали его.

Остановился. Он понял, что сейчас ровно ничего не сделает. Что бы это отменило, на что бы ответило? И слишком беззащитным оказался он сейчас.

Он забывался сном лишь на два-три часа. Отблеск залитой за окном солнцем улицы проникал сквозь закрытые веки, как нежное горячее прикосновение. Несколько мгновений длился прежний, утренний, радостно-сверкающий мир — мир, в котором не случилось ничего.

И тотчас страшное, непереносимое, чудовищное колесо включалось в его мозгу. Его вращение ни на шаг не отпускало от себя. Изнемогая, он обеими руками ударял себя по лицу, ногтями впиваясь в щеки. Ни за что бы он не поверил, что так возможно в действительности. «Я схожу с ума»,— подумал он.

Есть он не мог. Однажды в столовой заказал то, что больше всего любил. Официантка Наташа улыбнулась: «Вот так-то лучше!» — и уставила весь столик тарелками. Он не прикоснулся к ним.

— Что же вы деньги тратите, раз не хотите кушать,— огорченно, с обидой сказала Наташа.

За две недели он исхудал, как после опасной болезни. Ни за что бы он не поверил, что так возможно в действительности, не в старинных книгах.

Его стали останавливать малознакомые, тревожно спрашивали, давали советы.

Одиночество его пугало. Но после нескольких минут любое общение делалось тягостным.

Никаких врагов у Демина не было. Но, как водится, он предполагал и, бывало, говорил, что такой-то относится к нему дурно.

И вот все, кого он знал, и еле знал, и те, о ком предполагал, что относятся дурно,— без исключений, как умели, сдержанной заботой окружили его. Хоть никто не догадывался толком, что с ним. Товарищи на службе — мужчины, женщины, девушки — изобретали поводы что-нибудь бережно сделать для него. Он не задумывался, не представлял себе раньше, что столько хороших людей живет вокруг.

Они и работа вызволили его. Поначалу все валилось из рук. Но он был не один, он отвечал перед другими за взятое на себя. «Мне не цацкаться с тобой!» — прикрикнул механик, швыряя на стол новые детали. С остервенением он принялся за работу. Иногда до полуночи не покидал рабочего места. Так жестоко сражался он с тем, что терзало его.

Он нашел двоих, кто, как ясно он понимал теперь, были оба, хотя и по-разному, необходимы ему и с кем он даже не перемолвился тогда, на пароходе: профессора Сергея Матвеевича Грызлова и Петра Никитича Бакалова, карусельщика.

О Шиловской не справлялся. Год и три месяца назад они расстались у пристани. Она искала его. Больше они не встречались.

Впервые для него погасло имя Ольга — как он думал, навсегда.

— Все не проходит? — спросил Масленников.

— Сейчас пройдет,— ответил Демин.

— У именинника должна болеть голова. Какой без того именинник! — сказал Масленников.

1959

СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом глянет в сердце мое.

Ал. Блок

Мы долго ходили по улицам, по бесконечным садам, тянущимся на горе, спускались по лестницам, поднимались по взвозам. Я был гостем. И не мог пожелать лучших провожатых, чем семья друзей, у которых остановился. Жена — статная, красивая, темноволосая женщина, муж — большой, добрый человек, казалось, стеснявшийся собственного могучего сложения — осторожный в движениях, с тихой речью, особенно мягким выговором. И как же неиссякаемы были его рассказы! Живая летопись города, его кварталов со всеми достопримечательностями, как прежде жили и как преобразилась жизнь. «Почему он не записывает? Почему?» — недоумевал я.

То не были одни бравурные рассказы, отнюдь нет,— на мосту, перекинутом с холма на холм, он вспомнил о страшном и чудовищном, случившемся здесь,— юная девушка, полицейский чин, холодное, медленное убийство, чтобы отделаться от нее, особенно непредставимое на этой словно летящей арке,— как цеплялась за перила, и он отрывал, разжимал ее руки, отряхнулся, ушел посвистывая, концы в воду...

За разговором мы не сразу расслышали удары, подобные пушечным, не сразу заметили как бы дымный столб в конце новой, еще формирующейся, по-вечернему синеющей площади.

Но кто бы мог ожидать? Спутник мой, оборвав речь, ринулся туда! Он бежал, несся скачками, взмахивая палкой и свободной рукой!

— Что с ним? Да что же с ним?!

— А ничего,— ответила жена.— Увидел — рушат развалюху, старый дом. Конец старья! Для него это как праздник.

Горький писал о пристрастии многих людей к горящему огню. У меня с детства, наоборот, такое же отношение к воде. И вот человек, для которого праздник, когда рушатся камни и кирпичи, оболочка старого!..

Мне вспомнилось это недавней московской мокрой осенью. Я люблю бродить по Москве. В районе, отдаленном от того, где живу, мне зачем-то понадобилось зайти на почту. Женщина, почтовый работник, пригляделась и вдруг сказала:

— А я вас знаю. Мы же вместе жили.

И назвала адрес. Боже, когда это было! Быльем поросло... Не то, чтобы связывала нас тогда тесная близость, но дом был деревянный, стар, мал, все всех знали, и почему-то радостно было встретить человека оттуда — будто собственную свою молодость.

Конечно, пошли расспросы, что с кем стало, у кого какая судьба. Но все время подходили люди, разговор на тычку — не разговор, она засмеялась: «После, после! Вот зайдете еще...» И тут-то я наконец по-настоящему узнал Марину Степановну!

— Неужели вы все еще там живете?

— Все еще. Да верно — последний месяц. Сносят. Полтораста лет простоял, может,— больше... Уже и ордер на квартиру получили.

Радовалась ли она новой удобной квартире в новом районе? Или радовалась, разумеется, но что-то еще, какая-то грусть примешивалась к радости?

И тут-то сквозь дождь, сеявшийся не переставая, с необычайной ясностью встал в моей памяти тот вечер после долгого горячего дня в великолепном городе, когда угас уже блеск и жар ослепительных лучей, но словно след их остался на всем, облекая теплым сиянием здания, землю, сады в прозрачной, звонко-розоватой синеве парного воздуха...

И в первое свободное утро я отправился через всю Москву к *нашему* дому. Словно что-то гнало: «Только не опоздать!»

Сколько ни ездил по свету, не знаю, не видел другого такого города, как Москва. Это же целый мир! — говоришь себе. Разве это один город? Десять... пятнадцать. Настоль-

ко разных, что можно составить маршрут, превращающий простую прогулку в удивительное путешествие. Внезапно очутившись в незнакомом районе, оглянись, попробуй определить: что за город, где?

Но в том-то и дело, что повсюду скажешь: это Москва! И в старинных переулочках, и в исполинском размахе новых проспектов, и в меланхолическом молчании парковых просторов. И — увы! — среди нагромождения унылых домов-сундуков, где, говорят, к входным дверям надо привешивать бирки, чтобы ребята не заблудились,— печальной памяти о зодческих исканиях неких недавних лет... И перед безбрежным разливом города, вдруг открывающимся с Ленинских гор: везде — Москва! Одна, сливающая все облики в единственное в мире свое лицо...

Дождь все продолжал сеяться, чудилось, в воздухе неподвижно повисла блеклая кисея. Сразу, за один день палые листья усеяли улицы, покрыли черную землю бульваров, не успев пожелтеть,— точно странное скопище живых зеленоватых существ. Приходилось обходить вскопанные мостовые, строительные площадки, обнесенные заборами, с некоторой опаской — пыхтящие, стучащие, сотрясаясь, с керосиновым запахом, компрессоры всяческих форм и размеров — самоходные, мелюзгу на маленьких колесиках, компрессоры-великаны, чье гулкое эхо отдается от уличных стен; Москва повсюду строилась, ремонтировалась.

Железнодорожные пути, тупички со старинными амбарами, «наше» кино. На углу круто падающего переулка еще за несколько лет до войны была извозчичья биржа, сейчас это трудно вообразить. Со скрежетом сворачивают грузовики, тормозят под вывеской — база такой-то номер. А ведь как же упорно по черной закраске проступали тут слова «Холодный склад купца Милёхина», их закрашивали, и через месяц они выглядывали опять. «Вохра-то была — никуда не денешься!» — с сумрачным торжеством отмечал холодный сапожник, скептик и философ,— скорая помощь для обужи всей округи. Итак, борьба, развлекавшая переулок, победоносно завершена!

Как узок показался двор-щель! А ведь раньше стискивал его еще двойной ряд дровяных сараюшек, теперь их не видно... Что-то переменилось и в доме — неужели он по-стариковски сжался, скособочился? Вон в чем штука: вымахал рядом двенадцатиэтажный, и чердачное оконце, уставившись в подножие его, вовсе ослепло.

А было дальнозорким, когда мы стояли перед ним с Лариком Шумсковым. На исходе октябрь сорок первого, и Ларик с фронта, с передовой на двое суток в Москве — в той Москве, которой никогда не забыть. Стиснувшей зубы, с суровой, пустоватой, притрушенной ранним снегом, ежами и надолбами у застав и на перекрестках. Фронтовой Москве — в паузах уличного шума, грохота проносящихся военных грузовиков, днем ли, ночью слышишь незамирающий, перекатывающийся, словно подземный рокот артиллерийской канонады *оттуда*.

Мальчишки-подростки, Додя и Женька (их не эвакуировали) прилипли к Ларику. Зачарованно глядя снизу вверх (хотя тощий Додя вытянулся выше Ларика) на его загрубевшее, красновато-обожженное ветрами и морозом лицо, почти не смея задавать вопросы, они как бы примеряли на себя и шинель с солдатским ремнем, и новый этот с хрипотцой голос. Обступили женщины. Полина в ватнике, как пришла со смены (у нас, впрочем, тепло — никаких застывших батарей, топятся свои печи, нет худа без добра), Полина требовала ответа:

— Долго еще будет это: «оставили», «оставили»? Ты прямо скажи — может, в Москву пустить их собираетесь? Я спрашиваю, отвечай!

И подступала зло, всплескивая руками, высокая, черная, узкая в плечах, бессемейная женщина — как переменилась за эти месяцы, вдруг постарела, заострились черты... Конечно, приходилось несладко — впроголодь, на тяжелой мужской работе, давно забыли о выходных; но и остальным не слаще.

Отбой воздушной тревоги. И опять раздирающий вой.

— Слушай, ты слушай, что делают!

Острый палец, чуть согнутый в длинных суставах, тычется в грудь Ларику.

— Оставь, Поля, парень к семье пришел, завтра на фронт — мы-то с тобой здесь,— говорит Иван Макарович, муж Марины Степановны; он в синих очках, в которых работал в цеху, рабочих его завода перевели на казарменное положение, дома он редкий гость.

И Ларик отвечает:

— Без приказа не отступали. Велено — стояли насмерть. Дан приказ — и остановили: уже стоит, ни шагу дальше нет *ему* к Москве!.. Налеты... Вы лучше спросите, сколько *их* рвется, а сколько долетает!

Строго добавил:

— Надо понимать, что такое армия. Прикажет...— и как любой солдат тогда, назвал Ларик имя Верховного Главнокомандующего.— Прикажет — и поворотим, и погоним!

Что сказал, сообщил? Да ничего. Куда выходило у него все проще, чем обстояло в ту тяжелую пору! Но самая краткость, вескость послужила долгожданным ответом, самой нужной новостью. Потому что то не был мальчишка, юнец из комнатки у кладовой Шумсков Ларик, кого знали, как облупленного, а бывало, и бранивали, и просили помочь передвинуть шкаф, перегорели пробки, сбегай на уголок (вежливый, услужливый парень): то был Солдат. И притом первый пришедший в дом *свой* Солдат, который расскажет, откроет своим, что знает, в чем уверен — так, как не станет открывать другим.

Я сказал — чердак, но какой же это чердак! Обширная площадка, «холл» — даром что опилки под ногами и колонны дымоходов между стропил; место общих встреч на перепутье с толевой крыши — туда взбирались, сменившись с работы, дежурить у ящиков с песком, гасить зажигалки (в убежище мало кто сходил, даже из женщин). Свисала сверху голая мертвая лампочка — когда она горела, забыли. А за слуховым окном...

За слуховым окном пестро сбегали под уклон дворы и крыши, а дальше, за пустынной полоской облетевших садов, вздымались на гребень густо налепленные здания, красные кирпичные выстраивались ярким рядом как бы на высоком берегу, виднелись, точно в разрезе, устья улиц,— на одной, с колоннадой по фронтону, не то екатерининский госпиталь, не то казармы елизаветинских лейб-компанцев. И, как в те времена, только сизый простор раскидывался и синел надо всем кругозором по-предвечернему, и явственно обозначались холмы и лощины Москвы, не зажигавшей огня. Колбасы воздушного заграждения поднимались в небо.

Люся, жена Ларика, стояла тоже среди нас, незаметно, в сторонке, теряясь среди других, но я никогда не забуду сияющего взгляда, какого она молча, восторженно не сводила с мужа: не ждала увидеть его — а вот он, и не уходит — еще и вечер, и ночь, и полдня завтра дома; во взгляде не тревога — одна радость.

— Ну вот что,— распорядилась Лидия Ивановна, мать Марины Степановны,— разошлись — настоялись! Ты,

Ларик, к кому приехал? Ступай с Люсей в свою комнату, хватит.

И солдат, послушный, снова стал нашим Лариком, мальчиком-соседом.

Ночью раздалась, выросла, загремела, все заполнив, песня, с ритмом, мощно отбиваемым железным шагом,— и чудилась сотрясающая землю поступь одного громадного человека с громовым голосом. То проходили через Москву сибирские полки.

Как появились у нас Шумсковы? Все их пожитки уместились на извозчичьей пролетке. Жгли злые холода; но сани в выметенной, убранной Москве неприметно исчезли, разве что на дровяных складах попадались розвальни.

Дело под вечер, все до́ма и, ясно, все показались из своих дверей посмотреть, кто ж такие новенькие?

Старик Кубасов, Маринин отец, взгромоздившись на табуретку, по малому своему росту, молотком отбивал громадные заржавевшие шпингалеты — дом в пушкинскую пору воздвигала староверка-лабазница, вдова, навешала затворов-засовов, а внутри (была с причудинкой) понапридумала лесенок, антресолей, хоровод боковуш, чтобы с хозяйкой разместились и приказчики-староверы; бог весть когда в последний раз растворялись настежь обе парадные дубовые створки. Кубасов распарился, скинул на руки Лидии Ивановны пиджак, та охнула:

— У тебя же грудь, кашляешь — знойко-то как!

— Морозцы — здоровее нету! А я вот сейчас царские врата...— натужно, прокуренным басом прохрипел он и, стукнув по примерзшему крюку, качнулся с табуреткой — дверь отскочила, повалил пар, и тут выяснилось, что натуга была ни к чему: бочком, в одну половинку, вся закутанная, в платке поверх плюшевой шапочки, так что виднелись на лице только заиндевевшие ресницы, пронесла тючок девочка-подросток, а другой, побольше, втащил в ту же половинку дверей, зацепив табуретку, безусый, как говорится, с румянцем во всю щеку юнец.

— Осторожно, Ларик! — упрекнула девочка, и Поля, высокая, чернобровая, похожая, как считали у нас, на Лялю Черную (она и пела трагическим, низким голосом «Ты смотри, никому не рассказывай...» и приплясывала, подрагивая узкими плечами),— Поля закусила губу:

— Ларик? Это что ж — Ларион? Дают же имена...

— За папашу не ответчик,— весело пробалагурил Ларик.

— Очень красивое имя, напрасно вы... И папаша ни при чем, у нас ничего общего,— неожиданно, вступившись, сообщила девочка.

А Поля смерила со своей высоты — баскетбольной, сказали бы мы, но слово это еще не пошло в ход,— только смерила взглядом живой тючок с маленьким тючком в руках, упрятанных в варежки, и матерчатый воротник дешевого пальтеца, и краешек из-под платка замухрышечной бордовой шапчонки — и повернулась к молодому человеку с усиками, ожидавшему ее:

— Пошли, опоздаем. Ты готова, Марина?

Но Лидия Ивановна задержала дочь:

— Ключ-то от сарая у тебя? Людям хоть дров принесу — куда же они в настывшие стены.

— Ваня? — вопросительно сказала Марина.

И второй молодой человек, в очках, тотчас отозвался:

— Да что вы, Лидия Ивановна, мы сами все, танцы обождут. Мариша, надень что попроще. А вы с Костей идите, Поля, вы идите.

Живой тючок распаковался, собственно, сам он ждал, расставив руки, пока его распакует Ларик, развяжет увязанное, расколет сколотое булавками — и из-под плюшевой шапчонки хлынули пушистые волосы, показалась никакая не замухрышка, а прехорошенькая девочка, надо признать, довольно-таки набалованная мальчиком-мужем!

Свадьба Марины состоялась весной. Глянцевитая листва гибкой ветки, распертой пахучим соком, просилась в чердачное оконце. Дерево, в который раз обновлявшее свою древнюю жизнь, выстояло, когда старый сад, что тянулся некогда к старообрядческой церкви, располосовали на лоскутья дворов, и он исчез. Тополевые бабочки бились в стекла, влетали в форточки и с сухим стуком сыпались на столы. Для свадьбы соединили несколько комнат, собрали у всех посуду. Степан Кубасов посидел немного и, стараясь не обращать на себя внимания, ушел в боковушку к Поле. Лидия Ивановна убрала полную его тарелку и налитую стопку и вышла следом. «Ничего... ничего...» — шепнула она дочери, вернувшись. Жених и невеста оба рассудительны, то не был ранний брак, ей двадцать пять, он постарше, коренастый, широколицый,

поблескивающие очки лишь подчеркивали солидность, что называется — самостоятельность, так что чаще его звали Иваном Макаровичем, чем Ваней; и чувствовалось, что оба готовы к долгой, ровной жизненной дороге, без зигзагов и крутовертей,— вот как жили, например, ее родители.

И вышло, что моложе всех опять-таки Шумсковы. Делали что надо — стоя пили и чокались, кричали «горько!», хлопали в ладоши, Ларик провозгласил тост,— но при всем том оставались сами по себе, отъединенными от общего веселья: рука ненароком коснется руки, глаза найдут глаза и забудутся, и, боже мой, сколько же можно говорить — не наговориться друг с другом! И о чем? Будто каждый день свадьба — так и сегодня, глянешь и, чего доброго, потрешь лоб: чью же это, уж не их ли шумно опять справляют за составленными вместе столами?

Одну Полю ничуть это не умиляло. Голубки, воркованье напоказ — коробило это ее: неприличие, оскорбление совершенно обязательных правил, как держать себя! Но возмущения или там негодования не читалось во взглядах, какие она нет-нет и бросит на парочку, скорее снисходительное любопытство: что в ней, той девчонке? Росточек — по плечо? Голосок — попробовала бы спеть, чтобы, замолкнув, заслушались все! И точно пронижет, приподымет, взвесит ее взглядом: всего ничего!

Да и на подружку, на Марину, глянет отрывисто, искоса: вышла из-под команды, возмечтала причалить — что ж, кому что, не пеняй, при своем и оставайся!

С Полей сидел уже не Костя, а до удивления плечистый, так, что, вставши, выглядел бы квадратным, остриженный коротким бобриком мастер спорта, на него она смотрела с обожанием, красовалась и гордилась им, ловя, как должное, завистливо-почтительное восхищение на лицах молодежи за столом. Мастер, не балуя оживленной беседой, иногда издавал клекот, вроде желая нечто произнести. И все стихало. Но он спокойно опорожнял стопку. В одну из таких пауз расторг молчание:

— Я бы тебя, Поля, к нам, в «Спартак». Да...— пристально оглядел ее, кивнул: — Боюсь, опоздала...

Она же нагнулась и щелчком сбросила со сгиба его рукава бабочку. Марина была тремя годами моложе...

Конечно, куда с таким равняться Ларику! Токарь на заводе, Люся же счетоводом в торге неподалеку. У нее, видимо, родни никого, об его же отце глухо, он «кто-то»

в областном донецком центре, но письма не шли. (Письма, газеты Лидия Ивановна сама выкладывала на стол в прихожей.) Объяснялась Люсина загадочная фраза о том, что «ничего общего». За подробности ручаться нельзя, но, кажется, обстояло так: кончив школу, Ларик вдруг молниеносно женился на девчонке, случайно встреченной,— приехала на экскурсию, что ли, или иначе как-то с подружками на недельку. Девчонка из общежития, только что с московской пропиской — «как снег на голову»! Но отразил напор родителей, отказался учиться дальше («А что ж? рабочим и буду!») и, чтобы поставить точку, укатил с ней, с Люсей, в Москву. Отец же обладал не только на работе характером крутым, мать привыкла покоряться. А сын, кто бы подумал,— тоже «яблочко от яблони...». «Пожалеешь!» Но решительно ни о чем не пожалел, сложилось лучше не надо — даже с жильем в Москве: добился комсомол, помог заводской «треугольник».

Так и шла жизнь.

Марина однажды собралась на рынок, но вбежала обратно запыхавшись, раскрасневшись, с пустой сумкой:

— Вы знаете, что вы живете на улице Горького!

Открылась станция метро.

— Скажи отцу,— велела Лидия Ивановна; и сморгнула сухими глазами.

А он, уже не встававший, несколько раз переспрашивал дочь об одном и том же, чтобы яснее представить себе — подземный дворец, поезда, громкий крик: «Готов!»

Первая смерть в нашем доме... На вынос пришли старики с «Серпа и молота» и представитель завкома, который сразу же начал распоряжаться приведенным оркестром.

В том же году Лидия Ивановна спросила Люсю:

— Отчего не рожаешь? Старикам уходить, а вам, молодым... На сладких вздохах век не провекуешь.

И та обвинила себя, но спуталась, сбилась, и Лидия Ивановна нежданно поняла — против Ларик, даже запрещает; поднялась и прекратила разговор.

Именно в это время на чердаке, в опилках я нашел книжку. Ревностных книгочеев в доме осталось не так много — после Степана Кубасова, не успевшего на последнем досуге том за томом дочесть многотомного Диккенса. Часто, прочитав, передавали друг дружке. Эта от Люси Шумсковой перешла к Поле — краткая знаменитая по-

весть о любви, потаенно сжигающей любящих, разделенных жизнью, гордой стыдливостью страсти. На книжке две надписи двумя женскими почерками. Бледный карандаш без знаков препинания:

То что было было
Не гадай что будет
Береги что есть

И вторая, после нее, твердо, размашисто, лиловым химическим: «Эту книгу читала я и нашла содержание ее слишком идеальным — ни к черту для современной молодежи, ни уму ни сердцу!»

И книжке — чердачная казнь...

Ларик Шумсков ушел с комсомольцами завода на третий день войны. Расстались в метро — дальше не надо, дальше сбор, товарищи. Он встал с заплечным мешком у задвинувшейся двери переполненного вагона, улыбался и что-то еще говорил в стекло, упираясь в него руками, а она приложила свои ладони против его ладоней и, заплетаясь ногами, перебежала так несколько шажков, когда поезд рванулся...

Шумсков возвратился из Германии после победы офицером-связистом. Все выстроились встречать в прихожей, молчаливо пропустив вперед Люсю и Лидию Ивановну. Внезапно протиснулась Поля, кинула Люсе: «Ты позволяешь?», поцеловала его крест-накрест, крепко в губы, и зычно всплакнула.

Все с виду вошло в колею. И Люся, по выражению Лидии Ивановны, «ходила по воздуху». Но кто бы решился теперь послать Ларика на уголок? Да и само «Ларик» застревало в горле. Чуть не с первого дня объявил: «Буду учиться», сделал, сдал все, что нужно, поступил на вечерний в институт связи. Воли у него хватало.

Но что-то надломилось в доме. Верно, оттого, что Лидия Ивановна хворала.

Все же она дождалась Люсиной дочки и, может, больше всех порадовалась ей.

Пошло вовсе наперекос, когда умерла Лидия Ивановна. Точно рухнула живая связь. Марина Степановна с Иваном Макаровичем и сыном остались в одной комнате, в другую въехала семья Застукиных. Глава ее вынимал из ящика особым ключом свою газету, частые повестки

на заседания или изредка письмо, не касаясь пальцем остального; кое-кто, в подражание ему, научился поступать так же. Сквозь соседей он проходил, как межпланетный корабль сквозь разреженные слои атмосферы. Возле уборной завелся второй выключатель. Даже Поля лишь вздернула бровь и не сказала ничего. Вдоль прихожей, нашей нерасчетливо обширной прихожей, которой мы неразумно гордились, воздвиглись строительные леса, и на них закипела работа. Новенькая стенка приумножила метра на четыре застукинские угодья, сведя общественную территорию к проходному коридорчику. И даже непокорная Поля лишь ускоряла тут шаг, храня молчание. Вот только стоили ли четыре метра, отважно отстриженная ленточка, всех потерь и ущерба в нашем доме? Правильно ли подвела счет даже собственным выгодам застукинская бухгалтерия, благословив его на ратные подвиги, на то, чтобы с лихим нахрапом городить огород?

А Шумскову, видно, вовсе не стало ни до чего дела. Служба, вечерние занятия — приходил чуть не в полночь. В кои-то века пообедает дома, пощелкает пальцами, почмокает, погремит погремушкой, чтобы заулыбалась, засветилась крошечная, беленькая, беззубенькая дочь...

Совсем мало слов доносилось из комнаты Шумсковых.

Только однажды, в полночь — проснулся ребенок, закричал (нет, еще не могли резаться зубки) — начался было разговор. Очень спокойно:

— Не надо, Ларик. Ты обдумай, реши, с кем тебе лучше? Не приходи — вот два месяца с этого дня не приходи, хорошо? Все реши. А так не надо.

Взяла на руки, стала успокаивать ребенка, стала петь ему, но еще оторвалась:

— На переночевку — не надо... к нам...

Зачем же она это сказала? Разве надо когда-нибудь так говорить — про эти два месяца?

И что же он ответил? Выбежал, кумачовый, натягивая на ходу пальто, забрякал щеколдой, крюком, умноженными в застукинское время замками на ночь забаррикадированной двери (так что бдительно выставился из-за своей переборки гневный торс Застукина в белье) — и ушел, бегом, вовсе не походя на победителя, на Ромео, спешащего к Джульетте.

Никто из нас никогда и не спросил, не стал узнавать об этой Джульетте с вечернего факультета.

А Люся как запела в полночь, убаюкивая ребенка, так пела и после, сидя одна в своей комнате, странную, диковинную колыбельную — слышалось:

Пришел серенький жучок,
Повалился на бочок...

Навещала после работы Марина, но у нее своя семья. И дольше всего бывала с Люсей Поля — сидела, не снимая толстого платка, из-под которого выбивались плохо причесанные с заметной сединой цыганские ее волосы, помогала, приносила купленное к чаю. И девочка тянулась к ней.

— Ты сходи куда-нибудь, сидишь колодой, распустехой — кто посмотрит на такую, противно, молодая баба! — грубовато командовала она.— Что, я не могу остаться с Олькой?

Люся, слабо улыбнувшись, качала головой.

Что стучало у нее в мозгу целый день, ночь, день и ночь? А он — как же мог он не думать, не знать об этом? Не видеть, забыть милое, бесконечно милое ее лицо? И свадьбу каждый день? Как не слышал ее смешную, ее беспомощно-жалкую, бог знает почему нестерпимую и для нас, чужих, колыбельную?

Что застлало ему глаза и сделало возможным нелепое, бессмысленное?

Уже несколько семей перебирались на новые квартиры. Длинный Додя женился, перешел к жене (а друг его Женька не вернулся с войны).

Съехали и мы.

И как бывает, к сожалению, оборвались отношения с людьми, бок о бок с которыми прошел большой, навсегда неповторимый кусок жизни.

И вот теперь снова как бы воскресли передо мной простые события, бытовые происшествия в старом доме, даже не внесенном в справочники памятных мест, не имеющем, как говорят, исторической ценности. А след их, человеческий след все-таки лег на старые стены и что-то ни с чем не сравнимое прибавил к ним...

«Довлеет дневи...» И это, довлеющее каждому дню, надолго, как тоже бывает, задержало второй мой визит к Марине Степановне на почту.

Повезло, выпал тихий час, и я напомнил Марине Степановне ее обещание ответить на вопросы, кое-что рассказать.

— Что Люся, помните... Шумскова? Она жива, здорова... замужем?

— А как же? Такая женщина! И сейчас — вы бы посмотрели на нее!

— Ну что же. Ну, конечно. А помните... За кем?

— Будто не знаете,— укоризненно помотала головой.— А еще звали,— лукаво остановилась: — Лариком.

— Лариком!

— А как же! У них отличная квартира. И обстановочка. Казалось, далеко, а теперь опять почти что соседи.

— А дочка? Девочка?

— Маму скоро сделает бабушкой.— Она все смеялась, глядя на меня.— Да вот, если не торопитесь, как раз собиралась она подойти, Олечка. Скажите, уже идет, стучит каблучками. Легка на помине! Узнаете?

Стройная девушка, в пальто по модели, неведомо как угаданной верхним чутьем, шестым женским чувством, расклешенном «трапецией» и прикрывающим уже верхи узких, высоких, стянутых на ноге сапожек, тонкая девушка с кокетливой шапочкой на пушистых волосах, чуть припорошенной снежком, такой же бордовой, как та, из старенького плюша, что была когда-то на Люсе,— равнодушно скользнула взглядом по мне, человеку, которому зачем-то предлагалось ее узнать, и оборотилась к Марине Степановне...

Здравствуй, новая жизнь!

1970

БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО

— Пушкин,— сказал Иван Васильевич,— пишет про кипарис, которому он не забывал желать доброго утра с настоящим дружеским чувством.

— Похожим на дружество,— поправил Виктор Петрович, заслуженный учитель, легкой, «педагогической» улыбкой смягчая некоторый педантизм внесенного уточнения.

Мы знали, что он ехал в маленький городок, вызванный письмом своей бывшей ученицы, преподававшей первый год в районной школе. Нам уже он кратко рассказал об этом отчаянном письме и отозвался: «Молодо — зелено!» А Третий пассажир, чье имя и отчество остались неизвестными, шепнул тогда, поведя на него глазами: «Легок же на подъем!»

— На том кипарисе в Гурзуфе,— проговорила юная девушка,— как раз надпись, я даже запомнила: дружество.

— Да, и что же отсюда следует? — задал классический вопрос Третий пассажир.

Но девушка, зардевшись как маков цвет, смолкла. Вместо нее откликнулся Иван Васильевич:

— Я только хотел... Ну, мы не Пушкины, конечно... Но я к тому, что ведь очень понятно сказанное им про тот кипарис. Дерево-друг. Хочется назвать по имени — вон как поименованы каждая из гигантских секвой в Калифорнии. Впрочем, тут уж не дружба наравне. Что-то иное. Что? Так сразу не определишь... Вот, знаете, у французского художника Гогена есть картина «Большое дерево». Как исполинский цветочный куст, нет, как переливчатое облако — над красной равниной. А за ним — грозные сумерки, может быть,— нависший скат неведомой горы... Так вот я к тому, что есть и у меня на примете несколько деревьев, которые заставляют относиться к себе

совсем по-особенному. Притом каждое на свой лад. Будто у каждого свой собственный характер. Есть такое, что прикинется вовсе невзрачным, стушуется — только бы не выставляться, лишь бы не разглядели! К слову — кто здесь москвичи?

— Я москвич,— сказал учитель.

— В Москве учусь в медицинском,— ответила и девушка.— Но дом наш в области, в селе...

В каком селе, не договорила. Третий пассажир перебил:

— По службе часто бываю в Москве, а что? — спросил он в свою очередь.

— Просто я хотел напомнить, что на Тверском бульваре, укажу точно — против дома № 14, минуя ТАСС,— есть дуб. В узлах, опухолях, вздутиях. Стоит там тот дуб...

— Правда? Ведь сколько раз проходила...— сказала девушка.

— Не вы одна — тысячи чуть не каждый день ходят и не замечают.

— Позвольте, я читал об этом. Да, да, в «Известиях»! Как о редкой достопримечательности,— припомнил учитель.

— Еще какая редкая! Если присмотреться — отличается ото всех соседей, точно скроен из совсем иного материала. И сколько же времени стоит? Вон, помнится, у Толстого герои гуляли по Тверскому бульвару, ели где-то там сладкие пирожки, по-нашему — пирожные. И кажется — никак не свяжешь тот Тверской с нашим. Ан нет, мимо него шли, мимо дуба! Нашего дуба! И французов, Наполеона, пожар Москвы — все перестоял, связывая, соединяя время. А прикидывается — вроде и нет его. Таков уж характер...

Но я, собственно, сейчас не о нем. Южный город, с крутосклонов сбегает в широкую чашу низины. Сверху посмотреть — весь на виду. Прошит иглами, стрелами кипарисов. Круглые зонты пиний. И отовсюду виден раскидистый силуэт у кромки моря. Что-то в нем, ей-богу же, от гогеновского Большого дерева, хоть и глядит малым пятнышком в широко размахнувшемся кругозоре... В довоенное время была там скамейка кольцом — и памятно же мне то колечко! Собьется душ пятнадцать, ватаги юнцов, девчонок, шумно, тесно. И в любой зной густая тень, прохватывал ветерок, чудилось — его свевали вечно

бормочущие большие вырезные, в ладонь с пальцами, листья, вся эта сказочная толща во множество слоев! Только, признаюсь, я не смотрел вверх — на листву, на птичью суетню, не вслушивался в мяуканье чаек и как радио заливается: «Ну-ка, чайка, отвечай-ка...» Я смотрел на сидящую рядом девушку в сарафане, слыша, ощущая свежий, молодой, морем отдающий ее запах, радостно чувствуя доверчиво прижавшееся в этой веселой давке ее тело, глядел и глядел ей в глаза, понимая, что никогда не видал таких удивительных, с таким жадным счастливым ожиданием вглядывающихся в жизнь, в свое завтра, глаз!

— Ого! — прервал Третий пассажир.— Вот и разгадка ваших восторгов перед этим деревом-другом.

— Разгадка? Нет. Я отвлекся, извините меня.

— Пожалуйста, доскажите,— попросила студентка.— Это встреча с вашей будущей женой?

— Женой, эх... Ничего решающего сказано не было, хотя я все время остро до слез сознавал, что ничего лучше этих дней в жизни моей не было. Но молод был — вон как вы. И впереди, в несчетной громаде дней — мало ли что там еще случится! Кончилась путевка — насвистывая, напевая, собрал свой баульчик — трусы, плавки, пару рубашек, зубной порошок. Как это сочеталось во мне, кто объяснит? И лишь когда, постреляв мотором, пустив бензиновое облако, скрипнув всеми своими суставами, качнулся, тронулся старенький переполненный автобус, я вдруг, как толчком, ударом, все понял. «Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет...» Только, в общем, то была пятница 20 июня 1941 года; на работу выходить мне следовало с понедельника...

Но как иной раз складывается в жизни! Пришлось мне солдатом этот самый город освобождать. Вступили мы в него в апреле сорок четвертого. Улицы, сбегавшие к морю, заткнуты каменной кладкой — немцы до смерти боялись десанта. Вырублены сады, все перерыто, траншеи, доты, торчат верхи каких-то потопленных судов. А дом, где она жила,— коробка, без крыши, дыры окон, дверей.

— Так и не встретились?

— Ни следа. От всей семьи. А сутки спустя выступили дальше.

— Ну, а после? Не удостоверились, жива ли, где?

— Да ведь и знакомство — двухнедельное... По-своему поворотила жизнь. Семья у меня, дети взрослые.

— А я бы, кажется, все подняла! — звенящим голосом проговорила девушка, и теперь все обернулись к ней, выжидая, не прибавит ли еще чего-нибудь. Но она замолкла, потупилась — погасла.

— В одном вы правы,— сказал Иван Васильевич.— Случается попасть туда — все гляну на то дерево. Подойду, постою. Давно нет никакой скамейки-колечка — с тех пор как спалили в оккупацию. И диковинно — само дерево, уцелевшее среди порубленных, изменилось. Само, говорю! Зимой посмотришь — переплет перекрученных ветвей, костяного, страшноватого вида. Клубок выбеленных извитых щупалец — ни дать ни взять! Сторожит — что? Море, берег, три зимних птичьих стаи: голубиную слева, прямо на пирсе, у края — черных бакланов-рыболовов, а поближе — чаек. Каждая строго на своем месте.

— А, так вы и зимой. Конечно, если вынуждает здоровье... Я ведь понимаю, о каком вы городе,— не упустил отметить Третий.

— Вот и ошиблись. По службе, как вы говорите, именно по службе и приходится. Зимой случается, а то и весной. Представляете тамошнюю весну? Еще голые ветви, прутья осыпаны, облеплены цветом бело-розовым миндаля, лимонным золотом форзиции, огненным декоративной айвы. Перелетают тяжелые, в пестро-синеньком, сойки. Шмыгнут проворно по плешинам земли первые желтоклювые дрозды. Высвисты, писк, гвалт — черт знает что за птичий базар в это короткое время! И вдруг повсюду пахнёт, польется медом от снежного цвета алычи. А горы, в белых зимних нитках и дорожках, еще обнажены, придавлены плоским слепящим облачным блином, оттуда, вмиг замутив пустую прозрачность воздуха, нет-нет и скатится ледяное дыхание.

В такой вот яркий полдень, между двумя налетевшими с гор зарядами, я наблюдал летучую мышь. Пляшущую в воздухе ломкими зигзагами, со сквозящими на солнце крылышками. Спугнутую? Через два года на том же месте — опять! Людей уже тьма, остановились, закинули головы. В полдень! Никто не пугал. Я же говорил о разности характеров, и что мало пришпилить латинскую этикетку, род, вид — и баста...

Все веду к Большому дереву. Не очень-то оно, по правде, и большое, есть в том городе и куда побольше. Стоишь, шапку придерживаешь — поднебесный зеленый

город! Или лучше — целый летающий бор. Ветви — любая со столетний ствол. И с их устоев прет ввысь новая чащоба — это, выходит, третья по счету от земли.

Но подивуешься на чудо-юдо, и ничегошеньки не шевельнется в тебе. Скажете: в тебе, может, и нет, а в ком другом... Не знаю, не берусь судить, решайте сами. Только каждый вечер становился я свидетелем вон какого зрелища. Чуть наступит час, что французы бог их весть почему зовут «между волком и собакой», вижу: крупные птицы отовсюду: с горы, с окраин слетаются к моему Большому дереву. Медленно машут крыльями, понимай — просто себе поднялись, никуда и не стремятся. А между тем тянутся и тянутся — звездой, со всех сторон. В чем дело, чем отлично от сотен прочих? Вот и разберитесь! Битком набиваются — всё в живых плодах, ночной приют, птичья гостиница! Поди-ка угадай в нем то самое, что свевало ветерок на скамейку-колечко! А чем еще станет через двадцать, тридцать, через сто лет? Век-то у него не наш!..

— Ради этих, так сказать, заметок о летучих мышах и... воронах вы, как я понимаю, и предпринимаете ваши поездки? — осведомился Третий пассажир.— Вы зоолог? Ботаник?

— Ни то, ни другое. Я строитель,— серьезно и неожиданно ответил Иван Васильевич.

— Стро... строитель?! — даже поперхнулся Третий.— Тем непонятнее, какая же...

— Какая связь? Для меня — вполне определенная.

— Загадками изъясняетесь.

— Ну, какие загадки!.. Громадный прекрасный мир бок о бок с нами. Вы понимаете? Живой — не безликий, никогда не безличный. Так вот — надо строить, не сражая его наповал. Не раскорчевывая дотла. Сберегая почтительно — не боюсь слова. Искать, сопрягать архитектурные решения. По-своему, ясное дело, пересоздавая, еще и обогащая — а как же? Хозяева-то — мы! Предусматривать наперед в градостроительстве, чтобы жить вместе, как с другом, и в наших городах — живых, то есть значит никогда не безликих. Здравница со знаменитым Дубом. Микрорайон Сиреневый сад. Да ведь про город-то я и рассказывал. Но, знаете, не на лету же об этом — вот если другим разом выпадет случай. Моя станция, прибыл — мы тут комплекс один воздвигаем, милости просим — посмóтрите, покритикуете. Извините, заговорил вас...

— Кто ж такой? — размышлял вслух Третий пассажир.— Ведущих в лицо знаю. «Иван Васильевич» — больно уж простенько, для простачков. Строитель! Не попадались этакие. Подозреваю, может, он вовсе и не... «Сопрягать»! А? Неуемное фантазерство, прекраснодушие.

— Почему это,— подала голос и студентка,— ни рассказов таких, ни споров больше нигде не услышишь, как в поезде, где и видят друг друга в первый раз...

— Именно в первый! И поэтому навязывать себя, свою личность... и все эти интимные подробности под сенью струй и ветерков, не спросясь, а мне зачем?.. Как угодно, но без известной дозы бесцеремонности...

— Вы так судите? — вмешался учитель.— Простите, но это называется, по-моему, с ног на голову. Тут, решительно наоборот, очень понятная по-человечески уверенность, что важное для меня, не может быть безразлично моим товарищам. *Товарищам,* вот что знаем друг о друге! Слово-то наше «товарищ» означает же что-нибудь! И так устроен человек, скажу я вам...

Но он ничего не сказал, как устроен человек. С лязгом буферов и шипеньем тормоза вагон остановился. Ворвались голоса. То был городок, куда юная учительница призывала старшего товарища на помощь в бореньях с педагогическими трудностями своего первого года в школе.

— Ой, да ведь и мне же сюда! — схватила клетчатый чемоданчик студентка.

Разговор с Третьим пассажиром на оставшемся перегоне у меня не завязался. Я ехал до следующей станции — в лесничество.

1973

СИНИЧКИНЫ ВЯЗЫ

Сперва я узнал чемоданчик — маленький, мягкий, в красно-синюю клетку. Он высунулся из дверцы автобуса, и хоть сотни похожих и притом вовсе я не вспоминал о девушке, случайной попутчице, однажды сошедшей с поезда за остановку до моей, а сразу подумалось: «Да вот же она! Значит, вон куда ездит...»

И точно — держа чемоданчик перед собой, она, та самая девушка, пропустив одну ступеньку, соскочила с высокой подножки.

Автобус с неудобной этой подножкой, фыркнув, укатил. Выхлоп истаял в огромной тишине и пустоте осенних полей. Шоссе было вытерто до сухого лоска машинами — их становилось год от году все больше, так что и мне, издавна знававшему эти места, трудно было вообразить время, когда было то не шоссе, а «шоссейка», в яминах и колдобинах, об автобусе слыхом не слыхивали, а кому надо в совхоз и две деревеньки — добирались с попутками.

Нас только двое свернули на боковую дорогу в черных комьях, и я сказал:

— Не ожидал встретить вас.

— Почему? А как иначе пройти в Синичкины Вязы?

Удивительные имена есть у русских деревень. Синичкины Вязы! Слышишь и представляешь себе...

— Так и ездите: поездом до...— Я назвал городок.— Потом автобусом, теперь еще и пешочком — все-таки сложновато...

— Почему? — повторила она то же, очевидно — привычное слово.— Автобус ходит часто.

— Учитесь-то в Москве, в медицинском.

— Да, учусь. Но откуда же вы,— вскинула с удивлением на меня глаза,— вы-то откуда знаете?!

Я напомнил.

— Да? — безразлично отозвалась она и еще раз оглядела мои высокие сапоги, ватник, ружье.— Но если вы из лесничества, как же попали сюда?

А все объяснялось просто: встретились на полпути между городком и лесничеством, я собирался, дойдя до моста, закончить вдоль реки круговой обход.

— Не забываете своих родных — хорошо,— сказал я.— У вас отец-мать?

— Мать. Бабка.

Разговор не клеился. «Да — нет». Впрочем, и тогда, в поезде, она вставила в оживленную беседу всего три-четыре фразы, неприметная девушка, легко стесняющаяся, красневшая как маков цвет.

Но не молчать же, шагая рядом по этой узкой, грязной, пустой дороге. Я предложил понести чемоданчик. «Ничего не весит»,— покачала она головой, но отдала без спору.

— Гостинцы?

— Так кое-что.

— Долго ли вам еще ездить-то? Вы на каком курсе?

— Последний год.

— Последний! — удивился я.— Почти доктор!..— Она казалась совсем молоденькой.— И тогда что: вовсе превратитесь в москвичку? Ну, замуж, к примеру, выйдете... Или уже куда распределили?

Быстро глянула и отвернулась.

— Странно вы... Я здешняя. Выросла, в школе училась. Здесь и ждут. Место готово. С тем и провожали в медицинский. И что же я должна, по-вашему...

По-моему! Сколько учила жизнь не доверять мнимой безошибочности «первого взгляда», на которую склонны полагаться многие. Мне стало совестно моего легкомысленного балагурства.

А девушка прибавила, словно оправдываясь:

— Район знаете какой? Совхоз, лесопитомник, картонажная фабрика. А бабка стара, слаба...

— С ней же дочь...

— Мама не дочь. Невестка.

Об отце я не стал спрашивать. Она объяснила сама:

— Отец работал на бульдозере, в совхозе.

И замолчала. Я ждал.

— Да что я помню! Когда прибежали, прокричали про несчастный случай — вот такая была...

В больницу тогда — надо было в город везти, нехватка врачей: «Мама говорит — после войны еще развалины стояли».

— А ведь всю войну прошел, с самого сорок первого, даже не раненый...

«Не от того ли случая, страшного детского впечатления, и в медицинский решила?» — подумал я.

— Безотцовщина — не я, конечно, одна. Кругом в семьях. Мама с утра до ночи на работе — вы-то помните, как работали? Бабка и стала мне за мать.

— Один, выходит, сын и никого у нее больше?

— Почему? — Опять тем же словечком.— Двое. Еще младший. Не признается и никогда не признáется, но любимый-то был он. Не папа. По нему горюет. Дядя мне, значит. По отцу погоревала и... Маме, ясно, не забыть. А бабушка... Проснусь ночью — не спит, шепчет, летом рано светло — смотрю: слезинка медленно по щеке — не вытрет ее. Я его и не знала вовсе. Намного младше папы. Война! Сколько уж тому лет, а не избудешь. Вот и у нее, хоть и совсем же девочка...

— Погиб?

— Похоронной не было. И среди пропавших без вести. Я и сама писала, справлялась.

Сейчас она говорила, не дожидаясь моих вопросов, реплик.

— Я-то родилась тут, в Синичкиных Вязах. Для меня родное место. Но перебрались сюда наши из Курганской области. А жили раньше в Белоруссии. Отец и дядя — на войне, немцы близко — бабушка с мамой ушли в чем были. Шли, эшелонами двигались — так и добрались за Урал, там осели. И пробыли войну. А в Белоруссии все спалено, села помину нет. Папин фронтовой друг, уже после войны, когда папа демобилизовался и к ним приехал, сюда позвал, в совхоз, водителем тут работал. Тогда и снялись из Курганской...

— А с дядей когда потеряли связь?

— Дядя Гена... Парень холостой, семьи не оставил. Девушка, правда, была. Поначалу, мама говорит, получили письмо или два. И больше ни строчки, ни весточки. Слыхали — часть в окружении, потом был слух — перешли к партизанам. Бабушка все ждала. Две женщины, жили нелегко, что рассказывать! Не свой угол. Мама в железнодорожных мастерских, про выходные забыли. Бабка в колхозе. И к линии выбежит, кой-что вынесет.

Расстелет рядно, расставит. Иные поезда подолгу стояли, чуть не часами. Скорые пролетали — минуты две-три — самое большее.

И вот раз из вагона выходит рослый, плечистый, штатское пальто внакидку — стужа, ноябрь. С ним приятель, закурили, веселы. А бабка свое бормочет — картошечки в мундире, в золе испекла, крынка козьего, яички вкрутую — хоть чего там: поезд не тот, и вагон, и ни к чему это бабкино тем двоим. Сразу свисток дежурного, паровоз прогудел, дернулись вагоны. На площадку женщина выскочила, испуганно зовет: «Геннадий!» А он со смешком: «Сейчас, погоди. Тут бабка богатства свои никак не перечтет». И по этому голосу, по крику «Геннадий» бабушка вскинулась от разложенного своего хозяйства — и как сердце схватило, все в одно мгновенье: видит, рубец на лбу — след ранения, а поезд быстрей, быстрей, мелькнула на площадке яркая, молодая, а тот так же весело догнал, пропустил еще вперед товарища, потом взялся за поручень...

— И не окликнула ни словечком?

— Задохнулась, сердце чуть не выпрыгнет.

— А он что же, он?

— Да мог и не узнать. Старуха, замотанная — совсем старуха! Не такую помнил. И откуда ж ему ждать там встречи? Не признал — и все.

Пальто внакидку — ясно я представил себе: шили их в те годы до пят и широчайше, чтобы облаком облекали человека. А девица или кто она ему — завитая по-тогдашнему, с начесом на уши и клипсами в ушах, ярчайшими губами, черная или высветленная перекисью, горло прикрывает обеими руками от стужи, от холодного ветра. И этот вскрик, выкрик имени, нарочито в ленивую растяжку ответная фраза — прямо слышу ее: «Бабка-то — богатств никак не сочтет!» Верно, и не бегом, а длинными спокойными шагами догнал вагон, переждал, пока вскарабкается приятель, выплюнул еще сигарету да с нижней ступеньки обернулся, сделал ручкой, подмигнул хлопотливой, ничего не продавшей бабке...

— Девушка, вы говорили, оставалась? У Геннадия?

— Списались — ничего и у нее, кроме маленького первого треугольничка. Тоже эвакуировалась, встретила человека — своя судьба... А бабка верит, с той встречи особенно, по сегодня верит, днем ничего, а ночью мучается, убивается. И от обиды, надо понять, от горечи.

Справа под пригорком показались домики в один ряд — вон там Вязы, Синичкины Вязы! И ни одного вяза возле них. До моста, где мой поворот, мне еще идти, но за невидимой рекой уже открылась волной, будто широким дыханием подымающаяся земля, и там стеной встал лес, замыкая кругозор. Скудное, низкое солнце брызнуло на него, зажглись, сквозя, тускло-золотистые пятна полуоблетевшей листвы.

Моя спутница приостановилась, прощаясь.

— Спасибо за компанию.

Подала маленькую крепкую руку, по-мужски пожала.

— А отыскать его — отыщу. Я до Сергея Сергеевича Смирнова дойду, все ему расскажу — поможет! Я даже знаю, куда поехать,— вот диплом сдам. Она же — вторая мать мне, пусть хоть в старости ей радость.

Я смотрел, как она твердо, решительно лавирует в своих городских туфлях, переступая через топкие места, минуя лужи.

Я ничем не охладил ее уверенности, что все должно и не может не выйти именно так, как она задумала, в жизни, которую она принимает как свое достояние. Не сказал, что на полустанке мог быть вовсе и не он, не дядя Гена — что́ там успела разглядеть женщина с захолонувшим сердцем! И мало ли — возможно, в живых нет. Да и стоит ли разыскивать того, кто равнодушно не отыскал родной матери, а человек не иголка...

Ничего этого я не сказал — ведь и сам я прежде был в точности таким!..

Только узнаю ли, чем все кончилось? Я не спросил даже ее имени.

1973

ЯСНОЕ МОРЕ

1

Когда отец Павлика пришел раньше обычного, мать сидела и считала вслух:

— Три, четыре, пять...

Как всегда, она рано утром сготовила и оставила в печке обед, потом ушла на утреннюю смену. И за обедом никаких особенных разговоров — самые обычные. Потом отец опять ушел, а мать стала нанизывать на ивовые прутики рыбу и в печи выкоптила ее. Ну всё, как всегда.

Вот мать села перебирать и откладывать вещи, считая и приговаривая вслух; сколько уже дней не спеша она так делает!

И Павлик, тоже по-обычному, подтащил к ней свой сбитый отцом складной стульчик, взял книжку, цветные карандаши. В книжке много картинок. Но, должно быть, он не только рассматривал их, а как-то по-своему читал книжку. Так говорила и мать:

— Садись, Павлушек, почитай книжку.

А то, что он рисовал цветными карандашами, вовсе даже не походило на изображенное в книжке.

Приоткрыв рот, сердито, напряженно сдвинув брови и, чтобы лучше видеть, наклоня голову набок, он молча, усердно изучал, то ли получается. Он отлично знал, чтó должно получиться. И вдруг все замазывал красным и желтым: не то!

Очень трудно и так интересно сидеть рядом с матерью, опять и опять упорно стараться, чтоб получилось то, что понимал он один.

Но мать могла встать чем свет, толочься по комнате, уходить на работу, а теперь сколько угодно перебирать стоящее в шкафчике или счетом класть на подол чистое, стиранное, глаженое белье возле раскрытого сундучка. Она все это могла. На то она мать.

Он же не мог.

И мать говорила смеясь:

— Павлушка, гулять иди, будет тебе, помощничек! Не завтра же уезжаем. Я понемножку все и уложу.

Тогда Павлик сгребал свои карандаши, забывал замаранный и разрисованный лист, стоивший стольких трудов, и пускался вприпрыжку, сначала мурлыча, а в дверях громко распевая:

— Уезжаем! Уезжаем!

Жили себе, жили — стали жить с «уезжаем».

Выходило это — точно подарок на каждый день. В чем подарок, он не разгадывал, только радостное, гордое счастье наполняло до краев Павликину душу.

А сегодня вышло совсем не так.

Отец ушел после обеда, но очень скоро вернулся, забежал на несколько минут, и опять хлопнула дверь. А мать оправила волосы, мельком коснувшись их широкими, ловкими, с желтоватыми подушечками пальцами, посмотрела на мальчика, задержала глаза на верхних, немного редко посаженных зубках его со щербинкой на месте выпавшего молочного — и улыбнулась так, что сделалась совсем другой: легкой, тоненькой. Руками привлекла к себе лицо сына и шепнула, будто секрет:

— Ну, вот и едем!

И он вдруг точно впервые увидел наполовину полный сундучок с откинутой крышкой, ящики, голые полки на голой стене.

— А озеро там будет?

— Ясно!

Мать заговорила каким-то не своим тоном:

— Ты вот что, Паша. Сейчас папа придет с дядей Васей и Никодим Макарычем. Ты под ногами не мешайся. Ты побегай немножко. Попрощаться ж надо тебе со всем, со всем. Сказать «до свиданья».

Это прибавила, верно, для того, чтобы смягчить: видно всякому, что ни о чем Павликином сейчас не думает и улыбается, по-чужому и по-молодому, вовсе не ему, а словно кому-то, кто звал и ждал ее: «Ну, сейчас. Ну, вот сейчас. Я готова».

Вдруг стало очень тесно в оголенном доме. Мать сказала еще:

— Далеко не убегай. И недолго!

Но мальчик не уходил, и она начала говорить — сама для себя:

— Птицы еще не улетают — мы первые, дорожку кажем. Да и сюда-то ведь тоже издаля приехали — ты не помнишь, не родился тогда. Птицы и есть!

— А рыбу папа сегодня не поедет ловить?

Мать просто не стала отвечать.

— Отец,— она сказала не «папа», как всегда, а уважительно — «отец»,— ты знаешь, с какого года в партии? Где дело горячей, туда и летит!

За дверями мальчик увидел двоих — они стояли у самой воды, на топкой земле, там, где вытащенные на берег черные лодки — по лодке против каждого дома. Высокий, без шапки — отец; низенький — дядя Вася. Между полосками огородиков к ним пробирался третий.

— Головачев идет,— шумно оповестил он.— А то куда ж без Головачева! Кто отъезжает — необходим шофер Никодим...

Шлепая плицами, опутав их мотками взбитой пены, отвалил в Угодичи, еле приметные, залитые слепящим блеском воды и далекого края неба, пароход «Ударник».

— Озеро наше.— Отец просторно обвел рукой.— Ну, ребята...

И все пошли в дом.

2

Мальчик побежал дальше. Сразу начинались валы. Посреди двух валов, где они изламывались зигзагом, накапливался и стоял до вечера зной — как растопленное масло в кастрюльке. В древней тесноте вымахивали травы с желтыми, удушливо пахнущими головками, чертополох воздвигал свои зубчатые башни, и, если подождать, жирные, вареные, появлялись по лопухам зеленые листовые кузнечики.

Павел кивнул им, попрощался — они где-то тут. Но дожидаться не стал.

Ребят он, конечно, застал возле щербатой стены.

— А мама,— сообщил он важно, отчего показался сам себе выше, рослее других ребят,— мама больше не пойдет на фабрику. На «Рольму»,— пояснил он, хотя все знали, где работает его мать.

— Бабушка у нас вовсе сидит дома,— сказала Лена.

— Моя мама молодая,— снизошел до возражения Павлик.— Мы улетаем.

— Чего-о?..— не поверила другая девочка, Туся.— Да ну?! Во-о! Ты выкупаешься? — спросила она почтительно.

— Там море будет.

Всего три слова!

Теперь Павлик нанес главный удар:

— Я — сказать «до свиданья».

Но любопытная и практичная Лена затараторила:

— Море? Как в кино? Оно же соленое — все равно потом окунаться в пресную воду, все смывать. Ракушек нам пришлешь? Забудь попробуй, Пашка!

Гриша, самый старший, разминался, звучно хлопая ладонями, чтобы показать, что это его не касается. Сейчас он вмешался:

— Мой папа и не такие случаи рассказывает. В милиции сотрудники чего только не видают, чуешь? А дядя, мамин брат, скоро приедет с действительной, из Севастополя...

— Нам партия велит. Отец, слышал, какой мастер? — с внезапной обидой выговорил Павлик. «Отец» он перенял от матери.— Вот такой. Он... клановщик! — с торжеством, но споткнувшись на трудном слове, крикнул Павлик.— Другого, как он, нет. Где горячее дело, туда летит.

— Это верно,— подтвердил Володька-рыбальчонок, ходивший уже в школу.— Он один на весь город. Другого нету.

Володька был из волковских. Волковых-рыбаков полна улица; Володька же соседний — забор в забор с Павликом.

Тут все заговорили с Павликом. Девочки сплели цветы и дали ему, чтобы помнил. Никто не обратил внимания на дядю из Севастополя — может, и не было никакого дяди.

Худой, длинный человек стоял раздетый на мостках и пробовал ногой воду.

— Чего вы? Она как... в чайнике,— проворчал Гриша, чтобы перебить разговор с Пашкой и о Пашке.

Человек засопел. Он всегда купался в этом месте и всегда примерялся и пробовал воду.

— Море...— пробормотал он. О чем говорили, он, конечно, не слушал, просто поймал слово. Слушать не слушал, а заговаривать с ребятами любил. Говорил при этом только свое, вперив в озеро впалые глаза.— Когда строился монастырь, кругом так и называли: «Тинное море».

«Тинное» тоже не понравилось ребятам. Человек не спрыгнул, не слез, а боком сполз с мостков, и коричне-

вая туча мути взвилась во всей заводи до качающихся розочек купавок. Еще отфыркиваясь, сквозь струи, скатившиеся с темени, по усам и подбородку, он неожиданно поправил историю:

— А по мне, лучше бы назвать Ясное море.

Ребята захохотали. Имя-отчество его они знали: Иван Димитрич. И что работал в музее.

Иван Димитрич двигался по вязкому дну, выстреливая каждым шагом целый залп мути, как волшебник. На дне тут нарочно насыпаны песочные тропки, чтоб легче ходить, их все знали: он никак не попадал на них. Ребята смеялись.

— Сапропель, молодые люди,— сказал он, стоя по щиколотку в воде.— По всему дну сапропель. Дороже золота! Дело не изучённое! Заметьте это себе. Вырастете — сами беритесь, если не возьмутся до того как следует другие. Золотое дело!..

И как бы в ответ ребятам он тоже очень весело, гулко захлопал себя по бокам, отчего его тощие лопатки дернулись, зашевелились и даже пустились в пляс.

— Запомните мое слово! Добывать со дна — и свиней кормить можно, кур: болезней знать не будут. А поля удобрять? Сушь, все кругом выгорело.— Он взмахнул длинными руками над болотной травой.— А на таком поле — если сапропелем удобрить,— шалишь, вроде всегда дождь. В ботву картофельную с такого поля сунешься — и с головой уйдешь, я говорю! — Горлом, двинув кадыком, он издал клохчущий смешок.— Про Садко слышали, богатого гостя, что на морское дно опускался? И вправду, выходит, богатства на дне — миллионная кладовая: пренебрегаем! И чем древне́е озеро-море...

После, пристегивая к носкам пряжечки резинок, он спросил ни с того ни с сего:

— Что такое ошеломленный человек — слышали такое слово?

И стал объяснять:

— Оглоушенный ударом по шелому. В шлемах воины. Вона какая глубь!.. Запросто слово выговариваем, а корешок аж к татарам, еще поглубже... Тогда ни камушка не лежало и на месте этого монастыря. А поговоркой стало — значит, сколько народу глушили!..

Закончил же вовсе ни к селу ни к городу:

— Вот так вот! «На миру и смерть красна» — правильно говорится; не ты один, выходит... Иной раз

ворчишь, а разберешься: из-за чего? Что стоит ворчанье-то твое?

Пашка поглядывал на щербатую стену. Над ней подымались простые крыши и крыши с куполами. На них шевелились и стучали совсем маленькие люди — не больше ладошки. Монастырь... Никакого монастыря тут не было, была база, свозили колхозный хлеб, сейчас чинили крыши. И Павел давно отлично понимал, что не бывает никаких людей с ладошку, но ему все-таки нравилось думать, что это люди не простые, а с ладошку.

Внизу стелилась равнина в болотных, мелких, гречишного вида цветах и осоке у озера, где ступишь — и сразу увязнешь по колено. Выше стояло несколько домишек с «золотыми шарами» в палисадниках. Потом — кудрявые кусты. А где-то у последней черты земли-равнины бежит электричка, которая нигде не останавливается, так и бежит мимо города, и прямо в небо вонзается острая игла радиомачты с пучком коротких гребешков, похожих на паучьи челюсти.

Даль, даже не вообразить, какая даль!..

3

Но как быстро промелькнуло все это, когда Павлик, втиснувшись между столиком и койкой, безотрывно смотрел, смотрел из окна вагона! Резко, темным обрывом кинулась на них чаща и прошумела; в ней, раздвинув деревья, принялись боком повертываться невиданные избы, усаженные по коньку крыш частыми деревянными зубьями-рогатинами. Где все это? Даже сообразить нельзя, куда уже заехали. Ни в городе, ни окрест его — всюду, где бывал Павлик, ничего такого не видано. И дальше, дальше, станции, гудки, земле нет конца, и вот оно, вагонное окно — прямо против бесконечной земли. Дни слились в одно — с новыми городами, которым Павлик дивился, потом считал их, потом сбился; с людьми, ходившими и выходившими, и непрерывным гомоном по всему вагону чужих голосов. Ночью мальчик камешком падал в сладкий сон, все время страстно ожидая, помня про завтра.

Вспыхнет мысль о том, что осталось, что отрезано и с каждым мгновением все неотвратимей отрезалось,— замрет сердце: как хватало даже беспредельности земной для всего этого? Для дней и ночей гремуче-летящих?..

4

Он выбежал из дому. «Никуда не отходи»,— приказала вдогонку мать — ей опять не до него.

По сторонам очень широкой — пока перебежишь! — улицы дома высокие, длинные. Часть улицы в асфальте, часть нет; за машинами, перед огромной, в одно стекло, витриной магазина, повисала надолго тонкая пыль. Мальчишки играли весело и всё с криком — «не так, как у нас». Но на такой просторной, как три наших, улице, верно, нельзя не кричать. Мальчишек очень много; и девчонок.

Павлику никогда не приходило в голову, что он говорит по-особенному. Просто говорил, как мать, Володька-рыбальчонок, как все. А тут и мальчишки, и девочки, и каменщики, что строили посреди готовых новый, такой же длинный дом, говорили вовсе не так: точно во всех словах выкрикивали «а! а! а!».

Мальчик сошел с улицы, забыв наказ матери. Нигде не было ворот. Их не было вовсе. «Зачем я про море? — повторял и заклинал он внутри себя.— Выдумал и соврал про море. Пусть не зачтется, что солгал! Ну, на этот раз пусть, очень прошу, только на один этот раз: ведь тут жить. Пусть так, чтобы озеро, хоть маленькое, хоть не такое, не древнее такое!..»

Крайние дома стеснились в линию. «Дядя, какая улица?» — «Набережная — видишь, написано. Буквы еще не разбираешь? Ты чей?»

Перед домами на дороге пыль лежала мягкой, толстой подушкой по лодыжку, гретая и белая. Дальше по желтой, твердой почве крепкие, серые, жилистые травы с резким рыбьим и нашатырным запахом — если сорвать и растереть листок,— не закрывали перекрещенных трещин. Самый край впереди чернел пахотой, и над ним только черная литая туча,— но и ее бока измочалены, растрепаны ветром, спешно гнавшим ее, чтобы не поспела она пролиться дождем,— и лишь мятые, мутно-серые отростки-щупальца торопливо, слепо шарили по земле.

Тревога и тоска сдавили горло мальчику. Он заплакал громко, взахлеб, с детским, самым горьким на свете отчаянием — отчаянием, что ничего нельзя поправить,— и побежал назад, не домой, а в этот дом, который не был его домом.

Мать на коленях, опираясь локтем о железную кровать без матраца, копалась в узле. Она сильно устала. И тотчас вскочила:

— Павлуша, Павлик, ну что ты, кто тебя испугал? Милый, ну что ты? Мама тут. Ведь ты большой...

Она прижала его к своему платью. Он вырвался.

— Еще как заживем! Сейчас покушать тебе дам...

Тяжело ступая, откинувшись назад, отец втащил на животе рогожный куль с грузовика. Потер руки и хриповато, недовольным басом:

— Это тут что? Приехали, а ты... Это «здравствуй» новому дому так говоришь?

Стекла окон — шире раскинутых рук и почти до потолка — серые от тучи; голос, каждый шаг гулко отдавались в комнате со свеженакрашенным, пахучим полом.

— Ничего,— ответила мать,— уже ничего. Все. Посмотри, посмотри глазками. Видишь? Узнаёшь?

На платье матери темнел пятнами пот. Пятна были уже холодные. Она очень устала. Прежде он не видел ее такой. И, зарыдав еще горше, он почувствовал у своих висков ее жесткие пальцы. Он не слушал ее, ему было жалко матери, но сейчас он не любил ее.

А она увидела искаженное ожесточением лицо мальчика; пересилив себя, он плакал беззвучно.

— Посмотри, посмотри глазками — узнаёшь?

Он посмотрел — только скосил глаза,— увидел в окне летучую тучу, дымные отростки и острую, как прочерченную, иглу с пучком гребешков наверху.

— Трава горит,— толковал отец, возясь с тюком.— От народа слышу: туча пролетит — и все! Погоди, выроем котлован, построим плотину. Знаешь, сколько метров высоты? Воды — хоть залейся! А ток отсюда пойдет...

— Это та самая? — спросил Павлик.

Мать лишь на мгновение задумалась и ответила:

— Та.

Он проглотил последние слезы и с мокрым, размазанным лицом глядел, наморщив брови, яростно сжав губы.

Значит, та же, наша земля. Только не понимал, не видел прежде, думал мальчик. Электричка вон там. И равнина, бережок в гречишных, мелких, розовых... не утянешь ноги. Озеро, Рыбальчонок, Ленка и Туся — не хочу про Гришку. Мостки, Иван Димитрич из музея, море не тинное — ясное, а сам бултыхнулся в тину, кадык, смешно!.. Трава горит, туча пролетит: ничего, а сапропель?

Он засмеялся. Там, немного дальше,— валы, масло в кастрюльке и жирные, ленивые листовики. Не дождался их. И если очень-очень посмотреть — темный с виду дом, где мама, мамочка считала, коптила в печке рыбу и пела, как птица. Он смеялся. «Вон — видно! Туда можно дойти. С утра выйду и дойду».

— Чему учишь ребенка! — прикрикнул отец.

5

Павлик учится в школе. После уроков ребята гурьбой бегут на улицу. Он знает всех, вся улица знает его — здесь все свои, со стройки. Говор у Павлика изменился, окает он больше дома.

Интересно здесь так, что, пожалуй, нигде нет интереснее... Нечего и думать все пересмотреть. В одну зиму вырос городок Два новых кино, кроме старых и при клубах. Деревья в парке недоростки, но зато цветники... Вечером туда все ходят. Даже сам Михаил Федорович, начальник строительства. Если он и не академик, то академики слушают его в Москве. Он едет на «Волге» в аэропорт — мог бы и пешком, аэропорт рядом,— садится в ИЛ-12, хотя уже бетонируют широченную, длиннющую дорожку, не иначе как для ТУ...

А стройка, котлован... Там Павел бывает часто — и с матерью, но матери стало не так легко ходить, далеко выбираться к отцу,— и чаще он ходит с ребятами или один.

Отец правит краном, ноги крана ездят по таким рельсам, что обыкновенные по сравнению с ними вроде игрушки. Только представить себе: чистое поле — и поперек такие рельсы, от неба до неба!.. Голова крана, верно, со своей башенной высоты и не заметит паровозов, тепловозов и даже электровозов. А стальной хобот, чуть отец поведет пальцем, ворочается еще покорнее, чем хоботы у слонов в фильмах об Индии.

На скалу влезать трудно, надо умело хвататься и перебирать руками. Там такой отвес, что у девчонок кружится голова, они не могут. И мальчишки не все... Павлик влезает и смотрит на котлован в хоботах-стрелах, в могучих, звонко-упругих, похожих на щелканье громадных орехов, звуках размеренной, несуетливой работы. Птицы чиркают крыльями глубоко под ногами. А сюда

придет вода! Вода выше кинутых на лету птичьих криков. Выше темени скалы, откуда люди внизу, на дне, кажутся с ладошку. И если даже встать и поднять руку, то и выше руки будет вода.

Это, конечно, чудо, самое немыслимое. Но он знает, что так случится. И что он увидит, как струя, приловчившись, слизнет с дороги белую подушку и волной заплящет у Набережной!

Павлику не смешно, а как-то странно вспоминать свой плач, свое отчаяние. Но что-то все-таки осталось в нем с тех пор. Все-таки совсем по-особому смотрит он на радиомачту вдали. Она для него и сейчас не такая вещь в мире, как иные вещи и предметы; она выделяется изо всех. И словно какая-то нить связывает его с нею. Отец сажает рядом в кабину, но говорит:

— Солнышко пригревает тебя, тянешься, как огурец. Вишь, какой вытянулся: скоро в кабину не влезешь. Вижу, папкино сиденье не захочешь просиживать. Радиотехником вырастешь. Ну, к мамке ступай. Мамка нездорова у нас...

Что-то уже Павлик перешагнул в жизни. Одну ступеньку. Небольшую. Стал старше не одними годами. А может, и большую — кто скажет!

1959

НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ

ШАГИ НЕВИДИМКИ

Был день с резким ветром — он подымал и мел по улице мелкую снежную пыль. Солнце светило, но в желтоватом свете, бессильно падающем с низкого неба с рваными облаками, все вокруг казалось особенно пустынно-холодным, а ветер — особенно колючим. Не видно было даже воробьев. Снежная пыль забивалась в рот, и голова невольно сама вжималась в плечи, в поднятый воротник.

Иными словами, был зимний день, когда особенно трудно представить себе, что зиме будет конец, что серая каменная земля с примороженной ледяной корочкой отойдет и задышит, что может она дать жизнь тысячам ростков, приют — миллионам существ, что когда-нибудь набухнут и лопнут почки и гомон, веселый свист и щебет огласят зеленую листву.

С таким настроением, изрядно продрогнув, я пришел в институт, снял шубу и, входя в лабораторию, сказал:

— Холода-а!..

— На дворе весна,— ответил Евгений Степанович Никифоров, оторвавшись от микроскопа и мигая близорукими глазами.

Помню, что меня рассмешило это заявление микробиолога, который славился именно тем, что пейзажи под объективом его превосходного апохромата были знакомы ему гораздо лучше, чем даже смена времен года за окнами. Да и жил он тут же, в институтском дворе. Товарищи по лаборатории утром уже видели его склоненным над батареей разноцветных стаканчиков и чашечек. Бактериальные культуры в чашечках прорастали медленно, и во всей батарее, на взгляд, ничего не менялось — только каждое утро на столик ставился стаканчик с водой из-под крана. В сущности, это и было единственной ежедневной новостью за этим столиком.

И пока хозяин его, сделав свое неслыханное сообщение, все щурился, как будто глаза его никак не хотели примириться с тем, что их оторвали от окуляра, я не без яда в голосе спросил:

— Уж не в микроскопе ли вы заметили весну?

— Вот именно,— совершенно невозмутимо подтвердил он и решительно приказал: — Посмотрите сюда!

Не скрою, я с усмешкой заглянул в темный глазок.

И вдруг увидел поразительное зрелище. Круглое поле не было пустым. Пловцы пересекали его. Тельца разных форм и оттенков висели в светлом пространстве.

А негромкий голос рядом со мной уверенно объяснял:

— Вам видны темные звездочки. Их множество. Заметили? Это водоросль астерионелла. Среди них движутся палочки, похожие на гоночные лодки: это водоросль навикула. Навикула значит — кораблик. Да еще зеленые решетки и кубышки, совершенно верно... Это микроскопическая растительность, микрофлора прозрачной воды. Вон какая пышная! Разве она была такой неделю назад? Вы сами убедились: микрофлора показывает весну!

Я не микробиолог. Мои друзья из мира природы различимы без помощи увеличительных стекол. Но вечером, отправляясь домой, я подумал, что, пожалуй, и меня могут ожидать новости.

Дома у меня живут три птицы — краснозобый зяблик, серая варакушка и хохлатый свиристель. Свиристеля я подсадил осенью, и птицы сразу разговорились. С того и пошло: стоит замурлыкать свиристелю — громко откликнется зяблик. А варакушка послушает, посвистит да затем очень точно повторит обоих.

Так целую зиму мы слушали летние песни, когда снаружи, за разрисованным ледяным окном, скребли землю скрипучие морозы.

И вот в самом деле: дома что-то произошло. Свиристель беспокоился. За зиму он стал совсем смирным, жадно брал с руки и муравьиные яйца, и тертую морковь, и изюм так, что клевал пальцы, а теперь метался, места в клетке не находил.

Другие птицы оставались спокойными. А свиристель был как больной.

Дня через два я облазил заваленные снегом рябинные места под городом. Свиристелей не было. На рябине пусто. Улетели на север!

Тогда стала понятна птичья болезнь: свиристели уле-

тают от нас весной, когда другие птицы прилетают; и настало время свиристелям собираться на их далекую северную родину.

С этих пор мои домашние начали в полдень каждого погожего дня следить за солнечной полосой на полу. Она лежала почти на метр ближе к окнам, чем месяц назад, и заметно продолжала передвигаться из глубины комнаты, все быстрее и быстрее. Она странствовала по полу комнаты, как по континенту, и, как на карте, прокладывала солнечную трассу с севера на юг.

Вот вечером, медля уходить, она достала до книг в темноватом углу, и радужно блеснула, прежде никем не замеченная, тонкая зимняя пыль между корешками...

А в то время как двигалась полоса, касаясь все новых вещей, много месяцев не знавших солнца, событий становилось все больше.

Странные часы с глуховатым ходом затикали в старом шкафу. Это шашель-древоточец, сверлящий ходы в дереве: очнулся, выдал себя!

Однажды, когда меня отвлек от работы грохот сосулек, отламывающихся с крыши за окном, по столу пробежала с обмякшими мокрыми крыльями муха. Она подождала минуты две на припеке, ее крылья выровнялись, и она улетела.

Маленькая варакушка перестала спать по ночам. Дневная птичка прямо сделалась ночной, и ночью теперь — ее главная жизнь. Я не дивлюсь, я знаю: где-то в Африке ее серенькие подруги, другие, вольные варакушки, как раз теперь собираются стаями, чтобы начинать ночные перелеты на север — к нам.

У картошки изо всех клубней лезут бледные длинные ростки.

Соседка говорит соседке:

— Совсем зима на дворе, ничуть не теплей, чем раньше, а вот — проросла!

Тогда я нарезал черные, по-зимнему мертвые ветви вяза, липы, березы, лиственницы, орешника, ольхи и все их поставил в воду. Я делал то же в декабре и потом выбросил зря простоявшие в банке голые прутья.

А теперь орешник выкинул пушистые сережки — яркие, золотые. И все ветви распустились.

Я взрезал почку лиственницы. В ней была почти готовая созревающая пыльца.

А ведь, в сущности, не произошло ничего. Когда я ходил на лыжах, мороз жег щеки, и вечерами снег скрипел.

На лыжах я добрался до кустарника у пруда. Около каждого черного прутика снег подтаял кружком. Я нагнулся посмотреть. И вдруг заметил темных насекомых. Одни прыгали по снегу, как блохи. Другие ползали, похожие на мух без крыльев. В снежных ямках блеснула паутинка: там прятались маленькие пятнистые паучки.

Около круглых блюдечек талой воды снег казался буроватым. Я зачерпнул воды. Она пахла стираным бельем. Зеленый шарик прокатился среди пляшущих соринок и сверкающих точек.

Я взялся рукой за черную ветку. Она была теплой. На небе ни облачка. Солнце стояло высоко — надо закинуть голову, чтобы встретиться с ним. И от высокого солнца небо стало голубым и очень глубоким, почти синим, и его заливал такой блеск, что, смотря на него, нельзя было поверить в снег на земле.

И тогда я увидел, что пришла весна.

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Воскресенье. Свободный день. Хватило бы работы по дому. Но вышел во двор — и зажмурился от нестерпимого сверкания, задохнулся от голубизны, от морозной свежести. Нахлобучил шапку, взял в руки палку — и пошел, пошел, чувствуя голодную тоску в ногах по быстрому шагу, по убитому насту дороги, по сахарно-хрустящему бездорожью.

— Когда вернешься? К обеду?

— Чуть поздней, можно?

А что отвечают со смехом, уже не слышно.

Первые километра три не думал ни о чем — только шел и шел...

На взгорье, на воробьином юру стояло село Воробьево. У магазина в сторонке сбились и о чем-то неторопливо разговаривали несколько человек, мужчины. Вовсе не спешили в магазин за своими покупками, за своими четвертинками.

На улице встречные ребятишки здоровались: «Здравствуйте, дядя!» Многие называли по имени-отчеству.

За селом — круглый пруд, белый, сровнявшийся с полем, на пруду круглый островок, на островке стройное, тонкое, отовсюду видное дерево, но дерева не было, когда

же оно сломалось или срубили? Торчала не сразу заметная жердь: жалкая желтоватая жердь — жалко дерева... И мимо пруда, под прямым углом к дороге, вниз к далекой реке сворачивал проселок. Очень странно: ни следа колеи, никто не ездит, протоптанная глубоким окопчиком тесная тропка — и все; а там деревни, люди. «Наверно, есть где-то объезд» — так подумаешь и свернешь.

Путь далек, место совсем открытое — леса оторочкой, темные и синие, впереди, за рекой, на горе, к их дремучей сказочности притулилась журавлиная шея колоколенки со срезанным верхом, крохотная в отдалении.

Чтобы обогнать идущего по тропке-окопчику, надо ступить на снежную целину,— верно, по колено, а то и глубже.

Впереди идет охотник. Толстые валенки в тесной щелке тропки ставит гуськом и как будто ныряет, когда поскользнется нога на неровно утоптанных ледяных бугорках. На ходу он нет-нет и поднесет к губам рожок — собак зовет. Собак же нигде не видно и не слышно. Он так и идет один и, ничуть не смущаясь этим, играет на рожке.

Что за охотник, откуда? Не воробьевский. Идти с ним вместе до реки, вот и спросишь его в спину:

— На зайчишек?

Он оглянется — чернявый, с шеей, закутанной клетчатым шарфом (совсем иным представлял его).

— А ты что, молодой, видал зайчишек?

Темнит — положено ведь, чтоб «ни пуха ни пера». А впрочем, на елях и соснах ни белочки, бедно, на девственном снегу — ни стежки звериной, там и сям — кленовые листочки птичьих лапок.

— Сам-то с палочкой не на ворон ли вышел?

Буркнул, усмехнулся и опять хвать за свой рожок.

Птица-то в общем тоже редка, хотя сегодня сколько уже повстречал разных:

два дятла скоком гонялись друг за дружкой, будто связанные веревочкой, по стволу, по сухим веткам,— а чем живы на том дереве, промерзшем, замершем, даже немазаного скрипу их почти не слыхать;

снегирь спорхнул, красуясь на белом красной грудкой;

переполох синичек с такой болтовней, что сорока не выдержала — одиноко убралась, прочь зарулив ступенчатым хвостом!..

Справа, к плотине, почти вровень с ней, подступала равнина с проторенными дорожками. Сейчас, зимой, реч-

ной разлив перед плотиной кажется особенно широким. А слева — провал. Разводья, истресканный лед, большая папанинская льдина — и посередке ее человек, пешней продолбил дырку, удит, и даже валенки сухи: разводья его не пугают. И нельзя понять, как он попал сюда!

Плотина не гремит, у нее — полголоса и так, точно сыплется-пересыпается громадная куча или сквозь зимние угрюмые стекла доносится работа швейного цеха. Если, увязая в пухлом слитном сугробе, взойти на смотровой мостик, увидишь под собой прильнувшие одна к другой трубы — целый орган! Длинные, наклонные от плотины, посредине изогнутые, стеклянно-хрустальные, ледяные. И как, прядая по этим органным трубам, с мельканием пузырей, льется-сыплется черно-маслянистая вода, набивает внизу, у ледяных закраин, копошащуюся пену, крутится в коловороте и, вырвавшись, устремляется в разводья.

Здание станции невелико, за широкими окнами — светлая, вся в солнце, комната замерших машин. Вот станция и выключена, но и без нее сомкнулось энергетическое кольцо, даже не заметив, как выбыла подмога с этой речушки.

Старая сторожиха стоит на солнышке и — который раз! — перечитывает письмо. Доходит до одного места, и каждый раз, чуть видная, мгновенная, набегает на ее лицо улыбка.

— Еще внучек родился?

— Где родился — жениться собирается!

— Внучек?

— Внучек. Старший. Прыткий: так, головмя́, ничего еще не видавши, в армии даже не отслужив! Мать ни в какую, а он свое! А я свое: «Всей замашкой, как вылитый — в отца!» В старшего моего.

И мгновенная улыбка касается ее старых, пепельных губ.

Тут и спросишь:

— Отец-то офицер? Майор?

— Выше бери: капитан второго ранга. На Северном флоте. Да ты что: знаешь наших?

И, конечно, в ответ:

— Кто же вас не знает! Вы же из Борового!

— Всем видно живу,— спокойно соглашается сторожиха.— Не зря век-то свой...

— Капитан второго ранга!.. На покой пора бы, бабушка.

— Какое ж мне беспокойство? Все людям нужна — и смерть стороной обойдет... А я вас знаю,— внезапно говорит она.— Алафеевский. Новый учитель. Молоденький! Жениться-то сам скоро ль надумаешь?

— Я женатый.

— Н-ну?! Прыткий...

А щеки начинают гореть,— не мороз ли злее заколол иголками? — и стыдно за синичью свою болтовню, и почему-то очень хорошо.

— А вот ты скажи: правда, что траву сеять перестанут? Слышала, и овес тоже? — спрашивает старуха.

Бор во всей сказочной дремучести висит над головой прямо по ходу, не оторочкой — громадно выросшей стеной; ее тенью, голубой и золотящейся, окутано Боровое. Какая изба сторожихина?

Ноги уже сами не просят движения, первый мускульный голод насыщен. Ведут теперь глаза, уши, что-то острое, чуткое, как бы распахнувшееся в душе навстречу всему.

Но тропки здесь — просто косые цепочки ямок на крутом подъеме в горку: ноги ставь след в след. Может, только и есть один след: сторожихин. Значит, из Борового через бор и ездят — хоть посмотришь, как он вверху сторожит гору, и почудится: вступи в него — и тысячу верст не найдешь конца!..

Безголовая колоколенка вся в туче ворон. И у розоватой церквушки крыши нет — снег нарос внутри густо, темно-алый; как банка с вишневым вареньем.

А на улицах людно, оживленно: не Воробьево! Сколько народу! Никто тут не знает, не узнаёт — до Алафеевского далеко, сюда в первый раз выбрался.

Мотор фыркнул, заглох — грузовик остановился на разъезженном уличном снегу против ворот обширного, обнесенного новыми стенами квадрата фермы. Ворота растворились — видно, как реющая косая тень бора прикрыла до половины просторный двор. Ну куда ехать отсюда старухе, на какое такое полярное море — хоть и к старшему сыну, старшему внуку!.. От самой себя ехать!

— Лес ваш как называется?

— Наш — как и ваш,— говорит шофер и оборачивается, смотрит, отвечает с удивлением: — Руслановский... А вы что, нездешний?

— Руслановский! Вон как: Руслан... Отчего так, не знаете?

Шофер еще больше дивится. Но этого он не знает.

— Вы дороги меряете подожком (все про палку!). Приглядитесь, может, там, на шоссейке, что и обозначено. Мелкими буковками.

И смеется, довольный собой.

Но вышла из ворот фермы женщина, прислушалась.

— В день раза по три насквозь гоняете, так-таки и не поинтересовались — отчего? И человеку не объясните — человек издалека, а сразу спросил. Руслановская деревня стояла. Фашисты сожгли. Окружили эсэсовцами, музыку пустили, чтоб не слышно было ни людей, ни пламени — ничего. «Все партизаны!» Место и сейчас заметно — впадинки, бугорки: где избы, где сельсовет. Кто спасся — дома не были, когда палили,— перешли в Боровое. Так и стало: Руслановский бор.

Сердце Руслановского бора. Вон какой бор! Молчание. Люди молчат.

— Вот как,— говорит наконец шофер.— Я и сам нездешний.

На обратном пути склоненное солнце било в спину, и было по-послеобеденному истомно и жарко, словно, блаженно и утомленно золотясь, склонялся к вечеру бесконечный летний день. И ничего не значила для его лучистой пряжи белизна вокруг.

Стена с линялыми пятнистыми разводами (вспомнил: увидел их, как приехал после института, вдруг разволновался, и стало валиться из рук, наговорил лишнего на педагогическом совете и даже насмерть разругался в райцентре), стена ярчайше цвела, невиданно рдела, как гренландские домики в кинофильме.

А со школьной крыши с угла свешивался частокол сосулек. Двухметровая борода — так примерился к ней утром, уходя. Не поверил глазам: сейчас клок бороды, сталактит — трехметровый!

Точно вместил в себя пролетевшее геологическое время безмерный день. День, в котором были и дятлы на веревочке, охотник в клетчатом шарфе, стежки-щелки и стежки-цепочки, поле и дальняя даль, сказочная дремучесть и Северное море, старая женщина, которую обошли старость и смерть, сердце Руслановского бора, вишневый снег, жаркий блеск предвечерья и тот невиданный

дом, где пробыл, завозился вчера допоздна в своем живом уголке, а завтра не утерпит — пойдет прямо на тусклом рассвете еще по-зимнему короткого дня.

СЧАСТЬЕ

Ребята-односельчане возвращались со школьного участка. Был канун Первомая. И теперь на участке доделано все, что надо: грядки, клумбы вскопаны, часть ранних летников и овощей посеяна в грунт, и кое-что из рассады высажено, даже, не дожидаясь осени, кое-какие кусты, деревца.

Школа новая, большая, просторно рассчитанная на ребят нескольких поселков вокруг Алафеевского — вплоть до самой гидростанции за Воробьевом-на-юру. Год заканчивался в старой школе, тесноватой, с линялыми стенами. Но всем — и учителям и ученикам — так не терпелось перебраться, что уж теперь, с ранней весны, решили приняться за устройство нового участка — сверхурочно, выполнив что положено и на старом, довольно плохоньком. Всем хотелось зажить совсем по-другому и, чтобы новый алафеевский вышел в лучшие по районному соревнованию, постараться даже с самого начала — пусть он станет наилучшим, первым, отличным: так хотелось всем.

Весна взялась всерьез с десятых чисел апреля, с целодневным сиянием и солнечным припеком, снег оседал, проваливался, как пустотелый, по всем склонам запели ручьи; и без ночных туманов, которые, бывает, неслышно подъедают зимний покров, земля смахнула его долой с себя и раскрылась в нетерпеливом, праздничном ожидании. В лесу было еще топко, но на открытых местах подсушило, пятнами и кругами забелели, точно чудом, ветреницы-анемоны. Появились кротовые кучки. И вдали осиновые рощицы засквозили нежно, неприметно наведенным тонким, воздушно-оливковым оттенком.

От развороченной почвы пáрило, в руках она мазалась, как жирное черное масло. И было весело кончиками пальцев осторожно расправлять крошечные, полные просвечивающим соком или ворсисто-сборчатые листочки, стараясь не повредить ни одного корневого волоска, когда с земляным комом из ящика высаживаешь рассаду: проще это давалось девочкам. А после долго обминать,

обжимать пахучую ямку вокруг стебелька. Таскать приготовленную садовую землю. Смешивать, просеивать, подбавлять для легкости песку, возиться с компостом, марая локти, коленки и не боясь замараться,— от запахов невольно раздувались ноздри.

Работали свеженькими, еще в глянцевито-лаковой голубой и красной фабричной краске инструментами — их пораздобывал, как и саженцы, семена, новенький молодой учитель-биолог.

С временем сегодня не считались, под конец ужасно и хорошо устали, но, ребята деревенские, и под вечер вовсе не поняли бы, если бы кто-нибудь сказал, что это какой-то чрезвычайный труд: с чем и возиться, как не с землей, с травой, цветком, деревом, среди чего живешь?

И весь день со всех сторон, близко и далеко как сумасшедшие куковали кукушки.

— Хватит, кончай, шабаш! — сказал учитель.— Ты, Витя, коновод, заводила. То самого не заведешь, а то оторвать не оторвешь. А ну забирай своих, вам же идти да идти — тут пустяк осталось, мы, алафеевские, враз подчистим, мы же дома.

И тыльной стороной ладони не столько отер, сколько размазал пот и пыль по лбу, затем достал платок и вытер пальцы.

Это тот самый учитель, что и зимой засиживался допоздна в живом уголке и тогда придумывал будущий школьный участок, и рассказывал, и вычерчивал, показывая на чертежах и ограду, чтоб было как картина в раме.

— Да что вы, Арсений Адрианович,— откликнулся Виктор, щегольски-четко выговаривая мудреное имя-отчество учителя.— Мы же обедали. Сейчас вот уже всё...— Виктор сделал страшное лицо.— Ребята, давай!

— Занимайся ты так зимой, были б у тебя круглые пятерки,— говорит Арсений Адрианович и больше не настаивает.

— ...Ну ладно, инструмент пусть убирают алафеевские. Всё!

Идти надо было километра два. И ничуть не плелись, болтали, подсвистывали птицам, сбегали с дороги, обгоняли передних, награждая их шлепками, а ведь и вправду устали, что же это их подмывало и подталкивало?!

Крутым поворотом дорога вывела из хвойного леса. Поселок весь как на ладони — с длиннющими тенями домов.

Все дома в поселке послевоенные. Поселок сам послевоенный.

Из труб дымки: всюду собираются ужинать. Мать Виктора, конечно, хлопочет, накрывает на стол. А сестра, модница, вот сейчас, сунув ноги в стоптанные туфли и накинув платок, встречает корову у забора из жердей. Та лениво, колыхая тяжелым выменем, бредет к сараю. Сестра хлопает, нахлестывает ее по крупу-бочонку. Корова, не ускоряя шага, обернется, шумно отфыркнется, заедет копытом в край дорожки. А сестра закусывает губу: торопится — боится опоздать на вечер, на танцы, надо еще прихорашиваться. Отец вот-вот придет из совхоза.

— Ребята, я первый! — кричит Виктор и несется во весь дух по уклону к запруде, на бегу кидая далеко отставшим: — Догоняй!..

По ту сторону пруда стоит строеньице — прежняя трансформаторная,— слабо подрумяненное последними лучами; окна темны. И отражается в недвижно-мглистой воде точно такое же второе зданьице.

Вдруг ярчайшее лезвие полоснуло по глазам мальчика. Свет ударил оттуда, снизу. Окна второго, подводного дома горели, полыхали. Солнце, невидимое в тускло-померкших стеклах старой трансформаторной (и вся она стояла серая, сумрачная, померкшая),— солнце жгло из отраженных, подводных окон, сплавив их в торжественное сверкание огненного праздника.

И, морозом по коже, сильное, безотчетное, никогда не испытанное движение счастья потрясло мальчика, сковало его ноги. Он остановился с маху, как подсеченный.

Хохочущие товарищи догнали, промчались мимо.

— Чемпион! Куц! Алло!

— Болотникову привет! — донеслось спереди.

И он побежал за ними.

1948; 1962; 1963

СТЕПНОЕ ОЗЕРО

Не то, что мните вы, природа...

Ф. Тютчев

И снова, на последнем взъезде в усадьбу, Чепурной увидел Кораблик. Тут свертывали с шоссе, на свороте он глянул вдоль него, почти пустого,— был вечер, и невольно зажмурился от ударившего столба красного света. Красный, взбухший, выросший в конце долгого дня шар солнца висел над шоссе, нет, даже миновав его, проскочивши вправо, над пахотой сбоку от него, а шоссе текло, как теплая, огнистая, вся в примеркающих побежалых цветах река. Это было удивительно. Зимой, когда несколько лет назад Чепурной был тут последний раз, солнце, маленькое, кануло за перелесок позади снежной поляны. Прямо за спиной, то есть совсем в другой стороне, и, казалось, ближе замерзшей речки и башенного крана, тянувшего откуда-то журавлиную шею над перелеском на фоне жидкой морозной зари. Очертило, значит, вон какую дугу и ушло, отлетело вон в какую просторно-свободную, неоглядную даль!

Прихотливая память подбросила неожиданное сравнение. Было это на Западе. Улицы, асфальт, стены, балконы с «видом», за которые взимается плата в несколько раз дороже, чем за другие, со стороны «без моря». Таверны, специальность — рыба, специальность — безрыбье, полусумрак гастрономических пещерок, роскошный курорт, кажется, без единого деревца на умерщвленной земле. Чепурной с товарищами по однажды выпавшей поездке (сколько раз потом повторял: «А, помню, на Северном море...») пересек, сокращая путь, громадную, плотно убитую, буро-песчаную пустошь, над которой взвивались в серое небо и трещали разноцветными плоскостями, хвостами и механическими крыльями змеи и заводные летуны. То группками, то в одиночку резво перебегали запускавшие их сухощавые старцы в шортах,

юнцы в джинсах, карапузы и семейные пары, восклицая «о-ля-ля!». Возвращаться пришлось часа через полтора. Исчезло все! Как не бывало. Сшибались частые беспокойные переплески, все слизнувшие язычки тускло-бутылочного моря. Над недавними пикниками и перебежками. Над плоской, хоть шаром покати — чуть не до черты видимости, под серым небом, равниной. Над их собственными следами на буром песке. И Чепурной пропел (он был молод) из песенки Ива Монтана — ее прокручивали тогда тысячи магнитофонов и радиол: «...Влюбленных следы на песке...»

Конечно, все просто и естественно — и здесь, с солнцем, и там, с приливом. Ежегодное здесь, каждодневное там простое чудо. Вот и все.

Но Кораблик незыблем. Как герб при въезде. Здравствуй, Кораблик!

Усадьба стояла на пригорке, дорога восходила на него отлогой петлей, а рядом с петлей дороги башней высилась ель, на чьей макушке вместо одной вершинки четыре или пять мохнатых ветвей сплелись в фигуру старинной ладьи с мачтой, лебединым носом, вздернутой кормой.

Это осталось как прежде.

И точно такой же, прежний, встретил Степан Григорьевич.

— Рады. Вот так, значит,— проворчал он.— А мы с Лидией Ивановной... Лида! Прибыл!

— Руки не подаю, обтерла, да мокрые, постирушку затеяла. С утра ждала и заждалась. Не стареет и не стареет, что ты будешь делать! Может, секрет у вас какой? Поговорите со Степаном, а я ужин...

— Иван-то где? Иван Прокофьич! Верно, смотался домой, восвояси. Завтра повидаете. Этакую бородищу отрастил!

— Так что у вас все-таки стряслось?

— Ну, стряслось... Землетрясений нету, не в том поясе проживаем, а вот про что сообщал: дубы.

— Уже видел. Перед усадьбой.

— Эти еще что! Есть такие — дочиста обглоданы. Голые, в лоскутках листвы. Хорошо, говорю, что сразу к нам собрался!

— Дубовая листовертка?

— А вы подойдите к любому дереву. Так и кипит сизенькими молями, так и кипит! И какая сочность

рядышком, ни листочка не тронуто на других деревьях. А тут без промаха. Обглодано, сожрано. Что ни дуб. Помните главную гордость — на шестом участке?

— Как не помнить? У лукоморья дуб зеленый...

— Зеленый. Посмотрите Был зеленый. И откуда что — именно в этом году? Я двадцать лет здесь работаю... Плоховато еще разбираемся, то-то и беда.

Так начался разговор. Продолжался и за столом, Лида только слушала, подкладывая в тарелки. Чепурной сказал:

— Нарушение экологического равновесия. Надо бы потянуть нитку в прошлый год. А то и глубже копнуть. Гусеницы осенней кладки — правильно? Во всех работах о кривых вспышек...

Степан Григорьевич перебил:

— Про всех не знаю, а в тех, что попадались, допуски в обе стороны, от широкой души. Жди-ожидай через три года; не удивляйся, ежели и через два; а нет — так через пять, это уж верно. Космическая эра, избалованы точностью: запуск сегодня, а на Венеру — запоминай год, месяц, день, час и еще двенадцать с половиной минут. А в спорте? Фотофиниш, сотые доли секунды, глазом не мигнешь. Тут же либо дождик, либо снег. Смешно! Что это мне дает? Чисто практически? Вроде иных прогнозов погоды: циклон — антициклон, бабушка надвое...

— Как это я позабыл, Степан Григорьевич, что ради красного словца готовы вы иной раз...

— Да какое словцо, что за словцо, при чем тут, ейбогу!.. Покойник Николай Сергеевич Щербиновский пытался же расчертить нашествия саранчи как строгий чертеж. И помогло в свое время, про нас не говорю, мы-то сладили с акридами, но в таких странах, как Иран, Афганистан. Мне он сам рассказывал, что даже и в Техасе, в Соединенных Штатах. А вот с этой чертовой листоверткой!.. И чтобы заодно голову поломать — комаров, напротив, нисколечко. В самый комариный разгар!

— Что?! А я с собой и «Тайгу» и «Ангару»...

— Ну и у нас бы нашлось. Неужели забыл?

— Жена в последнюю минуту сунула в чемодан.

— Места не пролежит. А только ни единого комарика. Любопытно?

— Еще бы!

— Главное — сам прибыл. Разберемся вместе? Дол-

говременные записи в порядке. Экология, фенология. Кое-что систематизировано. Есть наметки. Задача — предвидеть, не в мировом масштабе, а в местных условиях. Второе — предупредить. И методы борьбы. Прежде всего так полагаю — биологические. Ну, птицы само собой. Вопроса нет. А вот, допустим, и насекомых на пристяжку? Тут вопрос. Ну, наездники, подобрать из браконид... Маловато знаем, маловато. Но я вот о чем: а если и муравьев?

— Это же вы... Моя давняя мысль! Вон вы как!

— Сошлись? Тем лучше. Именно, именно, мураши. Муравейные братья.

— Прямо угадали!

— А примеры-то хоть есть?

— В Молдавии. Завезли как стражу садов. Вышло.

— Отлично. Не первооткрыватели — и не претендуем. Значит, меньше плутать!

— А как же насчет ядохимикатов?..

— А вы-то сами как?

— Ну-у... У меня своя точка зрения. Считаю — перебарщивали.

Степан Григорьевич потянулся чокнуться с гостем, отер рот, ухмыльнулся, очень довольный.

— Что перебарщивали — психология понятная. Соблазн. Да какой! Все одним махом — тут тебе и все козыри. Так что давай-давай! Взять хоть у нас... Опять сойдемся? Или нет? Я долдоню: художнику писать картину, а ему в руки помело. Мне в ответ: здесь тебе не вернисаж в Манеже, а принимай машину, опыляй по инструкции — кишечный яд. Я за свое: а как прицелишься в недруга — зацепишь друга, да и в свое брюхо угодишь рикошетом?

Чепурной положил вилку и нож на тарелку, коснувшись груди, помотал головой хозяйке.

— «Я узнаю Григория Грязнова»,— произнес он речитативом.— Ну а все-таки — поговорочку слыхал, ее особенно философы любят: выплеснуть с водой из ванны и ребенка? Как бы не перегнуть в другую сторону, это тоже умеем. Сельскохозяйственная авиация на полях делает громаднейшее дело.

— А я вовсе не про массивы хлебов, не трогаю и не касаюсь, ни боже мой! Я про свой особый случай, местные условия. Да и чего добились мы тогда, если интересует? Всего ничего: проходили в еретиках. Амнисти-

рованы, впрочем. Лидия Ивановна, я не понимаю, ты что? Какая тебя муха? А, виноват, заговорился, чего ж ты раньше? Человек с дороги, ему отдохнуть, вижу, вижу. И правда, всего не переговоришь. Комната готова, та самая, Лидия Ивановна все прибрала, она же у меня хозяйка. Утречком мы втроем с Иваном Прокофьевичем...

— Чуточку отложим. Сперва похожу, чтобы собственными глазами... А встаю я рано.

Многое следовало повидать собственными глазами. Конечно, и кипение той зелененькой молевидной мелочи — одной из причудливейших придумок природы (уж на что торовата она на придумки!). Бабочка вышла из прожорливой гусеницы-губительницы, и все у нее как положено: хоботок, сосущий рот, кишечник,— но, точно во искупление грабежа и разбоя, ей с первого до последнего дня ни капли пищи. Никто не наблюдал, чтобы она питалась весь краткий брачный век! До голодной гибели. Великий, грозный круг жизни крошечного то ползучего и жрущего, то оцепенелого в виде мумии-куколки, то порхающего, осужденного на смертную казнь существа. Итак, и на это еще раз взглянуть собственными глазами. Но, пожалуй, наперед следует еще...

— Ясно,— говорит Степан Григорьевич.— Повадку должен бы я помнить, вон где сказалось — давно не бывал у нас. Войти в курс, проветрить мозги. Я бы и сам после тех асфальтов на проспектах... И то судили-рядили с Лидией Ивановной, как это там выдерживаешь? Вроде совсем и непохоже на тебя, какой был, каким мы с ней тебя помним...

— Что правда, то правда,— отозвался Чепурной.

— Значит, в первую голову визит Степному озеру, не миновать, так?

Не миновал. Хотя никаких дубов в той стороне не было. Но был зато как бы третий, после Кораблика и встречи со Степаном Григорьевичем, старым, нецеремонным товарищем, третий звук камертона, чтобы войти, встроиться (модное «создать настрой» он терпеть не мог) в дела этого уголка, казавшиеся малыми и далекими на «асфальтах и проспектах».

Зона лесостепная, знакомая дорога выводила на от-

крытый простор. Последнее редкое «ку-ку» замерло позади, мало и кукушек в диковинном году.

И прежнее, почти забытое с той поры, как осел в большом городе, желание петь охватило Чепурного на свободном одиноком пути. Он подавил его, чтобы не допустить грубого постороннего вторжения в окружающий лад, который предстояло постигнуть с прилежным, терпеливым вниманием.

Мгновенно осторожно застыл. Из дерновины на обочине выбежал жук с длинными, неприметно-землистого тона надкрыльями и решительным, ровным строевым шагом пустился поперек дороги. Скорость его была лилипутской, а дорога широко раскинутой, в буграх и провалах, пустыней, можно было выкурить сигарету, пока он уверенно, не отклоняясь ни на йоту, прямо по линейке прокладывал свой маршрут — куда? Чем плоха правая обочина, что влекло на левую? Тропизмы, таксисы... В самом деле, все ли так уж, как на ладони, в хлопотах и заботах Мирка? («Маловато, маловато знаем»,— буркнул ведь Степан Григорьевич.)

Клочком вороненой сини кинут край Степного озера. Грива высокого берега притеняла его. Там и сям она подъедена, на выборках, срывах жирного чернозема веревками мотались корни густо растущих поверху, а перед выборками — иссохших тонких березок, ивняка, ольхи, орешника — хранителей озера. Чепурной был наслышан обо всем этом деле. В некий, как говорится, прекрасный выходной зафыркал косяк трех- и пятитонок с эскортом бульдозеров, с празднично-веселыми экипажами доброхотов-копачей. Мощные ножи-отвалы вгрызались в высокую гриву, слитую в одно с зеленой охраной на ней, руша с лязгом и скрежетом земляные глыбы; споро, с прибаутками их перекидывали в кузова, прочь отбрасывая перерубленные стволы и ветки. Сверхурочная работка для нужд нескольких близких и дальних хозяйств в округе, дружно объединившихся по такому случаю в воскресный денек — я тебе бульдозеры, а я машинный парк, а мои люди, рабочая сила; ну ясно, заодно не забыты и личные приусадебные, чтобы все шло резвей, веселей: земля-то золото!

И какой бой, что за баталии принял на себя Степан Григорьевич со своим скудным персоналом, хотя вообще-то случай, формально рассуждая, мало касался их! «Браконьеры!..» И на такое пущенное вовсе не к месту

словцо сколько пришлось выслушать ответных и занозистых — не только от непосредственных низовых выдумщиков рейда, но и с районной высоты! Ничья земля, а тут и план, и реализация озеленения, и огороды, плодородие участков, и живые люди! Ничья? Нет, «чья»! И моя, и твоя, и достояние всего района, да и всех мимо идущих, кто взглянет и невольно приостановится у озера...

Кончилось вничью — на половине брошено, медленно зарастали срезы, срывы, жухлые, омертвелые полосы.

На склоны, греясь, садились бархатные бабочки, разводя вверх-вниз крыльями с траурной каймой, как раскинутыми руками; недели через две таких уж и не встретишь.

Густая, но тусклая и, верно, суховатая лиственная масса облекала забежавший в глубь озера мысок, а может, островок. Оттуда с легкими перерывами строчили две сороки, иногда вертляво показываясь, чтобы снова нырнуть под бледно-войлочный испод листвы — к своему делу. Шуму-то, самохвальства — ради незатейливого подыгрыша чему-то, из почтительного отдаления!

А под сорочий аккомпанемент на прозрачном мелководье вдруг являлось изумрудное стадо, раздувая пузыри резонаторов по бокам плосколобых, златоглазых, со светлым подбоем голов. И тотчас, издав свой возглас, замирало, возможно, вновь отступало под сень аира и хвощей. Оставался лишь тоненько, как струйка, звенящий звук. Да время от времени глухое утробное уханье. У самого края, в парно́м стеклянном слое толщиной в палец, сбились черной гущей головастики, сквозь них змеилась резиновая надувная пиявка. И опять возглас изумрудного стада!

Чепурной припомнил давний разговор с Иваном Прокофьевичем.

— Вон ведь расписано, по косточкам разобрано соловьиное пение. Все колена. Целая наука. Терминология! Классика! А про лягушек — ква да ква. То птица, а это что? Лупоглазая тварь, забава для мальчишек, снедь для французов. А все-таки, я твержу, возьми и прислушайся. Вот так: трель, верно? А это: смех раскатится. И стон в одиночку. Бас — бу-бу! — из преисподней глуби. И точит и точит, потом рассыплет серебряные ложечки. И подгребает под самый бережок. А такое

вот — понятно? — только со свободной воды, не иначе, с середки пруда или там озерца...

И он все показывал — хоть сейчас записать на пленку,— как это с середки и какое различие между перекличкой в утреннем молоке тумана и «главным выходом» в русалочьи лунные ночи. Показывал и двигал кадыком, выпячивал губы, округлял щеки, сурово сводил брови, лицо его неузнаваемо менялось. Рулады, песни, целый оркестр, кто бы подумал — лягвы-лягушки, мальчишечья забава! Родится же человек с лешей ухваткой вторить всем голосам!

В воздухе, низко над водой, носились бирюзовые ниточки. Ниточки-иголочки. Двигались туда-сюда острыми зигзагами, рывками-толчками. Как с полочки на полочку. Подолгу зависая над каким-нибудь стебельком. Часто склеенные по двое. Со стекляшечками быстрых крылышек. Стрекоза-коромысло возле них — вертолет. От нее идет трескучий напор, вибрация воздуха, гудение мотора. Что ищет, к примеру, одна такая — вот эта? Будто заперта, заворожена в тесном объемчике. Стремительно, со всего маху торкнется обо что-то невидимое, и тотчас отшибет ее назад. Она вправо, влево, вверх — то же самое: клетка с воображаемыми стеночками тверже алмаза!..

Но ворвались еще три, им плевать на завороженность, конечно, они за пленницей. И как же ловко, с высочайшей техникой пилотажа увернулась она от них, макнулась раз-другой в воду, побежали морщинки — привет, вы себе своей дорогой, а я в моей клетке и лучшего не хочу!..

Что такое? Точно смахнули рукавом. Вмиг, все. Так внезапно, что Чепурной в недоумении огляделся. Нет, грозовая туча не заслонила солнца. Не рванул буйный вихрь, не ударил град. Неужели же... Донесся, нарастая, чужой, торжествующе вонзившийся звук. Как упустил его? Это не рокотание трактора, за рулем которого, наверно, старший сын Ивана Прокофьевича, недавно женившийся, тракторист. Трактор продолжает работать на своем поле, как работал, ничему не помеха, и тогда, когда Чепурной шел к Степному озеру.

Но вдоль кромки озера не спеша идут двое. Нет, трое. Парень в красной рубашке, горбоносый, с волнистыми, на солнце отливающими беглым блеском волосами. Красавец мальчишка, совсем молодой. Как цы-

ганенок из песни. Или Ромео. И с ним девушка, с голубыми громадными глазами — их не могла испортить и наведенная лазурная тень на веках. Девушка еще более юная, чем ее спутник, с лицом нарочито спокойным в несомненном сознании своей красоты, стройная, как тростинка, в коротенькой кожаной юбчонке. Она твердо ступала длинными, розоватыми, чисто вымытыми ногами и, босая, казалась нарядно одетой!

Наклонясь к ней, не зная, что делать с правой рукой, чтобы не обнять ее — он не смел этого,— парень говорил и говорил, быстро, торопливо, горячо. А она смотрела вперед мимо него и силилась отчужденно улыбнуться, может быть, первый раз в жизни упражняясь в этом, а лицо ее, не слушаясь, то и дело поворачивалось к парню, и какое жадное внимание мелькало тогда на нем (пока она не спохватится): «Говори же, говори, не переставай!»

Все было у них, очевидно, в первый раз, и, господи, до чего же завидно это было!

Но третий с ними, этот третий... Он болтался в его левой руке, и жаль, что не оттягивал руку и что прогресс техники предлагал ко всеобщим услугам все более легкие и портативные модели. Он болтался и норовил ткнуть в глаз или в ноздрю Ромео длинной острой пикой. И взвизгивал, закатывался на разные голоса. Бубнил, бренчал, проворно стрекотал скрипичным смычком, хрипло взлаивал и взвывал, чтобы, собравшись с силой, грянуть громовым раскатом исполинского ансамбля ударных инструментов. Они не слушали, не слышали, девушка и юноша, у них не нашлось бы и минутки, чтобы настраивать, ловить, внимать,— приняли в компанию, обрекли в жертву руку, одну из четырех (боже, зачем? зачем?!), и забыли. А он, горлопан, как же сам он не догадался, что третий — лишний?!

Прошли. Чепурной глядел им вслед — как много раз под жаркий говор, прячась за ним, украдкой подымалась и боязливо падала мальчишеская правая рука и вдруг, еще не веря себе, скользнула по плечам девушки, легла на них, обвила! И, сбившись с ноги, девушка вся повернулась к спутнику, приникла — где же ее надменно-отчужденная улыбка? И пошла нога в ногу, босой свой шаг подчинив его шагам.

Так и прозевал, не углядел Чепурной нового прилета все тех же стремительных стрекоз-коромысел. Знакомой

троицы. А та, за кем они, да вот и она, на своем месте, бьется в своей сквозной адамантовой клетке-невидимке. Только... только больше она не увиливает от них. Не обмакивается в воду, порождая круги и морщинки. Кончено, но что же кончено? Покорно, окруженная, пробила стеночку, прорвалась вместе со своим почетным, своим жестоким конвоем. Замирающее гудение четверых...

А мелководье так и вызвездило желто-карими выпуклинами глаз, изумрудные головы ушасты от враз выскочивших мешочков-резонаторов — и какой прокатился мощный хохот, и будто ударили в бубны, и во все свои острые язычки зацокотали сороки с мыска-островка!

Вот, собственно, все, что случилось на Степном озере. Немного это, или много, или совсем ничего? Чепурной посмотрел на часы. Первая короткая утренняя прогулка, а теперь пора. Осмотреть посадки, пройтись вместе по дубравам, потом, разложивши записи-журналы, снова сесть за стол, как прежде бродили и сиживали, когда вместе начинали в лесхозе на Каме. С Иваном Прокофьевичем, кто дерзнул приравнять квакушек к соловьям, присовокупивши: «Слушаем природу, да вполслуха»,— вполне пойдет ему отпущенная невиданная лешая бородища! И, главное, со Степаном, Степаном Григорьевичем — опять узаконится с обеих сторон старое «ты», забытое, запорошенное жизнью, которая увела друг от друга — одного увела, другой остался. Но почему же было надо перед всем этим коснуться... чего? Сказки? Да, сказки Степного озера!

На обратном пути залюбовался пышным, щедрым, простеньким разнотравьем по обочинам. Ткаными коврами цветов. Нарвать букет? Ну как же городскому жителю не потянуться рвать? Почти безусловный рефлекс. Чепурной усмехнулся этой мысли. Но она была неправдой. Когда возвращался откуда-нибудь, букеты были традицией. Еще до всякого городского своего жительства. Холостой парень — букеты для Лидии Ивановны; Степан женился рано, Чепурной, все медля расстаться со «свободой» (а что такое была эта «свобода»?) и, как ему казалось тогда, заодно и с песнями,— Чепурной женился куда позже, уже в городе. Может, чуть и Лидия Ивановна стала иной — когда-то была для него Лидой...

Самые простые и самые прекрасные цветы. Ранние васильки. Колокольчики помельче, лиловые и крупные, по одному, по два на стебельке, нежно-сиреневые, никак не «темно-голубые» — ошибся поэт, поэтическая вольность. Кашка — клевер, вика, цепкий горошек, розовенькие колоски ятрышника, кукушкиных слезок — полевых орхидей. Пахнущий весной и начальным летом, силой травяной жизни, пьянящим соком ее тугого изобилия белый донник, буркун — шел по дороге белого буркуна, а вдоль иных рос один желтый. Редкие еще хохолки иван-да-марьи с золотыми сережками — будет время, они умножатся, распишут придорожье кругами и узорами, а лето, перевалив вершину, пойдет на спад.

Нет, не надо, не будет букета. Какие бы там ни нашлись причины, либо рефлекс не так уж безусловен, но не надо, не сорвет ни одного. Пусть растут. Чертят свои знаки, письмена, фигуры и сменяют их, когда они достигнут полноты,— ткут и прядут сами, как положено, быстролетную, преходящую, вещую и вечную красоту земли...

1975

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

Сергей Алтухов приехал в совхоз из областного города. Был Алтухов холост, внешне вовсе сходил за юнца, но бухгалтером считался отличным, с большим уже и безупречным стажем. Крупной ревизии ему не доверили бы; но поступил «сигнал», и проверить без долгих околичностей на другой же день послали его. Ехать было неудобно. Дальний поезд проходил ночью, в половине четвертого предстояла пересадка на местный, который тащился шесть или семь часов, останавливался в кромешной тьме, где, казалось, ни станции, ни полустанка, затем кричал тонким голосом и дергался раз, дергался другой раз и снова, мелко трясясь и содрогаясь, волокся сквозь ночь и тьму.

От станции Алтухов добирался попутными машинами — в совхоз он не хотел телеграфировать; первое поручение такого рода исполняло его сознанием собственной значительности, как бы на голову прибавляло росту. И, должно быть, это больше даже, чем дорожные неудобства, мешало ему поспать в вагоне.

Он думал о том, как он «нагрянет».

Приехал измотанный — так начались неудачи этого дня. Бухгалтер, седой, грузный, рыхлый, стриженный под машинку, с плешинкой на темени и обвислыми щеками украинец, встретил его без тени угодливой почтительности (которой он ждал) или хотя бы удивления.

— А-а, прибыли...— протянул он.— Сидай, сидай, гостем будешь. Чем угощать — пампушками, а то варениками?

У него были большие, по-стариковски светло-голубые очень внимательные глаза — обижаться невозможно, а принять этакий тон Алтухов не мог. Его сочли за мальчишку — он ощетинился, сделался хмур и немногословен.

Все это было ошибкой. Со своей профессиональной сноровкой он быстро понял, что «сигнал» — ложный. Но, уже поняв это, все еще копался в документах, требовал новые. «Маша!» — негромко каждый раз призывал бухгалтер. Он предупредительно уступил свой стол, но и в этой предупредительности и в звуке его голоса Алтухов чувствовал что-то снисходительно-обидное. Следовало встать, улыбнуться, сказать на закуску складную байку (были у них, среди ревизоров, мастера на это!), зайти попрощаться в партийный комитет. Но Алтухов знал, что если он вот так подымется и «отсалютует шпагой», то ни благодарности, ни приязни он этим не завоюет, ни даже вздоха облегчения: «Уф, пронесло!..» Нет, разве что все-таки облегчение: «Улетел птенчик, порадовали желторотым,— делать им там нечего! — перестал отрывать людей, когда на носу подготовка к посевной».

И он выискивал мелкие промахи, недоглядки, отступления по неумелости от механического порядка, преподанного из области, заведенный ход которого он сам любил, владея им до щегольства. (Еще подростком увлекался он игрой чисел, любой математически точной механикой; слыша о папанинцах, о полярных полетах, о рекордах на земле и в воздухе, разглядывая всякую машину новой марки на улицах, когда-то и сам мечтал — вместе со многими мальчишками — стать конструктором, как иные мечтают стать поэтом, артистом.)

А теперь он горячился, сознавая свою правоту и что все эти промашки, те ошибки в заполнении бесконечных форм отчетности, в которых он уличал,— нестоящая мелочь. И ему было стыдно за себя, и все острее делалось ощущение бессилия хотя бы замутить спокойно-внимательный, даже без усмешки и тем более обидный взгляд светлых стариковских глаз. И сверлила мысль, что другой на месте его, Алтухова, обошелся бы иначе. И тем больше он подхлестывал себя.

— Ну что ж, отобедаешь — на станцию подбросим, как раз поспеешь к поезду. Маша! — позвал бухгалтер.— Да куды ж тебе ехать к бисову батьке? — совсем по-другому прибавил он.— Сидишь еле, слова цедишь, как добрая хозяйка вишневку. Ночуй, посмотришь, как живет народ, а то сроду не видывал.

— А у нас сегодня кино не хуже, чем в области,— сказала Маша.

Но он решил уехать.

Соседкой за обедом в столовой оказалась полная брюнетка.

— А вы не наш,— догадалась она, и ее чуть сближенные глаза засмеялись.

— Алтухов Сергей из области,— ответил он.

— Сергей.— Она смотрела на него с явным, вспыхнувшим в ее смеющихся глазах интересом.— Сережа. Люблю это имя. Сергей Есенин.

Это произошло неожиданно, и разговор у нее был неожиданный и чем-то даже коробящий. Женщина поначалу ему вовсе не понравилась, хотя, наверно, считалась красивой. «Кто она? — думал он.— Кем работает? Чья-то жена? Где муж? Вдова?»

— И ресницы у вас какие... Как перышки у цыпленка.

Ресницы у него были белобрысые, белесые, их просто не замечали. Она тоже обращалась с ним, точно с мальчиком. Но теперь он не так уж был уверен, что это ему неприятно.

— В кино пойдете? — спросила она.

— А когда начало?

— В семь часов. Очень хорошая картина: «Мари-Октябрь».

Он увидел ее снова — на высоких каблучках, в цыганских серьгах, желтое платье подчеркивало пышную, очевидно, упругую грудь — оно шло к гладким, густым, черным волосам. И опять ее сближенные глаза засмеялись. Вошли в зал вместе, вместе сели. Она говорила без умолку. «Кто же она такая?» — не мог решить Алтухов. Женщина ему все-таки не нравилась, не нравилась игриво-безумолчная трескотня. Он досадовал, что остался. «Но если представить себе еще ночь в дороге, пересадки»,— оправдывал он себя.

— Аля! Алина Петровна!

Она, продолжая смеяться глазами, повернулась — звал, пробиваясь через поток входящих, высокий человек в ушанке, с обветренным лицом и смугло-синеватыми щеками.

Женщина помахала полной рукой, лениво оправляя платье, поднялась, смеясь теперь через весь зал уже тому человеку. Осталась совершенно та же улыбка, только Алтухов словно сразу выпал из ее поля зрения, исчерпался для нее.

— Извините,— сказала она.

— Вы вернетесь? Место беречь?

— Извините! Извините! — тем же голосом повторяла она, протискиваясь мимо усевшихся.

Свет погас. Алтухов сидел рядом с пустым местом. Картина казалась ему длинной. Он не все понимал. Когда в чужой роскошной, мерцающей на экране гостиной дело запуталось и не осталось чистых, а комочки грязи попали даже в портрет на стене, но все еще нельзя было разгадать, кто предал и погубил изображенного на портрете командира и участников группы Сопротивления, замученных в застенках гестапо,— Алтухов встал. На него зашикали.

— Извиняюсь,— скорым шепотом приговаривал он, бочком проскальзывая у колен сидящих.— Извиняюсь.

Что, собственно, случилось? Женщина, чьего имени он не знал до последнего мгновенья, ничем ему не обязанная, извинившись, пересела к мужу. Или к другу. К тому, в расстегнутом ватнике, в новых высоких валенках с отворотами. Скулы и нос заветрены, длинные щеки сизо-черны от силы растительности. Очень возможно, агроном. Стареющая женщина с лапками у глаз и заметной проседью в жестких, коротко стриженных волосах. Женщина, которая ему вовсе не нравилась.

А вот она и выгнала его из зала.

Он не вышел — выбежал наружу, чтоб только не встретить кого-нибудь, кто мог бы его окликнуть.

Двор усадьбы был пуст. Желто светили матовые шары на затейливых бетонных столбах.

За воротами дорога сбежала вниз, затем, свернув влево, корытцем ложбинки взошла на пригорок— ничего этого Алтухов не приметил, когда въезжал в совхоз. Дорога оказалась совсем негладкой: посередке нога с хрустом проваливалась или сползала с острого горба на скользкие, разъезженные колеи. Он чертыхнулся вслух, но голос показался диким в тишине — он приостановился, огляделся. Тот мир, где он, ощущая тяжесть почти каждого своего шага, пробирался по незнакомой, скидавшей его с себя дороге, ничего не знал о желтом свете матовых шаров. Но тьмы не было. Лес стоял стеной, дорога повертывала и пропадала — лес стоял стеной с четырех сторон. И царила зима— с иным, крепким настоем морозного воздуха, с волнистым, сияющим снегом,— зима, незнакомая Алтухову, приученному к сиротским зимам

большого города. Снега́, что-то откликнулось в душе Алтухова необычным словом. И такой нетронутости! Такой — кто бы подумал! — глубины!

Снега сияли, перенимая сияние небес. Оно проникало, наполняло собой все, вдруг выхватывая голубоватый кружок лужайки, лесную стенку на повороте — будто густой июньский лиственный навес, какую-нибудь верхушку елки с розовеющими, как торжественные свечи, шишками.

«Что это? Что это такое?» — сказал себе Алтухов.

Главное было в небе. Несчетность звезд роилась там. Россыпь, пыль, слои над слоями, иглистые осколки зелено-огненных кристаллов. И сколько их ни было, они не теснились, словно вовсе не занимали никакого места,— тем просторней, тем глубже становилось небо. Гнутый, но уже весь налитый золотистостью серп дыбком кинут среди них. И нельзя было понять, от него ли или от всего неба исходит это свечение.

Странное чувство не стылой неподвижности, а безмолвного бега, *роения* в этом легком свете охватило Алтухова. Во всей природе чудился праздник, свершаемый по неведомому расчисленному порядку.

«Что я знал об этом? Что знал?! Вот оно!»

Отец Алтухова в голод ушел из поволжского села, женился в городе. Дети выросли городскими.

«Прозевал, выходит, проворонил...»

Вдали еле слышно заплакал ребенок. Он заплакал на крик, все громче, крик мгновенно переместился, ребенок заливался, захлебывался где-то рядом. Ухнуло, поползло и гулко отдалось, будто, тяжко вздохнув, опала грудь. Вон какая, выходит, тут тишина!.. И тотчас, как сдунутый, упал, рассыпался клок с ели — медленно, раскачиваясь, зашевелилась ее лапа.

Алтухов шагал осторожно — и вдруг отдернул ногу: извивалась черная змейка. Он нагнулся: валялся отломанный прутик. Худая фигура, выше человека, следила за ним из-за ствола и поджидала его. Жуть прокралась ему в душу — жуть незапамятных времен перед лицом справляемого, чуждого человеку торжества. Где, на каком дне, в каком закоулке пряталась она, никогда им не подозреваемая?.. Путник, дорога, ночь...

Но он не дал этому воли. Он усмехнулся. Ощущение праздника было сильнее. Ему захотелось дышать ртом, широко захватывая воздух, чтобы, крепкий, хрусткий,

он вошел в тело, чтобы откусывать его кусками, как каравай.

Алтухов попытался извлечь из памяти все о звездах, созвездиях. Что-то просыпалось в нем. Некогда с отцом и матерью ездили в то поволжское село к согнутой пополам старухе — прабабке; бабушка умерла в голод задолго до его рождения. И, верно, она, прабабка, наклонив над ним редкие, неживые, кукольно приклеенные космы, восковым пальцем указала в небо:

— Смотри, Сереженька,— твои звездочки.

Они были почти над головой, бисерным пояском.

Потом, изредка — когда выезжали со школой, в лагерях, осенями, когда посылали на картошку,— он вспоминал о них и, кинув беглый взгляд на небо, высматривал свои звезды; про себя он называл их «Плеядами». Больше они не показывались.

И никогда ему не приходило в голову, что можно усыпать, унизать небо таким звездным роением!

Он шел прямо на перевернутый бокал-цветок Ориона. Правее и выше, теряясь среди других, разноцветных, бледно горела, словно подавая свой чистый отдельный голос, крошечная кучка. Если вглядеться — точная по очертаниям Крошечная Медведица! «Эти? Нет, не они. Или... Как же имя, название? А где настоящие Плеяды — ни разу не спросил... Пусть эти! Мои, мои!»

Он спохватился, что поет, вернее — бормочет из песни, какую пел то ли отец (он был веселый), а может, та прабабка — мелодия так и не всплыла:

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки...

Вдали он увидел огоньки, фары машин на шоссе. Шоссе прорезало и откидывало лес. Серенькая лента перекидывалась через увал, потом появлялась снова, стоймя вздымаясь к горизонту, в звездной пыли.

Телеграфный столб не гудел, а тонко, с шелестом вызванивал ледышками — казалось, шуршит, бубнит, звеня за окном, теплый дождик.

Глаза фар раздвигались, росли, слышалась работа мотора, шум, и проносилась машина, столбы света растворялись в сиянии ночи.

Алтухов не сумел бы объяснить, чем влекли его дороги еще в детстве, мальчонкой. Нет, даже не тем, что звали

ехать куда-то. Даже не этим. Так чем же? Да и в городской своей жизни он на годы забывал о них.

А сейчас все ожило с небывалой силой. Жизнь шоссе продолжала чудесную жизнь ночи. Небо блистало над ним, и Алтухов стоял у обочины, на берегу этой жизни, возникавшей в неведомой дали, чтобы чудесно пронестись в другую неведомую даль.

Снега надвигались с обоих боков, рубчатый след зиял вмятиной — чью-то машину занесло, шоссе шло как бы в выемке, укатанная, с темными полосами наледь покрывала его. Не очень-то погонишь тут, да еще на поворотах, на закруглениях,— кто, когда и как чистит это «районное шоссе», одно из бесчисленных шоссе «глубинки»? Так подумалось Алтухову. А водители гнали, и больше всего порожняк. Пустые грузовики поодиночке, потом затишье, пустота.

Алтухов силился вообразить, зачем гнать стремглав столько машин порожнем, куда опаздывает вот этот за баранкой или вон тот, у кого в кузове тарахтит одна какая-то железная бочка.

Ехали на тройке с бубенцами...

А может,— час неранний — в городке за тридцать или пятьдесят километров, и чьего имени никогда не услышит Алтухов, ждут и заждались, когда грохот и тарахтенье наполнят всю улицу, где не тротуары, а протоптаны тропки вдоль домов, и не видно в этот час прохожих под редкими голыми электрическими лампочками без колпаков. Ждут и заждались в домике в три окошечка, в тесном, жарко натопленном уюте; у накрытого стола — приготовлено, испечено, не забыты пол-литра, еще томятся в печи щи, вышитое полотенце накинуто на пироги, чтоб не остыли, и прибрано все до последней мелочишки. И нельзя усидеть — поминутно то к окошку — хоть услышишь раньше, то к столу — все ли чисто, красиво, то к зеркалу... «На сколько ты?» — «Сама знаешь: в пять ноль-ноль как штык. Поспеть к погрузке да обратного мне ходу домой, к нам на стройку, в автоколонну».— «Опять так. Знаю: всегда. Коля...» — «Подожди. Ну подожди: руки...» — «Нет, ты все-таки посмотри. Ты хоть посмотри».— «Слей на руки... Вижу, что ничего не забыла. Лей еще».— «Да ты не видишь! Ты ничего не видишь!» — «Ты по часам суди: сколько нам часов? И будет долго».— «Господи, когда ж так, чтоб не ждать и не думать, а дождешься — не сидеть

как на огне, не вскакивать ночью — бояться лишнюю минутку...» — «Погоди. Вот на Новый год. Все приготовишь? Полную машину пригоню! — хвастает он.— Чего хошь. А там...» — «Дурачок ты, и без гостинцев твоих...»

Ехали на тройке...

Затишье, пустота.

У горизонта, там, где от звезд падала ленточка шоссе, растянулась по склону цепочка огоньков.

Рокочущий гул донесся из отдаления.

На горб увала вынеслась тяжело груженная, чудовищно-огромная с виду машина. Ее сменила такая же вторая. Вторую — третья.

Три тяжелые, увязанные темным брезентом грузовые машины, глухо сотрясая землю, прогрохотали мимо с большим отрывом одна от другой. «И эти гонят!»

Что случилось несколько секунд спустя, Алтухов не уследил. На закруглении, не притормаживая, вылетел навстречу самосвал. Видно было, как его занесло направо, затем налево. И волнообразно вильнула от него первая машина, вторая, на миг он заслонил их; а когда проскочил (Алтухов разглядел в кабине сгорбленного, с прилипшим к губе окурком), третья машина косо, со слабым накреном стояла на шоссе, носом в снеговой вал. Передние же далеко расплывались пятнами, гул замирал.

Двое выскочили из кабины. Алтухов бегом кинулся к ним. Они пререкались:

— Сукин сын, в дымину пьян! И даже не оглянется. Такую бы сволочь...

— А сам ты!.. Поворот — и не придержал.

— Я за Ленькой.

— А Ленька — за Ильей Романычем. «Дедка за репку»!

— Время какое: спешат люди. Тебе, видать, досуг?

Они зашли спереди. Правое колесо и бок радиатора врылись в снег.

— Вот туды к черту!.. Скоростью надо тормозить, скоростью.— Второй, в тонких сапогах и шапке под пыжик, был зол.— А если уж сел... Я говорил: просигналь нашим. Погуди.

— Сейчас выберемся. Что, сами не выберемся, Звягин?!

— Спешил ты домой — вот и доспешил: изба широка,

крыша высока. Прохлаждайся!..— Звягин взмахнул кверху, словно всплеснул, руками.

Водитель полез в кабину.

— Подам назад.

Двигатель заревел и потряс весь кузов. Полетели ошметки снега. Заднее колесо, буксуя по наледи, мазнуло сугроб. Крен усилился.

— Только яму роет,— сказал Звягин.

Обойдя кузов, он стал деловито заправлять отскочившую сзади полу брезента. Кузов набит баллонами — точно сгрудились в темной пещерке старухи в платках.

— Расчистим.— Водитель вышел с лопатой.

— Дайте мне,— попросил Алтухов.

Водитель посмотрел.

— Ну что ж, берись.

Сам он, откинув капот под утепляющим накапотником, начал копаться в двигателе.

— Куда везете? — спросил Алтухов.

— На химзавод.

Алтухов вспомнил корпуса у станции, почти сквозные от широких окон, сейчас ослепительно блистающие ночным солнцем. Он вообразил простор, чистоту светом залитых безлюдных цехов, ни гула, ни стука, ни грюка — немыслимая молчанка. И только желтый, саднящий, обжигающий живое дымок — свидетель неустанной, бессонной — и какой! — работы.

Раскидывали пуховой снег напеременку. Взревел мотор. Колесо вертелось, как в колодке,— снег мгновенно оплывал от трения и, схваченный морозом, стекленел.

— Подстелить еловых лап, валежника,— предложил Алтухов.

Ему стало жарко, он распахнулся.

Звягин свистнул.

— Груз не тот — не пойдет! Хоть сам стелись! — Он пошарил в карманах.— Спичка есть? Пальто скинешь — обманчивое дело: мигом воспаление легких схлопочешь, будь здоров! — Чиркнул одну за другой несколько спичек, наконец закурил сигарету, резко потянул, закашлял от дыма.— Песком бы... так-сяк пропесочить, да хрен песку в нашей кают-компании!..— Он выругался.

— Песок, цепи — не в том суть,— сказал водитель.— Есть еще способ в отчаянности, не каждый шофер и на целине знает: приспустить шину. А нам чего проще: остановили первую встречную — и вся!

На шоссе из конца в конец не было никого. Серп исчез, ночь примеркала.

— Илья-то Муромец с Павловым Ленькой хватятся хорошо у контрольной на Верхнем мосту, не иначе. «Верные друзья»! — Звягин опять ожесточенно затянулся.— Хватятся, ан меня и нет!

Звягин был сопровождающим груз. Он хмыкнул с каким-то даже восторгом и присел на подножку кабины.

— Глупости! — вмешался вдруг Алтухов.— Втроем-то! Домкрат имеется?

— Домкрат?

— Переместить чуточку влево перед.

— Что домкратом спихнуть, что стенкой так наляжем.— Звягин, сопровождающий, надеялся только на подмогу.— Это ж не прокол. Ты механик?

Огромный кузов чернел горой.

— Вправо подать,— сказал водитель.

— От нас, как стоим,— вправо.

— Пробуй. Хоть домкратом. Пробуй давай. Не ночевать же — не погладят. Тем временем надъедет кто.— Звягин выплюнул, затоптал сигарету, поднялся с подножки, посмотрел на шоссе, подошел к двум другим.

Домкрат уперли, сильно скосив к середке шоссе, под бампер, в раму, нащупав кронштейн ближе к засевшему колесу.

— Ну, Михаил Осипович,— проговорил Звягин молящим голосом. Он не чувствовал ног в своих тонких сапожках.— Раз, два...

Водитель не ответил. Работать с домкратом было трудно. Он скашивался все больше и при последнем рывке свалился.

— Пусти погреться.— Звягин сменил водителя.

— В крайнем случае я схожу вызову из нашего гаража. Из совхозного,— пообещал Алтухов.

Шоссе лежало пустым.

Перед машины вздрагивал. Трудно было определить, подается ли он хотя бы на сантиметр. Звягин выдохся совсем скоро.

— А ну, ты помоложе...

Домкрат приладили в третий раз.

Алтухов вспотел; он скинул пальто. Всей тяжестью налегал на рукоятку, всей силой, задыхаясь, выжимал ее; и с каждым движением ощущение счастья нарастало в нем.

— Пошла!..— не своим голосом гаркнул Звягин.

Алтухов услышал только, как чугунно звукнуло в корпусе махины — не заметил, как тряхнуло ее, как на какую-то долю, вырываясь из застекленевшей колодки, съехало вправо колесо, когда отвалился домкрат.

Обессиленный, он повалился сам на пальто, вдавив его в снег, глубоко, радостно дыша.

Водитель высунул голову из кабины.

— Стартером, одним стартером,— не понимая, зачем говорит, не слыша своих слов, но торопясь, боясь что-то пропустить, выдохнул Алтухов.

— Учить еще!.. — огрызнулся водитель.

Качнувшись, махина поползла назад.

— Спасибо вам за помощь, товарищ,— поблагодарил Звягин.

— Ты слушай, друг, ты из Краснопольского совхоза? — спросил водитель.

— Из совхоза,— ответил Алтухов.

— С женой живешь или молод?

— Молод, видно.

— Честно признаться тебе, мы без тебя бы тут, пожалуй...— Он бросил взгляд на сопровождающего.— А кем работаешь, друг?

— Слесарем, в ремонтных,— ответил Алтухов.

1962

СВЕТЛАЯ РЕКА — ЖИЗНЬ

Как же узнать сонную речку, речушку в той, что сейчас за вагонным окном разбежалась, резвясь, кидая извив за извивом, по открытой, с редкими перелесками луговине?! Уж не переменила ли она заодно и название, чтобы разом отсечь все, что осталось позади в городе, родном городе Геннадия Борзенкова?

— Меандры,— объяснил сосед по купе.— Так мы называем изгибы речного русла: меандры.

Его жена, загорелая, веселая хохотушка, полная радостных впечатлений юга, яркого горячего солнца, моря (они возвращались после отпуска), раскладывала кульки с обильно припасенной едой, фруктами и так радушно угощала, что отказаться Борзенкову было невозможно: ехали втроем, четвертого в купе не было.

— Что за река? — осведомился муж, приподняв подстаканник со стаканом чаю, который грозил расплеснуться на столике от быстрого хода поезда. И Геннадий, довольный, что может сообщить что-то столь ученому человеку, назвал реку и стал рассказывать, как под горкой она огибает старинную часть города, почти непроточная, зато, говорят, водилось в ней несметно раков, только давно уже по омутам, наперечет известным, ребята вытаскивают корзинами на шестах одну тину...

Пока они говорили, попутчик, словно завершив удачный физический опыт, отхлебнул, водрузил стакан на столик и, наконец внимательно разглядев Борзенкова, севшего на последней короткой остановке, спросил:

— Мастер спорта?

Разглядел, и куда слетела вся снисходительная важность повадки,— сними с него карюю бородку, и останется молодой худенький паренек, простодушно дивящийся разлету плеч, буграм мускулов почти что сверстника!

Вот это было знакомо Геннадию, и, усмехнувшись, он ответил:

— Да нет, монтажник.

Через какой-нибудь час всё знали друг о друге. Молодожены, ехать далеко, стоило бы лететь, но есть прелесть и в такой долгой дороге, первой вместе с женой. Она, кстати, из семьи железнодорожников, и это тоже сблизило, стала звать Геной — ведь и Борзенков, сын машиниста, вырос в пристанционном поселке, первые звуки какие помнил,— тонкие голоса маневровых, длинные, замирающие,— проносящихся не останавливаясь. Отец, потерявший зрение и вынужденный оставить работу, ворчливо сказал: «Вся моя жизнь — дорога. Что-то ты, гляжу, сиднем сидишь, парень...» Он водил на ФД большегрузные составы, и каждый рейс казался ему полным удивительных, всегда новых происшествий, и, если сложить эти рейсы, вышло бы, что он не раз объехал земной шар по экватору и через полюсы: так он говорил, ему верилось, что так оно и было.

— Значит, отец послал? А что же ты все еще один — вот смотри, мы с ней...

И юноша с карей бородкой приобнял жену за плечи, достав своей рукой ее узенькую ладонь, она поддалась на миг, но, вспыхнув, мягко высвободилась, виновато улыбнувшись Геннадию.

Нет, не только в отце было дело и не столько в отце. Была девушка, студентка техникума, старше его. Ходили на танцы, в кино, на речку. Были и долгие стояния в светлые летние ночи на уснувшей улице поселка, где у заборов буйно росли лопухи в неостывающей пахучей пыли. Она не умела молчать, говорила, как сыпала бисером, то ли о случившемся с ней, то ли о придуманном, глядя прямо в глаза,— таких он не встречал, и это чем дальше, тем больше привораживало его. Только все мало-помалу, неприметно, без всяких объяснений покатилось под откос, и понять было нельзя почему. Тут-то и совпала воркотня отца с тем, что к осени набирали монтажников для срочной работы в не таком уж далеком, небольшом, но, слышно,— особенном городке (а что такое «особенный»?). Ребята на проводах со смехом спросили: «Ты что, в лес смотришь от невесты?» — «Да ведь ненадолго».— «Добиваешься, чтоб почувствовала? Но чтоб ненадолго, Генка!» А ему словно кто острую иглу еще раз вогнал в грудь, в ту грудь, которой так восхищались ребята-товарищи...

А теперь, в поезде, эта счастливая встреча, дружная, радушная семья, и сколько, оказывается, умеет и он сообщить им о себе, об отце, о том, что привычным глазом подмечает в хитром путевом хозяйстве, как охотно слушают под краткий грохот мостов, гомон на перронах. Милые тебе люди, уже совсем свои, вот они, рядышком, но мелькнут, и нет, как не были. Дорога!..

Сперва померещилось — полустанок. Высокая платформа, по другую сторону, в тумане, сосны, ели. Обменялись адресами (будто расставались на время!). Назвали совсем простую фамилию: Семенюки. И провожать вышли, расцеловали оба, муж и жена, он накинул пальто поверх ночной пижамы. И махали руками, пока не заслонил угол улицы...

А улица просторна, с приземистыми домами прихотливого облика. Кормушки для птиц прилажены к подоконникам. Лодка днищем кверху за штакетником. В лицо влажное свежее дыхание из клубящегося впереди сумрака. Сосна пригнулась ветвями к освещенному окошку наверху. Стоп, общежитие монтажников!

Наутро, обнаженный по пояс после умывания, взглянул в то самое окно за сосной — в конце улицы, поперек ее двигался белый с синими полосками дом!

— Еще не то увидишь! — сказал Гиви Санидзе, чья койка была рядом.— Река! Знаменитая река!

По реке шло судно, двигались его надпалубные надстройки.

Пусто, тихо, когда-никогда пронесется машина — очевидно, ничто не должно тревожить важной тишины.

Главный узел с энергохозяйством вынесен поодаль — мнимый полустанок ни о чем не говорил.

А там росли ввысь дома, стоял словно второй город. За подпорной плотиной — дамбой — река разливалась неоглядно, ажурно сквозили мостовые фермы, зияли зевы проездных подводных туннелей. И, видный далеко-далеко, высился гранитный образ человека, чьей мыслью, волей, гением воздвигалось и это все, как частица того исполинского, что называется нашей Родиной.

Борзенкова поставили на монтаж контактной сети. Сверху путаница путей выстраивалась в четкий чертеж, колеи сбегались, разбегались, прятались в несколько во-

рот новенького депо, уводили к ажурным мостам. Стояло это перед ним стройным рисунком, но если бы спросить, он вроде и не глядел. Что он знал за собой с детства, еще с ребячьих игр,— радость делания захватила его. Мгновенная, чуть не помимо воли, прикидка, как легче, проще, ловчей, *верней*. Точно пробивая себе дорожку сквозь неподатливость материала, овладеть тяжкой этой косностью, радостно убеждаясь: *вышло*! То не было цепочкой рассуждений, не было и голым физическим усилием; нет, ощущением всего своего существа в работе.

Число опор должно быть минимальным, контактные провода, силовая сеть над рельсами укреплялись подвесами к несущим тросам.

— Тихо ты! Давай, вот как я держу. Еще чуто́к. Да тихо же! Порядок...

И Санидзе, старший, даже удивился, без обиды.

— Тебя что, дорогой, мама родила прямо на такое дело? Навыка надо немножко прибавить — не горюй, молодцом будешь!

И Геннадий словно очнулся: это что же, он прикрикнул на старшего?!

— Извини, друг...

— Ух ты и горяч! Но еще посмотрю: а вот учиться умеешь, нет?

Какой-то старик, ковыляя мелкими шажками, остановился. Шляпу вместе с палкой заложил за спину, стоит и смотрит. Дожидается, пока ребята сойдут.

Санидзе подмигнул. Борзенков нахмурился:

— Вам чего? Посторонним не положено.

— Прошу меня простить — я человек любопытный.

— А любопытство порок. Вас не учили?

— Учили, многому учили. Боюсь, половину забыл. Вот вспомнил выражение: золотые руки.

— Это про чьи? Если про мои, за работой не о руках думаешь. И смешно, отца моего спросите, ваших лет. Он скажет: не руки — крюки.

Старик поковылял прочь, наклонив голову, меленько переступая через пути, ветер шевелил редкими белыми пушинками на обширном темени; показался поезд — недостает, чтоб угодил под колеса! А шляпа с палкой все за спиной, зачем же ему палка?

Вечером долго доносились в общежитие далекие протяжные песни девушек.

В выходной Колька Алексеев, красавчик, сказал с обычной ленцой:

— Кто как, а я чего там в столовку, потопаю в кафе. Может, кто со мной? А потом закачусь, ох, закачусь, есть тут одна деваха...

И поиграл ровными, по шнурочку, бровями.

Домик, где кафе, тоже с выдумкой и затеей, вроде кораблика. И народищу в раздевалке! А где же гардеробщица? Всякий сам — кто приходит, кто уходит. И ничего, будто весь город свои, ты приехал, и ты свой. Такой город!

А вот и он, старик. И вокруг него юноши, девушки, он им толкует, а они смотрят ему в рот — не оторвутся. Но чуть приметил Борзенкова, и ручкой сделал, и заулыбался так, будто улыбалась каждая пушинка на розовом темени. А своим вполголоса, воображая, что Борзенкову за разноголосицей в кафе ничего не слыхать.

— Тот самый,— объясняет.— *Добрые руки.* Почему лишь к пианисту, к хирургу относим «виртуоз»? Не дроблю на части человеческую одаренность. Да, видно, самые первые шаги: тем более сейчас заслуживает внимания!

Геннадию же громко:

— А вы подсаживайтесь к нам!..— И опять своим: — Дайте ему место.

Что он, не видит — не один же пришел?! Все же руки свои неловко убрал — дались старику руки!

— Ты знаком с ним?! — поразился бригадир, Федор Кондратьевич.— С Ильей Матвеевичем?! А кто он, кумекаешь?

— Учитель? Я было подумал — пенсионер. Ходит, любопытничает — делать нечего.

— Хватил! Ну ты силен! Академик. Понимаешь? А-ка-де-мик!

И назвал имя, которое твердили радио, газеты. Открытия, отмеченные премиями целого света! «А я с ним... Да никогда больше и близко не подходить к нему!..»

Но он подошел сам.

— Верно, я говорил — вы что, слышали? Человека не делю надвое. Надо, чтобы и сам себя не делил,— не знаю, поймете ли меня? Кстати, какая доля в любом открытии приходится, помимо головы, еще и на руки исследователя? На абсолютную чистоту рукотворного опыта?

Лодка днищем кверху лежала за штакетником.
— Вы здесь живете?
Крошечными деревцами с кожистыми листьями обсажена тропка. Диковинные деревца.
— Карликовые магнолии. Тоже в виде опыта. Достал саженцы. Навряд ли перезимуют. Вы дома не садовничаете?
Большое, немного усталое лицо. Брюки дудочкой, как при царе Горохе. Поглядеть — старик и старик. Усмехнулся.
— Нравится город? Сейчас еще что: обязательно надо побывать летом. Цветущий сад! Со мной не все согласны, но считаю: прообраз городов грядущего. Если потомки не захотят вовсе порвать пуповину, связывающую с общей матерью — природой.

Санидзе предложил:
— Чего маешься? Пришла баржа, привезли кавказские фрукты. Айда в выходной разгружать — заплатят хорошо и еще по четыре астраханских арбуза на брата. Забыл, какие бывают арбузы? И девчонки там будут — как раз те, что поют.
Их было две. Одна, здороваясь, сильно тряхнула руку.
— Наташа.
Другая подала дощечкой, бегло взглянула, отвела глаза.
— Нина.
В спецовках обе выглядели одинаково. Очевидно, из таких подружек, что одеваются в одно и ходят в обнимку.
Наташа не дала слово вставить.
— А ну, покажись, не стесняйся. Гиви все уши нам прожужжал, хоть арбузам спасибо — привел! Да тебя сразу и не рассмотришь, можно по частям? Ты повернись!..
— Что вы пели?
— А что пелось, то и пели.
У Нины прядка волос выбилась из-под платка, и, смешно закусив ее зубами, глядя снизу вверх, она сказала:
— Так, старину. Подошло настроение. А что, скучно слушать?

— Не-ет,— протянул он неуверенно.— Нет! Я не про то. И у нас, как старики соберутся...

Бог знает что ляпнул!

— Куда же тебе к нам, к старухам! — подхватила Наташа.— А голосишко хоть какой-никакой у тебя есть или, как затрубишь в свою трубу, беги в аптеку, покупай беруши? Вот Гиви учит петь по-грузински, а мы способные, на том и познакомились, а с тобой на чем?

Она, едва по плечу ему, болтала, тараторила и не спускала с него острых, лукавых глаз, а он, робея, вовсе сбился, и кровь обожгла ему щеки.

— Двояшки,— после с какой-то досадой сказал он Гиви.— Только одна тихоня, слова не выжмешь.— Махнул рукой.— Зато другая... Ну, другая!

Значит, вспомнил-таки студенточку?

— Да? Таких любишь? Двояшки? Сквозь землю видишь. Штирлиц! А до Нинки ей все равно что до звезды, понял? Как я познакомился? Просто. Замечаю, всегда одна с другой, неразлучницы. Говорю: что вы ходите — два ангела? Давайте ходить три ангела. А просили тебя привести — это точно. Именно Наташка...

Крупными дрожащими буквами мать писала под диктовку отца, кругосветного путешественника:

«То, что начинали с тобой, я закончил. Все твое пришлось, по зеленой молодости твоей, переделать на иной лад. Тебя не спросясь, уж извини».

Он читал ядовитые слова отца, и будто кто теплой рукой его взял за сердце.

«В моей сборке, хоть и подкову гнешь, ты и пошатнуть не сможешь. Вчера дали пробу. Давление держит по красной отметке. Скорость, как я высчитал. Передаю его детской железной дороге».

Он видел старика, почти слепого, который, как на службу, брел в механические мастерские, где ему отвели место и помогали чем могли, а он упорно, упрямо мастерил модель, паровоз-малютку. Но чтоб был как живой! И с отсечкой пара, и с заливистым свистом. Электровозов не признал, не принял. Пока не подскочит пружинно к контактному проводу пантограф-токосниматель, что такое электровоз? Мертвая бездушная железка! — так блажил старик. «Старый что малый»,— качала головой мать. Но ведь *одолел*! И тут было его торжество. И каждая кривя-

щаяся книзу строчка звучала хрипловатым его, прокуренным, с детства родным голосом.

«Слышно, и дело там твое пришло к концу. Ожидаем домой. Да про тебя чуть не каждый божий день стучатся в дверь — справляются. Понимай кто. Или ты ни разу не написал, или что там у вас, меня с матерью не касается...»

Но только скользнул глазами по этой строке.

То было вскоре после разговора Федора Кондратьевича, бригадира. Конец виден. Вроде финишная прямая (он был страстным спортивным болельщиком). Хвастать рано, но, если темпа не сбавим, качества не уроним...

— Я к тому, что тогда — песню помните: «Пора в путь-дорогу»? Всей бригадой, так, рабочий класс? Но сперва — сперва чтобы все свои обязательства выполнить по всем показателям! Чтобы никому не зазорно было смотреть в глаза! Ни друг другу даже!

— Это само собой,— с особенной ленцой протянул Колька Алексеев, чтобы показать, что вовсе не на нем дольше всех остановился тяжелый взор бригадира.

Речь шла о Сибири, срочные монтажные работы на расширяющемся узле, объем задания примерно до лета. Федор Кондратьевич назвал город — и вдруг Геннадий вспомнил мятую записочку, на которой тогда в вагоне был написан сибирский адрес, простая фамилия Семенюки...

Все заговорили.

— А тебя что не слышно, Гена?

Выходит, правда, думал он, иголка теряется в стоге сена, а человек не иголка, человек всегда встретится с человеком...

— Рабочий зачет ты сдал. Санидзе зря по головке не погладит. Считаю — наш, значит, и дорога одна!

Колонны стекались на площадь Юрия Гагарина. Шли с портретами, лозунгами на транспарантах, короткими итогами — рапортами о сделанном к Октябрю. То и дело начинали бравурно играть оркестры, и звуки отдавались от строгих стен, зеркальных стекол научных институтов — мозга и славы города; улицы полны, шумны, на один сегодняшний день забыта важная тишина их. Монтажники в колонне железнодорожников шагали весело, с шутками, они приоделись, работа их завершена с опережением

срока. На площадь вошли одновременно с молодыми физиками из того центра, которым руководил знаменитый старик академик.

После митинга, держась всей группой, пообедали, опять вместе вышли.

— Ну что, последний нонешний? — сказал красавчик Алексеев.— Кто со мной, не соскучится. Айда!

Две девушки, невысокие, темноволосые, нарядные, ожидали на углу.

— А-а! — протянул Алексеев и смешно скорчился.— Вон оно! Кому что. Наше вам! — И, сдернув шляпу, низко помел ею перед Санидзе и Борзенковым.— Адью! — крикнул он издали, увлекая ребят.

Пошли к реке вчетвером.

Крутой откос за речным вокзалом почти закончили облицовывать полированными плитами. Наташа, хохоча, перебегая от кольца к кольцу на каждой плите, соскочила первой, позвала: «Генка!» Гиви подбадривал Нину. Новые сапожки у нее ерзнули, она покачнулась, охнула, по-детски заслонила лицо — рухнула вниз... Как успел подскочить Геннадий, принять ее на себя? С сердцем, бухнувшим молотом, ощутил упруго-живую, горячую, на миг безвольно-податливую тяжесть в своих руках.

— Ой, да что же ты? — испуганно подбежала Наташа.— Я же сказала — надо спускаться по приступкам на пристани. Альпинистка! Ну цела? Цела? Ему, Генке, спасибо.

Он бережно поставил девушку на ноги.

— Сама не понимаю как... Глупо.

Искоса взглянула на Геннадия, оправляя плащ, волосы, и лицо ее осветилось: до чего быстро менялась вся она! С длящимся изумлением он следил за нею: что-то легло между ними. Гиви, сверкнув белоснежными зубами, хлопнул друга по спине — «молодец!»,— взял девушку под руку.

— Переживаешь? Брось! К свадьбе все пройдет.

— Пошли! Ну ладно, пошли! Гена! — звала Наташа.

Она уже одна ушла вперед. Двинулись за ней втроем. Геннадий показал на несколько волнистых полосок, прочерченных на песке вдоль всего берега.

— Знаешь, что это?

— Я? — отозвалась Нина.— Хочешь, прочту, как книгу? Свеженькая, совсем у воды — от буксирчика. Катерок

пробежал. А подальше, уступчиком? — И высвободилась, верно не замечая, от руки Санидзе.— Баржи. Самоходки. Сколько их! И от каждой волна, вот сюда. А та, под откосом? Старая. Слежалась в камень. Видишь, стою? А я тяжелая, правда? Это трехпалубные. Музыка на весь город. Красота. Как праздник. Ау, лето!

Подобрала синюю створку ракушки, камешек с дырочкой-ушком.

— Называют куриный бог — почему? Спрячь. Когда достанешь, вспомнишь нашу реку. И все-все...

— Что? Что все?

Следом за девушкой он повернулся к заречью. Уже выпадал, стаивал снежок, сейчас глухо и пустынно лиловела мглистая равнина. А над ней рдела узкая вишневая полоска. Плоская, будто наведенная тушью. Но вглядись и разглядишь вовсе иное. Точно просвет куда-то. И там, за самой дальней далью, не костры ли, догорающие с горьковатым дымком, у степной дороги? А люди снялись, ушли еще дальше по ней, и со сладкой, щемящей тоской глядишь, глядишь вслед им... Твоя дорога!

Видела ли Нина? В глазах ее стояли две искорки от той вишневой полоски.

— Кто ты? Откуда? — спросил Геннадий.

Еле внятно шелестела холодная вода. Под ногами хрустели раковинки. И она рассказала. Сама из Костромы, здесь на стройке радиозавода. Скучала как по дому! С Наташкой сдружились в женском общежитии. Умница, тверда в жизни, и какое золотое сердце! Если бы не она, не помощь, поддержка ее в то первое время...

Да где ж она, Наташка? Вон где!.. И Гиви с ней. Не обернется, может быть, все-таки ему досадно, как же так вышло? Перебирает на гитаре и голосом Шаляпина раскатывается на весь простор:

> Волга, Волга, мать родная!
> Волга, русская река!..

А Наташа дробным колокольчиком рассыпается в помощь ему и тоже не оглянется на подружку...

Поднялись наверх. Ударил ветер, шумели оголенные ветви, качались поперек улицы звездочки, гирлянды праздничной иллюминации, колыша крылатые тени.

Шли рядом, но то, что легло между ними, не давало ему коснуться ее. Ветер донес обрывок слов встречной женщины, поучавшей маленького мальчика:

— ...Собачка, ты помни, очень любит человека...

Какая собачка? Мать и сын. Отец и сын: так впервые подумал он. И тотчас услышал Нину:

— А через неделю у нас свадьба...

— Что?..— И перевел в шутку: — Да, ведь Гиви напророчил...

Что делал ветер с ее волосами — никакого сладу! Накрутила на палец завиток под шапочкой у щеки, смешным своим жестом поднесла к губам.

— А разве есть пророки? Хорошо бы. Подождем, вот и сбудется. Еще подождем. А пока не моя и не Наташкина — одной девчонки нашей свадьба. Одна выходит, а вроде каждой касается. Да где ты тогда уже будешь...

Помолчал. Шли молча. По черному небу неслись сумрачные дымные клочья с красноватым отливом от веселых огоньков города. Вдруг сказал:

— Один человек считает — никак не миновать ваш город. Нельзя миновать.

— Ау! — откликнулась Нина.

Что же случилось этим долгим, ветреным, необычайным вечером? Он сам еще не отдавал себе отчета. Только все прежнее отодвинулось куда-то вдаль. И точно разгорались ярче торжественные гирлянды, и теплые волны полились от них на ночные улицы. Только гулкие удары сердца заполнили всю грудную клетку, когда в поздний час он возвращался в общежитие...

— Не может быть двух мнений! Сибирь и то, что делается в Забайкалье, да это самое интересное сейчас в мире! И если ехать не туристом, но участником... Замечательно вступаете в жизнь, скажу вам!

— Это вы мне, Илья Матвеевич? Сравнить с тем, что повидали вы...

— А, собственно, что? Если уж пересчитывать. Конференц-залы, лаборатории в столицах Европы, исследовательские центры Америки. А жизнь народа? Я же человек любопытный. В космос не летал. Об Уссурийской тайге читал у Арсеньева.

— Но только подумать — прожить такую жизнь! Достичь в ней всего...

— Да. Иной не желаю. И выполнил что мог, впрочем, меньше, чем должен был. А всего... Всего не бывает. И отлично, скажу я! Когда уже «все», ставь крест. Не

бывает по щучьему велению. И долг человека — понять это. Выбирая свое, многое отсеки. Я о себе. В какие жесткие рамки ставил себя, начиная, чтобы стать тем, что я есть. Повторю: иной не желаю.

Невысокий человек поднялся из-за стола, заходил по комнате, руки за спину.

— Но жизнь, в какую вступаете... Время так открыло мир, раздвинуло возможности человека,— расширило самого человека, хотелось бы сказать! — как нечего было и мечтать в то мое молодое время. Но кому много дано... Вы еще на самой первой ступеньке. Перед вами, над вами вся громада — вы не представляете, какая это громада! Кто охватит взором ее всю? Верю: увидите больше моего. И рад за вас. Но запомните, огненными литерами выжгите в сознании: само собой ничего не случится. Никакой манны небесной. Можно прожить так, чтобы вся твоя жизнь досталась людям: значит, и тебе. Это понятно? Ясно говорю? Самое главное! И можно проворонить, чем бы ни владел...

— Ясно. Теперь-то ясно. Твердо говорю. Если что понял, то как раз это. В твоих собственных руках — так? Ты и отвечай. Не за что-нибудь, а, выходит, за все...

— Да. Так думаю. Все, чем дышишь, чем живешь, создано человеком рабочим. Рабочим умом, рабочей рукой: они неразрывны. Но,— снова повысил голос,— чтобы не оставалось словами! Это легче всего! Тогда, запомните, ты сам насмарку. Верхарн, бельгийский поэт, учил: надо возвышать жизнь, а не принижать.

— Еще что хотел спросить вас: знакомцы есть в Сибири, семья, муж тоже по научной работе. Семенюк — не слыхали?

— Я? — улыбнулся.— Не слыхал. Семенюк? Нет, не приходилось.

Все знает, а вот этого не знает — как же так?..

— Итак, решаете опять к нам? Ну что ж,— заключил Илья Матвеевич, прощаясь у сиротливых останков карликовых магнолий, зябко поводя плечами.— Кстати, у меня кое-какие мысли насчет вас. Нет, нет, не сейчас, вот тогда!

Заснеженные, в черных проплешинах, в хвойных лесах взгорья. Проплыл обелиск с надписью, указывающей назад: «Европа», и вперед: «Азия». И пошла виться, ко-

лесить, то отступая, то обгоняя поезд, закованная река, исчезла вдали светлой чертой.

— Крутит, а свое взяла, прорвалась, каждой капелькой помнит, куда ей стремиться! — заметил сосед: дорога располагает к раздумчивым наблюдениям.

— Меандры,— пояснил Геннадий Борзенков.— Это называется — меандры.

Он знал: снова увидит, с жадным нетерпением узнает их, вот эти, когда пройдет зима, весна и ляжет перед ним обратный путь в простой, небольшой, удивительный город. Город у великой реки.

1975—1976

ЧЕРЕЗ НЕВУ ПО ЛЬДУ

Салют? Уже? Глушат двойные рамы, городской шум, голоса в комнате... Прозевали? Нет, что же это... Глухие, длинные звуки, «непохожие» (оттого и прослушали начало) — как будто сдвигают тяжелую мебель. И долгие интервалы...

В две минуты мы на улице. Конечно, к набережной!

На Дворцовой площади черным-черно. И почему-то пусто в узкой горловине Зимней канавки, только слитный гомон, шелест движения впереди, пальцы прожекторов щупают небо.

Вдруг распахнулось неимоверное пространство, простор, сразу, мгновенно перехватив дыхание!.. Два полыхающих факела на ростральных колоннах, от них словно полудуга, нет — тетива лука сквозь свет и тьму, и на том ее конце в кострах вся крепость. Тишь, но как мотает по неслышному ветру их пламя!

Сейчас это огненная скрепа сердцевины города.

Там слева, под крепостью, в черной тени — молнии перебегающих вспышек, и через равнину реки докатывается, опаздывая, тугой гром.

Нет, мы вовремя — неспешно, грозно, подчеркнутый долгими интервалами, словно надо всем миром, гремит, раскатывается праздничный салют.

Теперь мы в людском потоке. Частица его. Он плотен, но подвижен,— город выплеснулся на набережную, и вот ты схвачен, тебя влечет — куда? Разве есть еще какая-то иная цель? Да, очевидно: сердце сердца. Кромка реки, парапет? Нет, мимо — к мосту, где застыла, «заклинилась» бессильная, но, кажется, торжественная, процессия трамваев — они почти пусты — все из них вышли.

Небо то озарено в цветных гирляндах, то подергивается беловатым пеплом, и широкие волны света через рав-

номерные промежутки падают на людей. Точно медленное дыхание.

Что ты думаешь, а ведь сегодня, верно, у доброй половины мужчин под пальто по обоим бортам пиджака ордена, сверкающие лесенки медалей! Водитель такси, водопроводчик — та́к ты их знаешь? Изысканно вежливый референт с разговорами о Стравинском на концерте в филармонии; щелкающий на счетах обкуренными пальцами бухгалтер — глубоко штатский человек? Ты увидел бы сейчас танкиста, командира саперного взвода, старшего политрука блокадного сорок первого, капитана-зенитчика. Даже про сослуживцев, про друзей знал и не знал в точности, что значит вот *это* для них, какая громадная отдана ими этому навсегда часть живой души,— пока не открылось сегодня, сейчас, въявь в вечер преображения людей!..

А посмотри-ка сейчас вокруг себя, еще и на тех, кто пороху не нюхал. На молодежь. Мальчишки — никто не в одиночку, непременно стайками. Свой двор, одноклассники, товарищи, вместе в цеху. Свой набор полуслов, шуток, кличек, манер, ужимок — своей собственной свободы. Так напоказ: вот они мы, все как один! Усмехнешься, но и подумаешь: зачатки, ростки, ячейки мужской воинской общности. А девчонки по две, по три — совсем другое! Мальчишки непременно что-то крикнут, те ответят как положено — вот и все, разошлись, шумная, веселая, праздничная свобода.

Что они видели? Ничего, их *тогда* и на свете не было. Но почему же, чуть в толпе юный офицер или солдат (а что и те видели? Тоже на свете не было, но так серьезны, строги лица!),— почему, протискиваясь друг к другу, раздаются в стороны, пропускают бережно, без звука?

Видел, помнит, никогда не забудет *город*.

И сейчас яснее ясного, что это не «слова бряцающие».

Перешли мост. Вблизи исполински вырастают, с мощным ревущим гуденьем, факелы на ростральных.

И отсюда по реке, по льду муравьиные дорожки людей тянутся к Петропавловке.

Можно — и недалеко — обойти, но совершенно очевидно, что надо именно по реке, прямо по льду, там, где ты мысленно натянул незримую тетиву лука.

Спеши, спешат все, хотя опоздать некуда, салют умолк.

С гранита на реку сойти вовсе не хитро. Но зачем же те, что посолиднее, постепеннее, обязательно, подойдя, поколеблются — как сговорились; а эти, полегкомысленнее,

лихо сбегают с торжествующим кличем? Взрывы смеха. Снежки. Девушка — что такое? — присела и — вж-жик вниз, не пощадив пальто, спутав и растрепав волосы; где шляпка? Подхватил парень, он, как на лыжах с трамплина, катится на подметках с ледяного наката!

Будто здесь совсем не обычная перемена дороги, а грань, рубеж, перелом. В этот дивный вечер, в самом центре громадного города,— то, что первозданнее города. И что вдруг оказывается родным всякому человеку.

Гладь обманчива, на широкой торной тропе вязкий снег глубоко замешан тысячами ног. Пустошь, ширь, тишь. Пожилые невысокие женщины идут, ныряя, размашистым сильным шагом, как из колхоза в колхоз, девочка лет десяти то отбежит в сторонку, то перегонит и, лукаво склонив головку, заливисто смеясь, поджидает мать и тетку — «ну, где же вы?». И прижмется к матери...

«Бастион Трубецкой. Одет камнем при императрице Екатерине II. 1785 года».

А прямо перед ним огражденный — колышки, флажки — пролом в ледяной броне, щель-ванна с обледенелой лесенкой в черную воду — для «моржей».

Все ворота в крепость настежь — на все стороны. Как вообразить ужас и трепет, что вселяла «твердыня власти роковой»? Если подмывает заговорить погромче, может быть, даже запеть (сегодня можно), то ведь только оттого, что больно уж гулки своды проходов.

Поздно. Меньше народу. Тягачи оттаскивают пушки из-под западной стены. На льду жгут костры.

До полуночи взлетают одиночные ракеты.

Пусты площади крепости, за факелами на куртинах, только бессонно горят окна Монетного двора, и дым над ним палевый, кремовый, цвéта малины с молоком,— ночь цветных дымов.

Сколько раз я, восхищенно любуясь, взирал на Петропавловский собор-памятник!

А тут точно впервые увидел его — без любопытствующих, экскурсоводов, знатоков архитектуры, всей дневной суеты — брошенный на самого себя мертвый собор.

Пуст, свеж, чист воздух, но в ярчайшем свете софитов столбами роится снежная пыль — густа, суха, иглиста. Ее пляска скрадывает изумляющую непомерность башни-шпиля, мне не видно перышка ангела, порхающего в небесной выси с миртовой ветвью, тщетно пророча воскрешение мертвецов.

И голизна почудилась мне в обезглавленном теле храма, вытянутость, вскинутость, чуть не горбатость силуэта, даже что-то неожиданно провинциальное в тощей плоскостности стен. Какой контраст с кремлевскими соборами! Головки амурчиков-ангелочков, сизые крылышки над жесткими четырехугольными вертикальными полосами окон, пристроенные квадратные крылечки с гладкими оливковыми колонками — губернские крылечки!

А хлопотунья-память, роясь в бездне времен, подкидывает и непочтительно ставит рядом другой собор.

...Городишко был мал, заштатен, в нем тысячи три обитателей (население какого-нибудь нынешнего одного дома!) — и я, шестилетний, на площади, которая кажется мне необозримой, на Соборной площади — перед братом *вот этого...* Вон, что причудилось мне той ночью.

Неизгладимая провинциальность, уездность, что ли, посадность, домашность тирании — как ни диковинно это звучит для гигантской империи — была в самой идее устроить императорское кладбище, вкупе с пристенными могилами семнадцати тюремщиков-комендантов, посреди страшной государственной тюрьмы, бок о бок с застенком, где первого удушили одного из «своих», Алексея, в пяти минутах от виселиц, где рвались гнилые веревки, когда вешали декабристов.

Жалкая изнанка великолепной линии дворцов, подравненной на набережной к старшему, Зимнему...

А тот, «очередной», что глядел оттуда, прикрытый темным стеклом или занавесью,— что же навевала ему гробовая церковь, вечно перед глазами, за рекой, заключенная в крепостной футляр, куда отвезут его труп и опустят под пол, в сырую гниль от подступающей невской воды, рядом с казематами заживо погребенных, сходящих с ума, «одетых камнем»?!

Это было — и не в незапамятной бездне времен, а на живой памяти даже многих, живущих, работающих, озабоченных общими заботами, вместе со всеми миллионами советских людей. Почему же в ту светлую, волшебно-многолюдную, бессонно-радостную ночь представилось это лишь дикой, небывалой сказкой?

1968

СОДЕРЖАНИЕ

Сафонов В.

С22 Собрание сочинений. В 3-х т.— — — М.: Худож. лит., 1982.— — —

Т. 1. Роман; Повесть; Маленькие повести и рассказы. 1982.— 559 с.

В том вошли исторический роман «Дорога на простор» — о походе Ермака в Сибирь, повесть «Механик великого художества» — об удивительной судьбе Нартова, человека феноменальной технической одаренности; маленькие повести и рассказы разных лет.

С $\frac{4702010200\text{-}191}{028(01)\text{-}82}$ подписное Р2

Вадим Андреевич Сафонов

Собрание сочинений

Том 1

Редактор
Н. Новикова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Л. Синицына

Корректоры **М. Миримская, М. Сафронова**

ИБ № 2444

Сдано в набор 15.10.81. Подписано в печать А09628 от 28.12.82. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4 + 1 вкл.= 29,45. Усл. кр.-отт. 29,45. Уч.-изд. л. 30,8 + 1 вкл.= 30,85. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-547. Зак. № 1262. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Отпечатано с матриц ГП РПО «Полиграфкнига» на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, Воровского, 24.

1

Вадим Сафонов